

Русская литература

№ 4

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1989

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
В. А. Котельников. Оптиная пустынь и русская литература (статья третья)	3
А. И. Батюто. Вокруг эпопеи (И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой в 1860—1870-е годы)	28
А. Г. Лысов. Апокриф XX века. Миф о «размолвке начал» в концепции творчества Л. Леонова (из бесед с писателем)	53

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. К. Кюхельбекер. Любовь до гроба, или Гренадские мавры (вступительная статья и публикация М. Г. Мазья)	69
Н. Туроверов. Стихотворения (составление и вступительная заметка А. Д. Алексеева)	88

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. А. Пономарева, В. В. Цыбульский. «Березовые книги» дохристианской Руси: миф или реальность?	103
Эммануэль Вагеманс (Бельгия). К истории русской политической мысли: М. М. Щербатов и его «Путешествие в землю Офирскую»	107
Н. С. Никитина. Первый роман Тургенева	119
Р. Б. Заборова. Об адресатах трех стихотворений Н. А. Некрасова	126
Е. А. Маймин. А. А. Фет и Л. Н. Толстой	131
Л. И. Черемисинова. А. А. Фет: земледельческая утопия и реальность	142
Е. И. Меламед. Из комментария к «Истории моего современника» В. Г. Короленко (новые материалы)	149
Л. Н. Толстой глазами новозеландского журналиста (публикация Айрин Зохраб (Новая Зеландия))	154

(См. на обороте)

« НА У К А »

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье (вступительная статья, публикация и примечания Л. А. Ильюниной и М. М. Павловой) (окончание)	160
Из переписки М. А. Булгакова с Е. И. Замятиным и Л. Н. Замятиной (1928—1936) (публикация В. В. Бузник)	178
И. А. Доронченков. Об источниках романа Е. Замятина «Мы»	188
Е. И. Замятин. Рай	199
В. К. Лебедев. «Запретить как идеалистическую»	203

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. А. Николаева. О новом издании «Сочинений» А. И. Полежаева	206
Алена Балажова (ЧССР). Н. В. Гоголь в работах чешских русистов последних лет (1970—1988)	214
С. Н. Носов. Польское исследование почвенничества в России	219
Б. Н. Миронов. Американское исследование русской народной литературы	221

ХРОНИКА

Н. М. Сперанская. XXX Пушкинская конференция	226
В. Н. Запевалов. Всесоюзная научная конференция «Леонид Леонов. Судьба цивилизации в XX веке и гуманистические ценности»	231
М. В. Рождественская. Малышевские чтения	237
И. Д. Якубович. Конференция, посвященная 200-летию Великой французской революции	240
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 1989 году	246

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ,*
Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Л. А. ДМИТРИЕВ, Б. Ф. ЕГОРОВ,
А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ,
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1989 г.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Из крупных русских литераторов теснее всех был связан с Оптиной пустыней Константин Николаевич Леонтьев.

Ни в каком другом положении его своеобразная фигура не выступает в столь характерных и знаменательных для эпохи чертах, как вблизи оптинского скита. Здесь-то и следовало бы внимательнее приглядеться к этому «русскому Ницше», к этому «Сулейману в куколке», исповедующему «сладострастный культ палки» в религии и политике, к этому «мечтателю реакции» и поборнику «византийско-мусульманского православия», как аттестовали автора «Византизма и славянства» современники, а затем и судьи рубежа веков,¹ не уступавшие друг другу в эффектности определений.

Когда и как Леонтьев вошел в круг Оптиной?

Об иноческом поприще как возможном и лучшем для него исходе он впервые задумался в конце 1860-х годов — в пору жизненных удач, на подъеме своей дипломатической карьеры. О своих настроениях и намерениях (еще не окончательных тогда) он говорил приезжавшей к нему в Турцию сестре.²

Нужен был, однако, внешний толчок, чтобы душевные силы его, давно к тому готовые, устремились безудержно в новом направлении. Такой толчок произошел в 1871 году. Во время болезни Леонтьев вдруг явственно почувствовал приближение кончины. Когда телесная природа его восстала против смерти, дух испытал глубокое религиозно-мистическое потрясение. Перед афонской иконой он на мгновение ощутил пронизавшую все его существо близость к Богу. Так совершилось его «страстное обращение к личному православию».³

Леонтьев дал обет постричься в монахи и для того отправился на Афон, где жил в 1871—1872 годах. Афонцы по каким-то причинам не решились принять его к себе, хотя на иноческий путь благословили и, словно предугадывая будущую участь русского послушника, дали ему своего рода рекомендательное письмо именно в Оптину, к Амвросию.

¹ В первые десятилетия по смерти Леонтьева появилось немало разноречивых суждений о личности и миросозерцании его. См., например: *Розанов В.* Теория исторического прогресса и упадка // *Русский вестник.* 1892. № 1, 2, 3; *Соловьев В. С.* Памяти К. Н. Леонтьева // *Русское обозрение.* 1892. № 2; *Трубецкой С. Н.* Разочарованный славянофил // *Вестник Европы.* 1892. № 10; *Фудель И.* Культурный идеал К. Н. Леонтьева // *Русское обозрение.* 1895. № 1; Из переписки К. Н. Леонтьева / Предисл. и прим. В. Розанова // *Русский вестник.* 1903. № 4, 5, 6; *Бердяев Н. К.* Леонтьев — философ реакционной романтики // *Бердяев Н.* *Sub specie aeternitatis: Опыт философии, социальные и литературные.* СПб., 1907; *Франк С.* Миросозерцание К. Леонтьева // *Франк С.* *Философия и жизнь: Этюды и наброски по философии культуры.* Пб., 1910; Памяти Константина Николаевича Леонтьева: Литературный сборник. Пб., 1911 (здесь особенно примечательны статьи В. В. Розанова и Б. В. Никольского); *Грифцов Б. А.* Судьба К. Н. Леонтьева // *Русская мысль.* 1913. № 1, 2, 4; *Булгаков С.* Победитель-Побежденный: (Судьба К. Н. Леонтьева) // *Булгаков С.* *Тихие думы.* М., 1918.

² *Леонтьев К.* Собр. соч.: В 9 т. СПб., Б. г. Т. 9. С. 27. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

³ *Русский вестник.* 1903. № 6. С. 422.

В начале июля 1873 года Леонтьев писал к архимандриту Леониду (Кавелину), настоятелю Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, о своем желании поступить в обитель.⁴ Но и Леонид принять его не согласился. Вместо того он, сам духовный питомец Оптиной, посоветовал Леонтьеву избрать пустынь как более подходящее для его послушничества место.

Все складывалось так, чтобы Леонтьеву быть в Оптиной. В этом видится нечто провиденциальное, тем более что еще в детстве у него проявилась безотчетная тяга к пустыни. Сам он вряд ли бы о том вспомнил, но напомнила мать, узнав о намерениях сына. «Когда я его маленьким возила раз в Оптину, — рассказывала она, — ему так там понравилось, что он мне сказал: „Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь“» (9, 27). Так оно и вышло, хотя и не скоро.

В пустынь Леонтьев приехал в 1874 году из своего родового имения Кудинова, что находилось в 60 верстах от нее. В тот раз он пробыл в Оптиной около месяца — с 6 августа до 4 сентября (что отмечено в Летописи скита).⁵ Тогда он познакомился с Амвросием и с о. Климентом (Зедергольмом). Но исполнить свой обет он решил не здесь, а в Николо-Угрешском монастыре, неподалеку от Москвы, воспользовавшись приглашением архимандрита Пимена. Туда Леонтьев и поступил послушником в ноябре того же года и всерьез готовился к пострижению.

А весной он внезапно покинул монастырь. Биографы высказывали разные по этому поводу предположения. Давний друг Леонтьева К. А. Губастов со слов самого Константина Николаевича сообщал, что причиной была размолвка с настоятелем.⁶ Леонтьев позже писал о пребывании в Угреше: «Телесно мне через 2 месяца стало невыносимо, потому что денег не было ни рубля, а к общей трапезе я никак не мог привыкнуть. . . Отец Пимен звал меня дураком и посылал в сильный мороз на постройки собирать щепки. . . Братия была груба и завистлива. Старались подвести и нарочно очень худо говорили об игумене, а я защищал его и просил оставить эти разговоры».⁷

После ухода из Угреши жизнь Леонтьева уже неразрывно связывается с Оптиной. Хотя до пострижения было еще далеко, он признавался в одном из писем в 1877 году, что теперь он в сердце более монах, чем когда носил подрясник на Угреше.⁸ Снова побывал он в пустыни в августе 1875 года;⁹ затем провел там три месяца в 1877 году (с 3 февраля);¹⁰ жил с зимы до мая в 1879 году и осенью 1880 года.¹¹ Потом была служба в Московском цензурном комитете, периоды тяжелой болезни; наконец весной 1886 года Т. И. Филиппов привозит его в Оптину почти в лежачем состоянии. Немного оправившись от недугов, Леонтьев решает навсегда обосноваться у монастыря, чтобы более не расставаться с Амвросием, в чьем духовном руководстве он чувствует все большую потребность в ту пору. Осенью 1887 года он снимает возле монастырской ограды двухэтажный дом (известный под названием «консульского» — по прежней службе Константина Николаевича), перевозит в него старую кудиновскую мебель, книги и проводит здесь последние, пожалуй, самые плодотворные в интеллектуальном и в литературном отношении годы жизни.

⁴ Русское обозрение. 1893. № 9. С. 319—323.

⁵ ГБЛ. Ф. 214. № 366. Л. 13.

⁶ Губастов К. Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. . . С. 217.

⁷ Лит. наследство. 1935. Т. 22—24. С. 488—489.

⁸ Коноплянцев А. М. Жизнь К. Н. Леонтьева в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. . . С. 108.

⁹ ГБЛ. Ф. 214. № 366. Л. 41.

¹⁰ Там же. № 359, 366. (Записи от 3 февраля 1877 года).

¹¹ Там же. № 366. Л. 168.

В Предтечевом скиту пустыни 23 августа 1891 года Леонтьев принял тайный постриг с именем Климента — с тем самым, что носил в монашестве его друг Зедергольм. Осень этого года оказалась для него роковой. По настоянию Амвросия он, сразу после пострижения, должен был уйти из Оптиной и поселиться в Троице-Сергиевой лавре. 10 октября скончался старец; через месяц заболел воспалением легких и 12 ноября умер сам Константин Николаевич. Погост Гефсиманского скита Троице-Сергия стал его последним пристанищем.

Таковы главные вехи двадцатилетнего «полумирского послушничества» Леонтьева, совершавшегося в сфере мощного притяжения Оптиной пустыни.

Ошеломляющая «разнопородность состава» этой личности (чему изумлялся еще В. В. Розанов) обнаруживает себя вполне с приближением к монастырю. «Силы демонические» часто тем неистовее играли в нем, чем тверже веровал он в спасительность и несокрушимость «сил божественных». Главенствовали в нем то те, то другие, но противостояние их никогда не ослабевало. «Ты знаешь мою борьбу! (Она была тогда ужасна. . .)», ¹² — вспоминал он о перипетиях своего внутреннего подвижничества, которое до самого конца было мучительной борьбой. Уже в Троице-Сергии, при смерти, мечась в полусознании, в полубреду, он повторял то «Еще поборемся!», то «Нет, надо покориться!» ¹³

Всякая действовавшая в Леонтьеве сила порождала себе противоположную, и обеими кипело его существование. Вот о ком, едва ли не с большим основанием, чем о Достоевском, Л. Толстой мог бы сказать: он «весь борьба». Леонтьев, кажется, нуждался в постоянном электризирующем прикосновении к полюсам жизни. Он намеренно вызывал из ее глубин антагонистические стихии: их бурные приливы освежали инстинкты, возбуждали и обостряли мысль. Всяческие же «мирные унисоны» были ему отвратительны; этой бесцветной, «пошлой» усредненности он дерзко противопоставлял напряженные, на контрастах создаваемые гармонии. В сложном и странном равновесии ценой огромных усилий удерживал он в себе две «страстные идеи»: ¹⁴ идею телесно-эстетического самоутверждения и идею религиозно-аскетического самоотрицания. Обеими он жил последние двадцать лет; обе коренились в его натуре, обе составляли антагонистическое и нерасторжимое единство, в таком виде свойственное, пожалуй, только ему и некоторым персонажам Достоевского. Из этого единства проистекали все парадоксы мирозерцания и трагические апории судьбы Леонтьева.

Если отыскивать определение, которое обнимало бы эту личность с ее эмоциональными, религиозными, идеологическими крайностями и вместе давало представление об их происхождении и о живой динамике, то вернее всего было бы принять следующее: Леонтьев есть человек *реакции* (беря это слово в полном объеме его значений). Говоря так, мы подразумеваем, что энергия чувства, мысли, а затем и деятельность у него по большей части становится энергией противодействия, получает направление, противное господствующему потоку действительности, массовым тенденциям, количественному прогрессу и качественному упадку истории. И таков Леонтьев во всем: в контroversивном складе ума, в моральной рефлексии, нередко во вкусах и почти всегда в политических пристрастиях.

¹² Коноплянцев А. М. Указ. соч. С. 134.

¹³ Александров А. И. Памяти К. Н. Леонтьева; II: Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. XXI.

¹⁴ Именно так — как всепоглощающую страсть — определял и действительно переживал Леонтьев исповедуемые им идеи, принципы, доктрины (7, 497). «Я идеями не шутил. . .» (7, 266), — утверждал он. Это правда: его темперамент сообщал идее такой накал, что шутить с ней было опасно. Идеи никогда не проходили Леонтьеву даром.

Подобные черты вообще не чужды русскому сознанию. Ведь нужно было обильно влиться в кровь и возобладать во многих сферах национальной жизни европейскому элементу, чтобы возникла и произвела глубокие сдвиги в культуре славянофильская реакция; причем самые стойкие, гибкие, плодоносные побег славянофильства давало там, где оно взрастало на почве западной «образованности» (славянофильство И. Киреевского, например). Равно и без прежнего нашего пламенного сочувствия свободной личности, без того, чтобы слишком, может быть, скоро и близко к сердцу принять все ее интересы, вплоть до утонченных мук «мировой скорби», до изломов вольнодумствующего рас-судка, — без всего того не было бы у нас и столь страстной, религиозно-восторженной, часто жертвенной апелляции к общинным началам жизни, к соборному мироощущению. Одним словом, нужен был культ Бонапарта, чтобы развился культ Платона Каратаева. Правда, тут существенна еще та наша особенность, что первый не был отменен вторым, а, трансформируясь, сопутствовал ему.

Знаменательна первая метаморфоза леонтьевских умонастроений. Совершалась она еще в пору юности, в начале 50-х годов, и предшествовало ей собственное многим «русским мальчикам» в ту эпоху состояние чрезвычайной, болезненной чуткости к злу и дисгармониям жизни. «Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, — вспоминал Леонтьев, — но который жив и все чувствует, только гораздо сильнее и ужаснее прежнего» (9, 71). В этом состоянии, когда он, двадцатилетний московский студент, месяцами «с утра до вечера думал и мучился обо всем» (9, 70), его не просто глубоко захватил, но и дошел в нем до невыносимой остроты тот «сострадательный гуманизм», который столь ярко, хотя и односторонне, окрасил мысль и литературу в 40-е годы. Тут тоже все было принято им разом и слишком близко к сердцу. «В иные минуты, — признавался он потом, — уж было мне и не под силу всех и все жалеть. . .» (9, 88).

Из непомерности сострадания измученное им «слабое сердце» бросилось, в порыве «молодого отчаяния», в сторону противоположную. Внезапный, но закономерный для этого типа сознания переворот! Через пятнадцать лет та же метаморфоза будет в сходных подробностях воссоздана в образе другого «русского мальчика» — Раскольников, также дошедшего «до края» в сострадании человечеству и не вынесшего своего безбожного гуманизма — ибо сострадающее чувство и совесть его оставались без Бога, а «совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного».¹⁵

Теперь «все некрасивое, жалкое, бедное, болезненное с виду ужасно подавляет» Леонтьева (9, 88), «прибавляет яду» в его «внутренние язвы» (9, 77) — и вот уже он почти ненавидит это убогое прозябание бесчисленных бесцветных созданий, всех этих «честных тружеников» и прочее. Он противопоставляет им «сильный физиологический идеал» (9, 106), все крупное, мощное, обнаруживающее богатство и щедрость природы и дающее жизни красоту и движение. И он уже донельзя рад, что именно таким оказался впервые увиденный им тогда Тургенев — «гораздо героичнее своих героев» (9, 78), ничуть, к счастью, не похожий на своего «чахоточного „лишнего человека“». А давно ли, кажется, сам Леонтьев плакал над тургеневской повестью, закрываясь книгой от посетителей трактира?

Именно внутренняя реакция против раннего и незрелого «сострадательного гуманизма» вызвала резкую смену ценностных доминант в воззрениях Леонтьева. «Мораль» сменилась «эстетикой». Любовь-сострадание к жизни вообще, к безличной массе бесконечно малых и слабых существований не несла

¹⁵ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 56.

и даже не обещала видимых перемен в мире; Леонтьев же нетерпелив, как и все «русские мальчишки», он требует решений скорых и окончательных. Его жадное чувство, а следом и страстная мысль обращаются к сильным, изобильным, «пышным» (любимый леонтьевский эпитет) проявлениям жизнетворческих стихий. Органическая красота борьбы, красота оформляющей бытие силы — будь то воля Бога, или господствующая идея, или самодержавная власть, или биологический закон — вот куда стремительно перемещается теперь центр мирозерцания Леонтьева, вот где ищет он универсальный ценностный критерий, приложимый равно и к культуре, и к самой жизни. Отсюда «пышно» разрастается древо леонтьевского эстетизма, — живучее порождение неиссякаемой витальности этой натуры.

И литературно-критическая деятельность его¹⁶ была первоначально возбуждена импульсом реакции, а затем зачастую движима ею же. В 50-е годы это реакция против натуральной школы, против идей и стиля «гоголевского направления», против обозначившегося в нем общественного «вевания». Тот факт, например, что в статье начала 60-х годов Леонтьев, бесцеремонно отбросив «протестующее, отрицательное содержание» рассказов Марко Вовчок, горячо превозносит эстетическое совершенство их формы, что он готов воздвигнуть писательнице «маленький монумент за высокую, изящно-классическую бледность и за нежную гармонию ее повестей» (9, 137), — этот факт есть прямое следствие реакции против «шершавых и топорно, аляповато ярких, пучеглазых „Записок охотника“» (9, 137), против «безнадежной прозаичности» «Мертвых душ», против «махрового» языка современной литературы.

Энергия этой реакции не иссякнет и в 80-е годы: Леонтьев по-прежнему требует свергнуть иго гоголевской школы, считая, в частности, что и Л. Толстой до сих пор не смог от него освободиться. По-прежнему его критическая мысль следует логике реакции: «Чтобы „выжить“ из себя „вчерашее“, на котором мы все выросли, надо углубляться во все то, что на него не похоже. В этом смысле хороши и Жорж Занд, и Байрон, и Жития Святых, и народные песни, и С. Т. Аксаков».¹⁷ По этому пути Леонтьев идет и еще дальше, восставая уже не только против гоголевской традиции, но и против современного литературного движения в целом, которое представляется ему замкнутым в «рамке» четырех авторитетов: Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского (для большей осязаемости он в письме А. Александрову рисует эту «рамку» из имен). И он объявляет (в 1888 году), что хочет «разбить и сломать эту рамку».¹⁸

Реакция эстетическая естественно соприкасается у него с реакцией идеологической (часто переходя в нее) и органически связана с реакционностью его политических взглядов. От неприятия художественных принципов натуральной школы, «шершавой» манеры ее последователей у него совсем недалеко до желания, «чтобы всех Помяловских и Успенских сослали в какую-нибудь Сибирь» (9, 137). (Здесь, однако, он «оставался только мечтателем реакции, словесным ее Наполеоном»)¹⁹ А от эстетического недовольства «уродливыми» романами Достоевского рукой подать до сурового порицания «неопределенно-евангельской» проповеди писателя и до требования «доходить скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник больше нравился, чем Ф. М. Достоевский».²⁰

¹⁶ Мотивы и характер ее глубоко раскрыты в работах С. Г. Бочарова. См.: Бочаров С. Г. 1) «Эстетическое охранение» в литературной критике // Контекст-1977. М., 1978; 2) Эстетический трактат Константина Леонтьева // Вопросы литературы. 1988. № 12.

¹⁷ Александров А. Указ. соч. С. 19.

¹⁸ Там же. С. 36.

¹⁹ Булгаков С. Указ. соч. С. 122.

²⁰ Александров А. Указ. соч. С. 9.

Наконец, в главном пункте его духовной биографии, в «страстном обращении к личному православию» ясно просматривается та же подоплека — реакция. В данном случае это бурная реакция против теорий и практики «эвдемонического прогресса», против всех европейских (и русских) «эгалитарно-смесительных» тенденций, на что прямо указывал сам Леонтьев, объясняя в 1891 году Розанову причины своего религиозного переворота: в основе его лежала «давняя (с 1861—62 года) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги. . .)». ²¹ И самое «культуру византийской дисциплины» Леонтьев всегда мыслил как «единственный *противовес* теории всеобщего мелкого удовольствия», ²² т. е. как противодействие столь ненавистной ему цивилизации буржуазной Европы, «этой всеобщей, проклятой жизни пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака» (6, 161).

Оставаясь человеком реакции (не столько по своему постоянному положению среди общественных сил, сколько по способу мысли и действия), Леонтьев, видимо, оценивал это свойство в себе и в других как черту определенного типа сознания; не случайно он так чутко уловил ее у Л. Толстого. «Заметьте это, — писал он А. Александрову, — у него была всегда страсть противоречить течению передовой мысли. Пока господствовал либерализм, он был почти реакционером во многом; теперь, когда все почти лучшие умы обращаются так или иначе к народным историческим началам, ему не терпится, чтобы не идти противу этого. Я сам недавно это стал в нем угадывать. Пока это не касается святыни, оно оригинально и даже полезно». ²³ Впрочем, и Толстой не прочь был признать здесь свою близость к такому типу сознания. По крайней мере, к тому клонится его отзыв о статьях Константина Николаевича, в которых, по мнению Толстого, автор «все точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся». Когда А. А. Александров передал эти слова Леонтьеву, тот очень смеялся. ²⁴ Похоже, оба понимали и принимали друг друга больше, чем то обыкновенно полагают.

Все леонтьевское мироотношение в основных его фазах, в главных итогах есть несомненно продукт сильной, тяготеющей к крайностям внутренней реакции.

Что было ее объектом в 70—80-е годы? Общее состояние современной действительности, являющее собой — не только в представлении Леонтьева или, скажем, в восприятии Достоевского, но и реально, как историческая стадия, — повсеместный *хаос*, рождаемый столкновением общественных институтов, старых культурных организмов с новейшей цивилизацией, хаос, возникающий в ходе разрушения и беспорядочной ассимиляции первых. По убеждению Леонтьева, этот «прогресс есть разложение». ²⁵ Давно начавшееся и принявшее угрожающие размеры, оно, по знаменитой леонтьевской теории «триединого процесса», и должно привести к хаосу, или, как он это формулирует, к «вторичному и предсмертному *смещению*», после которого неотвратимо следует гибель культуры и национальной государственности.

Трагический парадокс Леонтьева заключался в том, что, сознавая гибельность хаоса, пытаясь в сфере идей и на послушническом поприще ему противо-

²¹ Русский вестник. 1903. № 6. С. 422.

²² Леонтьев К. Н. Отшельничество, монастырь и мир: Их сущность и взаимная связь: (Четыре письма с Афона). Сергиев Посад, 1913. С. 43.

²³ Александров А. Указ. соч. С. 33.

²⁴ Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние. М., 1911. С. 7—8.

²⁵ Александров А. Указ. соч. С. 125.

стоять, он находил его и в самом себе. Зародыши хаоса гнездились в его карамазовски широкой природе и то и дело давали о себе знать. А как культурный тип, сложившийся в 30—40-е годы на путях духовной эволюции русского европеизированного дворянства, Леонтьев нес и культивировал в себе часто переходящую в тот же хаос, служащую его торжеству умственную и нравственную безбрежную многосторонность.

Правомерны, даже неизбежны аналогии между личностью Леонтьева и теми литературными воплощениями названного типа, которые мы находим в образах Версилова, Ставрогина, подпольного «антигероя», в карамазовском семействе. Вовсе не склонный к уподоблениям такого рода Б. В. Никольский невольно воспроизводит черты то Митеньки Карамазова, то «парадоксалиста», когда характеризует личность Леонтьева, «зарывающуюся в самые глубины страстей и греха» и одновременно «открытую чистейшим лучам верховных идеалов».²⁶ В самом деле, мало кто из видных фигур второй половины XIX века в такой мере, как Леонтьев, подтверждает из недр карамазовской природы вынесенную истину: «широк человек, слишком даже широк». Леонтьев знал в себе эту «широту»; может быть, поэтому он с таким сочувственным пониманием писал об Аполлоне Григорьеве, что тот «предпочитал ширину духа его чистоте», и склонен был замечать в его статьях «нечто тайно-растленное».²⁷

Но отнюдь не то открывало путь к хаосу, что эта «широта» допускала или даже оправдывала какие-то отступления от моральных норм. А то, что в русском «широком» культурном типе, к которому принадлежал Леонтьев, оказывалось расколотым само его ценностное основание. Эстетическое в нем освободилось от этического, и то и другое не зависело от религиозного, и от всего был свободен упразднивший всевозможные предрассудки разум. Во всяком влечении, в любой идее свободный дух мог своевольно принимать ничем не связанное с другими влечениями и идеями направление и заходить в нем бесконечно далеко, не удерживаемый никакой центростремительной силой.

Если не в полной мере, то в существеннейшей своей части эта характеристика приложима к Леонтьеву, чей «эстетизм», например, получил ничем не стесняемое в «широком» мирозерцании, безудержное развитие и привел вначале к «эстетическому аморализму»,²⁸ а затем к «эстетическому позитивизму» (по определению С. Н. Булгакова). Очень рано свободная теоретическая мысль Леонтьева приходит к выводу, что «нет ничего безусловно нравственного, а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле» (9, 119—120). А влекомое «эстетическими инстинктами» чувство заставляет его ради красоты романтизированного «поэтического одиночества» пренебречь всеми «этими братьями, сестрами и т. д.» (9, 99) и вызывает даже нечто вроде «эстетической брезгливости» к брату Александру, которого Леонтьев и много позже считал себя вправе «всячески карать и казнить» за его глупость и низость.²⁹

«Эстетизм» заставляет его очищать созерцаемую им картину мира от недостаточно ценных, на его взгляд, хотя бы и живых подробностей, предпочитая им эстетически совершенные детали и художественную цельность впечатления. Так в романе «В своем краю» (1864) смотрит на жизнь Милькеев: «Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!» (1, 306). Так

²⁶ Никольский Б. В. К характеристике К. Н. Леонтьева // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. . . С. 369 и др.

²⁷ Русская мысль. 1915. № 9. С. 116 (вторая пагинация).

²⁸ Так обозначает первую фазу его воззрений А. М. Коноплянец.

²⁹ Лит. наследство. Т. 22—24. С. 465.

поступает сам Леонтьев, способный на вполне ставрогинскую выходку, когда он, допустим, находит, что облик В. П. Боткина диссонирует с «эстетикой» Испании, страны Сиды, Альгамбры и пр., как она представляется Леонтьеву. «Человек с подобной наружностью» не имел права жить в Испании, полагает он, и однажды, встретившись в доме общего московского знакомого, любезно спрашивает: «„Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, но только откровенно — вы в самом деле были в Испании или нет?..“ Боткина так и передернуло. . .» (9, 104).

В своем влечении к красоте Леонтьев беспредельно, неудержимо «широк» — это и делает его (на продолжительное время) «эстетиком-пантеистом, весьма вдобавок развращенным, сладострастным донельзя, до утонченности», с «истинно сатанинской» фантазией (9, 13). Понятно, почему к нему питали неприязнь апологеты умственного и нравственного порядка, как, скажем, Страхов, Рачинский, ощущавшие в Леонтьеве, в самом типе такой личности начала хаоса. «Оба они возмущались смесью эстетизма и христианства, монашества и „кудрей Алквиада“ и, главное, жесткости, суровости и, наконец, прямо жестокости в идеях Леонтьева, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже».³⁰ Эротико-эстетические мотивы, видимо, влекли Леонтьева (как и Ставригина) к таким поступкам, которые Розанов относил к «не рассказываемым в печати подробностям биографии»³¹ и о которых никто из близких Леонтьеву людей (в том числе и Соловьев) не решался поведать публично.

Причины здесь лежали не только в телесно-психической природе, в области инстинктов и бессознательного, они коренились и в душевной его организации. Эротизм у «пантеиста» Леонтьева, как то и можно было ожидать от него, куда более языческий, чем у самих язычников. Даже на уровне эротических представлений и образов у него ощутима некая «бестиальность», выдающая позднюю и ожесточенную, как бы мстительную реакцию на христиански одухотворенную любовь — так и не принятую Леонтьевым вполне ни в нравственном, ни в онтологическом ее содержании. Не без оснований С. Н. Булгаков утверждал, что в отношении Леонтьева «к красоте мира и к женственности было нечто насильническое, неумягченное, не брачное».³²

Может быть, особенно острое наслаждение испытывал он тогда, когда его в христианской все-таки традиции воспитанная чувственность вырывалась за свои пределы, разрушала культурные и интимно-психические перегородки и облекалась в формы дразнящей европейское воображение эротики магометанского Востока. Взять все оттенки страстей христианина и смешать их с пестрыми, пряными, жаркими красками гаремной любви — в этом Леонтьев находил своенравное художественно-возбуждающее удовольствие, которому предавался в своей беллетристике, причем не только «восточной», но и в повести «Исповедь мужа», и в неоконченном романе «Две избранницы» («Матвеев») — в беллетристике, которую С. Н. Булгаков считал исполненной «чар и отравы», а Лев Толстой находил, что она «прелесть», и признавался, что «редко что читал с таким удовольствием».³³

В подобных художественных и эротических опытах проникновения в плоть и душу Востока Леонтьев обнаружил изощренную способность к смешению крови чужеродных культур. Он не ощущал, кажется, в себе никаких к тому препятствий. «Это вообще так свободно, как никогда и ни у кого не было

³⁰ Русский вестник. 1903. № 5. С. 160.

³¹ Там же. С. 161.

³² Булгаков С. Указ. соч. С. 131.

³³ Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. . . С. 8.

в литературе»,³⁴ — замечает удивленный Розанов по поводу повестей из турецкой жизни. Более того, в его широком мирозерцании не оказалось препятствий и к тому, чтобы вслед за поэтическим влечением к Востоку развился настоящий «вкус к исламу», настолько явственный в его религиозности, что это позволило говорить о «византийско-мусульманском православии» Леонтьева.

Он исповедовал свой «эстетический пантеизм» не только до «обращения» в 1871 году, но и после, хотя тогда уже в тайниках души или подсознательно. Когда он как будто бы окончательно «предпочел мораль поэзии», когда решительно предал анафеме «лучших поэтов», которые все «есть развратители в эротическом отношении и в отношении гордости», когда отверг всю «поэзию изящной безнравственности»,³⁵ — то и тогда «тонкий яд» последней проникал в его религиозность, только медленней и нечувствительней прежнего. Он не мог и, вероятно, не хотел совершенно отречься от «страстно-демонического» начала в себе, более боясь утратить свободную многосторонность духа, чем допустить смещение этого начала с «поэзией религии», с эстетикой аскезы. И в стенах монастыря его своевольное воображение лелеяло «грациозные сюжеты из восточной жизни»;³⁶ его «сатанинская гордость» давала о себе знать и «под церковным смирением», и он ничуть не раскаивался в том: «. . . Да! в этих записках она даже и не скрыта — эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками».³⁷

Печатью «предсмертного смешения» была отмечена вся личность Леонтьева. Символично, что мотив ожидания смерти не покидал его никогда и время от времени усиливался до того, что Леонтьева охватывал ужас близкой кончины. Это происходило с каким-то роковым постоянством — в 1871, в 1877 году и после. Само внутреннее состояние его, тронутое разложением, причастное к современному хаосу, словно ждало от смерти разрешения.

Такое субъективное состояние сливалось с его общим жизнеощущением и в совокупности становилось предметом теоретической рефлексии, возможно, за счет именно внутреннего, интимно-духовного опыта особенно зоркой и проницательной. В конечных выводах, однако, мысль Леонтьева далека от субъективизма: здесь он действует как естествоиспытатель, как физиолог и анатом — занятия на медицинском факультете, у Иноземцева, повлияли на склад его ума в гораздо большей степени, чем можно было бы подумать; одно время даже в искусство он пытался внести «какие-то новые формы на основании естественных наук» (9, 151). В объяснении эволюции культуры он пользуется тем же методом «естественнонаучного эмпиризма» (6, 340) и приходит к диагнозу «вторичного предсмертного смешения», летального хаоса.

«Это был патолог. . . — пишет Розанов, — приложивший специально патологические наблюдения и наблюдательность к явлениям мировой жизни, но преимущественно социально-политической. . . В „эстетику“ он „открывал форточку“ из анатомического театра своих грустных до черноты политических и культурных наблюдений, соображений».³⁸ Дар воспринимать и глубоко анализировать именно «патологию» жизни (включая сюда и собственную личность) обнаружился еще в студенческие годы в первых литературных пробах Леонтьева и был отмечен тогда Тургеневым, писавшим о пьесе «Женитьба по любви», что интерес сюжета в этой «замечательной вещи» «даже не психологический — патологический».³⁹

³⁴ Розанов В. Неузнанный феномен // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. . . С. 178.

³⁵ Александров А. Указ. соч. С. 7.

³⁶ Лит. наследство. Т. 22—24. С. 437.

³⁷ Там же. С. 468.

³⁸ Русский вестник. 1903. № 4. С. 637.

³⁹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. 2-е изд. М., 1987. Т. 2. С. 103.

Картина современного патологического процесса складывается из обильных в его публицистике выразительно прописанных фрагментов. В одном месте он резкими чертами изображает прогресс с его «физико-химическим, умственным развратом», с его «страстью орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь, металлами, газами и основными силами природы разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое общество человеческое» (6, 20). В другом рисует религиозную и нравственную деградацию общества, где добро утрачивает крепость и определенность и расплывается в каком-то «романтическом и моральном идеализме» (7, 408), где интеллигенция помешалась на «исканиях», «на любви только к собственным сердечным движениям» и проповедует «безбожную автолатрию, а веру в учение Церкви разрушает» (7, 276) (чего ярким и возмутительным для Леонтьева примером был Константин Левин и сам его создатель). В третьем предаёт проклятию губительные для «эстетики жизни» (а значит, для самой жизни) эгалитарно-демократические и либерально-гуманистические тенденции. В четвертом обрушивается на распространяющуюся повсюду новую веру — эвдемонизм, цель которой — «всеобщая польза, понятая как всеобщее внутреннее, субъективное довольство; средства — у дерзких — кровь, огонь и меч, словом, новые страдания; у осторожных, лицемерных или робких — проповедь однообразного реализма, всеобщего ограниченного знания, всеобщей бездарности и прозы!».⁴⁰ И с горечью признает наконец, что «в России глубоко *перемешаны и перепутаны* теперь эти две культуры — Византийская аскетическая и неофранцузская, эвдемоническая».⁴¹

При том, что Леонтьев обладал сильнейшим аналитическим умом, умом «недобрым, едким, прожигающим»,⁴² что он бесспорно имел провидческое историческое чувство, он был, по верному замечанию Б. В. Никольского, органически «нефилософским человеком».⁴³ Метафизическая перспектива жизни была ему темна и малоинтересна.⁴⁴ Его мысль пребывает там же, где и чувство, — в пределах наличной, обозримой действительности, в восстановимом ее прошлом и в предсказуемом будущем. Не Откровение, не религиозное прозрение, не философская интуиция — они не нужны ему для оценки этой действительности и исторических прогнозов — он, законченный эмпирик и часто откровенный утилитарист, здесь остается приверженцем все того же хорошо им усвоенного естественнонаучного подхода, приемами которого целенаправленно пользуется в препарировании культуры, причем с полным убеждением в их адекватности (8, 67).

Естественным для такого типа сознания было замкнуть всю картину хаоса в границы только земного существования, не открывая исхода в «миры иные», — что означало отлучить земной мир от Бытия, отнять надежду на онтологические разрешения трагического хаоса жизни. Оставаясь в этих пределах, Леонтьев, с его могучим, жаждущим идеального духом, не мог не предаться (таким удел всякого глубокого и последовательного эмпирика) безысходному пессимизму (который он именовал «реализмом») и не заключить, что надо навсегда отказаться «от искания идеала нравственной правды в недрах самого человечества» (8, 192).

⁴⁰ Леонтьев К. Н. Отшельничество, монастырь и мир. . . С. 22.

⁴¹ Там же. С. 41.

⁴² Булгаков С. Указ. соч. С. 116.

⁴³ Никольский Б. В. Указ. соч. С. 378.

⁴⁴ Характерен его отзыв о религиозно-философских взглядах Хомякова: «„Любовь“, „любовь“ у Хомякова; „истина, истина“ — и только; я у него в Богословии, признаюсь, ничего не понимаю, и старое филаретовское и т. д., более жесткое, мне гораздо доступнее как более естественное». См.: Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни: (По двум письмам). М., 1912. С. 10—11.

Но Леонтьев не был бы Леонтьевым, если бы остановился на точке созерцательного пессимизма, или впал бы в величавую вселенскую скорбь, или предлагал бы исцелить мир умеренными дозами просвещения и политических реформ. Он энергично восстает против хаоса, воцаряющегося в жизни, захватившего и его собственную личность. Его духовная активность получает характер резкой реакции против повсеместного «ассимиляционного смещения» (см.: 6, 337). Проявляющаяся очень многообразно, эта реакция протекает под знаком нескольких основополагающих для мысли Леонтьева понятий, с помощью которых он проектирует императивный миропорядок, крайне жесткий, но именно потому способный противостоять хаотичности действительности, предохранить жизнь от распада, привести ее в соответствие с высшими требованиями религии и эстетики, — если бы, конечно, такой проект мог быть осуществлен, волею ли людей или силою исторических обстоятельств. Важнейшие из этих понятий, относящиеся у Леонтьева часто к нескольким сферам сразу — к религиозной, моральной, эстетической, общественно-политической, к предметному миру и к психическим явлениям, — это *граница, форма, сила, дисциплина, страх*. Они естественно тяготеют друг к другу как состоящие в близком гносеологическом родстве, как наделенные общей мироустроительной функцией.

Понятию *границы*, наиболее фундаментальному у Леонтьева, соответствует оказавшийся в центре его религиозно-этического сознания символ — евангельский меч, о котором Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф., 10, 34). Им Иисус разделяет тех, кто готов принять его учение, и тех, кто еще не готов к этому. Меч здесь — символ расчленения, разграничения разнородных и пока пребывающих в косном смещении элементов жизни. С этим символом в Евангелии Матфея возникает — как грозное, но необходимое тогда напоминание — тема ветхозаветного преодоления хаоса и беззакония, тема утверждения границы между заповедью и преступлением, праведностью и грехом.

Именно ветхозаветный смысл понятия, особенно близкий Леонтьеву, вкладывается им в производную от того же понятия универсальную у него категорию *формы*. Форма мыслится как совокупность твердых, непроницаемых границ явления, резко отделяющих его от прочего, удерживающих от разложения и смещения. Леонтьев не смотрит на форму со стороны ее естественного происхождения, как на свободное и подвижное самообнаружение сущности в явлении. Он смотрит на форму со стороны ее назначения (часто весьма утилитарного) в данной культурной, социально-политической, эстетической ситуации, со стороны ее способности удержать от распада заключенное в ней содержание. Поэтому форма у него обычно обуславливается *силой*, что и выражено в известной его дефиниции: «Форма есть *деспотизм* внутренней идеи, не дающий материи разбежаться» (5, 197).

У него повсюду ощутим этот культ жестко оформляющей жизнь деспотической силы, кладущей границы, устанавливающей иерархию форм, диктующей строгую дисциплину. Первоисточник силы (несущественно, выступает ли она как внешняя или внутренняя, — она всегда одна в своем качестве и происхождении) специально не проясняется Леонтьевым, но нет сомнения, что это Бог, однако и он отделен от земной сферы действия его силы такой же непроницаемой не только для ума, но и для высшего богообщения границей.

Леонтьев требует ввести в пределы жесткой формы все стороны религиозной жизни, когда говорит о необходимости «твердого и архитектурного спиритуализма, который составляет отличительный характер настоящего (церковного) христианства» (8, 274) и без которого, как то показывает он на примере Андрея Болконского (видя в нем, как и во многих других героях, «жизненный

тип»), личность впадает в аморфный, размягченный «филантропический пантеизм» (8, 274).

То же требование звучит в призыве к «строжайшей и очень определенной спиритуалистической и обрядовой дисциплине»⁴⁵ и вообще к тому, чтобы «русское нравственное содержание» (так «туманно» и неудовлетворительно для Леонтьева переданное Достоевским в образах «мечтательного гуманизма») было, наконец, «замкнуто в крепкую догматическую и властную форму» (7, 307). Леонтьев настаивает на форме физически повелевающей, сугубо материальной, без нее он не признает выражение сущности истинным. Сама мистика для него «не настоящая», если она «не нашла себе матерьяльных форм».⁴⁶

Ища для христианина прочного убежища от мирского греха, от умственной и нравственной смуты, Леонтьев и спасение души замыкает в подобную форму — в форму «трансцендентного эгоизма». В ней он хочет сосредоточить твердое понятие о высшем христианском долге, предписать пути его исполнения, его хочет предохранить от соблазнов «морального идеализма». Ради того он готов сузить сферу действия религиозной воли, готов требование дать ответ Богу за себя заменить требованием дать ответ только за себя. Естественно, что идея общего спасения, столь важная для соборного сознания, не умещается в этой форме; вне ее (и зачастую вне поля зрения Леонтьева) остается путь христоподрожательного подвига в миру.

«Трансцендентный эгоизм» возник из *страха* и как *форма* целиком определяется силой страха. Последний у Леонтьева выступает главным регулятором религиозного сознания и морального поведения. «Страх Божий (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной».⁴⁷ Но чисто мистической природы страха Леонтьеву мало — она для него недостаточно властна; он хочет ужесточить страх, довести его до степени биологической: «Нужно дожить, дорасти до действительного страха Божия, до страха почти животного».⁴⁸ Только такой страх, унижая, послужит нравственному улучшению человека. Только таким страхом можно удержать от греха, беззакония, от эвдемонического социального разврата, отрезвить от надежд на земное братство и благоденствие. Лишь на страхе может утвердиться противостоящая хаосу «культура византийской дисциплины и земного аскетизма».

Среди категорий леонтьевского миропорядка мы не находим *любви*, которая в христианской онтологии есть начало, связующее «раздранные части естества» (по выражению Симеона Нового Богослова). Эта категория не устраняется прямо, но как-то обедняется Леонтьевым, получает сугубо эмпирический смысл, оставаясь в пределах наличной действительности. Для принадлежащего к последней современного человека область любви в ее религиозно-философском понимании оказывается недостижимой, он отделен от нее опять-таки непроницаемой границей. Это только Антоний Великий мог сказать: «Я Бога теперь так люблю, что и не боюсь Его», полагает Леонтьев, а в нас еще силен страх животный, и он должен становиться сильнее.⁴⁹

Общему стилю леонтьевского «проекта» отвечают суровые, мрачные тона запечатленных в нем религиозных воззрений автора. Леонтьев с особенным рвением развивает одну сторону христианства, и незаметно она становится у него господствующей, заслоняя страхом, горечью, сухой и грозной непре-

⁴⁵ Там же. С. 24.

⁴⁶ Русский вестник. 1903. № 5. С. 165.

⁴⁷ Там же. № 4. С. 644.

⁴⁸ Александров А. Указ. соч. С. 9.

⁴⁹ Там же.

клонностью свет и радость, разлитые в Бытии (см.: 8, 158—159, 166, 185, 204 и др.).

Сказанного довольно, чтобы заметить в реакции Леонтьева черты ветхозаветного мироотношения. Недаром Розанову казалось, что Леонтьев «бесконечно стар исторически». ⁵⁰ В нем словно восстает ветхозаветный закон — тот закон, которым «познается грех» (Рим., 3, 20), который *определяет* добро и зло, кладет твердые *пределы* тому и другому, связывает мир познанием добра и зла и страхом греха, заключает его в границы взвешенного и оцененного.

Но через богочеловечество Христа открывался лежащий за этими границами бытийный простор, давались иные, нежели Моисеева «праведность от закона», меры. Когда «независимо от закона явилась правда Божия» (Рим., 3, 21), тогда, «умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим., 7, 6). Так говорит апостол Павел о моменте смены одного мироотношения другим, о моменте нового бытийного самоопределения человека. «Конец закона — Христос» (Рим., 10, 4), через «которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим., 5, 2).

Коллизия *закона* и *благодати* не была и не может быть исчерпана, пока развивается христианство; она возобновляется в новом виде в новых условиях. Религиозно-этическое сознание личности, общественных групп, компоненты культуры всегда оказываются развернуты в ту или другую сторону.

На русской почве эта коллизия впервые была ясно осознана и художественно пережита Иларионом, в чьем «Слове» выразительно намечены самые существенные для православной мысли, для русской культуры моменты столкновения двух мироотношений. Разнообразными логическими и поэтическими средствами Иларион показывает, что оправдывающий закон дел и спасающая благодать веры находятся на разных бытийных уровнях, что разница между ними подобна разнице между свободой и несвободой. Он прибегает к двум мотивам, несущим жизненно важный смысл, — мотиву усиливающегося света и мотиву расширяющегося пространства, — чтобы изобразить духовное исхождение человека из закона к благодати. «Отъиде бо свѣтъ луны, солнцу въсѣавшу, тако и законъ, благодати явльшейся, и студенство нощное погибе, сълнечнѣй теплотѣ землю съгрѣявши. . . Юдеи бо при свѣщи законнѣй дѣлааху свое оправданіе: Христіаніи же при благодатнѣмъ сълнци свое спасеніе зиждуть». ⁵¹ Переход от закона к благодати у Илариона — это выход из стесненных пределов на простор, что передается сменой контрастных пространственных образов, как конкретно географических, так и умозрительных. «Прежде бо бѣ въ Іерусалимѣ единомѣ мѣсто кланятися, нынѣ же по всей земли»; ⁵² «По всей же земли роса: по всей бо земли Вѣра протресея, дождь благодатный оброси»; ⁵³ «И уже не гордится въ законѣ чловѣчьство, но въ благодати пространно ходить». ⁵⁴

Сознание Леонтьева обращено к *закону*, к ветхозаветному разделяющему и утверждающему мечу. Но меч олицетворяет волю к форме, он властен оформлять только преходящее, всегда «ветхое» тело истории, «человека внешнего», а воскресающему с Христом «человеку внутреннему» уже открыта «жизнь

⁵⁰ Русский вестник. 1903. № 6. С. 418.

⁵¹ Прибавления к творениям Святых отцев в русском переводе, издаваемым при Московской Духовной Академии. М., 1844. Ч. II. С. 228.

⁵² Там же. С. 229.

⁵³ Там же. С. 230.

⁵⁴ Там же. С. 228.

вечная», область благодати и истины, где он свободно созидает Духом и где меч уже не нужен. Леонтьев же не опустил меча, он не исполнил повеления Иисуса Петру и остался в саду образумливать оружием закона рабов первосвященника.

Наверное, не случайно Христос так бледно вырисовывается на периферии леонтьевских воззрений — обстоятельство, чрезвычайно удивлявшее исследователей.⁵⁵ Более того, Леонтьев «встал как бы против Христа, в упор, прямо, и, завертываясь в греческую тунику, повернулся со словами: „Не нужно! не хочу!!.. и не уважаю!!!“ Это „бунт“ почище карамазовского, по спокойствию тона, в котором он ведется».⁵⁶ «Бунт» этот — все та же реакция против «кротости», «всепрощения», «любви», в проповеди которых он видел источник старческого расслабления культуры, внесение в христианство «слишком розового оттенка» (8, 199). Но, пожалуй, более значим тот факт, что Леонтьев, вовсе не поднимая «бунта», просто проходил мимо возвещенного Христом *свободного* принятия человеком слова Божия. Признавая меч Матфеева Евангелия, он не признавал еще более важных слов Иисуса в Евангелии Иоанна: «Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Ин., 12, 47—48).

Леонтьев не вслушивался в это слово «последнего дня». Оттого так невняты для него апокалипсические обетования, оттого столь одностороння, слишком «ветхозаветна» его эсхатология. Оттого не хотел он расслышать и «русское окончательное слово» у Достоевского. «Окончательное слово?.. Что такое окончательное слово на земле? Окончательное слово может быть одно: конец всему на земле!» (7, 483). О том, что именно слово простирается за пределы земли, что, окончательное здесь, принявшее в себя последние земные итоги, — как слово Достоевского, — оно бесконечно по своему смыслу там, у начального Слова, — об этом нет речи.

Однако и тут еще не весь Леонтьев.

В его многосторонней личности, где каждая грань так резко очерчена, так рельефно («горельефно», сказал бы сам Леонтьев) выдается из среднего уровня эпохи, есть одна сторона, менее всего осязаемая, слабее всего оформленная, реже всего являемая постороннему взору. Эта сторона его натуры заключает в себе много светлой поэзии, не разгоряченной эстетическими вожделениями, поэзии детской веры, первых впечатлений от Оптиной, первых молитв рядом с матерью и сестрой. Она всегда жила в душе Леонтьева. «От этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет» (9, 25), — вспоминал он позже.

Розанов почуствовал в нем эту поэзию прежде всего через Оптину пустынь, которая поначалу и привлекала тем, что в ней жил Леонтьев. Оптина казалась «самым поэтичным и самым глубокомысленным местом среди прозаичных и скучно-либеральных „Петербурга“ и „Москвы“»,⁵⁷ а Леонтьев представлялся «чистой жемчужиной в своей Оптиной пустыни, как на дне моря».⁵⁸

Особенную оптинскую атмосферу, высокодуховную, благодатно просветленную, ощутил еще Гоголь (близкий Леонтьеву в иных нравственно-религиозных настроениях), писавший после поездки в пустынь А. П. Толстому: «Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении,

⁵⁵ Булгаков С. Указ. соч. С. 130.

⁵⁶ Русский вестник. 1903. № 6. С. 417.

⁵⁷ Там же. № 4. С. 633.

⁵⁸ Там же. С. 635.

хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное». ⁵⁹

В Оптиной с Леонтьева как будто спадала пепельная ветхозаветная пелена, прояснялся и светлел его суровый лик, обычно без любви и надежды вззирающий на мир. В такие минуты в нем отражался лик Амвросия — всегда веселый, «цветущий духовной радостью», миротворящий. ⁶⁰ Эти черты отмечал в старце и сам Леонтьев. По взгляду своему на аскезу и послушание он предпочел бы видеть в духовном руководителе грозного, безжалостного судью своим чувствам и помыслам; в Амвросии же, не без некоторого недоумения, находил, что тот «скорее весел и шутлив, чем угрюм и серьезен, — весьма тверд и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостлив и добр». ⁶¹

Леонтьев отчасти избавлялся здесь от того свойства своей религиозности, которое сам признавал «игом» (6, 340), почти непосильным для него, но добровольно принятым как личный подвиг, как внутренние вериги, чтобы смирить гордыню и своеволие. Он как будто боялся за себя без этого «ига». И только в Оптиной страх отпускал его, только здесь, кажется, он был способен услышать слова Иоанна: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (I Ин., 4, 18). Здесь он освобождался от непомерного волевого напряжения в вере — а его испугом рожденная вера была (и в этом прав С. Н. Булгаков) именно «волевая вера», ⁶² — и его отношение к Богу становилось *доверчивее, любовнее, свободнее*.

Скрытые глубоко внутри, такие перемены в его религиозном чувстве давали о себе знать в его любви к Амвросию. Замечательно, что она лишена обычной для его мысли и душевных движений доходящей до края страстности. «Мое чувство к нему было более духовного оттенка», ⁶³ — писал Леонтьев после смерти старца. И это чувство было неизменным и сильным. Находясь вдали от Амвросия, Леонтьев испытывал духовное томление; ⁶⁴ только в старце он находил источник полного, правильного христианского мироощущения, спасительного для Леонтьева и еще для многих, чьи верования страдали односторонностью, роковой непросветленностью и кто мучительно отыскивал путь ко Христу. Такое значение старца Леонтьев прежде всего и подчеркивал, говоря, что тот «стал великим спасителем других: он спас Ф. П. Чуфрина от самоубийства; он меня, окаянного и многогрешного, поддерживал на правильном пути в течение 17 лет». ⁶⁵

Влияние Амвросия состояло не в исцелении душевных немощей, не в «изгнании бесов» — знавший и укрощавший в себе аскезой «страстно-демонические» силы Леонтьев больше нуждался в другом. Амвросий помогал, чаще опосредованно, неощутимо, пробуждению трансцендентных возможностей духа, высвобождению их из судорожных объятий леонтьевского страстного и надменного «плотского ума». Вот в такие, редкие, правда, моменты освобождения Леонтьев — не мыслью (он «нефилософский человек», по определению Б. В. Никольского), но религиозно-эстетической интуицией постигал иное мироотношение. Направляемый старцем, он получал доступ к *благодати*, он верил, что через

⁵⁹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.], 1952. Т. 14. С. 194.

⁶⁰ [Агапит, архимандрит]. Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского старца иеромонаха Амвросия: В 2 ч. М., 1900. Ч. 1. С. 89, 123, 126.

⁶¹ Русский вестник. 1903. № 6. С. 423.

⁶² Булгаков С. Указ. соч. С. 125.

⁶³ Русский вестник. 1903. № 6. С. 429.

⁶⁴ Памяти Константина Николаевича Леонтьева. . . С. 134.

⁶⁵ Александров А. Указ. соч. С. 125.

Христа земное прощено (отныне стал «мир с Богом», а не «договор» по ветхой букве закона) и любовно принято в целокупность Бытия, что земное взаимно открыто Бытию в вере.

Для подобных переживаний в Леонтьеве сохранялась неоскудевшая, неиссушенная душевная почва. О том свидетельствует жившая в нем потребность «разрешить в Боге» «мировую тоску, тоску безграничную ненасытной и широкой души». ⁶⁶ О том же говорит не утраченная им способность откликаться на неуловимое мистическое веяние в слове; она сказалась в восприятии им творений Исаака Сирина, где он слышал «какую-то особую мистическую музыку». «При чтении его задумчивых поучений, — признавался он, — ощущается нечто особое, пробуждается у верующего человека особое чувство, духовность и сила которого доходит до физического томления». ⁶⁷

По многим внешним признакам можно заключить, что в Оптиной Леонтьев ближе всего подходил к новозаветному мироотношению, здесь существенно корректировалась его «византийско-мусульманская» религиозность в сторону святоотеческого и оптинского богомыслия. Здесь его страстная, всегда острием в мир — против мира — направленная активность меняла очертания. Она шире, доверчивее раскрывалась Бытию, взыскуя благодати, и творчески, духостроительно входила внутрь его личности. Уже не мечом чертился закон на тленном теле мира, а «божиим сверлом» (по выражению старца Леонида) проникала истина в глубину его собственного духа.

Перед Леонтьевым в такие моменты раздвигался духовный горизонт; о нем можно было сказать словами Илариона, что он «уже не гордится въ законѣ, но въ благодати пространно ходить». При чем когда приоткрывался его внутреннему взору бытийный простор, то менялось и его ощущение земного пространства.

Обыкновенно он мыслил конечными величинами, границами, водоразделами, замкнутыми и чаще условными областями — таковы у него Запад, Византия, Турция, нередко и Россия. Все это — арены для развертывания «триединого процесса», для трехактной трагедии европейской культуры (с ее русскими парафразами), и разыгрывается она в столь же условных декорациях. В этих пространствах нет и не может быть реальной *дали*, уходящей за пределы действительности, за границы современности и даже истории. Да она и не нужна Леонтьеву-мыслителю. Пока он — скорбный или негодующий наблюдатель, исследователь-патолог разнообразно умирающей на этих пространствах культуры.

Но, поселившись наконец возле оптинских стен в 1887 году, он оказывается в точке с совсем иной перспективой. Здесь он как-то особенно дальнорочно видит, остро чувствует пространство именно России и, что главное, в Оптиной соотносит себя с этим пространством так, как новозаветное мирозерцание соотносит земное существование с целым Бытием.

«Перед окном моим бесконечные осенние поля — так начинается Леонтьев «Записки отшельника». — Я счастлив, что из кабинета моего такой дальний и покоящий вид. . . Прекрасен тот дом, из которого вид на широкие поля. . . и в этом доме я, давно больной и усталый, но сердцем веселый и покойный, хотел бы под звон колоколов монашеских, напоминающих мне беспрестанно о близкой уже вечности, стать равнодушным ко всему на свете, кроме собственной души и забот о ее очищении! . . .» Но, вопреки желанию отрешиться от всего

⁶⁶ Леонтьев К. Н. Отшельничество, монастырь и мир. . . С. 43.

⁶⁷ Леонтьев К. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни: (С приложением его писем). 4-е изд. Казанской Амвросиевой женской пустыни собственная типография. Шамордино (Калужской губ.), 1915. С. 47.

земного, он именно здесь «чувствует себя живую часть того великого и до сих пор еще не разгаданного целого, которое зовется „Россия“» (6, 83).

Все это только эпизоды среди множества других, совсем, как мы видели, иного рода эпизодов его духовной биографии. Но когда подобные состояния переживает такая личность, как Леонтьев, — это многозначительные не только для нее, но и для культуры события.

Он и сам понимал и, предвидя скорую кончину Амвросия, писал о том, какую «историческую великую роль играет в XIX веке в России Оптиная пустынь и как важно для мирян ее идеальное влияние».⁶⁸ Факт построения в Оптинский скит двух молодых людей из лучшего русского дворянства⁶⁹ вызывает у Леонтьева на редкость отрадное, почти умиленное чувство, о чем рассказывает он в 1890 году в статье «Добрые вести», а вслед за этими примерами «религиозного обновления» (которое испытывал и он сам) развивает мысль о выдающемся значении в русской жизни монастырей вообще и Оптиной в частности, и едва ли не впервые в своей публицистике говорит об этом с точки зрения «духовного устройства» личности, как оно понималось православной аскетикой (8, 381—384). За несколько лет до того, в одной из статей «Варшавского дневника», он помещает, с выразительным комментарием, красноречивый список во много десятков имен (в том числе и довольно известных) оптинских иноков, вышедших из образованных и состоятельных сословий (7, 512—514). Нет сомнения, что в глазах Леонтьева Оптиная пустынь была, может быть, единственным обнадеживающим свидетельством духовного оздоровления и возрождения русского общества.

Линия судьбы Леонтьева-мыслителя, Леонтьева-христианина донельзя трагична и продолжением своим уходит в область культурных кризисов, социальных катастроф рубежа веков и нынешнего столетия; об этом говорил уже С. Н. Булгаков, прямо называвший Леонтьева «декадентом», в котором «находит выражение кризис новоевропеизма».⁷⁰ О том же говорил Б. А. Грифцов, затем Н. А. Бердяев — вообще все, кто прослеживал эту линию в ее дальнейших изломах и неизбежных тупиках.

Оптинское ответвление этой линии если не переменяло решительно всей жизни Леонтьева (чего и не могло быть), то все-таки дало самые плодотворные и здоровые побеги. Вблизи Амвросиевой кельи как раз развернулось всего свободнее и многообразнее его творчество, нашли исход могучие умственные и нравственные силы. Их вовсе не подавляла воля старца, не сводила «леонтьевскую сложность» к элементарности, как то считает Б. А. Грифцов.⁷¹ Напротив, мысль Леонтьева в эту пору, при всех ее эксцессах, являет собой, говоря его же словами, «цветущую сложность». Она богата идеями, ход ее быстр и отчетлив, выводы крупны и смелы. Достаточно напомнить, что было создано им хотя бы в последние годы, когда он постоянно жил в пустыни. Это «Записки отшельника» (1887), «Владимир Соловьев против Данилевского», «Племенная политика как орудие всемирной революции», «Плоды национальных движений на православном Востоке», «Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву»; это статьи о Достоевском и Л. Толстом, в том числе знаменитый «Анализ, стиль и веяние» — лучшее литературно-критическое творение Леонтьева; это письма

⁶⁸ Александров А. Указ. соч. С. 108.

⁶⁹ Один из них — двоюродный брат С. А. Толстой Б. В. Шидловский.

⁷⁰ Булгаков С. Указ. соч. С. 124.

⁷¹ Сущность власти старца над личностью Б. А. Грифцов видит в его «условной авторитетности», в «исцеляющей иррациональности», которая есть «чистая форма трансцендентной случайности» и сродни «классическому религиозному гаданию». См.: Русская мысль. 1913. № 4. С. 10—14 (вторая пагинация).

к И. Фуделю «О Владимире Соловьеве и эстетике жизни», письма к Розанову. В Оптиной написан ряд воспоминаний (в частности, «Мои дела с Тургеневым»), а прежде, в 1874 году, начата вторая часть «Одиссея Полихрониадеса» (Леонтьев полагал, ссылаясь на авторитетные мнения, что она «не хуже „Обломова“»); в 1875-м, в пустыни же, начата автобиография «Моя литературная судьба». И это еще далеко не все.

Главные коллизии эпохи, глубоко захватив Леонтьева, не получили в нем разрешения — ни теоретического, ни художественного, в отличие от Соловьева, Достоевского например. Если рассматривать его судьбу в плане религиозно-философском, то можно сказать, что в попытке преодолеть в себе и в современной культуре «люциферическое», разрушительное начало, остановить движение к хаосу Леонтьев апеллировал к «закону», внутренне же все более со временем тяготел к «благодати», интуитивно следуя живым в его сознании традициям православной духовности. В этом смысл его отношений с Оптиной.

Борение его было страшно, «а вознаграждалось оно для него лишь неутоленной жаждой. Радость и свет ему были ведомы столь же мало, как и Гоголю».⁷² Но все-таки важно, что он — воспользуемся вновь верной формулировкой С. Н. Булгакова — «нашел в себе силу не только поставить перед мыслью, но и жизненно углубить вопрос о религиозной ценности культуры, ценою отщепенства и исторического одиночества».⁷³

* * *

Куда шел Лев Толстой, покидая Ясную Поляну 28 октября 1910 года? Событие, ставшее всемирно известным как *уход*, чаще всего понимается как уход *от* — от того, с чем не могла примириться совесть писателя. Уход *куда* — такой вопрос почти не ставился; само собою разумелось, что «уйти было куда» — и в смысле места, и в смысле внутреннего исхода для Толстого, о чем вскоре после смерти его писал А. С. Волжский.⁷⁴

Но именно то, куда направился Толстой из Ясной, имело исключительно важное значение. Очевидно было, что духовный путь его далеко не окончен, что приоткрывается какая-то иная перспектива, что не отрицание — последнее слово писателя. Так понял уход В. Ф. Эрн. «Толстому стало тошно жить в своей яснополянской нехлюдовщине, и он ночью тайком бежал. Необычайно характерно, *куда* он бежал. Нехлюдов в своих произведениях с такой ясностью доказал, что Церковь — обманщица и совратительница, что, казалось бы, Толстому нужно было в своем уходе из дома за тридцать верст обходить каждую церковь. И вместо этого Толстой едет в Оптину пустынь, в одну из твердынь церковной, т. е. самой ужасной лжи, к старцам, этим наиболее сильным, по Нехлюдову, соблазнительям и обманщикам. Чувствуя свою слабость в личном сознании Толстого, чувствуя, что Толстой вот-вот готов уйти из его рук, Нехлюдов обертывается Чертковым. . .»⁷⁵

Что Толстой в роковую минуту своей жизни шел к старцам (и только Толстой, а не толстовец мог сделать это), говорило, по мнению С. Н. Булгакова, о начинающейся в нем «новой, трудной душевной работе».⁷⁶ Скорее, кажется,

⁷² Булгаков С. Указ. соч. С. 134.

⁷³ Там же. С. 133.

⁷⁴ Волжский А. С. Около Чуда (о Толстом) // О религии Льва Толстого: Сб. второй. М., 1912. С. 208.

⁷⁵ Эрн В. Толстой против Толстого // О религии Льва Толстого. . . С. 219.

⁷⁶ В кн.: О религии Льва Толстого. . . С. 8—9.

то было возвращением к работе, начавшейся давно и почти прекратившейся в 80-е годы.

О последнем приезде Толстого в Оптину летописец Скита о. Иоанн (Полевой) рассказывает следующее. «Прибыл в Оптину пустынь известный писатель граф Лев Толстой. Остановившись в монастырской гостинице, он спросил заведующего ею рясофорного послушника Михаила: может быть, вам неприятно, что я приехал к вам? Я Лев Толстой; отлучен от церкви; приехал поговорить с вашими старцами. Завтра уеду в Шамордино. Вечером, зайдя в гостиницу, спрашивал, кто настоятель, кто скитоначальник, сколько братства, кто старцы, здоров ли о. Иосиф и принимает ли. На другой день дважды уходил на прогулку, причем его видели у скита, но в скит не заходил, у старцев не был и в 3 часа уехал в Шамордино. . . Встреча его с сестрою своею, шамординской монахиней, была очень трогательна: граф со слезами обнял ее; после того они долго беседовали вдвоем. Между прочим граф говорил, что он был и в Оптиной, что там хорошо, что с радостью он надел бы подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела, но что он условием бы поставил не принуждать его молиться, что он не может. На замечание сестры, что и ему бы поставили условием ничего не проповедывать и не учить, граф ответил: чему учить, там надо учиться, и говорил, что на другой день поедет на ночь в Оптину, чтобы повидать старцев».⁷⁷

К ним прежде всего и шел Толстой. Еще по дороге в Козельск, в вагоне, он расспрашивал про оптинских старцев, потом говорил о них с о. Пахомием, с Д. П. Маковицким. Последний особенно подчеркивал в дневнике «сильное желание побеседовать со старцами», чем и объяснял прогулки Толстого возле скита.⁷⁸ Желание видеться со старцами привело его в Оптину; еще более укрепилось оно после разговора с Марией Николаевной в Шамордино — сестра прямо советовала идти к о. Иосифу. И Толстой уже решил «непременно идти».⁷⁹ Что же остановило его? Опасение ли обеспокоить больного о. Иосифа? Или, как передавала М. Н. Толстая, боязнь, что старец не примет его, отлученного от церкви?⁸⁰ Возможно, заговорила в нем прежняя гордыня (причинившая в свое время душевное страдание о. Амвросию), когда, так и не решившись зайти в скит, он вдруг заявил Маковицкому: «К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы».⁸¹

Но, конечно, не этот отзвук затянувшегося его спора с историческим христианством, с Церковью определял настроение Толстого в те дни. Духовно он к тому моменту уже оставлял путь отрицания, путь той деятельности, которой с такой энергией, страстью предавался он последние тридцать лет, приобретая ею отвергаемую им же самим мирскую славу, деятельности, которая исчерпала себя и привела, а лучше сказать — вернула к нерешенному некогда, давно поставленному вопросу о другом пути.

Теперь Толстой окончательно освобождался от «похоти учительства» (его слова в «Исповеди»), причем освобождался с помощью старца, чье слово, как бы ни относился к нему Толстой в 90-е и 900-е годы, всегда жило в его душе. «Видел во сне, — записывает он 19 апреля 1909 года, — что кто-то

⁷⁷ ГБЛ. Ф. 214. № 367. Л. 185, об.—186.

⁷⁸ *Маковицкий Д. П.* Яснополянские записки // Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 4. С. 405. Был и еще один свидетель этих прогулок — убогий Зиновий. По его словам, «в первый раз граф входил в наружную дверь хибарки, но воротился; еще было рано, и внутренние двери были заперты; во второй раз у дверей кельи было много народу, и граф прошел мимо к большой дороге, ведущей в пустынь» (*Е. В. Л. Н. Толстой и Оптиная пустынь // Душеполезное чтение.* 1911. № 1. С. 26).

⁷⁹ Об этом М. Н. Толстая писала позже С. А. Толстой. См.: *Бирюков П. И.* Биография Льва Николаевича Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 4. С. 241.

⁸⁰ *Маковицкий Д. П.* Указ. соч. С. 408.

⁸¹ Там же. С. 405.

передает мне письмо или молитву оптинского старца (забыл, как его зовут)⁸² — старца учителя, я читаю и восхищен этим писанием. Там много всего прекрасного, спокойного, старчески мудрого, любовного, но я все забыл, кроме одного, особенно тронувшего меня: то, что он никого ни учить не может, ни советовать поступить так или иначе. Учить не может, во 1-х п(отому), ч(то) не считает себя выше и умнее кого бы то ни было, во 2-х п(отому), ч(то) все, что нужно знать человеку, сказано в откровении (так говорит старец) и в сердце каждого».⁸³

Еще недавние мысли самого Толстого смешиваются здесь со словом Амвросия, но замечательно, что именно оптинского старца образ и слово возникают в его душе, когда совершается последний поворот в его духовных исканиях. От «человека внешнего» он обращается к «человеку внутреннему», от прагматического христианства без Христа, от эвдемонического, насквозь душевно-телесного аскетизма, от соблазна «нового искупления» собственными силами, от возобновления всех старых ересей Феодосия Косого, «жидовствующих», Матвея Башкина, социнианцев и иных антитринитариев намечается поворот к подлинной аскетической культуре, к постижению истины и блага в мире сотворенном, а через него (но не помимо, не отрицанием его), через историческое христианское делание — в Логосе творящем.

Назвать это вступлением на совершенно новый для Толстого, не известный прежде путь не вполне верно. Это, скорее, продолжение пути, начатого в 60-е годы, возвращение после тяжелого искуса предпринятой Толстым нравственно-религиозной реформации к недоконченной некогда работе. Тогда, в самый разгар ее, осенью 1865 года, он писал А. А. Толстой (со свойственным ему в письмах к ней жестким, оголенным самоанализом): «Я теперь уже знаю, что у меня есть душа, и бессмертная (по крайней мере, часто я думаю знать это), и знаю, что есть Бог. . . Я вам признаюсь, что прежде, уже давно, я не верил и в это. Последнее время чаще и чаще во всем вижу доказательство и подтверждения этого. И рад этому. Я не христианин и очень еще далек от этого; но опыт научил меня не верить в непогрешительность своих суждений, и все может быть!» (61, 115).

Пробужденное любовью и питаемое новым жизненным чувством религиозное сознание его в 60-е годы развивалось стремительно, хотя в значительной степени стихийно, минуя многие ступени и формы, выработанные православной культурой. Христианское мироощущение у Толстого часто возникает как бы само собой из сгущения, избытка пантеистически окрашенной жизни, чему прекрасная художественная иллюстрация — Наташа Ростова. В ней «чего-то слишком много», кажется старой графине, и «от этого она не будет счастлива». Да, уже не будет счастлива безмятежно-язычески, не будет счастлива вне напряжений духа, приходящего через страдание к Богу. Но будет счастлива иначе. В переполненности ее натуры жизнью, в бессознательной, чудесной свободе ее личностного самоосуществления Толстой интуицией христианского художника угадывает и поэтизирует присутствие благодати. И именно Наташе дает он способность глубокого богообщения, острое чувство греха, раскаяния, смирения, проводит ее через очищающее страдание. Такова Наташа, когда во время говения — уже пережив любовь, мучительную страсть, болезнь —

⁸² Разумеется, Амвросия. Толстой трижды беседовал с ним; именно Амвросием произнесенное слово или даже не вполне высказанная мысль обладали исключительной суггестивной силой. Воспринятые иногда неосознанно, они воскресали потом в душе посетивших старца в чрезвычайно яркой форме (часто как раз во сне).

⁸³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 57. С. 50. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

она перед черным ликом Божией Матери произносит молитвы раскаяния, когда потом в домовой церкви Разумовских ее интимная молитва сливается с общей молитвой «о свышнем мире и о спасении душ наших», с молитвой о спасении России от нашествия, и Наташа приходит в то состояние «раскрытости душевной», через которое благодатные дары, входя в человеческую природу, преображают и бесконечно возвышают ее.

Мирозерцание Толстого в 60-е годы несет в себе черты христианского онтологизма, к которому восходит он в своем искании Бога через любовь к жизни. «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога» (12, 158). Вот мысли Пьера и самого Толстого. С высоты своего духовного взлета в ту пору он созерцает всю совокупность исторической жизни — и одновременно свободно поднимается к надысторическому; интеллектуально и эстетически обнимая эмпирию мира, он открыт трансцендентному. На этой высоте он ощущает совершенно новую для него свободу и небывалые творческие возможности. «Это состояние дает мне ужасно много умственного простора, — пишет он А. А. Толстой. — Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. . . Я теперь писатель *всеми* силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и [не] обдумывал» (61, 23—24). Наиболее полным и совершенным выражением этого состояния Толстого тогда стала его эпопея.

В эту пору взгляд Толстого обращается к Оптиной. В 1865 году он собирается ехать с сестрой в пустынь говеть, о чем сообщает в письме к И. П. Борису (61, 92). Тогда поездка не состоялась, но намерения своего Толстой не оставил. В 1870 году он предполагал съездить в Оптину с С. С. Урусовым (61, 241—242), но и это не удалось. Не теряя все-таки надежды, он писал в конце года: «Поездка в Оптину все манит меня» (61, 245).

Тяготение к пустыни не было неожиданным и случайным в жизни писателя. «В семье Толстых, — вспоминала С. А. Толстая, — монастырь этот был особенно почитаем. Туда ежегодно ездила родная тетка Льва Николаевича гр. Александра Ильинична Остен-Сакен, там она и умерла, там и похоронена, близ церкви. Возле нее похоронили и Елизавету Александровну Толстую, урожденную Ергольскую, родную сестру Татьяны Александровны Ергольской. Подрастающим детям Толстым было внушено особое благоговение к Оптиной пустыни, и, как я замечала, оно всегда жило в глубине души каждого из них».⁸⁴ Толстой хорошо знал о религиозных настроениях Александры Ильиничны и о ее общении со старцем Леонидом (34, 363); о поездках обеих теток в пустынь, о любви их к странникам он упоминал в вариантах «Исповеди» (23, 511). Немалую роль в отношениях его к Оптиной играло то обстоятельство, что М. Н. Толстая, с которой Лев Николаевич всегда был внутренне очень близок, уйдя в монастырь и живя в Шамордино, находилась под сильным духовным влиянием старца Амвросия.

Толстому при всем желании долго не удавалось попасть в Оптину, и трудно сказать, что было настоящей причиной. Впрочем, не один он был в таком положении. Знакомый Н. Н. Страхова юрист П. А. Матвеев уверял, что побывать в Оптиной не так просто: непременно «встретятся всякого рода препятствия и задержки, что это испытали на себе многие лица — какая-то сила мешает».⁸⁵ Оптина требовала особого состояния духа; отсутствие его и не пускало в обитель.

⁸⁴ Толстовский ежегодник 1913 года. СПб., 1913. Отд. III. С. 3.

⁸⁵ Толстовский музей. СПб., 1914. Т. 2. С. 93.

Зачем Толстой стремился в пустынь в середине 70-х годов, он объяснял в письме к Н. Н. Страхову (с которым поездка в конце концов и состоялась): «Как странно, что вы ищете монахов, хотите ехать в Оптину пустынь. То самое, что я хотел и хочу» (62, 184). Страхов надеялся увидеть в монастыстве «живущую в людях религию» — в противоположность сложившемуся в нем самом богословско-философскому умозрению, которое не удовлетворяло его, не возбуждало в нем того желанного «огня, который бы согрел всю душу».⁸⁶ Толстой искал в монастыстве те опоры, которые нужны были ему для возводимого им тогда нового религиозно-нравственного мирозерцания. Он чувствовал, что этих опор не доставало его постройке, что не хватает тех звеньев, которые веками создавались историческим христианством, которые вырабатывала православная аскетика и которые он, интеллектуально опирающийся на европейский XVIII век, пытался заменить аксиомами гносеологического и этического рационализма.

«Есть люди мира, тяжелые, без крыл. . . — записывает Толстой в 1879 году. — Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. . . Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко» (48, 195). Воспаряя бесконечно высоко, Толстой после «Анны Карениной» часто оставался на той высоте без необходимых духовных опор — когда решал обойтись в деле совершенствования человека без истин Откровения в религиозно-философской полноте их смысла, без метафизики Предания, убежденный, что воля Отца может быть исполнена помимо Сына, вне Христа-Логоса,⁸⁷ лишь следованием моральной букве Нагорной проповеди. Тогда он вынужден был спускаться слишком низко и ломал крылья. Понятно его тяготение к тем, кто «медленно поднимался и взлетал» на долго выроставших крыльях.

В ноябре 1876 года он снова зовет Страхова в Оптину; в феврале 1877-го, твердо решив ехать летом в пустынь, говорит о самой важной цели поездки: «Там я монахам расскажу все причины, по которым не могу верить» (62, 311).

25—27 июля 1877 года Толстой ездил со Страховым в пустынь.⁸⁸ Он отстоял там всю ночь (см.: 83, 238), беседовал с Амвросием, с архимандритом Ювеналием (Половцевым), с о. Пименом (62, 335). Умиротворенное настроение было несколько нарушено приездом семейства Д. А. Оболенского, но это не слишком огорчило Толстого. Разговорами с Амвросием он остался очень доволен, как вспоминала о том С. А. Толстая, и высоко отзывался о мудрости старцев и духовной силе Амвросия.⁸⁹

И отношение оптинцев к Толстому оказалось самым добрым, насколько можно судить по рассказу побывавшего там вскоре П. А. Матвеева. Передавая его слова, Страхов писал в Ясную Поляну: «Отцы хвалят Вас необыкновенно, находят в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас вовсе нет этой гордости. Боятся, как бы литература не набросилась на Вас за 8-ю часть и не причинила Вам горестей. Меня о. Амвросий назвал молчуном и вообще считают, что я закозвел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере».⁹⁰

⁸⁶ Там же. С. 62.

⁸⁷ См. об этом: Бердяев Н. А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого // О религии Льва Толстого. . .

⁸⁸ ГБЛ. Ф. 214. № 369. С. 43.

⁸⁹ Толстовский ежегодник 1913 года. Отд. III. С. 3.

⁹⁰ Толстовский музей. Т. 2. С. 126.

После поездки произошли заметные изменения в настроениях Толстого. «Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне. . .»⁹¹ — записывает 25 августа С. А. Толстая. Казалось, что он разрешил в себе какие-то самые главные, измучившие его вопросы. «После долгой борьбы неверия и желания веры — он вдруг теперь, с осени, успокоился. Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу. Когда его спрашивают, почему именно он избрал эти обряды для исполнения верований, он говорит: „Я буду стараться и желаю достигнуть всех законов церкви, а пока исполняю какие могу“».⁹²

Но катастрофа религиозного сознания была уже неотвратима. Перелом наступил в 1879 году, и последующие три десятилетия прошли в ожесточенной полемике с церковью, в опровержении догматики и в «разоблачении» таинств, в проповеди толстовского народнического аскетизма и толстовской ветхозаветно-буддийской религии самоспасения. Так отозвался вечно беспокоящийся, ищущий дух Толстого на глубокий кризис культуры в последней трети века.

И тем не менее споря, обличая, проповедуя, он все-таки шел в Оптину. Следующее посещение ее Толстым относится к июню 1881 года. Он отправился туда пешком в сопровождении яснополянского учителя Д. Ф. Виноградова и слуги С. П. Арбузова. «Паломничество мое удалось прекрасно, — писал он Тургеневу. — Я наберу из своей жизни годов 5, которые отдам за эти 10 дней» (63, 70). Отрадные впечатления на этот раз были вызваны путешествием, дорогой, а не монастырем. Совсем иными глазами смотрит теперь Толстой на пустынь, на старца: его раздражает «болезненная» вера «бедного» Амвросия; и в старце, и в других монахах он находит суетность, грубость; он обвиняет Ювеналия и старца в непонимании Священного Писания (49, 143—144). И не удерживается от кощунственного слова: «Я дома монастырь сделаю. Певчих позову, полведра поставлю. Отдернут такую, что — » (49, 142). Впрочем, рассказывали и то, что именно в это посещение Толстой после встречи со старцем произнес известные слова: «Этот о. Амвросий совсем святой человек».

Еще более непримиримо был настроен Толстой в свой приезд в феврале 1890 года. Не столько пустынь, сколько старые монахи и сам Амвросий вызывали беспощадное его осуждение. Все, что говорила тогда об Амвросии сестра, казалось ему «ужасным»; старец представлялся «жалким своими соблазнами до невозможности» (51, 23). «Горе их, — заключает Толстой, повторяя извечные антиклерикальные обвинения, — что они живут чужим трудом. Это святые, воспитанные рабством» (51, 23). Излишне возражать здесь против подобных обвинений, но характерен сам ход толстовской мысли и особенно последнее суждение. По инерции продолжающаяся просветительская критика христианства странно соседствует с признанием святости аскетов. Это не случайность: да, молодые послушники ступые, повторяет Толстой и испытывает неподдельное умиление, глядя на поступившего в Оптину Б. В. Шидловского, двоюродного брата Софьи Андреевны (51, 23). С молодыми послушниками — Бог; «старцы не то, с ними дьявол» (51, 23).

Тогда же Толстой посетил К. Н. Леонтьева, поселившегося в Оптиной: «Был у Леонтьева. Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере» (51, 23—24). Другие небезынтересные подробности их разговора передает историк пустыни: «Во время чая разговор коснулся старца о. Амвросия. „Вот человек хороший! Я был у него и завтра думаю опять побывать. Он преподает Евангелие, только

⁹¹ Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 503.

⁹² Там же. С. 505.

не совсем чистое, а вот — мое Евангелие“ — при этом взял из своего кармана книжку и подал Леонтьеву. В это время у Леонтьева была брошюра Елеонского, в которой доказана тождественность и неповрежденность Евангелия и отвергались противные мнения Толстого. Леонтьев подал ее Л. Н., но он сказал: „Брошюра дельная, она рекламирует и мое Евангелие“. Тут Леонтьев не сдержал себя, вспыхнул и сказал: „Как это возможно, чтобы здесь, в пустыни, быть, где такой старец, как о. Амвросий, и говорить о своем Евангелии? Это можно разве в какой-нибудь глуши, в Томске что ли“». ⁹³

Замечание это задело Толстого; он резко отвечал Леонтьеву, после больше не ходил к старцу и вскоре уехал из пустыни. Другой источник иначе изображает конец разговора. Толстой без всякого негодования и сарказма говорил Леонтьеву: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради Бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите!» ⁹⁴

Амвросий после этой встречи с Толстым передавал Леонтьеву (через о. Ераста Выдропского) следующее. Толстой пробыл в келье около часа. Когда он входил к Амвросию, то после благословения поцеловал у старца руку, а при прощании, чтобы избежать благословения, поцеловал Амвросия в щеку. После беседы старец едва дышал — так был он утомлен разговором — и напоследок добавил: «Горд очень». ⁹⁵

Свидетелем прощания Толстого со старцем был также духовный сын последнего Ш. Он слышал, что старец просил Льва Николаевича принести печатное покаяние в своих заблуждениях. Летописец Скита, видимо, более точен в передаче этого эпизода: «...старец произнес тяжелое слово о грехах графа против Церкви, которые он наложил на свою душу». ⁹⁶ Выйдя от Амвросия в общую залу, Толстой признался, что растроган, и собирался побывать у старца на другой день. ⁹⁷

В этот приезд в пустынь, скорее всего, и получил отчетливый вид замысел «Отца Сергия» и начал постепенно насыщаться деталями обстановки и лиц, почерпнутыми из последних оптинских впечатлений писателя.

В четвертый раз Толстой побывал в Оптиной в августе 1896 года. Сведений об этом посещении почти не сохранилось, но, судя по всему, оно мало что изменило в отношении к обители и к старцам. Тогда Толстой, закончив *свое* Евангелие, начал работу над *новым* «Воскресением» (как писал он в дневнике 7 ноября 1895 года).

В октябре 1910 года Толстой приходил в Оптину внутренне другим, с иными надеждами и ожиданиями, приходил «в час немой предсмертной тоски и непонятного томления». ⁹⁸ Леонтьев ошибался в своем приговоре: Толстой не был «безнадежным» — ни в 1890 году, ни тем более позже. Он знал, куда и зачем идет в конце своего мирского пути. Действительно, «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф., 6, 21), даже и ожесточившееся сердце. ⁹⁹

⁹³ Е. В. Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита. Троице-Сергиева лавра. 1902. С. 128.

⁹⁴ Памяти Константина Николаевича Леонтьева. . . С. 135.

⁹⁵ Е. В. Историческое описание. . . С. 128.

⁹⁶ ГБЛ. Ф. 214. № 366. Вкладной лист.

⁹⁷ Е. В. Историческое описание. . . С. 128.

⁹⁸ Флоровский Г., *прот.* Пути русского богословия. 2-е изд. Paris, 1981. С. 391.

⁹⁹ По неизбежной здесь краткости изложения обозначены лишь некоторые моменты отношений Л. Толстого с православной культурой — те, что яснее всего выступали в соприкосновении с Оптиной. Линия религиозно-философской и этической мысли Толстого дана по необходимости пунктирно и поэтому, с пропуском ряда фазисов, ответвлений, смены настроений и оценок, выглядит

* * *

В заключение — о писателе, который в Оптиной не был, о ней не упоминал и, кажется, не только никак не связан с нею, но и вообще, по устойчивому нашему о нем представлению, вполне чужд тому, что называется православной культурой. В нем, в Чехове, даже пронизательный А. С. Волжский находил «безволие в вере, религиозное безмолвие, немоту и немощь».¹⁰⁰ Найдется немало авторов, готовых убедительно обосновать и усилить эту оценку.

Но в начале века безвестный читатель из Смоленска гораздо глубже взглянул на личность и творчество Чехова. Он уподобил его тем «народным праведникам и сострадальцам, какие жили прежде, да и теперь иногда светят на всю нашу родину сердечным, всех привлекающим душевным светом», и из праведников этих назвал Амвросия Оптинского.¹⁰¹ Далекое не случайное и не поверхностное уподобление. С ним согласились бы многие, и среди первых — В. Ф. Эрн, считавший, что Чехов, «сознанием живший вне всякой религии, в внутреннем λόγος'е своих художественных созерцаний существенно православен».¹⁰²

В Оптиной только плотнее, гуще переплелись те нити, которыми пронизана русская литература и по которым происшедшее девятнадцать веков назад передавалось и чеховской Василисе, и студенту Великопольскому, и смоленскому читателю.

несколько выпрямленной сравнительно с действительностью. Известно, что Толстой не только в творчестве, но и в глубине миросозерцания многое «делал от себя потихоньку» (74, 124). Все это и осложняло духовный путь его, и делало итоги последнего, может быть, более многозначными, чем то вырисовывается из нашего очерка. Учесть и суммировать такие осложнения — задача дальнейшего обстоятельного исследования.

¹⁰⁰ Волжский А. С. Достоевский и Чехов: Параллель // Русская мысль. 1913. № 5. С. 40.

¹⁰¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1982. Т. 11. С. 396.

¹⁰² Эрн В. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Московский еженедельник. 1910. № 30. Стлб. 32.

ВОКРУГ ЭПОПЕИ

(И. С. ТУРГЕНЕВ И Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1860—1870-е годы)

Вступление Толстого в литературу напоминало светлый праздник. Участники его — люди сплошь умные, доброжелательные, талантливые: редакция журнала «Современник» во главе с Н. А. Некрасовым. А пожалуй, первым литератором, который с величайшим нетерпением ожидал приезда Толстого из Севастополя в Петербург и горячо приветствовал его, уже тогда прозорливо оценив по достоинству его могучие творческие потенции, был Тургенев.

Еще до личного знакомства с Толстым письма Тургенева пестрят восторженными суждениями о своем новом литературном собрате. Наиболее характерные из них выстраиваются в единый ряд по принципу крещендо. Некрасову (по поводу «Детства»): «Ты прав — этот талант *надежный*. . . я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему».¹ П. В. Анненкову: «Я на днях познакомлюсь с сестрой Толстого (автора «Отрочества» — скоро не нужно будет прибавлять этого эпитета — одного только Толстого и будут знать в России)» (Т. 2. С. 232). И. Ф. Миницкому: «. . . в 10-м № „Современ(ника)“ Вы найдете повесть Толстого, автора „Детства“ — перед которою все наши попытки кажутся вздором. Вот наконец преемник Гоголя — нисколько на него не похожий, как оно и следовало» (Т. 2. С. 241). М. Н. и В. П. Толстым: «. . . я его ношу в сердце. . .» (Т. 2. С. 250). И. И. Панаеву о рассказе «Севастополь в декабре месяце»: «Статья Толстого о Севастополе — чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура!» (Т. 2. С. 297). О Толстом в письме В. П. Боткину: «Это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы» (Т. 3. С. 91). Тургеневские же осторожно наставнические обращения к самому Толстому исполнены порою нежности самой заботливой, уважения глубочайшего: «Разрастайтесь в ширину, как Вы до сих пор в глубину росли — а мы со временем будем сидеть под Вашей тенью — да похваливать ее красоту и прохладу. . .» (Т. 3. С. 77). Из позднейших мнений Тургенева особого внимания заслуживают его отзывы о «Войне и мире» в письмах к Толстому (9 января н. ст. 1880 года) и немецкому критику Людвигу Пичу (10 ноября 1881 года). В первом из этих писем, имея в виду экземпляры перевода «Войны и мира» на французский язык, Тургенев сообщал: «Я роздал их здешним влиятельным критикам. . . Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи» (Т. 12. Кн. 2. С. 197). В письме же к Людвигу Пичу Тургенев настаивал: «Мое мнение о романе твердо: это великолепнейший современный эпос» (Т. 13. Кн. 1. С. 359). Тургенев явно рассчитывал на положительные рецензии, которые могли бы способствовать росту популярности Толстого во французской и немецкой читательской среде.

Большинство этих суждений напоминает пророчества (и все они сбылись!), высказываемые без тени сальериевской зависти к таланту более высокому, даже единственному в своем роде.

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 79. Далее ссылки на это издание в тексте; ссылке на сочинения предшествует указание: Соч.

Тем, кто любит Толстого и Тургенева, хорошо известно последнее обращение буживальского затворника к затворнику яснополянскому: «Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго Вам не писал, ибо был и *есмы*, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу. . . Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам отсюда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! . . . Друг мой, великий писатель русской земли, внимайте моей просьбе! . . .» (Т. 13. Кн. 2. С. 180). Письмо проникнуто любовью и беспокойством. Любовь понятна. А беспокойство вызвано увлечением Толстого моральным проповедничеством, мешавшим, как казалось Тургеневу, развитию толстовского художественного дарования. Этим письмом как бы сводятся воедино концы и начала в общении Тургенева с Толстым. Так же как и в молодости, Тургенев на пороге смерти говорит о величии Толстого и приветствует в его лице великую русскую литературу, надежды которой он оправдал блистательно. Помимо своих высоких достоинств, человеческих и литературных, это письмо, как нам кажется, примечательно и бессознательной аллюзией на письмо Белинского к Гоголю от 20 апреля 1842 года, частично опубликованное А. Н. Пыпиным при жизни Тургенева (см.: Вестник Европы. 1875. № 2. С. 634—636). Вот наиболее подходящий для сравнения с процитированным письмом Тургенева отрывок из письма Белинского: «Дай Вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю Вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь *один*, — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с Вашей судьбою: не будь Вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества».²

Если Тургенев главную опасность для Толстого усматривал в его склонности к проповеди, излишнему «рассудительству», то Белинский опасался сближения Гоголя со славянофилами. В обоих случаях выражалась тревога за дальнейшую судьбу художника слова.

Поток хвалебных суждений Тургенева о Толстом в 50-х и начале 80-х годов можно сопроводить хронологически почти параллельным потоком хвалебных суждений Толстого о Тургеневе.

В научной литературе указывалось на идейно-художественную зависимость раннего толстовского рассказа «Рубка леса» от «Записок охотника».³ Недаром Толстому, идущему еще по следам Тургенева, «как-то трудно писать после него».⁴ Рассказ публикуется с посвящением Тургеневу и носит на себе следы тургеневской манеры. Находясь под ее обаянием, Толстой особенно оттеняет ее гуманизм. В дневнике он записывает также: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. . . Это достоинство Тургенева. . . Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго» (Т. 46. С. 184). Впоследствии и описания природы в «Записках охотника» Толстой называл «перлами», недостижимыми «ни для кого из писателей».⁵ А согласно другим мемуарным данным, Толстой рассматривал

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 12. С. 109.

³ Бялый Г. А. Лев Толстой и «Записки охотника» Тургенева // Вестн. ЛГУ. 1961. № 14. Сер. ист., яз. и лит. Вып. 3. С. 55—63.

⁴ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1934. Т. 46. С. 170. Далее ссылки на это издание в тексте.

⁵ Цит. по: Сергеевко П. А. Как живет и работает Л. Н. Толстой. 2-е изд. М., 1903. С. 53.

«Записки охотника» в одном ряду с такими шедеврами русской литературы, как «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Былое и думы».⁶

В апреле 1878 года, после почти семнадцатилетнего разрыва с Тургеневым, Толстой первый взывает к примирению. «В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, — пишет он, — я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. . . пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее. . . Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня. . . если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен» (Т. 62. С. 406—407). Узнав о болезни Тургенева, Толстой пишет: «Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно. . . Обнимаю Вас, старый милый и очень дорогой мне человек и друг» (Т. 63. С. 95—96).

Образцом общелитературной и общефилософской оценки мировоззрения и творчества Тургенева является письмо Толстого к А. Н. Пыпину (январь 1884 года). Первое, что подчеркивает Толстой в своей оценке творческого наследия Тургенева, — правдивость. Находит Толстой у Тургенева и то, что также особенно сильно было в нем самом — дар художника-проповедника (см.: Т. 63. С. 149—150). Однако вся история личных и литературных связей Тургенева с Толстым не укладывается в рамки этих повышено-эмоциональных положительных суждений и оценок.

Длительный период между первыми и последними встречами писателей, между первыми и последними письмами, которыми они обменялись, омрачен взаимным отчуждением. Это период, который, пользуясь современной терминологией, можно назвать периодом конфронтации. Тургенева удивляют непрекращающиеся «сумасбродства» Толстого, окопавшегося в Ясной Поляне. Толстой, нащупывающий свой особый путь в жизни и в литературе, пренебрежительно, а подчас и брезгливо отзываясь о Тургеневе — писателе и человеке. Однако и в это время в их переписке, публицистике, художественном творчестве наблюдаются явления, свидетельствующие о повышенном внимании к литературной манере и образу мыслей друг друга. Толстой и Тургенев даже «заимствуют» друг у друга, причем Толстому, как писателю более молодому, приходится делать это гораздо чаще.

В специальной литературе уже указывалось на «анalogии» в «семейной драме» Лаврецкого и Пьера Безухова.⁷ С другой стороны, отмечалось, что первые главы повести «Пунин и Бабурин», в которых действительность представлена «через непосредственные впечатления подростка», выписаны в духе автобиографической трилогии Толстого.⁸ Примеры такого сходства не единичны. Укажем на те из них, которые наиболее характерны.

В упомянутом выше письме Толстого к Пыпину особое внимание обращено на «типы самоотверженных» у Тургенева. При этом, кроме тургеневской интерпретации Дон-Кихота, подразумевались Елена и Марианна с их жаждой деятельного добра и, быть может, безымянная девушка из стихотворения «Порог», самоотвержение которой граничит с духовным величием. Указание на исключительное достоинство этих «типов» было равносильно признанию благородства нравственно-философских идей Тургенева, большой общественной значимости его творчества. Вместе с тем в данном случае Толстому импонирует

⁶ См.: *Гольденвейзер*. Вблизи Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 93.

⁷ *Лотман Л. М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. . . Л., 1974. С. 49.

⁸ *Маевская Т. П.* Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. Киев, 1978. С. 34.

и то, что его самого занимало еще со времен «Утра помещика». «Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастье!» (Т. 4. С. 165). Так думает Нехлюдов, возводя к высшему синтезу свои по преимуществу безотрадные впечатления от посещения прозябающей в нищете крепостной деревни. И Толстой неоднократно записывает в дневнике: «Самоотвержение не в том, что берите с меня, что хотите, — а трудись, и думай, и хитри, чтобы отдать себя» (Т. 47. С. 154). И несколько выше: «Дай бог мне силы самоотвержения и деятельности, и я буду счастлив» (Т. 47. С. 153).

Объективное соответствие между тургеневской и толстовской симпатией к «типам самоотверженных», представления их о самопожертвовании как об одном из важнейших двигателей истории и современного общественного развития не вызывают сомнений.

Связь «Войны и мира» с «Дворянским гнездом» не ограничивается аллюзией семейной драмы Пьера Безухова на отношения Федора Лаврецкого с Варварой Павловной. Определенно однотипны душевные состояния Лаврецкого и князя Андрея после прекращения их несчастливого брака, на пороге новой любви (Лиза и Наташа). И в том и в другом случае в переживаниях героев доминирует мощное ощущение философско-эстетического и нравственного ренессанса.

«Беспричинное, весеннее чувство радости и обновления», которое испытывает князь Андрей, порождено и видением старого дуба, вдруг покрывшегося молодой листвой, и «невыразимыми словом, тайными как преступление, мыслями, связанными. . . с девушкой на окне. . . с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь» (Т. 10. С. 157, 158). Все это как бы наперед предугазано в «Дворянском гнезде» в характеристике настроений Лаврецкого, посетившего после первых встреч с Лизой Васильевское. Упоению Лаврецкого дремлющей силой Васильевского, вечной жизнью природы, в которой заложено обещание нового счастья, изобразительно-психологически соответствуют переживания князя Андрея в момент и после посещения Отрадного.

На первых порах роман «Отцы и дети» не производит особого впечатления на Толстого. Тургенев, должно быть, сильно переконфузил, увидав Толстого безмятежно спящим над рукописью его нового литературного детища.⁹ Проходит, однако, несколько лет. Толстой отправляется в Самарскую губернию, и в одном из его писем оттуда начинают звучать тургеневские ноты.

В письме к Фету (25 августа 1875 года) он выказывает нерасположение к парламентаризму и другим формам английской общественной жизни. Все это, по его определению, «скучно и ничтожно» по сравнению с эпически-стихийными процессами, происходящими на восточном краю Европейской России. «Мухи, нечистота, — замечает Толстой, — мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядеть вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно» (Т. 62. С. 199). Сказано не по-тургеневски, точнее, не по-кирсановски. Ибо здесь нет, например, и намека на кирсановское неуважение к монголо-кибиточному или нужицкому образу жизни. В целом же письмо поражает парадоксальным, в духе настроений того же тургеневского персонажа, сочетанием глубочайшего демократизма с подчеркнутым аристократизмом. Толстой далее пишет: «Надо пожить, как мы жили в Самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим, первобытным, — чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не 1, то не более 3, скоро бегающих и громко кричащих. . .» Это

⁹ См.: Сергеев П. Толстой и его современники. М., 1911. С. 129—130.

антинигилистическое заявление прокомментировано несколько позднее Фетом: «Лев Николаевич все говорит, что у нас на Руси завелся *один* нигилист и, мелькая то там, то сям по железной дороге, кажется множеством».¹⁰ Но комментарий толстовского текста толстовскими же устными высказываниями здесь недостаточно. Итак, по Толстому, «разрушителей общественного порядка», т. е. нигилистов, «если не 1, то не более 3»; они явно не представляют серьезной силы в жизни миллионов народных масс. Это интонация, лексика, наконец, даже статистика Павла Петровича Кирсанова, возражавшего нигилисту Базарову по тому же поводу: «. . . вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!» (гл. X).

Вражда или пренебрежение к нигилизму очевидны, далее, не только в «Зараженном семействе», но и в «Крейцеровой сонате», в которой изображена железнодорожная нигилистка — смягченное подобие вульгарной эмансипе Кукшиной, тупо повторяющей чужие модные мысли. Словом «нигилизм» пестрит толстовская «Исповедь», по поводу которой Тургенев недаром же сказал: «Это тоже своего рода нигилизм» (Т. 13. Кн. 2. С. 89). А статья Толстого «В чем моя вера?» начинается знаменательным признанием в том, что пятьдесят пять лет своей жизни, за исключением детства, он «прожил нигилистом в настоящем значении этого слова. . .». Читая такое, задаешься вопросом: употреблял ли бы Толстой столь часто слово «нигилизм» при определении существа своего мировоззрения до начала 1880-х годов, если бы задолго до этого проблема нигилизма, неверия в бога, в современное общественное устройство не была бы поставлена столь остро и отчетливо в «Отцах и детях»? Наконец, затрагивая вопрос о вере в рассказе «Фальшивый купон», Толстой бесстрашно и в то же время с долей растерянности говорит о том, что не верят в бога не только нигилисты, но даже и сами священнослужители. В рассказе у Толстого все безнравственны: от хозяев до крестьян, от нигилистов до законоучителей, — ни у кого нет прочных убеждений. Нигилизм, подмеченный когда-то одним Тургеневым, стал явлением всеобщим.

С другой стороны, целый ряд интимно-философских медитаций персонажей, несомненно любимых Толстым (князь Андрей, Пьер, Константин Левин), нередко спроецирован — притом явно положительно — тоже на нигилизм базаровский, в частности на ту его модификацию, которая сродни космическому пессимизму самого Тургенева. Этого важного обстоятельства, свидетельствующего о бесконечной диалектике толстовского мышления, также не следует недоучитывать.

Размышления Пьера Безухова после дуэли с Долоховым: «. . . завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» (Т. 10. С. 29). Эти мысли об удручающей скоротечности человеческой жизни заставляют вспомнить о базаровской философской депрессии не только после, но и задолго до дуэли, в XXI главе «Отцов и детей». То, что находилось в центре базаровского сознания — раздумья о «вечности», тяготеющей над мгновенным человеческим бытием, оказывается как будто лишь на периферии сознания Пьера. Но периферия эта в известной мере мнимая, так как те же мысли беспокоят Пьера и в действительно переломные моменты его существования. Они совершенно аналогичны, например, его рассуждениям в Торжке, перед встречей с масоном Баздеевым (см.: Т. 10. С. 65). Еще ощутимее признаки солидарности с универ-

¹⁰ Русское обозрение. М., 1901. Вып. 1. С. 94.

сально пессимистической философией Базарова в настроениях Константина Левина, героя в значительной степени автобиографического. Беседуя со Стивой Облонским, Левин замечает проникновенно: «... ты подумай об этом: ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая выросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, — мысли, дела! Все это песчинки» (Т. 18. С. 396). Переключаясь с горькими размышлениями Базарова в XXI главе, эта левинская философия и возражение себе встречается в сущности похожее на то, которое приводится в романе Тургенева. Стива восклицает: «Да это, брат, старо, как мир!» И Аркадий почти восклицает: «Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...» Базаров остается при своем убеждении: личное «ничтожество» ему все-таки «смердит». И Левин вторит Базарову, только не так грубо: «Старо, но знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь, и ничего не останется, то так все ничтожно!» (Т. 18. С. 396).

Самый осторожный вывод, который можно сделать на основании этих и предшествующих сопоставлений, состоит в том, что по крайней мере источники погружения в пессимистическую философию у Тургенева и у Толстого в определенные периоды их литературной деятельности общие. Это Экклезиаст, Сократ, Марк Аврелий, Паскаль, Шопенгауэр. В творчестве Тургенева и Толстого встречается целый ряд мыслей, изображений, наблюдений, произрастающих из этого, лелеемого обоими этико-философского корня. Но, по всей вероятности, не исключены и непосредственные влияния по линии Тургенев—Толстой.

Насмешки над нигилизмом в духе Базарова сочетаются у Толстого с известным пиететом перед базаровским общефилософским скепсисом. Сочетание этих крайностей органично и естественно настолько, что оборачивается порою неосознанными аллюзиями на базаровские начала даже в толстовской чисто психологической разработке образов. Так, едва не попав в тенета женских чар, Базаров в разговоре с Аркадием замечает с досадой: «По-моему — лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца» (гл. XIX). И князь Андрей, уже сделав неверный шаг, связав себя узам брака с княгиней Лизой, делает Пьеру признание психологически аналогичное: «... свяжи себя с женщиной — и как скованный колодник, теряешь всякую свободу» (Т. 9. С. 35).

После взаимных восторгов, которыми ознаменовалось налаживание личных и литературных контактов между Тургеневым и Толстым в 50-е годы, в их отношениях наступает полоса дисгармонии, кричащих противоречий на почве идейно-философской, эстетической, нравственной, даже бытовой. Хронологический эпицентр этих противоречий — эпоха создания и публикации «Войны и мира». Впрочем, и раньше эти противоречия и трения, подчас глубокие, но искусно маскируемые, уже имели место. Об одном-двух из них следует упомянуть особо.

Рассказ Толстого «Люцерн» не произвел благоприятного впечатления на Тургенева. Возможно, Тургенева, как и В. П. Боткина, смутила прорелигиозная концовка рассказа (см.: Соч. Т. 8. С. 614). Не исключена, однако, и другая причина холодности. В «Люцерне» встречались мысли, шедшие вразрез с исподволь вызревавшей в сознании Тургенева идейной концепцией романа «Дым». Ведь в конце своего рассказа Толстой явно подвергал сомнению привычные сознанию современного цивилизованного человека представления о различных формах государственности и гражданственности. «Цивилизация — благо; варварство — зло; свобода — благо; неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание, — продолжал Толстой, — уничтожает инстинктивные, блаженнейшие

первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого?» На дальних же подступах к «Войне и миру» Толстой подвергает беглой, но беспощадной ревизии структурные особенности современного романа. И, судя по всему, прежде всего ему претят апробированные литературой и критикой формы тургеневских «логично расположенных» экспозиционных предварений развития основного идейно-сюжетного действия в романе. В связи с этим он замечает: «. . . сначала описания действующих лиц, даже их биографии, потом описание местности и среды, и потом уже начинается действие. И странное дело, — все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная черта во время уже начатого действия между вовсе не описанными лицами» (Т. 16. С. 49). Чтобы переход к теме противоречий и разногласий по поводу «Войны и мира» выглядел вполне обоснованным, необходимы еще несколько предварительных замечаний.

Взаимоотношения писателей и в годы, предшествующие появлению «Войны и мира», напоминают движение азартно разогнанных качелей: стремительные взлеты чередуются с захватывающим дух скольжением вниз. В этом отношении показателен прежде всего дневник Толстого за 1857 год. Пренебрежительных суждений о Тургеневе там более чем достаточно. Но регулярно они перемежаются выражениями величайшей приязни. Например: «. . . написал письмо Тург(еневу), потом сел на диван и зарыдал беспричинными. . . поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время» (Т. 47. С. 109). Эти строки похожи на отрывок из дневника «нервической» Елены Стаховой, убеждающейся в том, что она любит Инсарова и достойна его любви. Или: «. . . считаю его», т. е. Тургенева, «выше себя» (Т. 47. С. 117). Или: «. . . заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека» (Т. 47. С. 122). Или: «Приехал Тургенев. Нам славно с ним» (Т. 47. С. 148) и т. д. Целиком на принципе «качелей» жидется отзыв Толстого о романе Тургенева «Накануне». «Прочел я „Накануне“, — сообщает он в письме к Фету от 23 февраля 1860 года. — Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни» (Т. 60. С. 324—325). Это качели в самой нижней точке. . . Но, как и полагается качелям действующим, они тут же взмывают вверх: «. . . „Накануне“ много лучше „Дв(орянского) Гнезда“» (Т. 60. С. 325). Но «Дворянское гнездо» получило всеобщее признание. . . Значит, и «Накануне», которое «много лучше», заслуживает по крайней мере той же участи. Взлет явный. Впрочем, и «Дворянское гнездо» едва ли нравится Толстому. Ибо закон, если и писан, то не для него. Читаем далее: «. . . меня всегда удивляет в Тургеневе, как он с своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности. . . Больше всего этой банальности в отрицательных приемах, напоминающих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет. Это как-то больно жюрирует с тоном и смыслом либерализма всего остального». Характеристика опять более чем резкая. Ибо Толстого, как видим, *всегда*, а не только в случае с «Накануне», «удивляет в Тургеневе» *банальность* «в отрицательных приемах». А между тем объективно его характеристика справедлива в отношении лишь матери и отца Елены, преуспевающего правоведа Курнатовского да, быть может, компании подгулявших немцев. Действительно, эти лица не блещут достоинствами. Но им ли отводится главная роль в романе? Заслоняют ли они своими фигурами Елену, Инсарова, Шубина, Берсенева, Увара Ивановича? Других же «уродов» в «Накануне» нет. Больше того,

изображение одного из тех, кто зачислен в категорию «уродов» (отец Елены), Толстой с свойственной ему непоследовательностью гения называет «превосходным». Подчеркивая упомянутые выше «недостатки» «Накануне», Толстой продолжает: «Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе. . .» Здесь наряду с Тургеневым сильно задет Гоголь, зачисленный единым мановением пера в разряд писателей безнадежно устаревших. Затем опять «взлет»: «Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести». Не удерживаясь, однако, и на этой точке, Толстой заканчивает едва ли не брезгливо: «. . . любителям антиков, к которым я не принадлежу, никто не мешает читать серьезно стихи и повести и серьезно толковать о них. Другое теперь нужно».

В дневнике Толстого есть запись от 25 июня 1861 года: «Замечательная ссора с Тургеневым; окончательная — *он подлец* совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его» (Т. 48. С. 38). Разумеется, Тургенев подлецом никогда не был. Толстой и сам отдавал себе в этом отчет уже через месяц после разрыва. Иначе чем объяснить его предсказание («. . . со временем не выдержу и прощу. . .»), сбывшееся столь трогательно впоследствии? . . . И вот Тургенев давно прощен. Прошло даже свыше года со дня кончины Тургенева, и все-таки в дневнике Толстого нет-нет да и появится «качелеобразное» суждение о творчестве его давнего друга и ментора: «Читал с детьми, вместо дрянного Пасынкова — Полесье. И успех» (Т. 49. С. 121). Чрезвычайно характерно в этом же смысле замечание о Тургеневе как потенциальном ценителе «Войны и мира», сформулированное в письме Толстого к Фету от 23 января ст. ст. 1865 года: «На днях выйдет первая половина 1-й части „1805 года“. . . Ваше мнение да еще мнение человека, к(отор)ого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева. Он *поймёт*» (Т. 61. С. 72).¹¹

Еще очевиднее соблюдение принципа «качелей», едва ли не обязательного про и contra в тургеневских характеристиках личности и творчества Толстого. Подобными характеристиками пестрят его мемуары, корреспонденции, обращения в редакции и особенно частная переписка. Многие из них высказываются даже задолго до появления в печати «Войны и мира».

Уже в ноябре 1856 года Тургенев признается самому Толстому: «Я чувствую, что люблю Вас как человека (об авторе и говорить нечего); но многое меня в Вас коробит. . .» (Т. 3. С. 41). В сущности та же мысль выражается в письме Тургенева к П. В. Анненкову (апрель 1857 года): «. . . странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоко нравственное и в то же время несимпатическое существо» (Т. 3. С. 117). «Смесь» представляет собою естественное сосуществование взаимоисключающих и в то же время неотторжимых друг от друга определений сложной структуры характера, личности, творчества Толстого. . . Тургенев — В. П. Боткин (апрель 1859 года): «Я с Толстым покончил все свои счета. . . мне, сказавши ему: здравствуйте — неотразимо хочется сказать: прощайте — и без свиданья. Мы созданы противоположными полюсами. Если я ем суп и он мне нравится, я уже по *одному этому* наверное знаю, что Толстому он противен. . .» (Т. 3. С. 293). Из письма Тургенева к М. Н. Толстой, сестре будущего автора «Войны и мира» (ноябрь 1859 года): «. . . люблю всё, чего он не любит — и наоборот: мы созданы совершенно антиподами» (Т. 3. С. 364). От «Казаков» Тургенев приходит «в восторг», но «одно лицо Оленина портит» для него «общее великолепное впечатление» (Т. 5. С. 113). А между тем Оленин отнюдь не второстепенная

¹¹ В комментарии к этому письму по поводу слова «поймёт» замечено: «Толстой часто употреблял подчеркивание вместо кавычек, выделяя таким образом чужие слова» (Т. 61. С. 73).

фигура в концепции этой повести. Несмотря на это, несколько позже Тургенев скажет о тех же «Казаках» без тени заискивания или поползновений на отступничество: «. . . экая неподдельная поэзия и красота!» (Т. 6. С. 60).

Достаточно, на первый случай, свести воедино несколько эпистолярных высказываний Тургенева о «Войне и мире», чтобы убедиться: диалектика остается главным критерием писателя в подходе и к этому роману.¹²

Февраль 1868 года: «Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных, — все бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т. д.); но историческая прибавка, от которой собственно читатели в восторге, — кукольная комедия и шарлатанство. . .» (Т. 7. С. 64). Уколов автора столь чувствительным образом, Тургенев без всякого напряжения переключается в жанр дифирамба. «Со всем тем, — продолжает он, — есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга» (Т. 7. С. 65). Сочетание резкой критики с дифирамбом особенно характерно для ряда последующих тургеневских оценок «Войны и мира». Например: «Я только что (апрель 1868 года) кончил 4-й том „Войны и мира“. Есть вещи невыносимые — и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великоленно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем: да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее» (Т. 7. С. 121). «Не было написано никем. . .» Значит, Тургенев ставит Толстого даже выше Пушкина, перед которым преклоняется. . . Кто в те годы отваживался на такое? Даже Страхов, неутомимо воскуривший славянофильский фимиам Толстому, не позволял себе подобных «преувеличений». Февраль 1869 года: «. . . при всех своих слабостях и чудачествах, при всем даже своем вранье, Толстой — настоящий гигант между остальной литературной братьей, — и производит на меня впечатление слона в зверинце: нескладно, даже нелепо — но огромно — и как умно! Дай бог написать ему еще двадцать томов!» (Т. 7. С. 302). Удивительно отсутствие в этих суждениях Тургенева малейшего намека на суетность. Они поражают бескорыстным желанием невиданного успеха своему «антиподу», способностью подниматься на вершины высочайшей объективности. Ведь все это говорит человек, который еще совсем недавно был весьма близок к тому, чтобы «дать в рожу» Толстому. Полное забвение взаимных обид, обоюдных претензий. . . Март 1869 года: «И нужно же, чтобы эдакая ерунда (подразумевается философия Толстого. — А. Б.) залезла в голову *самого даровитого* писателя во всей современной европейской литературе! Но я заранее умиляюсь перед теми прелестями, которыми непременно изобилует этот V-й том» (Т. 7. С. 342). Апрель 1869 года: «Толстой и бесит и тешит — настоящий человек, хоть и сумасброд» (Т. 8. С. 13). Май 1869 года: «Читаю теперь пятую часть „Войны и мира“ — и попеременно то сержусь, то восхищаюсь» (Т. 8. С. 41). Май 1869 года: «Г-на Толстого „Война и мир“ я прочел, есть вещи гениальные — есть возмутительные» (Т. 8. С. 43).

Итак, качели, качели, качели. . . Причины, предопределяющие такое своеобразное состояние личных и творческих отношений двух великих писателей, подразделяются (условно, конечно) на две основные категории. С одной сто-

¹² Подробная сводка суждений Тургенева о «Войне и мире» уже приводилась Гусевым (Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. . . М., 1957. С. 863—876). Однако суровые суждения Тургенева о «Войне и мире» Н. Н. Гусева не только «удивляют» — они представляются ему «изумительными по своей несправедливости». В конце концов Н. Н. Гусеву «трудно согласиться с. . . замечаниями Тургенева» (см.: С. 864, 865, 873, 876). А нам невозможно согласиться с Н. Н. Гусевым. Во всяком случае, такое его заключение представляется нам односторонним до крайности.

роны, это толстовский «нигилизм» справа и слева, давно зафиксированный и обстоятельно расшифрованный в научной литературе.¹³ Несомненная и притом крайне прихотливая соседка толстовского «нигилизма» — толстовская кипучая самобытность, не укладывавшаяся в прокрустово ложе общепринятых философских теорий и уже привычных пушкинско-гоголевских литературных традиций. Та самобытность, которая следующим образом охарактеризована умным и наблюдательным современником: «...Л. Н. Толстой был очень оригинальный ум, с которым надо было осторожно обращаться. Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других. . .»¹⁴ И независимо и независимо от Анненкова и других своих друзей Тургенев усваивал эту точку зрения на Толстого. Усваивал до такой степени органично, что она сказывалась даже в его художественном творчестве.

Несколько десятилетий тому назад одна из статей автора этих строк была специально посвящена уяснению вопроса об известном присутствии толстовского начала в образе нигилиста Базарова.¹⁵ Новые рукописные материалы по творческой истории романа, опубликованные в 1984 году новозеландским ученым Патриком Уоддингтоном, не подтверждают этой версии. Здесь, в тургеневском предварительном перечне прототипов Базарова, фигурируют фамилии Добролюбова, Павлова и Преображенского, но нет фамилии Толстого.¹⁶ И все же некоторая вероятность пусть даже крайне эпизодического отражения в романе манеры личного и общественного поведения Толстого не исключается. Дело в том, что формуляры персонажей «Отцов и детей» и «Краткое содержание» этой «повести», воспроизведенные в публикации Уоддингтона, набросаны Тургеневым в августе и октябре 1860 года, почти за год до его бурной ссоры с Толстым, едва не завершившейся дуэлью. Следовательно, ссора никак не могла получить отголоска в подготовительных материалах. Хронология создания этих материалов явно предшествовала хронологии ссоры между писателями. Зато несколько характерных намеков на нее, и с этим по-прежнему надо считаться, есть в тексте второй половины романа, написанном в июне—июле 1861 года по горячим следам этого экстраординарного события.¹⁷

Не исключено использование во второй половине романа и содержания одного из недошедших до нас писем Толстого к Тургеневу, написанного после разъезда обоих писателей из фетовских Новоселок. Вот как изложено его содержание, очевидно со слов Л. Н. Толстого, С. А. Толстой: «Оттуда (т. е. из Богослова, — А. Б.) Лев Николаевич послал за ружьями и пулями, а к Тургеневу — письмо с вызовом за оскорбление. В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т. е. чтобы два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями» (Т. 60. С. 393). Более чем вероятно, что содержание и этого письма наложило определенный отпечаток на изображение дуэли

¹³ См.: *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Книга вторая: 60-е годы. Л.; М., 1931. С. 49, 52, 91, 105, 107, 112, 113, 170—171, 173, 212, 215, 236, 391 и др.

¹⁴ *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983. С. 390.

¹⁵ См.: *И. С. Тургенев (1818—1883—1958): Статьи и материалы / Под ред. акад. М. П. Алексеева.* Орел, 1960. С. 77—95.

¹⁶ См.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986. Т. 12. С. 720, 566, 718—720.

¹⁷ См.: *И. С. Тургенев (1818—1883—1958): Статьи и материалы.* С. 93—94.

в романе. Во всяком случае, толстовскому намерению «стреляться по-настоящему» соответствует дважды повторенное кирсановское предупреждение Базарову о намерении «драться серьезно» (см. гл. XXIV). В этом эпизоде Павел Петрович сыграл несвойственную ему роль «нигилиста» Толстого, а Тургенев — еще менее свойственную ему роль homo novus'a Базарова.

Такое неожиданно парадоксальное распределение по образам «материала» жизненных впечатлений и наблюдений (до этого момента автор «Отцов и детей» угадывает иногда в Базарове Толстого, а в Павле Петровиче и его брате — самого себя) свидетельствует об учете тонким художником Тургеневым характерных «мелочей».

Навсегда прощаясь с Аркадием (гл. XXVI), Базаров говорит: «Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и уж воображаете себя молодцами, — а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас. . .» Общеизвестна переключка этой речи Базарова с программным заявлением Чернышевского в начале 1861 года: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность».¹⁸ Однако до последнего времени никто не обращал внимания на то, что и сам Тургенев, причем задолго до Чернышевского, высказался в подобном роде. Последние слова базаровской тирады явно соотносятся с наставлениями Тургенева Толстому 27 марта (8 апреля) 1858 года: «Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; — да ведь и на улицах грязь и пыль — а без городов нельзя же» (Т. 3. С. 210). С неумолимо категоричным, саркастическим тоном речи Чернышевского и Базарова, развенчивающей либерализм, плохо согласуется мягкая, почти грустная интонация наставлений Тургенева. Тем не менее речь и Чернышевского, и Базарова, и Тургенева отражает во многом адекватные представления о неприглядно-суровом характере окружающей действительности. Это пыль и грязь городов, полей, болот и дебрей, в пределах или на просторах которых безостановочно, но трудно совершается общественно-политическая и иная необходимая человеку жизнь.

Толстовский нигилизм и справа и слева, толстовская угловато-парадоксальная самобытность шокировали Тургенева, получившего более «правильное» воспитание. Это один ряд причин, влиявших на характер отношений писателей в начале 60-х годов. Причины другого ряда обусловлены несходством философско-исторического и, отчасти, эстетического мышления Тургенева и Толстого. Как отмечалось выше, эти причины приобретают все большее значение по мере выхода в свет очередных томов толстовской эпопеи.

Первые критические замечания Тургенева о «Воине и мире» производят впечатление мелочных придирок, досадных отголосков личного нерасположения писателей друг к другу. Однако при ближайшем рассмотрении даже в них обнаруживается склонность к обоснованным обобщениям.

Тургенев многократно зарекомендовал себя поборником «тайной» психологии в писательском труде, экономии изобразительных средств при воссоздании внешнего и внутреннего облика человека. Природе его художественного дарования противоречило изощренное докапывание «до дна» души человеческой, ставшее прерогативой Достоевского и Толстого. Впрочем, в истории разногласий или соревнования Тургенева с Толстым на этом поприще

¹⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 7. С. 923.

есть некая особая черта, также безусловно подлежащая историко-литературному учету.

Одновременно с чтением «Войны и мира» Тургенев перечитывает все написанное ее автором до этого момента — от автобиографической трилогии до «Казачков» и «Поликушки» включительно («Перечел я в последнее время *всего* Л. Н. Толстого» — Т. 6. С. 336. Курсив мой. — А. Б.). Это чтение, предпринятое с целью проверки собственных художественных ощущений, бывших и вновь возникающих, отражается на характере тургеневских претензий прежде всего к психологической манере Толстого.

По поводу психологической специфики второй части «1805-го года», печатавшейся еще в «Русском вестнике», Тургенев в письме к Фету замечает с сокрушением: «. . . как это все мелко и хитро, и неужели не надоело Толстому эти *вечные рассуждения* о том — трус, мол, я или нет — вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи — где краски исторические?» (Т. 6. С. 66). В письме к Анненкову, написанном в тот же день, 25 марта (6 апреля) 1866 года, эти обвинения повторены почти дословно: «Мелкота и какая-то капризная изысканность отдельных штрихов — и потом эти вечные повторения той же внутренней возни: что, мол, я трус или не трус? и т. д. Странный исторический роман!» (там же).

Развитие толстовской эпопеи только-только начинает набирать ход, во всяком случае, оно еще не миновало первой своей стадии, а Тургенев уже сетует: *вечные* рассуждения, *вечные* повторения. . . Они ему *уже* надоели. На каком же основании? . . . Позднее Толстой зачастую пространно будет говорить на страницах «Войны и мира» о том, что чувство страха — естественное состояние любого человека на войне. Но в той части «Войны и мира», которая подвергается пока критике Тургенева, чувство страха более или менее подробно выписывается только в характеристике душевного состояния необстрелянного юнкера Николая Ростова. Так на каком же основании спешит Тургенев со своим заключением? . . . Да на том, что психологическая формула страха и трусости, выведенная на страницах «Войны и мира», по существу еще только один раз, уже выводилась во множестве не менее живописных вариаций на пространный сравнительно небольшой по объему батальный повествования в кавказских и севастиопольских рассказах. Это-то возвращение Толстого на круги своя и воспринимается Тургеневым как анахронизм, засоряющий «мелочами» перспективу исторического романа. Смысл определений «вечные рассуждения», «вечные повторения» сводится именно к этому. В данном случае Тургенев уличает Толстого не в следовании канонам психологического письма, созданным предшественниками, а в излишней верности самому себе, своей психологической манере, выработанной в течение десятилетия и застывшей — так полагает Тургенев — на этом уровне. В известном смысле это заключение имеет важное методологическое значение. Оно облегчает задачу исследователя при определении позиции Тургенева в отношении «Войны и мира». Уверенный в том, что в деле художества Толстой не имеет соперников, Тургенев не мудрствуя лукаво ограничивается рассмотрением Толстого только на его же, толстовском, фоне.

Спроецированность тургеневских оценок «1805-го года» на предшествующее творчество Толстого можно подтвердить рядом более конкретных наблюдений. Еще в рассказе «Рубка леса» ротный Болхов, бывалый кавказский офицер, неожиданно признается: «. . . чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности. . . просто, я не храбр» (Т. 3. С. 55). Болхов умеет держать себя в руках, но, очевидно, подобные изнуряющие сомнения в собственной храбрости посещают его в каждом новом сражении. Характерно описание

душевного состояния юнкера Песта, идущего со своим батальоном в атаку: «Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел, как пьяный. . . тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье» (Т. 4. С. 46). Чем не предтеча Николая Ростова в первом его бою? Разница в одном: Пест перепугался оттого, что убил, а Николай Ростов — оттого, что его самого чуть не убили. Знаменательно там же: «Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил. . .» (С. 48); самочувствие штабс-капитана Михайлова сразу после ранения: «. . .страх и желание поскорее уйти с бастьона» (С. 50); описание душевного состояния юного Володи Козельцова, попавшего без всякой подготовки в огонь: «Он остановился посередине площади, оглянувшись: не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову, и с ужасом проговорил и подумал: „Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус?“» (С. 86). Еще один предтеча Николая Ростова. . . Тот же Володя о себе на следующих страницах «Севастополя в августе. . .»: «Я подлец, я трус, мерзкий трус! . . . господи. . . ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, — дай мне их, но избави от стыда и позора. . .» (С. 89—90). О старшем брате Володи Козельцова, суровом воине: «Хотя Козельцов далеко был не трус. . . он робел. . .» (С. 91).

Во всех ранних произведениях Толстого на военную тему многочисленные повторения рассуждений и замечаний о трусости и храбрости — одна из норм психологического повествования. Этот «недостаток» ставит Тургенев на вид Толстому, обнаруживая его и при чтении второй части «1805-го года». Тургеневу как бы претит навязчивое заимствование Толстого у самого себя. На основании всех этих показаний, постоянный рефрен которых «трус, мол, я или не трус?», Тургенев имел право заметить и пожелать Толстому еще в октябре 1855 года: «. . .всему есть мера. . . Очень было бы хорошо, если б Вам удалось выбраться из Крыма — Вы достаточно доказали, что Вы не трус. . .» (Т. 2. С. 316).

В процитированных выше письмах Тургенева к Фету и Анненкову встречается еще одно характерно-полемическое определение: «возня». С помощью этого словечка Тургенев-критик посягает уже не на сравнительно частные особенности психологической манеры в новом произведении Толстого — он пытается доказать, впрочем без достаточных на то оснований, что и *вся* «психология» Толстого — «капризно-однообразная возня в одних и тех <же> ощущениях» (Т. 7. С. 87). Выпады такого рода тоже не единичны (см.: Т. 5. С. 364—365; Т. 7. С. 64—65, 76, 87). И они примечательны своей ретроспекцией, в которой наблюдаются и попытки неожиданно невыгодного для Толстого высвечивания его манеры на фоне манеры Пушкина и Гоголя. Так, в августе 1855 года Тургенев сообщает А. В. Дружинину: «Я на днях прочел „Авторскую исповедь“ Гоголя. . . как жалка эта. . . самолюбивая возня с самим собою — перед ясною, здоровою, безличною художественностью Пушкина!» (Т. 2. С. 308). Через полтора года нечто неуловимо похожее прозвучит в словах Тургенева о Толстом: «. . .он изменился во многом и к лучшему — но скрип и треск его внутренней возни все еще неприятно действует. . .» (Т. 3. С. 88). А в его письме к Анненкову, написанном на первой стадии аналитического прочтения «1805-го года», читаем: «Со мной на днях случилась странная вещь. Я рекомендовал г-же Виардо для чтения на русском языке (вместе со мною) „Детство“ Толстого, как произведение в своем роде классическое. Стал я читать — и вдруг убедился, что это пресловутое „Детство“ — просто плохо, скучно, мелкотравчато, натянуто — и устарело до невероятности. . . Стало быть, и это мираж» (Т. 6. С. 55). Очевидно, мираж, подобный миражу второй части «1805-го года». Психологическое наполнение этой последней выглядит «до невероятности»

устаревшим, по-видимому, и в свете собственно тургеневского литературно-художественного опыта («Гамлет Шигровского уезда», «Дневник лишнего человека»).

Тургеневская критика толстовской психологической манеры ведется с позиций скорее достигнутого, чем искомого. Толстого-новатора критикует писатель, воспитанный на дотолстовских литературных традициях. В этом отношении его критика в известной мере уязвима. Это ее слабое место. В то же время она дает возможность составить более отчетливое представление о поэтапной (годы 50—60—70-е) эволюции воззрений писателя на эволюцию Толстого-психолога. Суждения Тургенева по этому поводу обогащают наши историко-литературные представления как о нем, так и о том, что он критикует. Такое заключение еще в большей степени распространяется на тургеневские представления о философских и философско-исторических особенностях художественного мышления автора «Войны и мира». Их разногласия в этой области сводятся к различию понятий о роли личности в истории, о сознательном и бессознательном началах в историческом процессе, о свободе и необходимости. В годы 70-е часть этих разногласий (вопрос о соотношении свободы и необходимости) приводится к какому-то общему знаменателю, сливается с какой-то неожиданно гармонической равнодействующей, однако. . .

Едва ли верны указания на то, что Тургеневу до самого конца его литературной деятельности так и «не удалось понять» толстовской философии, не удалось правильно на нее отреагировать.¹⁹ Непонимания со стороны Тургенева не было, как не было и единства в толстовской художественно-философской «картине мира». И совсем уже неверно заключение другого исследователя: «. . .полнее всего свое представление об особенностях толстовского таланта Тургенев выразил в кратком предисловии к очерку А. Бадена „Роман графа Толстого“, посвященному „Войне и миру“».²⁰ «Полнее всего. . .» А между тем в этом предисловии ни слова о достоинствах или заблуждениях Толстого-философа. Больше того, в этом предисловии Тургенев предпочитает пока воздержаться от «критической оценки» «Войны и мира». Происходит это потому, что предисловие преследует лишь первоначальные цели популяризации. Для Тургенева — пропагандиста русской литературы на Западе — первоочередной представляется задача ознакомления широкой французской публики с основным корпусом художественного творчества Толстого и только когда-нибудь потом с его философскими парадоксами.

«Полнее всего» представления Тургенева о «Войне и мире» сказались не в предисловиях, а в его частной переписке с современниками. Последний отголосок этой полноты — письмо Тургенева Флоберу (24 января н. ст. 1880 года), в котором читаем: «Вы не можете себе представить, как обрадовало меня. . . то, что вы говорите о романе Толстого. Ваше одобрение укрепляет мое собственное мнение о нем. Да, он человек выдающийся — и тем не менее вы нащупали его большое место: он выдумал себе философскую систему, одновременно мистическую, наивную и самоуверенную, которая чертовски испортила и третий том, и другой его роман, написанный после „Войны и мира“. . .» (Т. 12. Кн. 2. С. 382). Пересылку Толстому копии отрывка из письма Флобера Тургенев сопровождает характерным примечанием: «Полагаю, что — en somme — Вы будете довольны» (Т. 12. Кн. 2. С. 205). Очевидно, «будете довольны» в общем (en somme), но не всецело. Таким образом, и в письме

¹⁹ Курляндская Г. Б. И. С. Тургенев и русская литература. М., 1980. С. 134.

²⁰ Ломунов К. Н. Тургенев и Толстой: Творческие взаимоотношения // И. С. Тургенев в современном мире. М., 1987. С. 121.

Толстому Тургенев не удержался от тонкого намека на свою солидарность как с позитивной, так и с критической точкой зрения Флобера на «Войну и мир». Тургеневу явно польстило, что его суждения о художественно-философских достоинствах и недостатках «Войны и мира», неоднократно обосновывавшиеся в 60-е годы, получили поддержку и со стороны Флобера.

Критическое отношение Тургенева к философской тенденции «Войны и мира» никогда не означало сомнения в гениальности Толстого, в его праве называться первым среди русских и западноевропейских писателей второй половины XIX века.

Ни Тургенев, ни Толстой, ни современный читатель-специалист не нуждаются в том, чтобы на отношения двух великих писателей наводился «хрестоматийный глянec». Они и без глянца уникально замечательны. . .

Отдавая должное Толстому-художнику, Тургенев обрушивает поток возражений на толстовскую теорию свершения истории без сколько-нибудь заметного определяющего участия ума, доброй или злой воли людей, которых принято считать выдающимися и даже великими. Такая теория не могла не раздражать Тургенева, который еще совсем недавно в полемике с Герценом и его единомышленниками стремился доказать, что судьба всего цивилизованного мира, и в том числе России, по крайней мере с эпохи Петра I, находится в прямой зависимости от того или иного поворота мысли меньшинства образованного класса. Поэтому в письме к Фету — одному из «соавторов» Толстого в выработке теории бессознательного в истории и искусстве — он замечает с иронией: «. . . мысленно рисую Вас то с ружьем в руке, то просто беседующим о том, что Шекспир был глупец — и что, говоря словами Л. Н. Толстого, только та деятельность приносит плоды, которая бессознательна. Как это, подумаешь, северные американцы во сне, без всякого сознания, провели железную дорогу от Нью-Йорка до С.-Франциско? Или это — не плод?» (Т. 8. С. 101). Тургенев точно цитирует формулу бессознательной деятельности, начертанную в начале пятого тома «Войны и мира» (по изданию 60-х годов), и, очевидно, цепко удерживает в своей памяти аналогичные, а подчас и еще более недопустимые, с его точки зрения, апологии бессознательного начала на страницах предшествующих томов. Резонность замечаний Тургенева по поводу демонстративного игнорирования или недооценки Толстым личного начала в истории находит многочисленные подтверждения в текстах Толстого. Уже в «Севастопольских рассказах» Толстой склоняется перед «молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа» солдатской массы, говорит о том, что «надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был» не отдельный человек, а «народ русский» (Т. 4. С. 16). Толстой почти обожествляет бессознательную народную стихию, связывая только с нею великие дела в истории. Содержание же духовной жизни людей не из народа вытесняет в его трактовке суетным, мизерным: «Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде. . . Тщеславие!» (Т. 4. С. 24).

Тезис о пренебрежении к «уму», якобы все знающему, апофеоз бессознательного, управляющего поступками людей, исторический фатализм получают дальнейшее развитие в «Войне и мире». Об участниках событий 1812 года: «Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают. . . а все были произвольными орудиями истории. . . Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии» (Т. 11. С. 98). О вступлении наполеоновской армии в Россию, о ее стратегии и тактике, об ответной стратегии и тактике руководства русской армии: «Все происходит нечаянно. . .» (Т. 11. С. 101).

Предание «ума» остракизму в сочетании с апологией бессознательного, безошибочно-инстинктивного особенно характерны для эпилога «Войны и мира», в котором Толстой утверждает: «... только с большою уступчивостью можно согласиться с тем, что между умственной деятельностью и движением народов есть что-то общее, но уже ни в каком случае нельзя допустить, чтоб умственная деятельность руководила действиями людей. . .» Погружение в глубину проблемы сочетается здесь с чисто толстовской непосредственностью доводов, производящей неотразимое воздействие на читателя своим нравственным целомудрием. «Ибо, — продолжает Толстой, — такие явления, как жесточайшие убийства французской революции, вытекающие из проповеди о равенстве человека, и злейшие войны и казни, вытекающие из проповеди о любви, противоречат этому предположению» (Т. 12. С. 303). Там же: «Почему умственная деятельность людей представляется. . . причиной или выражением всего исторического движения — это понять трудно. . . духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея — все это понятия неясные, неопределенные. . .» (С. 304). Каково было переносить все это Тургеневу, только что («Дым», «Литературные воспоминания») начертавшему на своем знамени слова: цивилизация, просвещение, знание? . .

Во всех этих зачастую парадоксально-нигилистических рассуждениях граф Толстой гораздо демократичнее нетитулованного дворянина Тургенева. Демократичнее потому, что любит повторять: «Движение народов производит не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали историки, но деятельность *всех* людей, принимающих участие в событии. . .» (Т. 12. С. 322). В оценках же роли меньшинства образованного класса Тургенев прозорливее стихийного демократа Толстого.

Толстовские «еретические» взгляды на историю и ее движущие силы естественно отражаются на изображениях в «Войне и мире» исторических лиц — Кутузова, Наполеона, Александра I, Сперанского и многих других, вплоть до Растопчина, который со своими ерническими афишами низводится до положения почти шута. Но здесь философско-историческая догматика Толстого переключается с его философско-исторической диалектикой, не всегда улавливаемой Тургеневым.

Толстой потрясающе убедителен в трактовке Наполеона как человека бессердечного, нравственно неприятного и даже неопытного, по существу злодея. Как патриот, как художник-гуманист Толстой имел более чем достаточно оснований для того, чтобы изобразить этого общепризнанного «героя» именно в таком неприглядном обличье. Вместе с тем Толстой «не имел права», с точки зрения Тургенева и большинства его современников, умалять личное влияние Наполеона на ход исторических событий. Быть может, события 1812—1814 годов и могли совершиться без централизующего воздействия на них со стороны Наполеона, в точном соответствии с теорией Толстого (движение народов с Запада на Восток — движение народов с Востока на Запад). Но Сто дней, например, явно немислимы вне исключительной обусловленности их «умом» и личной инициативой Наполеона. Толстой же, вопреки этому и другим фактам, утверждает: «из всех произвольных орудий мировых событий» полководцы «были самыми рабскими и произвольными деятелями»; «воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима» (Т. 11. С. 184; Т. 12. С. 66). Раздраженный потоком выходок Толстого против «ума» и писанной истории, Тургенев возражает ему, проецируя идеи толстовского текста на знаменательные события современности (франко-прусская война): «Не во гнев будь сказано графу Л. Н. Толстому, который уверяет, что во время войны адъютант что-то лепечет генералу, генерал что-то мямлит солда-

там — и сражение как-то и где-то проигрывается или выигрывается, — а план генерала Мольтке приводится в исполнение с истинно-математической точностью, как план какого-нибудь отличного шахматного игрока. . . Да, ум и знание, с присоединением твердой воли — цари на сей земле!» (Соч. Т. 15. С. 18—19). Высшему морально-философскому суду Толстого над Наполеоном и иже с ним Тургенев противопоставляет не какую-нибудь особую мораль (Наполеоны и наполеончики и ему внушают омерзение), а элементарно-убедительную логику фактов, доступную пониманию каждого (прокладка тогда невиданной по протяженности трансконтинентальной железной дороги, выигрыш войны согласно «умным» предначертаниям штабов и т. д.).

«Погрешности» Толстого в понимании существа исторических событий и роли личности в этих событиях до известной степени компенсируются диалектикой авторской трактовки образа Кутузова. Характеризуя деятельность штаба русской армии и настроение самого Кутузова на пути от Смоленска к Москве, Толстой замечает: «. . . очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум, и знал что-то другое, что должно было решить дело, — что-то другое, независимое от ума и знания. . . Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство. . .» (Т. 11. С. 169—170). Толстовский Кутузов размышляет и действует не столько в согласии с выкладками ума, сколько по наитию. В то же время он умен чрезвычайно. Это старый, опытный человек, наделенный не только талантом, но и мудростью полководца. Человек, которому в пору быть государственным деятелем высшего ранга. Недаром князю Андрею здесь же предоставляется возможность заметить «умное, доброе и вместе с тем тонко-насмешливое выражение на. . . лице Кутузова», а самому Кутузову — подчеркнуто умно продемонстрировать свою непоколебимую уверенность в том, что завоеватели еще «будут. . . лошадиное мясо есть!» (Т. 11. С. 171, 172). Таким образом, ум, воля и «что-то другое», могучее, как инстинкт, соединяются в одном лице, которое только что ум презирало. В следующем томе Толстой приводит цитату из ответа Кутузова на заискивания Наполеона после Бородина: «Я был бы проклят потомством, если б меня сочли первым зачинщиком какой бы то ни было сделки: *такова воля нашего народа*» (Т. 12. С. 70). Воля Кутузова сливается с волей народа, не желающего примирения с захватчиком, но не растворяется в ней. На передний план выдвигается не пассивная вера в предопределение, не наитие, не фаталистическое упование на «что-то другое», а сознательно-сосредоточенная устремленность к великой цели. Это качество Кутузова очевидно для Толстого лишь в определенные моменты повествования. Тургенев же этого качества в изображении Толстого как бы и вовсе не замечает. По всей вероятности, потому не замечает, что ему важно сосредоточить свое внимание на безусловно уязвимых местах толстовской философии истории.

Разногласия по вопросам философии истории (роль личности, соотношение сознательного и бессознательного) естественно порождают у обоих писателей различные представления о том, каков есть и каков должен быть литературный герой.

Прежде всего, Толстого не убеждает тургеневская трактовка женского героизма с его жадной деятельного добра (Наталья Ласунская, Елена Стахова). Они представляются ему крайне неправдоподобными, иллюзорными. Это потом, в 90-х годах, он скажет Чехову: «Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таковых, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это — верно; я сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни».²¹ А сейчас, в 60-е годы, он говорит

²¹ Цит. по: Горький М. Литературно-критические статьи. М., 1937. С. 65.

совсем другое: «Девушка — из рук вон плоха — *ах, как я тебя люблю. . . у ней ресницы были длинные. . .*» (Т. 60. С. 325). Тургеневу инкриминируется не только «банальность» образного выражения мысли (длинные ресницы), но и ее полное несоответствие той правде, которая выражается в недавно опубликованном толстовском романе «Семейное счастье»: «Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений» (Т. 5. С. 106). Еще находясь в полосе идей этого романа, Толстой видит в Елене не устроительницу, а разрушительницу своего «дома». Быть может, осведомленный о выпадах Толстого против Елены, Тургенев оплачивает своему оппоненту сторицей: «Наташа однако выходит что-то слабо и сбивается на столь любимый Толстым тип (*excusez du mot*) <— — —>» (Т. 7. С. 122. См. также: Русское обозрение. 1894. № 2. С. 495). Конечно, и здесь суть дела едва ли искажается грубостью ее выражения.

Следует согласиться с замечанием, что образы Наташи Ростовской, «освобожденной от всякой интеллектуальности», и княжны Марьи, «погруженной в сферу религиозно-нравственных переживаний», «не могли импонировать Тургеневу, создавшему тип современной ему эмансипированной женщины».²² Однако этим заключением далеко не исчерпывается конкретика разногласий Тургенева с Толстым по вопросу о героине.

И Толстой и Тургенев пытаются строить свои негативные заключения на объективных данных, почерпнутых из творчества друг друга. Толстому, по всей вероятности, представляется дикой готовность Натальи и Елены к полному нарушению ради Рудина и Инсарова семейных устоев и связей, изначальная сосредоточенность их мысли не столько на любви, сколько на деле, представляющемся в громадных очертаниях. Очевидно, отпугивает его и строгость внешнего облика и характера довременного взрослых тургеневских девушек. Все это претит Толстому, уже привыкшему к естественному изображению прихотливого потока жизни, ее текуче-сложных, порою непредсказуемых процессов. А что отвращает Тургенева в облике Наташи? Отсутствие именно достаточной зрелости для того, чтобы иметь право на титул главной героини романа. Титул главной героини (в тургеневском значении этого слова) не соответствует еще неизжитая «детская» раскованность и непоследовательность в мыслях и поступках Наташи. Мог ли Тургенев, рисуемый по обыкновению неукоснительную строгость поведения своих до предела серьезных героинь, не возмутиться «поступком» Наташи, которая после предложения князя Андрея самозабвенно катается верхом на своем тринадцатилетнем брате Пете? (см.: Т. 10. С. 273). И где-то совсем рядом с этим событием детская веселость уже помолвленной Наташи сменяется почти истерикой девушки, жаждущей мужа. А годом-двумя раньше пятнадцатилетняя или уже шестнадцатилетняя Наташа уверяет: «Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори» (Т. 10. С. 9; см. еще там же: «Наташа надела один сапог с шпорой и влезала в другой» — С. 7). В тургеневских изображениях девушек-героинь такие отступления от довременной зрелости исключены. И вообще подробно выписанные семейные радости не та сфера, которая интересует Тургенева и главных героинь его романов. С точки зрения «культурно-героического» романа (термин Л. В. Пумпянского), огромную дань которому заплатил Тургенев, этого слишком мало.

Уже в «Севастопольских рассказах» нет индивидуального героя, поставленного в центре событий, выписанного в традициях романтического или реалистического апофеоза личности. Ни Калугин и Праскухин, ни Михайлов и Пест, ни

²² Курляндская Г. Б. Указ. соч. С. 95.

даже чудесные братья Козельцовы не выдерживают экзамена на эту роль. Да Толстой и не стремится к такого рода экзамену. Напротив, он произносит слова, известные теперь всем, но которые в 50-е годы прошлого века производили впечатление сенсации даже в среде литераторов-профессионалов: «Кто злодей, кто герой? . . . Все хороши и все дурны. . . Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души. . . который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (Т. 4. С. 59). Правда бесконечно многолика, детерминированная установкой на универсальный демократизм в понимании героического. Еще одно определение такого индивидуально-«безгеройного», безбрежного героизма дано там же, в траурно-символической картине оставления Севастополя его защитниками: «Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты на мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой тесноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев. . .» (Т. 4. С. 118). Есть что-то «севастопольское» и в определении переживаний Пьера, наблюдающего отступление армии Наполеона из Москвы («Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их» — Т. 12. С. 104), а затем жизнь и поведение Каратаева. Во всех этих случаях превалирует не единица, а масса или же масса, представленная в образе единицы, выделившейся из нее только затем, чтобы тут же слиться с нею (Каратаев). Характерно в этом отношении и напутствие самому себе в заметке Толстого «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“», тогда еще далекой от окончания (весна 1868 года): «Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди» (Т. 16. С. 10). Между тем у Тургенева и теоретически (ряд писем 60-х годов, «Литературные и житейские воспоминания», «Предисловие к романам») и практически (в художественном творчестве) «правда» героического резко персонифицирована. Персонификация весьма ощутима даже в «Записках охотника», повествующих по преимуществу о народе и попутно осуждающих героя-индивидуалиста за искусственное уклонение от участия в народной жизни. Об этом свидетельствуют уже сами названия очерков («Хорь и Калиныч», «Касьян с Красивой Мечи», «Однодворец Овсяников», «Гамлет Шигровского уезда», «Татьяна Борисовна и ее племянник»). В романистике Тургенева эта тенденция выражена еще отчетливее. Из творческой истории «Накануне» и «Отцов и детей» мы знаем, что первоначальные их названия — «Инсаров», «Базаров» — указывали на гармонию с основной задачей «Рудина», удобно укладывавшейся в русло пушкинско-лермонтовской традиции («Евгений Онегин», «Герой нашего времени»). И первоначальное название «Рудина» — «Гениальная натура» — не противоречило тяготению автора к несколько романтизированной персонификации героизма. Тяга Тургенева к изображению индивидуально-героического сказывается на всех без исключения главных персонажах первых четырех его романов.

Во всех перечисленных случаях персонификация героической «правды» обусловлена «антитолстовским» тезисом «о необходимости сознательно-героических натур. . . для того, чтобы дело подвинулось вперед» (Т. 3. С. 368). Тургенев при этом имел в виду подготовку освобождения пассивной массы народа из-под гнета крепостного права не кем-нибудь, а именно передовыми людьми, героическими натурами. Изначально строго целенаправленному, в известной мере даже эффектно-декларативному и уединенному героизму Инсаровых и Базаровых не подходят мерки скромного, буднично-бессознательного, но в конечном счете чрезвычайно действенного героизма Тушиных, Тимохиных,

Дохтуровых, Коновничиных. Гушин и Тимохин почти ничем не выделяются на фоне солдатской массы. Они едва ли не частицы этой массы, т. е. народа. Значит, герой — это прежде всего народ. Тургенев же, говоря о необходимости сознательно-героических натур, многозначительно добавляет: «Стало быть, тут речь не о народе» (Там же). «Речь не о народе» звучит почти кощунственно, так как сказано накануне падения крепостного права, которым в течение не одной сотни лет был придавлен именно народ. Такое несовпадение в принципах отыскания и изображения героического и правды жизни вообще чревато продолжением полемики. Poleмика о литературной героине закономерно перерастает в полемику о литературном герое.

При сколько-нибудь внимательном чтении «Войны и мира» с проекцией этого чтения на романистику Тургенева обнаруживается целый ряд несоответствий типично тургеневским представлениям о герое. Питательная среда тургеневского героя — интеллектуально и нравственно избранное меньшинство образованного класса от эпохи Белинского до эпохи народничества. Тургеневский герой посвящает иногда и на эту элиту, но для самого Тургенева она святая святых. Белинского, Станкевича, Грановского, Герцена, в известной мере Бакунина и Огарева он любит, а таких разных представителей русской общественности, как Добролюбов, Чернышевский, К. Д. Кавелин, Н. А. Милютин, Е. П. Ковалевский, безусловно уважает. Из этого меньшинства или из сферы его влияния комплектует он своих героев, начиная с Рудина и кончая Потугиным. Для автора же «Войны и мира» авторитетного меньшинства образованного класса как бы и вовсе не существует. Во всяком случае, Толстой неоднократно ставит это меньшинство под удар. Для него оно не более чем «трутневое население», помышляющее лишь о чинах и наградах. «Одушевление народа, которое было главной причиной торжества России», этому «населению» чуждо (см.: Т. 11. С. 44, 45).

В одном из набросков предисловия к «Войне и миру», относящемся, по мнению Б. М. Эйхенбаума, к 1864 году, Толстой замечает: «Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героев и героинь через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 годов».²³ В соответствии с такой «установкой», тургеневскому типу романа с одиноким идеологическим героем в центре противостоит, помимо массы обыкновенных героев, которым несть числа, едва ли не разветвленная система центральных героев в «Войне и мире» (Пьер, князь Андрей, Николай Ростов), каждый из которых, не говоря уже о центральных женских героинях — Наташе и княжне Марье, выполняет важнейшие идейно-сюжетные функции. Исчезновение из поля зрения кого-нибудь из них влечет за собою выпадение из эпопеи целого пласта повествования — военного, семейно-усадебного, философско-созерцательного.

Пьер и князь Андрей — рафинированные интеллектуалы. Оба не могут «не думать» (Т. 10. С. 112) и... оба стремятся прочь от того круга, в котором думают или делают вид, что думают. Куда стремятся? Кутузов говорит князю Андрею: «Я тебя с Аустерлица помню... со знаменем помню... Иди с богом своею дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести» (Т. 11. С. 171 — 172). Примечательно, что эта похвала произносится после отказа князя Андрея от предложения Кутузова служить у него в штабе, т. е. занять удобное место среди привилегированного меньшинства, претендующего на руководящую роль в разворачивающихся событиях. Князь Андрей идет в огонь сражения, к солдатам, к народу — к тем, кто выносит на своих плечах основную тяжесть нашеств-

²³ Цит. по: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. С. 250.

вия. И туда же уходит его единственный друг Пьер. Толстой развенчивает таким образом не только «трутневое население» меньшинства, но и меньшинство в целом. Ибо он утверждает: жизнь вообще, со всеми ее печальями и радостями, со всеми ее прогрессами и регрессами, совершается, даже в годину нашествий, «вне всех возможных преобразований» (Т. 10. С. 151. Курсив мой. — А. Б.). Подразумевались «преобразования» посредством «сознания», «ума». Среди толстовских выпадов против «ума» есть даже такой, с точки зрения Тургенева совершенно возмутительный: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни» (Т. 12. С. 238). Наконец, среди центральных героев романистики Тургенева нет ни одного преуспевающего, и это всем им, а не только Рудину ставится в заслугу. Не-преуспеяние как знак пробы на драгоценном металле. Есть он — металл превосходит, нет его — достоинство металла сомнительно. Не так у Толстого. У него преуспели все, кроме Андрея Болконского, сложившего голову на поле брани. Преуспели, отнюдь не утратив своего человеческого достоинства и героического ореола. А между тем один из преуспевающих, Николай Ростов, принадлежит к числу тех, кто привык «не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле» (Т. 11. С. 55). Толстой не лишил Николая Ростова равноправия с Пьером и князем Андреем скорее всего потому, что все они представляют одинаково важные для него стихии положительной русской жизни. В прошлом хороший солдат, Николай Ростов становится образцовым «хозяином», блюдущим интересы своих крестьян. Этим качеством нейтрализуется его реноме туповатого служаки, готового выполнить любой приказ Аракчеева. Впрочем, не до конца нейтрализуется. Недаром в конце первой части эпилога Николеньке Болконскому, уже смутно понимающему, что он преемник духовно-героического наследия Пьера и князя Андрея, снится вещий сон. Себя и «дядю Пьера» он видит в касках античных героев, идущих «вперед огромного войска». Путь им преграждает фигура Николая Ростова «в грозной и строгой позе». Но Андрей Болконский ласкает и одобряет сына, и сын, благоговеющий перед его памятью и живым «дядей Пьером», молит бога о том, чтобы было с ним то, что было «с людьми Плутарха». Этот апофеоз традиционного героизма свидетельствует о диалектически сложном у Толстого решении проблемы героического. Диалектическое сочетание и мирное сосуществование сознательного и бессознательного в системе центральных образов «Войны и мира» встречается неоднократно и особо подчеркивается в эпилоге. «Для Николая, — замечает Пьер, — мысли и рассуждения — забава... а для меня все остальное — забава» (Т. 12. С. 292). «Мысли и рассуждения» приводят Пьера в тайное общество противников господствующей государственности, а для Николая Ростова его нежелание «думать» чревато пособничеством Аракчеевым. Тем не менее Пьер и Николай Ростов не только родственники, но и друзья. И жена Николая Ростова горячо любит своего мужа, а тот, гордясь тем, «что она так умна», и хорошо сознавая «свое ничтожество перед нею в мире духовном», радуется тому, что «она с своею душой» не только принадлежит ему, но составляет «часть его самого» (Т. 12. С. 287). Тургенев сам любил указывать на всякого рода противоречия в сердце человеческом, советовал не смущаться ими. Однако такое органическое сосуществование противоречий и ему представлялось бы, пожалуй, слишком смелым. В конце концов, по крайней мере в пределах «Войны и мира», Толстой склоняется к признанию и стихийно-бессознательного, и сознательно-героического начала в истории и жизни современного общества. В противном случае породнение князя Андрея, Пьера Безухова и княжны Марьи с милым сердцу Толстого семейством Ростовых, живущим по преимуществу органической жизнью, оказалось бы практически

невозможным. Была бы недостаточно убедительна и позднейшая характеристика Толстого, сформулированная в письме Горького к Стефану Цвейгу: «Толстой — колоссальнейшее, небывалое противоречие интеллекта с инстинктом».²⁴ Впрочем, борение между сознательным и бессознательным, умом и инстинктом Горький подчеркивал в настроениях и молодого Толстого: «Никто в мире до Толстого не говорил так, как этот человек: „Ум, слишком большой, противен“... Сознание — величайшее моральное зло, которое может постигнуть человека».²⁵ Едва ли не первым литератором-критиком, способствовавшим формированию и закреплению такого рода представлений о «русском гении» Толстого, был Тургенев.

Тургенев первым поставил вопрос и о славянофильской окраске толстовской философии. В ноябре 1869 года он писал: «С нетерпением ожидаю 6-го тома „Войны и мира“ — авось автор успел немного *разуруситься* — и вместо мутного философствования даст нам попить чистой ключевой воды своего таланта» (Т. 8. С. 128). Наряду с М. П. Погодиным, С. С. Урусов был столпом славянофильства. Оба в годы создания «Войны и мира» переписывались, встречались с Толстым и, конечно, если не прямо влияли на выработку идейно-философской концепции эпопеи, то по крайней мере как-то способствовали ее становлению. Это доказано.²⁶ С другой стороны, не лишены резона замечания тех исследователей, которые противоречивые толкования Толстым некоторых вопросов философии объясняют его склонностью к диалектике.²⁷ Разумеется, «диалектика души» — мостик к пониманию толстовской диалектики исторического процесса. Но она же и повод к нескончаемым противоречиям в толстовской трактовке жизнедеятельности отдельной личности и исторического процесса в целом. Ибо диалектика немыслима без противоречий. Творческая история «Войны и мира» свидетельствует о том, что в период создания этого произведения художественно-философское мышление Толстого находится скорее на стадии сложных поисков истины, нежели на стадии ее окончательного, а тем более догматически окончательного ее оформления. Впрочем, не будем выяснять досконально, кто из упомянутых исследователей прав по преимуществу. Очевидно, в той или иной степени все они правы. Трудно предположить, чтобы тургеневский глагол «разуруситься», взятый на заметку Б. М. Эйхенбаумом, а задолго до него П. И. Бартеневым, был произнесен необдуманно. Вместе с тем и всегдашнее тяготение Толстого к диалектике, к многостороннему рассмотрению предмета не подлежит сомнению. В свете нашей темы, однако, особое значение приобретает другая задача, а именно: проследить и по возможности точно зафиксировать признаки переплетения в 60—70-е годы мысли Толстого с мыслью Тургенева, и наоборот. Продолжим наши наблюдения.

В начале 1870 года, после очередного разочарования в философии «Войны и мира», Тургенев пишет с досадой: «...нельзя так легко разрешать вечный, более чем трехтысячелетний спор между необходимостью вещей и свободной волей — и уничтожение (как то делает Толстой) одной из спорящих сторон — не раз-

²⁴ Горький М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 30. С. 97.

²⁵ Там же.

²⁶ См.: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. С. 248—250, 282—283, 326, 329—330, 335, 336, 337, 338, 340—341, 374 и др.

²⁷ См.: Куприянова Е. Н. О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Русская литература. 1985, № 1. С. 162, 163, 165, 167, 169, 172. В своей аргументации Е. Н. Куприянова опирается на статью А. С. Скафтымова «Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого „Война и мир“», опубликованную сначала отдельно, а затем вошедшую в сборник статей ученого «Нравственные искания русских писателей» (М., 1972. С. 182—217). Однако возражение А. С. Скафтымова против участия Погодина и Урусова в выработке философско-исторической концепции «Войны и мира» выглядит недостаточно мотивированным.

решение задачи. . .» (Т. 8. С. 184). Тургенев не ограничивается этим общим суждением. Его замечания задевают и личное самолюбие Толстого. Ибо, по слову Тургенева, «решение задачи», предлагаемое Толстым, «показывает. . . неустойчивость и незрелость мысли, сопряженные с детским нетерпением и самомнением недоучки» (там же). Этими своими замечаниями Тургенев попадал в самую болевую точку: «необходимость вещей», или «предопределение», а еще точнее — то, что принято называть историческим фатализмом, лежит в основе авторских разъяснений существа грандиозных событий, разворачивающихся в «Войне и мире». Свободе же воли, в особенности воли одиночной, отводится там подчиненная, а в самом конце эпилога едва ли не ничтожная роль. Замечания Тургенева по этому поводу передаются, по-видимому, адресатом его письма И. П. Борисовым Толстому и учитываются последним в дальнейшей работе. Во всяком случае через несколько лет среди черновых набросков Толстого появляется запись, представляющая собою приблизительную вариацию суждения Тургенева о трехтысячелетнем, по существу, бесконечном боре свободы с необходимостью. Больше того, Толстой выражает теперь даже неудовольствие в связи с тем, что дифференцированная современная наука не придает должного значения вопросу о свободе и другим общим вопросам. Он пишет: «Прежде каждая наука не отстраняла от себя философских вопросов, связанных с нею; теперь история прямо говорит, что вопросы о назначении человечества, о законах его развития — вне науки. Физиология говорит, что она знает ход деятельности нервов, но вопросы о свободе или несвободе человека — вне ее области. . . Так на черта ли мне ваши науки?» Имея в виду неистребимую надежду постижения истины, Толстой заключает свое рассуждение явно различной аллюзией на недавнее резюме Тургенева в письме о нем и об Урусове: «Пора понять, что эта надежда живет 3000 исторических лет, и мы ни на один волос не подвинулись в знании <того>, что справедливо, что свобода, что за смысл человеческой жизни?» (Т. 17. С. 141). Крен от предопределения в сторону свободы, во всяком случае, повышенный интерес к свободе воли или мысли, дающей возможность разобратся в «смысле человеческой жизни», здесь очевидны. Продолжая свое беспрецедентно самобытное развитие, Толстой в то же время встает на порог тургеневского отказа от сковывающей мысль монотонной систематики «предопределения». Теперь и для Толстого, как несколько лет тому назад для Тургенева, несомненно существование вечных нерешенных вопросов. Видно, не напрасны были усилия по «воспитанию» Толстого, предпринимавшиеся Тургеневым еще в 1857 году. Ведь уже тогда не кто иной, как Тургенев, поощрял Толстого: «Вы становитесь свободны, свободны от собственных воззрений и предубеждений. Глядеть налево так же приятно, как направо — ничего клином не сошло. . . Дай бог, чтобы Ваш кругозор с каждым днем расширялся! Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотя и ее за хвост поймать: система — точно хвост правды, но правда как ящерица: оставил хвост в руке — а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет» (Т. 3. С. 75). Толстой-художник несоизмеримо богаче и свободнее Тургенева. Он великий среди великих. Зато изощреннее Тургенев-мыслитель, толкующий о свободе и системах. В этой области он гонится в учителя Толстому. Впрочем, с этим выводом спешить не следует.

Под конец жизни стрелка тургеневских философских весов заметно смещается в сторону вынужденного признания деспотического авторитета необходимости. Не исключено, что тургеневское стихотворение в прозе «Necessitas, Vis, Libertas»,²⁸ посвященное трактовке этой проблемы, носит на себе следы

²⁸ Необходимость, Сила, Свобода (лат.).

известного влияния и со стороны философско-исторической концепции «Войны и мира». Слишком сильно было впечатление Тургенева от этого произведения. Быть может, оно должно было сказаться каким-то отголоском и в его художественном творчестве.

В названном стихотворении былое ощущение едва ли не вечного (вспомним замечание о трех тысячах лет, подхваченное и Толстым) спора на равных между свободой и необходимостью уже отсутствует. Симпатия к свободе, представленной в образе грациозно-любопытной девочки, здесь очевидна. Только «у одной этой девочки», замечает Тургенев, «зрячие глаза; она улыбается, оборачивается назад, поднимает тонкие, красивые руки; ее оживленное лицо выражает нетерпенье и отвагу. . .», но «она. . . все-таки должна повиноваться и идти» вслед за безучастно-«железной» необходимостью и тупой силой (Соч. Т. 13. С. 171).

Философское ощущение времени у автора «Войны и мира» и у Тургенева во многом различное. У первого оно, несмотря на проповедуемую им теорию предопределения, раздольно-эпическое; у второго — грустно-созерцательное, на грани того затаенного пессимизма, который не пришелся по душе Толстому еще при первом чтении им романа «Накануне».

Диалектическое сознание Толстого по временам склонно к распадению на свои ингредиенты, которые, однако же, продолжают сосуществовать рядом, жестоко компрометируя друг друга. В самом деле, как соединить весьма определенные указания Толстого на примат сознательного начала в поведении Кутузова и Андрея Болконского накануне Бородинина с тем, что он говорит вскоре после изображения Бородинина? «Большая часть людей того времени, — утверждает он теперь явно вразрез с философскими постулатами романистики Тургенева, — не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени». Отнюдь не «сознательно-героические натуры» греются Толстому, когда он продолжает: «Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все наыворот. . .» Это Кутузов-то, и князь Андрей, и Пьер Безухов, изображенные Толстым с таким проникновением в глубины ума и сердца человеческого, «видели все наыворот», «не обращали никакого внимания на общий ход дел»? Продолжая противоречить самому себе, Толстой утверждает: «В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью» (Т. 12. С. 14). На эти, по-своему нигилистические, суждения Тургенев реагирует с чрезвычайной резкостью в своих мемуарах о творческой истории «Отцов и детей». В черновом автографе этих мемуаров появляются строки, которые не суждено было прочесть Толстому (они не вошли в печатный текст мемуара): «. . . и человек, который подобно графу Толстому мог написать, что только одна бессознательная деятельность приносит плоды, сам начертал свой (собственный) приговор» (Соч. Т. 14. С. 467). Тургенев имел при этом в виду общефилософские рассуждения Толстого и тесно связанную с ними характеристику Николая Ростова: «Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов, и другие, а что он слышал, что комплектуют полки и что должно быть драться еще долго будут и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк» (Т. 12. С. 15). Объективно эта характеристика противопоставлена взгляду

Тургенева на своего героя. Дело в том, что позднее Толстой утверждал: «... в Рудине, Лаврецком, Базарове — ничего нет: что говорит Базаров, то только разве и хорошо. Да и быть ничего не могло: ведь те движения, представителями которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились *только в умственной сфере*, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержание художественному произведению. . .»²⁹ Нетрудно заметить: и это суровое суждение о центральных героях романистики Тургенева сделано еще с позиций философии истории, характерной для «Войны и мира». Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить об авторской трактовке пребывания Андрея Болконского в избранном кругу Сперанского. Подобно Рудину и Базарову, упражняющим свои ораторские способности «в умственной сфере» культурных дворянских гнезд, «он ничего не делал. . . а только говорил» (Т. 10. С. 167). С точки зрения Толстого, историческая роль Сперанского неясна или незначительна, и такая же участь ожидала бы князя Андрея, не уйдя он вовремя из этого круга.

В дальнейшем разногласия между писателями по вопросу о герое заметно смягчаются. Толстому нравится роман Тургенева «Новь», в котором он усматривает «что-то реальное, соответствующее жизни», переходящее «в поступки»,³⁰ а Тургенев в процессе выработки идейной концепции этого романа опирается до некоторой степени на ту тенденцию мировоззрения Толстого («роевое» начало), которой он раньше не придавал особого значения. Но это уже тема другой статьи.

²⁹ Лит. наследство. Т. 69. Кн. 2. С. 50. Курсив мой. — А. Б.

³⁰ Там же.

АПОКРИФ XX ВЕКА. МИФ О «РАЗМОЛВКЕ НАЧАЛ» В КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА Л. ЛЕОНОВА

(ИЗ БЕСЕД С ПИСАТЕЛЕМ)

В мае нынешнего года исполнилось 90 лет Леониду Максимовичу Леонову. Помещаемая ниже статья подготовлена к юбилею писателя. Преподаватель Вильнюсского университета А. Г. Лысов является автором ряда работ о творчестве Леонова, опубликованных как в республиканских, вильнюсских, так и в ленинградских, московских изданиях. Автор статьи неоднократно встречался с Леоновым, материалы бесед с писателем публиковались в журналах «Вопросы литературы», «Москва», «Собеседник», в газете «Известия» и др. Часть из них положена и в основу настоящей статьи. А. Г. Лысов сосредоточен на изучении особенностей философского мышления художника, а также на специфике мифологического живописания, на проблемах библеистики, культурологии у Леонова.

Н. А. Грознова

Если философия от века считалась матерью всех наук, то родительское крыло литературы простирается над всеми культурными путями человечества. В этом плане Леонид Леонов был и остается не только выдающимся обобщителем духовного наследия прошлого; он является и автором многих наиболее крупных философских, культурно-исторических идей, помогающих вписать XX столетие в мировой историко-культурный контекст, в единый «большой поток человечества».¹

Представление о литературе как о человековедении, как об особой сфере культурознания неутомимо и самым подвижническим образом отстаивалось Леоновым на протяжении всей его творческой биографии. Ведь начальный ее этап как раз и приходится на тот мощнейший «слом» в движении «большой русской литературы», когда творчеством Бунина, А. Толстого, «Возмездием» Блока и др. окончательно обрывалась в поэтике связи времен миссия художника — «дворянского хроникера», исследователя жизни клана, выразителя, по слову Пушкина, «своей родословной», «истории, переданной домашним образом» — и вступало в свои права назначение писателя как «секретаря человечества». Не оттого ли в самооценках Леонова столь часто звучит мысль о том, что он «художник с немой биографией», что «творчество — это вторая, духовная биография автора». Подобно тому как у Н. Заболоцкого неиссякаемое единство жизни определяется тем, что «явление к бытию» человека связано не с датой его рождения, а со «священным мигом» возникновения на планете жизни вообще:

«Не я родился в мир, когда из колыбели
Глаза мои впервые в мир глядели,
Я на земле моей впервые мыслить стал,
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл...»,²

так и у Леонова предыстория человека не только частная его «фармакопея духа», но и вторая духовность, т. е. вся накопленная до него культура. Человек

¹ Леонов Л. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1984. Т. 10. С. 438. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

² Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 223.

в этой единой связи предстает как мысль вмещающая и передающая, душа, вмещающая пройденное и восполняющая общий объем всечеловеческого поиска своей неповторимой судьбой, «подвигом своим и страданием» (3.9).

«Писатель, — говорит Леонов, — желает он того или нет — чуткий вибрирующий аппарат, улавливающий любые колебания современности, сейсмограф, настроенный на будущее. . . Самому мне порой кажется, что я — просто пишущая машинка, на которой *кто-то* печатает. Я нахожусь в замкнутой сфере, где человечество „надышалось“ много себя, и поэтому естественно, что я пользуюсь этим „глотком“. Однако эти элементы воздуха неизбежно сказываются на определенных слоях моих вещей, на некоторых архитектурных решениях. . . Внутренний мир автора (да и любого человека), понимаемый как его идеи и идеалы, как концепции, в которых он живет, для меня гораздо важнее, чем его биографические сведения, а последние значимы только в том случае, если они — плодородная почва для больших идей».³ «Человек всегда важнее событий. . . Оскар Уайльд некогда высказал, думаю, гениальную мысль, что самые большие события творятся в мозгу человека. Я пытаюсь „вписаться“ в этот тезис по необходимости» (2 декабря 1985).

Культура как единственно возможный способ истинного морального бытия, а не просто экзистенции и не просто сосуществования людей — вот главная мысль, живой нитью простегивающая почти все леоновские художественные и философские решения.⁴ И в дальнем, и в ближнем прошлом, и сегодня Леонов продолжает поддерживать философскую остроту и значимость проблем духовного наследия как непресекающейся «всеобщей связи всего со всем», выстраивая за многообразными противоречиями современности «величественные ряды» предшествовавшего людского опыта, утверждая этим универсальный смысл литературного творчества как ведущей области самосознания и самоопределения человечества в полном объеме его истории. «В жизни можно определять свое место по константам, тебя окружающим; но есть и другой способ ориентации — на *большом* перекрестке пространства и времени. То, что мы сегодня живем, — этим мы обязаны не просто своему рождению, но и всему, что позади нас. Мы смертны в рамках войны, болезней, голода, отчаяния. . . но за нами идут другие. Мы — переходное звено в единой человеческой цепи, и события страшные, нависающие над нами, могут привести к окончательному ее разрыву. Все, что сегодня происходит, касается абсолютно всех, вызывает в любой душе невольный отклик, — такой, как если бы человек смотрел кино, ел мороженое, а его бы прижгли каленым железом. Волей-неволей он будет кричать. . . Поскольку сегодня дело грозит всеобщим уничтожением, то разговор должен идти не о разнице потенциалов, а только о том, как преодолеть их взаимное тяготение; нужны любые противовесы, невероятные усилия, чтобы хватило человеческой воли, и военный разлад не смог бы дойти до „короткого замыкания“. И самое минимальное, что должен в этом сделать каждый: хотя бы по часу в сутки вглядываться в грядущее, в его исторической развертке» (2 декабря 1985).

³ В беседе Л. М. Леонова с автором статьи 26 апреля 1983 года. В дальнейшем в тексте указываются лишь даты бесед с писателем. Учитывая нестандартность и смысловую многозначность леоновских определений, автор приводит записи бесед с оговоркой о возможных неточностях, обусловленных субъективностью восприятия и многим другим, неизбежно сопутствующим публикациям подобного рода.

⁴ Нельзя забывать, что леоновские идеи о всеобщей связи культур противостояли общепринятой в пореволюционные годы концепции разрыва, противостояния культур. Так, в пролеткультовском журнале «Горн» (1918. Кн. 1. С. 64) читаем: «В истории человечества бывают моменты, когда одна линия культуры, взлетев до высшей своей точки и описав дугу, падает, а рядом с ней, за ней начинается линия новой культуры. . . Одна в другую не перейдет никогда. Между ними провал».

Основное философское устремление писателя состоит в том, чтобы понять, какое место занимает современность в сквозном потоке движущейся культуры, каков общий смысл человеческого развития. «Человечество немало накопило способов отражения, так сказать, сиюминутной реальности. Это газеты, радио, телевидение, фотография и т. п. Соответственно литература может заняться кое-чем более важным и насущным для всего рода людского. Она должна стать выстрелом, чья мыслительная траектория „навылет“ проходит сквозь времена и народы, пересекает идущую новизну и скрывается за горизонтом едва обозначившегося будущего» (2 декабря 1985). Литературное творчество в этом плане есть также «осуществление связи времен. Поиск искусства — это всегда поиск правды, гармонии мироздания; это неутолимое искательство справедливости, осознание задач и главных целей цивилизации, живое чувство *всего* трагического пробега ее. . .» (26 апреля 1983).

Сам тип леоновского творчества (не чисто интеллектуальный и не исключительно философский, а именно «культурфилософский») был вызван к бытию универсальными и долговременными целями Октября, принципиально новым социо-культурным состоянием человечества в XX веке, а более всего — проблемой самоопределения революции на путях всечеловеческого нравственно-эстетического опыта. Леонов понимает революцию как глобальный корректив, внесенный в разметку мировых маршрутов и поставивший человечество на дороги естественно-исторического развития («Мы строим. . . процесс природы. . .» — 2, 306); он глубоко верит, что вся предшествовавшая культура будет вовлечена в революционном обществе в стремнину общего духовного преображения действительности.

С первой же пробы пера (например, в «Калафате») ⁵ и по сей день, как это видно из недавней публикации фрагмента нового романа («Спираль»), сам по себе образ исканий Леонова-художника диктовался и поныне определяется резким неприятием любых доктрин — от шигалевщины, Пролеткульта до масскультуры, — любых рецептов, постулирующих «абсолютное социальное равенство» («Спираль»), даже «универсальное благо людское», «сплошной проспект прогресса», достигаемых ценой обеднения культуры, создания «единства единообразия», «так сказать, через нивелировку структурных различий между пяткой и капризной тканью мозговой» (3. 129).

Леоновская концепция культуры как мирового целого распространяет тревожный свет идеала на все «трагические трещины», что «рассекли континенты, семьи и людские сердца» (10. 386) в XX столетии. «Ведь культура, по сути, и является тем, что сливает в один целый организм все человечество. . . Именно верностью Человеческому нужно исправить многое из утраченного» (20 июня 1987). Постоянные опасения Леонова связаны с многократно осуществлявшимися в новейшем времени подменами главных принципов человечности узкосоциальными их версиями, приспособлением под утилитарные цели, прямыми искажениями морального существа культурной традиции мира. Логическим диагнозом этого распада на полярные составляющие единых гуманистических ценностей, «размолвкой мировых начал» открывается фрагмент нового романа писателя «Спираль»: «Взаимонетерпимость противников, к развязке достигшая критического накала, и объяснялась стремлением каждого к абсолютному, прямо противоположному благу. Нередко в словарях один и тот же, даже обиходный предмет, не говоря о философских понятиях, имел настолько различ-

⁵ По мнению В. Скобелева (Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. Воронеж, 1975. С. 212), своей притчей «. . . про неистового Калафата» Леонов вступал в спор с программным произведением Пролеткульта — «Башней» А. Гастева.

ные толкования, словно самый химизм жизни по обе стороны враждебного рубежа был иной».⁶

Эта же неутоляемая тревога буквально пронизывает и болью, и горечью, и проблесками надежды любые суждения художника; идет ли речь о трагических перекосах в научном познании, о нравственных следствиях религиозного кризиса, о традиции Достоевского или о судьбах природы. И в каждой трещине, в любом разладе, обнаруживших себя на поверхности актуального бытия, пронизывается писателем особое измерение, глубинная ретроспектива конфликта. Вот стремительная леоновская оценка «Великого грешника» в «Бесах» в ответ на неловкое мое сравнение Ставрогина с Грацианским (как-то всегда обидно, что оппонентом Вихрова является мелкая личность, хочется придать их столкновению иной масштаб, поэтому и припоминаются суждения об «обличителе, обличавшем всех», типа «гений с отрицательным знаком», «демон», «ересиарх» и др.): «Что вы! Что вы! Ставрогин — это абсолютно другое. Ставрогин... порывистый ветер, который вложен в этот мир. От него идет порция беспокойства, безумия, охватывающая нации и народы. Он стихийен, внутри себя глубоко несчастен, беззащитен даже. Это Петруша делает взрыв, гребет жар чужими руками, совершает поступки всякие на его отвлеченной идее. Быть может, Грацианский ближе к нему: та же увертливость, „прыгучесть“, иждивенчество на чужом вдохновении. Ставрогин же — огромная фигура. Чего стоит одно его желание принизить себя, со своей высоты низвести на одну ступень с „хромоножкой“. В этом, наверно, — „смирись, гордый человек!“ — победа над миром — прежде всего победа над самим собой; покоряя, себя поставь на колени...» И здесь же (какое-то назидательно-усталое) продолжение разговора о коллизии «Вихров—Грацианский» как о «вековечном разладе»: «Вихров и Грацианский — биологически разные личности; у них свой „порог несовместимости“. В природе многое ищет, как бы приспособиться, украсть что-либо у другого. Например, цветок Иван-да-Марья похищает пищу у растений, стоит ли упоминать о паразитических животных. Грацианский из этой „семейки“. Он — паразитический тип, так его и определяет Поля. Вихров и Грацианский были давно, еще до рождения Христова, будут и дальше, до конца дней, если по „ошибке“, прозрению или в силу обстоятельств не „вытравят“ полностью тот или иной генотип из жизни» (26 апреля 1983).

Наиболее полно «мировые распутья» XX столетия были расценены Леоновым в «Воре». Вычерчивая в этом уникальном романе три способа овладения «умной блестинкой», этой «вчерашней душой мира» (3. 128), писатель выстраивает весьма точную коллизию, где любое из решений упирается в один из трех путей человечества. Один из этих путей, как уже говорилось, маршрут «общечеловека», «лица без страстей и эмоций», «человека-винтика», «единицы в миллионе» — словом, всех тех, кто, отрекшись от «мирового сокровища», подменил медлительный виток исторической спирали кратчайшей прямой, безоглядной вертикалью рывка в грядущее, увлеченный лишь «любовью к дальнему» (см., например, искажение Векшиным формулы развития «вперед и вверх» или «уравнительные рацеи» Чикилева: «... мне как гуманисту глубоко чуждо... частное благо, а всегда — лишь общественное» — 3, 492). Если человечество освободит себя от моральной мысли и нравственного наследия, то все в многообразном мире «уравнивается для простоты учета», и тогда утвердится в своих правах то людское устройство, когда бесповоротно восторжествует коммунальный принцип: «уничтожить все условия, при которых умная блестинка «может возникнуть в чьем-либо зрачке» (3. 494).

⁶ Леонов Л. М. Спираль // Роман-газета. 1987. № 13. С. 86.

Другой маршрут, буквально «опоясавший наше столетие», связан с «древнейшим кровотокающим опытом», с бессмысленным насилием, порожденным «гнилой кровью войны», и не только ею. Это, прежде всего, вырвавшийся на мировые пути с узкой тропы Заратустры уродливый зверь сверхчеловечества, с остервенением хватющий свою «поумневшую пищу», ослепленный единственной мстительной целью: «погасить блеск в зрачке противника, чтобы не было разницы между зрачками» (З. 494), и «заваливший» при достижении ее все «столбовые дороги людского прогресса» «грудами жженой и колотой», «живой и битой человечины» (З. 99).

Третий выбор — единственно адекватный естественному становлению человеческого во вселенной — приобрести «колдовскую блестинку самому». И тогда «вырвавшийся вперед протуберанец» исторического скачка по логике историко-культурного закона «повторяемости и смены» (З. 493) даже «вопреки своей воле возвращается в материнское лоно» (З. 494), т. е. в мир духовных достояний человечества. Именно этот идеал неизменно адресовался Леоновым революции: «Октябрьская революция представляется мне начальным актом перестройки человеческого бытия на новый лад, когда прежний движитель прогресса, чисто эгоистический импульс материального самообогащения, сменится желанным, при равном для всех достатке, импульсом обогащения духовного» (10. 558). Только на этой магистрали движения, связанной с созиданием не «обще-» и не «сверх-», а «Всечеловека», «Человека-культуры», может быть осознано, что «каждый шаг вперед на пути культуры был шагом к свободе».⁷

Поэтому и в новом фрагменте романа за «блестинкой наследия», вмещающей в себя «всю память человечества о былом», закрепляется автором «всемирно известное эмблематическое начертанье» формулы развития — «спираль».⁸ Однако речь в «Спирали» идет не о «блестинке» и не об идеаллических версиях развязки истории людской.

Леонов в отрывке нового романа в формах антиутопии доводит до трагического апогея, до изображения «бездуховной человечины», моральной смерти мира те мучительные опасения, которые всегда были обнаженным нервом русской классики и которые высказывал, например, по отношению к «Панчеловечеству», к обезличенным космопатриотам (опознающимся лишь «по более или менее сильной степени ненависти к собственной нации») в своих публицистических пародиях А. Герцен (см.: «Дорогой пангражданин» и «Перейдем к панчеловечеству»): «Долой национальность. . . Никаких различий, единство, единообразие, долой юг и север, долой запад и восток. . . Да здравствует единство и единообразие и все те, кто не умрет от скуки посреди этой панмонотонности».⁹ Ср. у Леонова: «. . .на основе достигнутого единомыслия добиваться и умственного единообразия — наиболее реальной базы для абсолютного социального равенства. . . Осуществление такого задания. . . универсальной стандартизации человеческой породы значительно упростило бы наравне со швейно-обувной промышленностью изготовление и пищи духовной».¹⁰ Однако не одно «панединомыслие» тревожит писателя в «Спирали». Более всего мучительна сама по себе возможность торжества исключительно негативного опыта, чудовищного исторического «синкриза» всех «дорог зла» — путь слепой вражды, пирамидальных устроений и обезличенных людских сообществ, способных разминуться в грядущем с моральной традицией предшествовавшей жизни. Только на дорогах «всечеловечности» станет невозможной подмена спирали духовного взросления

⁷ Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 116.

⁸ Леонов Л. М. Спираль. С. 88.

⁹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 461.

¹⁰ Леонов Л. М. Спираль. С. 87.

общности людской «конусом», по слову Толстого, «военной машины» или пирамидой общественного уклада, которые неизбежно венчаются цезарями, великими кормчими, отцами народов, а при окончательном трагическом разрешении «всех путей» и просто «головным императивным механизмом».¹¹ Все это в движении испытующей писательской мысли от противного составляет главное раздумье Леонова в концепции его творчества в целом: «Человек бывает, лишь когда его много, а без этого он либо царь, либо зверь, либо вор. . .» (З. 494). И другое: «Еще в средневековье — ценность человеческой жизни обратно пропорциональна величии идеи, государства, эпохи, человеком же и созданным. . . Так в чем же истинный гуманизм — в утверждении святости каждого неповторимого бытия, или в преодолении этого, по ходу прогресса все более отживающего табу?» (З. 490). Поэтому, по Леонову, только культура как «царство неповторимости», как развивающаяся и присваиваемая человеческая сущность способна потеснить в дальнейшей исторической развертке спирали любой виток также усовершенствованного «зла с тысячелетним возрастом». Надо, чтобы навсегда исчезла из жизни человечества альтернатива: «идти ли к звездам» «дружной шеренгой, взявшись за руки, или по старинке — с эгоистической элитой избранных во главе?».¹²

Творческий приоритет и своеобычность леоновских художественно-философских открытий прослеживаются и в ином. Ведь проблема «мирового витязя» на расщепление «трех путей», вопросы переакцентировки духовного идеала человечества в XX веке, его, неведомые дотоле, драматические формы самоопределения в истории, тесно связанные с судьбами культурного наследия, решались в неиссякнувшем контексте религиозного кризиса, на обломках христианского храма. В это смысле Леонов, взыскав истины и новизны, преследуя свои художественно-идеологические цели, покидает надежно обжитую «моральную вселенную» прежнего романа, унаследованную в известном смысле от христианских космогонических построений (например, у Достоевского: в пространстве бытия «бог с дьяволом борются», а «арена битвы — сердца людей»; или у Л. Толстого: бог «посеял семена жизни», зло (дьявол) «смущает» человека, и между этими абсолютами — «пути жизни» и «пути смерти» — вершится «дело человеческое»).

Леоновская версия культурного пути человечества определена нравственно-социальными требованиями мировой жизни в XX веке. В его же произведениях образно запечатлены полемики с доктринами «избранных», «назначенных», «заблудших» народов, с концепциями «объединителей человечества на крови» и др. Но здесь существенно то, что леоновские идеальные решения Пути как бы вырастали, вычленялись на новом уровне постижений из предшествовавшей традиции толкования судеб мира. «Я нахожусь в том же прожекторном пучке лучей, которые „бросил“ вперед Достоевский. Мы думаем об одинаковых вещах, другое дело, что решения во многом разные. Достоевский мучительно боялся той страны, где заходит солнце, старался не заглядывать туда. Однако он буквально жил ощущением громадной грозовой тучи, надвигающейся с Запада, пытался каким-то магическим заклятьем, если не остановить, то „до времени“ удержать ее. И вот она нахлынула. . . Думаю, эта тревога отчасти передалась моим ранним вещам — „Бурыге“, „Петушихинскому пролому“ и другим. . . Мы живем при великой смене идей. Что и говорить, христианская цивилизация была заряжена определенным духовным коэффициентом, и разру-

¹¹ В «Спираль», в коллизии «тогдашний управитель Волосюк» — «магическая голова», очевидна переключка с «Органчиком» Салтыкова-Щедрина.

¹² Леонов Л. М. Спираль. С. 88.

шение ее не может не отзываться даже на сегодняшнем дне. Не так уж стремительно и просто осуществляются исторические переломы. Достаточно обратиться к истокам христианства, чтобы увидеть, что когда распался старый дохристианский мир, готовы ли были боги новые принять все тех же людей под свою опеку?» (26 апреля 1983).

Принципы ревизии Леоновым прежних культурно-идеологических источников особо важно подчеркнуть, ибо, например, та же моральная схема трех путей обязана своим бытованием не столько христианской цивилизации, сколько уступкам, на которые вынуждена была идти религия, приспосабливаясь в своей практике к живой жизни людей, к естественным вопросам выбора и свободы воли. Действительно, единопутие царит в вероучении буддизма («карма» как причинно-следственное предопределение судьбы человека образом его прежних, до нового рождения, существований), однопутен древнекитайский культурный мир (человеческое «дао»); в античной космогонии без какой-либо отдаленной перспективы воздаяния, здесь же, на земле, вершится страшный суд мстительных Эриний над отступившими от воли богов, но и над богами, и над смертными властвуют мойры (парки); мстителен и жесток в Пятикнижии Моисея Бог-творец, перекрывающий любые ходы человеческого своеволия и гордыни. Концепция «двух путей» более или менее последовательно оформляется в вероучительном толке в Книгах пророков, а затем в Евангелиях (идеалы личного спасения в противовес первородному греху — коллективной, независимой от доли вины каждого ответственности в Ветхом Завете).¹³ И лишь в учении апостолов, ориентированном на жизнедеятельность христианского ритуала в людской общности, опять-таки в рамках христианской свободы складывается уточнявшееся позднее «троепутие». Бог все ведает и призывает человека к «путям жизни», дьявол искушает и влечет к стремнине смерти, и в центроположении между раем и адом пролегает «путь человеческий», т. е. для «мирянина в этой структуре открывалась возможность отличать предписания от советов, различие, чуждое Евангелиям: если сможешь осуществить все учение господя, будет прекрасно; если тебе это не удастся, делай только то, что для тебя возможно».¹⁴

Путь человеческий... Даже внутри священного канона, и чаще всего вопреки ему, проложил он свою все расширяющуюся колею свободного выбора. На его основе в большой русской литературе состоялись ведущие пересмотры христианского вероучения: вызрели ревизия Евангелий и апофеоза жизненности у Л. Толстого, идеалы единения с Великим Целым вселенной и недовершенный гимн подвигу деятельной любви Достоевского, лесковская воинствующая проповедь подвижничества добра и сермяжного праведничества, горьковское человекопоклонничество, его же подвижническое ощущение себя как «множества», как одной из струй в «гигантском человекопаде» (10. 523) истории. В этой же широкой современности, величественном, охватом в столетие, становлении «гуманистической новизны» (10. 513) складывалась и концепция «всецелочеловечности» Леонида Леонова, жидущаяся на феноменальной широте и едвали не стереоскопической объемности писательского отношения к культурному наследию как уникальному вместилищу не только уже воплощенных, но и

¹³ В данном аспекте сам по себе симптоматичен тот факт, что при оценке современности, скажем 20—50-х годов, Леонов весьма интенсивно использовал в романной действительности ветхозаветные сказания и эмблематику — миф о «творении» и «всемирном потопе» в «Уходе Хама», о «столпе кичения» в «Барсуках», о «первородном грехе» и «изгнании из рая» в «Воре», об «утраченном первородстве» в «Скутаревском», почти не обращаясь к новозаветным текстам, а соответственно и к идеалам личного спасения.

¹⁴ Доници А. У истоков христианства. М., 1979. С. 114.

всегда воплощаемых ценностей.¹⁵ Но и более того, Культура, по Леонову, не шагреневая кожа иссякающих в истории закрытых друг для друга духовных образований и не вечный Ренессанс, с его ориентацией на высшие образцы Красоты и Гармонии, а в специальном, художественном смысле, и не лаборатория карнавальных облачений. Она исконное поприще, «общее дело» (Н. Федоров) всего рода человеческого, всемирная, перефразируя Маяковского, «мастерская человеческих воскрешений».

Стоя над «вывернутым библейским древом», перед мировыми дорогами самоопределения человечества в истории, Леонов, естественно, не мог разместиться в прежнем духовном пространстве романа. Он отыскал свою формулу интеллектуально-эпического мышления — своеобразный жанр жанров, как бы мы его сегодня ни определяли: «роман-наследие», «роман-культуру». Этому роману чужда статика нравственных критериев: он весь, сам по себе — разворачивающийся «путь человеческий». В эстетической емкости леоновского романа живой поток непосредственного социального бытия одномоментно, в синхронном переживании сопрягается с движущимся культурным миром. Здесь каждое зерно современности прорастает в мировую жизнь, в перспективы ее морального преображения или духовные тупики и тотчас же пускает глубинные корни в исторической почве предшествовавшего культурного развития.

Это хорошо видно в построении той же «Спирали»: сегодняшняя тревожная всепланетная ситуация рассматривается под двумя проекциями: с одной стороны, речь идет о возможном глобальном катаклизме грядущего, а с другой — культурная память здесь же устремляется к истокам, к мифу о «Размолвке Начал», более подробно развернутому во фрагменте этого же романа «Мироздание по Дымкову». Этим как бы размечаются крайние точки пути человечества, задевается до предела натянутая современным противоречием апокалипсическая струна. Однако леоновская лапидарная версия мифа о начале и конце света не смотрится прямо в эсхатологические конструкции Библии,¹⁶ хотя и им свойствен, например учению Павла, «дуализм в сфере борьбы сверхъестественных сил за обладание людскою душою».¹⁷ Развязка истории после тысячетлетней схватки с сатаной должна знаменовать подготовлявшуюся в юдоли земной окончательную победу над злом, избавление от первородного проклятья и др. В эсхатологической подоплеке «Спирали» важно иное. Быть может, абсолютная зависимость всего дальнейшего хода истории от сегодняшнего всечеловеческого выбора, равно как и абсолютное размежевание мировых противоречий, вызвали к жизни своеобразный «перевертыш» библейской коллизии. Писатель пересоздает сюжет об исходном «расколе сущего на Добро и Зло» в ракурсе близком к моделям морального миростроения в системе учений *абсолютного* дуализма — манихейство, гностицизм, болгарское богомильство, некоторые русские ереси, «апокрифические сказания» и др. Согласно

¹⁵ Ср. у Блока в «Крушении гуманизма»: «Самые произведения художников — несовершенные создания. . . Сама Милосская Венера. . . обладает бытием независимо от того, разобьют ее статую или не разобьют» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 109).

¹⁶ Например, в «Мироздании по Дымкову» при развитии сюжета о «Размолвке Начал» постоянны авторские ссылки на одно из самых загадочных ветхозаветных лиц — Еноха, о котором в Библии сказано, что он «ходил пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5, 22—23) и который, согласно неканоническим Книгам Еноха, был «телесно» водворен на небеса, «поставлен над ангелами», владел всеми тайнами мироустройства и «управления космосом» и, что важнее всего, стал «„свидетелем Яхве“ против грешных людей. . . небесным летописцем. . . измеряющим правой мерой все дела человеческие. . . Эсхатологическая роль Еноха оттеняется его близостью к Адаму, к сотворению мира; через него „самое начало“ непосредственно связывается с „самым концом“» (Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 435—436).

¹⁷ Никольский Н. М. Избр. произв. по истории религии. М., 1974. С. 165.

им (в самом обобщенном виде) низвергнутый на землю Антипод (Сатаниил, «черный ангел», взбунтовавшийся «сын божий», во всем подобный Отцу¹⁸) похитил уже воплощенного «по образу и подобию» человека или выкрал (выпросил) искру божественной души, заточил ее в «глину телесную», так или иначе обрел права на людей. Жизнь и человек томятся «во плоти» и во власти «злого божества», жестокосердного «отчима» земли; единственное спасение, путь жизни и бессмертия — посредством совершенствования, освобождаясь от «земного праха» и «злого промысла», «пробиться сквозь сферы» к Вседержителю, к абсолютам Добра и пр. (ср. подобное в «Философии общего дела» Н. Федорова: «Не бог внемирен, а мир внебожен»). В отличие от ортодоксальной версии, согласно которой «противник Сатаны» не бог (он вне и над схваткой), а архангел Михаил «с воинством», в дуалистических ересях Антипод, «антибожество» противостоит богу «на равных основаниях».¹⁹ Таким образом смысл истории в дуальной коллизии, оставаясь сведенным к «священной войне» за человеческую душу, лишается, в противовес библейской концепции, предопределения и заведомо ясного исхода.

Эта мифологема неоднократно вовлекалась Леоновым в мир ранних повествований, в романную действительность, входила одним из глубинных критериев, подчас как «спрятанная координата», но, так или иначе, как необходимый мазок в общую палитру авторских оценок современности.²⁰ Однако, где бы мы ни сталкивались у Леонова с художественной реабилитацией мифа «о творении» или о «конце путей», везде при стиливых, смысловых, непосредственных ссылок на Библию будет очевидным передвижение канонической основы в апокриф, в идеологические формулы ересей, в иную экзегезу. Здесь действует определенный культурнический закон, когда смещение реальных мировых путей, переживание писателем неадекватного «человеческому званию» существующего социостаза (в «Спирали» это готовое вырваться в космос военное противостояние) приводят к соответствующей трансформации первоисточника. Более того, достаточно обратиться к узловым воплощениям коллизии «Размольки Начал» в общей концепции творчества Леонова, чтобы убедиться в удивительной динамической целостности авторского мышления о мире и удостовериться, что суть возобновления мифа не столько в многообразии (исходящих от целого) вариантов, сколько в единой развертке, в развитии акцентированных, последовательно высвечиваемых, уточняющихся от истока к кульминации отдельных фрагментов его. Совершая пробег по этому — скажем так — апокрифическому изданию библейского мифа в едином объеме исканий Леонова, мы вплотную подступим не только к постоянному писательскому осязанию «мировой трещины» XX столетия, но и к микрокосму абсолютных гуманистических измерений, который, будучи поглощен воссоздаваемой актуальной реальностью, став как бы «миром в мире», излучает изнутри, из предельных глубин лишь внешне реликтовые боль раскола, тепло сострадания и нравственную энергию полагаемого единства людей.

Так, в раннем новеллистическом цикле, в рассказе «Уход Хама», бережное до воплощения библейского сюжета о «всемирном потопе» обнаруживает благо-

¹⁸ Ангелов Д. Богомилство в Болгарии. М., 1954. С. 58.

¹⁹ Мифы народов мира. Т. 2. С. 412.

²⁰ Приведем некоторые моменты «самообнаружения мифа», хотя бы в оценках «злого божества»: «Бог его был угрюмый бог, — по должности он правил миром, состоявшим из одних нарушителей закона. . . И бог и раб его были одинаково скоры на руку» («Меть». 1. 385); «людям не лезть. . . или жалость за безмерные страдания» нужны, а «из десяти пунктов комендантское Расписание, как у Моисея!» («Конец мелкого человека». 1. 249); «бог ленив, равнодушен и зол. . .» («Русский лес». 9. 163).

говейное отношение художника к культурному наследию, что и предполагается им как запрос к становящимся идеалам пореволюционной поры. Смещения источника (лжеправедничество Ноя), а также изобличение злого бога, выводимое из основных противоречий Пятикнижия, открывает неприятие писателем и его временем религиозных установок. Полемиически осваивая источник как символ отступающего уклада бытия, Леонов на уровне широкого обобщения стилевых потоков Библии (миф о творении, скотоводческие идиллии, Песнь Песней и др.) как бы вовлекает в сферу нового идеала всю живую жизнь, языческое нутро Ветхого Завета, которые была не в силах подавить аскетическая «богодуховенная» идея. Из этого рождается новая коллизия: злой бог, жестокость потопа, сокрытие истин «старого и страшного мира»; и, с другой стороны, неприятие того, что жило вопреки злу, лжи и насилию, прорыв к абсолютам Добра, тоска по дальнему и мировая любовь, что, по Данте, «движет солнца и светила». Последнее уже звучит в финальном аккорде, в «Песни о Начале», ревизирующей библейский миф о творении, где Леонов, покидая территорию Первокниги как источника, вводит сюжет о боге-хитителе, об истоковой размолвке сущего — миф, одушевленный мечтой о высшей справедливости и гармонии, которые дотоле не были заложены в земной порядок вещей. Такова оценка писателем в свойственном той поре библейско-космическом антураже всемирно-исторической новизны, которую несла в себе революция.

Последующее развитие (в «срединном течении») мифа проходит в обеих редакциях «Вора», отдаленных друг от друга тридцатилетней исторической дистанцией. Писатель показывает широкую разветвленность мирового конфликта — от полного «хаоса вражды» до возможностей социального присвоения «высшей, точной человечности»; это и определяет в романе многоверсионный характер развертывания мифа. Адресаты мифологической подсветки здесь весьма широки, однако предмет целостного «облучения» традицией — весь трагический век, с его «ожесточенными, двумя кряду, войнами», дегуманизирующими формами прогресса,²¹ с «противными человеческому разуму», перефразируя Толстого, «и всей человеческой природе» мировыми коллизиями 1930-х годов, не обошедших чудовищной «гекатомбой»²² и наших социальных дорог. Существенно в данном аспекте, что эта лихая година в большой русской литературе была художественно ревизована конституционально близким леоновскому дуальным сюжетом «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. Нельзя не отметить также, что пластические решения движущегося мифа о «Размолвке Начал», провиденциально найденные Леоновым еще в период создания первой редакции «Вора» (1927), практически не были затронуты правкой в масштабе тех крупных изменений, которые претерпел роман в новой авторской версии.

Густая мифологическая оснащенность романа связана в основном с образом благушинского «мастера и человека» Емельяна Пухова (Пчхова). Этот характер несет в «Воре» предельно сложную концептуальную нагрузку. Роль Пчхова остается и по сей день недостаточно оцененной, а между тем без реляций этого персонажа не обходится ни один шаг Векшина — того героя, который и изменил высшей моральной традиции человечества. Противостоя превратно понятой Векшиным позиции («вперед и вверх», «к звездам», «к отдаленному человечеству», сквозь слезы, «нужды и даже кровь современников»), Пчхов исповедует иную любовь к дальнему, обращенную вспять, к истокам. Если Векшин обязан

²¹ Так, в преддверии притчи «об окольной дорожке в рай» звучит сентенция Пчхова: «...позволяет нам наука в бездну заглянуть, да она же и скинуть нас может. . . да еще в какую бездну!» (3. 151).

²² Слово из «Спирали» Леонова.

хотя бы оглянуться на покидаемое пепелище прошлого, подобно «Лотовой жене», то благушинский чудак словно застыл «соляным столбом» в пристальной своей оглядке. И бог его — это «добрый бог», «добросовестный, работающий. . . наелозится по небу с паяльником. . . уткнется в облачину и спит» (З. 588). Думается, недаром именно Пчхов сравнивает Векшина с «черным ангелом, падавшим в начале дней», которому также мнилось, что он поднимается «вперед и ввысь».

«В романе Пчхов — это самодеятельный мыслитель, который сидит в своем закутке, делает разные дерзкие вещи, с малыми основаниями пытается думать о большом. Но в том-то и смысл, что он находит свои выводы и обобщения о мире. Возьмите его умение найти какую-то формулу прогресса: библейская легенда об изгнании из рая переосмыслена им в притчу об окольном пути к райским вратам. Или его наблюдение о том, что люди погребают животных в себя. . . Доморощенный философ — это не всегда смешной философ. Идеи таких людей обкатаны, как морские голыши. Они внешне просты, но заключают в себе очень многое. „Причастись“, — говорит Пчхов Векшину, а за этим кроется: „Смирись, гордый человек, что ты буйствуешь впустую?!“ . . . То, что имеет Пчхов в себе, настолько выше, стариннее, ценнее, чем этот раздробленный мир Векшина. И в философствованиях Пчхова скорее всего заключена идея возвращения к первоистокам — не слишком ли мы далеко оторвались от дома. . .» (4 июня 1975).

Развитие леоновского апокрифа в «Воре» проходит через упоминавшуюся чрезвычайно ценимую Леоновым формулу «заблудшего человечества», сбитого на «обходные пути»²³ внеморальным разумом или «волей чужой», через пчховскую же притчу о мире, который «уже не для человека и ихних деток стоит, а для некоторых птичек и букашек, еще не осквернившихся» (З. 490), сквозь лапидарную версию длящегося процесса «Размолвки» в повествовании благушинского «мыслителя» о «Люципире и Бользызубе». В последнем образ мировой схватки, неостановимой и без победы одной из противоборствующих сторон,²⁴ расценивается буквально по толстовской моральной шкале: добро, утверждаемое насильем, уже не добро, синоним зла.²⁵ В пчховской интерпретации битва, не разрешающаяся ни во что «третье» («третьего ровно бы и не дано» — З. 490), — это бесконечное борение меньшего зла с большим, и «как поборет один другого, тотчас пополам победитель раздробляется и зачинают грызться половинки» и так бесконечно «. . . до горького познания» (З. 490). Такова стихийная диалектика раздумий благушинского Мастера о «мире без вечного мира».

В передоверенной Пчхову леоновской притче «о чужой хромящей воле», неприхотливой внешне и лишь в подводном течении смотрящейся в «Размолвку Начал», — грандиозный перекресток мифологических и историко-литературных источников, пучок смыслов мирового сюжета о «хромоте героя». У Леонова это всегда точный знак испытания персонажа движением в жизни или поступком, вершащимся «не по своей воле» (хромает Рахлеев, Буланин, на горькой

²³ Притча об «окольной дорожке в рай» обязана происхождением не только Библии, но и рассказу Достоевского об атенсте, который, не поверив «лицезримому» раю, отшагал в пустоте «квадриллион километров», чтобы вновь «упереться» в «заветные врата».

²⁴ Пчховская притча о борении двух половин мира вполне наложима на космогонию «абсолютных дуалистов» — павликиан, повлиявших на богомилов и др. По их представлениям, «во вселенной существуют две силы. . . которые находятся в вечной борьбе между собой, причем ни та, ни другая сила не может одержать верх в этой борьбе» (Ангелов Д. Богомильство в Болгарии. С. 52).

²⁵ В христианской эмблематике измененные Пчховым имена Вельзевула и Люцифера символизируют собой злые начала.

стеze подвертывает ногу Пчхов, Жeня, Вихров, Поля и многие другие). Подивившись в одной из бесед щедрому реестру источников, легших-де в основу притчи, а также изобилию захромавших в его романах героев, Леонов шуточно ответил: «Все ко всему близко и со временем станет еще ближе. Положим, ест человек яблоко, и я об этом написал. Что поглощал герр? Яблоко с дерева познания? А может яблоко раздора? Может, имеющее отношение к Ньютону или из „антоновских яблок“ Буннина? Ан нет! У моего героя яблоко было сладкое и румяное и вовсе уж другой консистенции. . . Едва затрагивается какое-либо явление, как в связях с ним начинает действовать огромная сумма причин. Если человек будет дышать автомобильным воздухом, кроме того, оглушаться шумом в 200 децибелл, на его теле могут возникнуть, скажем, синие бородавки. Отчего синие? Кто объяснит? . . . Наши „корешки“ кончаются не здесь. Они идут до Марса, до Сатурна и далее. Растет дерево — знает ли оно, как воспринимает тепло, свет, влагу? Работа художника в этом, и так ее надо понимать. Лесник, сделав срез, может определить возраст дерева. Вы можете строить догадки об элементах воздуха, из которых соткано произведение. Но кто скажет обо всем таинстве в целом? Я не могу. Думаю, что здесь, как в случае с сороконожкой, первая нога не ведает, что „творит“ двадцатая или сороковая. Но тем не менее все это живет и движется» (26 апреля 1983). И далее, уже строго и раздумчиво, при оценке влияния «мужичьих рассказов» Толстого на структуру раннего цикла, а также о «Притчах» Кирилла Туровского («О человеческой душе и о теле. . .») как потенциальном источнике легенд о «чужой хромящей воле» и «размолвке телесного и духовного начал»: «Знал ли, был ли знаком с этим в юности, читано ли мной сейчас — не суть важно. Что-то из существенного в прошлом культуры может быть неизвестно автору, но так или иначе отразится в его сознании. Ведь все это — накопление цивилизации, само вещество, из чего состоит земля, как бы биологический слой самой культуры, и мы не можем не отталкиваться в своих шагах от него» (26 апреля 1983).

Сложен и неповторим культурнический «состав воздуха», пошедшего на «стронтельство» легенды о «чужой хромящей воле». Многообразная в ракурсах фабульная конструкция ее участвует в переключке с весьма многим: с некоторыми деталями предания о борьбе Иакова с богом, где обессиленный Яхве «повредил состав бедра» (Быт. 32, 24—30) у «выменявшего первородство»; со вторым искушением Христа в пустыне (Матф. 4, 6—8); здесь же «прослушивается» «красное Слово» Туровского о «хромце-теле» и «слепце-душе», где обезноженное тело оседлало незрячую душу, толкнув ее на ложь и покражу в Первосаду и многое, многое другое. Нельзя не говорить здесь и о хромоте как диагностической примете Сатаны или о концепционном сцеплении леоновского иносказания о «чужой хромящей воле» с экскурсом в историю русского старчества в «Братиях Карамазовых», согласно уставу которого «послушник», ступающий на стезю деятельного служения вере «в миру», вверяет свою волю наставнику и, обезволенный, не может умереть даже, не отчитавшись перед учителем. . . И весь этот культурнический сгусток, иной, безусловно, уже «консистенции», адресован волюнтаристским устремлениям Векшина, «хромящим» все и вся вокруг себя в своем фанатически-слепом служении идеалам «дальнего» с соответствующим попранием элементарных норм любви к ближнему. Несомненно, в этом было предвосхищение в первой редакции и резюмирующая оценка во второй (1959) всего того, что деформировало наши изначальные идеалы, стреножило высокие замыслы, сталкивало на «обходные дороги» естественное развитие достоинства Октября.

Не поэтому ли вместе с растущим общественным самосознанием от редакции к редакции и далее ко многим вариантам «Вора» (уникальна в истории куль-

туры эта движущаяся романная действительность одного и того же сюжета) столь ужесточаются оценки Леоновым образа Векшина как «духа вечного бунта» и одновременно как воплощения «неостановившегося терроризма в революции» (так определял подобное на примере Бонапарта К. Маркс).²⁶ Некоторые грани этого изменения «меры наказания» Векшина на основе «меры всех вещей» — самоценности жизни человека — посчастливилось проследить и отметить в записях автору этих строк на протяжении десятка с лишним лет, прошедших со дня первой встречи с Леонидом Максимовичем Леоновым. Войдем в нравственный мир этих далеко не однозначных и строгих оценок.

«Секрет векшинского падения сложен и, если хотите, шекотлив. . . в нем заключена романтика крушения личности прямо-таки шекспировского плана. Почему автор много лет спустя подверг свой роман столь основательной переработке? Векшинская романтика эволюционировала вместе с идеей, которую писатель хотел изобразить. Через тридцать лет перед нами предстает внешне тот же Векшин, но в новом освещении. Сохранен романтический план, но введен аспект реальный и осудительный. На скрещении этих планов и получился стереоскопический снимок личности Векшина». В 20-е годы писатель «не имел цензурной возможности сказать такие горькие истины о Векшине. . . Какое право он имел отобрать у Саньки и Ксении эти сорок рублей, за которые ему хотелось купить новую жизнь? Какой жестокий и страшный акт — подмять под себя судьбу человека!» Самое суровое обвинение Векшину — загубленная жизнь Маши Доломановой: «. . . назначил он как-то ей свидание, а сам не пришел; тут Агейка и сделал свое черное дело. Может, у Векшина важное собрание было, но именно он загнал, забил в землю чужую судьбу. Да будь у него заседание по поводу всего земного шара, он должен был прийти. . . напрасно Векшин потом будет стучаться в свое детство, прощения ему нет. Тогда-то и резюмирует Ксения, что сердце у Векшина „с горошину“. Он страшный, жестяной человек. И поэтому в него стреляет Санька, это — ненависть, выросшая из поклонения. . .» «Писатель смотрит на жизненные явления, осмысляет их, старается возвести их до алгебраического образа. Вот Векшин. Что происходило с ним в реальном его проявлении? Революция дала ему все, быстро удовлетворила его желания. Захотелось — спал на царской кровати. Понравился конь — добыл коня. Захотел убить человека — убил. Какие изменения произошли в его душе? . . . Никаких. А по Фирсову, он в себе что-то неозвратно „убил“. Он мучается, впадает в бред, его посещают видения. Вдумайтесь, если человека в его состоянии терзают призраки, значит, он чего-то стоит (Гимллера ведь призраки не навещали). Поэтому здесь видна попытка Фирсова поднять персонаж, сквозь лупу рассмотреть эти сложные психологические процессы» (4 июня 1975).

«Что меня привлекает в этой эпохе, так это необычные ракурсы, которые были бы невозможны в иных условиях. Возьмите Пчхова и Векшина. Примусник гонит его к старцу, склоняет к причастию: „Не можешь, ломаешь все, мучаешься! Причастись. . .“ А что вы думаете? Ведь из таких людей (как Векшин. — А. Л.) получались Зосимы, отцы Сергии. Оставаться наедине с богом гораздо труднее, чем с самим собой. . .» (30 октября 1981).

²⁶ Симптоматичен в этом плане один из эпизодов романа. На рубеже развязки двух зависящих от Векшина судеб — сестры Тани и Зинки Балуевой, через которые Митька переступил, «не заметив этого», звучит под шарманку, «верно последнюю в России», песенка о «великом воителе», созерцающем «пожар незавоеванной столицы». В ней и угадывает Векшин одиночество «господина в сером походном сюртуке», который, «верно, тоже сожалел, что покинул вечное лето ради лютой декабрьской стужи. . .» (3. 369. Курсив мой. — А. Л.).

«Тот факт, что в прежней редакции романа (1927) я сажаю Митьку Векшина за школьную парту, в этом вовсе нет убеждения, что ликбез и присвоение революцией культуры суть одно и то же. Культура в ином „образовании“ — человеческого в человеке. Финал первого „Вора“ — это своеобразная художественная норма тех лет; она мне навязана. Это, скажем так, „harpu end“ социалистического реализма. В новом варианте романа будет еще фраза одна, и она уточнит название книги — „Вор“. Шнифер, „медвежатник“, „вор с идеей“ — все это с оттенком благородства. А вор — грабитель чего-то главного — это пострашнее будет» (26 апреля 1983).

«Передергивая истину, любой негодяй может как-то оправдаться. Как, например, вор может сказать, что грабеж — это не грабеж, а переделка краденого, награбленного. . . Постоянная трансформация романа „Вор“ — это оценка не прошлого, а современности. Что и у кого Векшин украл, я и сегодня окончательно не говорю, еще рано. . . рано. А „уведено“ им, поверьте, очень и очень многое» (20 июня 1987).

В свете эволюции хотя бы этих суждений, не говоря уже о большем, можно удивляться и острой пронизательности Горького, который, по признанию Леонова (З. 609—610), на основании еще первой книги «Вора» заметил, что со временем заложенные в ней противоречия между создателем и его незадачливым героем будут обостряться и могут привести к весьма суровой развязке. Иное дело, что эти расхождения не носят отдельный, частно-авторский характер: они сами по себе — неумолимо выверяемая Леоновым «Размолвка» крупнейшего общественного свойства.²⁷ Однако мышление «образом человечества в целом» и в провиденциально-трагическом освещении, величественная игра и схождение контрастных космических сил, возведение современных противоречий в жесткий ранг антиутопии, а то и нового апокалипсиса предвосхищены в «Мироздании по Дымкову», «Последней прогулке» и «Спирали», конечно, не мифом о «Размолвке Начал» самим по себе, а иными, всепланетными прозрениями недавнего времени. В них, по определению писателя, есть и отрадное: человечество по выходе в космос приблизилось «к звездам и Вечности» и с этой «точки смогло посмотреть на себя со стороны», расценить себя «целиком», осознать потенциал своего единства и «щемяще-родную» «утлость единого дома человеческого». Одновременно это и горькое постижение: в сегодняшнем «пересечении всех путей», плотной «связанности всего со всем» на фоне существующей военной, экологической угрозы, в предощущении возможного гуманитарного кризиса «*оно* впервые почувствовало себя простым смертным в бескрайнем Вселенном Океане» (20 июня 1987).

Все три фрагмента нового романа Леонова (включая и «Последнюю прогулку», где разворачивается образ «блестинки разрушенной») объединены исходным идеальным критерием величественного, идущего от истоков рода, назначения всего человеческого в мироздании. Согласно апокрифическим деталям, вовлеченным в леоновский миф, Создатель, вдыхая жизнь в Первочеловека, решил, радуясь совершенству творения, «поставить его над ангелами». Но Создатель совершил ошибку, в результате которой и произошла Размолвка Начал. По мифу, так началась мировая история, т. е. «дела рук людских»; эти тяжкие, сопровождающиеся жестокими заблуждениями, кровопролитиями дела человеческие и показывают «недостойства» противоречивой телесно-духовной сущности «рода человек» (ангелы были сотворены из огня). В моральном ореоле этой концепции все три фрагмента как три антиутопии попеременно

²⁷ Не случайно, надо полагать, первого «Вора», испещренного красным карандашом, видели на столе у Сталина (см. об этом: *Ростовцева И. И.* Формула человека // Лит. газ. 1987. 8 июля).

отталкиваются от крайностей сегодняшнего кризиса человечности на планете и с жесткой неукоснительностью упираются в трагические развязки Пути — в экологическую, потребительскую, моральную смерть человечества и, наконец, в «атомную версию» великой земной катастрофы. Поэтому финал «Спирали» — «довременная», «опережающая» концовка мифа — это своеобразный «эпилог на небесах», когда торжествующий антипод приносит к «подножию Творца» в «роли последнего слова» в затянувшемся на века «небесном диалоге» «черепки» исторической жизни, «гекатомбу человеческую»: «Вот, я обещал показать тебе, Предвечный, на кого ты променял верных своих!»²⁸

Миф о «Размолвке Начал» — испытанный временем и испытующий время. . . Коль скоро закрепляются за веком любым возобновляемые в духовном пространстве истории мифы столетия, будь то легенда о «Докторе Фаусте», о «Великом инквизиторе» или, положим, о «Христе и Понтии Пилате», то и леоновскую «Размолвку Начал» с ее идеальными запросами единства, нового «вочеловечивания» мира, преждевременными, но необходимыми опасениями можно назвать «Апокрифом XX века». Ибо не было в истории столетия, в котором бы на такие мыслительные вершины во всеоружии своего могущества поднялся Человек, и не было века, в котором так безнаказанно, со столь кровотокащими итогами сошло на планете мировое зло.

Поэтому в близящемся «перегоне» тысячелетий неизменным остается один вопрос: в силах ли человечество собрать себя, вызвать из прошлого, востребовать из мечты, соединить в сущем всю свою моральную энергию, чтобы, сконцентрировав ее на сегодняшней «критической точке» истории, не дать разрешиться ей в небытие, не позволить земле «войти в фазу зверства и мрака», едва ли сравнимую даже с «ледниковым нашествием» (3. 591)?! Не оттого ли автора «Мироздания. . .» безмерно тревожит разрыв целостных возможностей человека и человечества, потребность не во внеморальном разуме или неразумной морали, а в новом едином знании человечеством себя, особом веденьи места, роли и всего своего во вселенной. «Постепенно методы научного познания будут утончаться и на определенном рубеже станут исчезать. С этой точки начнется новая эволюция человеческого знания в целом» (26 апреля 1983). Недаром, надо думать, в «Мироздании по Дымкову» в тесном переплетении оказываются миф, и наука, устремленные едино к постижению тайн миростроения, взаимоналагаемые в изгибах открытий о человеческой жизни на земле.

«От ученого современники ждут новой картины мира, расширения границ познаваемого, от художника ожидают большего — Пути. Только писатель может вычертить человеческие маршруты, определить мыслительный проход в завтрашний день. . .» «Недавно мне кто-то сказал (не знаю, похвалил или обидел): „Вы как человек 18-го века все открываете для себя сам“. Со стороны виднее, и, думается, в этой оценке есть некоторая доля истины. То, что вошло в такие мои вещи, как „Русский лес“ или „Мироздание по Дымкову“, отнюдь и не просто „вычитывалось“ мною из научных книг — все это открывал и испытывал я вполне самостоятельно. Перейдя какие-то рубежи, легче узнавать независимо и самому даже такие простые вещи: почему вода кипит? Это и предопределяет известную свежесть художественных решений. Ведь при художественном истолковании даже едва зародившиеся в науке концепции приобретают новые повороты и совсем иное освещение. В сегодняшних многих ученых трактатах, с которыми мне приходилось знакомиться, выстроены грандиозные лестницы уравнений, и с них поистине можно „рухнуть“, пребольно

²⁸ Леонов Л. М. Спираль. С. 88.

и весьма с большой высоты. Мои попытки связаны с тем, чтобы добраться до всего этого путем словесной логики. . . Поначалу, когда читал статьи по физике Оппенгеймера, еще казалось, что можно дойти без уравнений до чего-то простого, до иероглифа, точки. Сегодня же в науке начинается путаница, „дебри“, которые не должна она ведать.

В „Мироздании. . .“ я обратился к строению „по Фламариону“ как к определенной системе отсчета; это мир простой, понятный и детский: звезды здесь ведут себя деликатно, как девицы, делают „пассажи“, кротки и благочинны. И вдруг все это срывается со своих мест и стремглав несется неведомо куда. . . Может быть, мы в своем знании уже ворвались в какие-то пределы, где уже перестают действовать добытые нами законы и вообще человеческие истины? Давно ли в пробеге истории Гершель населял солнце живыми существами? . . По сегодняшней шкале, если там со скоростью света несутся кварки, то это — гигантская взрывчатка, наделенная таким энергетическим потенциалом, которого хватило бы на целую вселенную. Положим, вы слышите: время кварка — это миллиардная часть от миллиардной доли еще чего-то. Это уже не улавливается человеческим сознанием: мы можем знать только тот мир, который уместается в нашем мозгу. Или другое: распространены ли наши понятия *туда*, дальше, куда идут квантары? И как это ни странно для разума, однако именно сегодня, на вершине своих достижений, он поставлен на свое место в общем ряду возможностей человека, под тот „ранжир“, где и должен был находиться и не поднимать головы. . . Вдумайтесь: вот в этом чернильном пятнышке на руке несется нечто со скоростью света в дроне. Как? Куда? Что это такое? Мельчайшая из известных нам частиц, которую никто не видел, едва ли можно вызвать воображением, которая может разве что *подразумеваться*. Это поражает; это уже какие-то магические начертания, которые трудно преступить. В подобном уже обозначаются границы проникновения нашего разума. Теряется ясность, которая в общем-то была и которой достигали великие. . . „Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие. . .“ просто взять да утешиться, и не положить ли, как это было у эллинов, свой мир на ладонь, подобно яблоку. У греков ведь все совершенно: философы и поэты, Фалесы и Евклиды. . . Человечество идет вслепую, раздвигая пространство и отыскивая себе дорогу „пятерней чувств“. Многое отделяет нас от полного или необходимого знания, которое нуждается, скажем, в „тысячепалой“ руке. Но в пределах этой же „пятерни“ мы можем нащупать свой человеческий мир» (2 декабря 1985).

«Свой человеческий мир. . .» — об этом каждая строка произведений Леонида Леонова, главное слово его раздумий о жизни. В этом и напоминание людям земли, что они в каждом наступающем «сегодня» представляют собой живую сосредоточенную горсть всего рассредоточенного в движущейся истории — Человечества.

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА, ИЛИ ГРЕНАДСКИЕ МАВРЫ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПУБЛИКАЦИЯ М. Г. МАЗЬЯ)

Публикуемый текст либретто оперы В. К. Кюхельбекера представляет собой писарскую копию с обильной авторской правкой. Хранится она в рукописном отделе ИРЛИ ($\frac{9288}{\text{ЛПБ. 56}}$). Перед нами большого формата сшитые в тетрадь листы плотной бумаги (всего 36 листов). Авторская правка как в тексте, так и на оборотной стороне листов, в тексте много карандашных и чернильных помет и вставок, отдельные места его перечеркнуты пером (чернила те же, что и в авторской правке) и карандашом, простым и цветным. Возможно, это следы редакторского чтения рукописи или цензурных помет.¹ Титульного листа нет. На Л.1 пробы пера, в верхнем правом углу — римская цифра IV, густо обведенная карандашом и чернилами. В верхней части, почти у самого края Кюхельбекером написано: «Любовь до Гроба, или Гренадские мавры. Опера в III-х действ. 1824 г.». На обороте Л. 3 во весь лист с пометой «с самого начала» карандашом Кюхельбекер пишет название и ниже список действующих лиц. Третье действие в имеющемся у нас списке отсутствует.

Рукопись датирована самим автором 1824 годом. В том же 1824 году либретто Кюхельбекера рассматривалось цензурой. Однако это дата окончания работы над основным текстом, представленным писарской копией. Работа же над либретто началась значительно раньше, приблизительно во второй половине 1822-го — 1823 году. Так, П. А. Вяземский в письме к В. А. Жуковскому от 27 августа 1823 года² сообщает, что Кюхельбекер жил у него два дня в деревне, читал ему свою трагедию. Речь идет о либретто Кюхельбекера, причем сообщается о нем как о законченном произведении. Анализируя факты биографии Кюхельбекера, Ю. Н. Тынянов пишет, что работа над «Маврами» шла летом 1822 года в Закупе, одновременно с работой над первой редакцией «Армян», и что создавалось либретто для музыки Верстовского. «В 1822 г. Верстовский жил в Петербурге и был дружен с сестрой Кюхельбекера Юлией».³ Тынянов же подчеркивает постоянство музыкальных интересов Кюхельбекера. Он сообщает, что осенью 1823 года (до 23 сентября) в Москве Кюхельбекер «передельвает „для здешних музыкантов“ либретто оратории Гайдна „Возвращение Товия“». «Под „здешними музыкантами“, — указывает Тынянов, — следует прежде всего понимать Верстовского, друга сестер Кюхельбекера и его приятеля, в это время сблизившегося с Грибоедовым, писавшего музыку к водевилю „Кто брат, кто сестра“, тогда же написанному Грибоедовым и Вяземским. . . Трагедия Кюхельбекера „Гренадские мавры“. . . написана была им для музыки Верстовского в это же время».⁴ Тынянов, таким образом, называет две даты: лето 1822 года и осень 1823-го. В первом случае речь идет о петербургском периоде Кюхельбекера и пребывании им в Закупе, во втором — события разворачиваются в Москве. Вспомним, что Вяземский

¹ Кюхельбекер писал свою вещь для постановки на сцене; в 1824 году она рассматривалась цензурой и была отвергнута. См.: Алфавит русских пьес с указанием времени рассмотрения и номером протокола (ЦГИА СССР. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 56 — 1824 г. № 270).

² Цит. по: Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы. Л., 1939. Т. 1. С. XXXV.

³ Там же. С. XXXII.

⁴ Там же. С. XXXVII—XXXVIII.

в августе 1823 года сообщает о трагедии как о произведении законченном. В. А. Бочкарев, опираясь на материалы Тынянова, также датирует работу над либретто 1823 годом.⁵ Упоминается либретто и в письме А. С. Грибоедова к С. Н. Бегичеву из Петербурга в июне 1824 года сразу после слов о Верстовском: «. . . Верстовскому напомни обо мне, и пожми за меня руку. Представь, что я только сейчас вспомнил об „Маврах“; бегу в цензуру».⁶ Итак, к августу 1823 года Кюхельбекер закончил (или заканчивал?) работу над либретто, оно было хорошо известно среди его друзей, летом 1824 года находилось в цензуре. Может быть, представлено туда по поручению Кюхельбекера Грибоедовым (или же Грибоедов наводил справки о его судьбе?). Была ли написана Верстовским музыка, устанавить не удалось; не исключено, что Кюхельбекер, Верстовский и их товарищи надеялись на постановку оперы на петербургской сцене. Вероятно поэтому Грибоедов вспомнил о «Маврах» сразу после слов о Верстовском, как бы по ассоциации: «. . . я только *сейчас* вспомнил. . .». Тогда же, в 1824 году, Кюхельбекер, видимо, не оставляя надежд опубликовать свое произведение, перерабатывает его по писарской копии и практически создает новый вариант пьесы.⁷ К тому же в 1824 году Кюхельбекер вместе с В. Ф. Одоевским издадут в Москве альманах «Мнемозина», где также можно попробовать опубликовать «Мавров». Таким образом, работу Кюхельбекера над либретто следует датировать 1822—1824 годами.

В 1822 году после бурных событий своей службы на Кавказе Кюхельбекер ненадолго приезжает в Петербург. На Кавказе он сблизился с Грибоедовым, дружба с которым стимулировала его интерес к драматическим жанрам и к театру. Еще на Кавказе он начинает работать над «Аргиевнами», трагедией, которая, по мысли автора, открывала новые пути в русской драматургии. Интерес к музыкально-драматическим жанрам, с осознанием их возможностей и роли в общественной жизни, мог возникнуть у Кюхельбекера еще во время его пребывания в Париже в 1821 году, где он познакомился с одним из известнейших французских драматургов того времени Виктором-Жозефом-Этьеном Жуи, «признанным либреттистом таких композиторов, как Спонтини, Мегюль, Керубини, Россини. . . автором громких пьес, почти всегда, при античном историческом сюжете, наполненных зловонными политическими намеками».⁸

Не исключены и чисто практические соображения: стремление театральной постановкой хоть как-то поправить трудное материальное положение. Верстовский, как было сказано, в 1822 году жил в Петербурге, был известен в литературных кругах и дружил с младшей сестрой поэта Юлией. Вполне вероятно, они могли познакомиться и договориться о совместной работе.

Материалом для либретто Кюхельбекер выбирает драму Кальдерона «Любовь после смерти». Выбор ее не случаен и знаменателен. Испания и испанская литература давно привлекали внимание русской публики. Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон во многом олицетворяли для русских читателей культуру Испании. Кюхельбекер в 1820 году в «Европейских письмах» упоминает Лопе де Вега и Кальдерона как выдающихся испан-

⁵ Бочкарев В. А. Неопубликованная трагедия-опера В. К. Кюхельбекера «Любовь до гроба или Гренадские мавры» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1960. Т. XIX. Вып. 6. С. 523—528. Статья В. А. Бочкарева — первое и развернутое исследование рукописи Кюхельбекера. Статья насыщена историко-литературным материалом, концепция исследователя интересна, хотя и не свободна от некоторой прямолинейности в понимании «высокого» и гражданского в творчестве Кюхельбекера 1820-х годов, не свободна от влияния тыняновской концепции борьбы «архаистов» и «новаторов» в литературном процессе 1820-х годов.

⁶ Грибоедов А. С. Избранное. М., 1953. С. 516.

⁷ Не исключено, что поэт учитывал и какие-либо замечания Верстовского о конкретных особенностях оперного жанра. Во II редакции возрастает доля стихотворного текста, арий и диалогов.

⁸ Тынянов Ю. Н. Французские отношения Кюхельбекера // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 315. На связь замысла Кюхельбекера с творчеством Жуи справедливо указывает В. А. Бочкарев.

ских драматургов, говорит об их самобытности и народности, показывая на страницах писем, посвященных Испании, неплохую для своего времени осведомленность в ее истории и культуре. Кальдерона Кюхельбекер воспринимает в русле современных романтических веяний. Разумеется, он отлично знал оценку Кальдерона А. Шлегелем в его «Чтениях о драматическом искусстве и литературе». Кюхельбекера привлекает в Кальдероне его богатая фантазия, творческая свобода, оригинальность. В статье 1825 года «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности» Кальдерон вместе с Шекспиром и Ариосто причислен к «истинным романтикам», противостоящим «недоговаривающей поэзии Байрона».⁹ В разборе поэмы С. А. Шихматова «Петр Великий» (1825) Кюхельбекер проводит любопытную параллель между русским поэтом и великим испанским драматургом: «... в обоих встречаем одинакую, строгую, нерастленную светским умничаньем приверженность к вере своих праотцев... душа обоих напитана чтением священного Писания... цветущий слог и того и другого представляет одинакий отпечаток восточной роскоши; краски их пламенны; мысли утонченны; иносказания, олицетворения, уподобления в их творениях во множестве. Оба они, подобно поэтам Азии, любят играть словами, и напрасно бы сию последнюю наклонность назвали пороком; она иногда происходит обилия мыслей, от избытка чувств».¹⁰ Не будем оспаривать справедливость сопоставления Кюхельбекера. Важнее его характеристика Кальдерона, тех качеств его поэзии, которые в наибольшей степени близки и дороги русскому поэту-романтику 1820-х годов в его борьбе за русский романтизм. Не случайно в этом контексте упоминание «веры праотцев» и «священного Писания».¹¹ Речь идет не только и не столько о восприятии Испании, навеянном немецкими романтиками, которые, по словам М. П. Алексеева, оживляли «испанские предания феодальных времен, увлекаясь мистикой католической легенды и живописностью нравов глухого испанского средневековья».¹² Для Кюхельбекера, товарища и ученика Грибоедова, поэта, еще в лицее воспринявшего гердеровскую концепцию самобытности и народности,¹³ библия — один из важнейших источников народности, высокого стиля, а религиозность, как раскроется она в его произведениях на народные темы 1830-х годов («Кудеяр», «Пахом Степанов», «Сирота», «Юрий и Ксения»), неотъемлемая часть народного сознания, нравственного идеала. На мистерии Кальдерона будет он ссылаться в предисловии 1835 года к «Ижорскому», обосновывая поэтику своего произведения, причем подчеркнuto утверждать народность подобного рода жанра.¹⁴ И тем характернее, что в 1822 году он выбирает для перевода произведение, далекое от религиозно-мистических мотивов и не бывшее в центре внимания ни европейских, ни русских романтиков.¹⁵

Прямым источником его перевода могло быть какое-либо французское переложение (Бочкарев), но вероятнее, как указывает М. П. Алексеев, Кюхельбекер переводил

⁹ Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1978. С. 499.

¹⁰ Там же. С. 482.

¹¹ А. В. Шлегель писал об испанской драме и Кальдероне: «Если религиозное чувство, прямодушный героизм, честь и любовь составляют основу романтической поэзии, то она не могла не достигнуть своего высшего проявления в Испании, где ее возникновению обстоятельства особенно благоприятствовали» (цит. по: Аникст А. А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. М., 1980. С. 48).

¹² Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. // Алексеев М. П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. С. 139.

¹³ См.: Мазья М. Г. Раннее переводное стихотворение В. К. Кюхельбекера «Песнь ланландца» // Русская литература. 1982. № 3. С. 160—164.

¹⁴ См. также: Багно В. Е. К замыслу мистерии Кюхельбекера «Ижорский» // Взаимосвязи русской и зарубежной литератур. Л., 1983. С. 129—144.

¹⁵ Эта пьеса не была популярна в среде русских авторов. Первый ее перевод относится к 1902 году (см.: Педро Кальдерон де ла Барка. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке: 1781—1983 / Составитель Г. А. Коган // Iberica. Кальдерон и мировая культура. Л., 1986. С. 229—265. № 4—5).

из довольно распространенной в России немецкой книги Гриса (*Galderon. Shauspiele / Ubers von J. T. Gries. Berlin. 1815—1829*).¹⁶

«Любовь после смерти» Кальдерона — стихотворная драма, повествующая о восстании мавров в Испании в 1570 году и его жестоком подавлении Хуаном Австрийским. Она опирается на исторические источники и в первую очередь на книгу Переса де Иты «История гражданских войн в Гранаде» (1597). Драма Кальдерона полна сочувствия к восставшим маврам. Ее герои — рыцари с обостренным чувством чести, достоинства. Любовь мавританского рыцаря Альваро Тузани и знатной мавританской красавицы Клары развивается на фоне широкой картины битвы восставших мавров с их угнетателями-испанцами. Естественно, Кюхельбекер не мог отыскать лучшего материала для выражения своих вольнолюбивых идеалов. К тому же самый факт обращения к испанской теме, к испанской драматургии усиливал вольнолюбивое звучание пьесы. Вспомним, какое сильное впечатление произвели на русское общество и на самого Кюхельбекера события испанской революции января—марта 1820 года: конституция, подписанная испанским королем, его предательство, борьба и казнь предводителя испанских революционеров Риеги.¹⁷ Кюхельбекер своеобразно отразил эти настроения в «Европейских письмах». Когда же накануне отъезда в путешествие по странам Западной Европы в сентябре 1820 года в стихотворении «Прощание» он восклицает: «Златая, дивная природа, Тяжелая борьба страстей, Вооруженная свобода, Борьба народов и царей!» — то несомненно имеет в виду и испанские события. Национально-освободительные движения в Европе: испанская революция, греческое восстание, казнь Карла Занда в Германии, Пьемонтская революция в Италии, свидетелем разгрома которой оказался сам Кюхельбекер, может быть, впечатления от русской войны на Кавказе — вот тот эмоциональный и идейный фон, на котором разворачивается его работа над «Аргиевными» и переводом драмы Кальдерона.

В своей переработке Кюхельбекер близко следует за текстом Кальдерона, точно передает основные коллизии пьесы испанского драматурга. Однако же главной у него становится тема борьбы мавров за свое национальное достоинство. Убираются побочные любовные сюжеты: сестры Тузани Исабель и Мендозы, служанки Клары Беатрис и Элькусуса (сам Элькусус был выведен из первой редакции либретто Кюхельбекера и появился только во второй). Любовная интрига служит лишь пружиной действия, тогда как основу его составляет трагическая история восстания мавров. Согласно романтическим требованиям. Кюхельбекер стремится воссоздать исторический и местный колорит, использует образцы восточной поэзии, Корана, на поэтические красоты которого обратил его внимание Грибоедов.¹⁸ Существенно переакцентируются и центральные у Кальдерона мотивы мести и чести. Мечь Альваро Тузани за гибель возлюбленной перерастает у Кюхельбекера в тему мести за поруганное национальное достоинство, борьбы против неволи. Поэтому в тексте Кальдерона особо выделяются те детали, которые служат этой цели. Так, уже в 1-м явлении 1-го действия хор мавров (а именно через него выражается у Кюхельбекера в наибольшей степени политический пафос произведения) поет о прежнем величии мавров и теперешней неволе:

Здесь прежде мы торжествовали,
Здесь возносили песнь побед:
Днесь воздвигаем стон печали
Из бездны рабства, слез и бед!

¹⁶ Алексеев М. П. Указ. соч. С. 143.

¹⁷ Об испанофильских настроениях в русском обществе и отражении испанских событий в литературе см. в указ. соч. М. П. Алексеева (С. 118—139).

¹⁸ Это было замечено П. А. Вяземским в упомянутом письме к Жуковскому: «... в трагедии, право, много хорошего, а в особенности лирическая часть. В Коране, занимающем в ней важное место, встречаются даже и красоты возвышенные...» (*Кюхельбекер В. К. Сочинения в 2-х т. Т. 1. Л., 1939. С. XXXV*).

А после рассказа Альфонса Малека об унижении, какому подверг его на заседании верховного совета испанец Мендоза, звучат слова:

Кинжалы к небу воздвигаем!
Алла! клянемся: отомстим!
Клянемся именем твоим:
Их души аду предадим!
К тебе, Алла! к тебе зываем!

Вопрос личной чести и мести за ее оскорбление переплетается таким образом с вопросом о чести национальной. Рыцарская, дворянская честь оказывается в прямой зависимости от борьбы мавров; рыцарская любовь Тузани к Кларе, борьба влюбленных за их счастье приобретают выраженную политическую окраску. Это не случайно. Вспомним, что в этическом кодексе декабристов вопрос о чести носит обостренный политический характер. Понятие личной чести как необходимой гражданской добродетели, защищать которую необходимо в любых обстоятельствах, соединяется у декабристов с борьбой за свободу, за утверждение высоких гражданских идеалов.

Драма Кальдерона оканчивается тем, что Тузани отыскивает в испанском лагере убийцу своей возлюбленной Гарсеса и убивает его в поединке, мстя за ее смерть. Узнав о мотивах мести, дон Хуан Австрийский прощает его и берет на службу. Это все события 3-го акта. Кюхельбекер тоже писал «оперу в 3-х действ.». Сохранилось лишь два. Известный нам текст Кюхельбекера заканчивается захватом испанцами замка Малека и гибелью всех его обитателей. Выше уже говорилось, что рукопись Кюхельбекера представляет собой большого формата сшитые в тетрадь листы. Вряд ли третий акт мог «оторваться» сам собой. Риску предположить, что Кюхельбекер уничтожил его, так как его события — та самая «любовь после смерти» — противоречили художественной и идейной концепции оперы. Возможно, он собирался его переработать. Замечу, что сохранившийся текст имеет достаточно цельный вид, а трагический финал 2-го действия — гибель замка Малека, гибель Клары — можно рассматривать как художественное выражение мысли о неизбежности поражения мавров, которая, не разрушая установки на необходимость «битвы за свободу», напоминает, что эта битва полна жертв, трагедий и неизбежно может сегодня завершиться победой. Пример тому — «вооруженная свобода» современных освободительных движений в Европе.

Кюхельбекера всегда отличала тщательная работа над своими произведениями. Зачастую вещи законченные снова перерабатывались им. Мы уже говорили, что тот текст либретто, который он, по всей видимости, закончил к августу 1823 года, вероятно, отражен в известной нам писарской копии. Именно по этой копии Кюхельбекер дорабатывает, точнее сказать, перерабатывает свое произведение. Правка носит обширный характер. В первую очередь отметим стилистические исправления: значительно сокращается количество архаизмов и архаических речевых форм, вычеркиваются перифразы, упрощаются сложные синтаксические конструкции. Выразительнее и живее становятся диалоги. Сокращаются прозаические отрывки; в большинстве своем они заменяются стихотворными, увеличивается доля стихотворного диалога — оперного дуэта (см., например, в 1-м действии сцену между Альваром и Кларой в 3-м явлении, конец 7-го явления, явления 8 и 9-е, а также сцены в лагере мавров и конец 2-го действия — захват замка, решенный в стихотворном многоголосии). Все это избавляет текст от длиннот, придает динамику действию. Практически возникает новая редакция оперы, значительно отличающаяся от первоначального варианта. При этом, если в первоначальном варианте большее внимание уделялось воспроизведению «колорита времени и места», чему служили и подробные ремарки и архаические языковые формы, то новая редакция свидетельствует о возросшем мастерстве Кюхельбекера-драматурга, стремлении его не только и не столько к раскрытию колорита эпохи, но к раскрытию характеров. Правда, главные герои не претерпевают существенных изменений. Новое звучание получают прежде

всего второстепенные персонажи. Так, достаточно безликий Гарсес I редакции или оруженосец Элькускус (он, как уже сказано, возвращен в текст во II редакции) обретают индивидуальные черты: первый — жестокого и неукротимого воина, второй — одновременно и шута, и «мирного гражданина», обжоры, пьяницы, хитреца, слегка напоминающего шекспировского Фальстафа, человека трусоватого; он втянут в события неволью, но также ненавидит испанцев и всегда готов им навредить.

Кстати, и для II редакции «Аргивян» характерна большая индивидуализация характеров, усиление демократического начала. И там и там большее значение приобретают массовые сцены. Иными словами, идет напряженный поиск самобытной драматической формы, способной вместить в себя современное острополитическое содержание и одновременно передать своеобразие изображаемой эпохи, раскрыть многосложный характер народного освободительного движения. Задача эта через десять лет будет блистательно решена Кюхельбекером в трагедии «Прокофий Ляпунов» (1834).

Таким образом, публикация трагедии-оперы В. К. Кюхельбекера ¹⁹ «Любовь до гроба, или Гренадские мавры» дает возможность по-новому оценить эволюцию драматических жанров в творчестве поэта-декабриста. Рядом с античными авторами, прежде всего Эсхилом — над переводом пролога к его «Агамемнону» Кюхельбекер работает в 1825 году, излюбленными Шиллером и Шекспиром возникает Кальдерон, но сочинитель не религиозных ауто, а героической трагедии. Кюхельбекер перелагает ее для оперного спектакля. В первую очередь он выявляет в произведении Кальдерона те элементы, которые необходимы ему для создания новаторской романтической трагедии. «Любовь до гроба» по-своему близка, хотя и очень от нее отлична, к «Аргивьянам» — трагедии о широком народном движении.

Наконец, немаловажно, думаю, отметить, что перевод этот является первым русским художественным переводом драмы Кальдерона.

¹⁹ Такое определение дает произведению Кюхельбекера В. А. Бочкарев.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА, ИЛИ ГРЕНАДСКИЕ МАВРЫ

(опера в трех действ(иях))

1824 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дон Иоанн Австрийский, правитель Гренады.

Дон Иоанн де Мендоза.

Дон Алонсо Зунига, коррехидор.

Дон Альфонс Малек.

Дон Альвар Тузани.

Дон Фернанд де Валор.

Клара, дочь Малека.

Кадигренадский.

Элькускус, оруженосец Альвара.

Гарсес.

Кастильские воины, мавры.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Гренада. Дом кадия гренадского. Кади и тайные мусульмане.

Кади. Затворены ли двери?

Один из мавров. Затворены!

Кади. Не впускать сюда никого без пропускного слова! Станем продолжать свое празднество; будем спокойны; сюда не может проникнуть взор предателя! Но скоро, скоро и тайна для нас уже не будет нужна; мы скоро вновь будем владычествовать в земле предков своих!

Хор.

Здесь древле мы торжествовали,

Здесь возносили песнь побед:

Днесь воздвигаем стон печали

Из бездн рабства, слез и бед!

Алла! Ужасна наша доля!

Но будь твоя святая воля!

Вконец ли отвращаешь очи,

Бог славы, Царь судеб, от нас?

Во мраке неприступной ночи

Внуши над звездами нам глас!

Тебя не смеет петь неволя!

Алла! Ужасна наша доля!

(Стучатся.)

Кади. Умолкните, друзья! Стучатся! (Он отпирает). А! Это ты, Дон Альфонс! Давно ты не осчастливил меня посещением! В чем могу быть полезным моему благодетелю, внуку древних царей наших?

Малек. Сейчас возвращаюсь из совета, где восседал себе на гибель: там получены новые, строгие предписания королевские, оне вконец подавляют наше племя! Никто из мавров с сего дня не будет вправе созывать к себе друзей на радостное пиршество или веселую пляску; не дерзни из вас никто облачаться в шелковые ткани; всем запрещается собираться на беседу в бани, на гульбища, в гостиницы или даже в дома ближних и приятелей — вам велено забыть даже самый язык отцов своих!

Кади. Доверши, Малек, доверши начатое: раздуй в бешенство ярость, нас исполняющую!

Малек. Старший член верховного совета, я счел обязанностью первый объявить недоумение и скорбь, в которые меня повергли сии меры, жестокие и вредные. Тогда строптивый Мендоза вспрынул и опрокинул свое седалище. «Ты сам мавр! — воскликнул он. — Должно ли удивляться, что желаешь спасти свое отверженное племя!» Я отвечал ему с гордостью — он к обидам присоединил новья! . . . Вдруг — дрожу! Не ведаю, скажу ли вам? — вдруг (о! почто земля до того не поглотила меня?) — он вырывает из руки моей жезл и . . . но нет! — Есть злополучия, которые сказать другим невозможно! Нет у меня сына, могущего снять посрамление с поседевшей главы моей: дочь моя только умножает для меня мое бедствие! Внемлите же вы мне, храбрые мавры, славный остаток ливийских завоевателей! Испанцы ныне помышляют об едином вашем истреблении! Но Альпухарра еще в руках наших, Альпухарра, сей хребет гор, вздымающих до неба чела свои, усеянных градами и твердынями неприступными! Туда, выше облаков, пренесем снаряды и оружие! Изберите себе вождя: из рабов воздвигнетесь снова властителями! Всем вам нанесено в моем лице оскорбление ужасное, смойте его с себя кровию утеснителей!

К а д и. Мы должны тебе открыть тайну, доблестный Малек! Уже три года, как готовимся к отомщению: тридцать тысяч наших соотчичей соединились клятвами неразрывными и хранили глубокое молчание. Мы выжидали только благоприятного случая и не имели еще предводителя от драгоценной крови древних царей наших: судьба нам посылает тебя! Пробыл час мести и нашего освобождения!

Х о р.

Кинжалы к небу воздвигаем!
 Алла! Клянемся: отомстим!
 Клянемся именем твоим:
 Их души аду предадим!
 К тебе, Алла! к тебе зываем!

К а д и. Слышу чьи-то шаги: в последний раз встретим лице к лицу ненавистника, не испытую железом глубины сердца его!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Коррехидор Зунига и дон Фернанд де Валор.

К о р р е х и д о р. Именем короля налагаю на вас, дон Альфонс де Малек, обязанность возвратиться немедленно в дом свой и не преступать за праг оною, пока его высокочество дон Иоанн Австрийский не решит вашей распри с доном Иоанном де Мендоза. Подобное объявление несем вслед за сим и вашему противнику.

М а л е к. Повинуюсь воле его высокочества и полагаюсь на его правосудие.

В а л о р. Верьте, благородный дон Альфонс: в Гренаде никто более меня не огорчен случившимся! Я вызвался сопровождать господина коррехидора единственно с тем, чтобы испросить ваше согласие на предложение, которое хочу сделать вашему обидчику.

М а л е к. Без предисловий, дон Фернанд: что желаете предложить мне и ему?

В а л о р. Чтобы Мендоза потребовал себе в супруги мою прекрасную племянницу, дочь вашу, донну Клару, чтобы вы согласились за него ее выдать! Чувствую, что союз с смертельным ныне врагом вашим должен казаться вам ненавистным; но вспомните, дон Альфонс, что отчаянные болезни врачуются отчаянными только средствами! Не ожидаю вашего ответа; верьте, понимаю, что вам невозможно в сие мгновение отвечать мне: я согласен!

К о р р е х и д о р. Дон Альфонс де Малек, следуйте за нами!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Перед домом Малека. Дон Альвар Тузани и Элькукус.

А л ь в а р. Распрашивая о несчастьи отца, я опоздал к дочери! Час почти уже прошел, в который Клара привыкла меня видеть здесь; не подумает ли она, что переменялись чувства мои?

Э л ь к у с к у с. Чудные вы люди, господа влюбленные! Ваша милая об вас только и думай! До тебя ли ей, когда, как говорят злые люди, этот людоед Мендоза потрудился над отцом ее!

А л ь в а р. Ты смеешь шутить над его несчастьем! Я проучу тебя, негодяй!

Э л ь к у с к у с. Влюбленные не только чудные люди, они, как вижу, люди сердитые! Сердиться, право, нездорово! До свидания, дон Альвар! (*Альвар хочет его бить.*) До свидания, не трудитесь, лишняя учтивость, не провожайте меня — ваш всепокорнейший! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Альвар, потом Клара.

Тузани. Этот шут рассердил меня! Но где, где Клара? Ах! без нее мне и жизнь не в жизнь!

1

Блещет солнце в небе чистом:
Но без милой мрачен свет,
Нет цветов в лугу душистом,
Роз и филомелы нет!

2

Дышит веянье Зефира;
В воздух мчится водомет!
Но без ней в пределах мира
Нет блаженства, жизни нет!

3

Все кругом меня ликует,
В злато холм и дол одет;
Но во мне душа тоскует!
Ах! без Клары счастья нет.

Клара (*открывает окно*). Это ты, Альвар? И ты, и ты не забыл нас!

Альвар. Ужели Клара думает, что я могу забыть ее? Я твой до гроба!

Клара. Беги меня, Тузани! Вовек дочь обесславленного Малека не будет твоею!

Альвар. Кровь смывает всякую обиду!

Клара. Отец мой уже побежден старостью: у нас нет никого, кто бы вместо его сразился с Мендозою!

Альвар. Сей же час потребую руки твоей у дона Альфонса: ваша обида будет моим приданым. Не хочу другого!

Клара. Нет, беги меня, Альвар! Тебе ли собою нам жертвовать. . . Выслушай меня. Клянусь небом, мне горше смерти, что скажу тебе! Наш родственник дон Фернанд де Валор говорит, что Мендоза должен жениться на мне, что он ничем иным не может загладить своего преступления!

Альвар.

Чтоб ты когда ему принадлежала!
Тебя ли уступлю злодею!
Моя — ты будешь ввек моею!

Клара.

Ах! дань ужасную принести
Велит мне долг, любовь и честь!

Альвар.

Я в нем соперника имею!

Клара.

К тебе душою пламенею!

Альвар.

Почто ж отвержен я тобой?

К л а р а.

Тебя ли посрамлю, Альвар, рукой моею?

А л ь в а р.

Или его сразить надеяться не смею!

К л а р а.

Нет! я должна пожертвовать собой!

А л ь в а р.

Моя — ты будешь ввек моею!
Злодея не минует месть!

К л а р а.

Ах! дань ужасную принести
Велит мне долг, любовь и честь!

А л ь в а р.

О, ухищрение и лесть!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Элькускус.

Э л ь к у с к у с. Альвар! Но он ничего не слышит и сердит: боюсь! он сочтет меня за Мендозу — меня живого может съесть!

К л а р а.

К тебе душою пламенею,
Увы! Альвар! но долг, но честь!

Э л ь к у с к у с. Она только влюблена, авось, услышит! —

Имею честь
Я вам донести,

〈Что в свете люди〉 есть и что если вы не замолчите, Мендоза тотчас будет свидетелем ваших нежностей! Он идет сюда!

А л ь в а р. Удались, Клара, чтоб он не застал нашего разговора!
(Клара уходит).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Мендоза, Альвар, Элькускус.

А л ь в а р. Дон Иоанн де Мендоза, я бы желал поговорить с вами наедине!

М е н д о з а. Мы одни.

А л ь в а р. Я слышал, что хотят вас помирить с доном Альфонсом де Малек; имею причины противиться этому примирению! Какие оне, не считаю надобности сказать вам. Как бы то ни было, вы оказали свою храбрость над стариком; согласитесь ли вы теперь ее испытать с юношею? Бейтесь со мною на жизнь и смерть!

М е н д о з а. Вы бы меня обязали, если бы тотчас сказали, чего желаете. Я никогда не отказывался от вызова! (Они хватаются за мечи).

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Коррехидор, дон Фернанд де Валор и прежние.

Коррехидор (*бросая между ними свой жезл*). Именем короля, рыцари, не вступайте в незаконную битву! (*Противники опускают мечи.*)

Альвар. Тебя исхитили из челюстей смерти, Мендоза!

Мендоза. Счастлив, что тебя выручили: через минуту душа твоя отлетела бы в ночь могильную!

Альвар. Мы в другом месте еще увидимся!

Мендоза. Верь, что не заставлю ждать себя!

Коррехидор. Не давайте опрометчивого обещания, дон Иоанн, ибо, быть может, не скоро вам удастся исполнить оно.

Валор. Не знаю, дон Альвар, причины твоей распри с благородным твоим противником; но если она произошла от обиды, нанесенной им дону Альфонсу де Малек, нашему свойственнику, прострите друг другу руки на примирение: вследствие желаний, общих нашим родным и всем вашим, дон Иоанн, надеюсь, что всякая вражда между вами кончится без кровопролития. Соединясь счастливым браком с донною Кларою. . .

Мендоза. Не продолжайте, дон Фернанд; сей союз, я думаю, что неприлично мешать кровь мендосскую с кровию Малеков и что трудно сочетать сии два имени!

Валор. Дон Альфонс де Малек — человек. . .

Мендоза. Подобный вам!

Валор. Так, подобный мне, ибо и я и он, мы оба происходим от царей гренадских.

Мендоза. Мои предки лучше ваших, ибо они пастухи астурийские и свергли с престола королей ваших.

Альвар. Я готов поддержать мечом все слова дона Фернанда де Валор!

Коррехидор. Теперь и я слагаю с себя звание коррехидора; я также рыцарь! Итак, забывая сей жезл, объявляю, что меня всегда и где угодно можно найти сподвижником дона Иоанна. Но здесь не место!

Когда хотите биться с нами. . .

Мендоза.

Скажите, где? Найдете нас!

Коррехидор.

Придите опоясаны мечами!

Мендоза.

Назначьте час!

Коррехидор.

Мы ожидаем вас!

(*Уходят.*)

Элькускус.

Вас всех умнее Элькускус:

Для забияк не потружусь!

ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ

Те же без коррехидора и Мендозы.

Альвар.

Они считают нас рабами!

Валор.

Они ругаются над нами!

А л ь в а р.
 Зови всех мавров, Элькускус!
 (*Элькускус уходит.*)

В а л о р.
 Пора! Мы вступим в их союз!

А л ь в а р.
 Сотру кастильскую гордыню!

В а л о р.
 Огню все грады! Край -- в пустыню!

А л ь в а р.
 Сразит злодея эта длань!

В а л о р.
 Несу тиранам смерть и брань!

А л ь в а р.
 Врагов одежду раздираю!

В а л о р.
 Вздеваю грозную чалму!

А л ь в а р.
 Свистящей саблей засверкаю
 В лицо злодею моему!

В а л о р.
 Клянуся: пасть иль победить,
 Надменных камнями побить!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Малек, кади, Элькускус, мавры.

Х о р.
 Идем, идем на Альпухарру.
 Во тьме ее стремнин и скал
 Нам луч свободы воссиял.
 Мы с гор в тиранов грянем кару.
 Идем, идем на Альпухарру.

А л ь в а р.
 Стремлюсь, лечу на Альпухарру!
 Во тьме ее стремнин и скал
 Мне светоч счастья возблистал!
 Война мне возвращает Клару!
 Стремлюсь, лечу на Альпухарру!

К л а р а (*вышед из дома*).
 Меняю мир* на брань и свару;
 Увы! ужалена тоской,
 Я за тебя дрожу, герой!
 Прядвижу гибель, слышу кару
 И в смерть последую Альвару!

Элькускус.

И я иду на Альпухарру!
Кто ж я? Я мирный гражданин.
За что ж не свой я господин?
Охотно бы я бросил свару.
Черт их несет на Альпухарру!

Хор.

Мы с гор в тиранов гряднем кару!
Идем, идем на Альпухарру!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Альпухаррские горы. Стан дона Иоанна Австрийского. Дон Иоанн, Мендоза, Гарсес.

Дон Иоанн. Надменные горы, убежища мятежников! К вам подходят громы, которые взревет в сих ущелиях и отзовутся в слухе мавров африканских, у подножия Атласа! Мендоза!

Мендоза. Что прикажешь, полководец?

Дон Иоанн. Какие сведения принесли нам твои лазутчики?

Мендоза. Нелегко твое предприятие, Орел Австрийский! Неверные давно уже готовились к восстанию и всю Альпухарру успели превратить в твердыню: ею они застенились от всех покушений наших; из-за нее могут бестрепетно метать в нас пагубу! Тридцать тысяч мужей, вооруженных отразить твое нападение, невозможно смирить их голодом: здесь все приносит плод сторичный! Здесь каждый шаг важен, решителен; при малейшем нашем уроне мы подвергаемся величайшей опасности, ибо многочисленные мавры, жители Эстремадуры, Валенции, Новой Кастилии, могут присоединиться к ним при молве о нашем поражении. Но трудности не приведут в недоумение героя Лепантского: завладей Берхою, главным их сборищем, и ты устроишь их!

Дон Иоанн. Ты говоришь как рыцарь, как искони говорили все Мендозы!

(Маршем войска проходят.)

Слышен зов с минарета: Ла Алла иль Оллы и пр. Пастух является на утесе.

Дон Иоанн. Вижу пастуха! пусть приведут его ко мне: он нам, быть может, откроет дорогу в сборище мятежников. *(Гарсес с воинами уходят.)*

Пастух *(поет)*

Сбежала угрюмая ночь
С полей и с утесов и рош;
Багрянцем и золотом горя,
Смеется младая заря!
Восстал Зефир,
Проснулся мир!

Дон Иоанн. Он поет, беспечный, а между тем война готова разлиться повсюду!

Мендоза. Он наш: воины схватили его!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Гарсес, пастух и прежние.

П а с т у х. Я бедный пастух; вели меня отпустить, добрый господин!

Д о н И о а н н. Ты должен знать эти горы: можешь ли провести нас в Берху?

П а с т у х. Отпусти меня, и я за тебя ввек буду молиться богу!

Д о н И о а н н. Не бойся ничего: я царски тебя награжу; покажи нам дорогу в Берху.

Г а р с е с. Не то! . .

Д о н И о а н н. Не пугай его. Если хочешь быть свободным, выполни то, чего требую!

П а с т у х. Добрый господин, щади меня: есть подземельный ход под главную башню крепости; я готов служить тебе, но не дай меня в обиду!

Д о н И о а н н. Под башню! ее бы можно взорвать на воздух! Гарсес! Возьми набитые бочки пороху и сто воинов: проводи их, старик! Пятьсот червонных тебе в награждение. (*Гарсес, пастух и воины уходят.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Воин тащит Элькускуса.

Э л ь к у с к у с. Тише! Тише, приятель! Если хочешь, чтоб я говорил, не удуши меня: удавленники не очень красноречивы!

В о и н. Вот неприятельский лазутчик, полководец!

Э л ь к у с к у с. Дон Иоанн, вели твоим молодцам быть поучтивее; они не умеют обращаться с людьми благовоспитанными!

Д о н И о а н н. Кто ты, урод?

Э л ь к у с к у с. Я не урод, а Элькускус, по прованию Пьяница, сын Элькускуса голодного, внук Элькускуса жадного. Есть люблю, пить еще больше, сражаться не охотник, а умирать и того менее! Я шел к тебе предложить тебе мои услуги! Этот добрый человек помог мне найти тебя! (*В сторону.*) Чтoб его черт побрал!

Д о н И о а н н. Дай бог, чтоб много было подобных тебе в неприятельском войске! Не велеть ли тебя повесить, Элькускус?

Э л ь к у с к у с. Не вели, а произведи меня в свои забавники: верь мне, мы полюбим друг друга!

М е н д о з а. Я его знаю, полководец; он слуга Тузаниев и трус и дурак: он не опасен!

Д о н И о а н н. Дарю тебе его, Мендоза! [*Пойдемте.*] Друзья! вперед! велите бить сбор! (*Дон Иоанн и начальники расходятся.*)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Мендоза и Элькускус

М е н д о з а. Пойдем, Элькускус; я велю накормить тебя.

Э л ь к у с к у с. Я бы должен рассердиться на тебя, что ты меня обругал при всей публике; но голодные не мстительны! Иди вперед — я за тобою следую! (*Мендоза идет. Элькускус высматривает минуту и спасается наутесе.*) Трус — я трус! Но кто из нас в дураках, Мендоза? Прощай, умница! (*Скрывается.*)

М е н д о з а. Бездельник! Но гнаться за ним некогда!

(*Барабанный бой: войска проходят. Является дон Иоанн.*)

Х о р и с п а н ц е в.

Мы за тобой,
О, наш герой,

Веселые стремимся!
 С тобой, с тобой
 В кровавый бой
 Мы, как на пир, помчимся!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Берха. Сад Малека близ бойницы. Малек, Альвар, Клара,
 мавры в праздничных платьях.

Малек. Здесь на лоне войны среди ужасов расцветает твое счастье, моя Клара. Ты ее вполне заслужил, Тузани: она твоя и навеки!

Альвар. Что может сравниться с моим блаженством? Но Клара невесела. Земляки! рассейте грусть ее своими песнями!

Хор.

Друзья! Ловите наслажденье.
 Оно, как призрак, улетит!
 Увы! Грядущее мгновенье,
 Быть может, нам бедой грозит!

Клара.

На радость нам их хор гласит!
 В сей вожденный, брачный час,

Альвар.

Когда любовь связует нас. . .

Хор.

Здесь все обман и заблужденье!
 Любовь, как призрак, улетит!
 Увы! Грядущее мгновенье,
 Быть может, нам бедой грозит!

Альвар.

Их глас вливает в сердце муки!

Клара.

Ах, близок грозный час разлуки!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Элькускус и прежние.

Элькускус. Как весело здесь пляшут и поют! А гости велели кланяться, велели благодарить, велели сказать: «Мы будем; мы скоро будем; мы идем сюда; с нами музыка, музыка, под бой которой запляшут доли и горы!»

Малек. О чем ты говоришь, дурак, какая музыка? какие гости? . .

Элькускус. Я дурак; ты умный человек: моя голова на плечах — твоею гости хотят играть в мячики! Везде по Альпухарре дорогие гости, гости незванные. Они чуть было на меня не надели орденского знака веревки; чуть было меня не послали ужинать с Магометом; но я дурак, я сказал: «Слишком много чести, господа!» — и убежал! Что ж вы не поете? Что ж вы не пляшете?

Альвар. Говори ясно, Элькускус, где, где неприятель?

Элькускус. Они идут к тебе в Галеру — ты человек учтивый! Я знаю, ты встретишь и проводишь их!

Альвар. В Галеру; Галера мне вверена; Элькускус, коня! Прости, Клара! Меня зовут долг и честь!

К л а р а.

Здесь все обман и заблужденье,
Как призрак, счастье улетит!
Ах! нам грядущее мгновенье
Быть может, нам бедой грозит.

Альвар.

Не множь боязнию страданья!
Прости до нового свиданья,
Прости, моя любовь!
Я ныне славой окрыленный
Лечу на зов трубы военной,
Но возвращусь с победой вновь!
Прости до нового свиданья,
Прости, моя любовь!

(Альвар уходит. Гарсес до половины тела выходит из подземелья и скрывается.)

К л а р а.

Твои свершатся ль упованья?
Тебя увижу ли я вновь?
Горька минута расставанья!
Прости, моя любовь!

Вдруг взрыв. Клара падает без чувств. Испанцы устремляются из подземелья и из засады. Сражение. Мавры опрокинуты; замок взят. Клара, в беспмятстве, похищается воинами.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г а р с е с.

Вперед! Победа! Всё мечу!

1 - й во ин.

Их дома воспалить хочу!

2 - й во ин.

Вперед! Умрите! Нет пощады!

М а л е к.

Все опрокинуты ограды!
Но я со славой пасть хочу!

Г а р с е с.

Отведай моего булата!
Тебе пора в могилу лечь!

(Сражаются; Гарсес выбивает из рук Малека меч.)

М а л е к.

Ах! Сила прежняя исчезла без возврата.
Увы! Мне изменяет меч!

(Падает под ударами нескольких воинов.)

К л а р а *(бросаясь на него)*.

О, сжальтесь! он старик! бессилен! мой отец!

В о и н ы.

Погибни! Нет пощады! Всем конец!

К л а р а.

Жестокие! В вас нет сердец!

Г а р с е с.

Умри, неверная, исчадьё супостата!

(Поражает ее. Занавес опускается.)

Вариант (Л. 36, об.):

Умри ж с ним вместе, неверная!

(Поражает ее. Сражение продолжается, воины бегут по сцене с зажженными факелами: город пылает. Занавес опускается.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приводим вариант начала 2-го действия, необходимый для понимания событий, происходящих в либретто.

Л. 23—26. Перечеркнуты карандашом и чернилами. Восстанавливаем в первоначальном варианте.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Альпухаррские горы. Ночь перед рассветом. По правой стороне на крутизне минарет; другой минарет в отдалении. Вооруженные мавры с факелами сходят с утесов и встречаются в долине с Малекком, Тузани, Валором, Измаилом, Кларою и следующими за ними.

В а л о р.

Мы притекли в сии стремнины,
Решились пасть иль победить,
Надменных камнями побить,
Низвергнуть в гроб сынов долины!

А л ь в а р.

Вздеваю грозную чалму,
Врагов одежду раздираю;
Свистящей саблей засверкаю
В лицо злодею моему!

Х о р.

Услышьте наш обет, стремнины:
«Сражаться, пасть иль победить,
Надменных камнями побить,
Низвергнуть в гроб сынов долины!»

В а л о р. Забудем, друзья, имена, данные нам нашими угнетателями; не Фернанд де Валор говорит с вами, а я, Магомет Абен-Гюмея. Слово «Малек» значит царь; сей старец — внук царей наших; преклоним перед ним колена: провозгласим своего властителя Малека-Алманзора, ибо так назывался отец его, воскресший ныне в сыне!

М а л е к. Остановись, благородный муж! Дряхлому старику не подобает владеть мужами: обещанному ли повелевать доблестными витязями? Братия! пред вами отрасль племени Абен-Гюмеева: уступаю ему права свои! первый повергаюсь пред ним ниц и взываю: да здравствует царь наш Магомет!

А л ь в а р. Да здравствует царь наш Магомет!

В а л о р. Ныне в опасности, в которой находимся, более бремя, нежели счастье быть царем. Вот почему не отказываюсь от сего достоинства. Друзья! я принимаю оное; но здесь же усыновляю племянницу мою, некогда Клару, ныне Малею: мужа ее называю своим преемником. Первым делом моего царствования будет отомстить за честь ее оскорбленного рода!

М а л е к. Облачите, друзья, царя вашего в зеленую ризу, в цвет потомков пророковых!

В с е. Да здравствует царь наш Магомет!

В а л о р. Теперь, друзья, поспешим в Гавию; а ты, Альвар, приготовься к условленному нападению на неприятеля, который уже двинулся к нашим горам!

А л ь в а р и п р о ч и е. Да здравствует царь наш Магомет! (*Уходят.*)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Светаег. Пастух является на высотах и поет:

Сбегаёт угрюмая ночь
С лугов и с утесов и с роц;
Багрянцем и златом горя,
Проснулась младая заря;
Свеж запах трав,
Мир бодр и здрав!

Уже светло! Скоро взойдет солнце: как вчера, оно осветит луга и долины, но не встретит уже вчерашней тишины. Здесь готова вспыхнуть кровавая война! Я смиренный пастух, но уже должен был пострадать от мятежников: они захватили половину стад моих. Явися, храбрый Иоанн, защитник беззащитных, явися с новым солнцем в горах наших!

Исчезли волшебные сны;
Пылают холмов вышины;
Запел, вострепнувшись, петух!
Восходит на горы пастух!
Ведет заря
Светил царя!

(*Уходит.*)

Солнце восходит. На минарете являются имамы, которые возглашают муэзэн: Ла Алла иль Олла и пр.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Барабанный бой: войско дона Иоанна Австрийского с распущенными знаменами.

Х о р и с п а н с к и х в о и н о в.

Мы за тобой,
О наш герой!
Веселые стремимся!
С тобой! с тобой!
В кровавый бой
Мы, как на пир, помчимся!

Примечания

Мавры (или мориски) — арабское население Испании, когда-то владевшее большей ее частью, к XIV веку в основном принявшее христианство.

Кади — старик мориск, судья у мавров; здесь, вероятно, духовный глава и главный хранитель мусульманских религиозных традиций.

Алькускус — в переводе означает название мавританского национального кушанья. Как имя шута неоднократно встречается у Кальдерона.

Коррехидор — представитель высшей судебной власти в Испании; здесь — чиновник правосудия, обладающий значительными полномочиями, исполнительной властью.

Альпухарра — горная цепь в Гренадском королевстве, последний оплот арабской Испании.

Дон Иоанн (Хуан) Австрийский (1547—1578) — побочный сын Карла V, прославившийся как полководец. Современники изображали его любимцем солдат, честолюбивым кабальеро.

Герой Лепантский — здесь допущен анахронизм. Знаменитое сражение при Лепанто произошло 7 октября 1570 года после подавления восстания мавров.

Галера, Гавия, Берха — основные крепости мавров.

Дон Иоанн (Хуан) Мендоза — знатный испанский рыцарь, сподвижник дона Хуана Австрийского. Происходит от астурийских пастухов. Как указывает К. Бальмонт, в Астурийских горах в Испании гнездились, как горные орлы, испанцы, не захотевшие подчиняться арабам-завоевателям. Именно вольнолюбивым прошлым своих предков гордится Мендоза, не желая соединять свой род с родом арабских царей Малекон.

Н. ТУРОВЕРОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

(СОСТАВЛЕНИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА А. Д. АЛЕКСЕЕВА)

Николай Николаевич Туроверов (род. 1899) — потомственный донской казак, предки которого преданно служили не одному русскому государю. Молодость встретил в седле, в дыму атак, успев захватить первую мировую войну, а за ней и всю гражданскую.

Ледяной поход с Корниловым и бои за Перекоп, затем с боями оставленный Джанкой, промелькнувший Бахчисарай, наконец, эвакуация с Врангелем, с остатками Донского корпуса, Черное море и навсегда исчезающая кромка родной земли. Осень 1920 года. . .

Позднее ему, как казаку, по воле советского правительства предоставлялась возможность вернуться на Дон, но не вернулся (хотя вернулись многие) и, кажется, впоследствии об этом никогда не жалел. По-видимому, предвидел, что ждало казаков по возвращении — в лучшем случае, говоря современным языком, «рассказывание», а всего вернее — недосказанная, но предельно ясная трагическая судьба Григория Мелехова.

Зато взамен и на всю жизнь осталась терпкая, безысходная тоска по привольным и бескрайним донским степям, по Тихому Дону.

Поначалу приютили Балканы. В Сербии работал мукомолом и лесорубом, с годами не без труда перебрался в Париж, грузил вагоны, не гнушался черной работой и одновременно посещал Сорбонну. Во время второй мировой войны служил в Иностранном легионе.

Писать стихи стал в начале 20-х годов; печатался как в казачьих изданиях («Казачьи думы», «Казачий сполох», «Казачий журнал», «Родимый край» и др.), так и в ряде парижских изданий («Возрождение», «Современные записки», «Россия», «Россия и славянство» и др.), а в послевоенные годы в «Новом журнале» (Нью-Йорк). Был участником парижского Кружка казаков-литераторов.

Первый сборник стихов («Путь») вышел в Париже в 1928 году; затем в Безансоне вышли еще три (под названием «Стихи») — в 1937, 1939 и 1942 годах. Пребывание в Иностранном легионе нашло отражение в цикле «Легион» (1940—1945). Пятая, последняя книга стихов вышла в Париже в 1965 году.

После войны многие годы служил в одном из парижских банков. Одновременно, будучи коллекционером русских старинных гравюр и хранителем личной библиотеки генерала Д. И. Ознобишина, занимался культурно-просветительской деятельностью, рассчитанной преимущественно на казачьи слои русской эмиграции, — устраивал в Париже общедоступные выставки на военно-исторические темы («1812 год», «Суворов», «Казаки» и др.).

Умер Н. Н. Туроверов 23 сентября 1972 года в госпитале Ларибуазьер в Париже.

В СТЕПИ

Ах, боже мой, жара какая,
Какая знойная сухмень!
Собака, будто неживая,
Лежит в тени. Но что за тень

В степи от маленькой кислицы?
И я, под сенью деревца,
В рубахе выцветшего ситца
Гляжу на спящего отца.

И жаркий блеск его двустовлки,
И желтой кожи патронташ,
И кровь, и перья перепелки,
Небрежно брошенный ягдташ —

Весь этот день, такой горячий,
И солнца нестерпимый свет
Запомню с жадностью ребячьей
Своих восьми неполных лет,

Запомню, сам того не зная,
На жизнь свою, всю до конца.
О, степь, от зноя голубая,
О, профиль спящего отца!

Отец свой нож неспешно вынет,
Огромный, острый, страшный нож
И скажет весело: «Ну, что ж —
Теперь попробуем мы дыни».

А дыня будет хороша —
Что дать отцу, бакшевник знает,
Ее он долго выбирает
Среди других у шалаша.

Я и подбился и устал,
Сегодня в степь мы вышли рано.
И только в полдень у баштана
Был наш охотничий привал.

Течет по пальцам сладкий сок, —
Он для меня охот всех слаще,
Но, как охотник настоящий,
Собаке лучший дам кусок.

1930

ДНЕВКА

Июльский день. Овраг. Криница.
От зноя пересохший пруд.
Стрепоженная кобылица,
Звеня железом крепких пут,
Бредет на жарком косогоре
В сухих колючках будяка,
И звону пут печально вторит
Ленивый посвист кулика.

О, сонный полдень летней дневки!
И вспомню ль я иные дни,
Под грушей лежа на поддевке
В неосвежающей тени,
Когда зовет к глухим дремотам
Своим журчанием родник,
И остро пахнет конским потом
На солнце сохнувший потник?

1929

* * *

И. А. Бунину

Пушу собак. И, как дитя, заплачет
На пахоте настигнутый русак.
И вновь Устин, отцовский доезжачий,
Начнет ворчать, что я пускал не так.

— Опять, паныч, у вас расчету мало.
И, с сердцем бросив повод на луку,
Он острием старинного кинжала
Слегка проколет ноздри русаку.

О, мудрая охотничья наука!
Тороча зайца, слушаю слугу,
И лижет старая, седеющая сука
Кровавый сгусток в розовом снегу.

1926

* * *

Был мальчиком. И тетка-старуха,
Казачьей гордясь стариной,
Проколола мне левое ухо
Тмутараканской серьгой,
Рассказав о серге Святослава,
Про Саркелы — хозарскую быль —
Что лежат по-над Доном направо,
Где теперь лишь полынь да ковыль.
Но такая ль попала к татарам,
От татар перешла к казаку
И досталась ахтырским гусарам
Да второму Донскому полку?

МАРТ

* * *

За облысевшими буграми
 Закаты ярче и длинней,
 И ниже виснут вечерами
 Густые дымы куреней.

В степи туманы да бурьяны,
 Последний грязный талый снег,
 И рьяно правит ветер пьяный
 Коней казачьих резвый бег.

Сильней, сильней стяни подпруги,
 Вскочи в седло, не зная стремян,
 Скачи на выгон, за муругий,
 На зиму сложенный саман.

Свищи, кричи в лихой отваге
 О том, что ты донской казак,
 Гони коня через овраги,
 За самый дальний буерак.

Пусть в потной пене возвратится
 Твой конь и станет у крыльца,
 Пусть у ворот ждет молодница
 С улыбкой ясной молодца.

Отдай коня. Раздольно-длинный
 Путь утомил. И будешь рад
 Вдохнуть в сенях ты запах блинный,
 Повисший густо сизый чад.

Как раньше предки пили, пели,
 Так пей и ты и песни пой.
 Все дни на масляной неделе
 Ходи с хмельною головой.

И час придет. И вечер синий
 Простелит сумрачную тень,
 И в запоздалых криках минет
 Последний день, прощальный день.

Сияй лампадами, божница,
 В венке сухого ковыля.
 Молиться будешь и трудиться
 Весь пост, казачая земля.

1926

Утпола — по-калмыцки звезда
 Утпола — твоё девичье имя.
 По толокам пасутся стада,
 Стрепета пролетают над ними.

Ни дорог, ни деревьев, ни хат,
 Далеки друг от друга улусы,
 И в полынь азиатский закат
 Уронил свои желтые бусы.

В жарком мареве, в розовой мгле
 Весь июнь по Задонью кочую,
 У тебя на реке Куберле
 Эту ночь, Утпола, проночую.

Не прогонишь меня без отца,
 А отец твой уехал к соседу.
 Как касается ветер лица,
 Так неслышно к тебе я приеду.

И в кибитке своей для меня
 Приготовишь из войлока ложе,
 Моего расседлаешь коня,
 Разнуздаешь его и стреножишь.

Не кляни мой внезапный ночлег,
 Не клянись, что тебя я забуду, —
 Никогда неожиданный грех
 Не разгневает кроткого Будду.

Утпола, ты моя Утпола —
 Золотистая россыпь созвездий! —
 Ничего ты понять не могла,
 Что тебе я сказал при отъезде.

1930

МЕТЕЛЬ

Четвертый день сижу в кибитке.
 В степи буран. Дороги нет.
 В четвертый раз мне на обед
 Плохого чая крошит плитки

Калмык в кобылье молоко
 И кипятит с бараньим жиром.
 Метель, метель над целым миром.
 Как я заехал далеко!

В плену суровой непогоды
 Делю скуду зимовника.
 О, дым сырого кизяка,
 И эти войлочные своды —

Кочевий древнее жилье,
Мое случайное жилище. . .
Буран, как волк, по свету рыщет,
Все ищет логово свое.

Занесена, заметена
Моя теперь снегами бричка.
Очаг дымит. Поет калмычка
И в песне просит чилюна

Трубить в трубу, пугать буран —
Без корма гибнут кобылицы,
А я дремлю, и все мне снится
Идущий в Лхассу караван

По плоскогорьям в Тибете
Туда, где сам Далай-Лама.
Там тот же ветер, снег и тьма —
Метель, метель на целом свете.
Сен-Клу. 1930

1914 год

Казачков казачки проводили.
Казачки простились с Тихим Доном.
Разве мы — их дети — позабыли,
Как гудел набат тревожным звоном?

Казачки скакали, тесно стремя
Прижимая к стремени соседа.
Разве не казалась в это время
Неизбежной близкая победа?

О, незабываемое лето!
Разве не тюрьмой была станица
Для меня и бедных малолеток,
Опоздавших вовремя родиться?

1939

* * *

Покидал я родную станицу,
На войну уходя, наконец,
На шипы подковал кобылицу
У моста наш станичный кузнец.

По-иному звенели подковы,
И казачки глядели мне вслед.
И станица казалась новой
Атаманцу семнадцати лет.

Казачки, расставаясь, не плачут,
Не встречают разлуку в слезах.
Что же слезы внезапные значат
На веселых отцовских глазах?

Почему материнские руки
Так дрожат, холодеют, как лед?
Иль меня уже смерть на поруки
Забрала и назад не вернет?

Ах, отцовские горькие думы,
В полумертвом спокойствии мать!
Я в свои переметные сумы
Положил карандаш и тетрадь.

Это ты — еще детская муза —
Уезжала со мною в поход,
И, не чувствуя лишнего груза,
Кобылица рванулась в намет.

СТЕПНОЙ ПОХОД

Не выдаст моя кобылица,
Не лопнет подпруга седла.
Дымится в Задоньи, курится
Седая февральская мгла.

Встает за могилой могила,
Темнеет калмыцкая твердь,
И где-то правее — Корнилов,
В метелях идущий на смерть.

Запомним, запомним до гроба
Жестокую юность свою —
Дымящийся гребень сугроба,
Победу и гибель в бою,

Тоску безысходного гона,
Тревогу в морозных ночах,
И блеск тускловатый погона
На хрупких, на детских плечах.

Мы отдали все, что имели,
Тебе, восемнадцатый год,
Твоей азиатской метели —
Степной — за Россию — поход!
1931

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Не собирались девки в хате,
Весенний чужь хоровод;
В клетки не сберегал Савватий
В ряды поставленных колод;
И опустелые загоны
Не сторожили Флор и Лавр,
Когда над полем плыли стоны
И звуки гулкие литавр.
Среди равнин и плоскогорий,
За темной массою полков,
На белом маштаке Егорий
Один водил своих волков.
Свивали поздние метели
Над Русью снежное кольцо.
И полы английской шинели
Закрыли близкое лицо.
Минуя села, у опушек,
Прошли последние леса,
Глумливым эхом поздних пушек
Простились глухо небеса.
Столпясь, дрались на камнях мола,
Когда кричали корабли.
И плакал старенький Никола
В тумане брошенной земли.

1922

* * *

Фонтан любви, фонтан живой,
Принес я в дар тебе две розы.

Пушкин

В огне все было и в дыму, —
Мы уходили от погони,
Увы, не в пушкинском Крыму
Теперь скакали наши кони.

В дыму войны был этот край,
Спешил наш полк долиной Качи,
И покидал Бахчисарай
Последним мой разъезд казачий.

На юг, на юг. Всему конец.
В незабываемом волненьи
Я посетил тогда дворец
В его печальном запустеньи.

И увидал я ветхий зал —
Мерцала тускло позолота, —
С трудом стихи я вспоминал,
В пустом дворце искал кого-то.

Нетерпеливо вестовой
Водил коней вокруг гарема, —
Когда и где мне голос твой
Опять почудился, Зарема?

Прощай, фонтан холодных слез.
Мне сердце жгла слеза иная —
И роз тебе я не принес,
Тебя навеки покидая.

1938

* * *

В эту ночь мы ушли от погони,
Расседлали своих лошадей.
Я лежал на шершавой попоне
Среди спящих усталых людей.

И запомнил и помню донныне
Наш последний российский ночлег,
Эти звезды приморской пустыни,
Этот синий мерцающий снег.

Стерегло нас последнее горе, —
После снежных татарских полей, —
Ледяное Понтийское море,
Ледяная душа кораблей.

1931

* * *

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо —
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

1940

* * *

Помню горечь соленого ветра,
 Перегруженный крен корабля,
 Полосу синего фетра
 Уходила в тумане земля.

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
 Ни протянутых к берегу рук, —
 Тишина переполненных палуб
 Напряглась, как натянутый лук,

Напряглась и такую осталась
 Тетива наших душ навсегда.
 Черной пропастью мне показалась
 За бортом голубая вода.

1926

УХОД

Я помню этот день морозный и ветряный,
 Когда в последний раз я посмотрел на Крым.
 Корабль наш шел на юг. И ветер рьяно
 Рвал за его кормой на клочья черный дым.

Но за бортом была ажурна пена,
 Бежали быстро за винтом следы. . .
 А я смотрел, как медленно и смело
 Кружилась чайка низко у воды.

Все тоньше становилась полоска
 Родной, оставленной земли. . .
 И был удар о борт настойчивый и хлесткий
 Зеленой пенистой волны.

* * *

Кровь да кровь. Довольно крови.
 Мы и так уже в крови,
 И в своем казачьем слове
 Ты другое назови —

Что-то главное, такое,
 Отчего в душе светлей;
 Поднебесье голубое
 Станет вдвое голубей.

И на самом дальнем небе,
 Соберя святых в чертог,
 О земном насущном хлебе
 Призадумается бог.

А в земной печальной шири,
 В муках, в рабской нищете
 Все подумают о мире,
 О любви и о Христе.

НА МОСТУ

Вы говорили о Бретани,
 Тысячелетняя тоска,
 Казалось вам, понятней станет
 Простому сердцу казака.

И, все изведавший на свете,
 Считать родным я был готов
 Непрекращающийся ветер
 У Финистерских берегов.

Не все равно ль, чему поверить,
 Страну какую полюбить,
 Невероятные потери
 На сутки радостно забыть?

И пусть ребяческой затее
 Я завтра сам не буду рад, —
 Для нас сегодня пламенеет
 Над Сеной медленный закат,

И на густом закатном фоне
 В сияющую пустоту
 Крылатые стремятся кони
 На императорском мосту.

Сен-Клу. 1930

* * *

Читаю историю Рима.
 Никто ее толком не знает.
 Полдненное солнце пылает,
 Как раньше, неукротимо.
 Над Римом, над миром, над нами
 Пылает полдненное пламя.
 Триумфы. Арены. От гула
 Оглох на песке гладиатор,
 А в ложе сидит император —
 Какой-нибудь там Калигула,
 Кому-то пришедший на смену,
 Устало глядит на арену.
 И все победила усталость,
 И вот ничего не осталось.

Какое-то римское право,
Какая-то смутная слава,
Какая-то грусть, но не жалость.

Мне дочь принесла ежевику,
Богат ею маленький остров,
Куда мы приехали просто
Для ежегодных каникул.
И, легче случайного дыма,
Исчезла история Рима.

ФРАНЦИЯ

Жизнь не начинается сначала,
Так не надо зря чего-то ждать;
Ты меня с улыбкой не встречала
И в слезах не будешь провожать.

У тебя свои, родные, дети,
У тебя я тоже не один,
Приютившийся на годы эти,
Чей-то чужеродный сын.

Кончилась давно моя дорога,
Кончилась во сне и наяву —
Долго жил у твоего порога
И еще, наверно, проживу.

Лучшие тебе я отдал годы,
Все тебе доверил, не тая, —
Франция, страна моей свободы —
Мачеха веселая моя!

1938

* * *

Все эти дни не могут повторяться —
Юность не вернется никогда.
И туманнее и реже снятся
Нам чудесные, жестокие года.

С каждым годом меньше очевидцев
Этих страшных, легендарных дней.
Наше сердце приучилось биться
И спокойнее и глуше и ровней.

Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно, медленно стареем
В европейском ласковом плену.

И растет и ждет ли наша смена,
Чтобы вновь в февральскую пургу

Дети шли в сугробах по колена
Умирать на розовом снегу;

И над одинокими на свете,
С песнями идущими на смерть,
Веял тот же сумасшедший ветер
И темнела сумрачная твердь?

1932

* * *

Я знаю, не будет иначе,
Всему свой черед и пора —
Не вскрикнет никто, не заплачет,
Когда постучусь у двора.

Чужая у выгона хата,
Бурьян на упавшем плетне,
Да отблеск степного заката,
Застывший в убогом окне.

И скажет негромко и сухо,
Что здесь мне нельзя ночевать,
В отрепьях босая старуха,
Меня не узнавшая мать.

* * *

Сотни лет! Какой недолгий срок
Для степи. И снова на кургане
У своей норы свистит сурок,
Как свистел еще при Чингис-хане.

Где-то здесь стоял его шатер,
Веял ветер бобылевыми хвостами,
Поднебесный голубой простор
И костров приземистое пламя.

Приводили молодых рабынь,
Горячо пропахнувших полынью,
Так, что даже до сих пор полынь
Пахнет одуряюще любовью.

Тот же ветер. Тот же свист сурка
О степном тысячелетнем счастье,
И закатные проходят облака
Табуном коней священной масти.

СЕРЬГИ

Где их родина — в Смирне ль, в Тавризе?
 Кто их сделал, кому и когда?
 Ах, никто нам теперь не приблизит
 Отлетевшие в вечность года.
 Может быть, их впервые надела
 Смуглолицая ханская дочь,
 Ожидая супруга несмело
 В свою первую брачную ночь;
 Иль, позор испкупить, чтобы девич,
 Побороть горечь злобы и слез,
 Их персидский влюбленный царевич
 Своей милрой в подарок принес;
 И она, о стыде забывая,
 Слепленная блеском серег,
 Азиатского душного рая
 Преступила заветный порог.
 Сколько раз затем женские уши
 Суждено было им проколоть,
 Озаря гаремные души,
 Украшая горячую плоть;
 Сколько раз госпожа на верблюде
 Колыхала их в зное пустынь,
 Глядя сверху на смуглые груди
 Опаленных ветрами рабынь.
 Но на север, когда каравану
 Путь казачий разбой преградил,
 Госпожу привели к атаману —
 Атаман госпожи не щадил:
 Надругался над ней, опорочил,
 На горячий швырнув солончак,
 И с серьгами к седлу приторочив,
 Привязал на высокий арчак;
 Или, может быть, прежде, чем кинул
 Свою жертву на гребень волны,
 Разин пьяной рукою их вынул
 Из ушей закаспийской княжны,
 Чтоб потом средь награбленной груды,
 Забывая родную страну,
 Засветилися их изумруды
 На разбойном, на вольном Дону.
 Эх, приволье широких раздолий,
 Голубая полынная лепь.
 Разлилась, расплескалась на воле
 Ковьями просторная степь.
 И когда эту свадьбу справляли
 Во весь буйный казачий размах,
 Не они ль над узорами шали
 У Маланы сверкали в ушах;
 Не казачью ли женскую долю
 Разделяли покорно они,

Видя только бурьяны по полю,
 Да черкасских старшин курени.
 Но станичная глушь миновала,
 Среди новых блистательных встреч
 Отразили лучисто зеркала
 Их над матовым мрамором плеч.
 Промелькнули за лицами лица,
 И, кануном смертельных утрат,
 Распростерла над ними столица
 Золотой свой, веселый закат.

Что ж мне делать, коль прошлым так
 пьяно

Захмелела внезапно душа,
 И в полночных огнях ресторана,
 По-старинному так хороша,
 Ты сидишь средь испытанных пьяниц,
 Дочь далеких придонских станиц,
 И пылает твой жаркий румянец
 Под коричневой тенью ресниц,
 Колыхаются серьги-подвески,
 Расцветают в зеленом огне,
 И трепещут короткие блески
 В золотистом анжуйском вине.
 Что на речи твои я отвечу?
 — Помню окрик казачьих погонь,
 Вижу близко, как весело мечут
 Эти камни разбойный огонь.

1927

СОЧЕЛЬНИК

Темнее стал за речкой ельник.
 Весь в серебре синее сад,
 И над селом зажег сочельник
 Зеленый, медленный закат.

Лиловым дымом дышат хаты,
 Морозна призрачная тишь.
 Снега, как комья чистой ваты,
 Легли на грудь убогих крыш.

Ах, Русь, Московия, Россия —
 Простор безбрежно снеговой,
 Какие звезды золотые
 Сейчас зажгутся над тобой.

И все равно, какой бы жребий
 Тебе ни бросили года —
 Не догорит на этом небе
 Волхвов приведшая звезда.

И будут знать, и будут верить,
 Что в эту ночь, в мороз, в метель
 Младенец был в простой пещере
 В стране за тридевять земель.

Никто другой не станет ближе,
 Чем он скуде дымящих хат,
 Когда сухой мороз нанижет
 Веселый крик твоих коляд.

1927

ИЗ ПОЭМЫ «ПАРИЖ»

Как счастлив я, когда приснится
 Мне ласка нежного отца,
 Моя далекая станица
 У быстроводного Донца.

На гумнах новая солома,
 В лугах душистые стога,
 Знакомый кров родного дома,
 Реки родные берега.

И слез неволью сердце просит,
 И я рыдать во сне готов,
 Когда вновь слышу в спелом просе
 Вечерний крик перепелов.

И вижу розовые рощи,
 В пожаре дымном облака,
 И эти воды, где полощет
 Заря веселые шелка.

1927

* * *

Когда-то мимо этих плес
 Шли половцы и печенег.
 О древний шлях! Дремлю в телеге
 Под скрип немазанных колес.

И снится мне все тот же сон:
 Поют, над мной склонясь, две бабы,
 Напев их медленный и слабый
 Меня томит, как долгий стон.

1928

«ПРЕДКИ» (из поэмы)

Мы плохо предков своих знали.
 Жизнь на Дону была глуха,
 Когда прабабка в пестрой шали
 Невозмутима и строга,
 Надев жемчужные подвески,
 Уселась в кресло напоказ,
 Чтоб зрел ее в достойном блеске
 Старочеркасский богомаз.
 О, как старательно и чисто
 Писал он смуглое лицо,
 И цареградские мониста,
 И с аметистами кольцо,
 И шали блеклые пионы
 Под кистью ярко расцвели,
 Забыв полуденные страны
 Для этой северной земли.

...А ветер в поле рвал туманы,
 К дождю кричали петухи,
 Росли на улице бурьяны,
 И лебеда, и лопухи;
 Паслись на площади телята,
 И к Дону шумною гурьбой
 Шли босоногие ребята,
 Ведя быков на водопой.
 На берегу сушились сети,
 Качал баркасы темный Дон,
 Нес по низовью влажный ветер
 Собора скудный перезвон.
 Кружились по ветру вороны,
 Садясь на мокрые плетни,
 Кизячный дым под перезвоны
 Кадили щедро курени.
 Казак, чекмень в грязи запачкав,
 Гнал через лужи жеребца,
 И чернобровая казачка
 Глядела вслед ему с крыльца.

1928

* * *

Какой необоримый зной
 Струится с выцветшего неба,
 Какой незыблемый покой
 В просторах зреющего хлеба,
 И как ясна моя судьба,
 Как этот мир и прост, и прочен.
 Волы бредут. Скрипит арба.
 Домой приеду только к ночи.

И будет темен отчий дом —
 Ни ожидания, ни встречи.
 Каким невероятным сном
 Покажется мне этот вечер,
 Когда у ветхого крыльца,
 Последние теряя силы,
 Я буду тщетно звать отца,
 И мне молчанием могилы
 Ответит запертая дверь,
 И незнакомые соседи
 Услышат крик моих потерь
 На пустыре моих наследий!
 А завтра будет тот же день —
 В родных местах чужие лица —
 Все так же будет колоситься
 Вокруг желтеющий ячмень.
 — Вотще тебе, моя страна,
 Мои скитанья и страданья —
 Все так же слышно табуна
 На зорях радостное ржанье,
 И те же мирные стада
 На водопое у колодца
 По вечерам, и так же льется
 В корыто звонкая вода. . .
 О, как ясна моя судьба, —
 С концом сливается начало,
 И мой корабль — моя арба —
 Скрипит у верного причала.

1929

ШЛЯХ

Звенит, как встарь, над Манычем осока,
 В степях Хопра свистит седой ковыль,
 И поднимает густо и высоко
 Горячий ветер розовую пыль.

Нет никого теперь в моей пустыне,
 Нет, никого уже мне не догнать.
 Казачьи кости в голубой полыни
 Не в силах я, увидя, опознать.

Ни встреч, ни ожидающих казачек;
 Который день — станицы ни одной.
 Ах, как тоскливо этот чибис плачет,
 И все летит, кружась надо мной.

Спешит, спешит мой конь, изнемогая;
 Моя судьба, как серна, в тороках —
 Последняя дорога, роковая —
 Неезженный тысячелетний шлях.

1938

1942

Тебе не страшны голод и пожар,
 Тебе всего уже пришлось отведать.
 И новому ль нашествию татар
 Торжествовать конечную победу?

О, сколько раз борьба была невмочь,
 Когда врывались и насильники, и воры —
 Ты их вела в свою глухую ночь,
 В свои широкие звериные просторы.

Ты их звала, доверчивых собак,
 В свои трущобы, лютая волчица.
 И было так, и снова будет так,
 И никогда тебе не измениться.

1968

РУССКАЯ ЗИМА

Слились в одну мои все зимы,
 Мои оснеженные дни —
 Застыли розовые дымы,
 Легли сугробы за плетни.

И вечер, как мужик в овчине,
 Бредет в синеющих полях,
 Развешивая хрупкий иней
 На придорожных тополях.

В раю моих воспоминаний,
 В моем мучительном раю,
 Ковровые уносят сани
 Меня на родину мою.

Легка далекая дорога,
 Коней в снегах неслышен бег,
 И в каждой хате, ради бога,
 Готов мне ужин и ночлег;

А утром в льдистое оконце,
 Рисуя розы по стеклу,
 Глядит малиновое солнце
 Сквозь замороженную мглу,

И бубенца вновь будет плакать
 От стужи тонкий голосок,
 И будет каждый одинаков
 В пути уездный городок.

Я помню улицы глухие,
 Одноэтажные дома,
 Ах, только с именем — Россия
 Понятно слово мне — зима.

Саней веселые раскаты.
И женский визг, и дружный смех,
И бледно-желтые закаты
И голубой вечерний снег.

1929

РОЖДЕСТВО

Выходи со мной на воздух,
За сугробы у ворот.
В золотых дрожащих звездах
Темносиний небосвод.

Мы с тобой увидим чудо:
Через снежные поля
Проезжают на верблюдах
Три заморских короля.

Все они в одеждах ярких,
На расшитых чепраках
Драгоценные подарки
Держат в бережных руках.

Мы тайком пойдем за ними
По верблюжьему следу
В голубом морозном дыме
На хвостатую звезду.

И увидим ясно после
Этот маленький вертеп,
Где стоит у яслей ослик
И лежит на камне хлеб.

Мы увидим Матерь Божью,
Доброту ее чела —
По степям, по бездорожью
К нам с Иосифом дошла.

И сюда, в снега глухие,
Из полуденной земли
К замороженной России
Приезжают короли

Преклонить свои колени
Там, где ласково светя,
На донском душистом сене
Спит небесное Дитя.

1931

* * *

Сердце сердцу весть подает,
Глупое сердце все еще ждет,
Все еще верит в верность твою,
В какую-то нежность в далеком краю.

Все о тебе сердцу хочется петь —
Бедное сердце не хочет стареть.

1938

* * *

Над весенней водой, над затонами,
Над простором казачьей земли,
Точно войско Донское — колоннами
Пролетали вчера журавли.

Пролетая, печально курлыкали.
Был далек их подоблачный шлях.
Горемыками горе размыкали
Казачьи в чужедальних краях.

1938

* * *

Задыхаясь, бежали к опушке,
Кто-то крикнул: устал, не могу!
Опоздали мы — раненый Пушкин
Неподвижно лежал на снегу.

Слишком поздно опять прибежали —
Никакого прощенья нам нет,
Опоздали, опять опоздали
У Дантеса отнять пистолет.

Снова так же стояла карета,
Снова был ни к чему наш рассказ,
И с кровавого снега поэта
Поднимал побледневший Данзас.

А потом эти сутки мученья,
На рассвете несдержанный стон,
Ужасающий крик обреченья
И жены летаргический сон.

Отлетела душа, улетела —
Разрешился последний вопрос.
Выносили друзья его тело
На родной петербургский мороз.

И при выносе мы на колени
Опускались в ближайший сугроб,
И Тургенев, один лишь Тургенев
Проводил самый близкий нам гроб.

И не десять, не двадцать, не тридцать —
Может быть, уже тысячу раз
Снился мне и еще будет сниться
Этот чей-то неточный рассказ.

1937

СУВОРОВ

Ивану Лукашу

Все ветер да ветер. Все ветры на свете
Трепали твою седину.

Все те же солдаты — любимые дети,
Пришедшие в эту страну.

Остались сзади и бездны и кручи,
Дожди и снега непогод.
Последний твой — самый тяжелый и лучший —
Альпийский окончен поход.

Награды тебе не найдет император,
Да ты и не жаждешь наград, —
Для дряхлого сердца триумфы возврата —
Уже сокрушительный яд.

Ах, Русь — Византия и Рим и Пальмира!
Стал мир для тебя невелик.
Глумились австрийцы: и шут, и задира,
Совсем сумасшедший старик.

Ты понял, быть может, не веря и плача,
Что с жизнью прощаться пора.
Скакала по фронту соловая кляча,
Солдаты кричали ура.

Кричали войска в иступленном восторге,
Увидя в солдатском раю
Распахнутый ворот, на шее Георгий —
Воздушную немощ твою.

1935.

* * *

Учился у Гумилева
На все смотреть свысока,
Не бояться честного слова
И не знать, что такое тоска.

Но жизнь оказалась сильнее,
Но жизнь оказалась нежней,
Чем глупые эти затеи,
Чем все разговоры о ней.

ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ*Марку Шагалу*

Небесный сыр — моя луна
 Уже надъедена мышами.
 Они живут за облаками
 В корнях потусторонних верб.
 И нет луны. Есть лунный серп.
 Надолго ль он в ночи? Но вот
 Мой пожилой покойный кот
 В мышиный табор сиганул, —
 Одних сожрал, других — вспугнул.
 И нет луны. Есть звездный свет,
 Мерцающий тьму тысяч лет.

1968

* * *

Что возразить тебе? Ах, бесполезно!
 В потоке жалоб и угроз
 Уже дрожит единственный, железный
 Мой, в этой жизни нерушимый, мост.

Все вверх ногами в сокрушительном потоке:
 Обломки покаяний и грехов,
 Дела и люди — строки, строки
 Тобой переименованных стихов.

Любовь к стихам — чудесная обуза,
 Любовь к стихам — крушение и беда.
 И мечется испуганная муза,
 Сгорая от девичьего стыда.

1964

СМЕРТЬ

1

Хорошо, что смерть сметает
 Наши легкие следы,
 Хорошо, что облетают
 Пожелтевшие сады;

Хорошо, что вьюга воет
 Над заснеженной землей,
 И из всех часов покоя
 Лучший именно зимой.

Хорошо, когда без страха,
 Отжив свой недолгий век,
 В прах, родившийся из праха,
 Обратится человек.

Но беда, коли во злобе
 И гордыне пред творцом,
 Он подумает о гробе
 С искажившимся лицом;

У кладбищенской ограды
 Богохульствует, крича,
 Иль попросит вдруг пощады
 В смертный час у палача,

Или, ведая заране
 Все проклятья над собой,
 Вдруг покинет поле брани
 Потаенною тропой —

Нет тогда ему покоя,
 Безмятежного конца:
 Смерть уж знает, что такое
 Можно взять у беглеца.

2

Побледнею неожиданно, как мел;
 Станет мало воздуха и света.
 Что-то главное я сделать не успел —
 Знаешь только ты одна об этом.

Перед казнью короток допрос,
 А расправа и того короче.
 Вот и жизнь слетает под откос,
 Паровозом, взорванным воочью.

Не о чем мне больше говорить.
 Только бы пред смертью не согнуться,
 А спокойно папиросу закурить. . .

3

Мне снится твой могильный крест,
 Плющом и розами увитый;
 Вокруг него лежат окрест
 Одни безымянные плиты.

Нет ни ограды, ни ворот,
 И на заброшенном кладбище
 Один лишь тополь стережет
 Твое последнее жилище.

Кто здесь тебя похоронил,
 Кто эти розы насадил,
 В плюще цветущие кроваво?
 И мне уже не жаль тебя!
 Кто он, отнявший у меня
 Мое единственное право?

4

В этом мире непрерывных удовольствий,
Увлечений, ликований и пиров,
Смерть приходит молчаливой гостьей
И садится у расставленных столов.

Без ответа, но и без вопроса,
Молча подвигается ко мне, —
Не уродиной костлявой и курносой, —
А соседкою, приемлемой вполне.

И одной рукою наливает
В кубок драгоценное вино,
А другою крепко обнимает,
Будто мы любовники давно.

Я гляжу, не опуская взора,
В черноту ее бездонных глаз,
Неужели на вопрос мой: скоро?
Не ответит мне она: сейчас!

5

Опять приют знакомых мест.
Иду заросшею тропею.
И юный дождь и старый лес
Шумят о жизни надо мною.

Зайду под дуб — и нет дождя.
Ах, эти капли дождевые,
Шуршащие, поющие, живые,
Победные над ветхостью плаща.

1960

КАЯЛ

Ворожила ты мне, колдовала,
Прижимала ладонью висок, —
И увидел я воды Каяла,
Кагальницкий горячий песок.

Неутешная плакала чайка,
Одинок кружась над водой;
Ах, не чайка — в слезах молодойка
— Не вернулся казак молодой.

Не казачка — сама Ярославна
Это плачет по князю в тоске.
Все равно — что давно, что недавно,
— Никого нет на этом песке.

1938

* * *

Опять допрос. Наедине
Уже с одним Тобою.
Конечно, правда есть в вине,
Когда, готовясь к бою,
Ты ждешь неотвратимый бой
С общеизвестною судьбой.
«Ты был ли зол?» — Накоротке.
«В кого ты верил?» — В бога.
Но, боже мой, в Твоей руке
Других лежит дорога,
Неискушенных и простых,
Уже, воистину, святых.
«Что ты любил?» — Был рад стихам.
«Тогда тебя прощаю,
И к вольным всем твоим грехам
Невольный приобщаю».

1964

* * *

У отцов свои преданья,
У отцов свои грехи:
Недостроенные зданья,
Непрочтенные стихи.

И уже ни в чем не каюсь,
Лоб крестя иль не крестя,
Подрастает, озираясь,
Эмигрантское дитя.

1964

* * *

Что сохранил я для мира?
Стихов непредвиденный срок,
Кусок азиатского сыра,
Водки короткий глоток,
Запах белых акаций,
Окаменевшую мать.
Можно ли все это вкратце
Музе моей передать?

1967

* * *

Свою судьбу я искашал,
В те дни всего казалось мало, —
Я видел смерть и с ней играл,
И смерть сама со мной играла.

Была та дивная пора,
Неповторимым искушеньем,
И наша страшная игра
Велась с жестоким упоеньем.

Всепожирающий огонь
Испепелил любовь и жалость, —
Сменялся бой, менялся конь,
Одна игра лишь не менялась.

1938

* * *

Не дано никакого мне срока —
Вообще ничего не дано.
Порыжела от зноя толока.
Одиноко я еду давно.

Здравствуй, горькая радость возврата,
Возвращенная мне наконец,
Эта степь, эта дикая мята,
Задурманивший сердце чебрец.

Здравствуй, грусть опоздавших наследий,
Недалекий последний мой стан!
На закатной тускнеющей меди
Одинокий, высокий курган!

1938

* * *

Больше ждать, и верить, и томиться,
Притворяться больше не могу.
Древняя Черкасская станица —
Город мой на низком берегу.

С каждым годом дальше и дороже...
Время примириться мне с судьбой.
Для тебя случайный я прохожий,
Для меня, наверно, ты чужой.

Ничего не помню и не знаю!
Фея положила в колыбель
Мне свирель прадедовского края
Да насущный хлеб чужих земель.

Пусть другие более счастливы, —
И далекий неизвестный брат
Видит эти степи и разливы
И поет про ветер и закат.

Будем незнакомы с ним до гроба.
И в родном не встретившись краю,
Мы друг друга опознаем оба,
Все равно, в аду или в раю.

1936

* * *

Закурилась туманом левада,
Журавли улетели на юг —
Ничего мне на свете не надо,
Мой далекий, единственный друг.

Только старый курень у оврага,
Побуревший соломенный кров,
Да мой стол, на котором бумага
Ожидает последних стихов.

1943

* * *

Как когда-то над сгубленной Сечью
Горевал в своих песнях Тарас —
Призываю любовь человечью,
Кто теперь погорюет о нас?

Но в разлуке с тобой не прощаюсь,
Мой далекий отеческий дом, —
Перед Господом не постесняюсь
Называться донским казаком.

1943

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. А. Пономарева, В. В. Цыбулькин

«БЕРЕЗОВЫЕ КНИГИ» ДОХРИСТИАНСКОЙ РУСИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В июле 1988 года в Великобурлукском районе Харьковской области работала диалектологическая экспедиция Харьковского университета под руководством доцента В. В. Левитского. Район был выбран не случайно: русские села, богатая событиями история и при этом довольно слабая исследованность местного этнографического и фольклорного материала.

В Великом Бурлуке экспедиция посетила усадьбу древнего казачьего рода Донец-Захаржевских — Задонских. Интересно, что сохранившийся в стиле ампира построен из дерева в первой половине XIX века народными мастерами, а церковь, взорванная в 1937 году, была возведена, возможно, по проекту и при участии русского зодчего А. Н. Воронихина (1760—1814).¹ В усадьбе бывал украинский философ и поэт Г. С. Сковорода (1722—1794). Здесь, по свидетельству Б. Ребиндера, командир Марковского арддивизиона полковник А. Ф. Изенбек в 1919 году нашел березовую «Влесову книгу», описывающую жизнь и миграции славянских племен дохристианской Руси.² Б. Ребиндер — потомок рода Ребиндеров, которые имели в с. Шебекино (Белгородская область РСФСР) завод сельскохозяйственного машиностроения. Возможно, что Ребиндеры и Задонские действительно были знакомы.

В 70-е годы в Великобурлуке был советский поэт И. Кобзев, который рассказал о находке А. Ф. Изенбека основателю краеведческого музея района П. В. Григорову и директору этого музея историку К. О. Оковитой. Местные краеведы установили, что весь второй этаж деревянного особняка занимала библиотека, первые книги для которой привез полковник Г. Е. Донец-Захаржевский с Гетманщины (Киевская, Хмельницкая и Черновицкая области УССР) или Галиции (Львовская и часть Ивано-Франковской области УССР) еще во второй половине XVII века. После гибели последних Задонских в 1918 году усадьба была разграблена, а книги из библиотеки были уничтожены

в период оккупации Великого Бурлука денкинскими войсками. Поиск остатков библиотеки, предпринятый местными краеведами, и опрос местных жителей, проведенный экспедицией Харьковского университета, ожидаемых результатов не принесли, и установить, были ли какие-нибудь «березовые книги» у Задонских, не удалось. Однако старообрядцы-беспоповцы поморского толка (члены общины, центром которой является с. Приколотное Великобурлукского района) дали свидетельство о том, что их предки в XVIII—XIX веках имели какие-то «березовые книги», но до наших дней эти книги не дошли.

Что же эти книги собой представляли? Ответ был получен в Библиотеке АН СССР, где в отделе рукописей хранится «березовый сборник» (281 лист из березовой коры, датирован первой половиной XIX века), в который входит Псалтырь, две молитвы, канон, полуночница и помянник. Сборник найден вологодским купцом А. Е. Бурцевым в конце XIX—начале XX века. Подобные «березовые книги» хранятся в Древлехрамнице Пушкинского Дома, в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также в отделе рукописей Государственного Исторического музея. О наличии «березовых книг» у старообрядцев поморского толка прямо сообщал известный этнограф С. В. Максимов, посетивший в середине XIX века их общину на реке Мезень.³

В непосредственном окружении Задонских были старообрядцы поморского толка, что доказывает находка жителем Великого Бурлука В. Н. Марченко на территории усадьбы медного старообрядческого медальона кустарной работы. В настоящее время медальон исследуется специалистами Государственного Исторического музея и предварительно датирован второй половиной XVIII века — тем временем, когда на Харьковщину пришли гонимые поморцы.⁴

Известно, что старообрядцы собирали различные культовые предметы, созданные «до Ни-

¹ См.: Лукомский Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии. Пг., 1917. Ч. 1. С. 83—85.

² См.: *Rehbinder Boris. Vie et religion des slaves le livre de Vles.* Paris, 1980. P. 15—19.

³ См.: Янин В. Л. Я послал тебе бересту... 2-е изд., испр. и доп. М., 1975. С. 25—26.

⁴ Слово «поморец» употреблено нами в диалектном значении — «старообрядец поморского толка, беспоповец», в отличие от слова «помор» — «житель Русского Севера, мореход».

кона» (т. е. до середины XVII века). Иконы, литые из бронзы и серебра культовые предметы, церковную утварь «дониконовских времен» участники экспедиции видели у жителей Великого Бурлука, а также сел Черное, Зарубинка, Ольховатка. У наставника старообрядческой общины в с. Приколотном хранятся также старопечатные книги, созданные, по его словам, «до Никона». Одним из обычаев старообрядцев является дарение книг и культовых предметов «надежным людям», чтобы святыни «не теряли силы». К числу таких «надежных людей» могли принадлежать Задонские. Сомнительно, конечно, чтобы старообрядцы хранили языческую «Влесову книгу», но важно отметить, что духовный мир старообрядцев несет в себе пережитки духовного мира дохристианской Руси. Это легенды о колдунах, упырях, русалках, о предках, приходящих по ночам, и об Илье-пророке, который на колеснице в грозу катается по небесам, о разных перевоплощениях и т. п.

Итак, с одной стороны, старообрядцы поморского толка действительно имели «березовые книги», которые могли быть созданы и до XVII века, а с другой — они могли подарить такую книгу в библиотеку Задонских. Но мог ли привезти с собой какую-нибудь «березовую книгу» основатель библиотеки Г. Е. Донец-Захаржевский в XVII веке? Для ответа на этот вопрос во второй половине июля — начале августа 1988 года была проведена самостоятельная экспедиция на Правобережную Украину (Галицию и Гетманщину). В состав экспедиции входили филолог, историк, преподаватель Харьковского университета А. А. Гавриленко, инженеры Г. А. Картамышев и Л. В. Картамышева, а также студент Гомельского университета Ю. А. Надольский. Экспедиция проходила в два этапа. Первый этап — по территории Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Киевской областей УССР. Задачей было посещение православных религиозных центров — таких, например, как Манявский скит (с. Манява Ивано-Франковской области), где могли сохраняться рукописные и старопечатные книги, а также знакомство с собраниями музеев и беседы с научными сотрудниками — историками и этнографами. Проводился опрос местных жителей. Однако отсутствие традиции использования березовой коры или березового дерева на Правобережной Украине и наличие большого числа католических и униатских центров, уничтожавших оплоты и культовые предметы других религий, позволили сделать вывод о принципиальной невозможности появления и длительного хранения памятника, подобного «Влесовой книге», в тех местах, где даже само березовое дерево не характерно для состава флоры.

Второй этап экспедиции — посещение наиболее хорошо сохранившихся до наших дней центров белокриницкого старообрядческого поповского толка, некогда достаточно широко распространенного на Правобережной Украине. Были посещены старообрядческие общины на территории Черниговской области УССР и

Гомельской области БССР. Однако члены этих общин, пользующиеся до сих пор при богослужении рукописными и старопечатными книгами XVI—XIX веков, заявляли, что «березовых книг» они не знают и ничего о них не слышали.

Таким образом, версия о «правобережном» происхождении «березовой книги» в библиотеке Задонских подтверждения не получила. Но был ли полковник А. Ф. Изенбек в Великом Бурлуке?

Выяснено, что Марковский арtdивизион, которым командовал А. Ф. Изенбек, входил в Марковский полк первого армейского корпуса Добровольческой армии.⁵ По свидетельству старожилов Великого Бурлука и историческим документам, Великий Бурлук был занят Добровольческой армией в июне 1919 года и освобожден от денкинцев в декабре 1919 года.⁶ Первый армейский корпус прикрывал Харьков со стороны северо-востока во взаимодействии с конной группой Мамонтова (Донская армия) во время Харьковской наступательной операции Южного фронта Красной Армии (24 ноября—12 декабря 1919 года).⁷ Отступающие денкинцы первого армейского корпуса, среди которых мог быть А. Ф. Изенбек, проходили через Великий Бурлук. Указание Ю. П. Миролубова на конкретное историческое лицо такого масштаба, как полковник-марковец А. Ф. Изенбек, а также на судьбу Донских или Задонских на этом историческом фоне выглядит вполне правдоподобно.

Учитывая некоторые субъективные факторы (понятие дворянской чести, боязнь быть истолкованным ложно и т. п.), влиявшие на отсутствие у Ю. П. Миролубова желания публиковать текст «Влесовой книги»,⁸ возникает вопрос об объективном существовании некой «березовой книги» у А. Ф. Изенбека. Трудно, однако, говорить об утраченном предмете и об уже умерших людях, но остается открытым вопрос: какие были источники «Влесовой книги»? Интересно описание «дошек», выполненное Ю. П. Миролубовым, в котором сказано, что, помимо греко-рунического письма, на «дошках» имелись рисунки.⁹ Однако представленная фотография текста дощечки № 1 «Влесовой книги» не дает оснований для разговора о смешанной греко-рунической графике. Только несколько сомнительного происхождения знаков можно интерпретировать как рунические. Показательно, что

⁵ См.: Добровольча армія // Великий Жовтень і Громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник. Київ, 1987. С. 172.

⁶ См.: История городов и сел Украинской ССР: Харьковская область. Киев, 1976. С. 266.

⁷ См.: Харківська операція 1919 р. // Великий Жовтень і Громадянська війна на Україні. С. 576.

⁸ См.: Творогов О. В. Что же такое «Влесова книга»? // Русская литература. 1988. № 2. С. 97—98.

⁹ См. там же. С. 86—87.

эти знаки не имеют аналогов среди известных по археологическим находкам рунических текстов Скандинавии, Старой Ладogi, Салтово-Маяцкой культуры. Возникает вопрос: могла ли существовать «березовая книга», подобная так называемой «Влесовой»?

Традиция использования березовой коры и древесины в качестве материала для письма у славян прослежена археологически, а также по имеющимся историко-этнографическим источникам.¹⁰ Интересно сообщение арабского писателя Ибн-ан-Недима, который в 987 году сообщал, что руссы имеют письмена, вырезаемые на белом дереве.¹¹ С XII века на Руси известны так называемые «народные календари» — деревянные бруски длиной 30—50 см с тремя, четырьмя или шестью гранями, на которых ясно различались отметки дней разными знаками.¹²

В «Материалах для археологического словаря», выполненных членами Московского археологического общества на основании древнерусских летописей и документов в конце XIX века, можно найти интересное толкование слов «доски, дощѣкы, дьскы» и «ряднища». Так, «доски (дощѣкы, дьскы)» толкуются как «древние записи и акты».¹³ В качестве примеров приводятся отрывки из документальных текстов, которые позволяло предположить именно такое толкование этих слов. О «ряднищах» сообщается следующее: «В Пскове обыкновенно ряднища начертывались на досках и хранились в соборном храме Св. Троицы».¹⁴ Итак, может быть, действительно существовала традиция записывать какую-то информацию на досках. Этот вывод не противоречит исследованиям болгарского слависта К. Куева, который считает, что «черты и резы» наносились на деревянные «рабoши» (досчицы, бирки, деревянные календари).¹⁵

О «чертах и резах» нам сообщает Черноризец Храбр:

Прѣжде оубо словѣне не имѣхъ книгъ. нѣ чрѣтами и рѣзъами чѣтѣхъ и гатаахъ погани сѣще. крѣстивше же сѣ, рим'скими и грѣчьскими писменъ, нѣждаахъ сѣ словѣн'скы рѣчь безъ оустроения. нѣ како мѡжетъ сѣ писати добрѣ грѣчьскими писменъ. бѣ. или

живѡть. или зѣло или ѡрковъ. или чаание. или ширѡта. или вадь, или ждоу. или юность, или жьць, и инаа подобнаа симь. и тако бѣшъ многа лѣта.

По том же чѣколюбець бѣ строж и всѣ, и не оставлѣхъ члца рода безъ разоума. нѣ в сѣкъ разоумоу привода и спсению, помиловавъ родъ чѣчь, посла имь сѣго Костатина философа нарицаемого Кирила, мѣ жа праведна и истинна. и створи имь Л писмена и осмь, ова ѡбо но чиноу грѣчьскихъ писменъ, ова же по словѣн'стѣи рѣчи.¹⁶

Понимать данный текст можно так, что одновременно сосуществовали «черты и резы» у язычников и «римски и гречески» письмена у христиан. Традиционное понимание текста Черноризца Храбра, что только после принятия христианства славяне стали записывать свою речь римскими и греческими письменами,¹⁷ вызывает сомнение, которое подкрепляется находками в ранних монетных кладах Руси (VIII—X веков) граффити, демонстрирующих сосуществование в одной системе нескольких знаковых систем: арабской, греческой, тюркской, скандинавской и пр.¹⁸ Возможно, что под «чертами и резами» скрывается руническая система письма, распространенная в III—XIV веках у многих народов Азии и Европы.¹⁹ При таком толковании текста Черноризца Храбра (о синхронном существовании «черт и рез» и «греческих и римских» письмен) становится понятным употребленный Черноризцем Храбром глагол гатаахъ, который можно перевести на современный русский язык глаголами «гадать», «отгадывать». Известно, что старогерманское «gupa», «gulen» означает «тайна», и у кельтских, германских и тюркских народов руны носили магический характер. Бесспорно, что Русь знала руническое письмо и даже использовала смешанные руническо-кириллические знаки в VIII—XIII веках.²⁰

¹⁶ Текст 1348 года цит. по: Динеков П., Куев К., Петканова Д. Указ. соч. С. 96—97.

¹⁷ См., например: Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 7.

¹⁸ См.: Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь и варяги: (Русско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 277.

¹⁹ См.: Драчук В. С. Дорогами тысячелетий. . . С. 200; Сказания о начале славянской письменности. С. 176; Дучиц Л. В., Мельникова Е. А. Надписи и знаки на костях с городища Масковичи (Северо-Западная Белоруссия) // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования 1980 года. М., 1981. С. 185—216.

²⁰ См.: Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи: тексты, перевод, комментарий. М., 1977. С. 134—169; Дучиц Л. В., Мельникова Е. А. Надписи и знаки на костях с городища Масковичи. . . С. 185—216; Мель-

¹⁰ См., например: Янин В. Л. Указ. соч. С. 25—28.

¹¹ См.: Драчук В. С. Дорогами тысячелетий: О чем поведали письмена. 2-е изд. М., 1977. С. 216; Янин В. Л. Указ. соч. С. 31.

¹² См.: Этнография восточных славян: очерки традиционной культуры. М., 1987. С. 486—487.

¹³ Материалы для археологического словаря // Древности / Тр. Императорского Московского археологического общества. 1874. Т. 4. Вып. 2. С. 54.

¹⁴ Там же. 1883. Т. 9. Вып. 2—3. С. 209.

¹⁵ См.: Динеков П., Куев К., Петканова Д. Христоматия по старобългарска литература. 4-е изд. София, 1978. С. 100.

Широкую известность приобрела надпись «горухща» на глиняном сосуде, обнаруженном в кургане X века языческого могильника у с. Гнездово (Смоленская область), о значении которой известный археолог А. В. Арциховский писал: «Гнездовская надпись говорит о раннем распространении в языческой Руси славянской грамоты, что доказано и филологами в результате анализа договоров Олега и Игоря с Византией».²¹ На этой же амфоре из Гнездова Е. А. Мельникова недавно обнаружила также рунический знак «sól», семантически не противоречащий русскому «горухща».²² К дохристианским временам может относиться надпись «Людота коваль», обнаруженная на клинке случайно найденного у с. Фошеватая (Полтавская область) меча.²³

Помимо рунических и греческих письмен, в дохристианской Руси пользовались разными знаками и символами, известными по находкам из раннеславянских комплексов VI—VII веков, среди которых особенное место занимают так называемые «знаки Рюриковичей».²⁴

Сочетание письмен и «знака Рюриковичей» отразилось на внешнем виде печати Киевского князя Святослава Игоревича (до 972 года), скреплявшей какой-то дохристианский древнерусский документ.²⁵ Дохристианская Русь несомненно знала письменность. В. В. Седов к X веку, а не к XI (т. е. после 988 года) относит распространение грамотности.²⁶

никова Е. А., Седова М. В., Штыгов Г. В. Новые находки скандинавских надписей на территории СССР // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования 1981 года. М., 1983. С. 182—188; *Мачинский Д. А., Мачинская А. Д.* Северная Русь, Русский Север и Старая Ладога в VIII—XI вв. // Культура Русского Севера. Л., 1988. С. 46.

²¹ *Арциховский А. В.* Основы археологии. 2-е изд. М., 1955. С. 207.

²² См.: *Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С.* Указ. соч. С. 277.

²³ См.: *Археология СССР: Древняя Русь: город, замок, село. М., 1985. С. 332; Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С.* Указ. соч. С. 257.

²⁴ См.: *Драчук В. С.* Рассказывает геральдика. М., 1977. С. 196—197.

²⁵ См.: *Археология СССР. С. 382. Табл. 155. Рис. 1.*

²⁶ См.: *Седов В. В.* Племена восточных славян, балты и эсты // Славяне и скандинавы. С. 182.

Итак, «березовые книги» могли существовать на Руси до 988 года, однако бесспорным является и факт, что «Влесова книга» в том виде, в котором она была представлена, является очевидной фальсификацией.²⁷ Мотивы фальсификаторов сейчас представить трудно. Возможно, Ю. П. Миролюбов действительно видел какую-то «березовую книгу» у А. Ф. Изенбека. Но была ли это «языческая летопись»? Скорее всего, нет. Это могла быть одна из «березовых» христианских старообрядческих книг. Желание приукрасить отечественную старину, погоня за сенсацией или, может быть, попытка таким образом обратить внимание к безвозвратно утраченному документу могли подтолкнуть Ю. П. Миролюбова и А. Кура на путь создания «Влесовой книги» с использованием разных источников. Не исключено, что А. Ф. Изенбек нашел в усадьбе Задонских подделку А. И. Сулукадзева (умер в 1830 году), которую просвещенные владельцы Великому Бурлука могли купить в Санкт-Петербурге или Москве в начале XIX века.

Нельзя упускать из виду, что А. И. Сулукадзев был также коллекционером и из чего-то исходил, выполняя подделки. Но из чего? Четкого ответа на данный вопрос пока нет. Ясно одно: закрывать вопрос о дохристианских «березовых книгах» у славян еще рано. Но разработка такой сложной темы требует совместных усилий со стороны ученых разных специальностей (филологов, историков, археологов и др.), а также терпения в ожидании новых находок, подтверждающих или опровергающих ту или иную концепцию. История «Влесовой книги» является во многом поучительной: невнимательное отношение к отечественной старине ведет к невозможным потерям, некачественное исследование памятников ведет к фальсификациям, к появлению на базе подлинных научных фактов тенденциозного мифа. Увы, потери еще возможны, одна из них — гибнущая усадьба Задонских в Великому Бурлуке, где, может быть, полковник А. Ф. Изенбек действительно нашел не сохранившуюся до наших дней «березовую книгу» в том тревожном 1919-м...

²⁷ См.: *Жуковская Л. П., Филин Ф. П.* «Влесова книга»... Почему не Влесова?: (Об одной подделке) // Русская речь. 1980. № 4. С. 117; *Творогов О. В.* Указ. соч. С. 77—102.

Эммануэль Вагеманс
(Бельгия)

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: М. М. ЩЕРБАТОВ И ЕГО «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЕМЛЮ ОФИРСКУЮ» *

Духовную жизнь России второй половины XVIII века трудно представить без историка, философа, экономиста, педагога и публициста Михаила Михайловича Щербатова. В отличие от исторических трудов,¹ публицистические сочинения Щербатова не были опубликованы при его жизни.² И, вероятно, не по воле автора: страстное рвение, с каким князь обсуждал социально-политические, экономические и моральные проблемы своего времени, исключало вероятность подобной публикации в царствование Екатерины II. Возможность издания сочинений Щербатова появилась лишь во второй половине XIX века: в 1858 году в Лондоне Герцен напечатал обличительный моралистический памфлет Щербатова «О повреждении нравов в России» (вместе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева).³ Собрание сочинений М. М. Щербатова появилось только в 1890-е годы; в него было включено и «Путешествие в землю Офирскую», написанное в 1780-х годах.⁴

Человек старинного рода, Щербатов не затерялся среди екатерининских нуворишей и сумел сделать карьеру (в 1767—1768 годах он представлял ярославское дворянство в Комиссии по составлению Нового Уложения, потом стал сенатором). Но успехи Щербатова по службе были относительными: он всегда оставался в идеологической оппозиции и был рьяным критиком екатерининского режима. В своей обширной «Истории» Щербатов утверждал, что именно дворянству как основной силе России обязана культурой, спасением от татар и государственным единством. Щербатовская концепция отражала притязания старой знати, лишившейся со времен Петра Великого власти и влияния.

Последним словом Щербатова о современной ему России стал моралистический и критический памфлет «О повреждении нравов в России» (1786—1787), о котором Герцен сказал: «Вот мир, о котором наши деды и отцы вспоминали с умилением, — мир, в котором жил Щербатов, — всякому честному человеку должна была древняя Русь показаться чистой и доблестной в сравнении с этим бесстыдным развратом, с этим переходом Руси допетровской в новую Русь — через публичный дом».⁵ Прозвучавшая в этом произведении критика Екатерины II и ее правления была уничтожающей. Незадолго до смерти публициста (1790) императрица повелела наложить арест на рукопись Щербатова.

* Публикуемая статья является вариантом работы, напечатанной в «Slavica Gandensia» (1984. № 11; 1985. № 12).

В научной литературе о Щербатове можно выделить две главные темы: его роль в Комиссии и его исторические труды. Литературному же творчеству уделяется сравнительно мало внимания.⁶ Целью настоящей статьи и является более глубокое изучение «Путешествия в землю Офирскую», в частности в связи с вопросом о месте утопии в русской культуре XVIII века.

* * *

Хотя «Путешествие в землю Офирскую» есть, без сомнения, плод литературной фантазии Щербатова, автор не преминул придать повествованию иллюзию правдоподобности. Шведский дворянин, о котором идет речь в заглавии («Путешествие в землю Офирскую. Г-на С. швецакого дворянина»), начинает рассказ своего рода оправданием темы: единственной якобы причиной появления этой книги является неизвестность для читающего мира страны, которую посетил путешественник.⁷ Вместе с тем автор предупреждает, что это не история приключений, не набор «куриозов»: «При чтении сих первых слов моего сочинения, да не подумают здесь найти великие чудеса, в разсуждении естественного состояния, чудных зверей, птиц, гадов и прочее — богатства, кои бы могли привлечь европейское корыстолюбие» (Стлб. 750). Далее автор говорит, что посещенная им страна не выказывает никакого интереса к торговым отношениям и неохотно принимает иностранцев («чужестранных»): «Не для того сие, чтобы сей народ не был сообщителен и человеколюбив, но по некоиm политическим причинам, о которых в течение сего путешествия помянется, неохотно чужестранных приемлет» (Стлб. 750—751).

Чем же интересна эта страна? По мнению путешественника, «если чем она достойна примечания — сие есть: мудрым учрежденным правлением, в коем власть государственная соображается с пользою народною, вельможи имеют право со всею приличною смелостию мысли свои монарху представлять, ласкательство прогнано от царского двора, и истина имеет в оный невозбранный вход; в коем законы соделаны общим народным согласием и еще безпрестанным наблюдением и исправлением в лучшее состояние приходит; правительство немного и немногочисленно, но (и) дел мало, ибо внушенная издетства в каждого добродетель и зачатия их не допускает; в коем вельможи не пышные, не сластолюбивые, искусные, трудолюбивые, похвальное честолюбие имеют соделать счастливыми подчиненных им людей; остаток же народа, трудолюбивый и добродетельный, чит

во-первых добродетель, потом закон, а после царя и вельмож. То если желание познать таковое счастливое правление, которому бы желательно, чтоб называющие себя просвещенными Европейские народы подражали, возбудит чье любопытство, то лшу себя, что тот будет иметь причину по прочтении сего путешествия довольным остаться» (Стлб. 751—752). Итак, это рассказ о воображаемом путешествии, это утопия автора-моралиста. Описываемая страна представляет собою просвещенное государство, превосходящее уровнем развития Европу и достойное подражания. Следовательно, критика Европы тоже не исключается, но главный предмет обсуждения — Россия, ибо «шведский дворянин» — лишь эвфемизм, лишь маска русского автора.

Биография («история») путешественника изложена в главе второй (Стлб. 752—767), где автор лишний раз демонстрирует свое знакомство с современной ему литературой путешествий. «Шведский дворянин» родился в 1740 году в знатной семье. Вследствие политических неурядиц отец его был вынужден покинуть Швецию. После смерти отца сын из Франции отправился в Ост-Индию. Там он подружился с брахманом, обучившим его санскриту, языку, на котором говорят и в Офире. Узнав после одиннадцатилетней службы в Индии о том, что политическая ситуация при Густаве III стабилизировалась, он плывет в Европу за восстановлением в правах и родительским наследством. Дальнейшее — обычный для жанра штамп: корабль настигнут штормом, едва избегает гибели, мореплавателей спасают «человеколюбивые, обходительные, просвещенные и готовые прийти на помощь» жители Офира. Вскоре путешественники получают возможность продолжить путь в Европу — кроме рассказчика, который заболел и доверился местным лекарям, получив возможность убедиться в мудрости офиранцев.

Мы предполагаем, что предыстория путешественника по авторскому замыслу должна была иметь какие-то сюжетные последствия. Но роман Шербатова остался незавершенным. Текст обрывается после четырехлетнего пребывания героя в земле Офирской. Впрочем, в этом фрагменте (150 страниц) взгляды Шербатова на устройство идеального государства выявились с достаточной очевидностью.

Несмотря на то что образ шербатовского путешественника в целом статичен, все-таки во время пребывания в Офире он претерпевает некое развитие. Успокоенный обещанием офирского правительства помочь ему вернуться в Европу, герой начинает наблюдать жизнь Офира и получает «хорошее расположение» к его правительству: «Я признаюсь, что бывши рожден и воспитан в Европе, живши во Франции и привыкши почитать, что все просвещенное лишь у нас находится, каждая вещь, что я видел, и все, что я слышал, меня в удивление приводило, и жалел я о заблуждении наших европейцев, что они себя толь высоко пред другими возвышают. Здесь видел я простую

природу и здравый разум, доведший их до такой степени познания гражданских нравственных правил и до точного исполнения их, что они во всем наученейшие народы превышают. Следствия разсказания о моем путешествии еще более сии истины докажет» (Стлб. 969—970). Формула «у нас», без сомнения, включает и Россию, которая во время возникновения «Путешествия» пользовалась в западном мире репутацией просвещенной страны. В словах героя мы находим новое подтверждение того, что критика Шербатова распространяется и на Россию (можно даже сказать, прежде всего на Россию).

Так же как и в других утопических произведениях того времени, в шербатовском «Путешествии» присутствуют сатирические и критические элементы, но в «Путешествии» (и в этом его специфика) не содержится *прямой* критики: нигде и никогда она не касается русских обстоятельств, хотя безусловно Шербатов метил именно в Россию.

Рядом с сатирой присутствует в тексте и элемент предвидения. Эту двуплановость мы будем иметь в виду и при анализе утопии.

Сатира находит выражение в историях о прошлом, которые офиранцы (хозяин, ментор, князь, духовник и т. д.) рассказывают путешественнику. Эти «воспоминания» — инвективы против екатерининской России, так как ее несовершенство и пороки переносятся в Офир 1700-летней давности. Заключение, к которому подводит автор своего читателя, очевидно: уже 1700 лет в Офирском государстве покой и порядок, мир и благоденствие, а в так называемых цивилизованных странах это все еще дело будущего. Скорее всего, число «1700» имеет символическое значение: это рубеж в русской истории, ибо 1 января 1700 года Петр I ввел новый календарь, означив таким способом разрыв с Древней Русью. Второй элемент в «Путешествии» — пророческий, т. е. собственно утопический. Это обнаруживается при рассмотрении характера офиранцев, их государственного устройства, какими их застаёт путешественник. Под видом описания политической жизни в Офире Шербатов рисует нам идеальную Россию, какой она ему видится. Каким же воображал себе это будущее Шербатов? Прежде чем выяснить это, остановимся несколько подробнее на сатирической стороне его рассуждений.

* * *

Метод, которым Шербатов активно пользуется, — это анаграмма. В наименованиях офирских городов, рек и князей легко узнаваемы русские имена: Квамю соответствует Москве, Перегаб и пересекающая его река — Петербургу и Неве; Габниовина означает Новгород. Евки — Киев, Био — Обь, Голва — Волга, Кастар, или Аракитея, — Екатерина II. Н. Чечулин обнаружил еще несколько анаграмм: так, Сисею соответствует Царскому Селу, Тервек — Твери.

Холво (река) — Волхову, Унидва, Предна и Олбто — Двине, Днепру и Тоболу и т. д. и т. п.⁸

Однако важнее, чем эти безусловно намеренные ассоциации, историческое сходство с Россией, где ее настоящее проецируется в прошлое Офира. Столица Офира — Квамо, то же название носит река, протекающая по городу. Прежде столицей был Перегаб, королевская резиденция Сисео. Но все-таки офирианцы уже давно перенесли резиденцию в Квамо (Москву) (Стлб. 899—900). Чтобы сделать эту параллель еще более убедительной, Щербатов заставляет Агиба, который сопровождает путешественника, рассказать ему, что город и гавань появились во время войны с соседней страной (Дысвен — Швеция) по приказу князя Переги (Петра I); этот князь превратил его в столицу, разбил соседа и начал торговать с другими народами. Далее Щербатов упоминает в качестве соседа офирианцев и Палис (Польшу), коротко рассказав о хаосе в этой стране (Стлб. 871). Офир разделен на 15 областей. Их названия — сплошь анаграммы, которые могут быть соотнесены с русскими реалиями. Так же как и в послепетровской России, в Офире существует 14 рангов (Стлб. 861). Явная параллель с Россией XVIII века — стремление офирианцев к учению: они пытаются извлечь техническую пользу из контактов с европейцами. Офирианцы расспрашивают шведского дворянина именно о тех вещах, которые хотел узнать от европейцев Петр Великий: о пушках (Стлб. 775), кораблях (Стлб. 849), фортификации, армии и вооружении (Стлб. 895—897), о картографии (Стлб. 868—869).

Какие же российские обстоятельства критикует Щербатов?

Во-первых, он против того, что Перега (Петр I) перенес столицу в Перегаб — город, возникший на пустынном месте, стоивший многих человеческих жизней и больших средств, полностью изолированный от всей страны, построенный «против природы вещей». Это противоестественное положение столицы повлекло за собой многие беды: 1) находясь в отдалении от центральной части страны, власти не обращали больше внимания на ее внутреннее положение; 2) лучшие и благороднейшие представители народа, которые всегда жили в Квамо, перестали почитать своих властителей, обитающих ныне в отдалении; 3) сановники, живущие теперь при дворе, пренебрегли своими поместьями и без зазрения совести грабили народ, с которым потеряли связь; 4) они стали рассматривать двор как собственное обиталище и пренебрегли общим благом; 5) до их ушей не доходил более глас народа; 6) нравственные уроки предков ими забыты, забыты и родные места; 7) наконец, расположение столицы на вражеской границе довело народ до крайности, и участились бунты (Стлб. 792—793). Щербатов выступает здесь как рупор униженной, по его мнению, московской знати, которая вследствие петровских реформ была оттеснена на задний план и состав-

вила оппозицию новой политике, продолженной и в царствование Екатерины II. Но если в России ситуация не изменилась, то в Офире «неразумное» решение было отменено «мудрым» и «великим князем» Сабаколой, снова превратившим Квамо в столицу (Стлб. 793—795). Это произошло 1700 лет назад, и с тех пор Офир живет в покое и мире благодаря мудрым законам «седых» и «достопочтенных» мужей.

Во-вторых, критика относится к градостроению. Генеральный губернатор в беседе с путешественником с «великой мудростью» заявляет, что «власть монарша не соделывает города, но физическое или политическое положение мест, или особливый обстоятельство. Либо, говорил он, где уже завелися великия селения и требующие окроме земскаго управления управления гражданскаго, либо где есть мастерства и рукоделия, либо где есть торги или пристанища, сии места токмо требуют учреждения городами». (Стлб. 796). Губернатор Перегаба далее утверждает, что градостроение ведет к повреждению нравов, крестьяне становятся мещанами и вместо сельского хозяйства занимаются торговлей: «...где множество городов, там польза и вред государственной, ибо где есть стечение разнаго состояния людей, тут есть и больше повреждения нравов; и переименованные земледельцы в мещане, отставая от их главнаго промысла, развращаясь нравами, впадая в обманчивость и оставляя земледелие, более вреда нежели пользы государству приносят. Не побудит, продолжал он, торговлю многое число названных мещанами и впадших в роскошь людей, но побудит ее сельская жизнь, воздержность и трудолюбие...» (там же). Это высказывание прямо метит в лихорадочную урбанистическую политику Екатерины II, которой способствовал и самый крупный деятель ее царствования, оставивший по себе память (вполне справедливую ли?) как создатель «потемкинских деревень». Этот дилетантский «конструктивизм» Щербатов расценивает пренебрежительно, он решительный противник социальной мобильности в консервативном, богоданном обществе: крестьянин пусть вечно остается крестьянином, солдат — всю жизнь солдатом.

В-третьих, критика Щербатова касается внешней политики России, конкретнее — войн, которые она вела. В истории легендарного героя (Бомбей-Горы), рассказываемой путешественнику, есть эпизод о некоем офирском властелине, который намеревался начать захватническую войну. И хотя все члены совета были согласны с намерением князя, Бомбей-Гора отважился поднять голос против него. Его доводы таковы: «Не расширение областей составляет силу царств, но многонародие и доброе внутреннее управление. Еще много у нас мест не заселенных, еще во многих местах земля ожидает труда человеческого, чтобы сторичный плод принести; еще у нас есть подвластные народы, требующие привести их в лучшее состояние, то не лучше ли исправить сию внутренности, нежели безнужную войною под-

вергать народ гибели и желать покорить или страны пустыя, которая трудно будет и охранять, или народы, отличные во всем от нас, которые и чрез несколько сот лет не примут духа отечественнаго Офирской империи и будут под именем подданных наших тайные нам враги» (Стлб. 1005). Он предлагает воздействовать на соседнюю страну дипломатическими средствами, и ему действительно удается избавить Офир от «ненужной войны». Подобные высказывания о внешней политике Екатерины II мы встречаем и в щербатовском памфлете,⁹ так что выступление Бомбей-Горы — это речь против военной политики, проводимой Екатериной и Потемкиным, в пользу интенсивного развития самой русской державы.

Дальнейшая критика в «Путешествии в землю Офирскую» касается морального упадка русского общества — излюбленной темы сатирических сочинений Щербатова. В далеком прошлом распущенность и безнравственность царили и в офирском государстве. Офирский священник рассказывает историю о повреждении нравов, существовавшем до «счастливых перемен, обновивших офирскую землю»: «Древняя история наши повествуют нам, что было и у нас такое повреждение нравов; что почтенные старики, имея важные препоручения тогда, как уже природное побуждение в них исчезло — еще роскошь в них осталась, — публично содержали распутных женщин; они беседовали им в собраниях; дети их едва ли от них рожденные получали благородство; женщины престарелья, платя деньги, явно молодых любовников имели. Чрез пример таких людей стыд отовсюду был изгнан, нравы повредились, произошла во всех чинах и состояниях растрояка; государство было при краю падения своего, ежели бы счастливое применение не обновило Офирскую империю» (Стлб. 811). Этой излюбленной публицистической темой Щербатова мы заканчиваем перечисление важнейших предметов его критики. Можно сказать, что сатирическая часть щербатовского «Путешествия в землю Офирскую» фактически не предлагает ничего существенно нового по сравнению с критикой, высказанной им в трактате «О повреждении нравов в России». А что же собою представляет его утопическая часть?

* * *

В самом начале своего «Путешествия» Щербатов пишет, что народ Офира чтит в первую очередь добродетель, затем закон, а уж потом князей и сановников. Мысль о законах как результате договора, заключенного между людьми (так называемого общественного договора), восходит к основной идее его целостной концепции общества, демонстрирующей знакомство с социальной философией XVIII века (Локк, Блэкстон, Руссо).

В «зерцале князей» Щербатов лаконично выражает свою теорию: «Не народ для царей, но цари для народа, ибо прежде нежели были цари был народ» (Стлб. 979). Но русский писа-

тель не соединяет эту теорию с мыслью, которая для большинства современных философов была последовательным выводом из подобного положения, а именно с мыслью о равенстве. Напротив, офирская империя является наследной монархией с объявленной иерархией сословий, в которой верхний слой обладает исключительными привилегиями. Для дворянина Щербатова эта по сути прогрессивная теория не более чем интеллектуальный орнамент, который должен был придать ореол просветительского модернизма его в основе своей консервативным общественным воззрениям.

Во главе Офира стоит князь (король), который наследует трон. Следовательно, в Офире беспрерывно в течение 1700 лет правила одна династия. Князь назначает чиновников, воздвигает на законодательство, пусть лишь де факто, так как пункт 7 офирского зеркала князей гласит: «Цари не бывают ни ремесленниками, ни купцами, ни стряпчими и не ощущают многих нужд, которые их подданные чувствуют, а потому и неудобны суть сами сочинять законы» (Стлб. 980). Несмотря на это, князь может употребить свое влияние при решении важных законодательных и юридических вопросов. Щербатов добавляет: «Довольно, не взирая на обуздание нашими законами по его власти имеет он множество случаев соделать преступления» (Стлб. 886—887). И потому, чтобы избежать княжеского злоупотребления властью, предусмотрены следующие санкции или предупредительные меры: от народа не ожидается и не допускается никаких «лишних» почестей князю; князь не имеет права на личную охрану, так как это только отделяет его от народа и может привести к забвению блага подданных, к действиям, направленным против народа. Нет, лучшая охрана — это любовь народная (Стлб. 889). Щербатов указывает и на опасную роль, которую может сыграть личная охрана в борьбе за престол (Стлб. 889—890), — намек на дворцовый переворот Екатерины II. Другое средство укрощения княжеской гордыни состоит в том, чтобы народ в Офире не выражал ликования по поводу публичных выступлений князя, так как народ слишком глуп, чтобы верно оценивать деяния князей: «...общим образом нигде народ не может быть довольно просвещен, а потому показуемые бы знаки радости и усердия от народа в самом деле ничего не значили, а могли бы неким Государям вложить мысли гордости и предубеждения, якобы они весьма любимы народом, что может вредные следствия произвести, а к тому не находят они нужды такими восклицаниями обезпокоить утеса своих Государей» (Стлб. 893—894). Не затрудняется Щербатов и в нахождении последнего предупредительного средства: князьям никогда не воздвигаются памятники — ни при жизни, ни сразу после смерти, и лишь через 30 лет собрание «мудрых» мужей «непредвзято» оценивает деяния покойного князя (Стлб. 1019—1024).

Как ни подчеркивает Щербатов законность в качестве основы поступков каждого гражда-

нина Офира, он все-таки не показывает достаточно убедительно, как же в действительности может быть регулирована княжеская власть. И то, что покои князя расписаны речениями, напоминающими ему о его обязанностях, еще не гарантирует политики, отвечающей интересам народа, — в том виде, как в начале своего путешествия автор описал отношения между властителями и народом: «... в коем власть государская соображается с пользою народною» (Слб. 751). Автор нашей утопии заранее исходит из того, что князь добродетелен, «блестательный в добродетели» (Слб. 895), и, следовательно, соблюдает политический и моральный кодекс, как он дается в зеркале князей. Итак, теоретически власть князя ограничена, и хотя он не отделен от народа личной охраной и каждый имеет право давать ему советы, все-таки властитель остается изолированным.

Власть, которая дана князю, все же принадлежит не народу, а высшему слою общества, т. е. дворянству и сановникам. Если мы пристальнее взглянем в социальную структуру Офира, то увидим, что здесь изображено общество, которое представляет собой почти точную копию России времен Щербатова: резко отделенные друг от друга классы обладают совершенно разными политическими правами. Самый низший класс — крестьяне, во главе стоит привилегированное дворянство (аристократия и чиновничья знать), средний правящий слой представляют помещики и незначительное по численности купечество. В целом это и есть Россия Екатерины II. Чем же отличается идеал Щербатова от екатерининской России, другими словами, в чем состоит его вклад в утопическую мысль?

Совершенно необходимой основой идеального общества является крепостное право — точка зрения, которую Щербатов красноречиво защищал в бытность свою депутатом Комиссии. Но он был также против плохого обращения помещика с крестьянами; поэтому в пункте 18 Офирского собрания законов записано: «Не будь жесток к твоим рабам; служащих тебе не оставь без довольного пропитания и одежды; живущих на твоих землях не отяготи излишними податями и работою, и не оскорби их жестокими наказаниями; ибо правительство на все сие имеет прсмотр и обличеннаго тебя в таковых беспорядках лишит управления твоих имений» (Слб. 952). Однако и здесь наказание жестоких землевладельцев предусматривается скорее как исключение; все зависит от доброй воли помещиков.

Важнейшим классом в утопическом Офире является дворянство, в особенности аристократия (знать), высший слой дворянского сословия (благородные). Только этот класс имеет право на владение землей и крестьянами, а также на государственную службу. Сановники, которые наряду с князьями облечены высшей властью, все являются потомственными дворянами, хотя в качестве поощрения за особые заслуги к этому состоянию могут быть приобщены и другие люди (Слб. 982). Так

называемая вельможная знать, т. е. аристократия сановников, — самый высокий и привилегированный слой в Офире. Аристократия есть высочайшая социально-политическая инстанция и высочайший моральный авторитет — еще одна излюбленная мысль Щербатова, которую он страстно и многократно проповедует в «Истории Российской». Новое в его утопии можно свести к претензии потомственного дворянства на политическое влияние, моральный авторитет и неограниченную власть в своих поместьях. Именно это Щербатов тщетно защищал как депутат от Ярославля в Комиссии — так что все «Путешествие в землю Офирскую» можно рассматривать как его обращение к Комиссии. Фрондирующий дворянский публицист изобразил идеальную страну, где такое притязание уже реализовалось. И в высшем правительстве Офира, которое можно сравнить с Сенатом, представлено дворянство; оно имеет право поднимать голос против мер, кажушихся вредными для сословия. Щербатов не показывает с достаточной отчетливостью, как должны быть разрешены спорные моменты. И это характерно для щербатовского утопизма: где дело касается важных вещей, создатель утопического проекта не дает точных ответов на вопрос *как* (например, когда речь идет о налогах на крестьян). Его описания местами неясны и маловероятны.

Представлены в правительстве и купцы, но, разумеется, в ограниченном количестве. Что касается местного управления, то Офир устроен так же, как Россия Екатерины II, хотя и без характерного для нее педантизма и неистового градостроительства. Между дворянством как высшим классом и крестьянством как низшим классом находятся купечество и мещанство. То, что Щербатов вообще наделил их правами, есть следствие занятий в Комиссии, где автор мог убедиться в значении этих сословий для сельского хозяйства и промышленности.

Наконец, есть еще и солдаты, которые должны быть собраны в военных поселениях. Путешественник сам посетил такие поселения: «Нашел я тут порядок, чистоту и знаки довольствия, которые едва ли и в лучших европейских городах так всеобщие есть» (Слб. 903). Его посетчик рассказывает, как организована оборона Офира: на границе с соседней страной стоит войско, ближе к центру полки, которые в случае необходимости помогают пограничным дивизиям (Слб. 907). Солдаты служат с 12 до 60 лет (Слб. 908). Гарнизонные солдаты, почти сплошь ремесленники, платят минимальные налоги, достаточные, чтобы поддержать гарнизоны (Слб. 909). Землю обрабатывают дежурные солдаты или их дети (Слб. 912); злоупотребления влекут за собой потерю чина и чести (Слб. 913). По мысли Щербатова, преимуществами этой системы таковы: Офир не знает рекрутчины, военные живут в благоденствии, их дети рождаются солдатами, это храбрые воины и верные граждане, потому что они могут защитить и собственные владения; вся страна пользуется плодами их ремесел и

хлебопашества, они могут помочь и в случае внутренних волнений (Стлб. 913—914). К чему привели подобные военные поселения, показали реформы начала XIX века, которые потерпели полный крах и вошли в историю под внушающим отвращением именем аракевещины.

Моральные и религиозные основы этого утопического общества Щербатов излагает в правилах катехизиса, которым дети обучаются с раннего возраста. Общественной опорой офирского морально-религиозного кодекса является школа, и вся система охраняется и контролируется полицией. Автор указывает на четыре обстоятельства, способствующие хорошей организации дел в Офире: 1) строгое наказание для преступников, 2) всеобщая забота о предотвращении злоупотреблений, 3) законы и 4) добрые нравы народа, которые, по утверждению официального и авторитетного офирского источника, «только же действуют над народом как самые законы» (Стлб. 914).

В качестве важнейшего элемента Щербатов рассматривает все-таки добрые нравы, самодисциплину индивидуума. Поэтому он щедро одаривает своих офирианцев всяческими добродетелями: офирианец порядочен и предупредителен по отношению к иностранцам, которых он никогда не бранит, но и не хвалит (Стлб. 867); по отношению к путешественнику они необыкновенно терпимы и внимательны; офирианцы скромны и неприязнательны в еде и питье, в архитектуре и внутреннем убранстве своих жилищ; важнейшие места заняты стариками, потому что они умнее и мудрее; их отношение к законам выказывает покорность судьбе: наши законы, говорят они, суровы, но полезны. Собеседница путешественника формулирует это следующим образом: «Не подумайте, государь мой, чтобы женщины офирския иначе были составлены как и ваши; мы также в молодости любили веселие, украшения и прочее. Даваемая нам наставления нам тягостны кажутся; я сие и по собственному моему испытанию говорю, но коль юности моей неудовольствия мне стали сугубо заплачены, когда разум мой получил зрелость свою от лет; когда приятности младости стали увядать, когда, вступая в супружество, должна была принять правление на себя дома; когда по тем же обстоятельствам, немалую часть жизни моей должна препроводить в уединении, и наконец когда должна стала прилагать мои попечения о воспитании детей моих. Тогда то я узнала, колико просвещение спомоществует спокойствию жизни» (Стлб. 960). Так просвещение соединяется с покойной жизнью, базируясь на рациональном поведении и социально-нравственном чувстве ответственности. Следовательно, мораль является прочной опорой жизни офирианцев: «Я не знаю, покажутся ли вам наши обычаи, но я думаю, что вы уже могли приметить, что у нас много нравы действуют, а потому и нет нужды правительству законами предписывать или делать какая учреждения» (Стлб. 969). К тому же офирианцы столь сердечны, великодушны и человеколюбивы, что деньги для школ, больных

и бедных (и такие есть в Офире) имеются в избытке. Одним словом, перед нами картина всеобщего благоденствия.

Разумеется, все эти добродетели исходят не только от народа. В Офирской земле существуют институты, которые эти добродетели проповедают, защищают и сохраняют. Это образование, религия и полиция. Обучению и воспитанию офирского народа уделяется очень много внимания. В каждой деревне, где есть храм, существует и школа для крестьянских детей; для солдатских детей есть свои школы, зависящие от дельного и попечительного начальства; в городах открыты школы для юношей и девушек благородного сословия и специальные для мещан. Наряду со средними школами в распоряжении офирианцев есть и высшие, опять-таки раздельно для дворян и мещанства. Академии находятся в столице Квамо. Преподавание связано почти исключительно с утилитарными знаниями: в сельских школах учат читать, писать и считать, городские школы учат детей мещан и купцов определенным ремеслам; дворяне обучаются рисованию, арифметике, начальной геометрии и, разумеется, танцам и фехтованию. В губернских школах преподаются также геометрия, военная и гражданская архитектура, артиллерия, история, география и физика. В академиях можно продолжить обучение высшей математике, физике, химии и астрономии. Литература, философия, филология, теология нигде не входят в программу, вместо этого втолковываются два катехизиса, притом ежедневно (Стлб. 928). Цель такого преподавания — привить добродетель с детства. Существуют в Офире и частные школы, но за ними строго наблюдают — как за нравами, так и за методами обучения; оригинальным воззрением или методом, инициативам учителя не придается никакой ценности (Стлб. 929—930). Особенно заметна в идеальной системе преподавания и воспитания Щербатова полная изолированность учеников от общества: утром ведет их в школу, а вечером домой «седой достопочтенный муж» (Стлб. 923). Князь Щербатов явно не заметил, что впал здесь в противоречие: с одной стороны, он рисует мыслящий и добродетельно живущий народ, с другой стороны, он считает необходимым изолировать учащихся от взрослых.

Два катехизиса — основа офирского обучения, моральный и гражданский кодекс каждого правоверного офирианца. Первая часть катехизиса нравов охватывает обязанности человека относительно Бога и себя самого (Стлб. 932—937); во второй части Щербатов описывает обязанности человека по отношению к обществу — это те требования, которые должны способствовать гладкому и бесконфликтному функционированию офирского идеального государства. Характерными кажутся нам следующие моральные предписания офирского государства. Человек рождается, чтобы жить с людьми, — в этом его сила и счастье. В обществе князь и подданные должны жить вместе и нераздельно: все взаимосвязано — чем крепче общественные узы, тем счастливее человек. Люби

своих сограждан, верхи не могут жить без низов, и наоборот. Чти свое отечество, ты всем обязан ему; а если ты его любишь, то ты любишь и его законы. Справедливость пусть будет стезей всех твоих деяний. Будь доволен тем, что имеешь: дворянство обладает тем, на что оно имеет законное право, пусть простой люд больше трудится. Подчиняйся законам, уважай сановников и властителей страны, но и не раболепствуй перед князьями. Стой за свои права, но не во вред общему благу (Стлб. 937—947).

Особенно много внимания в катехизисе законов Щербатов посвящает таким правилам, которые должны побудить офирианцев довольствоваться своим положением. Один из первых принципов гражданского катехизиса состоит в том, что не следует сетовать на строгость законов, причем логика обоснования весьма показательна: «Не жалуйся на видимую тебе иногда тягость законов, ибо законодатели могли иметь такие виды при сочинении их, а лишь бы закон удобен был ко исполнению, то уже он не труден становится» (Стлб. 947—948). Своеобразен ход мысли и в четвертом правиле: твоё каждое счастье и благоденствия, которыми ты одарен, доказывают существование высшего существа, следовательно, богохульство рассматривается как деяние безумца и наказывается: «Понеже каждая минута жизни нашей и каждая ощущаемая нами вещь показывает бытие вышнего Естества и Его к нам благоденствия, то не токмо по правилам, преданным нам от предков наших, должен ты иметь почтение к Нему, но также и по законам гражданским, опасаясь за богохулие быть содержан яко безумный, а за разсеивание богохульных глаголов яко бешенный быть заключен» (Стлб. 948). Кто не почитает своих родителей, должен быть изгнан из общества (правило 5); оскорбление величества наказывается тремя годами тюрьмы, покушение на жизнь или здоровью князя карается смертью: «...а поелику власть родительская и невозможность жить без начальника в обществе от самого естества человеческого происходит, то должны мы сию власть, яко от Бога происходящую, почитать. А сего ради любви, почитай и будь верен своему государю, однако всегда зависимо от государства, и знай, что учиненное тобою покушение на его жизнь, или на какой вред здоровью его, наказуется смертной казнью, а всякое ругательство ему — заключением на три года» (Стлб. 948—949). Любая деятельность, направленная против государства, влечет за собой смертную казнь (правило 7). Однако утопист делает здесь различие между лояльностью по отношению к князю и к государству. Как патриот, автор указывает на то, что приоритет принадлежит государству; любовь, почтение и верность князю ожидают лишь в том случае, если князь действует, сообразуясь с государственными интересами. Насчет шкалы наказаний Щербатов не скупится: кроме смертной казни, тюрьмы, домашнего заключения и изоляции, народного трибунала и публичного признания вины он предусматривает и каторжные работы (Стлб. 779)

в случае убийства. О любом слове, направленном против государства, сообщают доносчики — и наказание происходит в зависимости от значения сказанного (правило 9. Стлб. 949). То же касается лжи и ложных советов по отношению к сановникам. Воровство тоже влечет принародные наказания и бесчестье (правило 13). Щербатов предусматривает наказания и для помещиков, жестоко обращающихся с крестьянами (правило 18).

Таковы обязанности каждого офирианца. Всего правил 75 — 22 законодательных и 53 моральных. Эти правила изучаются в каждой офирской школе. Таким образом, школа, обучение и воспитание являются первой защитой законов. Но в своем педагогическом усердии и наивности Щербатов не зашел столь далеко, чтобы упустить из виду полицию. Офирская полиция вместе с гражданами отвечает за охрану улиц, пожарную безопасность и уличное освещение. Полиция ответственна также за исполнение законов и наблюдает за нравами и религией.

В Офире религия неотделима от полиции, а полиция от религии. Священники служат в полиции и носят форму полицейских офицеров! Священники избираются из народа, разумеется, речь идет только о добродетельных и примерных гражданах. Каждый офирианец должен раз в неделю совершать в храме молитву (Стлб. 804). Богохульство тяжело карается, и грешник отпускается из заключения только после признания своей вины: «А для того лишается он всех должностей, имение его и он сам отдается под опеку, и дети от воспитания его отъемлются, предоставляя сродникам излечить его болезнь. Но ежели таковой безумный будет, ходя повсюду, хулы на Бога возлагать, то дабы не нашел он каких слабых людей, как бы могли им заражены быть, то дом его определяется ему темницею с запрещением никуда не выходить, дондеже исправится и принесет публичное признание в безумии своем» (Стлб. 811—812). И хотя священники избираются исключительно из добродетельных и в моральном отношении безупречных граждан, проповеди, предназначенные для оглашения в храме, подлежат цензуре (Щербатов называет ее «судьбищем благочиния»). Цензор обращает внимание и на то, сколь учение проповедника согласуется с его поведением (Стлб. 837). Религия в Офире существует не для выражения высших устремлений человека, но для установления покоя и порядка в обществе. Духовные лица, состоящие на службе в полицейском аппарате, обладают правом и обязанностью вмешиваться даже в самые интимные обстоятельства жизни своих подопечных. Для священников офирианцы являются не пасомыми, а подданными или, в лучшем случае, гражданами.¹⁰ Строжайшим образом запрещены многоженство («многоженние»), сожителство и развод (Стлб. 808). В случае расторжения брака супруг, «виновный» в совершении с пути истинного, изолируется от общества (Стлб. 809—810). В этом месте путешественник прерывает

рассказ офирского священника восклицанием: «Коль сие есть строгое установление». Священник ему спокойно («с умереннейшим видом») объясняет, что государство не может позволить сбивать с пути добродетельных и набожных людей, а потому необходимы публичные наказания. И добавляет: «В тайне можешь делать что хочешь и за то тебе наказания не будет, но не приключай соблазна!» (Стлб. 811). Подобное лицемерие на первый взгляд неожиданно в устах нашего богобоязненного рационалиста. Но именно это чистосердечное признание офирского священника дает нам ключ к лучшему пониманию утопического офирского государства.

Таковы важнейшие элементы, которые в шербаатовском «Путешествии в землю Офирскую» можно рассматривать как утопические, таков его «вклад» в утопическую мысль русской литературы XVIII века. Попробуем теперь оценить шербаатовский эскиз идеального общества в контексте как западноевропейской утопической литературы, так и русской социальной мысли и действительности XVIII века.

* * *

Русские историки литературы XIX века единодушно осудили Щербатова. В сущности ту же позицию занимают и советские исследователи, хотя тон их работ более снисходительный. Невысоко оценивает идеалы, воплотившиеся в утопическом Офире, Н. Чечулин.¹¹ По его мнению, все позитивное в Офире бессмысленно, так как авторские утверждения о пользе и правильности функционирования тех или иных учреждений декларативны. К тому же офирская утопия явно хуже, чем сама русская действительность 1780-х годов.¹² Конкретно Н. Чечулин разбирает систему управления, которая была бы сложнее, чем при Екатерине II, с еще большим формализмом и волокитой. Критик уличает Щербатова в отрыве от русской действительности, в фантазерстве и дилетантизме. Однако он забывает, что всем просветительским сочинениям присуща вера в то, что реформы можно провести очень быстро и легко, если исходить из того, что во главе страны стоит государь, который железной и в то же время гуманной рукой создает новое общество прямо из «почвы» (отсюда превознесение Петра Великого западными и русскими мыслителями).¹³ Другая универсалия XVIII века касается повсеместно распространенной веры во всемогущество истины: стоит просветителю или просвещенному государю набросать на бумаге проект, и в силу своей разумности и гуманности он будет тотчас же реализован.

В. А. Мякотин находит в сочинении Щербатова (наполовину памфлете, наполовину идиллии) слишком мало сатиры и слишком мало фантазии. Он называет Щербатова «неуклюжим и неловким подражателем месье Монтескье».¹⁴ Лентин подчеркивает сильное влияние Руссо и поэтому утверждает: «Щербаатов непреклонно держит сторону благородных дикарей по отно-

шению к испорченным и продажным европейцам».¹⁵ Лентина ввели в заблуждение такие выражения, как «простая натура» и «здравый ум», в то время как Щербаатов вовсе не писал о примитивном характере офирянцев. Эти формулы привели дворянского утописта Щербатова к жестокому жизненным правилам, утвержденным законом и охраняемым духовенством и полицией.

Подобно Мякотину, Кизеветтер находит шербаатовскую политическую фантазию бедной, а его политические идеалы банальными.¹⁶ Он характеризует Офир как полицейское государство, но, несмотря на это, все-таки находит позитивные элементы в политической программе Щербатова. В качестве прогрессивного оценивается ограничение власти государя, а также принцип, согласно которому он не располагает законодательной властью (эта власть принадлежит министрам и свободным сословиям).¹⁷ Шагом вперед кажется Кизеветтеру и принцип выборности центральной власти. Прогрессивным является и то обстоятельство, что офиряне обязаны изучать свои права (в школе и в качестве присутствующих на судебных процессах — Стлб. 1042—1043); Щербаатов полагал, что публичные процессы будут оказывать воспитательное воздействие. Итак, критик видит в политическом устройстве шербаатовской идеальной страны два главных элемента: 1) дворянский принцип и 2) всеобщие политические права гражданина.¹⁸ В этом Кизеветтер усматривает предвосхищение русской реальности XIX века, когда дворянство утвердилось в своих правах.

Это мнение оспаривается И. А. Федосовым, посвятившим Щербаотову специальное исследование. Федосов рассматривает выборность высших органов власти и управления как новацию в утопии, но, с другой стороны, указывает и на то, что дворянство все еще играет решающую роль, так как оно в этих органах составляет большинство.¹⁹ В противоположность Кизеветтеру Федосов утверждает, что о расширении прав граждан свободных сословий не может быть и речи, и, следовательно, значение шербаатовской утопии заключается не в «предчувствии новых форм жизни» (как выражается Кизеветтер), но в «упрочении существующего порядка, правда, несколько подчищенного и улучшенного».²⁰

Во всех этих критических высказываниях постоянно возникает вопрос об утопическом в произведении Щербатова, вопрос, на который обычно дается отрицательный ответ: шербаатовское «идеальное государство» едва ли можно назвать утопическим, так как немногие признаваемые позитивными его черты по сравнению с екатерининской Россией означали шаг назад или же шаг вперед, но в направлении к тоталитарному полицейскому государству. И все-таки положительное игнорируется слишком часто и несправедливо. В качестве такового мы рассматриваем:

1. Ограничение высшей власти государя, пусть даже в пользу аристократической олигархии.

2. Высокая осведомленность гражданина о своих правах.

3. Обязанность учиться (свободно) для всех сословий. Лично для Щербатова это был шаг вперед, так как прежде он придерживался мнения, будто низшие классы в России не нуждаются ни в каком обучении, потому что образование может привести к непослушанию.

4. Филантропические учреждения (дома для сирот, бедных и т. п.).

5. Публичность суда.

6. Господство добродетели, умеренность и справедливость (иначе говоря, отсутствие лести, роскоши, честолюбия), уважение к добродетели, закону и государю (Стлб. 751—752).

7. Стабильность офирской державы.

8. Справедливая система налогов.

9. Антимилитаризм.

Все перечисленные здесь пункты могут рассматриваться не только как самостоятельные утопические мотивы, но и как критические отклики на русские обстоятельства. С другой стороны, в щербатовской утопии есть элементы явно сомнительные.

Во-первых, тщетно было бы искать в щербатовском проекте идеального государства те «широкие перспективы», которые увидел Кизеветтер,²¹ — встречающиеся в утопиях XVIII века (и более ранних) так называемые «коммунистические идеи». По мнению Вернадского, в известных масонских утопиях, к которым он относит и «Путешествие в землю Офирскую», проповедуется социальная филантропия, потому что на государство возлагается забота о нравственности и благе народа.²² Но хотя каждого гражданина Офира содержит непосредственно государство, главное в том, что при конкретизации щербатовского политического идеала от этих общих рассуждений ничего не остается: в Офире даже личная собственность не отменена, а ведь именно это требование чаще всего формулировалось в «коммунистических» утопиях XVI—XVIII веков.²³

Во-вторых, выяснилось, что, хотя Щербатов употреблял типично просветительскую терминологию, он почти не испытал влияния воззрений, прогрессивных для того времени. Щербатов пользуется социально-политическим жаргоном просветителей XVIII века, чтобы придать существующему в России порядку идеологическую мотивировку и оправдание.²⁴ Так, он с благодарностью заимствовал у физиократов взгляды на сельское хозяйство как основу всего народного благосостояния — для оправдания своих претензий, касающихся господства помещного дворянства и абсолютного послушания крестьян как гарантии процветания дворянства и всей нации.²⁵

Щербатова мы читаем, что в Офире власть государя находится в согласии с пользой народной (Стлб. 751), однако наш анализ показал, что Щербатов под народом в первую очередь понимает дворянство — класс, который все должен подчинить себе. Поэтому в целом можно было бы сказать, что Щербатов в своем «Путешествии» изобразил общество, которое не-

совместимо с основными идеями Просвещения.

Святловский справедливо отмечает, что экономические взгляды Щербатова легко согласуются с политическим либерализмом.²⁶ Он пишет так: «Идеи Руссо, Вольтера и моральных тезисов масонства смягчают в построении Щербатова острые углы действительности».²⁷ Поэтому неудивительно, что щербатовская офирская держава разрываемая противоречиями. Так, утопист создает идеальное общество, где каждый доволен данными ему от рождения местом и функцией в обществе, в котором каждый благоденствует. Несмотря на это, автору кажется необходимым ввести систему угнетения, создать военные поселения, жители которых могут быть использованы в случае народных восстаний или волнений. Сознание того, что народ в Офире может восстать, — первая поправка реалистически мыслящего утописта Щербатова. На второе противоречие его построений мы уже указывали: путешественник рисует нам добродетельное и целомудренное население, и вместе с тем офирские воспитатели считают необходимым посредством «санитарного кордона» — в лице «седого достопочтенного мужа» — изолировать учащихся от мира взрослых! Очевидно, в Офире делается четкое различие между поведением гражданина на людях и в частной жизни: «В тайне можешь делать что хочешь и за то тебе наказания не будет, но не приключай соблазна» (Стлб. 811). Этот пример демонстрирует разрыв между официально проповедуемой нравственностью и личной жизнью гражданина. Такой подход не согласуется с основными моральными принципами масонства — видимо, и масонство не оказало на Щербатова глубокого влияния. Кроме того, еще раз подтверждается, что избранный Щербатовым рай довольства, идиллического спокойствия и морально-политической стабильности фактически является лишь видимостью утопии. Следует указать и то, что до сих пор не бросилось в глаза ни одному из критиков: Щербатов в своем путешествии выражает исключительно мнение официальных представителей Офира (князя, генерала, губернатора, священника и т. д.) и никогда не входит в контакт с простым народом.

Третье противоречие, по нашему мнению, — существование в Офире благотворительности со стороны состоятельных граждан — все-таки важный корректив существенного для утопии элемента всеобщего благосостояния.

Наконец, еще одно критическое замечание: где же тут утопия, если в идиллически изображенный ландшафт Офира то и дело врываются пушки, крепости, военные поселения, суд и тюрьмы, принудительные работы (в том числе для политических преступников), смертная казнь, соглашения и цензура? Щербатовское общество сохраняется, во-первых, благодаря воспитанию послушания в моральной, политической и религиозной областях и, во-вторых, благодаря вседушной системе угнетения. Эта система, по-видимому, должна восприниматься

как исправление «слабостей» и «несовершенств» человека, для которых слишком простодушный рационалист XVIII века не имеет объяснения и которые в «утопиях» большей частью либо замалчиваются, либо недооцениваются, либо «компенсируются» системой наказаний, изначально исключающей любое творчество, любую оригинальность, любое инакомыслие. Теперь становится ясно, почему в Офире нет места изучению литературы, философии или теологии, — из щербатовской концепции это можно легко объяснить: офирская держава есть высочайший идеал, который вообще достижим, — держава, где в духовном отношении уже нечего больше открывать. Офир — конечный пункт, апогей человеческой цивилизации. Следовательно, офирианцам уже не нужна поэзия, философия и тому подобное, офирианцу следует заботиться лишь о техническом усовершенствовании. Другими словами, щербатовский Офир представляет собой не идиллию и не утопию, а диктатуру.

* * *

В заключение остановимся коротко на некоторых литературных и общественных явлениях, оказавших влияние на «Путешествие» Щербатова.²⁸

Обратимся прежде всего к названию страны. Согласно описанию путешественника, Офир должен находиться где-то возле Южного полюса. Шведский дворянин спрашивает своего офирского собеседника, имеет ли Офир что-нибудь общее с загадочной страной, о которой идет речь в Библии. На этот вопрос уроженец Офира отвечает утвердительно (Стлб. 883—884). В первой Книге Царств, где рассказывается о правлении Соломона, читаем, что Соломон послал свой флот в Офир (I Кн. Царств, 9, 28). Корабли привозили из Офира золото и серебро (Кн. Исая, 13, 12; Псалтирь, 45, 10), слоновую кость, драгоценные камни и благородные сорта дерева. Офирское золото ценилось очень высоко. Но более подробно об Офире из Библии мы не узнаем ничего. Офир рассматривался как некая богатая страна, куда посылались корабли за сокровищами.²⁹

Кроме того, критики считают, что в щербатовском «Путешествии» заметно влияние немецкого анонимного сочинения, опубликованного в конце XVII века, — «Офирское государство, или Курьезное описание и прежде многими искомого, но не найденного королевства Офирского...» (1699).³⁰ Действительно, не исключено, что начитанный Щербатов знал это произведение. Что же касается общей тенденции, то «Офирское государство» обнаруживает общность с типом идеального государства, какое мы находим в протестантской утопии Ю. А. Андрэ «*Republicae Christianopolitanae Descriptio*» (1619). Андрэ среди прочего ходатайствует за цензуру и государственный контроль за частной жизнью граждан.³¹ Что отличает «Офирское

государство» от других литературных произведений, так это подробнейшее описание почти всех аспектов общественной жизни. «„Офирское государство“ — это утопия хорошо организованного государства, благоденствующего под патриархальным управлением, что было характерно для государственного идеала XVII и XVIII веков. Мудрый, добрый и в то же время энергичный и прозорливый государь самодержавно создает государство справедливости, добродетели и трудолюбия при старательном содействии усердных и исполнительных служащих, при любви и восхищении народа».³²

С другой стороны, на «Путешествие» оказало влияние масонство, к которому, подобно многим сановникам того времени, принадлежал Щербатов. Масонское воздействие особенно явно чувствуется в офирской религии. Здесь Щербатов определенно впадает в противоречие с самим собой: он снова осуждает рационализм Екатерины II в деле религии, однако религия, которую он сам предписывает офирианцам, есть чисто рационалистический деизм. Секуляризацию религии Щербатов ведет столь далеко, что заставляет полицейских служащих выступать в качестве священников. Рационалистическим культом Высшего Существа специфическое масонское влияние не исчерпывается. Сам храм напоминает масонскую ложу: «Он (храм) был построен из дикаго камня, имея в середине яко окружение столбами в два ряда поставленными, на коих утверждались куполы. По середине, на возвышенном месте и на богатом пьедестале, стояло солнце, или лучше сказать круг, имея середку серебряную, лучи же золотые. На серебряном кругу голубую финифтью была изображена цифирная литера, знаменующая одинакость, а кругом круга надпись: превечный, всемогущий, всеведящий, правосудный, всеустрояй, всемилюй, везде присутствующий». Священник «в длинном белом платье, имеющий род нагрудника, на коем находилось выкованное такое же солнце, какое я выше описал; на голове у него была повязка голубаго цвету, на коей были вышиты слова, о коих после узнал, что были самые те же, именованые совершенств Божиих, о коих выше упомянул, что находились на поставленном на пьедестале солнце» (Стлб. 799). Солнце заменяет здесь звезду в ложе; офирский священник носит, подобно магистру ложи, фартук (передник, или запон). Жертвоприношение не производится, потому что для Высшего Существа лучшая жертва — это чистое сердце (Стлб. 804). Фартук, или кожаный передник, масоны носят как знак своего братства. Щербатов добавляет, что кожаный фартук был голубым — цвет передника магистра, — в то время как передник ученика белый — символ невинности.³³ Влияние масонства обнаруживается и в следующих пунктах: обучение в Офире обязательное и бесплатное; не существует отдельного класса или касты священнослужителей, «миряне» за богослужение денег не получают (это рассматривается как честь); таинства причастия нет, молитвы короткие, и их немного; наконец,

в каждой главе «Путешествия» читатель находит мотив повреждения нравов или восстановления нравственности и обуздания страстей — центральную тему социального мышления масонства.

Однако нам кажется, что всего этого недостаточно, чтобы назвать щербатовское «Путешествие в землю Офирскую» действительно масонской утопией, как его охарактеризовал Вернадский.³⁴ «История русской литературы» (1947) также относит «Путешествие» к масонским сочинениям.³⁵ С. Л. Бер называет Офир «идеальной масонской страной»: «Утопические романы М. М. Щербатова „Путешествие в землю Офирскую“ (1784) и В. А. Левшина „Новейшее путешествие“ (1784) относятся к произведениям русской литературы, сосредоточивающимся более на самой идеальной масонской стране, нежели на герое (персонаже), к ней стремящемся. Масонская природа щербатовского сочинения отразилась уже в его названии: в Офире находились золотые копи царя Соломона, что могло иметь для масонов метафорический смысл (золото — учение Соломона)».³⁶

Во-первых, в щербатовском описании отсутствует характерный для масонских романов элемент аллегорического путешествия. В этих романах «путешествие героя служит только воплощению страстей „внутреннего“ человека, и весь рассказ существует лишь для того, чтобы через систему образов выразить внутренние переживания человека».³⁷ Во-вторых, сама атмосфера щербатовского Офира не имеет

аналогий в других русских масонских литературных произведениях. Как резкая противоположность сентиментальному пацифизму в «Новейшем путешествии» В. Левшина («Собеседник любителей российского слова», 1784), очевидной масонской утопии, стоит до зубов вооруженный щербатовский Офир; безмятежная тишина пасторальной идиллии нарушается в Офире вездесущей системой военного и бюрократического угнетения. Мирная и гармоничная жизнь в Офире окончательно омрачается чрезвычайно педантичной регламентацией личной жизни офирского гражданина (подданного): «Все сие так расчислено, что каждому положены правила, как ему жить, какое носить платье, сколько иметь пространный дом, сколько иметь служителей, по сколько блюд на столе, какие напитки, даже содержание скота, дров и освещения положено в цену; дается посуда из казны по чинам: единым жестяная, другим глиняная, а первоклассным серебряная, и определенное число денег на поправку, и посему каждый должен жить как ему предписано» (Стлб. 859).

Итак, щербатовский общественный идеал был консервативен и, собственно говоря, исторически реакционен. Но «Путешествие» Щербатова, как мы старались показать, имеет более важное значение, чем просто исторический документ, отражающий взгляды определенной части русского дворянства. Поэтому безответственно утверждать, что «Путешествие в землю Офирскую» — это своего рода предвосхищение 1984 года — «заслужило забвение потомков».³⁸

¹ Щербатов М. 1) История Российская от древнейших времен... СПб., 1770—1791. Т. I—VII; 2-е изд. — СПб., 1794, 1805, 1817. Т. I—III; 2) Краткая повесть о бывших в России самозванцах. СПб. 1774; 2-е изд. — СПб., 1782; 3-е изд. — СПб., 1793; 3) Краткое историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих от великого князя Рюрика. М., 1785; 4) Журнал, или Поденная записка... Петра Великого. СПб., 1770—1772; 5) Тетради записные... Петра Великого: 1704—1706. СПб., 1774; 6) Житие и славные дела Петра Великого. СПб., 1774.

² См.: Prince M. M. Shcherbatov. On the Corruption of Morals in Russia / Edited and translated with an introduction and notes by A. Lentini. Cambridge: University Press, 1969; Плеханов Г. В. Сочинения. М.; Л., 1925. Т. XXII. Гл. X; Dukes Paul. Catherine the Great and the Russian Nobility. A study based on the materials of the legislative commission of 1767. Cambridge, 1967; Coquin François-Xavier. La grande Commission législative (1767—1768). Les cahiers de doléances urbains (Province de Moscou). Paris; Louvain, 1972; Donnerert Erich. Politische Ideologie der russischen Gesellschaft zu Beginn der Regierungszeit Katharinas II. Berlin: Akademie-Verlag, 1976; История русской

экономической мысли. М., 1955. Т. I: Эпоха феодализма. Часть первая: IX—XVIII вв.; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. I; Пыпин А. Н. История русской литературы. СПб., 1913. Т. IV; Utechin S. V. Geschichte der politischen Ideen in Russland. Stuttgart, 1966.

³ «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева / С предисл. Искандера. London, 1858. Факсимильное изд. — М., 1983. (Под ред. М. В. Нечкиной и Е. Л. Рудницкого; вступ. статья и комментарии Н. Я. Эйдельмана).

⁴ Сочинения князя М. М. Щербатова. СПб.: Изд. князя Б. С. Щербатова, 1896—1898. Т. 1: Политическая сочинения / Под ред. И. П. Хрушова. 1896; Т. 2: Статьи историко-политическая и философская / Под ред. И. П. Хрушова и А. Г. Воронова. 1898. См. также: Князь М. М. Щербатов. Неизданные сочинения / Под ред. П. Г. Любомирова. М.: Соцэкгиз, 1935.

⁵ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 276.

⁶ См.: Берков П. Н. «Умной разговор» М. М. Щербатова: (Из истории русской политической сатиры конца XVIII века) // Русская литература. 1966. № 3. С. 79—81; Рустам-

Заде Э. П. 1) «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатова // Язык и литература. Баку, 1967. Вып. 4. С. 43—54. (Учен. зап. Азербайджанск. пед. ин-та языков); 2) «Разговор между двух друзей о любви к отечеству»: (Неизданное произведение М. М. Щербатова) // Учен. зап. ЛГУ. Русская литература. 1968. Вып. 72. С. 199—207; 3) «Умной разговор» М. М. Щербатова в свете его социально-политических взглядов // Русская литература. 1966. № 3. С. 76—79; Серман И. З. От социально-политических утопий XVIII века к идеям социализма в начале XIX века // Идея социализма в русской классической литературе. Л., 1969. С. 70—71; Федосов И. А. Из истории русской общественной мысли XVIII столетия: М. М. Щербатов. М., 1967.

⁷ Сочинения князя М. М. Щербатова. СПб., 1896. Т. 1. Стлб. 750. Далее ссылки на этот том даются в тексте.

⁸ Чечулин Н. Русский социальный роман XVIII века: («Путешествие в землю Офирскую г. С. шведского дворянина» — сочинение князя М. М. Щербатова) // ЖМНП. 1900. Ч. CCCXXVII. Январь. С. 122—123.

⁹ См.: Prince M. M. *Shcherbatov*. On the Corruption of Morals in Russia. P. 252.

¹⁰ В языке большинства просветителей XVIII века делается существенное различие между словами «Untertan» (подданный) и «Bürger» (гражданин). «Bürger» был homo politicus, который знал о своих правах и обязанностях. См.: Алексеев А. А. История слова гражданин в XVIII веке // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. XXXI. Вып. 1. С. 67—73.

¹¹ Чечулин Н. Указ. соч. С. 160.

¹² Там же. С. 161.

¹³ Lortholary Albert. Les «Philosophes» du XVIII-e siècle et la Russie: (Le mirage russe en France au XVIII-e siècle). Paris, 1948; Grasshoff Helmut. Russische Literatur in Deutschland im Zeitalter der Aufklärung. Die Propagierung russischer Literatur im 18. Jahrhundert durch deutsche Schriftsteller und Publizisten. Berlin: Akademie-Verlag, 1973.

¹⁴ Мякотин В. А. Дворянский публицист Екатерининской эпохи: (Князь М. М. Щербатов) // Из истории русского общества. СПб., 1902. С. 182.

¹⁵ Prince M. M. *Shcherbatov*. On the Corruption of Morals in Russia. P. 75—76.

¹⁶ Кизеветтер А. А. Русская утопия XVIII столетия // Исторические очерки. М., 1912. С. 39.

¹⁷ Там же. С. 48—49.

¹⁸ Там же. С. 50.

¹⁹ Федосов И. А. Указ. соч. С. 249.

²⁰ Там же. С. 252.

²¹ Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 39.

²² Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пгр., 1917. С. 176—177.

²³ Ван Вейнгаарден различает три вида утопий: 1) до Людовика XIV утопист привносил умеренно человеколюбивую мечту, довольствуясь предложением некоторых изменений

в вопросах управления, религии и обучения; 2) в период наивысшего расцвета абсолютизма утопист является революционером, проповедующим тотальный коммунизм и желающим уничтожить как абсолютную монархию, так и католицизм; 3) после Людовика XIV он пропагандирует общественную собственность и возвращение к природе. Появляется протест авторов, которые боятся радикальных писателей и борются с утопистами. См.: *Wijngaarden Nicolaas van*. Les odysées philosophiques en France entre 1616 et 1789. Haarlem, 1932. S. 15. См. также: *Atkinson Geoffrey*. Les relations de voyages du XVII-e siècle et l'évolution des idées: Contributions à l'étude de la formation de l'esprit au XVIII-e siècle. Paris, [1924].

После популярной «Утопии» Томаса Мора (1516) коммунистическая идея стала общим достоянием утопической литературы. Щербатов, знавший, по-видимому, утопию Мора, был, однако, не в восторге от тезиса, утверждавшего лишь одно радикальное средство избавления общества от бедности — отмену частной собственности. Два русских перевода утопии Мора появились уже после того, как Щербатов отложил свою незавершенную рукопись; так что познакомился он с Мором не в русском варианте. Русские издания относятся к 1789 и 1790 годам: Картина всевозможного лучшего управления, или Утопия. Сочинение Томаса Мориса, канцлера аглинского. В двух книгах / Переведена с аглинского на французский г. Руссо, а с французского на русский. СПб., на иждивении И. К. Шнора, 1789; Философа Рафаила Гитлоде странствование в Новом Свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии. Перевод с аглинского языка. Сочинение Томаса Мориса. СПб., на иждивении И. К. Шнора, 1790. См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. М., 1964. Т. 2. № 4340.

²⁴ Ср.: *Donnert Erich*. Politische Ideologie der russischen Gesellschaft zu Beginn der Regierungszeit Katharinas II. Gesellschaftstheorien und Staatslehren in der Ära des aufgeklärten Absolutismus. Berlin: Akademie-Verlag, 1976. S. 108—109.

²⁵ См.: *Volguine V*. Le développement de la pensée sociale en France au XVIII-e siècle. Moscou: Editions du Progrès, 1973. P. 72—91; Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewusstseinsbildung. Leipzig: Verlag Reclam, 1974. S. 324—329.

²⁶ См.: *Святловский В.* Русский утопический роман. Пб., 1922. С. 12.

²⁷ Там же. С. 19.

²⁸ О воздействии утопических произведений на «Путешествие» Щербатова см.: Чечулин Н. Указ. соч. С. 131—138.

²⁹ См.: *Christelijke Encyclopedie*. Kampen, 1960. Bd. V. S. 254—255; *Bijbels Woordenboek*. Roermond-Maaseik, 1954—1957. S. 1269—1270; *Lexikon für Theologie und Kirche*. Freiburg, 1962. Bd. 7. S. 1177—1178.

³⁰ Чечулин Н. Указ. соч. С. 131—138.

³¹ *Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur*. Gent, 1974. Bd. VIII. S. 613.

³² *Der Traum vom besten Staat: Texte aus Utopien von Platon bis Morris* / Herausgegeben von Helmut Swoboda. München: DTV Wissenschaftliche Reihe, 1972. S. 167.

³³ *Dierckx M.* *Vrijmetselarij 1717—1967*. De grote onbekende. Een poging tot inzicht en waardering. Antwerpen; Utrecht: De Nederlandsche Boekhandel, 1972. S. 142—143.

³⁴ *Вернадский Г. В.* Указ. соч. С. 176.

³⁵ История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. IV. Ч. 2. С. 81—84.

³⁶ *Baehr Stephen L.* The masonic component in eighteenth-century Russian literature // *Russian Literature in the Age of Catherine the Great*.

A collection of essays / Ed. by A. G. Gross. Oxford; 1976. P. 138.

³⁷ *Lotman J.* Die Entwicklung des Romans in der russischen Literatur des XVIII Jahrhunderts // *Studien zur Geschichte der russischen Literatur des XVIII Jahrhunderts*. Berlin: Akademie-Verlag, 1963. Bd. I. S. 23.

³⁸ *Wilson Reuel K.* The Literary Travelogue: A comparative study with special relevance to Russian literature from Fonvizin to Pushkin. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. P. 48. Щербатовское «Путешествие» приговорено к забвению и в первом итальянском исследовании русского Просвещения, появившемся в 1976 году: *Boschian Laura Satta.* L'illuminismo e la steppa. Roma: Edizioni Studium, 1976.

Н. С. Никитина

ПЕРВЫЙ РОМАН ТУРГЕНЕВА

Осенью 1852 года, после выхода в свет отдельного издания «Записок охотника», П. В. Анненков писал Тургеневу: «Я решительно жду от Вас романа с полной властью над всеми лицами и над событиями. . . И такой роман Вы напишете непременно, если подумаете, что некому другому написать его, что надобно занять в жизни все то место, которое по росту приходится, что наступает пора зрелости таланта. . . И с таким романом „Записки охотника“ делаются вдвойне замечательными: это книга и это ступень, а без романа они все-таки остаются канатом, на котором когда-то умный и ловкий танцор плясал до поту лица».¹

Анненков первым и в полный голос заговорил о том сокровенном, на что ориентировал Тургенев свои помыслы с самого начала своего творческого пути. С романными героями Пушкина и Лермонтова соотносил он героев своих ранних поэм, повестей и рассказов. Опираясь на художественные прозрения Гоголя, его психологический метод, создавал он в «Бретере», «Трех портретах», «Петушкове», «Гамлете Щигровского уезда», «Дневнике лишнего человека» свои ипостаси онегинско-печоринского типа. Панорама России, представленная в «Записках охотника», не заслонила и не растворила в себе этот тип. Высвечивая его органическое родство с русской жизнью, она высвечивала и предназначенную ему в ней роль.

В «Записках охотника» виделся Анненкову пролог к еще не написанному Тургеневым роману, потому что были в них и подлинно эпическая широта отражения современного быта, и сообщающая ей единство цельность художнического мировоззрения, претворенного в боль-

шом поэтическом таланте. Глубинами своего творческого сознания постигал Тургенев то, что видел Анненков проникающим зрением незаурядного и тонкого критика. «Надобно пойти другой дорогой — надобно найти ее — и раскляняться навсегда с старой манерой. — писал Тургенев в ответном письме Анненкову и, убежденно принимая его мысль о романе, не мог все-таки удержаться от сомнений: — Но вот вопрос: способен ли я к чему-нибудь большому, спокойному! Дадутся ли мне простые, ясные линии. . . Этого я не знаю и не узнаю до тех пор, пока не попробую — но поверьте мне — Вы от меня услышите что-нибудь новое — или ничего не услышите».²

На новую творческую дорогу Тургенев вступал во всеоружии выводов, обретенных им в живом наблюдении и размышлениях над русской действительностью и поверенных изучением исторического прошлого России. Как известно, за публикацию в Москве запрещенного петербургской цензурой письма о смерти Гоголя — а подлинной причиной были «Записки охотника» — он был в апреле 1852 года арестован и после месяца заключения на съезжие сослан в Спаское-Лутовиново, где в течение полутора лет находился на положении изгнанника. Отсюда в июне 1852 года он писал Аксаковым: «Я эту зиму чрезвычайно много занимался русской историей и русскими древностями; прочел Сахарова, Терещенку, Снегирева e tutti quanti. В особенный восторг привел меня Кирша Данилов. — Васьюку Буслаева считаю я эпосом рус-

² *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 77. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте; указываются серия (Соч., Письма), том и страница.

¹ Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 474.

ским. . . я рад, что высидел месяц в части; мне удалось там взглянуть на русского человека со стороны, которая была мне мало знакома до тех пор». И здесь же Тургенев подчеркивал, что это чтение и наблюдения над русской жизнью привели его к выводам, едва ли не противоположным тем, к которым пришел К. С. Аксаков. Через несколько месяцев, в письме к нему от 16 (28) октября 1852 года, Тургенев четко сформулировал то главное, что решительно развело его с К. С. Аксаковым в «воззрении на русскую жизнь и на русское искусство». «Я вижу трагическую судьбу племени, — писал он ему, — великую общественную драму там, где Вы находите успокоение и прибрежище эпоса. . .» (Письма. Т. 2. С. 59—60, 72).

В покорности и смиренности народа коренится трагедия России — к такому выводу приходил Тургенев в повестях «Муму» (1852) и «Постоялый двор» (1853), и этим выводом открывалась трагедийная перспектива его романного творчества. «Это вещь зрелая, обдуманная, спокойно выполненная и потому весьма замечательная, гораздо более замечательная, чем „Муму“, да, по моему мнению, и все прежние Ваши рассказы, — писал Тургеневу Анненков в январе 1853 года, прочтя «Постоялый двор». — Еще ни в одном из них не было столько драмы. . . „Постоялый двор“ есть вещь мастерская, именно по рассказу и развитию драмы. Шаг сделан богатырский, по чистой совести, — и с истинным наслаждением могу сказать Вам, что Вы найдете до картины народного быта весьма широкой. . . „Постоялый двор“ есть шаг того, но „с богом, в дальнюю дорогу“.³ — Многого жду я, смело употребив это местонаименование, от такого шага».⁴

Драма народа — общенациональная драма. И дело не только в том, что сам народ не в состоянии изменить свою судьбу, — да в сущности для Тургенева этот вопрос даже в его далеком будущем разрешении такого заострения не получал никогда. Дело и в том — и для писателя это главное, — что образованное и социально-привилегированное меньшинство нации, ответственное за судьбу народа, не может вынести бремени этой ответственности, ибо оно, единое с ним в своей национальной принадлежности, воплощает в себе как сильные, так и слабые стороны его психологии.

Обратившись в начале 1850-х годов впервые в своем творчестве к роману, Тургенев, очевидно, под этим углом зрения осмыслил писательский опыт своих великих предшественников — Гоголя и Пушкина. «Для нас он был более чем только писатель: он раскрыл нам нас самих», — писал Тургенев о Гоголе и в этом видел его историческое значение для России (Письма. Т. 2. С. 47, 394). Смерть Гоголя для него «страшная

смерть», «историческое событие», «тяжелая, грозная тайна». Находясь еще под непосредственным впечатлением от этой смерти, он в марте 1852 года писал И. С. Аксакову: «Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам — ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа — и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер, потому что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления „Мертвых душ“ . . .» (Там же. С. 49—50).

Трагедия Гоголя представляется Тургеневу трагедией художника, пытавшегося совместить свои идеалы с далекой от них русской действительностью и не пережившего фальши и лжи своего последнего творения. И в этом убеждает его знакомство со вторым томом «Мертвых душ». «Довелось мне слышать отрывки из первых двух глав продолжения „Мертвых душ“, — писал он 2 (14) апреля 1853 года Анненкову, — вещь удивительная, громадная — но что такое фантастический наставник Тентетникова — Александр Петрович, что за лицо — и какое его значение? Не нравится мне также Улинька: ложью — (виноват!) ложью несет от нее — тою особенно неприятной ложью, которая с какой-то небрежной естественностью становится перед Вами в виде самой настоящей истины — я имел случай изучить ее в лице А. О. Смирновой, с которой Улинька, вероятно, списана. Не могу я также переварить Селифана, выдавшего во сне, что он кружится в хороводе с прекрасными крестьянками — и не перевариваю я его не вследствие *направления*⁵ — а так — не верится мне что-то» (Там же. С. 141—142). И хотя здесь же Тургенев соглашается с Анненковым в его высокой оценке второго тома

⁵ Эту оговорку о направлении Тургенев сделал в связи с возникшим в его переписке с Анненковым в начале 1853 года спором, в котором Анненков выступил решительным противником какого бы то ни было направления в литературе, считая, что оно, уже как таковое, ограничивает возможности художника. «Да как же быть без направления? — писал Анненков Тургеневу в марте 1853 года. — Ведь оно дает и теплоту, и смысл сочинению, и участие автора к своим лицам, и наконец, нравственное знание. . . С объективностью одной этого не сделаешь! Это правда, да всего этого лучше мужественный писатель, который теплоту, и значение, и смысл видит везде. — К черту направления! Правда, что ли?» (Переписки И. С. Тургенева. Т. 1. С. 488). Тургенев, однако, возразил критику в ответном письме. Как и Анненков положительно отнесся к новой комедии А. Н. Островского «Не в свои сани не садись», Тургенев, между прочим, писал по ее поводу: «. . . но ведь и здесь отразилось то „направление“, против которого Вы так справедливо возражаете, или, говоря точнее — то стремление к *направлению*» (Письма. Т. 2. С. 138).

³ Анненков цитирует начало «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» из «Песен западных славян» Пушкина.

⁴ Переписка И. С. Тургенева. Т. 1. С. 480, 482.

«Мертвых душ»,⁶ он тем не менее по существу в основании разрушает ее в своих последующих письмах.

Так, осенью 1853 года Тургенев снова обращается к роковому творению Гоголя и снова в письме к Анненкову делится теперь уже отстоявшимися и проверенными впечатлениями и мыслями, сосредоточенными на постижении писательской судьбы Гоголя и утверждении своей собственной позиции в литературе. «Довелось мне перечитать 1-ую, 2-ую, 3-ью и 5-ую главы „Мертвых душ“ (второго тома). 3-я глава (где Петух, Кошкарёв и Костанжогло) — вещь удивительная — совершенство. Что за гениальная карикатура, что за водопад здоровой веселости — этот Петух! Но 5-ая глава с невыносимым Муразовым — меня более нежели озадачила — она меня огорчила. Если все остальное было так написано — уж не вследствие ли возмущившегося художнического чувства сжег Гоголь свой роман? А должно полагать, что этой *Смирновицны* (мне при чтении беспрестанно мерещилась Ал(ександра) Ос(иповна)) было напущено вдоволь. Боже мой! Боже мой! За что же так губить и ломать, и коверкать себя?» (Письма. Т. 2. С. 184).

Гоголь лишь отчасти смог осуществить грандиозно задуманное им эпическое творение и погиб под гнетом задачи, для разрешения которой слишком недостаточно было одной мощи его художнического таланта. И трагедия Пушкина, по мысли Тургенева, также заключалась в том, что ему силою внешних обстоятельств не удалось реализовать вполне эпических возможностей своего гения. «Я убежден, — писал Тургеневу Анненков в мае 1853 года, — что и в наше время можно сделать эпопею, что она возможна, но для нее уж надобно непременно историческое созерцание — верное и поэтическое. К такой эпопее способен был Пушкин перед смертью, и можно с убеждением, судя по многим вещам, сказать, что он бы ее сделал». Тургенев же в ответном письме, соглашаясь с ним, замечал: «Пушкин одним созданием лица Троекурова в „Дубровском“ показал, какие в нем были эпические силы» (Там же. С. 494, 150).

Эти оценки Гоголя и Пушкина, раскрывавшие высшие эпические возможности их талантов, имели для Тургенева несравненно более широкий, нежели только литературный, смысл. Как и Белинский, он был убежден в том, что

«в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед» (Соч. Т. 14. С. 35). Такой эпохой, на десятилетия опередившей историческое развитие России, была для него русская литературная эпоха 40-х годов, озаренная поэзией Пушкина, Лермонтова, Гоголя, неотделимая от личности Станкевича и деятельности Белинского. Именно тогда русская литература полноправно входила в семью европейских литератур, и Тургенев, уже в 40-е годы подолгу живя в Европе, воочию убеждался в этом. «Но только тогда, когда творческою силою избранников народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии — он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное место в истории», — утверждал Тургенев в речи на открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 году (Там же. Т. 15. С. 66), и в этой своей мысли он очевидно перекликался с Гете, который в автобиографической книге «Поэзия и правда», хорошо известной Тургеневу, писал: «... каждая нация, посягающая на всемирно-историческое значение, должна иметь свою эпопею».⁷

И хотя наброски, сохранившиеся от его первого романа, не позволяли с уверенностью говорить о том, что Тургенев ориентировал его на эпопею, тем не менее и само его название — «Два поколения», — и задуманная трехчастная композиция, и размеры написанной и не дошедшей до нас первой части — около 500 страниц, — и отзывы о ней тех, кто ее прочел, дают основания для такого предположения. «Первая часть, как приступ к роману, очень интересна и возбуждает много мыслей и ожиданий», — писал Тургеневу в августе 1853 года С. Т. Аксаков,⁸ а она, эта часть, своим объемом превосходила «Новь» — его последний и самый большой роман.

«... Повествование тянется все биографически, обстоятельно, добросовестно, трудолюбиво и рутинно, и только изредка прерывают эту монотонность небольшие и всегда грациозные картины природы», — писал в июне 1853 года Тургеневу В. П. Боткин,⁹ с которым по существу совпали в своих суждениях о романе все те, кто прочел его летом 1853 года: Анненков, С. Т. Аксаков и, по-видимому, Н. Х. Кетчер (о его не дошедшем до нас письме к Тургеневу сохранились свидетельства самого писателя). В романе, отмечал Аксаков, «много подробностей», из которых «многие обличают претензию на живопись подробностей, на полноту представлений».¹⁰ «Вы слишком усердно принялись за роман, — писал Тургеневу Анненков, — присели добросо-

⁷ Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 3. С. 236.

⁸ Русское обозрение. 1894. № 10. С. 482.

⁹ В. П. Боткин и И. С. Тургенев: Незданная переписка: 1851—1869. М.; Л., 1930. С. 42—43.

¹⁰ Русское обозрение. 1894. № 10. С. 483.

⁶ Еще в феврале 1853 года Анненков делился с Тургеневым своими впечатлениями от этого «посмертного русского романа». «Довольно сказать, — писал он, — что первая часть „Мертвых душ“ кажется перед ним незрелым произведением... Вот что сделала сосредоточенная мысль художника. Как природа, так и характеры уже не описываются, а выставляются весьма скудными чертами, но жизненными в такой степени, что глаза прожигают... это колокол Ивана Великого, заглушающий все наши почтовые колокольчики» (Письма. Т. 2. С. 476, 482).

вестно за него, и прилежание повредило тут. Я вижу даже места, где долго поработали Вы, и они вышли места растянутые. . . Как пристязная хорошей крови, Вы вытянули постромки с первой версты».¹¹

Эти отзывы, а они в цитированных выше письмах носят развернутый и аргументированный текстом романа характер, ценны как отражение эпической манеры, родившейся у Тургенева на его пути к крупной жанровой форме. Ибо, как ни решительно отвергнул ее писатель, ее опыт несомненно претворился в его последующем творчестве: обнаружив свою несовместимость с талантом Тургенева, она тем самым оттенила и определяющие для него черты, наиболее полно раскрывшиеся в образно-поэтическом лаконизме тургеневского романного стиля.

Сохранившиеся список действующих лиц и конспект «Двух поколений» говорят о том, что Тургенев предполагал дать здесь широкое отражение русского помещичье-крепостного быта. Однако уже в этом своем первом романе писатель выдвигал на первый план социально-психологическую проблематику, и в конечном счете именно ее недостаточная разработанность предредила судьбу этого произведения.¹² Вместе с тем едва ли правомочно считать, что замысел «Двух поколений» был лишен подлинной романной масштабности.¹³ Упомянутые выше подготовительные материалы к роману и опубликованный впоследствии самим писателем отрывок из него под названием «Собственная господская контора» не согласуются с этой точкой зрения.

В перечне действующих лиц романа помечено двадцать четыре персонажа, что уже само по себе свидетельствует о многоплановости, а значит, и о масштабности замысла «Двух поколений». Для сравнения напомним, что в списке действующих лиц «Накануне» указано всего лишь десять имен, «Отцов и детей» — четырнадцать, «Нови» — тоже четырнадцать. Отнесенное к середине 1840-х годов действие романа (начало его Тургенев обозначил датой 12 июня 1845 года) разворачивалось в имении богатой пятидесятидвулетней помещицы вдовы Глафиры Ивановны Гагиной. Основной конфликт романа — конфликт поколений — был сосредоточен в отношениях Гагиной с двадцатилетним сыном Дмитрием Петровичем. Завязкой действия и началом развития этого конфликта становится появление в доме Гагиной ее компаньонки, двадцатичетырехлетней Елизаветы Михайловны Богдановой, в которую влюбляются и Дмитрий Петрович, и управляющий имением Гагиной двоюродный брат ее мужа Василий Васильевич Гагин, и небогатый помещик Платон Егорыч Чермак, сосед Гагиных. Эта разветвленная любовно-психологическая

коллизия имеет в романе глубокую социальную подоплеку, предопределяющую драматизм и масштабность отраженных в нем ситуации и судеб героев.

Как неизменно впоследствии, и здесь, в этом первом романе Тургенева, судя по сохранившемуся конспекту, любовь выступала своего рода пробным камнем заложенного в человеке нравственного потенциала. И ни один из упомянутых выше трех героев романа не выдерживает этой проверки любовью. Безволен и жалок Василий Васильевич, искренне, глубоко и как будто бы безответно любящий Елизавету Михайловну; слабохарактерен и подчас груб Дмитрий Петрович, не способный ни оградить, ни тем более защитить героиню от наветов и оскорблений Чермака, который едва ли где-либо еще мог найти столь благоприятную среду для своей деятельности, какую находит он в доме Гагиной, где в его интриги оказываются втянутыми и она сама, и ее приживальщики, и ее соседи, и ее слуги.

Разоблачен Чермак, и в конце романа умирает оставленная сыном Гагина. Однако эти события не могут внести радикальных перемен в жизнь, отраженную в романе, ибо она от начала до конца пропитана и разъедена ядом крепостнических отношений. Этими отношениями порождены характеры героев и самый конфликт романа, конфликт двух поколений, который должен был проявиться во всей своей непримиримости в финале. «Великие приготовления к битве» — такими словами предварял Тургенев в конспекте романа решающее объяснение Гагиной с сыном (Соч. Т. 6. С. 387). Но ни ему, ни ей не суждено победить в этой битве. Такова правда жизни — та правда, которая подвигла Гоголя на создание первого тома «Мертвых душ» и которая, вероятно, — так, во всяком случае, полагал Тургенев — заставила его уничтожить второй.

Через полтора десятилетия после того, как был оставлен недописанным его первый роман, Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях», говоря о своей юности, своем первом «уходе на Запад» в конце 1830-х годов и «аннибаловской клятве», данной им себе тогда, писал: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. . . Мне необходимо было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примириться. . .» (Там же. Т. 14. С. 9). Тургенев писал так в непосредственной связи с «Записками охотника», но тот многообъемлющий смысл, который открыл он для себя в крепостном праве еще до того, как стал писателем, имеет прямое отношение едва ли не ко всему созданному им и до, и после них.

Олицетворением крепостнических устоев русской жизни был задуман писателем в «Двух поколениях» образ Гагиной, соотносимый им.

¹¹ Переписка И. С. Тургенева. Т. 1. С. 497.

¹² Подробнее об этом см. в комментарии Л. Н. Назаровой (Соч. Т. 6. С. 602).

¹³ Там же. С. 605.

возможно, с пушкинским Троекуровым, о котором он вспоминал в пору работы над романом в одном из цитированных выше писем к Анненкову. Уже в кратких характеристиках, сопровождающих имена в перечне главных действующих лиц, отчетливо обозначена тенденция широко и разносторонне исследовать и представить в романе так называемый тип «лишнего» человека, за которым сам Тургенев уже к тому времени прочно закрепил это родовое определение в повести «Дневник лишнего человека» (1850) и который разрабатывал он с первых шагов своего творчества, опираясь на пушкинский и лермонтовский, но и на гоголевский сатирический опыт.

Галерея этих «лишних» людей, долженствовавших занять каждый свое место на страницах первого тургеневского романа, в количественном отношении столь представительна, что по этому признаку может быть сравнима, пожалуй, с гоголевской галереей крепостников-помещиков в «Мертвых душах». Такое сравнение выглядит тем более правомерным, что «лишние» люди, герои «Двух поколений», насколько можно заключить это, основываясь на анализе подготовительных материалов к роману и отрывка из него, были лишены того поэтического ореола благородного самоотвержения, которым окружал впоследствии Тургенев главных героев «Рудина», «Дворянского гнезда» или «Фауста». Этот вывод, хотя и в разной мере, применим и к сыну Гагиной, имя которого сопровождено в перечне действующих лиц пометой «поруки в отставке», и к Чермаку, охарактеризованному здесь как «отставной надворный советник, небогатый помещик», и к Василию Васильевичу Гагину, более развернутая, нежели всех прочих героев, аттестация которого в перечне начинается словами «отставной штаб-ротмистр», и к «неслужащему дворянину» двадцатилетнему Нилушке, товарищу Дмитрия Петровича, и к небогатому соседу Гагиных Стыжину, определенному Тургеневым кратко, но выразительно — «паразит». В этот воистину гоголевский сонм персонажей органично вписываются уже самим звучанием своих имен генеральша-нахлебница в доме Гагиной Халабанская, приятель Чермака Моржак-Лендреховский, управляющий Кинтилиан, дворецкий Метр-Жан Свергибус, дворовая девушка Пуфка, дворовый мальчик Суслик. Слуги и дворовые занимают в перечне заметное место, и, вероятно, Тургенев отводил им не последние и значимые роли в своем романе, что можно предполагать, исходя из порядковых мест их имен в этом общем списке действующих лиц и авторских помет об их возрасте и положении в доме Гагиной. Как участники развивающегося сюжета, они ошутимо присутствуют и в концепте романа, и в сохранившемся отрывке из него.

В творчестве Гоголя и в самой его судьбе выдвинулся Тургеневу отражение русской общественной трагедии, которую воплощал он в своем первом романе, где крепостничество должно было предстать во всем могуществе заключенной в нем власти, подавляющей всякое — физическое ли, духовное — свободное

развитие и превращающей в рабов и крепостных, и крепостников.

Гнетущая и символично-объемная картина, нарисованная писателем в главе «Собственная господская контора» — единственным дошедшем до нас отрывке из романа, который Тургенев опубликовал уже в 1859 году, окончательно отказавшись от намерения когда-либо закончить и напечатать это произведение целиком. Несмотря на свою краткость, глава эта впечатляет идейной определенностью и бескомпромиссностью. Глафире Ивановне Гагиной — а именно в ее «собственной господской конторе» происходит действие отрывка и она является его центром — не откажешь ни в уме, ни в образованности, ни в здравом смысле. Свое хозяйство она стремится вести на западный лад, предполагая «из дворовых сделать колонистов», завести фабрики, улучшить породы скота (см.: Соч. Т. 6. С. 10—11), и главное препятствие на пути ко всему этому видит в нераднвости своего управляющего и слуг. Властная и деятельная, Глафира Ивановна бессильна в своих начинаниях, хотя всё и вся трепещет вокруг нее. Но покорность и страх — плохие помощники там, где нужны участие и инициатива. А европейски образованная помещица не уступит в жестокости Пеночкину из «Бурмистра», верша скорый и беспощадный суд в своих владениях.

Как следует из конспекта романа, этот отрывок с описанием происходящего в конторе Гагиной должен был войти в одну из двух первых глав «Двух поколений» и таким образом стать частью экспозиции, предвещающей развитие собственно романного действия. За исключением Глафиры Ивановны, в отрывке лишь упомянуты, да и то не все, те герои, которые, согласно авторскому замыслу, были средоточием драматического сюжета романа. Однако отрывок характеризуется неуклонным нагнетением грядущей драмы, хотя еще далеко не ясно, как зазвучат впоследствии и зазвучат ли вообще некоторые уже здесь намеченные ее мотивы. Так, по свидетельству конспекта, своего рода воплощением трагического сарказма была задумана Тургеневым судьба появившегося в «Собственной господской конторе» секретаря Гагиной Левона Иванова («молодой, белокурый человек, с томными глазами и чахоточным цветом лица» — Соч. Т. 6. С. 8). Этот дворовый, свободно пишущий по-русски и знающий французский язык, имя которого сама Глафира Ивановна произносила на французский манер, ее же безраздельной властью во второй части романа отдавался в солдаты.

Трудно сказать, был ли отличен и в какой мере печатный текст «Собственной господской конторы» от рукописного, входившего в состав первой части «Двух поколений», прочтя которую Анненков писал Тургеневу, убеждая его «ни под каким видом» не оставлять «дальнейшего развития интриги и замысла»: «Сделайте их цензурнее — и пустите в публичный оборот».¹⁴

¹⁴ Переписка И. С. Тургенева. Т. 1. С. 497.

А незадолго перед этим в другом своем письме к Тургеневу тот же Анненков прямо высказывал сомнения в цензурности образа Гагиной, каким он очерчен в сцене, происходящей в конторе.¹⁵

«Главные мои лица: Чермак, Дмитрий Петрович и Глафира Ивановна, — писал Тургенев в августе 1853 года С. Т. Аксакову в ответ на его отзыв о первой части романа. — В них я, если смогу, постараюсь выразить современный быт, каким он у нас *выродился*» (Письма. Т. 3. С. 178). Дмитрий Петрович, предтеча будущих романых героев Тургенева, вызвал наибольший интерес, но и серьезную неудовлетворенность у всех, кто прочел первую часть «Двух поколений».

Боткин писал Тургеневу, что этот его герой «темен и неопределен». «Мотивы его нравственного состояния, высказанные им, — слабы и бедны. . . — развивал далее свои аргументы Боткин в пользу этой оценки Дмитрия Петровича. — Ожесточенность, которую предполагает он в себе — едва ли могла в какой-нибудь месяц и так внезапно растаять от страсти его к Елиз(авете) Мих(айловне). Если его натуру, поверив словам его, принять за серьезную, а не просто за капризную и пустоватую — то трудно отыскать те причины, которые не дали ему вырваться из-под невыносимой опеки Глаф(иры) Ив(ановны). Правда, что он сам себя называет „слабым, ничтожным и презренным человеком“, но разве от этого он становится интереснее?»¹⁶ С Боткиным совпал во мнении С. Т. Аксаков, который также отметил, что «Дмитрий Петрович как-то очень темен и несимпатичен». «Оба молодые люди, — заключал С. Т. Аксаков, — то есть Елизавета Михайловна и Дмитрий Петрович, особенно последний, не возбуждают участия, и это верный знак, что они очерчены неудачно».¹⁷

Неудачным оказался представитель молодого поколения и К. С. Аксакову, исхивившему, однако, в своей оценке этого образа из представления, что из него «могло бы выйти самое замечательное лицо, на котором бы обозначился весь современный общественный вопрос».¹⁸

Смысл и значение этого образа, равно как и характер постигшей Тургенева в нем неудачи, глубже и тоньше других понимал, по-видимому, Анненков, пытавшийся своими рекомендациями помочь автору в поиске путей к доработке романа, и прежде всего образа Дмитрия Петровича. «Не ясен Митя потому, — писал Анненков Тургеневу, — что врывается в роман как будто с затверженной ролью; а если главой о воспитании и первом жите-бытье Вы поясните, почему приведен он был заместить волю капризом, врожденную застенчивость — грубым обращением, нравственное чувство — тупым норовом и почему фактически не может иметь он уважения

к себе, понятия о достоинстве и прямоты, естественности действия, то он будет ясен. В отношении его Вы начали с конца, вместо того чтобы начать с начала, и поторопились сказать результат — это ошибка. Вы ее исправите».¹⁹ Анненков по существу всецело принял образ главного героя первого тургеневского романа и лишь требовал от писателя некоторых пояснений в обоснование его психологической правды и убедительности.

Зафиксированные и сохраненные конспектом черты этого образа очевидно соотносятся с чертами героев как предшествовавших ему в творчестве Тургенева, так и последовавших за ним. Вероятно, потому-то и смог писатель уже в «Рудине», своем первом увидевшем свет романе, представить порожденный живой русской действительностью остроосовременный, но и с тем вместе обобщенно-масштабный тип героя, что шел к нему через неудавшийся, но многому научивший опыт «Двух поколений». Именно это незаконченное произведение должно было стать первым социально-психологическим романом Тургенева. На подчеркивании социальной обусловленности психологии главного героя романа настаивал Анненков в цитированном выше письме. А между тем речь в нем шла лишь о первой части романа, где Дмитрий Петрович еще не мог ни вполне проявить себя, ни осознать неизбежности назревавшей семейной драмы, ни тем более постичь ее прорастающий из глубин социальных отношений характер. Все это должно было случиться в двух последующих частях романа. Излагая в конспекте содержание его предпоследней главы, в которой Гагина остается одна, покинутая всеми, в своем имении, Тургенев в уста уезжающего из родного дома Дмитрия Петровича вложил короткую, но много говорящую фразу: «Эти вот, указывая на крепостных, — не могут. . .» (Соч. Т. 6. С. 388). В соответствии с этой строкой конспекта в конце романа должна была, по-видимому, развернуться одна из наиболее идейно впечатляющих и значимых сцен, в которой акцент с семейной драмы переносился на ее всеохватывающую первопричину — крепостнические социальные отношения. И ответственная роль в этом принадлежала главному герою, его прозрению и протесту.

Однако скитальческий путь Дмитрия Рудина, приведший его к гибели на одной из парижских баррикад 1848 года, еще не должен был стать путем Дмитрия Гагина, который после смерти матери в конце романа вместе со своим дядей Василием Васильевичем Гагиным возвращался к себе в имение (см. там же), предвосхищая, быть может, судьбу другого романного героя Тургенева — Федора Лаврецкого. Детальная психологическая разработка образа главного героя «Двух поколений», вероятно, не однажды скажется в более позднем и позднейшем творчестве писателя, и, в частности, едва ли не со всей очевидностью она дала о себе знать

¹⁵ Русское обозрение. 1894. № 10. С. 491.

¹⁶ В. П. Боткин и И. С. Тургенев: Неизданная переписка. С. 40—41.

¹⁷ Русское обозрение. 1894. № 10. С. 482—483.

¹⁸ Там же. С. 486.

¹⁹ Переписка И. С. Тургенева. Т. 1. С. 496.

в повести «Ася» (1858). Героиня этой повести и ее брат носят фамилию Гагиных, но истинно «фамильное» сходство с Дмитрием Гагиным демонстрируют не они, а господин Н. Н., когда в сцене своего последнего свидания с Асей он, как и его предшественник из «Двух поколений», по-видимому, в аналогичной ситуации, замещает, говоря процитированными выше словами Анненкова, «нравственное чувство — тупым норовом», пытаясь за грубостью скрыть слабость и нерешительность своего характера.

Небезынтересно в этой связи отметить, что именно Анненков в споре с Некрасовым настаивал на правомерности такого поведения героя «Аси».²⁰ Чернышевский же «грустное достоинство» этой повести как раз и видел в том, «что характер героя верен нашему обществу».²¹

После прочтения первой части «Двух поколений» С. Т. Аксакову показалось, что главная роль в романе предназначена Тургеневым героине — компаньонке Гагиной Елизавете Михайловне Богдановой.²² И хотя писатель в ответном, цитированном выше письме к Аксакову опровергал это, тем не менее, как свидетельствуют конспект романа и отзывы о его первой части Боткина и Анненкова, Аксаков был едва ли не прав. Елизавета Михайловна должна была стать главной героиней задуманной Тургеневым еще в начале 1850 года комедии «Компаньонка», замысел которой растворился в замысле «Двух поколений».²³ Переключившись вместе с другими действующими лицами из ненаписанной комедии в начатый роман, героиня и здесь не оказалась оттесненной на периферийный план. В обозначенном уже в самом заглавии романа конфликте она выступала не единственным, но, по-видимому, все-таки главным воплощением одной из двух его противоборствующих сторон, представляя в романе вместе с Дмитрием Гагиным молодое поколение. К работе над «Компаньонкой» Тургенев приступал сразу после того, как им была закончена комедия «Студент» («Месяц в деревне»), героя которой роднило с героиней будущей комедии уже само социальное происхождение, предопределявшее и сходное положение их обоих в богатых помещичьих имениях. Место действия, как в основном и действующих лиц, а значит, и сюжет оставшейся в замысле комедии, Тургенев сохранил в романе «Два поколения». Таким образом, изначально конфликт поколений имел здесь социальную подоплеку, что в первую очередь и сообщало ему остроту подлинного драматизма.

Ни у кого из тех, кто прочел первую часть «Двух поколений», молодая героиня романа не

вызвала одобрения. Боткин отмечал «неопределенность», «силуэтность» Елизаветы Михайловны, считая, что «участие и любопытство, возбуждаемые ею — очень слабы». «Я понимаю эту нравственную твердость души, которую она решила сохранить в своей жизни, — писал Боткин Тургеневу и подчеркивал: — Но для привлекательности женщины, для героини романа — мало ее одной. Она возбуждает сколько угодно уважения и почтения, но необходимый холод, ее окружающий, невольно холодит к ней и чувство читателя».²⁴

Анненков, не оспаривая психологической обоснованности образа Елизаветы Михайловны, мотивированности ее поведения в доме Гагиных, предлагал Тургеневу выкинуть из романа всю ее биографию и «оставить ее действовать с чертами твердости, с пугливостью к окружающим». Но в то же время Анненков как бы предостерегал Тургенева: «...из желания сделать характер противоположный с характером Мити не надо забывать, что такие натуры, какова героиня, близки к сухой методичности, к отвращению от животной стороны человечества, боятся чиха всякого, и что они способны быть тиранками, будучи вместе страстными, красивыми и даже грациозными персонами».²⁵

К. С. Аксаков писал Тургеневу, что его героиня «принадлежит к поколению, недавно, то есть лет около двадцати, появившемуся, каких-то мужественных женщин», и выражал свое решительное неприятие подобного образа. «Эти мужественные женщины, — писал он, — явились как раз об руку с женственными мужчинами, а каков толк от такого состояния человечества — показывает нам современная история, в особенности Франции».²⁶ «...Это лицо не русское, — вторил ему С. Т. Аксаков, — не в том обширном смысле, что всякая образованная девушка — существо не русское, как и все мы, но в смысле гораздо теснейшем: в Елизавете Михайловне нет русской натуры, которая бывает слышна в человеке, забитом европейским образованием».²⁷

Между тем этот единодушно признанный друзьями Тургенева неудавшимся его первый образ романной героини, судя по тому, как просматривается он в цитированных выше отзывах и конспекте романа, концентрировал в себе многие и характерные черты его будущей героини, создание которых стало одной из его великих заслуг перед русской и мировой литературой. Боткин, по-видимому, ошибался, предполагая, что Елизавета Михайловна полюбит Дмитрия Петровича. «Известно, — писал он Тургеневу, — что женщины с твердым умом и характером любят обыкновенно мужчин недалеких и слабохарактерных».²⁸ Однако Тургенев решал

²⁰ Подробнее об этом см. в комментарии Л. М. Лотман к повести (Соч. Т. 7. С. 423—424).

²¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 5. С. 158.

²² Русское обозрение. 1894. № 10. С. 482.

²³ Подробнее об этом см. в комментарии Ю. Г. Оксмана к наброску действующих лиц комедии «Компаньонка» (Соч. Т. 3. С. 464—467).

²⁴ В. П. Боткин и И. С. Тургенев: Неизданная переписка. С. 40—41.

²⁵ Переписка И. С. Тургенева. Т. 1. С. 496.

²⁶ Русское обозрение. 1894. № 10. С. 486.

²⁷ Там же. С. 482.

²⁸ В. П. Боткин и И. С. Тургенев: Неизданная переписка. С. 41.

иначе. Его гордая и самостоятельная героиня, покинув дом Гагиной, где она пережила унижение, не возвратится туда и после смерти самовластной помещицы: равно отвергнув любовь как Дмитрия Петровича, так и Василия Васильевича Гагиных, она уезжает за границу. И эта остававшаяся в «Двух поколениях» неразрешенной любовная коллизия навсегда осталась таковой в творчестве Тургенева.

Пройдут годы, и писатель уже в других своих произведениях воплотит и то, что казалось недо- воплощенным в его незаконченном романе, и то, что было здесь еще только предвосхищено. И, наверное, не будь этот незадавшийся роман теснейшим образом связан с последующим творчеством Тургенева, его замысел не проступал бы столь конкретно и емко сквозь призму эпистолярных суждений и скупые строки конспекта. Идеи и образы «Двух поколений» очевидно проецируются на идеи и образы повестей и романов Тургенева как близких, так и неблизких к этому произведению по времени своего создания. И если без них было бы трудно реконструировать замысел «Двух поколений», то в свою очередь и в них этот неосуществленный роман- ный замысел проясняет порой едва ли не глав- ное.

Может быть, потому так легко и пережил Тургенев эту, пожалуй, самую крупную в его ли- тературной жизни неудачу, которая не вызвала в нем ни депрессии, ни даже заметного спада творческой энергии, что, откладывая в сторону недописанный роман, он по существу не рас- ставался ни с его героями, ни с родившимися и развившимися в процессе работы над ним мыслями. Расстаться с ними, наверное, значило бы для него тогда не меньше, чем расстаться с литературной деятельностью, — так широко и всецело претворяли они в себе его жизненный и писательский опыт. Потому-то не только в «Двух приятелях», «Затишье» и «Рудине», появившихся вскоре после того, как была остав- лена работа над «Двумя поколениями», нашли свое развитие идеи и образы этого романа, но и в «Фаусте», «Дворянском гнезде», «Накануне», «Отцах и детях», «Дыме», «Степном короле Лире», «Вешних водах», «Нови». И этот внуши- тельный перечень, распространяющийся на все творчество Тургенева, все-таки не будет полным,

если пытаться исчерпать все те переключки, аналогии и прямые связи, которые имеет неза- вершенный роман писателя с его последующими произведениями.

Но в то же время в характеристиках и поступках действующих лиц «Двух поколе- ний» — как отражены они в конспекте романа и отзывах о его первой части — просматри- ваются черты близких Тургеневу людей, да и самый сюжетный конфликт романа был ро- жен событиями, происходившими в семье писа- теля незадолго до смерти матери — несомнен- ного прототипа своевольной и деспотичной Гагиной.²⁹ Вероятно, автобиографическая основа романа и стала главной причиной постигшей Тургенева творческой неудачи. «...Один реализм губителен — правда, как ни сильна, не художество», — говорил он (Пись- ма. Т. 5. С. 159) и, наверное, мог бы в подтверж- дение этих слов сослаться на свой недописанный роман, где остро пережитая и не ставшая еще для него действительно прошлым реальность личной жизни, по-видимому, побеждала в проти- воборстве с необходимой в искусстве правдой художественного вымысла, мешала созданию образов-типов и типических ситуаций.

Тургенев не создал романа-эпопеи. Однако шесть написанных им романов объединены той глубокой органической связью, которая про- ясняет правомерность его изначальных устрем- лений, позволяя говорить об уникальной жанро- вой нерасторжимости его романов, соотноси- мой с высшими достижениями романного эпоса. Сам Тургенев за три года до смерти в издании своих сочинений выделил романы в особый ряд и в специальном предисловии к ним говорил о своем «постоянстве» и «прямолинейности направления», подчеркивая: «Автор „Рудина“, написанного в 1855 году, и автор „Нови“, написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком» (Соч. Т. 12. С. 303).

²⁹ См. об этом: *Житова В. Н.* Воспоминания о семье И. С. Тургенева. Тула, 1961. С. 71—152; *Заборова Р. Б.* Тургенев и его дядя Н. Н. Тургенев // Тургеневский сборник: Мате- риалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л., 1967. Вып. 3. С. 221—234.

Р. Б. Заборова

ОБ АДРЕСАТАХ ТРЕХ СТИХОТВОРЕНИЙ Н. А. НЕКРАСОВА

Имена адресатов стихотворений Некрасова «--ну» («Человек лишь в одиночку. . .»), «К портрету**», («Твои права на славу очень хрупки. . .»), «К портрету***» («Развенчан нами сей кумир. . .») до сих пор остаются «нерасшифрованными». В данной статье делается попытка восполнить этот пробел.

Стихотворение «--ну» было впервые опубликовано К. И. Чуковским в статье «Новонайденные творения Некрасова» (Русское слово. 1913. 11 дек. № 285) по автографу первоначальной редакции.¹ В окончательной редакции, воспроиз-

¹ ИРЛИ. Ф. 203. № 28. Л. 1.

веденной в последнем академическом собрании сочинений поэта, оно выглядит следующим образом:

—НУ

Человек лишь в одиночку
Зол — ошибки не простит,
Мир — «не всяко лыко в строчку»
Спокон веку говорит.
Не умрет в тебе отвага
С ложью, злобой бой вести. . .
Лишь — умышленного шага
По неправому пути
Бойся! . . Гордо поднятая
Вдруг поникнет голова,
Станет речь твоя прямая
Боязлива и мертва.

Сгибнут смелость и решительность,
Овладеет сердцем мнительность,
И покинет, наконец,
Даже вера в снисходительность
Человеческих сердец! . .

1876, декабрь²

В беловом автографе³ «—ну» находится между посланиями «С<алтыко>ву» и «Друзьям». Судя по помете на предыдущем листе возле стихотворения «Приговор» («Мы в своей стране многострадальной. . .»),⁴ оно должно было войти в предназначенный для «Отечественных записок» на 1877 год цикл стихотворений 1874—1877 годов.

В академических изданиях сочинений Некрасова названная помета воспроизводится или как «нерасшифрованная запись на полях: „Посл./Ш/П/С/д—ну/Др.“»,⁵ или как автограф с неразгаданным еще посвящением: «Посв<ящается> Ш., П., С., Д—у., Др;».⁶ Нами она расшифровывается как указание на последовательность стихотворений, идущих вслед за стихотворением «Приговор» (причем букву Ш, на наш взгляд, следует читать как Т): «После (<:) Т<ургеневу>, П<етрову>, С<алтыкову>, Д<олгуши>ну, Др<узиям>». Позднее, в корректуре анализируемого цикла из двенадцати стихотворений⁷, эта последовательность была сохранена,

но стихотворение «Друзьям» заменено обращениями «К портрету***» («Развенчан нами сей кумир. . .»), «Праздному юноше» и «З(и)не» («Ты еще на жизнь имеешь право. . .»). Затем было дано указание метранпажу: «Вставьте сюда же: 1) 2-е Декабря 2) Отрывок. И прилагаемые наберяте»,⁸ т. е. в цикл вводились стихотворения «2-е декабря» («Смолкли честные, доблестно павшие. . .») и «Отрывок» («Я сбросила мертвящие оковы. . .»). Открывало цикл стихотворение «Отъезжающему» («Даже вполголоса мы не певали. . .»), заключало — «Старость». Однако, скорее всего по цензурным причинам, этот цикл так и не был опубликован. В первых двух номерах журнала «Отечественные записки» на 1877 год была помещена другая подборка из двенадцати стихотворений, в которую вошли только «Отрывок», «Приговор» и «Друзьям».

Цикл, дошедший до нас в корректуре, разнообразен по жанровому составу (в него входят страстные монологи, волнующие лирические послания, скорбное поминовение, сатирические выпады), но един по своей основной теме. Некрасов пытается определить исторические перспективы освободительного движения, опираясь на опыт 1850—1870-х годов.

В посланиях к лучшим людям эпохи поэт создает яркие образы борцов за народное дело, руководствуясь их идейными и историческими масштабами, а не конкретными биографическими фактами. Именно поэтому в облике героя стихотворения «Т<ургеневу>» исследователи видят воплощение некоторых черт Добролюбова и Герцена.⁹ Тем же качеством обладает и следующее за посланиями стихотворение «Смолкли честные, доблестно павшие. . .», посвященное разгрому Парижской коммуны. Заглавие «2-е декабря 1852 года (с французского)» напоминало читателю не столько о дне провозглашения Луи Бонапарта императором, сколько о прошлогоднем 18 брюмера, ликвидировавшем завоевания французской революции. Речь шла о новом этапе революционной борьбы французского народа. В рамках цикла это должно было вызвать ассоциации с русской действительностью, с гонениями на революционеров-народников в семидесятые годы; Некрасов переадресовал это стихотворение народникам в ходе «процесса 50-ти». В таком контексте является небезосновательным предположение о том, что стихотворение «ну» также подразумевало революционера-семидесятника, одного из энтузиастов «хождения в народ».

В стихотворении «Как празднуют трусу. . .» Некрасов с горечью отмечал «в жизни крестьянина, ныне свободного, бедность, невежество, мрак», а в стихотворении «Путешественник» (13 июля 1874 года), которое исследователи справедливо связывают с процессом долгушин-

⁸ Цит. по: ИРЛИ. Ф. 134, оп. 11, № 3.

⁹ Скотов Н. Н. А. Некрасов и И. С. Тургенев (К истории создания стихотворения Некрасова «Т<ургеневу>») // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 376—383.

² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Соч.: В 10 т. Л., 1982. Т. 3. С. 186. Дата приводится нами по комментарию на стр. 480.

³ ИРЛИ. Ф. 203. № 28. Л. 1.

⁴ Там же. № 19. Л. 1.

⁵ См., например: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Соч.: В 10 т. Т. 3. С. 483.

⁶ См., например: Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений: В 3 т. М.; Л., 1937. Т. II. Кн. 2. С. 945.

⁷ См.: Краснов Г. В. О неосуществленном замысле Некрасова (Лирический цикл 1874—1877 гг.) // Некрасов и его время. Калининград, 1975. С. 37—40.

цев, сокрушался о том, что «к школе привешен тяжелый замок, нивы посохли, коровы подохли», что распространение агитационной литературы преследуется жандармами:

А заикнулся про школу, про книги —
Прочь побежали. — Помилуй нас бог!

Книг нам не надо — неси их к жандару!
В прошлом году у прохожих людей
Мы их купили по гривне за пару,
А натерпелись на тыщу рублей!

В первоначальной редакции этого стихотворения далее косвенно упоминалось о народнической пропаганде в деревне и расправе за нее.

[Сын мой уехал]
Власа возили на <троецке?> в Питер.
Боек поехал — вернулся молчком.
«Эта ли книга? Да сколько в ней литер?»
Всё приставали... Теперь мы их жжем.¹⁰

Связь стихотворения с процессом долгушинцев особенно явно проступает при сопоставлении скрытых в нем намеков с историческими фактами. Из материалов суда было известно, например, что долгушинец Д. И. Гамов — в 1872—1873 годах учитель школы при Реутовской мануфактуре в Подмосковье — раздавал прокламации рабочим, выходцам из крестьян Московской и Тульской губерний, которых также привлекали к дознанию. Другой долгушинец Ананий Васильев, крестьянин Тверской губернии, вследствие полицейских запугиваний попал в психиатрическую больницу и был принужден сознаться в распространении прокламаций среди крестьян Клинского и Волоколамского уездов Московской губернии. На допросах крестьяне скрыли от властей, что Васильеву удалось раздать 60, а не 10 отобранных у них «книжек».¹¹

Стихотворение «—ну» (в соответствии с приведенной выше пометой: «Д—ну») связано, вероятнее всего, с именем руководителя этого революционного кружка — А. В. Долгушина. Хотя и здесь Некрасов выходит за рамки конкретной биографии.

Александр Васильевич Долгушин родился в 1848 году в г. Тара Омской губернии в семье чиновника. С 1866 года учился в Петербургском технологическом институте. В 1869 году он организовал кружок «сибиряков», имел сношения с С. Г. Нечаевым и в 1871 году привлекался к суду в связи с нечаевским процессом. Члены нового кружка «долгушинцев», состоявшего из 22 человек, вели революционную пропаганду осенью 1872—зимой 1873 года в Петербурге, а с апреля 1873 года в Москве и Подмосковье среди крестьян и рабочих. По словам Н. А. Морозова, они «верили в подготовленность

народа к восстанию, для которого необходимо только бросить искру».¹² В типографии, организованной в д. Сареево Звенигородского уезда, Долгушин, Л. А. Дмоховский, Н. А. Плотников и И. И. Папин печатали прокламации, содержавшие призыв к свержению самодержавия (В. В. Берви-Флеровский «Как должно жить по закону природы и правды», А. В. Долгушин «К интеллигентным людям» и «Русскому народу»). В них провозглашались идеи «свободы, равенства и братства», требования всеобщего передела земли без выкупа, отмены оброков, оказания крестьянам государственной помощи, распространения школ, замены армии народной милицией, создания демократической республики с избираемым народом правительством.

Осенью 1873 года долгушинцы были арестованы по обвинению в распространении нелегальной литературы, призывавшей к восстанию. Суд состоялся 15 июля 1874 года. 5 мая 1875 года приговоренный к 10 годам каторги Долгушин и его главные соратники подверглись обряду гражданской казни на Конной площади в Петербурге. После этого Долгушин был отправлен в Ново-Белгородский централ, в 1880 году переведен в Мценскую пересыльную тюрьму, а затем в Красноярскую тюрьму, где в октябре 1881 года организовал побег политического заключенного В. Малавского, участвовал в волнениях арестантов, и за это был осужден дополнительно на 10 лет. В январе 1882 года был отправлен на Кару, а 31 сентября 1883 года увезен в Петропавловскую крепость за организацию побега с Кары Ип. Мышкина и участие в голодном бунте. С августа 1884 года Долгушин находился в Шлиссельбургской крепости и умер там от чахотки 30 июня 1885 года.

Процесс Долгушина вызвал широкий общественный резонанс. По агентурному донесению из III отделения Александром II, во время разбора дела в Сенате «молодые люди либерального направления были заинтересованы более всего участью Долгушина, которого они считают абсолютно великой личностью, и потому опасались за него приговора в форме вечного заточения, ныне надеются, что человек, раз уже сидевший по Нечаевскому делу на скамье подсудимых и решившийся во имя идеи снова быть на ней, должен обладать и обладает такой энергией, которая не оставит его никогда, и что даже в отдаленной Сибири в кругу каторжников он всецело предается служению своему делу».¹³ Свое сочувствие долгушинцам молодежь выразила во время гражданской казни шумно одоббив призыв Н. А. Плотникова: «Долой царя, долой бояр, князей, долой аристократов, мы все равны, да здравствует свобода!».¹⁴ Этот призыв был повторением лозунга долгушинской прокламации «К интеллигентным людям»:

¹² Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. М., 1965. С. 169.

¹³ Кункль А. Указ. соч. С. 183.

¹⁴ Там же. С. 185.

¹⁰ ИРЛИ. Ф. 203. № 27. Л. 1.

¹¹ Кункль А. Долгушинцы. М., 1932. С. 109—116, 149—151.

Наш лозунг — равенство, свобода,
К оружию, вперед, друзья!
И да погибнет враг народа, —
Царь, и бояре, и князья!¹⁵

Долгушин до конца сохранил верность своим убеждениям и находил отраду в страдании за идею. Он оправдал надежды русских «интеллигентных людей».

Некрасов знал о процессе непосредственно от своих приятелей — адвокатов Е. И. Утина, В. Д. Спасовича, В. П. Гаевского. Поэт, который «со стороны блюстителей порядка... был вечно под судом», глубоко сочувствовал стремлению революционных народников помочь крестьянству и городским социальным низам, но видел, что «хождение в народ», начатое долгушинцами в 1873—1875 годах, не увенчалось успехом. В начале января 1877 года, когда обнажилась несостоятельность этой тактики, был написан помещенный после «—ну» «Отрывок», являющийся откликом на готовящийся «процесс 50-ти».

Таким образом, «—ну» было помещено после стихотворения «С (алтыку)ву», датируемого годом гражданской казни Долгушина, и перед стихотворениями, связанными разными нитями с «процессом 50-ти», как важное промежуточное звено в цепи поэтических воплощений наиболее значительных общественно-политических событий эпохи.

Включая «—ну» в ряд стихотворений о передовых людях, Некрасов отодвинул дальше стихотворение «К портрету***»:

Развенчан нами сей кумир
С его бездейственной, фразистой любовью,
Умны мы стали: верит мир
Лишь доблести, запечатленной кровью...

Здесь, как нам кажется, имеется в виду Николай Алексеевич Милютин (1818—1872), известный либеральный государственный деятель, руководивший подготовкой крестьянской реформы 1861 года, с 1835 года — чиновник Министерства внутренних дел, с 1859 года — товарищ министра внутренних дел и деятельный член Редакционной комиссии по выработке «Положения» об отмене крепостного права. Он был также председателем Комиссии по разработке и проведению Земской реформы 1864 года. Проекты Милютина и его выступления, необыкновенно увлекательные и электризовавшие слушателей, вызывали недовольство в консервативных кругах. Это привело к его отставке в апреле 1861 года. В 1864—1866-м годах Милютин служил статс-секретарем по делам Польши и проводил аграрную реформу в этом крае, осуществлял русификаторскую политику. Был автором и редактором многих статистических и политэкономических трудов; в 50-е годы со-

трудничал в «Современнике». В стихотворении «Кузнец (Памяти Н. А. Милютина)» Некрасов воздал хвалу его противодействию консерваторам. Однако вскоре поэт окончательно разочаровался в реформе. Мирный реформатор также не выдерживал сравнения с людьми «дела», под которым «струится кровь». Под впечатлением от расправы властей с демонстрацией 6 декабря 1876 года, устроенной членами «Земли и воли» на Казанской площади после молебна о Чернышевском и других осужденных за революционную деятельность, поэт писал в наброске около 24 декабря 1876 года:

Не за Якова Ростовцева
Ты молись, не за Милютина
..... ты молись
О всех, в казематах сгноенных,
О солдатах, в полках засеченных,
О повешенных ты помолись.

С язвительным соединением имен Я. И. Ростовцева и Н. А. Милютина в наброске невольно ассоциируется парность несколько ранее написанных саркастических стихотворений «К портрету**» и «К портрету***».

В стихотворении «К портрету**» читаем:

Твои права на славу очень хрупки,
И если вычсть из заслуг
Ошибки юности и поздних лет уступки —
Пиши пропало, милый друг!

Тут, действительно, надо вспомнить, что Яков Иванович Ростовцев (1803—1860), государственный и военный деятель, генерал-адъютант, с 1835 года главный начальник военно-учебных заведений, с 1856 года член Государственного совета, в молодости донес на готовящееся декабрьское восстание, войдя в доверие к Рылееву и Оболенскому как автор романтических стихов и трагедий, а под конец жизни, будучи председателем Редакционной комиссии, устранил разногласия, возникшие среди составителей уложения, спроектированного в конечном итоге в пользу помещиков. Ростовцев восхвалялся либеральными историками как «защитник народного дела» и был почтён правительственной наградой — возложением золотой медали на его гробницу.

Некрасов более объективно оценил его роль. Ростовцев был введен в Секретный комитет для подготовки реформы под председательством царя в 1857 году и сначала увлекся проектом харьковского помещика М. П. Позена, по которому крестьяне превращались во временно обязанных исполнителей повинностей на небольших земельных наделах для выкупа, а потом, с получением одной усадьбы земли, становились, по существу, вольноотпущенными батраками. Говоря о «великой пользе освобождения крестьян», Ростовцев вместе с тем указывал, что это требует «великой осторожности», так как крепостное крестьянство «по самому своему состоянию требует за собою особого надзора

¹⁵ Там же. С. 223.

и попечительства».¹⁶ Позднее под влиянием Н. А. Милютина, предлагавшего наделять крестьян более достаточными участками земли с правом собственности и предоставлением мирского самоуправления при выборности и все-сословности земских учреждений, Ростовцев отошел от Позена. Однако эти умеренные благопожелания умягчались уступками Ростовцева и Милютина «крепостнической партии» — В. Н. Панину, М. Н. Муравьеву, П. П. Гагарину и другим сторонникам безземельного освобождения: за крестьянами оставались повинности до совершения выкупа, сохранялись телесные наказания, начальниками над миром ставились помещики. Со смертью Ростовцева Панин, заменивший его на посту председателя Редакционной комиссии, отнесил Милютина и вскоре после объявления манифеста вовсе отстранил его от дел. После вынужденного трехлетнего перерыва новая работа Милютина по проведению аграрной реформы в Польше с 1866 года была окончательно прекращена.¹⁷ Таким образом, ни Милютин, ни Ростовцев не оказались «устоявшими в борьбе».

Поэт не мог оставаться равнодушным к несправедливому возвеличиванию мнимых друзей народа, с одной стороны, и жестоким преследованиям его истинных защитников, с другой. И понятна ошибка Л. Ф. Пантелеева и других современников Некрасова, увидевших в стихотворении «К портрету***» («Твои права на славу очень хрупки...») намек на Александра II.¹⁸ Современники чувствовали, что речь шла именно о деятеле реформы, а эпиграмма Некрасова на председателя Редакционной комиссии Я. И. Ростовцева рикшетом была и по стоявшему во главе дела «царю-освободителю». 19 февраля 1876 года брат и единомышленник Милютина военный министр Д. А. Милютин, выстояв во дворе «обедню и молебен», отметил в своем дневнике: «19 февраля будет надолго великим днем в памяти народа. Но государь обыкновенно в этот день неохотно принимает поздравления».¹⁹ Своеобразным противопоставлением молебнам по российским церквам в «день освобождения» и панегирикам во славу вершителей «великой реформы», портреты которых неоднократно издавались (портрет Милютина висел в кабинете Некрасова), и был молебен 6 декабря, в «Николин день», молебен о Николае Гавриловиче Чернышевском, который, по словам Некрасова, пришел в мир,

чтобы, как вдохновенный пророк, «рабам земли напомнить о Христе».

Эта противопоставленность и подчеркнута в черновом незаконченном экспромте Некрасова с призывом молиться не за Ростовцева и Милютина, а за потерпевших в многолетней борьбе страдальцев за народ; ранее тема осуждения официального дуумвирата развивалась в эпиграммах к портретам этих популярных деятелей реформы. Некрасовское обличение шло вразрез с официозной точкой зрения, нашедшей отражение в дневнике военного министра, записавшего 6 декабря: «уличная проделка», «бессмысленная демонстрация», «несчастные безумцы», главным образом студенты Медико-хирургической академии, — «орудия закулисных агитаторов», находящихся здесь и за границей; «неизвестно, чего они хотели, во имя чего затеяли этот фарс».²⁰

Близкие по содержанию и стилю эпиграмматические стихотворения «К портрету**» и «К портрету***» были посланы сестрой поэта А. С. Суворину (первое — в копии письма Некрасова к нему от 1 мая 1876 года, второе — в числе добавленных копий стихотворений)²¹ для напечатания в «Новом времени» и появились в этой газете — первое 6 июня 1876 года в цикле «Из записной книжки» (без подписи), а затем оба текста только 1 января 1878 года в «Недельных очерках и картинках» Незнакомца (А. С. Суворина). Поместить оба стихотворения при жизни Некрасова Суворин не решился, видимо остерегаясь сделать скрытые под звездочками намеки слишком прозрачными. При жизни поэта Суворин опубликовал как более приемлемое для цензуры стихотворение, адресованное Ростовцеву, о котором Некрасов писал: «Болен так, что не пишется, да и трудно измыслить что-нибудь цензурное. Вот всего четыре стиха: «К портрету***»: Твои права на славу очень хрупки... <и т. д.> Многим годится, и мне в том числе».²²

Приведенные разыскания выявляют политическую остроту задуманного Некрасовым цикла стихотворений 1874—1877 годов.

В галерее выведенных в цикле современников Долгушин и Милютин (соответственно плану чернового наброска к «Молебну») стояли по отношению к кардинальному вопросу эпохи — борьбе за землю и волю — на противоположных позициях; один представлял собой людей революционного действия, другой — олицетворял мелкотравчатость буржуазного либерализма. И справедливый суд мирской, по Некрасову, сочувствовал первому, прощая ошибки и призывая к стойкости на избранном им правом пути, и безжалостно развенчивал второго — деятеля демагогического толка. В дополнении к галерее горе-триумфаторов в поэме «Совре-

¹⁶ Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 70.

¹⁷ См. также: Богословский М. Яков Иванович Ростовцев; Кизеветтер А. Николай Алексеевич Милютин // Освобождение крестьян. Деятель реформы. М., 1911. С. 200—232, 233—266.

¹⁸ Публикация «К портрету**» под названием «К портрету Александра II» была прекращена после «Заметок о Некрасове» С. А. Рейсера (Звенья. М.; Л., 1935. Т. V. С. 524—531).

¹⁹ Дневник Д. А. Милютина. М., 1949. Т. II. С. 22.

²⁰ Там же. С. 119.

²¹ В копиях *А. А. Буткевич // ИРЛИ. Ф. 203. № 45. Л. 6, 9.

²² Некрасов Н. Стихотворения. СПб., 1879. Т. IV. С. СXXXIV.

менники Некрасов заклеил своими эпиграммами и Ростовцева, и Милютину. Поэт сознательно ставил в своем цикле «К портрету (Н. А. Милютина)» именно вслед за стихотворением «-ну» («Д(олгуши)ну»). Такое чередование подчеркнуло контраст между двумя деятелями. «Мир... благодушно говорит» даже до ошибок Долгушина, но «не верит мир» фразистому «кумиру» Милютину. Последовавшее затем их разведение ради вставки стихотворений «2-е декабря» и «Отрывок» лишь затушевало невыгодное для Милютину сопоставление, но не сняло его.

До возникновения цикла из двенадцати стихотворений оба четырехстишия Некрасов, возможно, предполагал поместить в другой несостоявшийся цикл стихотворений. По копиям А. А. Буткевич в письме поэта А. С. Суворину от 1 мая 1876 года сообщались поправки к стихотворениям «На покосе» и «Как празднуют трусу», а также тексты стихотворений «К портрету**» и «Что нового?» (последнее аттестовалось как «совсем неудобное»). К трем более «удобным», не нумерованным в письме стихотворениям, были добавлены (теми же чернилами и на той же бумаге, видимо, одновременно с письмом или вскоре после него скопированные сестрой) стихи под номерами: IV. «Путешественник», V. «Бунт», VII. «К портрету***», VIII. «Праздному».

И в этом цикле адресаты-«портреты» противопоставлялись другим героям стихотворе-

ний — протестантам; преследуемым жандармами и карателями мужикам, бедствовавшим после реформы и местами отваживавшимся на бунт. Они сближались с «праздными» либералами, скорыми лишь на слова, но неспособными на решительную борьбу. Суворин напечатал в «Новом времени» от 6 июня 1876 и 1 января 1878 года лишь «На покосе», закамуфлированные «портреты» и «Праздному» (без трех последних строк). Не сохранившийся среди копий номер VI — вероятно, «Человек сороковых годов» — напечатан Сувориным там же 6 июня 1876 года.

Введение стихотворений с нераскрытыми адресатами в идейно острые циклы само по себе указывало на их политический характер, исключало интерпретацию их как интимных.²³

В окончательном составе цикл был не менее взрывоопасным, и оттиск его цензурно уязвимой корректуры во времена арестов и ожидания суда над народниками на страницах «Современника» так и не был осуществлен.

²³ Стихотворение «К портрету***» в Полном собрании сочинений и писем (Л., 1982. Т. 3. С. 434) определяется как интимное, а не политическое. В Полном собрании стихотворений 1967 года (Т. 3. С. 484) как не имеющие определенного адреса охарактеризованы стихотворения «К портрету**» и «—ну».

Е. А. Маймин

А. А. ФЕТ И Л. Н. ТОЛСТОЙ

Позволительно ли ставить рядом имена Льва Толстого и Фета, как это сделано в заглавии статьи? Вопрос этот возникает естественно, он отнюдь не кажется праздным. С одной стороны, великий художник и мыслитель, революционер по духу, оказавший решающее воздействие на развитие мировой литературы. С другой стороны, поэт, которого привычно относят к разряду сторонников «чистого искусства», человек весьма консервативных убеждений. Что может быть между ними общего? А общее было, была истинно дружеская близость, устойчивое общение, которое продолжалось более двадцати лет.

Это общение и дружба многих удивляла и удивляет — и теперь, и прежде. Но удивляет более всего потому, что мы плохо знаем Фета, судим о нем скорее по внешним признакам, нежели по внутренним его качествам. Одним из немногих, кто хорошо знал Фета, был Лев Толстой. И вот что он ответил на вопрос своего секретаря П. И. Бирюкова о причинах его сближения с Фетом: «... кроме истинного поэтического дарования к Фету... привлекала искренность его характера. Он никогда не притворялся

и не лицемерил, что у него было на душе, то и выходило наружу».¹

Добавим к этому, что Толстой считал Фета в высшей степени оригинальным и «огромным» человеком.

Самое начало их отношений, литературных и человеческих, относится к 1856 году. Толстой тогда только приехал из Севастополя в Петербург. Его имя было уже прославлено «Детством» и «Отрочеством» и «Севастопольскими рассказами». В Петербурге его ждали. Его горячо и радушно встретили — особенно литераторы круга «Современника». Он становится завсегдаемым литературных вечеров. На них он знакомится с известными писателями и поэтами. Знакомится и с Фетом.

Но еще прежде, чем они познакомились лично, Толстому становятся известными стихи Фета. Сразу же по приезде в Петербург, 29 января 1856 года, Толстой присутствует

¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 527.

на обеде у Некрасова. Там он встречает Тургенева, Григоровича, Гончарова, Чернышевского, Дружинина. После обеда состоялось чтение «предполагаемого сочинения очищенных стихов Фета» (издания сочинений Фета, которое готовилось под редакцией Тургенева и в том же 1856 году вышло в свет). Толстой слушает, и Толстому стихи нравятся. То, что нравятся, доказывают и ближайшие отзывы Толстого о поэзии Фета и его позднейшие признания. В 1891 году, отвечая на вопрос книгоиздателя Ледерле о книгах, которые имели на него наибольшее влияние, Толстой к возрасту от 20 до 35 лет относит и стихотворения Фета. При этом имя Фета стоит в одном ряду с Тютчевым, Кольцовым, читанными по-русски «Илиадой» и «Одиссеей» и диалогами Платона.²

4 февраля 1856 года Толстой знакомится с Фетом. В дневнике под этой датой он записывает: «Фет очень мил».³ Следующая встреча Толстого с Фетом состоялась 12 мая, на обеде у Некрасова. Видимо, были здесь и беседы, и чтение Фетом стихов. В дневнике под этим числом Толстой записывает: «Фет — душака и славный талант» (XXI, 153).

Через несколько месяцев, в январе 1857 года, Толстой одобряет поэтическую деятельность Фета в письме к Боткину. Делает он это косвенным образом, но с достаточной ясностью. В это время была опубликована критическая статья Боткина о Фете — положительная в своих оценках. Толстой, обращаясь к Боткину, хвалит эту статью и называет ее «поэтическим катехизисом поэзии» (XVII—XVIII, 461).

Одобрят Толстой не только оригинальные стихи Фета, но и его переводы — хотя и не все. Он берет на себя заботу о публикации некоторых фетовских переводов. Так, 25 ноября 1857 года он посылает Некрасову, с просьбой напечатать, «прелестное» посмертное стихотворение Беранже «О, Франция! Мой час настал». Обращаясь с просьбой, Толстой особо указывает на то, что перевод стихотворения Беранже осуществлен Фетом. Некрасов печатает стихотворение в первом номере «Современника» за 1858 год.

Резко критикует Толстой фетовские переводы Шекспира. 3 декабря 1857 года, обеда у Фета, он слушает перевод «Антония и Клеопатры» и находит его «дурным». Впрочем, тут, возможно, дело не в одном переводе. Не одобрял и критиковал Толстой и самого Шекспира.

Как бы то ни было, несомненно то, что Толстой в это время ощущает Фета как литературно близкого себе человека, как литературного единомышленника. Это подтверждается

одним любопытным и важным фактом. В январе 1858 года Толстой задумывает издание независимого «чисто художественного» журнала. Издание по ряду причин не состоялось, но интересен сам замысел. Он возник у Толстого в связи с Фетом, в общении с ним. Можно сказать даже, что это был их совместный замысел. 2 мая 1858 года И. И. Панаев писал М. Н. Лонгинову: «Фет с Толстым предпринимают журнал. Я уверен, что это будет превосходный журнал».⁴

Близость Толстого с Фетом становится все более тесной и полной. В январе 1858 года Толстой читает Фету свой рассказ «Три смерти» и спрашивает его мнение, советуется с ним. 27 февраля он навещает Фета, долго с ним беседует, а потом записывает в дневнике: «... славно провел вечер».⁵

11 февраля 1859 года в заседании Общества любителей российской словесности Толстой выступает с предложением избрать Фета действительным членом Общества. Это тоже показатель крепнувшей близости. Предлагает избрать Фета не кто-нибудь иной, не Тургенев например (что было бы вполне понятно и естественно), а именно Толстой.

Теперь, с 1859 года, Толстой и Фет, живя по преимуществу в разных местах, заводят переписку и часто посещают друг друга. Так, в мае 1859 года Фет гостит в Ясной Поляне, в сентябре—октябре того же года Толстой навещает Фета в его имении Новоселки. Визиты друг к другу становятся не просто частыми, но регулярными. Порвав с кругом «Современника», Толстой надолго сохраняет дружеские отношения едва ли не с единственным из литераторов когда-то тесного круга — с Фетом.

С течением времени Фет становится для Толстого все дороже и душевно ближе. Он открывается перед ним не внешней своей угловатостью и некоторого рода странностью (на что так часто указывали многие знавшие Фета), а внутренним богатством и даровитостью своей натуры. 9 октября 1859 года в письме к Дружинину Толстой прямо говорит об этом: «Фет gagne à être connu (выигрывает при более близком знакомстве), чем больше я его знаю, тем больше люблю и уважаю» (XVII—XVIII, 531).

Разумеется, не все в их дружбе развивалось по восходящей или по прямой линии. Были и спады. Иногда доходило до разрыва — правда, временного, ненадолго. Так, в мае 1861 года в имении Фета происходит известная ссора Толстого с Тургеневым. Фет оказывается невольным свидетелем события, которое не может его радовать. Ему дорог Толстой, но дорог и Тургенев. Он жаждет их примирения. Старается в этом смысле, берет на себя роль посредника. Толстому, настроенному крайне непримиримо, это не нравится. В декабре 1861 года дело доходит до того, что, в ответ на пересланный ему Фетом кусок из письма к нему Тургенева, Толстой взрывается и порывает отношения

² Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1984. Т. XIX—XX. С. 229—230. (Письмо Л. Н. Толстого М. М. Ледерле от 25 октября 1891 года). В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

³ Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М., 1958. С. 108.

⁴ Там же. С. 188.

⁵ Там же. С. 181.

также и с Фетом. Он пишет Фету: «И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду» (XVII—XVIII, 577).

Но уже через самое короткое время, в середине января 1862 года, Толстой помирился с Фетом. Об обстоятельствах примирения много лет спустя (в 1874 году) Фет рассказал Тургеневу: «Однажды, делая сначала вид, что не замечает меня, в театральном маскараде, Толстой вдруг подошел ко мне и сказал: „Нет, на вас сердиться нельзя“, и протянул мне руку».⁶

Интересно, что тогда же, в январе 1862 года, сразу же после примирения (ссоры как будто и не было), Толстой пишет Боткину: Фет «не перестал быть отличнейшим человеком и огромно умным. Приедешь в Москву, думаешь, отстал — Катков, Лонгинов... вам все расскажут новое; а они знают одни новости и тупы так же, как и год и два тому назад, многие тупеют, а Фет сидит, пашет и живет и загнет такую штуку, что прелесть» (XVII—XVIII, 578).

За короткое время ссоры Толстой как будто еще более оценил Фета. Первая размолвка не помешала дружбе, а точно проверила ее и укрепила. Продолжается переписка. Снова, как и прежде, довольно часты встречи и беседы. В начале декабря 1863 года Толстой встречается с Фетом в Москве. В августе 1864 года Фет приезжает в Ясную Поляну — вместе с Боткиным. 17 января 1865 года посещает Ясную Поляну вместе с женой. Еще раз в том же году в июле он посещает Толстого в Никольском. Там Толстой читает Фету и его жене военные сцены 1805 года, из будущего романа «Война и мир».

Был момент — мы только что говорили об этом, — когда Толстой вознегодовал на Фета за его посредничество в делах с Тургеневым. Теперь, работая над «Войной и миром», Толстой, пусть и не прямо, сам просит Фета о посредничестве. Хотя и в другом роде. Он хотел бы, чтобы Фет сообщал ему не только собственное мнение о выходящих частях его произведения, но и мнение Тургенева. 10 января 1865 года Толстой пишет Фету о близком выходе в свет первой части его романа и делает в связи с этим признание — признание, которое легко прочесть как просьбу: «Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева. Он поймет...».⁷

Сам Фет понимает Толстого с полуслова. Желание Толстого, хотя и не прямо выраженное, для него закон. К тому же и приятная обязанность. Многие из того, что Тургенев пишет Фету о новых произведениях Толстого, отныне он передает последнему. Фет становится посредником и передатчиком между Толстым и Тургеневым не только по желанию Толстого, но и

с очевидного согласия Тургенева. Резко порвав друг с другом, порвав всякие непосредственные и личные отношения, и Толстой и Тургенев не перестают чувствовать и ощущать друг друга, испытывать необходимость в знании друг о друге, необходимость хоть в каком-то общении мыслями. Фет помогает им в этом. Это важная роль. И едва ли есть нужда говорить, что принята на себя Фетом роль возможна лишь при глубоком доверии к нему и Толстого и Тургенева.

Критические замечания Тургенева, которые передает Толстому Фет, для Толстого, как он сам в этом признается, очень полезны. Полезно, таким образом, и посредническое дело Фета. В мае 1866 года Толстой пишет Фету: «...я столько положил труда, времени и того безумного авторского усилия (которое вы знаете), так люблю свое писание, особенно будущее — 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад осуждению. Например, мнение Тургенева о том, что нельзя на 10 страницах описывать, как NN положила руку, мне очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем» (XVII—XVIII, 649).

Толстой не только внимательнейшим образом прислушивается к мнению Тургенева о себе, но и хотел бы донести до Тургенева свое мнение о нем. И это он тоже делает с помощью Фета. В письме от 11—12 марта 1877 года Толстой пишет Фету о своем критическом отношении к роману Тургенева «Новь» и к этому добавляет: «Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета, — это природа. Две-три черты, и пахнет» (XVII—XVIII, 798).

Трудно отделаться от мысли, что это не для одного Фета сказано. Толстой, говоря это, хорошо знает (и на это рассчитывает), что его мнение и слова станут известны и Тургеневу.

Разумеется, Толстой ценит не только критические замечания Тургенева о себе, но и критические замечания самого Фета. Фету у Толстого многое нравится, более чем нравится, но если он чем-то недоволен, он не скрывает этого от Толстого. Так, Фет критически отнесся к характеру князя Андрея, каким он получился в первоначальных рукописях толстовского романа. Он нашел, что образ бледен, обладает только одним отрицательным достоинством — порядочностью, что на этом образе «нельзя вязать нить повествования».

Толстой соглашается с критикой и благодарит за нее. В письме к Фету от 7 ноября 1866 года он пишет: «...в 1-й части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и надеюсь, что исправил. Пожалуйста, пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, то есть моем писании, — дурного. Мне всегда это в великую пользу...». И в добавление к этому Толстой делает замечательное признание: «...вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме

⁶ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. III. С. 479.

⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1958. Т. 61. № 98.

едино го. будет сыт человек» (XVII—XVIII, 653).

Пройдет три года, и он скажет о том же и то же самое. О том, как дорог и близок ему Фет, Толстой не устает повторять. В его письме к Фету от 30 августа 1869 года мы читаем: «Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной природе, как ваша, чтобы высказать все накопившееся» (XVII—XVIII, 682).

Родственность природы помогала Фету хорошо (как мало кто другой) видеть Толстого, понимать его, забывать о нем рассказывать. Он, например, видел Толстого в пору творческой увлеченности, когда тот писал «Войну и мир», и так об этом рассказал: «Лев Николаевич был в самом разгаре писания „Войны и мира“, и я, знававший его в периоды непосредственного творчества, постоянно любовался им, любовался его чуткостью и впечатлительностью, которую можно бы сравнить с большим и тонким стеклянным колоколом, звучащим при малейшем сотрясении».⁸

Это сказано хорошо и поэтически зримо. Это сказано душевно близким человеком — и еще оттого хорошо.

Их дружба была истинна и во всем взаимна. Толстой радуется стихам Фета, которые тот посылает вместе с письмами. Толстой живет фетовскими стихами. Стихотворение «Майская ночь», как только прочитал, выучил наизусть и часто повторяет про себя. Радость доставляет ему и стихотворение «Среди звезд». Потому оно особенно его радует, что он видит в стихотворении тот «философско-поэтический уклон», который давно предполагал в Фете и желал для него. Об этой лирической пьесе Фета он вспоминает снова и снова. 11 января 1877 года, перечитав ее в журнальной публикации, Толстой пишет Фету: «Это одно из лучших стихотворений, которые я знаю».⁹

Истинно дружеское отношение Толстого к Фету проявлялось в разных случаях и по самым разным поводам. Во время голода, который охватил значительную часть Орловской губернии (в частности, и Мценский уезд, где находилось имя Фета), Фет задумал с помощью благотворительности оказать содействие голодающим крестьянам. Чтобы собрать для этого деньги, 7 марта 1868 года Фет устраивает в Москве, в помещении артистического кружка, платный благотворительный вечер. Толстой помогает ему в этом. Он дает ему для чтения на вечер неизданные главы из четвертого тома «Войны и мира». В них описывалось отступление русских войск из Смоленска. Чтение имело огромный успех.

Толстой относился с пониманием и сочувствием к тому, чем занимался Фет. Живя в своем имении, в течение многих лет Фет исполнял

обязанности мирового судьи. Знакомые и просто современники Фета иронизировали над этой его должностью. В отличие от многих, Толстой не иронизировал. Относился всерьез. Интересовался. 28 июля 1870 года Толстой гостит у Фета в его имении Степановка. В этот день Фет ведет судебное заседание, и на нем присутствует Толстой. Среди других рассматривается дело дьячка Белозерского и крестьянина Сильверста Исаева. Фету удается склонить тяжущихся к миру. Толстой всему этому явно сочувствует. Одно из свидетельств тому — подпись Толстого в протоколе судебного заседания за неграмотного С. Исаева: «За Сильверста граф Толстой».¹⁰

В конце 60-х годов у Толстого и Фета возникает общий литературный замысел, предполагается совместная работа. Толстой в это время читает Шопенгауэра и увлекается им. Увлекается до того, что начинает перевод Шопенгауэра и предлагает Фету присоединиться к нему. Фет согласен. Но в дальнейшем, по ряду причин, Толстой отстраняется от перевода. Дело, поначалу совместное, осуществляет Фет в одиночку. В конце жизни он не только автор перевода главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление», но и нескольких других его работ.

Толстой всегда готов был делиться с Фетом своим самым важным и заповедным. Он продолжает это делать и в 70-е годы. Сообщает свои новые мысли, рассказывает о новых увлечениях. Греческим языком и древнегреческой литературой: «Живу весь в Афинах. По ночам во сне говорю по-гречески».¹¹ Устройством школы: «...опять завел школу, и жена и дети — мы все учим и все довольны».¹² Чтением библии (притчей и Экклезиаста): «Новее этого трудно что-нибудь прочесть», читая впервые, «ахал от радости».¹³

Фету Толстой сообщает о самых глубоких своих чувствах и волнениях. И всю правду. 9 ноября 1875 года пишет о том, как «ужасно тяжело» ему было во время болезни жены и ее преждевременных родов: «Страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета, доктора, фальшь, смерть, ужас» (XVII—XVIII, 775).

Потом эти чувства и признания Толстого, переплавленные художественно, войдут в «Анну Каренину», в сцены родов Кити. Но еще прежде того они доверены Толстым другу, как бы проверены на нем.

Доверяет Толстой Фету и свои первые (а потом и не первые) сомнения в справедливости социального устройства жизни. Еще в 1865 году, во время голода, Толстой пишет

¹⁰ Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 374.

¹¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 61. № 323. (Письмо Фету от 6 февраля 1871 года).

¹² Там же. № 359. (Письмо от 20 февраля 1872 года).

¹³ Там же. Т. 62. № 526. (Письмо от 31 августа 1879 года (?)).

⁸ Фет А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 2. С. 170.

⁹ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 460.

Фету: «Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, то есть предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше... У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыты скотины и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде — достанется» (XVII—XVIII, 630).

Здесь нет еще прямого социального обличения (как это будет с конца 70-х годов), но все к этому ведет. Ведет патетикой стиля, напряжением чувства, контрастом картин, который сам по себе уже содержит задатки обличения.

Позднее, обращаясь к Фету, делясь своим, близким, Толстой все более и более обличает. Так, в 1878 году он рассказывает Фету о тяжелых своих впечатлениях от Петербурга и его праздных, богатых обитателей, которые «глупы» и «несмотря на чистоту одежды, низменны до скотообразности», о двух орловских генералах, от которых «так жутко делается, точно между двух путей стоишь, и товарные поезда прохлят» (XVII—XVIII, 834).

Вот тут-то, видимо, и начинается непонимание. И серьезное, чреватое возможным кризисом, разладом. Не все то, что возмущает теперь Толстого, находит достаточный отклик и сочувствие у Фета. Толстой в конце 70-х годов стыдится быть помещиком и богатым, а Фет помещиком только-только стал и радуется этому. Толстой видит в образе жизни правящего дворянского сословия нечто преступное, все его симпатии на стороне рабочего человека, крестьянина, а Фет гордится только что обретенным дворянским именем и еще более будет гордиться постыдным, с точки зрения Толстого, придворным званием камергера. Пути Толстого и Фета расходятся, большая дружба сходит на нет — и конечной причиной этого является различие социальных, идейных позиций, обострение общих социальных противоречий.

К этому добавились и расхождения религиозные (у Толстого всегда искания религиозные тесно связаны с социальными). Они тоже окончательно выявляются в самом конце 70-х годов. В октябре 1880 года Толстой излагает Фету свои новые религиозные воззрения. В том же месяце Фет пишет Толстому письмо с возражениями. Толстовских новых убеждений Фет, начисто лишенный всякого религиозного чувства и склонности к покаянию и самообличению, не разделяет и не принимает. В конце декабря 1880 года, а затем в мае 1881 года Фет посещает Ясную Поляну. Там обсуждаются при встрече идеологические разногласия, ведется спор о христианстве. Общей точки зрения достичь уже невозможно. Разногласия обнажаются до предела, до последней черты.

Обострение разногласий и кризис в отношениях достигают своего пика в конце 1880-х годов, когда Фет отмечает свой юбилей. Фет связывает его с 50-летием своей литературной деятельности. Власти охотно поддерживают желание Фета отпраздновать годовщину. Они отдают ему всяческие почести, награждают придворным званием. Все это в высшей степени противно Толстому. 14 января 1889 года он записывает в дневнике: «...жалкий Фет с своим юбилеем. Это ужасно» (XXI, 364).

Но 29 января он все-таки посещает Фета по случаю его юбилейных торжеств. А на другой день делает такую дневниковую запись: «Там обед. Ужасно все глупы. Наелись, напились и поют. Даже гадко. И думать нечего прошибить...» (XXI, 367).

Все, что делается теперь с Фетом, противно существу Толстого, его новому, просветленному и очищенному взгляду на жизнь. Его резкое охлаждение к Фету носит социальную и нравственную, а не сугубо личную мотивировку. Толстой восстал против своего класса, против условий его существования — и потому он так изменился к Фету.

Не изменилась в отношении к Фету жена Толстого Софья Андреевна. По случаю юбилея Фета 11 апреля 1889 года Софья Андреевна устраивает у себя дома торжественный обед с приглашением Фета и Полонского. Толстой прямо не возражает, он не может и не хочет оказывать давления на жену. Но в тот торжественный день Толстой в полную силу и не стесняясь в словах высказывает свой взгляд на дело. Он записывает в дневнике: «Дома оргия на двадцать пять человек. Еда, питье... Фет жалкий, безнадежно заблудший. Я немножко погорячился с ним, когда он уверял, что не знает, что значит безнравственно. У государя ручку целует, Полонский с лентой. Гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без надобности ручку» (XXI, 378).

Приведенная запись характеризует крайнюю точку толстовского отчуждения. Взаимной сердечной дружбе как будто настал конец. И все-таки полного разрыва в отношениях не наступило. Слишком дорого было Толстому (и Фету, конечно) прежнее единение. Что-то хорошее в нем к Фету осталось, что-то доброе теснилось в душе. Остались дорожные воспоминания — и во имя этих воспоминаний с обеих сторон делались искренние попытки сохранить хотя бы немного из прошлого.

Собственно разрыв между Толстым и Фетом произошел еще в начале 80-х годов. 12 мая 1881 года написано последнее письмо Толстого к Фету. В течение трех лет бывшие друзья почти не общаются. Но 21 марта 1884 года Толстой посещает Фета в его московском доме. Отмечая факт посещения в дневнике, Толстой пишет о чтении Фетом «хорошего стихотворения о смерти» (XXI, 322).

9 апреля того же года Толстой снова посещает Фета и делает по этому поводу такую запись в дневнике: «Пошел к Фету. Прекрасно говорили. Я высказал ему все, что говорю про

него, и дружно провели вечер» (XXI, 327). Через два дня он встречается Фета у Н. Н. Стрехова и записывает: «Утром же ходил к Стрехову. Хорошо говорил с ним и Фетом» (XXI, 327).

28 марта 1884 года Фет наносит визит Толстому. Толстой в это время, в соответствии со своими новыми воззрениями, усиленно занимается ручным трудом. В частности — шьет сапоги. Фет узнает об этом и заказывает пару сапог для себя. 8 января 1885 года Толстой вручает сшитые сапоги Фету. Фет выдает ему свидетельство о том, что сапоги им получены: «Сие дано 1885-го года января 15-го дня, в том, что настоящая пара ботинок на толстых подошвах, невысоких каблучках и с округлыми носками сшита по заказу моему для меня же автором „Войны и мира“ графом Львом Николаевичем Толстым, каковую он и принес ко мне вечером 8-го января сего года и получил за нее с меня 6 рублей. В доказательство полной целесообразности работы я начал носить эти ботинки со следующего дня. Действительность всего сказанного удостоверяю подписью моей с приложением герба моей печати. А. Шеншин».¹⁴

Данное Фетом свидетельство написано в шутивно-дружеской манере. Дружба между Толстым и Фетом кончилась — и все-таки не совсем кончилась.

Так можно сказать и о времени, последовавшем за самым резким высказыванием Толстого о Фете — дневниковой его записью от 11 апреля 1889 года. Казалось, после этой записи Фет навсегда вычеркнут из жизни и памяти Толстого. В действительности, однако, такого не произошло. 3 августа 1890 года Толстой пишет Стрехову: «Серезжа (старший сын Толстого. — Е. М.) сочиняет романы и потому держит у себя книгу стихотворений Фета. Я проходя заглянул в нее в элгии и, каюсь, прочитал многие из них с большим удовольствием».¹⁵

Он не только с удовольствием читает стихи Фета, но и помнит и думает о самом Фете. Порою он пытается даже уверить себя (а заодно и Фета), что никакого разрыва в отношениях с Фетом у него не было. 23 октября 1892 года (незадолго до кончины Фета) он пишет жене: «Вечером писал письма и читал с девочками. Нынче начали „Фауста“ Гете, перевод Фета. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись» (XIX—XX, 253).

Смерть Фета оказалась новой проверкой устойчивости былой дружбы. Многие теперь в Толстом оживает из прежнего дорогого. И больше всего — поэзия Фета. В октябре 1896 года Толстой пишет Софье Андреевне: «Я нынче все утро в постели сочинял стихи в роде Фета, в полусне. . .» (XIX—XX, 378).

В его письмах много цитат из Фета — знак

живой памяти: «У вас должно быть хорошо, — пишет Толстой дочери Татьяне, — и в природе и в семье — все съехались, и соловей, вероятно, уже смеет запеть в смородином кусте» (XIX—XX, 514; курсив мой. — Е. М.). Выделенные слова — перифраз из стихов Фета: «И соловей еще не смеет / Запеть в смородином кусте».

Леонид Андреев, посетив Толстого за полгода до смерти, рассказал в своих воспоминаниях о том, как помнит и читает Толстой по памяти стихи Фета: «. . . вот пересекаем поляну с весенними цветами и, смотря вниз, тихо и как бы для себя, он произносит стихотворение Фета о весне; о цветах и о радостях весенних».¹⁶

О последних годах жизни Толстого вспоминает и Горький — и в его воспоминаниях тоже есть о Фете. Толстой, обращаясь к Горькому, говорит: «Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина». И там же Горький дает зарисовку Толстого: «Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхивает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роше».¹⁷

* * *

Важная составная часть дружбы Толстого и Фета — их письма друг к другу. Мы уже их касались, ссылались на письма. Но переписка Толстого с Фетом заслуживает и особого нашего внимания. Переписка была замечательным памятником дружбы, и она стала одним из замечательных памятников всей русской культуры XIX века.

Фет любил писать письма. Как и Толстой. Для обоих писать письма значило исполнять привычную обязанность — и обязанность приятно необходимую. Это вообще характерно для всего русского культурного и литературного обихода прошедшего века. Личная, дружеская переписка воспринималась тогда как дело первостепенного человеческого и исторического значения.

Переписка Толстого с Фетом по своей литературно-исторической ценности может быть поставлена в один ряд с перепиской Пушкина с Вяземским, Белинского с Боткиным, Герцена с женой и т. д. Тем более она для нас интересна. Она — самый живой и неповторимый след событий и след живых чувств и отношений.

Очень непосредственная в чувствах и в слове, переписка Толстого с Фетом была основана на глубокой взаимной приязни и уважении. Большая дружба, соединявшая адресатов и делавшая их по-человечески близкими, определяла особенности и высокие достоинства переписки. Она была главным условием и причиной глубокой содержательности писем, их большой эмоциональной и интеллектуальной насыщенности.

¹⁴ Свидетельство, выданное Фетом Толстому, хранится в Государственном музее Толстого в Москве.

¹⁵ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 65. № 121.

¹⁶ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 412.

¹⁷ Там же. С. 495, 499.

И Толстой, и Фет, любя и уважая друг друга, проявили себя в письмах — даже не заботясь об этом специально — на высшем душевном и умственном пределе. В своей переписке они достигали всей полноты диалога, самого полного и внятного выражения мыслей и чувств.

Их переписка в пору их наибольшей близости, т. е. с мая 1858 года (когда было написано первое письмо) и до конца 70-х годов, была именно *диалогом*. В самом точном смысле этого понятия.

Собственно, всякая дружеская переписка есть диалог. Но в разной степени и в неодинаковом смысле. Переписка Толстого с Фетом была диалогом не только по форме, но и по глубиной своей сущности. Диалогом как ярчайшим выражением человеческого взаимного интереса и единения неповторимого. Диалог Толстого и Фета означал не только видимый способ в обмене мыслями, но и взаимодействие мыслей, особую душевную тесноту и соединяющую крепость общения.

В своих письмах друг к другу и Толстой, и Фет сообщали о себе, делились идеями, беседовали — и внимательно слушали один другого. Может быть, даже куда внимательнее слушали, чем при непосредственном общении, при устной беседе. Из этого внимания рождался взаимный отклик. Рождалась та душевная потребность, которую Фет назвал «жгучим интересом взаимного ауканья».

В переписке Толстой и Фет постоянно *реагировали* друг на друга. Взаимно возбуждались и вдохновлялись. 3 февраля 1879 года, после многих лет переписки, Фет писал Толстому: «Целые рон дум и ощущений налетают от Ваших круглоспутанных букв на меня, и я счастлив, что могу побеседовать с Вами».¹⁸

В свою очередь и Толстой признавался в покоем: «...вы для меня, соды — кислота: как только дотронусь до вас, так и зашиплю — столько хочется вам сказать».¹⁹

В письмах они вот так и «дотрагивались» друг до друга, так и вскипали и загорались от этих близких прикосновений слова и мысли. И в ответ находили самые сильные слова, обретали в себе ответно совсем особенные, часто неожиданные чувства и образы.

24 июня 1874 года Толстой признается Фету, что с ним он может (и ему «ужасно сильно и часто хочется») «говорить совсем свободно и во весь ум, что так с редкими можно делать».²⁰

Это «во весь ум» тоже рождалось из взаимодействия, из тесноты общения, из взаимного отклика. «Во весь ум» получается чаще и легче в диалоге, чем в монологе. В живом диалоге со своеобразно умным, отзывчивым и очень ценным собеседником.

Читая переписку Фета с Толстым, мы по-

стоянно слышим и ощущаем не два обособленных, автономных голоса, а голоса глубоко взаимосвязанные. Письма существуют не каждое само по себе, а вместе. И корреспонденты как будто тоже. В письмах происходит постоянное сцепление мыслей, постоянное ответное движение и как бы соревнование ума, воображения, слов.

Фет высоко ценил Софью Андреевну, жену Толстого. В своих письмах он не единожды, а неоднократно в этом признается. Это вызывает Толстого на ответную реплику — именно ответную. На тот же предмет у него есть собственное суждение, исполненное теплового чувства, тем более трогательное, что оно прикрывается шуткой: «Я рад очень, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа (Толстой тогда работал над «Анной Карениной». — Е. М.), а все-таки, вы знаете — жена. Ходит. Кто такой? Жена».²¹

Подобное ауканье, интеллектуальное и художественное взаимовозбуждение происходит в переписке Фета с Толстым в самых разнообразных случаях и на разных смысловых и тематических уровнях: бытовом, общежитийском, общечеловеческом, собственно литературном, философском и т. д. В апреле 1876 года Толстой пишет Фету: «...вы и те редкие *настоящие* люди, с которыми я сходил в жизни, несмотря на здоровое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение».²²

Мысль Толстого о нирване запомнилась Фету и внутренне была им усвоена. Она глубоко вошла в него, закрепились в сознании, нашла развитие в собственных мыслях. Интересно, что спустя некоторое время Фет воспользовался ею для характеристики Толстого и его творчества.

Год спустя после приведенного письма Толстого Фет напишет об «Анне Карениной»: «Но какая художницкая дерзость — описание родов. Ведь этого никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат об реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть. Но куда им до этого!»²³

Фет не просто восхищается сценой, созданной гением Толстого. Он особым образом реагирует на толстовскую мысль о «нирване», о «краюшке», варьирует ее, продолжает и развивает: «...эти два видимых и вечно таинственных окна...».

Происходит и своеобразная переадресовка полюбившейся Фету толстовской мысли. То, в чем видел Толстой достоинство настоящих людей, по Фету, есть достоинство самого Толстого. Достоинство, которое делает его столь высо-

¹⁸ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2. С. 44.

¹⁹ Там же. Т. 1. С. 423. (Письмо от 17 марта 1873 года).

²⁰ Там же. С. 431.

²¹ Там же. С. 368.

²² Там же. С. 447.

²³ Там же. С. 470.

ким и как человека и как художника, делает столь неповторимо зорким и нравственно правдивым.

Приведенный отзыв Фета о произведении Толстого — не единственный в переписке. Переписка содержит в себе большое количество литературно-критических высказываний и оценок. В этом тоже ее значение, ее историко-литературная ценность. В своих письмах Фет часто говорит о романах и повестях Толстого. В письмах Толстого мы находим суждения и оценки, касающиеся стихотворений Фета.

И как интересны и содержательны критические суждения Толстого и Фета! В них всегда глубина, тонкость, свежесть и понимание. Они, как и многое другое в переписке, тоже «во весь ум».

4 апреля 1863 года Фет пишет о только что появившихся в печати «Казаках»: «... Казаки» в своем роде *chef d'oeuvre*. . . Я их читал с намерением найти в них все гадким от А до Z, и кроме наслаждения полнотою жизни — художественной — ничего не обрел. . . Эх! как хорошо! И Ерощка, и Лукашка, и Марьянка. Ее отношение к Лукашке и к Оленину — верх художественной правды». И к этому добавляет: «Послушать Вас порой в разговорах — нет силы согласиться, а в поэзии Вас нет — есть одна сила и правда».²⁴

Когда Фет пишет это, он живет «Казаками» Толстого, а не своими мыслями о «Казаках». В критике далеко не всегда так бывает.

Фет-критик, как он проявляется в переписке с Толстым, непосредствен, полон желания понять и умеет понять. Его критика — это прямая и глубокий отклик, выражение не только живого читательского чувства, но и сочувствия. Она тоже возникает из диалога. Это и помогает Фету открывать в произведениях Толстого самое существенное, главное, внутренне определяющее.

16 июля 1866 года, точно проведая скрытый замысел автора, Фет так откликается на прочитанные им части «Войны и мира»: «. . . я понимаю, что главная задача романа: выворотить историческое событие наизнанку и рассмотреть его не с официальной шитой золотом стороны парадного кафтана, а с сорочки, то есть рубахи, которая к телу ближе. . . Роман с этой стороны блистает первоклассными красотоми, по которым сейчас узнаешь *ex ungue leonem* (по когтям льва)». И делает оговорку, которая интересна почти в такой же степени, как и отзыв о «Войне и мире»: «У меня лично никогда не было к талантам писателей ничего, кроме любви и глубокой симпатии. Я говорю, как старый столяр говорит молодому: „Отчего фанерка дует и не пристает к дереву“. А быть может, и старый столяр врет. . .».²⁵

Интересно это сопоставить с отзывами на «Войну и мир» Тургенева. Тургенев не принял роман Толстого как историческое произведение. Фет принял и одобрил. И все это потому, что

Тургенев смотрел на сделанное Толстым «от себя» и с привычной, традиционной точки зрения, а Фет проникал авторской точкой зрения, увидел роман Толстого изнутри.

С пониманием и высоким одобрением пишет Фет и об «Анне Карениной»: «. . . все целое и подробности — это червонное золото. В некоторых операх есть трио без музыки: все три голоса (в «Роберте») поют свое, а вместе выходит, что душа улетает на седьмое небо. Такое трио поют у постели больной — Каренина, муж и Вронский. Какое содержание и какая форма! Я уверен, что Вы сами достигаете этой высоты только в минуты светлого вдохновения».²⁶

Непосредствен, пронизателен и глубок был и Толстой в своих оценках произведений Фета. И диалогичен в полном смысле слова.

Отзывы Толстого о поэзии Фета имеют особенный интерес, потому что, говоря о фетовских стихах, Толстой в некотором смысле идет против своих собственных коренных убеждений. Он преодолевает себя во имя правды чувства и сочувствия.

В ту пору, когда велась переписка Фета с Толстым, последний уже весьма скептически относился к самой форме стиховой речи. Она казалась ему слишком условной, несерьезной, далекой от реальности. Для Толстого писать стихи было таким же неестественным поступком, каким было бы поведение крестьянина-пахаря, идущего за плугом и выделяющего при этом танцевальные фигуры.

Но так было для Толстого в идее. Так думал он умом, а не непосредственным чувством. Каждый раз, когда он получал от Фета в письме новое стихотворение, он забывал о принципах, забывал то, что существовало в его уме как теоретически решенное. В нем, вопреки этому решенному, рождался отклик — живой, ярко эмоциональный, и он весь отдавался этому отклику. Его отклик шел от «прямого касания», от живого впечатления — и был оттого сам впечатляющим и сильным.

Получив от Фета стихотворение «Майская ночь» — о человеческой жизни, о весне, о прекрасных мечтах человека и их конечной недостижимости, Толстой пишет Фету (11 мая 1870 года): «Развернув письмо, я — первое — прочел стихотворение, и у меня зашипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть; но не мог от слез умиления. Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое *само* и прелестно. Оно так хорошо, что, мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь „Вестнике“ и его будут судить Сухотины и скажут: „А Фет все-таки мило пишет“. . . „Ты нежная“

²⁴ Там же. С. 361—362.

²⁵ Там же. С. 379—380.

²⁶ Там же. С. 445. (Письмо от 26 марта 1876 года).

да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего».²⁷

1 декабря 1870 года, в ответ на присылку Фетом стихотворения «После бури», Толстой пишет: «Стихотворенье, которое вы мне прислали, одно из прекрасных; но последняя строфа, прекрасная по мысли, не готова. Утлый челн и паруса несогласно. Я уверен, что вы уже перелили эту строфу».²⁸

На самом деле Фет не «перелил» еще строфу. Но после письма Толстого он спешит это сделать. И в этом и в других случаях ему дорога не только похвала Толстого, но и в равной степени его критика.

На присланное Фетом стихотворение «В дыме-невидимке» Толстой (11 мая 1873 года) так откликается: «Стихотворение ваше крошечное прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, выражено прелестно».²⁹

19 января 1878 года Фет посылает Толстому только что написанное стихотворение «Alter Ego». Через 8 дней, 27 января (заметим, как быстро, как непосредственно живо откликается Толстой!) Фет получает ответ: «Спасибо вам, что не наказываете меня за молчание; а еще награждаете, дав нам первым прочесть ваше стихотворение. Оно прекрасно! На нем есть тот особенный характер, который есть в ваших последних — столь редких стихотворениях. Очень они компактны, и сиянье от них очень далекое. Видно, на них тратится ужасно много поэтического запаса. . . В подробностях же вот что. Прочтя его, я сказал жене: „Стихотворение Фета прелестное, но одно слово нехорошо“. Она кормила и суешила, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считал нехорошим: „как боги“».³⁰

Оценки Толстым стихотворений Фета не просто сочувственные и почти всегда положительные. Он находит для них единственные и глубоко точные слова. О стихотворении «Ты отстрадала, я еще страдаю» он, например, говорит: «. . . стихотворение ваше прекрасно-рожное, как все ваши прекрасные вещи».³¹ Толстой указал здесь — и как точно — едва ли не на самое главное качество лирики Фета: ее незаданность, органичность — стихи Фета как будто создаются, рождаются в присутствии читателя.

Критические отзывы Толстого и Фета на произведения друг друга, обусловленные эпистолярным и человечески-душевым взаимодействием и взаимопониманием, глубоки и тонки и вместе с тем — художественно впечатляющи. Кажется, что художественная сила и талант Толстого, естественно проявляющиеся также и в письмах, воздействовали на поэтическую силу Фета. И наоборот. В результате эпистолярные критические оценки как Толстого, так и Фета поражают и восхищают в равной степени и глу-

биной проникновения в художественное творенье, и своей собственной художественностью. Знакомясь с ними, мы воспринимаем их не только рассудком, но и эстетически.

Эстетическое восприятие критических суждений, да и вообще многих суждений и мыслей Толстого и Фета в их письмах, связано в значительной мере с тем, что эти суждения чаще всего строятся по законам художественного. Важное место в них занимает сравнение, свежая и яркая метафора, образные слова и выражения как метафорического, так и неметафорического происхождения. Фет, например, пишет Толстому о нем самом (9 октября 1877 года): «. . . Ваш талант мчится, как ночью паровик в собственных искрах, а между тем подвозит целый невидимый поезд новых товаров».³² Он же пишет о Софье Андреевне: «Какая кроткая, прелестная женщина, точно вечерняя звезда между ветвями плакучей березы».³³

Сильным художественным словом пользуется и Толстой, когда он говорит о Фете и его поэзии: «. . . что вы делаете мыслью, самой пружиной своей Фетовой, которая только одна и была, и есть, и будет на свете? Жива ли эта пружина? Просится ли наружу? Как выражается?».³⁴

Поэтическое, художественное начало характеризует в целом переписку Фета с Толстым. Существенной частью переписки являются не только взаимные литературные оценки, но и высказывания на другие самые разнообразные темы: сокровенные признания о самих себе, о поэзии, о природе художественного дара, о жизни и смысле жизни и проч. И все эти признания и высказывания носят на себе печать поэзии. Переписка Фета с Толстым является не только образцовым примером эпистолярия, но и родом литературы, родом искусства.

21 февраля 1870 года Толстой пишет Фету: «Добывайте золото просеванием».³⁵ Мысль об обязанности писателя-художника многократно переписывать и переливать свои произведения, шлифовать их, отсеивать лишнее выступает в поэтической, образной форме. Под пером Толстого она становится обобщенной и афористически крылатой. И так часто в письмах Толстого.

То же в письмах Фета. Подытожив свой семейный опыт и осмыслив его как более или менее общий закон, Фет пишет 12—14 октября 1862 года: «Верьте, далее семейства счастье ходить не умеет».³⁶ В письме от 19 ноября 1862 года он так высказывается о назначении человека: «Человек жив, пока редьки сажает».³⁷ Он говорит о своем понимании прекрасного в искусстве: «Венера, возбуждающая похоть, — плоха. Она должна только петь красоту в мраморе».³⁸

²⁷ Там же. Т. 1. С. 482.

²⁸ Там же. С. 358—359.

²⁹ Там же. С. 383.

³⁰ Там же. С. 401.

³¹ Там же. С. 355.

³² Там же. С. 358.

³³ Там же. С. 363.

²⁷ Там же. С. 402—403.

²⁸ Там же. С. 407.

²⁹ Там же. С. 425.

³⁰ Там же. Т. 2. С. 9.

³¹ Там же. С. 37.

Поэтически окрашена и характеристика, которую Фет дает Толстому, а попутно и самому себе (письмо от 20 января 1873 года): «Вы говорите, жизнь бездна премудрости, а я говорю, жизнь бездна несообразной чепухи, и мы оба правы. Если здравый смысл медведь, то Вы медведь, сосущий лапу и ломящий зря все, что люди считают неприкосновенным и заповедным в форме рутины и обычной фразы. Я же, бедный, уподобляюсь медведю захудалому, засидевшемуся в клетке, которую горемыка-содержатель возит по ярмаркам и которого он всякий день травит привязанного меделянскими собаками, которые кусают вовсе не на шутку, а самым чувствительным образом».³⁹

Столь же поэтическое и лирическое признание Фета о Толстом — о том, какое место занимал Толстой в его жизни: «„Другому как понять тебя“. Каждый раз, когда берусь за перо, чтобы писать к Вам, чувствую, что это не то. Выйдет костяк, а жалалось бы передать живое, имеющее право жить, тогда как костяк совершенно индифферентное явление. А в том, что хочешь сказать, есть кровь, тепло, которое требует чужого тулупа и участия. Полой этого-то тулупа и прикрываюсь я каждый раз в Ясной Поляне и умею это ценить».⁴⁰

Поэзия в переписке Фета с Толстым многообразна. Рядом с афористической формой соседствует форма близкая к стихотворениям в прозе. Высказывания и признания выстраиваются на неожиданных поэтических связях, на дальних и близких поэтических ассоциациях. Фет в письме от 19 октября 1862 года так рассказывает Толстому о себе: «Я люблю землю, черную рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в которой я буду лежать. Жена набренькивает чудные мелодии Mendelson'a, а мне хочется плакать...».⁴¹

Тургенев называл Тютчева «мудрецом». Александр Блок считал Фета мудрым не менее, чем Тютчев. И поэта, и человека. В своих письмах к Толстому, как и в поздних стихах, Фет особенно часто бывал мудрым.

«Разум не двигатель. — утверждал он в письме от 15 сентября 1878 года, — а контролер-бухгалтер. . . Бог сидит в чувстве, и если его там нет, разум его не найдет».⁴²

В письме от 3 февраля 1879 года Фет пишет: «Обязан ли поэт, да еще лирический, выбирать только строго-реально — возможные положения и состояния? Его дело звонить по всем видам, и по дубовому дубу, и по серебряному. Звонит — хорошо — не звонит — плохо, хотя бы сама скрипка Страдивариуса».⁴³

Он писал о молодых поэтах: «Молодые поэты, очень молодые, увлекаются звоном рифмы, как не умеющие играть — бренчат на балалайке. Выходит и звонко и в рифме. Но

поэту надо ждать бога, когда хоть тресни, а надо сказаться душой».⁴⁴

Он говорит с иронией о тех, кто псевдоумными словами прикрывает пустоту или ложь мысли: «Умные слова потому только умные, что смыслу в них не спрашивай. А то что же это за умное слово, которое всякий ребенок поймет. Не смей убивать, воровать. Это глупо. А вот как Спасович начнет говорить, как должно хорошо убивать и воровать, тогда-то умные генералы зарукоплетут и сам Тургенев прослезится, да и мне-то, дураку, жутко станет».⁴⁵

Суждения и признания Фета, значимые его слова, благодаря их одновременно и поэтичности и мудрости, обладают сильным свойством «заразительности». Они легко *усваиваются*. В одном из своих писем Толстому Фет рассуждает о двух типах ума: «уме ума» и «уме сердца». Толстой запоминает это, не раз к этому возвращается. В письме к Фету от 28 июня 1867 года, касаясь романа Тургенева «Дым», Толстой пишет: «О „Дыме“ я вам писать хотел давно и, разумеется, то самое, что вы мне пишете. От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем *умом сердца*, как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. *Ум ума и ум сердца* — это мне многое объяснило)».⁴⁶

Переписка Фета с Толстым богата и разнообразна по жизненному материалу. И вместе с тем она представляет собой уникальную художественную цельность и единство. Она едина по своему пафосу, по общему тону. В переписке много оригинальных мыслей, суждений и признаний, ярко-своеобразных лирических и философских миниатюр — и переписка в целом как большая, щедро заполненная мыслями и картинами высокохудожественная поэма. Высокохудожественная и поэтически свободная.

В одном из своих писем к Толстому Фет так характеризовал их переписку: «Письма мои к вам, как и Ваши ко мне, не литература, а грезы облаков. Порядку в них и ранжиру не ищите, но в причудливой и отрывочной игре их отражается то творческое дуновение, которого не найдешь в скалах, полях, словом, в оконченных произведениях из недвижимого материалу, воздвигнутых той же творческой рукой».⁴⁷

Как мы уже знаем, переписка Фета с Толстым продолжалась вплоть до 1881 года. Но подобно тому как отношения Толстого с Фетом не вовсе прекратились вместе с их формальным разрывом, так и эпистолярная связь не кончилась с последним письмом Толстого. Она прервалась — и вместе с тем она продолжалась. Продолжалась в переписке Фета с женою Толстого Софьей Андреевной.

Переписка Фета с Софьей Андреевной, по сути начавшаяся после прекращения переписки с Толстым, тоже была весьма интенсивной. И ее

³⁹ Там же. С. 419.

⁴⁰ Там же. Т. 2. С. 27.

⁴¹ Там же. Т. 1. С. 356—357.

⁴² Там же. Т. 2. С. 30.

⁴³ Там же. С. 45.

⁴⁴ Там же. Т. 1. С. 475.

⁴⁵ Там же. Т. 2. С. 67.

⁴⁶ Там же. Т. 1. С. 387.

⁴⁷ Там же. С. 449.

также с большим основанием можно назвать диалогом. Софья Андреевна ценила письма Фета и охотно на них отвечала. Для нее переписка с Фетом (как и для самого Фета) была душевно важным делом.

Когда письма Фета почему-либо задерживались, она скучала и беспокоилась. 11 апреля 1886 года она писала Фету: «...видно, сердце сердцу весть подает. Я сама так соскучилась, что долго не имела известий о вас, что сегодня же хотела писать к вам. И вдруг получаю письмо ваше, которое перечла с таким интересом два раза: так оно полно содержания, так в нем много несомненно молодого духа — всеобъемлющего и всепонимающего, да еще в конце сюрприз — опять стихи, и все та же, вечно молодая поэзия, для которой нет ни возраста и никаких оков».⁴⁸

Фет неоднократно посылал в письмах к Софье Андреевне свои стихи — как раньше он это делал в письмах к Льву Николаевичу. Сами письма к Софье Андреевне были такими же душевными и поэтическими, какими были письма к Толстому. Это было так не только потому, что он очень ценил Софью Андреевну как женщину и как человека. Тут было большее. Он видел в жене Толстого часть одного целого — и когда писал к ней, мысленно обращался и к своему великому и бывшему другу.

Письма Фета к Софье Андреевне рассчитаны были не на одного, а на двух адресатов. На прямого и на подразумеваемого. И оттого и тональность этих писем та же, что в письмах к Толстому, и суждения «во весь ум», на высшем уровне мысли и сознания, и та же в них поэтическая мудрость, искренность признаний, тот же часто афористический стиль.

Фет пишет С. А. Толстой о невозможности воспринимать прекрасное непрерывно: «Там, где одна самобытная красота догоняет другую, душа не может их глотать, как устрицы. Нужна передышка».⁴⁹

Он так говорит о Гомере и заслуге всякой истинной поэзии: «...не будь Гомера, не была бы Елена 4000 лет красавицей...».⁵⁰

В форме опять-таки близкой к афоризму он высказывает мысль о живой и поэтической красоте, которая не нуждается в поддержке ума: «Живая красавица или отвлеченная Муза инстинктивно отстраняют свой ум, выдвигаясь исключительно своей непосредственной красотой. Той и другой не нужно ничего доказывать, а стоит только войти, и все кругом засияет».⁵¹

В письмах к Софье Андреевне Фет порой ведет полемику, спор. Но не с нею — а со Львом Толстым. Он знает, что его полемические высказывания дойдут до Толстого, как и в целом содержание его писем. Он возражает, например, Толстому по поводу его критики стихотворной речи: «Узнаю я его и в проповеди против поэзии и уверен, что он сам признает несостоятельность

аргумента, будто бы определенный размер и, пожалуй, рифма мешают поэзии высказываться. Ведь не скажет же он, что такты и музыкальные деления мешают пению. Выдернуть из музыки эти условия значит уничтожить ее, а между прочим, этот каданс Пифагор считал тайной душой мироздания. Стало быть, это не такая пустая вещь, как кажется. Недаром древние мудрецы и законодатели писали стихами».⁵²

В письмах к Софье Андреевне Фет не только спорит с Толстым, но и восхищается им. Иногда его восхищение выражено в форме упрека, т. е. не прямо, — тем более оно должно быть приятным. «Лев Николаевич, — пишет Фет, — до того всесторонне окружил чистоклоном наш умственный русский сад, что, куда бы мы ни пошли, приходится лезть через его забор».⁵³

Восхищается он Толстым и более непосредственным образом. «Художественное наслаждение, — размышляет он в письме от 11 августа 1886 года, — доставляемое произведениями Л. Н., состоит в том, что читатель видит, как в запутанном вязании жизни он ловко и верно подымает на спицы одну петлю за другою. Не беда, если петля иногда расколота спицей или надета наыворот, но они все тут рядком, как бисер, и этим кончается художественная задача. Читателю предоставляется самому довязать чулок по собственной ноге... Потрудиться есть над чем; так художественно подняты все петли, из которых слагается человеческая жизнь...». И к этому Фет добавляет — добавляет, потому что выраженная им мысль ему очень дорога: «Я бы желал слышать совершенно откровенное мнение Ваше насчет подобной мысли...».⁵⁴

Замечательно, что именно в письмах к Софье Андреевне Фет дает итоговую оценку своей переписки с Толстым, характеризуя ее не как частное дело, а как явление общенародной культуры. 19 августа 1888 года, работая над своими воспоминаниями, он пишет Софье Андреевне: «Дошедши в моих воспоминаниях до своих появлений в Ясной Поляне, Никольском и Спасском, я, по милости Марьи Петровны, попал в целое море самых душевных и разнообразных писем Боткина, Тургенева и, в особенности, Льва Николаевича. Боже мой, как это молодо, могуче, самобытно и гениально правдиво! Это точно вырвавшийся с варка чистокровный годовик, который и косится на Вас своим агатовым глазом, и скачет, молниеносно лягаясь, и становится на дыбы, и вот-вот готов, как птица, перенестись через двухаршинный забор».

По поводу этих бесценных писем я пишу Страхову: «Помните ли Ваши слова о светляках русской мысли, разбросанных по нашим деревням? Вот они, эти светочи, в самом наивном проявлении, без всякого козыряния перед публикой. Самый тупой человек увидит в этих письмах не сдачу экзамена по заграничному тексту, а действительные родники всех самобытных

⁴⁸ Фет А. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 434.

⁴⁹ Там же. С. 292.

⁵⁰ Там же. С. 296.

⁵¹ Там же. С. 304.

⁵² Там же. С. 312.

⁵³ Там же. С. 299.

⁵⁴ Там же. С. 297, 298.

мыслей, какими питается до сих пор наша русская умственная жизнь во всех своих проявлениях».⁵⁵

Несколько слов в заключение. Известно, что личность писателя-художника более всего выявляется через его творчество. Но она выявляется также, как мы могли в том убедиться, и через его дружеское и духовное общение с другими писателями-художниками. В нашем случае это особенно заметно на примере Фета.

Л. Н. Толстой, в его личностной и историче-

⁵⁵ Там же. С. 310.

ской масштабности, достаточно ясен и понятен и вне его отношений с Фетом. Фет, вне его отношений с Толстым, многое важное теряет. Показанный и понятый через его дружбу с Толстым — а значит, в большой степени и глазами Толстого — Фет становится в наших представлениях несравненно крупнее, объемнее. Мы открываем в нем неизвестную нам до того человеческую глубину, самобытность, душевное богатство. Мы как бы заново открываем Фета — и такой, заново открытый, он является нам и человечески сложным, и предельно живым, и исторически значительным и достоверным.

Л. И. Черемисинова

А. А. ФЕТ: ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ УТОПИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

«Не время
Теперь писать стихотворенья», —

говорил А. А. Фет, перефразировав слова одного из героев переведенной им в 1859 году трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», — и продолжал:

«Время
Всегда на то, что происходит в нем».¹

В силу природы своего поэтического таланта оказавшись на рубеже 50—60-х годов «не ко времени», но вместе с тем осознавая важность и значительность перемен, предстоящих России в связи с упразднением крепостного права, Фет предпринимает попытку провести своего рода земледельческий эксперимент. Цель его — создание образцового хозяйства. Так объективно он оказывается в русле самых главных внутригосударственных преобразований пореформенной России.

Для поэта поворот от литературной к сельскохозяйственной практике был выходом из кризисного состояния, овладевшего им с окончанием эпохи 1850-х годов. В сложном конгломерате причин этого кризиса, как они представлялись Фету, недовольство «бездеятельной и дорогой городской жизнью», нежелание «сделаться зрителем, быв всю жизнь деятелем»² и «невозможность находить материальную опору в литературной деятельности».³

Переход Фета к занятию сельским хозяйством в изменившейся атмосфере 60-х годов был соответствующим духу времени поступком поэта, оставившего «изящную словесность»

ради «практического дела»⁴, а также — осознанной сменой жизнедеятельности человеком, стремившимся к реализации определенной преобразовательской программы.

Эта программа раскрывается в переписке поэта с друзьями — Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым, И. П. Борнсовым, В. П. Боткинским, в оставленных им воспоминаниях и, самое главное, в цикле его публицистических статей «Заметки о вольнонаемном труде» и «Из деревни».⁵ Следование фетовской правде жизни — исходный принцип фетовской публицистики, обусловленный как ее просветительско-пропагандистской направленностью, так и жанровой спецификой. «Говорить о деле надо добросовестно и прямо, — раскрывает поэт смысл написания своих очерков. — В заметках моих я выскажу не только факты, идущие, по-моему, к делу, но и те соображения и ощущения, которые вызвали меня на тот или другой шаг. Словом, я буду рассказывать, что я думал, что сделал и что из этого вышло. Хорошо, так хорошо; худо, так худо, лишь бы правда была».⁶

Добросовестное фиксирование жизненного материала в фетовской публицистике отмечали многие современники автора. Правда его очерков восхищала, например, И. С. Тургенева. «Дайте нам... продолжение Ваших милейших деревенских записок, — обращался он к Фету, — в них правда — а нам правда больше всего нужна — везде и во всем» (2, 407). Впрочем, принципиальная фактографичность очерковой

⁴ См.: *Тархов А. Е.* Проза Фета-Шеншина // *Фет А. А.* Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 370. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

⁵ Указанные очерки писались Фетом в процессе проведения им хуторского эксперимента и публиковались в основном в «Русском вестнике».

⁶ *Фет А. А.* Заметки о вольнонаемном труде // *Русский вестник.* 1862. Т. 38. С. 358.

¹ *Фет А. А.* Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 146.

² *Фет А. А.* Заметки о вольнонаемном труде // *Русский вестник.* 1862. Т. 38. С. 359.

³ *Фет А. А.* Воспоминания. М., 1983. С. 368.

манеры поэта вызвала нападки на него со стороны представителей демократического лагеря. Отсутствие анализа фетовской земледельческой программы в целом не помешало им тем не менее определить его политическую позицию как безусловно консервативную, а самого поэта представить как «ярого крепостника», разведя в противоположные стороны «Фета» и «Шеншина».

Между тем фермерская деятельность Фета являла собой наглядный пример одного из возможных путей развития пореформенной России. Ее исходные теоретические принципы выростали из активного отношения к обсуждавшимся на страницах русской печати вопросам, связанным с дальнейшими судьбами земледельческого сословия в стране.⁷ «Крестьянское дело», с точки зрения образованного класса землевладельцев, мыслилось как постепенное превращение беднейшего сословия в средних помещиков. Что же касается дворянства, то ему, вопреки мнению о его нравственной и общественной несостоятельности, в пореформенную эпоху предстояло осуществить высокую историческую миссию «передавателя цивилизации народу».⁸

Захваченный идеей «возрожденческой миссии» русского дворянина, Фет одну из глав своего первого очерка «Из деревни» называет «Значение средних землевладельцев в деле общего прогресса». Он создает в ней «человеческий идеал землевладельца»: «Я вижу его напрягающим последние умственные и физические силы, чтобы на заколебавшейся почве устоять, во имя просвещения, которое он желает сделать достоянием своих детей, и, наконец, во имя любви к своему делу. Вижу его устанавливающим и улаживающим новые машины и орудия, почти без всяких к тому средств; вижу его по целым дням перебегающим от барометра к спешным полевым работам, с лопатой в руках в саду и даже на скирде, непосредственно наблюдающим за прочною и добросовестною кладкой ее; а в минуты отдыха — за книгою или журналом. Все это не выдумка праздной фантазии, а дело, на которое я могу вокруг себя указывать пальцами».⁹

У дворян и крестьян со времени их освобождения от крепостной зависимости, по Фету, одна цель — поднимать земледелие, к тому же у них единая нравственная основа. Поэтому дворяне должны помочь духовному развитию народа посредством примера, в процессе совместного труда, создавая необходимые экономические условия для освобождения в людях их природных, истинно человеческих качеств. «Дело земле-

дельцев, — пишет Фет, — было всегда и везде делом великим. А теперь оно более чем когда-либо важно и значительно для всего государственного организма».¹⁰ В условиях пореформенной России «величие» земледельческого дела обуславливалось необходимостью поисков национальных форм его дальнейшего развития. «Я садился на хозяйство, — вспоминает С. Ф. Шарапов, — так же, как и все мы, грешные, неопытный, неподготовленный. . . И за собою чувствовал я такие же вздохи моих товарищей — хозяев, которые, как и я, садились на хозяйство, одни — со знанием пехотных и кавалерийских сигналов и команд, другие — изучив римское право или историю литературы. Все, все продельвали то же, что и я, а многие еще и хуже. Я все-таки родился и вырос в деревне и никогда с нею связи не порывал. . . Но кроме незнания и неопытности, у нас есть еще и другая, горшая беда. С 19 февраля 1861 года русское хозяйство бьется и не может найти своих идеалов, не может отлиться в национальную форму и стать прочным в нравственном смысле. Вот где истинное бедствие!»¹¹ «Садился на хозяйство» в то время, когда оно было в крайнем упадке, когда началось массовое паломничество обедневших дворян в город, люди, заботящиеся не только о личном преуспеянии, но и о благе России. Преобразуя свои хозяйства и распространяя накопленный опыт посредством печати, они надеялись содействовать общему подъему земледелия страны.

В результате «смуты», внесенной пореформенной эпохой в деревенскую жизнь, ратовавшие во имя общей цели землевладельцы «разбрелись». Одни из них (А. Н. Энгельгардт, С. Ф. Шарапов), будучи по своим воззрениям близки народнической идеологии, видели спасение деревни в воспитании «интеллигентных мужиков в России»,¹² т. е. в соединении самого высокого образования с земледельческим трудом.¹³ Другие — близкие идеологии почвенничества — отрицали необходимость «внесения» образования в народную среду, равно как и нововведений в экономику, призывая отталкиваться в своих действиях от потребностей «почвы», от реального уровня материального и духовного развития людей. Таким хозяином был Фет. Цель его собственной преобразовательской деятельности — в процессе создания образцового хозяйства нравственно совершенствовать народ, что в перспективе должно способствовать общему подъему и земледелия страны, и уровня развития крестьян.

Именно в создании образцовых хозяйств видели помещики-экспериментаторы «единственно

⁷ Об обсуждении вопроса о судьбах земледельческого сословия в России накануне крестьянской реформы см.: *Сладкевич Н. Г.* Очерки истории общественной мысли в России в конце 50-х—начале 60-х годов XIX века. Л., 1926, С. 87—136.

⁸ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 51.

⁹ *Фет А. А.* Из деревни // *Русский вестник*. 1863. Т. 43. С. 469.

¹⁰ Там же. С. 446.

¹¹ *Шарапов С. Ф.* По русским хозяйствам. М., 1893. С. VII, V, VII—IX.

¹² *Шарапов С. Ф.* А. Н. Энгельгардт и его значение для русской культуры и науки. СПб., 1893. С. 23.

¹³ См.: *Энгельгардт А. Н.* Из деревни: 12 писем. 1872—1887. М., 1987.

возможные задатки будущего улучшения сельскохозяйственного промысла в России».¹⁴ Приобщение к культуре земледелия посредством наглядного примера — такова объединявшая их идея. С нею связано и упование Фета на среднепоместных дворян. Кому, как не им, с его точки зрения, живущим «в самом центре земледельческой деятельности»,¹⁵ надлежит, покрыв всю страну сплошной сетью своих возрожденных и укрепленных усадеб, на новой основе поднимать сельское хозяйство страны. Кому, как не им, — заботиться о распространении просвещения в России, содействовать ее прогрессу. Таким образом, фетовская программа становилась утопичной в своей конечной цели. Время, уносившее поместное дворянство с исторической арены, делало недостижимым идеал массового распространения опыта реорганизованных усадеб и на этой основе — превращения всей страны в образцовое хозяйство.

Создание поэтом деревенских очерков обусловлено не только тем, что и в 60-е годы — период, когда он сам себя называл «упраздненным сочинителем», — он не мог полностью отказаться от литературной деятельности. Занятие публицистикой одновременно отвечало и потребности времени в живом, достоверном слове, и, что особенно важно, было выражением авторского стремления пропагандировать свои земледельческие начинания. «Честной деятельности земледельца с каждым шагом открывается обширное и благодатное поле, — писал он в одном из своих очерков. — Надобно только, чтобы они все более и более проникались сознанием важности своей задачи. Невозможно поверить, чтобы добросовестный и сознательный труд не принес, наконец, своих плодов, и чтобы добрый пример остался без влияния на массу народонаселения».¹⁶

Крестьянская реформа 1861 года, безоговорочно принятая поэтом,¹⁷ открывала призрачную возможность (впоследствии им осознанную) способствовать своим личным примером духовному совершенствованию людей. В письме Л. Н. Толстому от 3 декабря 1861 года¹⁸ Фет следующим образом выразил вдохновляющую его идею: «Нельзя и мудрствовать, и бить до

полусмерти некованую лошадь, стоящую с возом у горы, покрытой гололедницей. Когда-то и я мудрствовал, а теперь и я бьюсь с возами, молотками и, главное, с людьми. Это очень неаристократично, да ведь делать-то нечего, надо биться, не то попадешь в метафизики Хемницера. Я бы не говорил о себе, если бы не думал о вас и теперь весьма часто. Вы тоже и по природе и по положению деятель. Menschenverbesserer».¹⁹ Именно это ощущение себя Menschenverbesserer руководило Фетом и в его поэтической, и в его хозяйственной деятельности. Но он был противником всякого рода проповедничества, «наставленчества», ничем не прикрытой тенденциозности. «Мы толкуем о пользе искусства, — писал Фет в статье «„Что делать?“ Из рассказов о новых людях. Роман Н. Г. Чернышевского», — эта польза огромна и исключительна. Ночная сцена Ромео и Юлии не затем существует, чтобы учить юношей лазить по окнам; этому всякий мошенник научит гораздо лучше Шекспира. Но для ее уразумения необходимо, чтобы, среди обычных волнений духа, хотя одна волна его, хотя на миг достигла той же высоты, на которую воздвиглась эта сцена у Шекспира. А вызывать дух на подобные высокие колебания — значит очищать его и укреплять духовной гимнастикой. Это возвышение, очищение и укрепление духа есть исключительное призвание искусства. . . Искусство действительно не заботится о реальной жизни прямо и непосредственно, оно влияет на человеческую жизнь иным путем — возвышая дух, от которого зависит эта жизнь».²⁰ Таким образом, отвечая на выпады «Современника» против «искусства для искусства», Фет утверждал, что искусство — всегда для человека. Его поэтическая практика нисколько не противоречила хозяйственной деятельности, ибо сущностное содержание того и другого он видел в работе с душами людей.

Весьма показательна в этом отношении реакция Л. Н. Толстого на решение поэта заняться земледелием: «Нашему полку прибудет, и прибудет отличный солдат. Я уверен, что вы будете отличный хозяин».²¹ В другом письме, от 20 июня 1860 года, подчеркивая «писательскую сущность» Фета, он опять-таки приветствовал его хозяйственные планы: «Писатель вы, писатель и есть, и дай бог вам и нам. Но что вы, сверх того, хотите найти место и на нем копать, как муравей, эта мысль не только должна была прийти вам, но вы и должны осуществить ее лучше, чем я. Должны вы это сделать потому, что вы и хороший и здраво смотрящий на жизнь человек».²² Толстой, иными словами, не считал занятие Фета хозяйством уходом от себя, от своего поэтического призвания. Что касается содержания фетовских преоб-

¹⁴ Шатилов И. Н. О сельскохозяйственном образовании в России // Русский вестник. 1864. Т. 50. С. 322.

¹⁵ Фет А. А. Из деревни // Там же. С. 576.

¹⁶ Фет А. А. Из деревни // Там же. 1863. Т. 43. С. 470.

¹⁷ О своем отношении к реформе поэт неоднократно говорит на страницах деревенских очерков. Вот одно из высказываний: «. . . идеал всякого живого организма в будущем, а не в прошедшем. Потому-то нам и не нужно ни общинного владения, ни крепостного права. . .» (Фет А. А. Заметки о вольнонаемном труде // Русский вестник. 1862. Т. 39. С. 220).

¹⁸ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 352—353.

¹⁹ Menschenverbesserer (нем.) — улучшатель рода человеческого.

²⁰ Лит. наследство. 1936. Т. 25—26. С. 520.

²¹ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 1. С. 338.

²² Там же. С. 343.

разований, то они не только не вызывали каких-либо сомнений, нареканий со стороны писателя, но, напротив, восхищали его на всем своем протяжении. «Вашей хозяйственной деятельностью я не нарадуюсь, — писал он Фету, — когда слышу и думаю про нее. И немножко горжусь, что и я хоть немного содействовал ей».²³

Характеризуя реальную «идеологическую платформу» Фета, необходимо обратить внимание на то, что его миропонимание смыкается с общекультурной концепцией почвеннического направления в России.²⁴ Из трезвой оценки окружающего мира вырастает и фетовская земледельческая программа, и его отношение к проблеме народного образования, и вера в высшую разумность естественного развития природы и общества, а также убеждение в необходимости обратиться к своим «корням», без чего никакой прогресс немислим. При этом под «корнями народной жизни»²⁵ понималось, с одной стороны, религиозно-нравственное воспитание народа — «духовный» корень, с другой — «материальный, наше сельское хозяйство».²⁶ В своей преобразовательской деятельности Фет стремился соединить оба «корня», ибо он сознавал единство и взаимообусловленность этих двух сфер бытия. «Нравственное развитие — не гвоздь какой-нибудь, который можно произвольно забить в народ, как в стену. Оно уживается только с материальным довольствием», — писал он.²⁷

Страшную опасность видел поэт в теориях западных социалистов-утопистов: «У них идеал человека, — делился он с Толстым, — есть человек наслаждающийся физически».²⁸ Главная слабость всех этих учений, с точки зрения Фета, в их односторонности, в направленности, преимущественно, на удовлетворение материальных потребностей. Вполне понятно поэтому стремление Фета в своей практике избежать той или иной крайности и сосредоточить усилия на создании таких экономических условий, в которых крестьяне могли бы вести себя согласно своей истинно человеческой сущности. «Итак, — пишет он в „Заметках о вольнонаемном труде“, — прежде всего мне нужно было определить мои отношения к рабочим. Там, где нет дружбы, признательности и т. п., отношения должны основываться на справедливости, а в деле обязательств справедливость состоит в добросовестном их исполнении. Нанимая рабочего, я обязуюсь его тепло поместить, сытно кормить здоровою пищей, не требовать работ

свыше условия и исправно платить заработки. Кроме этого, мне хотелось, чтобы они чувствовали, что я дорожу их благосостоянием».²⁹ Воплощенная в практику, такая установка обеспечила постепенное осознание крестьянами своего нового отношения к земле, желание трудиться на ней, заметный рост их благосостояния, а в конечном счете — создание образцового хуторского хозяйства.

Однако практическое воплощение фетовской земледельческой программы оказалось делом трудным. Отсюда — многочисленные описания в деревенских очерках тех реальных сложностей, с которыми пришлось столкнуться ему «при осуществлении самого скромного земледельческого идеала»: «нерадивость работников, издержки всеми признанной «широты русской натуры»,³⁰ вечное упование на «авось» и «что Бог даст» и т. д. «...Рядом с ревностным ограждением своих полей от чужих потрав, — пишет Фет, — уживается совершенное равнодушие к убыткам от своей скотины. По тшательно связанным и сложенным копнам ходят коровы и втрое расстреплют и затопчут овса против того, что поедат. Это ничего, *свой живот*. Сплошь и рядом лошади перепачкают и пересорит отвезанный ворох ржи и насмерть объестся тут же. „Что станешь делать? Господь наказал!“».³² Подобная бесхозяйственность вызвала к необходимости явить пример хозяйствования. Деревенские очерки Фета пронизаны заботой об общем благосостоянии. В них слышится голос хозяина земли.

Рассуждая о свободе, Фет дает ей такое определение: «Свободный человек, поняв, например, что мы сидим в грязи, не ограничит свою деятельность праздною перефразировкой этого речения, а поищет средств вылезть из грязи. К этому первый шаг — сознание, как и насколько мы в грязи».³³ Отсюда — установка на факт, отсюда — требование «лишь бы правда была». Потому Фет и не боялся приводить такие примеры, которые могли быть легко истолкованы против него, как случилось с высмеянным Д. И. Писаревым рассказом о работнике Семене.³⁴ При этом ожесточенным нападкам подвергались, как правило, именно отдельные «разоблачающие» автора эпизоды, мелочи. Программа преобразования земледелия осталась непонятой. Не понята была идея, вдохновившая поэта на семнадцатилетний труд. Это явилось следствием резкого идейного размеже-

²⁹ Фет А. А. Заметки о вольнонаемном труде // Русский вестник. 1862. Т. 38. С. 364.

³⁰ Там же. Т. 39. С. 269.

³¹ См.: Фет А. А. Из деревни // Литературная библиотека. 1868. Февраль. С. 115—125.

³² Фет А. А. Из деревни // Русский вестник. 1864. Т. 50. С. 579.

³³ Фет А. А. Заметки о вольнонаемном труде // Русский вестник. 1862. Т. 39. С. 221.

³⁴ См.: Фет А. А. Из деревни // Русский вестник. 1863. Т. 43. С. 449.

²³ Там же. С. 348.

²⁴ См.: Тархов А. Е. Проза Фета-Шеншина (2, 375).

²⁵ Фет А. А. Наши корни // Русский вестник. 1882. Т. 157. С. 517.

²⁶ Там же. С. 521, 522.

²⁷ Фет А. А. Заметки о вольнонаемном труде // Русский вестник. 1862. Т. 39. С. 244.

²⁸ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2. С. 30.

вания на рубеже 50—60-х годов прошлого столетия. Сам факт публикации фетовских очерков в «Русском вестнике» был для революционно-демократической критики уже его характеристикой.

Однако в таком восприятии Фета обращает на себя внимание один момент. Видя в деятельности «ярого крепостника» логическое продолжение позиции «певца чистого искусства», радикальная критика тем самым подчеркивала единство личности поэта. Склонный к эпатажу Фет нередко декларировал свою «двойственность», но в то же время прекрасно сознавал, что «без общего мирозерцания, каково бы оно ни было, — все слова и действия человека, сошедшего с бессознательной quasi-инстинктивной стези, — только сумбур и ряд противоречий».³⁵ «...Я стараюсь всю жизнь познать самого себя, — писал он, — и знаю, что в моих выражениях я всегда ишу самого сильного, иногда доходящего до уродливого преувеличения, но вместе с тем я заклятый враг фразы».³⁶ Эту особенность Фета хорошо понимали современники из его окружения. Так, в некрологе о нем Н. Н. Страхов писал: «Он говорил, что поэзия и действительность не имеют между собою ничего общего, что как человек он — одно, а как поэт — другое. По своей любви к резким и парадоксальным выражениям, которыми постоянно блистал его разговор, он доводил эту мысль даже до всей ее крайности; он говорил, что поэзия есть ложь и что поэт, который с первого же слова не начинает лгать без оглядки, — никуда не годится. . . заметим, что поэт, говоря такие речи, конечно, не хотел унижить то, чем он жил и дышал, т. е. поэзию. Он хотел только со всюю резкостью выразить, до какой степени поэзия преобразует действительность, возводит ее в „перл создания“. . .»³⁷ Близко знавшие поэта люди не могли, не погрешив против истины, отказать его мирозерцанию в определенной системности, устойчивости.

Постижение единого, цельного фетовского миропонимания — одна из главных задач современных исследователей его жизни и творчества; решение ее невозможно без анализа всех сторон деятельности поэта. Он дал себе однажды такую полунутливую характеристику: «Солдат, коннозаводчик, поэт и переводчик». Познавание побудительных мотивов, содержания и целенаправленности его действий в каждой из этих сфер позволит приблизиться к постижению загадки Фета, откроет новые грани в его творчестве.

Исследование фетовских деревенских очерков и отраженной в них его деревенской практики позволяет увидеть, что 17-летний эксперимент по созданию образцового хозяйства на хуторе Степановка в Орловской губернии был

вполне логичным проявлением его писательской сущности, понимаемой как природная потребность воздействия на умы и сердца людей. Невозможность осуществления этого воздействия средствами своего искусства в изменившейся атмосфере конца 50-х — начала 60-х годов привела к необходимости поиска иной сферы приложения сил. С другой стороны, теоретическая установка Фета, направленная на духовное совершенствование людей в процессе создания образцового хозяйства, корректирует закрепленное за ним звание «певца чистого искусства». В предисловии к книге переводов сатир Ювенала, рассуждая о специфике искусства вообще и литературы в частности, поэт отмечает: «Говоря не тенденциями, искусство поучает своей красотой, а изображая безобразия, оно становится во внутренние противоречия и является отталкивающей бессмыслицей; поэтому музыкальная, живописная, скульптурная сатира или пропаганда как раз производит антиэстетическое, отталкивающее впечатление. Исключение представляет одна литература, так как слово может служить и искусству, и поучению, и красоте, и порицанию безобразия».³⁸ Как видим, эстетика Фета была гораздо шире, чем принято о ней думать.

Невозможность духовного совершенствования людей без создания соответствующих для этого материальных условий — принципиальное положение фетовской земледельческой программы. Оно вытекает из пантеистически осознанного им «тайного сродства природы и духа или даже их тождества» (2, 150). В этом отношении показателен один пример из деревенских очерков поэта. Сравнивая быт среднепоместного дворянина с крестьянским, Фет обращает внимание на отсутствие у крестьян потребности в красивом устройстве жизни: «Всюду одно и то же. Духота, зловоние самое разнообразное и убийственное, мухи, блохи, клопы, комары, ни признака человеческой постели, нечистота, доходящая до величия. . .»³⁹ Однако Фет понимает, что не следует требовать «чистоты» от людей, у которых все время поглощено заботами о необходимом.⁴⁰ Новые духовные потребности будут появляться у них одновременно с изменением их экономического положения, ибо главное средство воспитания, с точки зрения поэта, «сама экономическая среда».⁴¹

В результате фетовского эксперимента голый, безделанный участок степи («жирный блин, а на нем шиш», по словам Тургенева)⁴²

³⁸ Фет А. А. Предисловие // Сатиры Д. Юния Ювенала / В переводе и с примечаниями А. А. Фета. М., 1885. С. 8.

³⁹ Фет А. А. Из деревни // Русский вестник. 1863. Т. 43. С. 466.

⁴⁰ Фет А. А. Из деревни // Литературная библиотека. 1868. Февраль. С. 106.

⁴¹ Фет А. А. Наши корни // Русский вестник. 1882. Т. 157. С. 497.

⁴² Цит. по: Блок Г. П. Летопись жизни А. А. Фета / Публикация Б. Я. Бухштаба //

³⁵ Письма к графине С. А. Толстой // Вестник Европы. 1908. Январь. С. 219.

³⁶ Там же. С. 218.

³⁷ Страхов Н. Н. Несколько слов памяти Фета // Фет А. А. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. СПб., 1910. Т. 1. С. XLVIII.

превратился в процветающий хутор. На склоне лет Фет вспомнит об этом так: «...небольшой клочок земли, на который я выброшен был судьбой, подобно Робинзону, с полным неведением чуждого мне дела, заставил меня лично всему научиться, и действительно в течение семнадцати лет довести неусыпным трудом миниатюрное хозяйство до степени табакерочки». ⁴³ Достигнув в итоге своего предприятия, казалось бы, всего желаемого (образцовое хозяйство, «дворянское гнездо», возвращение себе имени Шеншина со всеми его привилегиями, признание при дворе), Фет тем не менее оказался в глубоком душевном кризисе. Все более открывавшаяся с годами очевидная невозможность распространения его эксперимента в конце концов привела к его свертыванию: идеал массового внедрения образцовых хозяйств, превращения страны в крупную земледельческую державу был недостижим. Вместо чаемого расцвета деревень, возрождения дворянских усадеб, общего подъема культурного уровня — разорение, обнищание, упадок. Реальное для отдельных хозяйств оказывалось утопией в государственном масштабе.

Кризис дворянства, оскудение, запустение дворянских усадеб, а с ними — разрушение дворянской культуры, деревенская жизнь, превратившаяся в «подобие одиночного заключения», ⁴⁴ — все это рождало ощущение близящегося краха страны, углубляло трагизм мировосприятия поэта. Дальнейшее проведение эксперимента сделалось бессмысленным и невозможным. «Затеял и привожу в исполнение, — пишет Фет Толстому 16 октября 1876 года. — совершенную реформу в своих делах. Пора концентрироваться и жить для себя. Сегодня были два покупателя на Степановку и „отрезите прах от ног ваших“. До такой степени все это меня мерзит». ⁴⁵

Тем не менее поистине грандиозный взлет его личностной силы был еще впереди. «В исключительно интуитивной юности моей, — писал Фет С. А. Толстой-Миллер 10 февраля 1880 года, — не могло быть и тени тех многообразных гражданских, экономических, философских интересов, которые теперь меня тайно волнуют и наполняют». ⁴⁶ Издание в течение десяти последних лет жизни (в 80-е годы) многочисленных переводов римских поэтов с предисловиями и обширными комментариями, четырех выпусков «Вечерних огней», трех книг переведенного на русский язык Шопенгауэра и трех томов воспоминаний (последний — «Ранние годы моей жизни» — был подготовлен поэтом к печати, а вышел уже после его смерти, в 1893 году) —

таков фетовский итоговый вклад в русскую культуру.

С прекращением хозяйственной практики (оно было озаглавлено продажей орловской Степановки и покупкой под Курском имения Воробьевка) не исчезла, однако, глубокая заинтересованность Фета в судьбе отечественного земледелия. В «Русском вестнике», «Московских ведомостях» и «Новом времени» печатаются его публицистические статьи. Их основное содержание концентрируется вокруг вопроса о необходимости, в силу действующего закона естественного поступательного развития природы, перехода в государственном масштабе от общинного к частному владению землей, о хуторском хозяйстве как единственно правильном пути развития земледелия страны на современном этапе.

Увидев в ходе степановского эксперимента на практике выгоды хуторского хозяйства, Фет до конца жизни выступал против общинного владения землей и круговой поруки — этих «банальных хвостов бывшего крепостного права». ⁴⁷ Поэт развивает выдвинутую еще в деревенских очерках мысль о том, что главное последствие (долженствующее быть) реформы 1861 года — «экономическая свобода и личный покой» ⁴⁸ работника. Их осуществлению в полной мере препятствует общинное владение, в нем — корень зла, причина грандиозного хозяйственного развала в стране.

Все это вместе взятое предопределило знакомство и содержательное общение А. Фета с ревностным проводником идеи развития хуторского хозяйства в нашей стране — Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным (1818 — 1893). Дадим о нем краткую биографическую справку. Внук Н. С. Мордвинова, владелец поместий в Саратовской и Пензенской губерниях, он воспитывался в доме дяди, Афанасия Алексеевича Столыпина, «бородинского героя и богатого саратовского помещика»; там и началось его увлечение проблемами сельского хозяйства. ⁴⁹ Примечательно, что возможное совершенствование последнего им мыслилось только на пути развития хуторов, о чем свидетельствует черновыи набросок его статьи, относящийся к 1848 году. Уже тогда он считал необходимым «отлучать ежегодно в продажу часть земель пустопозржих, государственных имуществ, взяв за пример, как таковое производится в Америке. Что вместе с тем образует у нас класс достаточных крестьян-хозяев, в котором нуждается Россия»; следует «предоставлять государственным крестьянам в заселенных государственных имениях покупать земли, на которые они поселены... Должно при этом наблюдать, чтобы крестьянские участки были бы достаточной величи-

А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985. С. 165.

⁴³ Фет А. Воспоминания. С. 373.

⁴⁴ Фет А. А. Кое-что о русском дворянстве. Фамусов и Молчалин // Русский вестник. 1885. Т. 178. С. 327.

⁴⁵ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 1. С. 453.

⁴⁶ Письма к графине С. А. Толстой. С. 220.

⁴⁷ Фет А. А. Наши корни // Русский вестник. 1882. Т. 157. С. 538.

⁴⁸ Там же. С. 507.

⁴⁹ Шереметев С. Д. Дмитрий Аркадьевич Столыпин. СПб., 1899. С. 4.

ны...».⁵⁰ Практические занятия по созданию хуторов в России начались им после Крымской кампании. Столыпин опубликовал ряд статей о хуторском хозяйстве, издавал специальные брошюры.

Понятно, с какой радостью был встречен Д. А. Столыпиным и А. А. Фетом правительственный указ от 13 июля 1889 года «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли...».⁵¹ Оба они сознавали, что из критического состояния хозяйства сельское хозяйство может вывести решение ключевого вопроса: по какому пути — общинного или хуторского владения — пойдет дальнейшее развитие земледелия. Реакцией Фета на обнаружение правительственного указа была его публикация в «Московских ведомостях»⁵² «По поводу статьи „Семейные участки“».⁵³ Поэт развивает здесь мысль о том, что «русский крестьянин мечтает о собственности», о необходимости превращения крестьянской земли в вотчинное, наследственное владение. Выступая против реформаторов, которые «сохранили общину и разрушили патриархальный и семейный принцип, которым крепка Русь», он выявляет противоречие между общиной и идеей свободы, провозглашенной реформой 19 февраля 1861 года, доказывает, что община невозможна среди свободных людей, что это «вино новое в старые мехи».⁵⁴ Статья заканчивается призывом приступить к деятельному улучшению быта народа.

«Я читал Вашу прекрасную статью в „Московских ведомостях“ от 17 октября, — написал Д. А. Столыпин Фету 27 октября 1889 года. — Желаю, чтобы были последователи Вашему почину».⁵⁵ Интересно, что в обращениях Д. А. Столыпина к А. А. Фету явно подчеркивается приоритет последнего: «Весьма рад, что статья моя получила Ваше одобрение. Я послал ее в редакцию „Московских ведомостей“... Для большей уверенности приложил к статье письмо Ваше ко мне, в котором выражено высокоценное мною одобрение Ваше».⁵⁶ Возможно, это связано с тем, что Фет одним из первых начал заниматься фермерством и созданием хуторов, выступил в печати с призывом последовать его примеру. Эти люди, объединенные идеей, «идущей в разрез с общепринятыми понятиями в литературе, а также частью и с общественными»⁵⁷ последовательно отстаивали свои убеждения, видя в них благо для страны.

⁵⁰ Заметки Дм. Арк. Столыпина о сельском хозяйстве и развитии частной промышленности. Черновики. (1848) // ЦГИА. Ф. 1088, 2.934.

⁵¹ Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. IX. 1889. СПб., 1891. С. 535.

⁵² Фет А. А. По поводу статьи «Семейные участки» // Московские ведомости. 1889. 17 окт. № 287.

⁵³ Победоносцев К. П. Семейные участки // Русский вестник. 1889. Т. 204. С. 56—73.

⁵⁴ Фет А. А. По поводу статьи «Семейные участки».

⁵⁵ ОР ГБЛ. Ф. 315. 11.25.

⁵⁶ Там же. Письмо от 28 октября 1889 года.

⁵⁷ Там же. Письмо от 23 декабря 1889 года.

Результатом их совместных действий явилась брошюра «Сельскохозяйственные очерки»,⁵⁸ в которой доказываются преимущества личного, подворного пользования землей перед общинным, приводится подворная опись хуторов, построенных в имениях Д. А. Столыпина «и в имениях брата княгини Марии Афанасьевны и Натальи Афанасьевны Шереметьевой». «Хутора эти в цветущем состоянии и доходы с имений увеличились».⁵⁹

Поздние публицистические выступления Фета также не остались незамеченными. Как и в 60-е годы, его противники обвиняют поэта в жажде наживы: «... г. Фет говорит и о „семейных участках“, и о нераздробляемости имений вообще, и о батрачестве, и о крестьянском банке, и о вреде поземельной общины. На каждую из этих тем он находит возможность сказать что-нибудь поистине замечательное — только замечательное, выражаясь словами гоголевского Осипа, „с другой стороны“».⁶⁰ Оказывается, Фетом руководит «страстное желание обеспечить помещичьи хозяйства безземельными батраками — желание, свойственное в настоящую минуту не одному г. Фету».⁶¹

В ответной статье на эту заметку,⁶² вошедшей затем в брошюру «Сельскохозяйственные очерки», в обычной для него метафорической манере Фет доказывает естественную необходимость перехода к хуторскому хозяйствованию: «... критику неприятна мысль, что для доходного экономического положения земельная собственность не должна, подобно всякому животному организму, уклоняться от известной средней величины, так как громадный Микула Селянинович вылезет от собственной тяжести, а лилипут бессилен среди обычных размеров вещей. В силу этого закона в больших имениях строятся отдельные экономические хутора». С позиций собственного ему «органицизма» хутора рассматривались поэтом как органическая реальность жизни. «Как бы в стране, — писал он, — получившей экономическую свободу, ни замедлялось естественное течение искусственными тормозами, прибывающая сила потока обойдет все плотины и побежит по естественному наклону к морю общечеловеческих потребностей».

В силу исторических обстоятельств эта реальность надолго стала утопией.

⁵⁸ Сельскохозяйственные очерки. М., 1889. 40 с. Брошюра состоит из двух статей Фета («По поводу статьи „Семейные участки“» и «Ответ на заметку „Вестника Европы“» и статьи Столыпина «Несколько слов о бытовом и экономическом устройстве крестьян по поводу статьи А. А. Фета».

⁵⁹ ОР ГБЛ. Ф. 315, 11.25. Письмо от 23 декабря 1889 года.

⁶⁰ Из общественной хроники. Экскурсия г. Фета в область публицистики // Вестник Европы. 1889. Кн. 11. С. 462.

⁶¹ Там же.

⁶² Фет А. А. Ответ на заметку «Вестника Европы» // Московские ведомости. 1889. № 313.

Е. И. Меламед

ИЗ КОММЕНТАРИЯ К «ИСТОРИИ МОЕГО СОВРЕМЕННОКА» В. Г. КОРОЛЕНКО (НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

Родословная В. Г. Короленко и ранние периоды его биографии — житомирский (1853—1866) и ровенский (1866—1871) — изучены недостаточно. В связи с этим соответствующие страницы комментария к «Истории моего современника», значительно обогащенного в свое время усилиями А. В. Храбровицкого,¹ все еще содержат пробелы. Ниже представлены материалы, которые восполняют некоторые из них. Основанные на данных архивов, центральных и периферийных, они ориентированы на текст «Истории», позволяя уточнить и документировать отдельные эпизоды в главной книге Короленко.

«По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казацкого полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посередине. . .»² Комментируя эти строки «Истории», дочери писателя сообщили, что в семейном архиве сохранилась копия какого-то старинного документа, из которого видно, что упомянутый полковник звался Иван Король и жил в XVII веке.³ Что касается печати, то по ее описанию польский исследователь З. Бараньский установил, что род Короленко имел право пользоваться одним из древнейших польских гербов «Корабль и ладья».⁴

Достоверность семейного предания подтвердили и результаты поисков в Центральном государственном историческом архиве СССР, где нами были просмотрены дела о дворянстве всех носителей фамилии Короленко. Большинство из них оказались выходцами из Полтавской губернии и считали основателями своего рода того же Ивана Короля и его отца Григория.⁵ Так, доказывая в 1784 году «благородное свое

происхождение», полковые хорунжи Семен и Иван Короленко упоминали о том, что «по старинной меской города Миргорода урядовой книге показаны 1655 и 1656 годов Григорий Король сотником миргородским и в заседании на уряде Миргородском. . . 1661 года Иван Король полковником Войска Запорожского Миргородским наместным. . .»⁶

Ближайшие предки Короленко, его дед и отец, попыток восстановить свои потомственные права не предпринимали, вследствие чего мы не располагаем фактическими данными о тех поколениях, которые отделяют Ивана Короля от прадеда писателя Якова Короленко. Мало что известно и о последнем. В «Истории» автор именуется им, со слов отца, полковым писарем,⁷ в другом месте — запорожцем и казацким старшиной, не скрывая, что речь идет о «смутном семейном предании».⁸ Между тем Яков Короленко вызывает особый интерес, поскольку является прадедом не только писателя, но и выдающегося ученого, академика В. И. Вернадского. В набросках Вернадского читаем: «Прадед Владимира Галактионовича был и моим прадедом, так как его дед Афанасий Яковлевич и моя бабушка Екатерина Яковлевна Короленко, по мужу Вернадская (1781—1844), были родные брат и сестра».⁹

А. Я. Короленко (ок. 1787—ок. 1857) писатель застал еще в живых. Одно из ранних впечатлений, отразившихся в «Истории», связано с путешествием к деду в Кишинев, свершенном, судя по упоминанию Крымской войны, когда «современнику» было не более трех лет.¹⁰ С этим эпизодом, однако, не все ясно. По сведениям, которые исходят от дальней родственницы и крестной матери писателя Э. И. Ржешовской, хорошо знавшей А. Я. Короленко, тот, выйдя на пенсию в должности управляющего Радзивилловской таможни, переехал в Хотин, где оставался до самой смерти.¹¹ Основываясь на этих сведениях, А. В. Храбровицкий высказал предположение, что Короленко в данном случае ошибся: его возили не к деду,

¹ См.: *Короленко В. Г.* История моего современника / Подготовка текста и примечания А. В. Храбровицкого. М., 1965 (далее, за исключением особо оговоренных случаев, приводятся ссылки на это издание).

² Там же. С. 11—12.

³ См. комментарий С. В. и Н. В. Короленко в кн.: *Короленко В. Г.* История моего современника. М., 1948. Кн. 1—2. С. 598.

⁴ *Barański Zbigniew.* Włodzimierz Korolenko i literatura Polska // *Slavia orientalis.* 1959. VII. № 2—3. С. 6.

⁵ ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 23. Ед. хр. 6977. Л. 4; Ед. хр. 6978. Л. 5, об., 35, 38.

⁶ Там же. Ед. хр. 6978. Л. 7.

⁷ *Короленко В. Г.* История моего современника. С. 12.

⁸ *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 10. С. 166.

⁹ Страницы автобиографии В. И. Вернадского / Сост. Н. В. Филиппова. М., 1981. С. 13.

¹⁰ *Короленко В. Г.* История моего современника. С. 8—9.

¹¹ Подробнее см.: *Меламед Ю.* «Привіт з батьківщини. . .» // *Зоря Полтавщини.* 1986. 8 июня.

а к дяде, родному брату отца Никтополеону Афанасьевичу, действительно жившему в Кишиневе;¹² в 50-е годы прошлого столетия он занимал должность советника казенной палаты Бессарабской области.¹³ Однако нельзя исключить и того, что мальчика возили все-таки к деду, но не в Кишинев, а в Хотин, тем более что, расположенный на правом берегу Днестра (возможно, именно переправа через эту реку, а не через Прут, названный предположительно, запечатлелась в детской памяти писателя), он в описываемое время входил в состав той же Бессарабской области.¹⁴

Своего деда со стороны матери Иосифа Казимировича Скуревича (1798—1853) Короленко не знал; он умер в год его появления на свет. Отрочество и юность И. К. Скуревича совпали с войной против Наполеона. В армию он вступил четырнадцатилетним, принимал участие в изгнании неприятеля из пределов России, в заграничных походах. В 1817 году поручиком Екатеринославского кирасирского полка И. К. Скуревич выходит «по домашним обстоятельствам» в отставку и вскоре занимает скромную должность заседателя Житомирского земского суда,¹⁵ а еще позже, продав вместе с братом остатки отцовского наследства, становится посессором, т. е. арендатором чужих имений.

В «Истории» Короленко касается именно этого периода в жизни деда и приводит семейное предание, согласно которому тот «одно время был юридическим владельцем и фактическим распорядителем огромного имения, принадлежавшего графам В». По словам писателя, «старый граф смертельно заболел, когда его сын, служивший в гвардии в Царстве Польском, был за что-то предан военному суду. Опасаясь лишения прав и перехода имения в другую линию, старик призвал известного ему шляхтича и, взяв с него соответствующее обещание, сделал завещание в его пользу. После этого старик умер, сын был сослан в Кавказ рядовым, а шляхтич стал законным владельцем огромных имений. . . Когда через несколько лет молодой граф, отличавшийся безумною храбростью в сражениях с горцами, был прощен и вернулся на родину, то шляхтич пригласил соседей, при них сдал, как простой управляющий, самый точный отчет по имениям и огромные суммы, накопленные за время управления.

¹² Храбровицкий А. В. Летопись жизни и творчества В. Г. Короленко. М., 1970. Вып. 1. С. 10 (неопубликованная рукопись, находится в ЦСБ ГБЛ и рукописном отделе ИРЛИ).

¹³ Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве. СПб., 1853. Ч. II. С. 7.

¹⁴ Ныне город Хотин — районный центр в Черновицкой области.

¹⁵ Государственный архив Житомирской области (далее ГАЖО). Ф. 146. Оп. 1. Ед. хр. 5504. Л. 4, об.

Молодой аристократ обнимал его, называл своим благодетелем и клялся в вечной дружбе. Но очень скоро забыл все клятвы и сделал какие-то нечестные и легкомысленные посягательства в семье своего благодетеля. Дед оскорбил барчука и ушел от него нищим, так как во все время управления имениями не позволял себе „самовольно“ определить цифру своего жалованья. А магнат об этом после ссоры и не подумал. . .».¹⁶

Не вызывает сомнения, что писателю была известна не расшифрованная комментаторами фамилия, обозначенная криптонимом «В». Какая это фамилия, выясняется из архивных документов, в которых И. К. Скуревич фигурирует в качестве уполномоченного управляющего Степанской волости (местечка Степани Ровенского уезда Вольнской губернии и окрестных сел), принадлежавшей сначала «старому графу» Станиславу-Григорию Ворцелю,¹⁷ а затем его старшему сыну Николаю-Якову,¹⁸ сводному брату Станислава-Габриэля Ворцеля, известного революционера-эмигранта, друга и соратника А. И. Герцена.

Биография Николая Ворцеля сопоставима с рассказанной Короленко историей как по времени, так и по существу. Он также служил в Царстве Польском и однажды предстал перед судом. Изобличенный в деятельном членстве в Польском патриотическом обществе и связях с декабристами, тридцатисемилетний подполковник в 1826 году был «по высочайшей воле» лишен чинов, графского достоинства и отправлен на Кавказ. Однако, чтобы заслужить прощение, ему потребовалось не «несколько лет», а семнадцать; в родные места он вернулся лишь в 1843 году.¹⁹

К тому времени отца его уже не было в живых; следовательно, Н. Ворцель мог вступить во владение своей долей Степанской волости

¹⁶ Короленко В. Г. История моего современника. С. 18.

¹⁷ О нем см.: *Limanowski Boteslaw*. Stanislaw Worcell. Zyciorys. Warszawa, 1948. S. 11—16.

¹⁸ Государственный архив Ровенской области (далее ГАРО). Ф. 384. Оп. 5. Ед. хр. 113. Л. 211, 262, 356, 358. См. также: *Бондаренко Е.* 1) Нездійснений задум В. Г. Короленка // Радянська Житомирщина. 1976. 14 ноября; 2) Розповідають архівні матеріали // Там же. 1978. 26 июля. В обеих статьях упоминается найденная в Житомирском облгосархиве достоверность на имя И. К. Скуревича, выданная ему (6 марта 1844 года) Н. Ворцелем на право ведения всех дел, касающихся Степанского имения. Автор, однако, никак не связывает Н. Ворцеля с графом В. и, кроме того, ошибается, полагая, что Короленко мог узнать о его младшем брате от деда.

¹⁹ *Кругляк Б. А.* Станіслав Ворцель // Український історичний журнал. 1969. № 3. С. 141; ср.: ГАЖО. Ф. 146. Оп. 1. Ед. хр. 1525. Л. 64, 81—82.

(половина ее, принадлежавшая младшему брату, активному участнику польского восстания 1831 года, была конфискована и отошла к казне)²⁰ лишь через посредство деда Короленко, который, скорее всего, был не юридическим наследником старого графа, а именно уполномоченным управляющим, т. е. особо доверенным лицом. Косвенным же подтверждением того, что богатого вельможу и немущего шляхтича связывали больше чем деловые отношения, служит тот факт, что восприемницей младшей дочери И. К. Скуревича Елизаветы, родившейся в той же Степани в 1840 году, была «Анна Ворцелева вдова».²¹

13 сентября 1905 года, рассказывая в письме к брату Иллариону о начале работы над «Историей», Короленко писал: «Теперь я живу в атмосфере нашего двора в Житомире, среди его обитателей, начиная со старого Поляновского».²²

Поляновский был хозяином дома, в котором будущий писатель провел большую часть своего детства и где ныне находится его литературно-мемориальный музей.²³ В «Истории» Короленко не скрывает, что характеристика «пана коморника» (т. е. землемера), как именовали его соседи, основана на позднейших рассказах и что сам он «вполне ясно» помнит Коляновского (как и некоторые другие персонажи, тот носит несколько видоизмененную фамилию) «в последние дни его жизни».²⁴ Сколько же лет было Короленко в канун смерти и похорон домохозяина, описанных уже по собственным впечатлениям? Четыре года!

Факт этот устанавливается благодаря найденной в фондах Житомирского облгосархива выписке из «Метрической погребательной Житомирского прихода книги», из которой явствует, что «тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года августа двадцатого дня в городе Житомире умер от водянки помещик житомирского уезда Казимир Поляновский. . . имевший от роду семьдесят шесть лет».²⁵ Поскольку в

других документах, находящихся в «Деле по иску помещика Казимира Поляновского на помещика Феликса Поляновского и его наследников о разделе имени села Сколубова», покойный именовал себя «Казимиром Фадеевым сыном» и «бывшим Житомирским граничным коморником»,²⁶ можно с уверенностью заключить, что речь идет о «том самом» Поляновском, а не о других носителях этой довольно распространенной фамилии. О том же свидетельствует и упоминание села Сколубова (современное название Сколобов; находится в Володарск-Волыньском районе Житомирской области). Оно фигурирует и в «Истории», где Короленко рассказывает, как однажды, накануне реформы 1861 года, гостил здесь в усадьбе, которую после смерти Поляновского унаследовала его вдова.²⁷

Последнюю звали Нарцизой Валентиновной. От «пана-коморника» у нее было двое дочерей: Софья-Северина, родившаяся 1 ноября 1851 года, и Адольфина, чье появление на свет — 5 июля 1857 года — едва не совпало со смертью отца. О добрых отношениях между жильцами и домохозяевами в определенной степени свидетельствует тот факт, что при крещении младшей из них присутствовала в качестве «восприемницы» мать писателя Эвелина Иосифовна.²⁸ А годом раньше, когда родилась сестра Короленко Мария, аналогичную роль выполняли Н. В. Поляновская и ее старшая дочь.²⁹

Из автобиографии Короленко можно узнать, что первоначальное образование он получил в пансионе Валентия Рыхлинского, «в свое время лучшим заведением этого рода» в его родном городе.³⁰ Еще более высокая оценка этого пансиона дается в «Истории», где ему посвящена специальная глава (X во второй части первого тома): здесь автор называет его «лучшим училищем», какое он «знал в своей жизни».³¹

Уже одного этого достаточно, чтобы привлечь внимание к житомирскому пансиону и первым наставникам писателя. А ведь Валентин Михайлович Рыхлинский (таково его полное имя)³² был не только наставником (и дальним родственником) Короленко, но и одним

²⁰ ГАРО. Ф. 384. Оп. 5. Ед. хр. 113. Л. 358.

²¹ ОР ГБЛ. Ф. 135. III. 54.8 (выписка из «метрики» Е. И. Скуревич).

²² Аверин В. Б. Из неопубликованных писем В. Г. Короленко // Русская литература. 1973. № 1. С. 106.

²³ Правда, мемориальная доска, установленная на здании музея, извещает, что писатель и родился здесь. Но это ошибка (см.: Короленко В. Г. История моего современника. С. 931—932 (прим.); Комсомольска зірка (Житомир). 1985. 12 окт.); Комсомольска зірка (Житомир). 1985. 12 окт.); Комсомольска зірка (Житомир). 1985. 12 окт.); Комсомольска зірка (Житомир). 1985. 12 окт.); Украинская Советская Энциклопедия. К., 1981. Т. 5. С. 319; Памятники истории и культуры Украинской ССР. Каталог-справочник. К., 1987. С. 157).

²⁴ Короленко В. Г. История моего современника. С. 26.

²⁵ ГАЖО. Ф. 146. Оп. 1. Ед. хр. 4723. Л. 174.

²⁶ Там же. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 331. Л. 1, 49.

²⁷ Короленко В. Г. История моего современника. С. 61—62.

²⁸ ГАЖО. Ф. 146. Оп. 1. Ед. хр. 4723. Л. 168—168, об.

²⁹ Храбровицкий А. В. Летопись жизни и творчества В. Г. Короленко. Вып. 1. Л. 15, об. (рабочий экземпляр в архиве составителя).

³⁰ Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 167.

³¹ Короленко В. Г. История моего современника. С. 115—116.

³² Список дворян Волынской губернии. Житомир, 1906. С. 128. Ср.: ГАЖО. Ф. 146. Оп. 1. Ед. хр. 5218.

из прототипов старика гарибальдийца Максима Яценко, героя «Слепого музыканта».³³

Как видно из документов, в 1857 году, когда Рыхлинский появился в Житомире и открыл здесь пансион, ему было 54 года.³⁴ Ранее он занимался «приготовлением малолетних» в Виннице, где окончил гимназию и в 1824 году выдержал экзамен на звание частного учителя. В одном из прошений Рыхлинский упоминает, что удостоился похвалы Н. И. Пирогова во время посещения тем Житомира (в бытность попечителем Киевского учебного округа) в 1859 году.³⁵

Пансион Рыхлинского представлял собой учебно-приготовительное заведение для мальчиков, программа которого соответствовала двум классам гимназии.³⁶ Шире, чем в гимназии, здесь знакомили с основными европейскими языками, «дабы воспользоваться,— как сказано в записке, поданной Рыхлинским училищному начальству,— свежей детской памятью, свойственной юному возрасту».³⁷ Во времена Короленко пансион помещался на Девичьей площади.³⁸

Хотя автор отдавал себе отчет, что в житомирском пансионе отнюдь не «господствовало последнее слово педагогической науки», ему нравилось здесь все, «кроме учителя математики пана Пашковского»³⁹ (который, как выяснилось, был родственником Рыхлинского и жил в его семье),⁴⁰ и прежде всего — «свой особенный тон» взаимной терпимости и «чувство какой-то особенной близости, почти товарищества с воспитателями». Среди них наибольшими симпатиями Короленко пользовался некий мосье Гюгенет, которому уделено и значительное место в его воспоминаниях. «Гюгенет,— пишет он,— был молодой француз, живой, полнокровный, подвижной, очень веселый и необыкновенно вспыльчивый. Мы слушались его беспрекословно там, где ему приходилось приказывать, и очень любили его дежурства, которые проходили необыкновенно весело и живо».⁴¹

Обратившись к послужным спискам Виктора (Бенедикта) Викторовича Гюгнена, узнаём, что «француз» был (до 1888 года) швейцарским

подданным. Он родился 7 марта 1836 года⁴² в кантоне Невшатель, где окончил и гимназию.⁴³ В России Гюгнен жил с 1861 года; пансион Рыхлинского был, по-видимому, первым местом его службы. В дальнейшем, в 1863—1864 годах, его имя встречается в списках аналогичного частного учебного заведения, возглавлявшегося старшим учителем Житомирской гимназии И. Харским,⁴⁴ конкурентом В. М. Рыхлинского, что объясняет следующие строки из «Истории»: «Под конец моего пребывания в пансионе добродушный француз как-то исчез с нашего горизонта. Говорили, что он уезжал куда-то держать экзамен».⁴⁵

С февраля 1866 года В. В. Гюгнен приступил к преподаванию в Житомирской гимназии,⁴⁶ где к тому времени уже учился Короленко. Таким образом, их мимолетная встреча, описанная в «Истории»,⁴⁷ во время которой учитель якобы не пожелал узнать своего бывшего воспитанника, вполне могла произойти. Однако много лет спустя в интервью газете «Вестник Воляни» Гюгнен уверял, что Короленко ошибся, приняв за него учителя немецкого языка Зиффермана, на которого он был очень похож.⁴⁸ Видимо, так и было; во всяком случае, вывод писателя о том, что в казенном учреждении, каковым являлась гимназия, «веселый Гюгенет тоже стал казенным»,⁴⁹ не подтверждается свидетельствами других мемуаристов, в памяти которых В. В. Гюгнен и в более поздние годы (он умер 10 января 1913 года в Житомире)⁵⁰ предстает «большим шутником и очень добрым человеком», дружившим со своими учениками.⁵¹

⁴² Эта дата значится на его надгробии, которое сохранилось на житомирском православном кладбище.

⁴³ ГАЖО. Ф. 72. Оп. 1. Ед. хр. 1156. Л. 4, об.; Ф. 73. Оп. 2. Ед. хр. 394. Л. 3, об.

⁴⁴ Там же. Ф. 71. Оп. 1. Ед. хр. 1423. Л. 14, об., 23, об.

⁴⁵ Короленко В. Г. История моего современника. С. 78. Экзамены Гюгнен тоже держал, но позднее: в 1865 году — на право частного обучения — в Житомирской гимназии и в октябре 1867 года — на звание учителя французского языка — в Киевском университете Св. Владимира (ГАЖО. Ф. 72. Оп. 1. Ед. хр. 1156. Л. 1, об., 29).

⁴⁶ ГАЖО. Ф. 72. Оп. 1. Ед. хр. 1156. Л. 3.

⁴⁷ Короленко В. Г. История моего современника. С. 78.

⁴⁸ Вестник Воляни. 1907. 15 авг. Фрагмент этого интервью помещен в комментариях В. Б. Аверина (Короленко В. Г. История моего современника. Л., 1976. Т. 1—2. С. 515).

⁴⁹ Короленко В. Г. История моего современника. С. 78.

⁵⁰ Жизнь Воляни. 1913. 11 янв.; Волинская почта. 1913. 11 янв. (здесь же в № 12 от 14 января помещены стихи А. Винея «На смерть Гюгнена»).

⁵¹ Запись беседы с Я. Н. Эйдельманом (отец писателя и историка Н. Я. Эйдельмана)

³³ См.: Батюшков Ф. Д. В. Г. Короленко как человек и писатель. М., 1922. С. 12; ср.: ИРЛИ. Шифр 15461/ХСIV б. 4. Л. 11.

³⁴ ГАЖО. Ф. 71. Оп. 1. Ед. хр. 1313. Л. 12, об.

³⁵ Там же. Ед. хр. 1427. Л. 9, об.

³⁶ Там же. Л. 2.

³⁷ Там же. Л. 2, об.

³⁸ Там же. Ед. хр. 1465. Л. 8—9; Меламед Ю. Адреса — Дівоча площа // Комсомольська зірка (Житомир), 1986. 8 февр. Сейчас это район улиц Красного Креста и Парижской коммуны.

³⁹ Короленко В. Г. История моего современника. С. 72—73.

⁴⁰ ГАЖО. Ф. 71. Оп. 1. Ед. хр. 1313. Л. 58, об., 118, об. Имя Пашковского встречается здесь в двух вариантах: Бронислав и Мирослав.

⁴¹ Короленко В. Г. История моего современника. С. 75.

Касаясь попутно судьбы пансиона Рыхлинского, автор «Истории» упоминает о его закрытии вследствие чьего-то доноса как о событии, предшествовавшем его переезду из Житомира в Ровно.⁵² Архивные документы позволяют установить точную дату этого события — 31 июля 1864 года.⁵³

Первым из соседей-чиновников, с которыми семья Короленко познакомилась по приезду в Ровно, Короленко называет архивариуса местного суда лана Крыжановского.⁵⁴ Под этой фамилией ровенский чиновник фигурирует и в именных указателях к «Истории», между тем в действительности его звали несколько иначе — Шимон Кржижановский.⁵⁵

Сохранилось документальное подтверждение того, что чудак-архивариус иногда пренебрегал своими обязанностями и пропалал со службы. Это письмо отца писателя, ровенского уездного судьи Галактиона Афанасьевича Короленко острожному уездному исправнику от 31 августа 1867 года о том, что Кржижановский неделей ранее подал «рапорт по болезни, не состоя больным, и вслед за тем самовольно отлучился из города. . . к родственнику своему». Ввиду того что предстояла губернаторская проверка (о ней упоминается в «Истории»), а Кржижановский не сдал находящегося в его ведении архива, судья настоятельно требовал доставить его к месту службы.⁵⁶

После переезда в Ровно Короленко регулярно проводил каникулы в деревне Харалуг (в «Истории» Гарный Луг; ныне Корецкого района Ровенской области), представлявшей «настоящее гнездо. . . выродившегося панства»: на шестьдесят крестьянских дворов здесь приходилось около двух десятков шляхтичей-дуселадельцев.⁵⁷

Как и название деревни, фамилии представителей «отжившего сословия» также изменены. Напомню, уточняя попутно имена и отчества, что реальный Константин Захарович Охманович стал Лохмановичем, Ромуальд Иосифович Погорельский — Погорельским, братья Антон Иосифович и Фортунат Иосифович Баньков-

ские — Банькевичами, а отставной капитан Казимир Иосифович Туцевич, дядя автора (женатый на родной сестре его матери Каролине Иосифовне), в чьей усадьбе он, собственно, и гостил, — Курцевичем.

«Дядя-капитан» — один из главных героев главы «Гарнолужское панство». Повествуя о распрах помещиков, Короленко опирался на его рассказы, но, услышанные полувеком ранее, они не вполне точно отложились в памяти писателя.

Из «Истории» следует, что происшедший в усадьбе Курцевича пожар был делом рук «заведомого ябедника» Банькевича, который таким образом сводил счеты с соседом-помещиком, между тем из обнаруженного нами подлинного судебного дела⁵⁸ видно, что акт мести исходил от Охмановича. В своем «донесении» приставу 2-го стана Ровенского уезда, поданном 16 октября 1858 года (на следующий день после случившегося), К. И. Туцевич прямо указывает: «Этот пожар начался от. . . умышленного поджога, в коем подозреваю помещика Охмановича, питающего ко мне злобу за уворованные вещи из моего амбара, которые отысканы в доме Охмановичей, а паче всего в подаче мною рапорта в палату государственных имуществ о краже казенного леса, который в части еще находится на его Охмановича дворе».⁵⁹

Нуждается в уточнении описание и другого эпизода, упомянутого в «донесении», — о краже Охмановичем вещей из амбара Туцевича. Инцидент этот, явившийся жестоким ударом по всему гарнолужскому панству, по словам Короленко, закончился ничем: «Капитан не только не начал дела, простиив „маленькую случайность“, но впоследствии ни одно семейное событие в его доме. . . не обходилось без присутствия живописной фигуры Лохмановича».⁶⁰ В действительности же «дело» возникло. В другом прошении — от 18 декабря 1858 года — Туцевич сообщает, что за кражу вещей из его амбара Охманович был приговорен Ровенским уездным судом к ссылке в Сибирь, от которой он был освобожден лишь по случаю высочайшего манифеста.⁶¹ Согласно тому же источнику, в 1856 году, когда произошла кража, все помещики Харалуга потребовали от властей, чтобы Охмановичи были высланы из деревни «как вредные члены общей жизни».⁶²

А вот дело о пожаре и вправду закончилось ничем. Явных улик не было, и после длительной переписки, многочисленных допросов и очных ставок противники пришли к примирению, прости друг другу «все личные обиды».⁶³

16 июня 1977 года (архив автора); ср.: *Боцановский В.* Учителя В. Г. Короленко // Жизнь искусства. 1922. № 3. С. 5 (указано А. В. Храбровицким). Подробнее о В. В. Гюгнене см.: *Меламед Ю.* Вчитель В. Г. Короленка // Зоря комунізму (Житомир). 1984. 15 сент. С. 5.

⁵² Короленко В. Г. История моего современника. С. 115—116.

⁵³ ГАЖО. Ф. 71. Оп. 1. Ед. хр. 1465. Л. 8—9; ср.: Центральный государственный исторический архив УССР. Ф. 707. Оп. 30. Д. 274. Л. 1.

⁵⁴ Короленко В. Г. История моего современника. С. 122.

⁵⁵ ГАРО. Ф. 384. Оп. 5. Ед. хр. 966. Л. 28.

⁵⁶ Там же. Ед. хр. 968. Л. 278.

⁵⁷ Короленко В. Г. История моего современника. С. 174.

⁵⁸ Дело о помещика Охмановича, заподозренного в поджоге имения помещика Туцевича в с. Харалуг (ГАРО. Ф. 384. Оп. 5. Ед. хр. 826).

⁵⁹ Там же. Л. 6, об. — 7.

⁶⁰ Короленко В. Г. История моего современника. С. 180.

⁶¹ ГАРО. Ф. 384. Оп. 5. Ед. хр. 826. Л. 92.

⁶² Там же. Л. 92, об. — 96 (листы неправильно сшиты).

⁶³ Там же. Л. 190.

В конце четвертой части первого тома «Истории» автор рассказывает о последних месяцах жизни своего отца, когда, смертельно больной, он стремился дослужить положенный срок и оставить семье пенсию. Иллюстрацией к этим страницам могут служить сохранившиеся в фонде Ровенского уездного суда две записки Г. А. Короленко от 21 октября и 8 декабря 1867 года, в которых он извещал, что не сможет явиться в присутствии из-за болезни,⁶⁴ и журнал заседаний суда, из него видно, что в последний раз Г. А. Короленко появился на службе 10 июля 1868 года. После этого его имя встречается лишь однажды; под датой 31 июля 1868 года сделана следующая запись: «Судья сего суда Короленко после долговременного страдания болезнью скончался».⁶⁵

⁶⁴ Там же. Ед. хр. 968. Л. 327, 363.

⁶⁵ Там же. Ед. хр. 1347. Л. 51.

Накануне, 30 июля, по совету своего духовника, приходского священника Ровенской соборной церкви А. Барановича, Г. А. Короленко продиктовал письмо к известной благотворительнице графине А. Д. Блудовой. Дошедшее до нас в составе ее архива, оно также подтверждает, что последние помыслы отца сын охарактеризовал верно. Взывая к милосердию адресата, судья писал о том, что мысль о будущем семьи, остающейся без средств к существованию, «терзает его душу страшными мучениями».⁶⁶

⁶⁶ ЦГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ед. хр. 2063. Л. 1—2. Содержание этого письма изложено А. В. Храбровицким в заметке «Лист батька В. Г. Короленка» (Червоний шлях (Ровно). 1974. 7 сент.).

Л. Н. ТОЛСТОЙ ГЛАЗАМИ НОВОЗЕЛАНДСКОГО ЖУРНАЛИСТА

(ПУБЛИКАЦИЯ АЙРИН ЗОХРАБ (*Новая Зеландия*))

Во второй половине 1880-х—1890-е годы слава Толстого, распространяясь по всему миру, достигла и Новой Зеландии. Ревностным его почитателем и приверженцем его учения стал в этой «самой дальней обетованной земле»¹ Гарольд У. Уильямс (Williams, 1876—1928),² сын священника методистской церкви, готовившийся по стопам отца к миссионерской деятельности среди коренного населения маори.

Первые книги Толстого попали Уильямсу в руки в кабинете отца. Обладая блестящими лингвистическими способностями (еще в начальных классах он знал несколько языков, а в зрелом возрасте — 24!), юноша к 1898 году овладел русским языком для того, чтобы читать сочинения Толстого в подлиннике. Особенно сильное влияние оказало на него «Христианское

учение». В эти же годы Уильямс сблизился с так называемым «Избранным кружком» (The Select Circle) — группой молодых людей, увлекавшихся новыми учениями, в том числе толстовством. Члены «Кружка» были вегетарианцами, не потребляли спиртного, строго блюли чистоту в отношениях полов, искали путей переустройства жизни на основах социализма, пацифизма и общинной организации. Восприятие толстовского учения в «Кружке» повлияло на проводившиеся в Новой Зеландии социальные реформы и было одним из факторов, придавших им утопический оттенок. Учение о непротивлении злу насилием явилось в Новой Зеландии исходным моментом стойкой национальной традиции пацифизма и гражданского неповиновения. Сам Уильямс неукоснительно следовал толстовским принципам в своей личной жизни, пропагандировал их в своих проповедях, книгах и письмах. Переехав в 1900 году в Европу, он установил связи с английскими, голландскими и немецкими толстовцами. В 1903 году он окончил курс наук в Мюнхенском университете, получил степень доктора за лингвистическую диссертацию, был некоторое время корреспондентом газеты «Times» в Штутгарте, а в декабре 1904 года в качестве корреспондента газеты «Manchester Guardian» отправился в Россию, куда, как вспоминал он в 1913 году в письме к своей знакомой по «Кружку», «звало его толстовство тех дней».³

Увидеть Толстого было давним и сильным желанием Уильямса. Об этом он писал, напри-

¹ Arnold R. D. The Farthest Promised Land. Wellington, 1981.

² О нем см.: Zohrab I. 1) Leo Tolstoy from the perspective of the New Zealand-born linguist and writer Harold W. Williams (with the publication of a forgotten interview between them of 20 January 1905) // Melbourne Slavonic Studies. 1985. № 19. P. 14—48; 2) From New Zealand to Russia to England: a comment on Harold W. Williams and his relations with English writers // New Zealand Slavonic Journal. 1985. P. 3—15; 3) The place of the Liberals among the forces of the Revolution: from the unpublished papers of Harold W. Williams // New Zealand Slavonic Journal. 1986. P. 53—82. Биографическую справку составил по этим работам В. Д. Рак. Им же сделан перевод публикуемого текста.

³ Цит. по: Zohrab I. Leo Tolstoy from the perspective of... Harold W. Williams... P. 35.

мер, 27 января 1900 года той же знакомой: «Если мне улыбнется судьба и я побываю в России прежде, чем он скончается, я буду почитать себя счастливым. . . Если я попаду туда в ближайшие восемнадцать месяцев, то буду вправе сказать, что повидал мир».⁴ 20 января 1905 года Уильямс приехал в Ясную Поляну и провел целый день в беседах с Толстым. Фрагменты их разговоров записал в своем дневнике Д. П. Маковицкий.⁵ Сам Уильямс написал по свежим впечатлениям корреспонденцию о посещении великого писателя, которая была напечатана анонимно в «Manchester Guardian» 9 февраля 1905 года. Оба этих источника дополняют и уточняют друг друга. Затерявшаяся на страницах газеты, статья Уильямса была забыта на долгие десятилетия, кроме небольшого извлечения из нее, процитированного в «Записках» Д. П. Маковицкого.⁶ В письме к сыну Льву Львовичу от 20 января 1905 года, переданном через Уильямса, Толстой отозвался о нем как об «очень милым новозеландцем».⁷

Корреспондентом поочередно разных ведущих английских газет Уильямс пробыл в России до 1920 года и пользовался на Западе репутацией знатока русских дел. Свои многолетние наблюдения и взгляды он изложил в книге «Россия русских» («Russia of the Russians», 1914). Одну главу в ней он посвятил русской литературе, уделив преимущественное внимание новейшим течениям и современным писателям,

⁴ Ibid. P. 16.

⁵ Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 141—145. Далее: ЛН. Т. 90. Кн. 1.

⁶ ЛН. Т. 90. Кн. 1. С. 188. Этот перевод учтен в соответствующем месте публикуемого полного перевода.

⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1966. Т. 75. С. 207. Ссылки на это издание даются далее сокращенно — указываются том и страница.

со многими из которых состоял в личном знакомстве. Этот очерк оказал влияние на дальнейшие подобные обзоры. Оценивая внутреннее положение России с позиции буржуазного демократа, сторонника парламентаризма, Уильямс признавал необходимость коренных реформ и видел перспективу их осуществления в программе и деятельности партии кадетов, с руководителями которой он познакомился еще в Штутгарте и с тех пор поддерживал тесные контакты. В годы первой мировой войны он совместно с писателем Хью Уолполом (Walpole, 1884—1941), тоже новозеландцем по рождению, руководил Бюро пропаганды при английском посольстве. Свидетель обеих революций 1917 года, а также гражданской войны, которую он наблюдал из лагеря белых, Уильямс по возвращении в Англию написал в соавторстве с женой⁸ роман «Силы тьмы» («The Hosts of Darkness», 1921), в котором нашло выражение их резко враждебное отношение к Советской власти. В написанной тогда же, но оставшейся неопубликованной книге он предпринял попытку более объективно разобраться в причинах краха Временного правительства и партии кадетов.

В последние годы жизни Уильямс был редактором международного отдела «Times». Он поддерживал литературные связи с русской эмиграцией, в частности сотрудничал с Д. П. Мирским. Известен отзыв Горького об Уильямсе как журналисте, всегда оказывавшемся в самых опасных точках и бесстрашном в дружбе.⁹

⁸ Его женой была А. В. Тыркова (1869—1962), видная деятельница кадетской партии. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 546.

⁹ Отзыв пересказан в статье: Zohrab I. Leo Tolstoy from the perspective of... Harold W. Williams... P. 17; со ссылкой на работу: Pares B. Harold Williams // Slavonic Review. 1929. Vol. 7. January. P. 327—332.

(«Manchester Guardian»
 (9.II.1905)

(Гарольд У. Уильямс)

В ГОСТЯХ У ГРАФА ТОЛСТОГО

Мнения о кризисе

Интересные застольные беседы (от нашего специального корреспондента). Суббота.

В хаосе борьбы, сотрясающей ныне Россию, Толстой часто оставляет впечатление, что он принадлежит далекому спокойному прошлому. Все время помнишь, что он жив и творит; замечаешь, что его имя всеми произносится почтительно; всюду видишь его портрет или бюст. «Войну и мир» сотни семей перечитывают с новым, живым интересом. Вихри, сметающие сиюминутные знаменитости, не колеблют Толстого, и в этой своей неколебимости он как бы обрел некую олимпийскую отрешенность от надежд и тревог тех, кто сейчас борется за полити-

ческую свободу. Более того — Россия вступила в эпоху, когда она не желает слушать Толстого. В былые времена, когда репрессии, последовавшие за убийством Александра II, парализовали всю общественную и политическую деятельность, вынудив отважных искать покоя в доктрине воздержания и непротивления злу, его учение имело в России множество сторонников. Но сейчас надежда добиться свободы разбудила политическую активность всех мыслящих русских, и глас Толстого вопиет в пустыне. Силою его художественного дара восхищаются по-

прежнему, но ни один либерал не подумает спросить у писателя совета о том, как вести политическую агитацию. Иностранцы придерживаются другой точки зрения. Нам и сейчас важно знать мнение Толстого о крупных текущих событиях, а когда подымает голову насилие, как недавно произошло в Санкт-Петербурге,¹⁰ то естественно обращаешься к величайшему из всех русских нашего времени, чтобы узнать его мнение о случившейся трагедии.

В Ясной Поляне

В Ясную Поляну я приехал в четверг утром из Москвы через Тулу. Прошла метель, ветер разогнал тучи, и с чистого неба ярко светило солнце над возвышенностью, на которой раскинулось поместье, окружающее знаменитую усадьбу. После тревоги, охватившей Санкт-Петербург, и мрачных предчувствий, царящих в Москве, Ясная Поляна предстала обителью мира. И сам Толстой казался окруженным стойкою атмосферой мира. Он был очень спокоен — излучал спокойствие человека, чье время борьбы уже миновало; и хотя он свободно говорил о текущих событиях, выказывая доброту и приветливость, отличавшие любезную манеру русского дворянина старой закалки, чувствовалось, что подлинная его жизнь протекает в уединенном созерцании.

Мне нет надобности лишний раз описывать хорошо известное лицо. Возраст и болезнь наложили свой отпечаток, лицо и тело усохли, волосы сильно поредели, хотя они не столь седые, как можно было бы ожидать. Ходит Толстой быстро, но слегка сутулится. Он не отказался от привычки давать себе физическую нагрузку, почти каждый день ездит верхом или совершает пешие прогулки, а в помещении, когда случится свободная минута, играет с дочерью в волан или развлекается бильбоке. Здоровье у него превосходное, хотя, как сказал мне домашний врач,¹¹ он подвержен простудам. Он по-прежнему твердо убежден в полезности вегетарианской пищи и с большим одобрением говорил о трудах доктора Хейга¹² и успехах английских спортсмен-вегетарианцев. Что же касается его литературных занятий, то он с большим сожалением прекратил работу над романом, о котором в последнее время ходило много слухов, и, вероятно, никогда его не закончит.¹³ Осенью и раннею

зимой он составлял сборник мыслей великих людей с расположением для чтения на каждый день года. Когда он рассказывал, какое удовольствие доставила ему эта работа, его глаза блестели. В завершение он предполагает написать цикл небольших рассказов — по одному на первое число каждого месяца; но основная часть книги уже находится у московского книгоиздателя.¹⁴ В последнее время, в ответ на многочисленные вопросы из Англии и других стран, он занимался изложением своих взглядов на русское либеральное движение и как раз утром в день моего приезда закончил статью по этому вопросу, которая скоро будет опубликована в английской печати.¹⁵ Сейчас он пишет брошюру, в которой заново выскажет свои взгляды на государство и вообще политическую деятельность.¹⁶

Почему безразличны политические реформы

Наша беседа началась, естественно, с конституционного движения. Свое мнение о нем Толстой выразил кратко. «Оно бесполезно и опасно, — заявил он, — потому что сбивает народ с правильного пути. Конституция не может привести ни к какому улучшению положения; она не может принести свободы. Все правительства держатся на насилии или угрозах насилия, а насилие противно свободе. Человек истинно свободен только тогда, когда никто его не может заставить делать то, что он считает дурным, и истинное направление для каждого человека в том, чтобы удерживаться от участия в каких бы то ни было правительственных делах, отказываться служить в армии, не принимать никакой службы, зависящей от правительства, и каждый день и всегда делать добро. Агитация в пользу конституции может привести только к обманчивым результатам».

Он с большим интересом выслушал рассказ о недавних событиях в Санкт-Петербурге и особенно расспрашивал об отце Гапоне. У писателя и руководителя рабочих есть общий знакомый в лице одного из учителей Гапона в духовной

Первая публикация повести состоялась в издании: *Толстой Л. Н.* Посмертные художественные произведения: В 3 т. М., 1912. Т. 3.

¹⁴ Речь идет о «Круге чтения», отправленном в конце декабря 1904 года для издания в «Посреднике» И. И. Горбунову-Посадову.

¹⁵ Статья «Об общественном движении в России», которую Толстой выслал В. Г. Черткову 22 января, считая ее законченной (24 января были отправлены дополнения), была напечатана на английском языке под заглавием: *The Crisis in Russia / Tr. by V. Tchertkoff and I. F. M(a)yo // Times. 1905. March 11. N 37652.* В этом же 1905 году статья появилась на русском языке в издании «Свободного слова».

¹⁶ Имеется в виду возобновление работы над статьей «Единое на потребу».

¹⁰ Имеются в виду события Девятого января 1905 года.

¹¹ Д. П. Маковицкий.

¹² В Яснополянской библиотеке имелось к тому времени несколько книг английского врача А. Хейга (Haig), которые автор прислал Толстому, внимательно их читавшему и неоднократно упоминавшему в своих беседах (см., например: ЛН. Т. 90. Кн. 1. С. 103, 140, 174, 184, 198, 487).

¹³ Речь идет о повести «Хаджи-Мурат», работа над которой была начата в 1896 году.

семинарии Файнермана,¹⁷ друга и последователя Толстого. В письме, полученном Толстым несколькими днями ранее, Файнерман рассказал о своих отношениях с Гапоном.¹⁸ Толстой осудил кровопролитие, подробности привели его в ужас, и он заявил, что ничего другого и нельзя ожидать от правительств, которое держится только насилием.

— Значит, вы считаете, что к этим событиям привела агитация среди рабочих? — спросил я.

— Нет, нет, — горячо возразил он. — Этого я не возьмусь утверждать. Я хочу лишь сказать, что все движение за конституцию идет по неправильному пути. Народу не нужна конституция, а те, кто за нее агитируют, не знают народа. Несмотря на все их заявления о своей любви к народу, они на самом деле очень мало заботятся о нем и даже презирают его. Народ жаждет одного: земли. Читали вы труды Генри Джорджа?

Дело в том, что при всем своем отвращении к политическим решениям Толстой большой почитатель Генри Джорджа и с живостью меня расспрашивал, в какой мере были в Новой Зеландии проведены в жизнь теории Генри Джорджа.¹⁹ И это, пожалуй, единственное непримиримое противоречие между теоретической и практической сторонами его натуры. Вернувшись к вопросу об агитации за конституцию, он сказал:

— Я думаю, что самое лучшее было бы собрать Земский собор.

— Но как вы согласуете эту мысль с тем, что вы говорите о несправедливости всех политических систем? — спросил я.

— Я имею в виду только то, — ответил он, — что царь делает глупость, с точки зрения своих интересов, не созывая Земский собор.

Далее он сказал, что его старший сын послал царю обращение о созыве Земского собора,²⁰

а его друг, живущий в Нижнем Новгороде,²¹ разработал в том же духе проект, о котором он отозвался с большим одобрением.

Он полагает, что форма собрания, принятая в какой-либо стране, не вносит в жизнь граждан сколь-либо существенных отличий.

— Не думаете ли вы, — спросил я, — что лучше жить в условиях, скажем, английской политической системы, чем русской. Подумайте, например, о паспортном режиме в России, о цензуре и о высылке политически неблагонадежных.

В Англии не лучше

— В Англии ничуть не лучше, — твердо заявил он. — Там, где существует насилие, люди лишены свободы. Мой друг Чертков живет за чертою города Крайстчерч, но его заставляют платить налог на содержание городского оркестра, которого он предпочел бы никогда не слышать. А что касается высылки, то она лишь незначительно сказывается на человеке. Я жду высылки уже двадцать лет, и если бы это случилось, не стал бы волноваться. Высылка не может помешать человеку жить правильно. А свобода печати! Нужна ли народу свобода печати? Если этим господам угодно, пусть пользуются свободой печати для распространения своих взглядов, но это пустяк.

Нужно добавить, что сам Толстой испытывает сильные неудобства от строгости цензуры. Даже для такого выдающегося писателя, как он, не делается исключения из общего позорного правила: в книги и статьи, которые ему присылают из-за границы, вымарываются густой черной краской большие куски. К тому же цензура не пропускает к нему экземпляры многих его собственных сочинений, изданных в Англии и Германии.

Он заговорил о стачках и сказал, что самой действенной была бы стачка тех, кто кормит страну хлебом. Я упомянул слышанные в Москве разговоры о том, что намереваются бастовать все сельские врачи.

— Тем лучше, — улыбнулся Толстой.

— Но в таком случае, — сказал я, — все крестьяне лишатся медицинской помощи.

— И очень хорошо, — заявил он. — Сорок или пятьдесят лет тому назад, в дни моей молодости, крестьяне не лечились у докторов и пре-

стой получил аудиенцию у Николая II и убеждал его созвать Земский собор (см. также: Т. 75. С. 206—207).

²¹ Речь идет об Александре Генриховиче Штранге (1854—1932), заведующем павловской кустарной артелью слесарей (о нем см.: Т. 63. С. 422—423), который побывал в Ясной Поляне 18 января 1905 года проездом в Петербург для подачи министру внутренних дел П. Д. Святополку-Мирскому проекта Нижегородской думы о созыве Земского собора (см.: Т. 75. С. 207; ЛН. Т. 90. Кн. 1. С. 139, 493).

¹⁷ Г. А. Гапон — инициатор создания в 1902—1904 годах проправительственной рабочей организации. По его инициативе была выработана петиция и организовано шестое рабочих к царю Девятого января 1905 года, закончившееся трагически. Сведений о преподавании И. Б. Файнермана (псевдоним Тенеромо) в Петербургской духовной семинарии обнаружить не удалось.

¹⁸ Речь идет о письме И. Б. Файнермана от 17 января 1905 года (см.: ЛН. Т. 90. Кн. 1. С. 167, 497).

¹⁹ По сведениям, почерпнутым из разных источников, у Толстого сложилось впечатление, что в Новой Зеландии предпринимались попытки ликвидировать частную собственность на землю, о чем он писал в статье «Рабство нашего времени» (см.: Т. 34. С. 176). Разговор не случайно зашел о Г. Джордже: Уильямс, как и Толстой, разделял взгляды американского экономиста на земельную собственность.

²⁰ Письмо Л. Л. Толстого к Николаю II не сохранилось. В конце января 1905 года Л. Л. Тол-

красно без них обходились. Нет, болезнь — это не зло, смерть — тоже не зло. Единственное зло — дурные поступки людей.

О Канте, Гегеле и Ницше

Вечером, после обеда, мы покинули тернистую почву политики, и Толстой перешел к темам, которые ему интереснее и ближе. Говоря о выборе профессии, он сказал, что образ жизни человека — это равнодействующая двух сил: его собственных усилий, прилагаемых для достижения идеала, и инерции прошлого.

— У Канта есть страшная мысль, — продолжал он, — мысль, с которой я долго не смел согласиться, но сейчас понял ее справедливость: человек, делающий добро лишь по привычке, не есть хороший человек.²² Это на самом деле так. Когда мы достигаем определенной степени добра, нам не следует на ней задерживаться, а нужно стараться подняться на следующую. Вы напомнили мне (повернулся он к сидевшему рядом домашнему врачу) слова Сютяева.²³ Но это не Сютяев, а другой крестьянин, когда ему сказали, что разводиться не по-христиански, ответил, что продолжать жить с женою труд тяжкий, а потому угодный богу.

— Я уже стар, — снова заговорил он, — и скоро умру, а потому мне подобает больше думать о вечной жизни, нежели о сем мире. И более того, раз люди не знают, как скоро им суждено умереть, то мне кажется необходимым, чтобы они тоже заботились о вечной жизни. Когда относительно будущей жизни меня спрашивают, где я буду после смерти, я могу лишь снова обратиться к доброму старику Канту, который разъяснил, что понятия пространства и времени суть формы познания, присущие человеческому интеллекту. Вопрос «где» вызывает представление о пространстве, «я буду» — о времени. А в вечной жизни нет ни пространства ни времени. Каждый из нас — частица всеобщей жизни, которая вне пространства и времени.

Толстой утверждает, что у него нет собственной стройной философской системы, но восхищается Кантом и желал бы, чтобы этого философа читали больше, чем принято ныне. «Сейчас нет философии, достойной ею называться, — сказал он. — Канта и Гегеля можно уважать, даже если с ними не согласен, а Ницше — чистый газетчик».²⁴

²² Это суждение Канта из «Критики практического разума» присутствует и в работе «Мысли Иммануила Канта, выбранные Л. Н. Толстым», изданной в издательстве «Посредник» (М., 1906. С. 44).

²³ О социальном реформаторе из народа В. К. Сютяеве (1819—1892) и отношении к нему Толстого см.: *Пруцков Н. И.* Сибирская утопия Т. М. Бондарева «Торжество земледельца» // *Очерки литературы и критики Сибири (XVII—XX вв.)*. Новосибирск, 1976. С. 132—149.

²⁴ К философии Ф. Ницше Толстой относился резко отрицательно, находил, что Ницше —

Однако ему было очень интересно узнать про то, что один из его последователей, доктор Эуген Шмит,²⁵ нашел у Ницше превосходные мысли. О современной русской философии он говорил с пренебрежением и выразил огорчение тем, что приверженцы новой идеалистической школы стараются найти философское обоснование догматам православной церкви. О Владимире Соловьеве, самом выдающемся русском философе, он сказал, что тот составил пагубную интеллектуальную привычку баловаться великими идеями.²⁶

О литературе

Критические суждения Толстого о литературе всегда интересны. Он держится невысокого мнения о нынешней русской литературе, как, впрочем, и о большинстве других современных литератур. «Прежде, — говорит он, — искусство было подобно камерной музыке и обращалось к немногим; теперь оно обращено к вкусам широких торговых и промышленных слоев населения. Оно никогда не займет подобающего ему места, пока не обратится ко всему народу». В подтверждение этой мысли он привел примеры из современной английской литературы. «Возь-

«до безумия самоуверенный, неосновательный, ограниченный, но бойкий на язык» (письмо Толстого в редакцию газеты «Die Zeit» от 11 сентября 1902 года — Т. 73. С. 291). Резко отрицательные отзывы Толстого о Ницше см. также в работах «Что такое искусство?», «Что такое религия и в чем сущность ее?», «О Шекспире и о драме». Тем не менее Толстой включил в «Круг чтения» выдержку из статьи Ницше «Критика высших ценностей». Эта выдержка была озаглавлена в «Круге чтения» И. И. Горбуновым-Посадовым «Католицизм и христианство» (см.: Т. 42. С. 622; Т. 54. С. 404—405). См. также: *Грот Н. Я.* Нравственные идеалы нашего времени: Фридрих Ницше и Лев Толстой. М., 1893; *Щеглов В. Г.* Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Ницше: Очерк философско-нравственного мировоззрения. Ярославль, 1897; *Шестов Л.* Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше: Философия и проповедь. СПб., 1900.

²⁵ Шмит Эуген Генрих (1851—1916), венгерский писатель, близкий Толстому по взглядам, корреспондент Толстого (см. также: Т. 52. С. 363; Т. 54. С. 494—498; Т. 87. С. 331).

²⁶ Об отношении Толстого к В. С. Соловьеву см.: *Толстой С. Л.* Очерки былого. М., 1949. С. 60—61, 65; *Апостолов Н. Н.* Лев Толстой и его спутники. М., 1928. С. 232—239; *Мицц З. Г.* Из истории полемики вокруг Льва Толстого: (Л. Толстой и Вл. Соловьев) // Учен. зап. Тартуск. ун-та: Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1966. Вып. 9. С. 89—110. См. также: *Свенцицкий В.* Лев Толстой и Вл. Соловьев. СПб., 1907.

мите Райдера Хаггарда,²⁷ который пишет самый невероятный вымысел, — сказал он и далее стал с увлечением пересказывать присутствовавшему там художнику роман «Она». О Мари Корелли и Холле Кейне²⁸ он отозвался крайне неодобрительно, особенно о последнем. Диккенсом он безгранично восхищается и недавно с удовольствием перечитал его «Историю Англии для детей».²⁹ Ибсен ему не нравится, и он сурово критиковал пьесу «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»,³⁰ недавно поставленную в одном из московских театров. Из немецких писателей он восхищается фон Поленцом,³¹ чей «Крестьянин» был по его совету переведен на русский язык. Розеггера³² он не любит, хотя можно было бы ожидать, что у этого австрийского писателя ему понравится изображение крестьянской жизни; но об одном рассказе другого австрийца, Анценгрубера,³³ он говорил с большим воодуше-

влением. Сильное восхищение вызвал у него, кажется, «Кренкебилль» Анатоля Франса.³⁴ С удивлением отметил он, что мастерство романиста достигло высокой степени совершенства. «Русские дамы, — говорил он, — пишут сейчас превосходно, гораздо лучше, чем Тургенев или любой из нас; только сказать им нечего».

— Журналистика, — убеждал он меня, — дурное занятие. Газета обязана представлять какую-нибудь партию, а мысль, по природе своей, должна быть независимой. И, кроме того, журналистика дурна потому, что вынуждает человека работать в спешке и стремиться опередить других. У нее, правда, есть и хорошие стороны, и одна из них в том, что журналистика служит средством общения. Самое христианское знание (добавил он) — это знание языков, потому что оно сближает людей.

И еще многое он сказал за день — все мне здесь не передать. Приводя его слова, я не смог изобразить постоянные изменения, с ним самим происходившие. Беседа часто прерывалась; сначала она протекала днем за едою, потом в кабинете, снова за обедом и за вечерним чаем. Было много и промежуточных разговоров. Толстой держался по-разному — часто переходил от серьезного тона к игровому, мгновенно перескакивал с общих тем на вопросы, имеющие для него сугубо личный интерес. Он говорил просто и приветливо, нисколько не притязая на беспрекословное согласие слушателей и всегда готовый выслушать противное мнение. И собеседника ни на минуту не оставляло впечатление о его внутренней успокоенности, как у человека, который сталкивался со сложнейшими проблемами и, решив их, обрел умиротворение.

Я уехал от него в полночь и на следующее утро вернулся в Москву, где услышал об агитации в Дворянском собрании, смелых резолюциях адвокатов и бурных спорах о вероятности противоборства террора сверху и террора снизу. Невольно мне вспомнились слова Толстого: «Конституционное движение шумное, и это не в его пользу. Божий труд свершается в тишине. Пророку Илию Бог вещал не землетрясениями и не вихрями, а тихим, негромким гласом».

Тем не менее в России битва за свободу ведется ныне в бурной городской жизни, а не в счастливой, мирной обители Ясной Поляны, как бы хотелось верить в противном.³⁵

³⁴ Этот рассказ А. Франса Толстой советовал прочесть М. Л. Толстой (см.: Т. 74. С. 100) и поместил его (в переводе В. М. Величкиной под заглавием «Уличный торговец») в «Круге чтения». См. также: Т. 54. С. 163—167, 510; ЛН. Т. 90. Кн. 1. С. 152, 176, 310; Кн. 3. С. 100, 143, 197.

³⁵ Ср. с суждением Уильямса 1904 года: «Толстой полезен как человек, который пробуждает, но не в качестве непрекращаемого руководителя». Цит. по: *Zohrab I. Leo Tolstoy from the perspective of...* Harold W. Williams... P. 32.

²⁷ Хаггард (Haggard) Генри Райдер (1856—1925), английский писатель, автор приключенческих романов на исторические сюжеты. Роман «Она» («She») Толстой читал в феврале 1889 года и назвал его в дневнике «позорная dégringolad'a [падение]» (см.: Т. 50. С. 39; ср.: Т. 30. С. 246, 335, 339; Т. 34. С. 275).

²⁸ Корелли (Corelli) Мари (1854—1924), английская писательница; Кейн (Caine) Томас Генри Холл (1853—1931), английский писатель. Произведения этих романистов пользовались большой популярностью. В Яснополянской библиотеке имелись разные книги Кейна, но стойкое отрицательное отношение Толстого было выявлено главным образом романом «Христианин» («The Christian: A Story», 1897). См.: Т. 34. С. 274; Т. 73. С. 48.

²⁹ Первый перевод на русский язык «Истории Англии для детей» Ч. Диккенса был осуществлен в 1860 году Анной Зонтаг. Об отношении Толстого к Диккенсу см.: *Катарский И. М. Диккенс в России: Середина XIX в. М., 1966. С. 275—307.*

³⁰ Отрицательный отзыв об этой пьесе был дан Толстым и в беседе с А. Б. Гольденвейзером (см.: *Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 81*). См. также критические высказывания Толстого о Г. Ибсене в трактате «Что такое искусство?» (Т. 30. Именной указатель).

³¹ Поленц (Polenz) Вильгельм фон (1861—1903), автор произведений из крестьянской жизни. В предисловии к русскому переводу романа «Крестьянин» Толстой назвал его «настоящим художественным произведением», «истинным произведением искусства» (Т. 34. С. 270, 272). Поленца Толстой часто упоминал одобрительно в статьях и письмах (см. по указателю к Полн. собр. соч.).

³² Розеггер (Rosegger; наст. фамилия Kettenfeier) Петер (1843—1918), автор произведения из народной жизни.

³³ Анценгрубер (Anzengruber) Людвиг (1839—1889), драматург и прозаик. Речь шла о произведении «Пятно позора: Сельский рассказ» («Der Schandfleck: Eine Dorfgeschichte». Leipzig, 1899). См.: ЛН. Т. 90. Кн. 1. С. 142, 493.

ВОСПОМИНАНИЯ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ РОЗАНОВОЙ ОБ ОТЦЕ — ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧЕ РОЗАНОВЕ И ВСЕЙ СЕМЬЕ С 1904—1969 гг.*

ГЛАВА II

В 1913 году я уже училась в седьмом классе Стоюнинской гимназии. Окончила я семь классов на пятерки и четверки, но по химии была тройка, и поэтому серебряной медали я не получила и перешла в восьмой, дополнительный, педагогический класс. В этом классе мне было интересно и легко учиться. Логику и психологию у нас читал Николай Онуфриевич Лосский.¹ Лекции по искусству читали с волшебным фоном, слушалось и законоведение, мы давали пробные уроки в младших классах гимназии. Тут я легко и свободно кончила восьмой класс с весьма удовлетворительными отметками по всем предметам. Помню выпускной вечер и помню то, что мне почему-то было очень грустно. Сестра Аля подарила мне две высокие зеленые вазы с большими букетами белой и лиловой сирени. . . Но, Боже, как было у меня неспокойно на душе!

Нужно было решать свою судьбу. . . а как это трудно, всем известно.

В 1913 году сестра Вера кончила гимназию Стоюниной, раньше меня на год. Последнее лето она ездила с гимназией в Соловецкой монастырь.

Эта поездка была решающей в ее жизни — Вера стала мечтать о монастыре. Вскоре она выбрала маленький монастырь — Воскресенско-Покровский — на станции Плюсса близ Луги, где настоятельница была мать Евфросиния, дочь известного общественного деятеля того времени — Арсеньева.²

Вера поступила туда послушницей и работала при кухне. Мы с мамой ее навещали. Она была очень довольна жизнью в монастыре, но заболела туберкулезом, и отец поместил ее в санаторий возле Петрограда.

Отец часто навещал ее в санатории, и я ездила однажды осенью, очень после этого простудилась и стала болеть невралгией. В санатории было тяжело. Вера томилась, да и плата была высокая, отец с трудом выплачивал ее.

* * *

В 1915 году передо мною встал вопрос, что же мне делать дальше. Я мечтала о поступлении на Высшие Бестужевские курсы на историко-филологический факультет по отделению философии. В этом поддерживала меня и сестра Аля, она окончила курсы Раева. Отец был не очень доволен, он не любил ученых женщин. Во всей России было три высших учебных женских заведения. В Москве — курсы Герье,

в Петрограде — Бестужевские курсы и частные курсы Раева, не дававшие права преподавать в гимназии. Из этого можно понять, как было трудно поступить. Но из гимназии Стоюниной с хорошими отметками принимали без экзаменов, и я поступила.

Шел 1915 год, второй год мировой войны. Помню бесконечные сходы студентов с обсуждением, следует ли жертвовать на войну или нет. Мнения расходились. Вспоминаю и другое, как одна курстка спрашивала меня с удивлением, неужели есть такой образованный священник, который верит в Православную Церковь, и не могла поверить, что есть. Я пожалала плечами и отошла, что с ней мне было говорить. Я выросла в другой среде, в других понятиях.

Я увлекалась лекциями Лосского. Он читал тогда курс: «Мир как целое». Я занималась у него в семинаре по предмету: «Введение в философию». Мне он дал такую тему: «Сила и материя» по Бюхнеру.³ Я разобрала его сочинения и сделала вывод, что Бюхнер жил раньше Канта, потому что после Канта он не мог бы сделать таких ошибок. Лосский засмеялся, поправил меня, но сочинением в целом остался доволен. Сдав экзамен по немецкому языку, я уехала одна жить в Троице-Сергиев Посад. От занятий и серьезного чтения, а также от тяжелой обстановки дома из-за болезни матери и удрученного состояния отца, я сильно разболелась. Врачи у меня нашли острое малокровие, запретили на год учиться и настаивали на перемене обстановки. Вот тогда я и уехала в Троице-Сергиев Посад.

В этот же злополучный 1914 год в нашей семье разразились следующие события, имевшие громадное влияние на всю последующую нашу семейную жизнь. Моего отца, Василия Васильевича, по желанию Мережковского, Зинаиды Гиппиус⁴ и ее двоюродного брата В. В. Гиппиуса,⁵ исключили из Религиозно-философского общества за его правые статьи в «Новом времени» против свресов во время «дела Бейлиса».⁶ Дело было очень громкое, в нем принимали участие адвокаты, врачи, и все настаивали, что в XX веке невозможны такие фантастические изуверские случаи. Отец же настаивал на своем и указывал на Каббалу и Талмуд, где видел намеки на возможность этого ритуального убийства. У отца был Талмуд, который был весь испещрен его заметками. После смерти родителей и раздела имущества Талмуд достался Варе, а потом А. Александрову, и куда он потом делся — неизвестно. Я наводила справки в Ленинской библиотеке, в Сергиевском историко-художественном музее, куда перешли часть вещей музейных Александровых после их кончины, но он не нашелся. Это было очень жаль.

* Окончание. Начало см. в № 3 за этот год.

так как там были очень ценные заметки Василия Васильевича, о которых говорил мне Цветков С. А., но и он не мог отыскать Талмуда.

Из-за «дела Бейлиса» вся семья наша очень волновалась. Аля восстала против отчима и даже ушла из дому с Натальей Аркадьевной Вальман и поселилась в отдельной квартире на Песочной улице. Мы, дети, тоже сильно переживали эти события. Ведь мы учились в либеральной гимназии, где большинство было богатыми евреями, и все они у нас допытывались, неужели правда, что отец ваш такого мнения об евреях? Сестра Вера, будучи уже послушницей монастыря, очень защищала отца и даже присутствовала на религиозно-философском собрании, когда отца исключали. . .

После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов (поэт) и возмутился, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который иначе думает, чем все.⁷

Но с тех пор положение отца резко изменилось, никто у нас из прежних знакомых не стал бывать, кроме Евгения Павловича Иванова,⁸ который продолжал нас посещать. Отец в это время много переписывался с Флоренским. Затем у нас появились новые знакомые. В это время отец выпустил еще несколько очень правых книг, — стал писать в журнале «Вешние воды»,⁹ так как в газете «Новое время» отца неохотно печатали. А. А. Суворина уже не было в живых,¹⁰ редактором был его сын Борис. Из редакции «Нового времени» отец всегда возвращался очень грустным и морально убитым. Он начал заметно стареть, болеть, и мы очень за него беспокоились.

В это же время бывали у нас: Голлербах,¹¹ которому отец симпатизировал, а также редактор «Вешних вод» — некий Спасовский, которого невзлюбила моя сестра Александра Михайловна, бывала и друг сестры — Гедройц,¹² талантливый хирург-женщина, сделавшая впервые трепанацию черепа. Она работала в лазарете в Царском Селе и приезжала иногда к нам. Она рассказывала нам, что государыня хочет мира, защищает немцев, а между тем мы знали, что Александра Федоровна получила воспитание при английском дворе и вовсе не была так привержена к немцам, но она видела, что война идет неудачно, очень много жертв, что мы не готовы к войне, и желала мира с Германией. Все это было очень тяжело и страшно.

В 1915 году стали бывать у нас Барсукова Зинаида Ивановна со своим другом Высоцким,¹³ чиновником при каком-то министерстве, молодая чета Тиграновых. Он увлекался тогда Вагнером и выпустил о нем интересную книгу. В те же годы стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев, он привозил билеты на свои концерты, был очень мил и любезен. Раз мы ездили — я, отец и старшая сестра — к нему в гости на Васильевский остров. Он жил со своей старушкой-матерью, показывал нам большую коллекцию балалаек и мандолин, которые он собирал.

Года три тому назад приезжал в Загорск

оркестр Осипова, и я узнала, что В. В. (Андреев) умер в 1919 году в Ленинграде от воспаления легких, простудившись на концерте, данном красноармейцам.

Вообще концерты его были замечательны по тонкости, изяществу и благородству. И мы всегда с отцом ездили в консерваторию его слушать.

Раньше отец мой написал статью об этих концертах и о необходимости поддержать материально и морально хорошее начинание Василия Васильевича Андреева.¹⁴ Государем была отпущена субсидия, и дело продолжало развиваться, Андреев видел, как грустен мой отец, как ему тяжело и плохо жили последние годы жизни, он старался его развлечь, приезжал со старушкой-певницей Мариинского театра, которая под аккомпанемент Андреева на нашем плохом рояле пела старинные чувствительные романсы; отец умилялся, а мы, дети, потихоньку подсмеивались.

Продолжаю свой рассказ. Итак, в 1915—1916 годах я уехала в Троице-Сергиев Посад. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно Троицкий собор, иконостас, хор из мальчиков в 40 человек; затем поездка в Зосимову пустынь, чтение летописи Дивеевской обители о Серафиме Саровском, а также чтение книги Флоренского «Столп и утверждение Истины»¹⁵ укрепили меня в вере.

Почти каждый день я ходила к ранней обедне. Война все продолжалась, с продовольствием становилось все хуже. Сестра Аля присылала мне 40 рублей ежемесячно, 20 рублей я платила за комнату в Рождественском переулке, а 20 рублей стоила еда. Одно время я столовалась в семье Флоренских и была очень благодарна им за это. Денег, конечно, они с меня не взяли. Жила я в той комнате в доме Горохова, в которой некогда жил иеромонах Илларион,¹⁶ впоследствии инспектор Духовной Академии, с которым дружил мой отец, а потом ставший епископом.

О его прилежных занятиях в Академии рассказывала мне моя квартирная хозяйка Горохова.

Из родного дома приходили печальные вести. Вера все болела туберкулезом и лечилась в санатории. Варя и Надя учились еще в гимназии. Вася еще служил в интенданстве армии, не окончив Тенишевское училище. Отец с матерью оставались с двумя сестрами моими — Варей и Надей в Петрограде. От мамы приходили печальные письма, и П. А. Флоренский посоветовал мне ехать домой. Я уехала с грустным чувством.

* * *

Приехав из Сергиева Посада домой в 1916 году, я побывала дома весной, а летом мы всей семьей уехали в Усикирки. Саму эту дачу я совсем не помню. Только вспоминается, как дважды бывал у нас Репин в гостях.

Первый раз помню, как Репин сидел за чайным столом и слушал внимательно рассказ

¹¹ Русская литература, № 4, 1989 г.

сестры Али, приехавшей из деревни, о тяжелой доле крестьянской женщины; в другой раз вспоминая, что отец и я провожали Илью Ефимовича с дачи, отец просит меня прочесть стихи Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день. . .». Я читаю наизусть, краснея и волнуясь.

В то лето отец, сестра Аля и я ездили изредка по воскресеньям к Репиным на их дачу «Пенаты». Вспоминается жена Репина. Высокая, стройная женщина, но с каким-то удивительно бесцветным лицом, вся какая-то белесая, она ни о чем не могла говорить, кроме как об овсе, но, к счастью, на стол овес никогда не подавался. Обедали на закрытой веранде, гостей бывало человек до 30, обед был вкусный и обильный, но без мяса.

Сам Репин держался очень просто, демократично и сердечно. Нас он водил по аллеям своего сада, показывал и сапожную мастерскую, где он тоже тачал сапоги, наподобие графа Л. Н. Толстого.

Бывали мы и в его мастерской, но там я ничего не запомнила.

Сохранилась фотография, где снят Репин в своей мастерской среди гостей. В числе их сидят папа, моя мама и сестра Аля (мама однажды тоже была в гостях у Репиных). Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве.

* * *

Тоскливо протекала жизнь в семье в этот 1916 год: Варя и Надя еще учились в гимназиях (Надя в Стоюнинской, Варя в гимназии Оболенской), Вася был на фронте, папа много писал в газетах, но статьи плохо шли,¹⁷ старика Суворина уже не было в живых, редактором стал его сын Борис. Газета под влиянием событий на фронте левела, и отец был не к месту. Между прочим, статьи тех лет были интересные, с ними я познакомилась только в 1969 году, и меня они очень заинтересовали. Отец стал болеть, дома было очень мрачно, сестра Аля жила отдельно с Натальей Аркадьевной Вальман. С продовольствием становилось все хуже; с фронта приходили печальные вести, — мы то наступали, то отступали. Помню, взяли Перемышль. Помню торжественную манифестацию по этому поводу, огромные толпы народа с флагами, музыку и себя среди толпы, помню массу пленных австрийцев, которых провозили мимо Петрограда, и я с сестрой тоже ходила смотреть пленных; они были одеты неплохо и, видно, сами сдались охотно в плен, — наши женщины бросали им цветы. . .

Но вскоре все изменилось, — Перемышль был вновь отдан австрийцам, и мы все больше и больше отступали. Обстановка становилась мрачнее. Дума была закрыта, убит Распутин, шли зловещие толки об измене императрицы, народ волновался, приближалась революция. Пошел 1917 год, февраль месяц: в Петрограде стало трудно доставать хлеб, особенно белый,

не хватало сахара, его отпускали в ограниченном количестве, продукты сильно дорожали. Народ обвинял во всем правительство. . . очереди в магазинах были большие. В то время мы уже жили на Шпалерной улице в доме № 44, кв. 22 и могли наблюдать, что происходило, так как на нашей улице впервые затрещали пулеметы — тогда три дня к Петрограду не подвозили белого хлеба. Пулеметы установили на крышах домов и стреляли вниз по городовам, забирали их тоже на крышах, картечь падала вдоль улицы, кто стрелял — нельзя было разобрать, обвиняли полицейских, искали их на чердаках домов, стаскивали вниз и расправлялись жестоко. . . Однажды к нам ворвались в квартиру трое солдат, уверяя, что из наших окон стреляют. А когда они ушли, была обнаружена пропажа с письменного стола у отца уникальных золотых часов. Я уговаривала отца не поднимать шума, не заявлять о пропаже, иначе мы все можем пострадать. Сами мы, дети, выбежали на улицу, а сверху стреляли картечью. Не знаю, как из нас никто не был ни убит, ни ранен. . .

На Невском проспекте, ближе к Николаевскому вокзалу, где стоял памятник Александру III, было особеннолюдно. . . На набережной Невы народ собирался толпами, выступали ораторы. Кто был за кадетскую партию, кто за эсеров, а кто за большевиков. Дворец Кшесинской занял совет депутатов. На Выборгской стороне выступала на собраниях освобожденная из тюрьмы знаменитая Вера Фигнер, чей портрет многие годы стоял на письменном столе моей старшей сестры Али. Вера Фигнер была уже старуха, с седыми волосами, но представительная, одетая в прекрасный костюм и в дорогих лаковых туфлях. Я была на этом собрании. Она выступала с трибуны, но я с удивлением видела, что рабочие женщины не хотели ее слушать и выражались о ней с презрением. Роль ее была сыграна, и она больше не выступала. Так продолжалось в течение всей весны; помню, была с сестрой Алей на каком-то собрании, где председательствовал Керенский, и набирался из женщин «батальон смерти»; дамы забрасывали Керенского цветами, но он выглядел смешно, а его приказ № 1 привел к полной дезорганизации армии. Солдаты убегали с фронта и из-под полы торговали, кто махоркой, кто буханками черного хлеба. Вернулся с фронта и брат Вася и жил без дела; в Тенишевское училище он не пошел. В феврале произошел переворот, царская семья была арестована и вместе с царем находилась под стражей. К Петрограду подступали немцы. Летом 1917 года сестра Надя уехала к своей подруге Лиде Хохловой в их имение, а Варя с гимназией Оболенской — работать на огородах в деревню. Я же решила ехать в деревню устраивать ясли от Бестужевских курсов, где я еще числилась слушательницей. Меня очень интересовала деревня, я помнила деревню только по «Казакам», куда меня возили родители 5-летней девочкой к бабушке.¹⁸ И вот мы — студенты Бестужевских курсов — в Рязанской губернии. Помню, как мы невзначай попали в имение генерала Раевского, крестьянки по-

доли там клубнику, нас с опаской угощали в столовой. Впервые в жизни я была в именин, видела красивую усадьбу, от которой вниз вела широкая деревянная лестница к реке. Хозяйка нас спрашивали, что мы собираемся делать в деревне. Мы храбро отвечали: помогать крестьянам устраивать детские ясли. Они покачивали головами, но видели, что мы народ не опасный; накормили нас хорошим обедом и отпустили.

Возница наш, который вез нас до места назначения, говорил: есть тут имение графа Олсуфьева, там интересный музей, но усадьба заперта, управляющий никого не пускает туда, а сами хозяева в отъезде. Так я услышала впервые эту фамилию — одно лицо, принадлежавшее к ней, сыграло впоследствии огромную положительную роль в моей жизни.

А теперь снова о 1917 году, об устройстве ясель в деревне Рязанской губернии. С яслями, впрочем, ничего не вышло: мужики не доверяли нам детей и вовсе не хотели ясель. На нас смотрели с недоверием, как на городских барышень, даже продуктов нам не давали за наши же деньги. Меня обыкновенно посылали за молоком — в яслях было трое малышей, и на них и на нас нужно было доставать молоко. Я с народом лучше ладила, и мне давали молоко и пшено. Ранней осенью 1917 года я вернулась из Рязанской губернии, приехали и Варя с Надей, и было на семейном совете решено уезжать из Петрограда. Редакция «Новое время» закрывалась в Петрограде и эвакуировалась вместе с Государственным банком в Нижний Новгород. В Государственный банк на хранение отец отдал золотые монеты из своей коллекции,¹⁹ а три самых любимых завернул в бумажку, положил в кошелек и постоянно ими любовался. Было послано письмо Флоренскому, с просьбой подыскать нам квартиру, и когда мы получили известие, что квартира найдена, мы спешно стали собираться в Троице-Сергиев Посад. Ликвидировав квартиру, мы поехали прощаться с Барсуковой Зинаидой Ивановной и Высоцким, а также с Ивановыми — им я подарила своей зеркальный платяной шкаф и письменный дамский столик, а также чудную книжечку «Рассказы странника об Иисусовой молитве».²⁰ Папа с мамой были убиты горем, мы же, дети, ничего не понимали, радовались перемене жизни и уехали очень беззаботно, сестры только жалели гимназию, а мне было жаль только сестру Алю, которая не решилась ехать с нами и оставалась в Петрограде вместе со своей подругой Натальей Аркадьевной Вальман. Я радовалась еще очень, что мы едем в Троице-Сергиев Посад и будем ходить в Лавру и к Флоренским.

Осенью мы переехали в Сергиев Посад, на Красноюковку, на Полевою улицу в дом священника Беляева,²¹ который у него арендовали. Дом был большой, низ каменный, верх деревянный. Внизу помещалась большая комната — столовая, сырая, с зелеными пятнами по углам. К ней примыкала кухонька, в которой стояла длинная плита, на которой мама готовила обед

для всей нашей семьи со старухой-нищенкой. Мама сама ничего не могла делать, у нее была парализована левая рука и частично правая нога, и она с трудом ходила, но все же еще руководила всем домом. А что готовилось на этой плите? В большой эмалированной кастрюле варились пустые щи, в них была свежая капуста, немного картошки, мука, морковь, и больше ничего. На второе же была каша из зерен пшеницы, без всякого масла, или пшенная, хлеба почти никакого не было; бывало, что фунт хлеба делили на пять человек, а то больше ели лепешки из дуранды, или из свеклы, очень редко из овсяной муки, это считалось уже очень вкусно. Изредка доставали где-то конину и тогда варили с ней щи, но она была такая сладкая, что с трудом ели. Да через день брали три крынки хорошего густого топленого молока у соседей — трех старушек. Все же голод был ужасный, но тяжелее всего было матери и отцу, так как они были старые и отсутствие масла сказывалось больше всего на них. Они оба очень похудели и стали какими-то маленькими и совсем слабенькими. Особенно помнится мне моя мама, ее печальные глаза, как-то они словно застыли в испуге и немом горе. Помню всю ее худенькую фигурку, маленькие слабые руки, маленькие ножки. Вся она передо мной стоит, как живая, с неммым укором, а ведь прошло с ее кончины ровно 46 лет.

Нас в семье сначала было шесть человек — папа, мама, я, Варя, Вася и Надя. Сестра Аля, как я уже сказала, оставалась в Петрограде, а Вера жила послушницей в Покровском монастыре на станции Плюсса около Луги.

Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать, а дом был большой, наверху было пять комнат, одна большая, в которой был папин кабинет и впоследствии размещалась его библиотека, в других комнатах были наши спальни. Печи были большие, хорошие, голландские, требующие хороших дров. Керосин тоже стал исчезать, сидели с коптилками и по вечерам, захлебываясь, читали.

* * *

Стали носиться слухи, что немцы подходят к Петрограду. А у нас вся библиотека отца и рукописи его были оставлены на хранение в Александро-Невской Лавре у профессора Академии Зорина. Александровы дали нам взаймы 200 рублей денег, чтобы я ехала и перевезла оставшееся имущество в Троице-Сергиев Посад. Помню, как Евдокия Тарасовна Александрова научила меня, как перевезти такое количество вещей. Она сказала, что нужно дать три рубля весовщику товарной станции, и он даст целый вагон. Я так и сделала. Это была во всю мою жизнь единственная взятка, которую я сумела дать. Были перевезены полки с книгами и рукописи отца. Часть вещей, которые находились у Зорина, не были нам возвращены, в частности, китайская и турецкая вазы, большой гипсовый слепок с работы Шервуда —

Пушкин, гипсовый слепок с головы Страхова и еще кое-какие вещи. Но все же мы были очень рады, что вернулись самые дорогие нам вещи.

Вскоре после возвращения моего из Петрограда произошла Октябрьская революция. Власть перешла в руки Советов. В Троицком Посаде переход к новой власти не вызвал резких эксцессов и все произошло сравнительно спокойно.

Уже в 1918 году мне удалось, научившись печатать на машинке, устроиться на работу машинисткой в комиссию по охране Троице-Сергиевой Лавры.²² Председателем этой комиссии был Бондаренко, изредка наезжавший из Москвы, его заместителем — Юрий Александрович Олсуфьев, известный искусствовед и крупный специалист по древним иконам. Канцелярия состояла из секретаря — Мансурова Сергея Павловича, родственника Олсуфьева, и меня — машинистки.

Канцелярия наша находилась сначала в митрополичьих покоях, а затем была переведена в одно из Лаврских зданий, у входа в Лавру.

В качестве научных сотрудников были еще приглашены Павел Александрович Флоренский — ученым секретарем, через некоторое время — Соколов, Владимир Иванович, художник для оформления плакатов, и художник Боскин для инвентаризации ценностей, позднее — Михаил Владимирович Шик в качестве научного сотрудника. Была организована реставрационная мастерская шитья, где работали три женщины, во главе стояла Александра Николаевна Дольник, командированная из Москвы. Она бывала наездами. При комиссии находился комиссар из исполкома, который должен был наблюдать за исполнением правительственных распоряжений.

Я ходила на работу каждый день с 9-ти до 4-х. Дома оставалась младшая сестра Надя; сестры Варя и Надя и брат Вася не могли никуда устроиться на работу, потому что работа была только в исполкоме и на почте, а также были кустарные работы, которых мы не знали, и нас бы никто не взял. Варя и Надя еще не кончили гимназии в то время. Старшая сестра Аля вызвала их в Петроград, надеясь, что они там окончат гимназию. Они действительно окончили ее в 1918 году при страшном голоде. Брат Вася уехал спасаться от голода на Украину к миному брату, дяде Тише Рудневу, который был прокурором 6-ой палаты г. Полтавы.

В 1918 году сестры вернулись из Петрограда, окончив гимназию, а до этого мы оставались втроем — папа, мама и я. Брат Вася, вернувшись с Украины, звал нас туда, но мы не решились ехать. Жили продажей вещей, мебели, книг, изредка кто-нибудь присылал продукты.²³ Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол — на картошку. Посуду всю меняли на яблоки, то на молоко. Кое-какую одежду, более нарядную, тоже меняли на продукты в деревне. Был такой старичок, который этим занимался, очень хозяйственный, красивый, он хорошо к нам относился

и с риском для себя привозил нам продукты, ведь везде стояли заградительные отряды и менять тоже не очень-то давали.

Однажды, когда мы зимой уже совершенно замерзали, нам неизвестный железнодорожник Новиков прислал целый воз березовых дров и спас нам жизнь. Этот случай не забудется на всю жизнь.

Капусту, я помню, нам выдавали из каких-то организаций, мы стояли за ней в очереди, несколько раз Варя ездила за мукой в деревню, дважды в один день попала в крушение поезда, но спаслась, отделавшись только испугом. Брат Вася уговорил Варю ехать на Украину вторично. Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего Лутохина.²⁴ Вася заболел испанкой, его отправили в больницу, и через три дня он скончался. Это было 9 октября 1918 года, там же, на городском кладбище, его и похоронили. Об этом сообщил нам Лутохин, так как сестра Варя, не дождавись исхода болезни Васи, вынуждена была спешно уехать из Курска, — граница закрывалась и на Украине устанавливалась новая власть. Варя долго не знала о смерти брата, и мы ничего о ней не знали, не знали даже, жива ли она? После, когда наладилась переписка, сестра Варя очень огорчилась смертью брата, но написала нам, по своему обыкновению, оптимистическое письмо. В начале письма она описывает его заболевание и как она его устроивала в больницу, и как ей было необходимо уезжать, так как ей в Курске жить было негде, и денег на прожитие не было.

Вот это письмо (подлинник находится в Государственном литературном музее), собственно, конец письма, столь для нее характерный: «Мне нельзя было падать духом. Я понимала, что в тот момент умирали не единицы, а тысячи. Кто от испанки, кто на фронте.

Вообще падать духом никогда нельзя. И что бы ни случилось в дальнейшем, надо стойко выносить все.

Жизнь меня очень закалила. И ко всяким фанабериям и „мистике“ (это в огороде старших сестер) я отношусь крайне отрицательно...»

Вестей от Вари опять долго не было. На Украине власть переходила из рук в руки. Мы остались вчетвером. Отец, мать, Надя и я. С Надей мы жили очень дружно и хорошо. Часто ходили в церковь и Гефсиманский скит (в трех верстах от Сергиева Посада). Отец очень подружился с Олсуфьевым, бывал у них. Он был потрясен смертью сына.²⁵ Лутохин прислал ему злое письмо, обвиняя отца в смерти сына, рассматривая потерю сына, как следствие наказания Божьего за сочинения отца. Отец тоже винил себя в смерти сына, считал себя виновным, что отпустил Васю легко одетым, почти без денег и что раньше легко отпустил Васю на фронт. Вася не кончил Тенишевского училища и привык уже к кочевой жизни.

Отец страшно изменился после его смерти, и единственное его утешение было — дружба с П. А. Флоренским и Олсуфьевым.²⁶

Два факта — смерть сына и потеря самых любимых монет, с которыми он никогда в жизни

не расставался, вечно любясь на них, сильно на него подействовали. Потерял он эти золотые монеты, когда ездил в Москву и на вокзале зашнур; предполагали, что у него вытащили их из кармана, а возможно, он их и потерял.

* * *

Папа был очень слаб, но видя, как мы надрываемся, качая воду в колодце, изредка помогал нам. Делать этого ему нельзя было.

Отец очень любил также париться в бане, что ему тоже запрещали врачи, но он врачей *вообще* не слушался, запрещали ему курить — все курил. Однажды он пошел в баню, а на обратном пути с ним случился удар, — он упал в канаву, недалеко от нашего дома, и его уже кто-то на дороге опознал и принес домой. С тех пор он уже не вставал с постели, лежал в своей спальне, укутанный одеялами и поверх — своей меховой шубой — он сильно все время мерз. Говорить почти не мог, лежал тихо, иногда курил.

В то время старушки, которая готовила обед, уже не было, варила обед Надя и ухаживала за папой, а также мама много помогала и дежурила у папиной постели. К отцу звали священника, отца Александра, настоятеля Рождественской церкви, он отца исповедовал несколько раз. Затем приходил отец Павел Милославин — второй священник Рождественской церкви, которого отец очень полюбил за то, что он замечательно читал акафист Божьей Матери «Утоли моя печали». Отец мой слушал, как он читает акафист, когда со мною и Надей ходил служить в 40-й день панихиду по брату Васе. Отец мой плакал в церкви и говорил: «С каким глубоким чувством читает этот священник акафист Божьей Матери».

За время болезни отца его часто навещала Софья Владимировна Олсуфьева и Павел Александрович Флоренский. Приезжал из Москвы старый друг отца по университету, Вознесенский,²⁷ привозил ему какие-то деньги от Гершензона. Он же присутствовал, когда мы позвали отца Павла Милославина из Рождественской церкви папу посоветовать, тут же была и С. В. Олсуфьева,²⁸ молились все усердно, и папе стало лучше, но потом опять сделалось хуже, но он все же так не метался в тоске, как иногда с ним было, до соборования.

С папой, как я говорила, была мама неотлучно, а я весь день была на работе, а потом сразу же шла что-нибудь менять на хлеб.

В это время несколько раз присылали нам деньги — отец протоиерей Устьинский,²⁹ папин друг, Мережковские и Горький. К папе приходил частный врач, приходила массажистка, он постепенно стал немного говорить, но двигать рукой и ногой не мог, ужасно замерзал, все говорил: «Холодно, холодно, холодно», и согревался только тогда, когда его покрывали его меховой тяжелой шубой.

Незадолго до своей смерти он просил сестру Надю под его диктовку написать несколько писем и послать друзьям.

Последние мысли умирающего В. В. Розанова

«От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку, скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся, под таким углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурно, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой. Оно переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая, убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддается ничему описуемому. Ткани тела кажутся опущенными в холодную, лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому „ад“ или пламя не представляют ничего грозного, а скорее, желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткани тела, эти мотающиеся тряпки и углы, представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба, ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере, от удара, представляет собой зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это — холод, холод и холод, мертвый холод, и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких, раздробленных лучинок, где каждая представляется тростью и раздражающей остальные. Все, вообще, представляет изломы, трение и страдания.

Состояние духа его — никакое — потому что и духа нет. Есть только материя — изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так измождено, что духовное тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо!

В этой мертвой воде, в этой растворенности всей ткани тела — в ней.

Это — черные воды Стикса — воистину узнаю их образ».

В то время, когда отец так тяжело болел, от падчерицы Василия Васильевича — Александры Михайловны Бутягиной, приходили из

Петербурга печальные письма, она очень мучилась за нас, да и сама она была без работы, так как тогда бастовала интеллигенция. Сестра заболела испанкой, боялись за ее жизнь. От сестры Веры тоже приходили печальные письма, — монастырь был превращен в трудовую сельскохозяйственную общину, там были трудные полевые работы, в которых сестра не могла принимать участия по состоянию своего здоровья (туберкулез), в общине она очень голодала и была переведена учительницей к детям — сиротам войны — в приют, принадлежащий тогда этой общине. Учительницей ей показалось быть очень трудно, а кроме того все время грозили распустить общину. Она писала, что может быть, вернется к нам жить, а мы сами не знали, как дожить до следующего дня. Сохранилось письмо сестры Веры к Наде в Петроград от 1918 года.

«Петроград, март 1918 г.
Манежний пер., д. 16, кв. 44

Ее Высокородию
Софии Ангеловне Богданович для передачи
Надежде Васильевне Розановой

Христос посреди нас
Дорогая Надя.

Получила твое письмо. Прости, но наверное, долго не смогу ответить на него.

Сейчас полна заботой и болею за Алю. Она с Наташей совершенно нравственно и физически измучена борьбой за существование. Получают один фунт хлеба и голодают. Не знаю, как им помочь. Сейчас иду в деревню, может быть, удастся достать ржаную муку. Сходи к ним *обязательно и напиши*.

Теперь нет мечты, теперь есть подвиг. Васильевский остров, 4-ая линия, д. 39, кв. 3.

Мы не смеем жить, как жили. Считаю, что теперь время величайшего отрешения. Отдача отчета и сознание долга перед Богом и человеком.

Вера».

А вот другое письмо сестры Александры Михайловны Бутягиной, написанное в начале августа месяца 1918 года в монастырь сестре Вере и Наде (Надя тогда гостила у Веры в монастыре). Письмо написано из Петрограда.

«Дорогие Верочка и Надюша,
Конец письма: Вере.
Ну, спокойной ночи!

Спасибо, Веруся, за все: Наташа* тебя крепко, крепко чит за твою подлинную, редкую доброту. Милые, милые „кусочки“, которые ты мне клала на стол в детстве.

Как они и теперь волнуют теплом и светом усталую душу. Прости меня, Веруся, за все мое непонимание тебя. Теперь бы я все поняла, а

тогда слишком по-матерински боялась и любила близоруко. . . Прости, если можешь. Верь только, что крепко тогда любила, хотя и делала больно непониманием.**

Аля».

Описание последних дней моего отца в Троице-Сергиевом Посаде и его смерть

Отцу становилось все хуже и хуже. За несколько дней до смерти отец попросил сестру Надю написать под его диктовку отчаянные письма друзьям и в них не было преувеличения.

Подходили мои именины. Папа их вспоминал, что-то удалось испечь, и он был очень доволен сладким пирогом с малиновым вареньем.

После моих именин отцу стало еще хуже. Он просил Надю написать бывшим друзьям — Бенуа, Мережковским, обращение к евреям.³⁰ Он со всеми примирился, ни на кого не имел зла. Как-то я его спросила: «Папа, ты отказался бы от своих книг „Темный лик“ и „Люди лунного света“». Но он ответил, что нет, он считает, что что-то в этих книгах есть верное, несмотря на то, что он был настроен последнее время по-христиански и казался верным сыном Православной русской церкви.

В ночь с 22-го на 23 января 1919 года старого стиля (5 февраля н. с.) отцу стало совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его комнату и увидела, что у него уже закатились глаза. Тогда я сказала Наде: «Беги за священником». Надя побежала к Флоренским, но не могла к нему достучаться, тогда она побежала на Рождественский переулочек, к отцу Александру. Он тотчас же пришел, но отец уже говорить не мог, и ему дали глухую исповедь и причастили. Это была среда.

Рано утром в четверг пришел П. А. Флоренский, Софья Владимировна Олсуфьева и С. Н. Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки Сергия Преподобного плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна встала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около 12 часов дня, четверг, 23 января старого стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз — я.

Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо.

Отпевать его повезли в приходскую церковь Михаила Архангела, близ нашего дома. Отпевали его три иерея: священник Соловьев, очень

* Наташа Вальман — подруга А. М. Бутягиной, с которой сестра жила тогда в Петрограде.

** Намек на уход сестры Веры в монастырь.

добрый, простой, сердечный батюшка, Павел Александрович Флоренский и инспектор Духовной Академии, архимандрит Илларион, будущий епископ, впоследствии он был сослан и по дороге в ссылку скончался в больнице. Отец при жизни часто у него бывал, они дружили.

Хлопоты по похоронам взяла на себя Софья Владимировна Олсуфьева, она достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди могил монахов монастыря, рядом с могилой Константина Леонтьева, близкого по духу друга моего отца.

Свезли отца на дровнях, покрытых елочками, на кладбище в Черниговский скит. Там встретила его монашеская братия с колокольным звоном. Мама на кладбище не ходила, она оставалась дома.

Мы с сестрой Надей пошли после похорон к старцу, отцу Порфирию, в келью, он нас благословил, и мы вернулись домой.

После смерти отца мама вскоре написала сестре Але письмо с описанием кончины отца и с просьбой приехать к нам навсегда жить. Письмо написано 10 февраля, под диктовку сестрой Надей.

«Милая, дорогая Шура!

О смерти не пишу, дети напишут. Он тебя *каждый день* ждал, за день до смерти перестал говорить о тебе. Умер, как христианин. Смерть очень тихая, четыре раза приобщался, маслом соборовался, три отходных (молитвы прочитали. — Т. Р.) было, от Сергея Преподобного воздух положили на главу его, и он как бы заснул, улыбка светлая была 3 раза. Все делалось, и как делалось! Когда умер, ни копейки денег не было. И все было сделано. Таня все устраивала и хлопотала, и Надя тоже.

Как живем в Посаде, я ничего не знаю. Меня кормят, всем хозяйством распоряжаются дети. Только за больным я ходила день и ночь — 2 месяца. Надя помогала переменять белье, опрывать его, я не могла поднять.

Таня на службе. Надя готовит обед, печки топят, воду носит, труда обеим много.

Теперь все сочинения переписывает, письма папины, рукописи, обед готовит (три слова неразборчиво написаны. — Т. Р.).

Когда заболел отец, у меня стали с сердцем припадки.

Ты знаешь, как это неожиданно, — сейчас здорова, сейчас — умираешь. Ноги распухли. Я вижу, что свалюсь, попросила детей позвать священника, приобщилась и маслом соборовалась на ногах, и мне стало лучше. Сердце перестало болеть. И я выдержала смерть спокойно, и так рада, что такая кончина была без страдания.

За несколько часов (до смерти) я услышала слабое „тоскливо“, сказано с такой безумной, за душу шемящей тоской, как могут сказать только умирающие, — „я умираю?“. Я говорю: „Да, я тебя провожаю спокойно, только меня поскорее возьми к себе“. Я опустила на колени: „Прости меня за то, что тебя не понимала, что я необразованный человек“. Попросила перекре-

стить меня и простить за все. Перекрестил, и его последнее слово было: „Ты моя самая дорогая была, есть и мне жаль тебя оставлять“. Потом не могла разобрать его слов. . .

Шура, дорогая, если ты можешь бросить свое имущество и приехать к нам. Обещать не могу, можешь ли ты заработок найти здесь. Я бы очень рада была, и дети не такие сироты были бы.

Я очень слаба, и мне хотелось на твоих руках умереть.

О голоде ничего не могу сказать. Таня с трудом находит, и молоко достаем — 50 р. четверть. Прощай, дорогая.

Целую крепко.

Ждем тебя скорее.

Не писала тебе, очень трудно, сердце болит. Слава Богу, что поправилась (подразумевается, относительно. — Т. Р.), но голод замучил. Таня чуть жива, Надя очень раздражительна.

Я все не верю, что его нет. Все смотрю в окно и жду его. Целые дни в ушах: „Мамочка, мамочка, дай папиросу“. День и ночь просил: „Папироску, дорогая мамочка“.

Это самое ужасное, — это звуки слышать!

Целую, прижимаю, крещу, жду тебя очень.

Варвара».

(так странно всегда подписывалась моя мать. — прим. Т. Розановой).

Мама надеялась умереть на руках старшей дочери Али, а она, бедная, пережила и дочь Алю и дочь Веру, и умерла 15 июня 1923 года, но об этом после.

Мама со смертью отца очень изменилась, очень ослабела, у нее опухли ноги, и она не могла почти ходить. У нее стало какое-то остоновившееся, притупленное выражение лица, как будто она уже более не могла выносить горя. Она уже ни во что в хозяйстве не вмешивалась и ни на что не реагировала, все взяли в руки мы с сестрой.

Вскоре материально стало легче, в это время откуда-то, с разных концов пришли деньги. Софья Владимировна Олсуфьева навещала нас, звала и меня к себе, и я стала бывать у них. Удивительный случай был у меня с Софьей Владимировной. Как-то, еще до смерти отца, она подарила мне небольшую иконку «Утоли моя печали», и вот ее мы положили в гроб отцу, а когда хоронили отца, — то это был как раз праздник в честь этой иконы. Тогда Софья Владимировна мне об этом сказала: «Какое удивительное совпадение!».

Продолжаю рассказ о маме. По письму матери видно, как тосковала мама и ждала старшую дочь. Сестра Аля откликнулась на зов матери и тотчас приехала, бросив имущество и квартиру на попечение знакомых. Мы очень обрадовались ее приезду, но огорчились, что она приехала со своей подругой Н. А. Вальман, нашей бывшей учительницей немецкого языка. Мы огорчились потому, что не знали, как же мы все проживем, да и мама ее не очень долюбила. Но потом все образовалось. Она была бо-

лее сильная, чем мы, помогала пилить и колотить дрова, но все же было очень и очень трудно.

Сестре Вере мы послали письмо о смерти отца, а Варю не могли известить, так как сообщение с Украиной было прервано.

От Веры скоро пришло очень скорбное письмо с извещением, что она может к нам вернуться из монастыря, без всяких подробностей. Что случилось, мы не понимали. Вскоре она к нам пришла.³¹

Она произвела на нас очень тяжелое впечатление, была какая-то убитая, объясняла свой приезд в отчий дом очень спутанно, чувствовалось, что она что-то не договаривает. Мы знали, что в последнее время она была учительницей при монастыре. При отъезде ей дали довольно значительную сумму денег, как бы плату за ее труд, она нам ее торжественно отдала, не понимая хорошенько, что на эти деньги в то время ничего нельзя было купить. Она сильно кашляла и до странности была голодна. Когда мы перед ней поставили горшок ржаной каши, очень противной на вкус, без масла, она весь его съела, значит, была истощена до последней степени. Позвали врача. Он установил вновь вспыхнувший туберкулез легких, назначил лечение, но это не могло помочь при тех ужасных условиях жизни, которые в то время были у нас. Сестра Вера производила очень странное впечатление, говорила о каких-то страшных грехах, что она обречена на погибель. В довершение нашего несчастья мы все поехали как-то в Хотьково, в церковь, где были похоронены родители предодобного Сергея. По дороге в храм мы встретили странную женщину, по виду монашку, которая что-то страшное сказала Вере. Она совсем была потрясена. Что-то еще с ней приключилось в храме, мы подумали, не сошла ли она с ума. Когда мы вернулись из Хотьково, ей сделалось еще хуже. При ней была неотлучно сестра Аля, потом стал приходить к ней Сергей Николаевич Дурылин, в то время он был очень набожен, говорил с ней неосторожно, больше запугал ее, чем облегчил ее душевное состояние. Ей всюду мерещились бесы, она боялась их, говорила о самоубийстве. Мы как-то не верили ей, но сестра Аля очень боялась за нее и была при ней неотлучно.

Когда сестра Вера была еще на ногах, она пошла к о. Порфирию, он временно утешил ее, сказал ей, чтобы она занялась рукоделием, она стала вышивать, ей стало легче, но временно, затем она совсем слегла. К ней часто для бесед приходил Сергей Николаевич Дурылин.

В 1919 году, летом, в Троицын день, к нам пришел Сергей Николаевич Дурылин и принес читать свой, только что написанный рассказ «Странница».³²

Рассказ этот был посвящен одной жене священника, которая мучилась такой невыразимой тоской, что ушла навсегда из дому странствовать. . . Рассказ был печальный и странный, написан хорошо. Вера в Сергея Николаевича вливала глазами. Все молча разошлись спать.

На другой день, рано утром, сестру Веру нашли на чердаке повесившейся. Надя первая увидела ее, и после этого заболела душевно, и с тех пор совсем изменился у нее характер, она стала очень нервной. Я увидела сестру Веру уже только в гробу. Лицо у нее было удивительно спокойное и красивое — какое-то умиротворенное.

Церковь ее разрешила хоронить, так как священник нашел ее душевно-больной и разрешил предать земле по церковному обряду.

Похоронили ее уже без звона, в том же Черниговском монастыре, рядом с могилой отца. На другой день пришло роковое письмо от игуменьи монастыря Евфросинии, письмо ее ласковое, полное обещаний через некоторое время взять ее обратно в монастырь, чего сестра очень хотела, тосковала о монастыре и о матушке и ждала этого письма ужасно. . . Кто знает, если бы письмо не запоздало на один день, может быть, ничего бы и не случилось. Рок.

Сестра Аля очень винила себя, ведь она каждую ночь ходила смотреть, как Вера спит, она боялась за нее, а тут в первый раз, усталая, не пошла ее навестить.

Надя была в таком ужасном состоянии, что решили отпустить ее к подруге, — Лидии Деметьевне Хохловой, в их имение под Петроградом. Нас дома оставалось четверо (мама, я, сестра Аля и Наталья Аркадьевна Вальман). Жить после катастрофы с Верой в этом доме стало невозможно. Мы начали хлопотать о переезде куда-нибудь в другой дом; было мало денег, мало сил и огромная, громоздкая обстановка. Тогда мы стали думать о квартире в монастырских домах, в то время они уже были в ведении исполкома.

Мы стали просить у секретаря исполкома — он еще в старое время был знаком с моим отцом по своей жене. Нас пожалели, выпросили ордер на освободившуюся квартиру в 4-ом доме советов по Петербургской ул. На парадной двери стояли красивые печати; а потом эти печати много нам портили в жизни потому, что думали, что мы были когда-то арестованы.

Шел 1920 год. Сестре Але наконец-то удалось устроиться на работу в Электротехническую академию секретарем. В то время Духовная академия была закрыта, а в ее помещение въехало военное учреждение из Петрограда. Сестрой на работе были очень довольны, у нее был хороший военный паек, я в то время работала в городской библиотеке, а Наталья Аркадьевна тоже устроилась в частную гимназию Цветковой преподавать русский язык. Мы кое-как кормились. От Вари пришло первое письмо, там установилась советская власть; дядя сильно болел, и сестра Варя выразила желание вернуться домой. На этом очень настаивала и сестра Аля.

Летом 1920 года я работала сначала в бывшей кооперативной библиотеке, переведенной в главные ряды нашего города. Библиотека была хорошая, в нее влилась частная библио-

тека Дмитриевской. Но летом случился пожар. Загорелись главные святые ворота Лавры от маленьких лавчонок, ютившихся возле Лавры. Был ветер, и огонь перенесся через всю площадь, и загорелись центральные, торговые ряды на площади и наша библиотека. Была вызвана милиция и пожарная команда, тушили усердно. Часть книг была спасена, но библиотека закрылась, и я перешла работать в Упрофбюро на культурную работу по организации клубов. В это же время по совместительству я начала работать машинисткой в Электротехнической академии, куда меня устроила в свою канцелярию сестра Аля. Потом я совсем ушла из Упрофбюро и работала только в академии.

В это же время вернулась и Надя от Хохловых и поступила в детскую библиотеку работать, получала грошое жалованье и крошечный паек. Мы с трудом сводили концы с концами. Меняли вещи, сажали картошку на огороде близ Лавры; одна комната была полностью завалена картошкой. Всего труднее было с дровами. На нашу квартиру в 4 комнаты нужно было доставать 4 кубометра дров. Надо было идти в лес пилить дрова, чтобы внести их в жилуправление на центральное отопление. Комнаты нагревались зимой только до 4-5 гр (адусов) тепла, вода стыла и почти замерзала в комнатах. Осенью я и Надя, вместе с молодым рабочим, ходили в лес валить деревья.

Сестра Аля не выдержала этой жизни, она стала болеть. Раз она решила от службы идти на субботник в лес, собирать сучья, и как я ее не умоляла не ходить, она не послушалась и пошла в лес. После этого она заболела и слегла. В квартире был ужасный холод: два градуса тепла. Сестра переехала в кухню, устроили там временку, она дымила немилосердно.

Помню вечер. Вдруг Аля подняла голову с подушки и воскликнула: «Вот, вот, сейчас я видела бабушку и дедушку, они меня зовут к себе». С этих пор сестра Аля стала говорить о своей близкой смерти, у нее был все время жар, и болела сильно голова, нашли у нее паратиф. Ей выхлопотали комнату в гостинице, где жили служащие Электротехнической академии, там было несколько теплее, а у нас стоял настоящий мороз в квартире. Она жила там с подругой Натальей Аркадьевной.

Аля не спала по ночам, очень болели все суставы, и была крайне раздражительна и до странности стала недоверчиво относиться к нам. Наталья Аркадьевна все ночи напролет читала ей Тургенева, которого сестра так любила. Потом знакомые устроили ее в бывшую земскую больницу. Она находилась на окраине города, грязь там была непролазная, но сестра Надя, несмотря на ужасную дорогу, через день ходила навещать сестру Алю и приносила ей четверть молока. Сестра пила только одно молоко, есть ничего не могла, небольшая температура все держалась. Врачи не определяли ее болезни, не могли понять, что с ней. Она просила ее взять из больницы, и Флоренский устроил ее в Красный крест, где была богадельня для престарелых сестер войны 1914 года. При бога-

дельне была больница и церковь, где он был священником.

Помню, последний раз я пришла к ней перед Рождеством, в обед, с работы, принесла ей два платка вязаных — один белый, другой черный, на выбор. Она взяла белый, была очень ласкова со мною, улыбнулась печально на прощанье. У меня сжалось сердце, — на лице сестры Али проступали черные, зловещие пятна; я поняла, что жизнь ее держится на волоске. Мне не хотелось от нее уходить, но надо было идти на работу. Вечером все были усталые, и никто к ней не пошел. А за это время вот что произошло. К ней, ее навещать пришла одна старушка, очень экзальтированная и говорливая, и стала говорить Але, что врачи земской больницы обижены на сестру, что она самовольно уехала из больницы. Сестра Аля очень взволновалась, с ней сделался сердечный припадок, и вечером она скончалась. К нам пришли только утром сказать о ее смерти и рассказали, как было дело.

Только за несколько дней до ее смерти нашли у нее туберкулез — ... палочки в почках и вообще общий миллиарный туберкулез. Спасти ее уже нельзя было. Тот случай только ускорил ее смерть.

На службе к сестре очень хорошо относились, уважали ее и любили. С ее службы нам выдали денег на похороны. Отец Павел Флоренский отпевал ее в церкви «Красного креста». Ее начальник присутствовал при отпевании — он очень ее уважал.

В гробу она лежала удивительно розовая. Мы страшно испугались: во время заупокойной литургии службы остановили, по церкви пошел шепот, что, может быть, это не смерть, а летаргический сон. Гроб оставили стоять еще на одну ночь. Врач был молодой, еще неопытный, и не знал, что смерть от сердца дает такие явления. Ее отпевали на другой день и похоронили в Черниговском скиту, рядом с отцом и сестрой Верой. Ей было 40 лет. Умерла она 20 декабря 1920 года (по старому стилю).³³

Еще несколько строк об отце и его работах

В разговоре за столом отец часто рассказывал о своем детстве. Говорил, что он родился в местечке Ветлуга близ Костромы. Отец его был лесничим. Как-то, гоняясь за браконьером в лесу, он простудился и умер от воспаления легких. Отец происходил из священнического рода: прадеды его были священниками, о чем вспоминает один из профессоров Духовной академии и пишет в книге «Сто лет Академии»,³⁴ что прадед «знаменитого писателя Василия Васильевича Розанова сильно пил». По-видимому, он был богатырского сложения, так как, когда приезжал архиерей проверять епархию, то, чтобы задобрить его, духовенство ставило целое ведро водки. Таковы были нравы того времени. Отец мой ужасно боялся пьянства. У него с детства сохранились какие-то страшные воспоминания о попойках в их родстве и окружающей среде.

У нас в доме никогда не покупалась водка, кроме случаев, когда заболели дети, и их растирали водкой, разбавленной водой. Мать Василия Васильевича происходила из древнего, обедневшего дворянского рода Шишкиных, о чем любила с гордостью рассказывать. Об этом есть у Василия Васильевича рассказ в «Опавших листьях», короб 1, стр. 235—238. Когда отец умер, они испытали сильную нужду. В то время они уже жили в Костроме, и у них был небольшой деревянный дом. Семья была велика: пять человек детей. Младшая Люба родилась уже после смерти своего отца. Нужда была так сильна, что отца посылали на грош купить хлеба на всю семью, а часто ели только один печеный лук вместо хлеба. Об этом пишет Василий Васильевич, вспоминая о своем детстве в «Опавших листьях», короб 1, стр. 235 и далее. Мать его после смерти мужа не выходила замуж три года, а затем сошлась с молодым художником, который являлся как бы отчимом для всех детей. Он был человеком озлобленным, часто пил и детям жилось очень плохо. Мать болела в конце своей жизни раком и от этой болезни умерла.

Как мне помнится по рассказам отца, они жили в то время в Симбирске, и он там окончил два класса гимназии, а затем его взял к себе старший брат Николай в Нижний Новгород, где он преподавал и, кажется, был директором гимназии. Отец кончил гимназию в Нижнем Новгороде, а затем вместе с братом переехал жить в Москву и окончил Московский университет по историко-филологическому факультету.³⁵ Там его считали способным и хотели оставить при университете. Он числился стипендиатом им. Хомякова. Но отец отказался, так как считал, что он не может читать лекций по слабости голосовых связок и по самому складу своего характера. Он был назначен сначала учителем в город Брянск, в неполную четырехклассную гимназию по истории и географии. Затем оттуда переведен в город Елец тоже преподавателем и воспитателем в старших классах гимназии. В то время он уж был женат на Сусловой и писал свою книгу «О понимании». Это было в 1886 году. Эта книга была очень большая — в 700 страниц, совершенно оригинальная, с большими диаграммами и схемами научного порядка. Книге этой дали два плохих отзыва о ее несамостоятельности; (она была) написана якобы под влиянием Аристотеля.³⁶ Ее не стали покупать, а отец, нуждаясь в деньгах, продал ее на бумагу на вес с пуда. А между тем, для того только, чтобы издать эту книгу, он ежемесячно откладывал по двадцать пять рублей из своего учительского заработка. Сулова насмехалась над ним, говоря, что он пишет какую-то глупую книгу, очень его оскорбляла, а в конце концов бросила его. Это был большой скандал в маленькой провинциальном городе. Аполлинурия Прокофьевна Сулова была одним из сильных увлечений Достоевского, и он изобразил ее в героине своей повести «Игрок», а также в «Братьях Карамазовых» в образе героини — Екатерины Ивановны — inferнальной

женщины, мучившей Дмитрия Карамазова. Аполлинурия Прокофьевна Сулова была старше отца почти на двадцать лет. Когда-то она была, как папа пишет, очень красивой, но характер, как он говорил, у нее был невозможный, и она, уехав от него, не давала ему развода,³⁷ несмотря на то, что он для получения развода брал вину на себя. (Сохранились письма В. В. Розанова о Сусловой, и они находятся в Госуд(арственном) литературном музее). В это время отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись; особенную дерзость проявлял мальчик Пришвин.³⁸ Отец на педагогическом совете требовал его исключения, его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал в Америку, там работал и уже явился к нам в Петербурге на квартиру с рюкзаком за плечами и женатым. Он принес свою первую книгу «За волшебным колубком»³⁹ и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал мне: «Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал и написал хорошую книгу, а то бы был каким-нибудь мелким чиновником в провинции». Отец сдержал слово, поместил в «Новом времени» похвальную рецензию. После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее Пришвин написал роман «Кашеева цепь», где высмеял Василия Васильевича, не упомянув его фамилии.⁴⁰ Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом Посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца и также фотографический снимок с пелены препод(обного) Сергия, которая находится в Государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске. Фотографии эти до сих пор висят у меня в комнате.

По рассказам отца в первые годы совместной жизни с Сусловой он находился под ее сильным влиянием. Она перевела его интерес с естественных наук на литературу. В это время, кажется, Василий Васильевич сделал впервые перевод Аристотелевой «Метафизики» с латинского на русский, а с греческого перевел на латинский эту же вещь преподаватель Первов.⁴¹ Об этом, уже гораздо позднее, в наше время, упоминалось в прессе как о первом и труднейшем переводе Аристотелевой «Метафизики». Он сделан был Первовым и отцом раньше, чем была написана его книга «О понимании». В это время отец мой знакомится в Ельце с моей матерью — Варварой Дмитриевной Бутягиной и ее маленькой дочерью Шурой от ее первого брака. Она жила в то время со своей матерью Александрой Адриановной Рудневой, вдовой священника. Отец сразу же ее очень полюбил, стал бывать у них в доме, а затем совсем переехал к ним в качестве жильца. Он настаивал на браке, стремясь получить развод от Сусловой. Но ничего не получалось, та отказалась дать развод, а бабушка не соглашалась отдать дочь без церковного брака. Таким образом, отец оказался двоеженцем, что

наложило печать на всю нашу дальнейшую жизнь и оторвало нас от наших родных. Эту трагическую историю отец описал в конце своей жизни в книге под названием «Смертное», (и) напечатал в 50-ти экземплярах. Один экземпляр находится в Государственной библиотеке им. Ленина.

Отцу пришлось уехать из Ельца, и в дальнейшем наша жизнь была довольно замкнута, потому что семейные люди почти у нас не бывали. Отец перевелся в город Белый преподавателем в неполную гимназию. Он очень тяготился жизнью в этом городе; сначала там был директором брат его Николай, затем брат перевелся, отец стал хлопотать о переводе в Петербург на службу в Государственный контроль, где в то время директором был Тертий Иванович Филиппов⁴² — славянофил. Перевод этот был устроен Н. Н. Страховым по просьбе отца, так как отец стремился уйти от педагогической деятельности и заняться литературной работой. Но жилось ему на первых порах очень тяжело. Тертий Иванович Филиппов, интересуясь литературой, часто звал отца к себе в гости, а отец этим очень тяготился, своим подчиненным положением, и был несвободен в своих высказываниях, а главное, невольно сравнивал свое материальное бедственное положение с благоустроенной жизнью начальника. Он даже часто был несправедлив к Тертию Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за благожелательное отношение к подчиненным. В это время уже была написана книга Василием Васильевичем, в которой он подвергал резкой критике постановку научного образования в России.⁴³ Возврат к педагогической деятельности был закрыт. Средств было мало, родилась уже вторая дочь, я — Татьяна, а кроме того росла падчерица Шура. Ко всем горестям прибавилось еще несчастье — умерла первая дочь Надя, которую отец так безумно любил и так ею гордился. Карточка, на которой он снят с нею, всегда стояла на его письменном столе. Теперь эта фотография в Государственной библиотеке им. Ленина с чудесным автографом.

Мне бы хотелось, говоря об отце, описать его внешность, насколько я могу. Отец был невысокого роста, с узкими плечами, с довольно пропорциональной формой головы по отношению ко всей фигуре, лоб у него был очень большой, а на лице выделялся очень острый взгляд глубоко сидящих карих глаз с зеленоватым оттенком, смотрящих как бы и пристально, и вместе с тем как-то рассеян на мир. У него были очень характерные и интересные руки: пальцы были не длинные, но с очень выразительным окончанием, с выпуклыми крепкими ногтями, несколько утонченными к краям и как бы созданные для творческой писательской работы. Он сам писал в одной из своих книг, что прирожденный талант писателя сидит в кончиках пальцев (приблизительно так он выразился). Ноги у него были небольшие, сам был очень живой и юркий, говорил всегда как бы про себя — скороговоркой и часто в шутовском тоне, а если о чем-нибудь

спорил, то всегда сердито, раздраженно и убежденно, до того, что вставал из-за стола, топал ногами и даже убегал. Он был вообще очень экспансивен, жив, несдержан, но очень откровенен. Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем не было. Воспитанным человеком он не был. Это была бурная стихия, вне всякой литературы и формы. Но зато когда он писал, форма ему была присуща ранее того, чем он ее выразил на бумаге. В этом был залог особенностей его слога, на который обращали внимание все, писавшие о нем, считая, что в этом была его гениальность. Даже в начале революции некоторые писатели полагали целесообразным открыть при Брюсовском институте слова отделение литературы, изучающее его стиль. Все сказанное о языке относится ко второму периоду его деятельности, когда он сблизился с Мережковским и другими литераторами и начал печататься в журналах «Мир искусства», «Весы» и «Новый путь», издаваемый П. П. Перцовым, а позднее — в «Золотом руне». Тут-то он и выработал свой художественный язык, столь отличный от других писателей. За это время он издал книги «В мире неясного и нерешенного» (СПб., 1904), «Около церковных стен» (Т. 1—2. СПб., 1906), «Итальянские впечатления» (СПб., 1909). Последняя книга явилась итогом впечатлений от его путешествия вместе с моей матерью в Италию в 1908 году, куда врачи направили её для излечения. Поездку субсидировал Суворин.

Как он работал? Он никогда не исправлял что напишет. Он писал сразу набело, мелким бисерным почерком. Прочтешь его работу мог только один метранпаж в «Новом времени», которого держал Суворин специально для Розанова. Поэтому рукописей у него сохранилось не так много, как у других писателей, так как я предполагаю, что не все рукописи отца возвращались из типографии. Перерабатывать свою статью он органически никогда не мог и отказывался. А если в редакции не нравились его статьи, то он писал совершенно новую. . . Переписывать свои статьи он отказывался, боясь ошибок по своей рассеянности. Поэтому он иногда варварски поступал: вырезал из книг нужные ему цитаты. А если приводил их на память, то обыкновенно перевернул, в чем его часто упрекали. Но это не было следствием небрежности. Некоторые статьи по политическим причинам не проходили в «Новом времени». Василию Васильевичу было жаль своей ненапечатанной статьи, и он посылал ее в Москву в «Русское слово» и другие газеты под разными псевдонимами: «Варварин», «Ибис», «Старожил», «Обыватель» и др. Почему он печатал под псевдонимами? Потому что он по договору с Сувориным не имел права печатать свои статьи в других газетах, так как состоял на жаловании в «Новом времени» и кроме оплаты статей, он получал построчно. Но его интересовала не только денежная сторона, но и желание часто выразить свои мысли в более либеральном духе, что не допускало «Новое время». Суворин это знал, но смотрел на это сквозь пальцы. Вся же

остальная пресса подняла невероятную шумиху вокруг этого дела. Называли отца Иудушкой,⁴⁴ предателем и всячески его поносили. А я считала и считаю, что это было хорошо. Он был шире и правого «Нового времени» и «Гражданина», а также левой либеральной газеты «Русское слово» и кадетской «Речи».

Теперь будем говорить о его философских взглядах и политических взглядах на разных этапах его творчества. Начал он свою литературную деятельность под влиянием Страхова, Леонтьева и Данилевского, бывал он на литературных вечерах Николая Николаевича Страхова. Он был консервативно настроен, религиозен, но без всякого фанатизма. С церковью же его разъединял факт его незаконного брака с моею матерью, но тут еще не выявилось его резкое отношение к церкви, но он очень страдал. На этом этапе волновали его вопросы школы, так как до этого времени он многие годы был учителем и знал трагедию в постановке школьного дела. Незадолго до этого он выпустил книгу «Сумерки просвещения». Книга чрезвычайно интересная, на мой взгляд, но написанная еще тяжелым языком, на что Страхов указывал и учил его писать вообще короче и яснее. Несколько позднее он встречается с Перцовым, издает книги «Религия и культура», «Природа и история». В 1901 году он сближается с Мережковским, с Гиппиус, Бакстом, несколько раз на вечерах бывал у нас и Дягилев, приходил Бердяев, Вячеслав Иванов. Он пишет статьи по искусству, о художниках и выставках. Этот период считается расцветом его творчества, он тут наиболее признаваем, его начинают провозглашать гением и сравнивать его с Ницше. Отец всегда смеялся: «Какой же я Ницше! Во мне ничего демонического нет». Вскоре Василий Васильевич выпускает книгу «В темных религиозных лучах». Эта книга была запрещена и уничтожена. Один уцелевший экземпляр этой книги был передан уже после революции в Государственную библиотеку им. Ленина. В этой книге была критика христианства и разбирался вопрос о связи религии с полом. Мережковский превозносил эту книгу. Отсюда началось его дружба с Мережковскими, а также положено было начало организации Религиозно-философского общества, где было стремление сблизить духовенство с интеллигенцией. К этому времени отцом была выпущена вторая книга, состоящая из двух частей. Первая книга «Темный лик», а вторая книга — «Люди лунного света». Эту книгу цензура пропустила, а она, между прочим, менее интересна, чем первая, запрещенная «В темных религиозных лучах», но в ней более завуалирована главная идея о связи религии с полом и потому-то она была пропущена цензурой. В нашей семье очень не любили эту книгу, ни мама, ни я, ни старшая сестра, а Мережковские торжествовали, но отцу это было неприятно. Назревала какой-то надлом. Мама же очень не любила Мережковских и недовольна была сближением отца с ними, считала это удалением от церкви отца и очень волновалась. Приблизительно в это же время отец выпустил книгу в двух томах

под названием «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903), собрав огромный материал по бракоразводному делу, опять пытался через чиновника Синода Тернавцева получить развод от Суловой, но все это было бесполезно, она не дала развода.⁴⁵ Но эти его работы оказали влияние на новое законодательство, облегчающее бракоразводные дела. Отец рассказывал, что были случаи, когда сумасшедшего мужа заставляли жить с нормальной женой и обратно. В это же приблизительно время он подает на высочайшее имя государю просьбу об узаконении его пятерых детей, указывая на то, что он не принадлежит к потомственному дворянству, а получил личное дворянство по окончании высшего образования. Мы были узаконены и получили отчество и фамилию отца. Положение же матери оставалось неизменным, поэтому отец, когда писал «Опавшие листья» и «Уединенное», называл мать «другом» — он не мог назвать ее официально женой. Но какое огромное значение она имела в его жизни, приведу цитату из «Опавших листьев» (Короб 1. С. 11):

«Если бы не любовь „друга“ и вся история этой любви, как обеднилась бы моя жизнь и личность. Все было бы пустой идеологией интеллигента и верно скоро бы все оборвалось бы.

... О чем писать?

Все написано давно (Лермонтов).

Судьба с „другом“ открыла мне бесконечность тем и все запалало личным интересом.

А также приведу его отзыв об отношении к матери (Короб 2. С. 16). Отец, говоря о своей книге «Уединенное», писал, что она явилась «как попытка выйти из-за ужасной занавески, из-за которой не то чтобы я не хотел, но не мог выйти».

Это не физическая стена, а духовная — и как страшнее физической. Отсюда же и привязанность или вернее какая-то таинственная зависимость моя от „друга“... В которой одной я сыскал что-то *нужное* мне... тогда как суть „стен“ заключается в „не нужен я — и не нужно мне“...

(задыхаюсь).

А между тем, во мне есть „дыхание“. „Друг“ и дал мне возможность дыхания. А „Уединенное“ есть усилие расширить дыхание и прорваться к людям, которых я искренно и глубоко любил».

Будем же теперь говорить более подробно о политических его убеждениях. Первый период его жизни, когда был жив еще Страхов, он был спокойно-консервативно настроенным человеком. При сближении с Мережковскими он начал незаметно леветь, а в 1904—1905 годах он поддался общему революционному настроению общества, так как он сам прожил трудную жизнь, знал нищету и голод и с этой стороны сочувствовал бедному люду. Отсюда вытекли его статьи, окрашенные революционным духом, которые затем вошли в его книгу «Когда начальство ушло» (СПб., 1910). Но это был недолгий период в его жизни. Затем он очнулся, посмотрел вокруг себя, увидел богатую, сателу кадетскую прессу, самодовольную и очень далекую от народных нужд,

и повернул вспять. В это время он дважды издал книгу «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову». Второе издание вышло в 1913 году (СПб). В это время мать моя продолжала сильно болеть. Летом отец с матерью уехали в Бессарабию в имение Аппостолопуло к своим друзьям: отец в очень плохом душевном состоянии, мать больная, отец дружит с самой помещицей, которая настроена крайне консервативно и враждебно к евреям, также как и ее друг. Они указывали отцу на эксплуатацию помещиков евреями и скупку ими по дешевым ценам хлеба у помещиков. Вот тут начинается поворот отца от интереса его к иудаизму к сугубо национальным русским интересам. Здесь он пишет книгу под названием «Сахарна» (так называлось их имение), подготавливает ее к печати, но начинается война 1914 года, и книга не появляется в печати.⁴⁶ Единственный сброшюрованный экземпляр был передан в 50-х годах в Государственный литературный музей. Книга была местами очень интересная, в ней были оригинальные афоризмы, но в целом очень мне не нравилась.

В это же примерно время началось крупное дело Бейлиса, в обсуждении которого приняла участие как русская пресса, так и западная. Обсуждался вопрос — возможно ли ритуальное убийство в наш цивилизованный двадцатый век? Общество разделилось. Розанов и очень немногие утверждали, что возможно, большинство же отрицало это. В это время, озлобленно настроенный, мой отец выпустил очень резкие брошюры и книги против евреев, что заставило Религиозно-философское общество отмежеваться от него и исключить его из членов этого общества. Этот поступок отца был для него роковым. Он остался почти в одиночестве и замк-

нулся в себя. Статьи его почти перестали печатать, и положение его резко изменилось. Тут началась война 1914 года, отец писал приподнято-патриотические статьи, печатал их в газете, а потом включил их в книгу «Война 1914 года и Русское Возрождение» (Петроград, 1915). Там было очень много интересных страниц, но в целом она, может быть, звучала и неверно.

В 1915 и 1916 годах жизнь была очень тяжелой и материально, и морально в нашей семье. В 1916—1917 годах отец мой стал издавать по выпускам книгу «Из восточных мотивов», посвященную древнему Египту (вышло три выпуска, четвертый был подготовлен). Еще задолго до издания он просиживал многие часы в Эрмитаже, срисовывая древнеегипетские изображения. У него составилась огромный альбом с этими рисунками, который в 1947 году, после смерти отца, Сергей Алексеевич Цветков продал для нас, кажется, в библиотеку им. Ленина, — не помню точно. Выпуски эти печатались на роскошной бумаге верже, которую отец закупил для издательства «Сириус» и надеялся издать большую работу. Он сделать этого не смог. Наступила революция, и отец продал эту бумагу известному издателю Сабашникову.

В 1917 году, в сентябре месяце, мы, как я уже говорила, по семейному совету, переехали в Троице-Сергиев Посад, где отец прожил недолго, всего два года, и умер в 1919 году 23 января (по старому стилю), 5 февраля по н. с., как указывала З. Гиппиус в своих работах, изданных за границей. За время жизни в Троице-Сергиевом Посаде отец издал в десяти выпусках «Апокалипсис нашего времени» у местного издателя Елова.⁴⁷ Книга эта была запрещена и уничтожена.

Примечания *

¹ Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — приват-доцент Санкт-Петербургского университета, профессор Бестужевских высших женских курсов, женской гимназии М. Н. Стоюниной; был женат на Л. В. Стоюниной, дочери Марии Николаевны, начальницы гимназии.

² Арсеньев К. К. (1837—1919) — писатель, общественный деятель, либерал. Автор книги «За четверть века» (Пг., 1915).

³ Бюхнер Фридрих-Карл-Христиан (1824—1899) — немецкий натурфилософ. Его книга «Сила и материя» (1855) вызвала горячую полемику.

⁴ Инициатива в деле исключения Розанова, действительно, принадлежала Мережковским и их ближайшему окружению, о чем свидетельствует протокол заседания Религиозно-

философского общества от 26-го января 1914 года. Перед голосованием Д. С. Мережковский категорически заявил: «Все время так и ставился вопрос — или мы, или Розанов». Та же интонация нетерпимости по отношению к Розанову прозвучала в речи Д. В. Философова (он назвал выступления Розанова в печати «совершенно неприличными и нетерпимыми среди уважающих себя людей»), а также в резолюции, зачитанной председателем собрания А. В. Карташевым: «Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле» (Записки Петроградского Религиозно-философского общества 1914—1916. СПб., 1916. С. 66). Знаменательно, что среди самих членов Совета единодушие по вопросу исключения не было: А. Н. Чеботаревская и П. Б. Струве выразили «особое мнение» — против исключения (в Со-

* Авторы публикации благодарят за помощь в подготовке комментариев И. А. Битюгову, В. Г. Сукача, В. А. Фатева.

вете было 5 человек: Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, Н. Н. Гиппиус, П. Б. Струве, Ал. Н. Чеботаревская).

⁵ Владимир Васильевич Гиппиус не двоюродный, а троюродный брат З. Н. Гиппиус.

⁶ Имеются в виду, главным образом, статьи Розанова в газете «Земщина» и в «Богословском вестнике». Подробнее см. в прим. № 25 к первой части публикации: Русская литература. 1989. № 2.

⁷ О невозможности и несправедливости исключения Розанова Вяч. Иванов говорил на собрании 26 января: «... писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз и т. д. Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху „Переписки с друзьями“ и проч., и всякий раз поступили бы смешно и непродуктивно. . . Может быть, пройдет немного лет, и мы увидим, что это была слабость, а не истина, — этот вопрос о Розанове» (Записки Петроградского Религиозно-философского общества 1914—1916. С. 49).

⁸ Е. П. Иванов на заседании Религиозно-философского общества 26 января сказал об изгнании Розанова из общества: «это не путь свободы, а путь полицейской морали» (там же. С. 47).

⁹ «Вешние воды» — научно-литературно-художественный журнал (с № 2—3 добав.: студенческий). Выходил в Петербурге 9 раз в год с 1914 по 1916 год под редакцией М. М. Спасовского. Подробнее см. в кн.: *Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы своей жизни*. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968.

¹⁰ Алексей Сергеевич Суворин скончался в 1912 году; издавал газету «Новое время» с 1876 года.

¹¹ Голлербах Эрих Федорович (1895—1942) — литературный критик, искусствовед, знаменитый литературный собеседник Розанова, познакомился с ним в 1915 году. Неоднократно писал о Розанове. См. его книгу: В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пб., 1922.

¹² Гедройц Вера Игнатьевна (1870—1931) — ученица Розанова по Брянской прогимназии; участница Цеха Поэтов; выступала под псевдонимом Сергей Гедройц.

¹³ З. И. Барсукова держала корректуру 2-го Кироба «Опавших листьев». Владимир Федорович Высоцкий писал по проблемам сектанства.

¹⁴ См. статьи Розанова: «Великорусский оркестр В. В. Андреева» (Новое время. 1913. 25 янв. № 13245); «Еще раз о В. В. Андрееве и его народных оркестрах» (Новое время. 1913. 19 апр. № 13326). Обе статьи вошли в книгу Розанова «Среди художников».

¹⁵ *Флоренский П.* Столп и утверждение истины. М.: Путь, 1914.

¹⁶ Епископ Иларион (Троицкий, 1855—1931) исполнял должность ректора МДА в 1917 году. Автор Соловецкого Послания к правительству СССР 1926 года.

¹⁷ Ежегодно (с 1909 по 1914 год) Розанов печатал в «Новом времени» около 60 статей. В 1914 — 62,, в 1915 — 40, в 1916 — около 50-ти. Среди публикаций 1916 года, однако, мало значительных, развернутых статей (таких, как «К кончине Пушкина», «К 25-летию кончины Гончарова», «О Лермонтове»), преобладают библиографические заметки и дискуссионные «по поводу».

¹⁸ Мать Варвары Дмитриевны — Александра Адриановна Руднева (1826?—1911).

¹⁹ В тексте воспоминаний Т. В. Розановой (вариант РО ИРЛИ. Поступления 1970 года. № 58) есть приложение «О нумизматике писателя В. В. Розанова», в котором Татьяна Васильевна рассказывает: «Мой отец Василий Васильевич Розанов много лет собирал монеты. Мысль о собирании монет появилась у него в 1880 году. Я же лично помню его работу над монетами в течение многих лет. Он садился часов в 12 ночи за письменный стол, начинал разбирать монеты, любоваться ими, рассматривать в лупу отдельные детали монет. Сверял по каталогам, записывал на маленькие этикеточки, которые он вкладывал в картонные коробочки, оклеенные зеленой бумагой, каждая коробочка соответствовала размеру монет.

Шкаф был размером приблизительно два метра в высоту и два в ширину. Затем отец задумал составить опись монет, к этому его побудил П. А. Флоренский, с которым они много беседовали о монетах (как видно из письма редактора журнала «Вешние воды» Спасовского).

Некоторые любимые монеты отец старался срисовать, для чего пригласил Татьяну Николаевну Гиппиус, сестру З. Н. Гиппиус. Она очень хорошо это делала, и у нее было собрано много рисунков; куда делось все это, — не помню. Это было любимое занятие моего отца; над монетами он отдыхал, он любил размышлять о древнем мире, о языческих культах, всматривался в лица римских императоров, делился даже с нами детьми своей любовью. Занимался с монетами до 4-х—5 ч. утра, вставал затем в 9 ч. утра, а днем спал еще часа два, и тут его нельзя было будить, детей всегда уводили в это время гулять, чтобы не мешали спать.

Отец был такой известный нумизмат, что в(ел) к(н) Сергей Александрович приглашал его посмотреть коллекцию. Отец, осмотрев ее, сказал, обращаясь к в(ел) к(н): „Ваше высочество, моя коллекция больше и богаче“ («И интереснее по содержанию вещей», — так добавил он нам в кругу семьи).

Так рассказывал нам отец о посещении дворца на Сергиевской улице.

Эта любимая его коллекция погибла катастрофически во время революции. Летом 1917 года мы переезжали на другую квартиру на Шпалерную улицу и шкаф с монетами поместили на хранение в склад. Когда началась революция, я уговорила отца вынуть золотые монеты и взять домой. Он их поместил в сейф Главного государственного банка, а потом банк

выехал в Нижний Новгород. С тремя золотыми монетами отец никогда не расставался, всегда носил их в кармане брюк, все их рассматривал. Когда после революции из Троице-Сергиева Посада он приехал в Москву во время голода и заснул на вокзале, их у него украли. Он не мог никогда этого забыть и это страшно на него действовало.

С остальными монетами случилось вот какое несчастье: в складе от разницы температур разбухли пазы шкафа и коробочки с монетами сместились; таким образом работа всей его жизни погибла, — научную ценность она потеряла, надо было снова ее (имеется в виду атрибуция монет. — М. П.) определять, а это было невозможно, это была работа всей жизни. В шкафу были серебряные и медные монеты; часть серебряных монет сложили в ящик и в голодовку в 1920 году продали в Исторический музей. Денег, которые мы получили за эти монеты, хватило на два килограмма сливочного масла и на то, чтобы заплатить за квартиру. Остальные золотые монеты, которые были в сейфе Гос(ударственного) банка, мы хотели спасти для науки и хлопотали уже после смерти отца, чтобы монеты на расплавили, а отдали бесплатно в музей. Ездил я сама в Москву в Наркомпрос к Троцкой, но коллекции этой не нашли и документы вернули. Так пропала часть коллекции.

После продажи монет в 1920 году Историческому музею, большую часть серебряных и медных монет мы отдали знакомым на сохранение, так как переезжали на новую квартиру и такое количество монет нам было негде хранить, а от покупки этих монет учреждения отказались. Так они пролежали в разных местах до декабря 1947 года, когда были проданы сестрой Надей в частные руки — одному армянину. Тогда мы получили значительную сумму денег, которые нас очень поддержали, — сестра Надя тяжело болела и лежала в больнице.

Примечание: из письма М. В. Розанова к Горькому видно, что у В. В. Розанова было 1300 римских монет и 4500 греческих».

²⁰ Анонимное сочинение, предположительно автор его — Старец Амвросий Оптинский (рукопись была найдена в его келье после смерти). См.: Откровенные рассказы Странника своему духовному отцу. Б. м. Б. г.

²¹ Дом свящ. Беляева сохранился — ул. Полевая, д. 1.

²² Комиссия по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры была утверждена Отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса 1 ноября 1918 года. Она действовала до 15 января 1925 года.

Председателем комиссии был избран Д. М. Гуревич, товарищем председателя — Ю. А. Олсуфьев, научным секретарем — П. А. Флоренский. П. А. Флоренский был хранителем ризницы (по некоторым документам — хранителем Лавры), а его помощником — Д. И. Егоров. Председателем комиссии немного позднее был назначен И. Е. Бондаренко, заведующий VI под-

отделом Коллегии (архитектурной и живописной реставрации), а комиссаром — Д. М. Гуревич. Подробнее о работе комиссии, ее участниках и их исследованиях см.: *Трубачева М. С.* Из истории охраны памятников в первые годы советской власти (Комиссия по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры 1918—1925 годов) // Музей 5. М., 1984. С. 152—164.

²³ Розанов страдал из-за того, что сильная материальная нужда постигла его семью. Он отсылал близким друзьям просьбы о помощи. К воспоминаниям П. П. Перцова приложены два письма 1918 года. В одном из них отчаявшийся Розанов писал ему: «...Хоть бы Вы, черт, привезли толокна. Зябну. Голодно. Дров чуть-чуть. Таня готовит обед. В дому только несколько копеек. Ужас...». Перцовы отправили посылку с толокном. Уже после смерти Розанова Перцов с большим недоумением прочитал благодарственное письмо Василия Васильевича, которое получил в июле 1919 года, адресованное, по непонятным причинам, некоей Анне Зиновьевне:

«Если бы Вы знали, милая и прекрасная Анна Зиновьевна, всю радость, какую доставили Вашим веселым толокном! Ведь я его ел в детстве, у матери, всегда в квасе, которого здесь, увы, нет, — или не знаю, где его достать. Я ел, т. е. пил; жена и дочь отказались (тошнит). Дочь и теперь не ест, но вообразите, что было с женою: она многолетне страдает ослаблением сердечной мышцы (последствие миокардита — воспаление сердечной мышцы), которое и до сих пор сказывается приступами сильной сердечной боли и всеобщей слабостью тела — изнеможением. Сверх того она страдает присутствием камня в почечной лоханке, а, когда совсем плохо, то... страшная боль в пояснице. И вот от расстройств, забот и нужды у нее случилось оба припадка: пошевелился камешек в почке, и приступ боли в сердце. И что же, толокно, прежде неприятное, каким-то чудом стало нравиться. Она попробовала, и вообразите: чудное действие и на почку и на сердце. „Страшно помогло“ (ее слова) и главное очень быстро. Теперь я сам пью, и она пьет вместо кофею и чаю. Ради Бога еще пришлите, но только коробок 10. И вот что еще, милая: я помню, ел у мамыши овсяный кисель. Он естся или горячим — жидким с подсолнечным маслом, — или охлаждается на холоде, и тогда, разрезанный на квадратики, естся тоже или с молоком, или еще вкуснее — с подсолнечным маслом. Подсолнечное масло у нас есть, хотя и немного. Если Вы несколько „в средствах“ — пришлите, дорогая и милая. И еще хоть бы фунтов 10 гороху. Так хочется, так хочется. Все это ели у мамыши в Костроме, на Павловской улице, против Боровкова пруда, близ церкви Покровской и Козьмодемьянской. Простите, что я Вам посылаю так поздно „Апокалипсис“. Уж очень трудно(е) время, очень страшно(е) время. Очень хочу иметь Вашу карточку. Любящий и уважающий В. Розанов» (*Перцов П. П.* Воспоминания о В. В. Розанове // ГЛМ. Ф. 327. Машинопись. Л. 25—27).

²⁴ Вероятно, Лутохин Далмат Александрович (1885—1942) — экономист, литератор, редактор сборника «Утренники» (Пг., 1922). Автор воспоминаний о Розанове. См.: Вестник литературы. 1921. № 4—5. С. 5—7.

²⁵ В своих воспоминаниях Лутохин писал, что Розанов был потрясен смертью сына особенно потому, что на нем обрывалась мужская линия рода. См.: Лутохин Д. Воспоминания о Розанове // Вестник литературы. 1921. № 4—5. С. 7.

²⁶ В тексте воспоминаний, хранящихся в РО ИРЛИ есть специальное приложение, сделанное Татьяной Васильевной, о ближайших друзьях В. В. Розанова в последний год его жизни: Олсуфьеве, Флоренском, Мансурове, а также самостоятельное приложение о М. В. Нестерове.

²⁷ Имеется в виду К. В. Вознесенский. В 1891 году Розанов менялся с ним местами гимназической службы и поехал в г. Белый (Смоленской губ.).

²⁸ Софья Владимировна Олсуфьева, жена Ю. А. Олсуфьева.

²⁹ Устьянский Александр Петрович (1855—1922) — протоиерей, близкий друг Розанова. В ОР ГБЛ хранится их многолетняя переписка.

³⁰ В собрании М. С. Лесмана хранится «обращение к евреям», записанное Надеждой Васильевной Розановой под диктовку отца: «К евреям. 17 янв(аря) 1919 года. Четверг.

Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощение за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по значению. Главным образом за лоно Авраамово в том смысле, как мы объясняем это с отцом Павлом Флоренским.

Многострадальный, терпеливый русский народ люблю и уважаю.

В. В. Розанов».

³¹ Незадолго до приезда Веры в Сергиев Посад, Надя получила от нее письмо:

«Дорогая Надя!

Спасибо тебе. Ты пришла ко мне на помощь, когда я совсем падала. Мне было страшное видение перед Пасхой. Я наверное недолго проживу. Матушка отказала мне от места. Не говори никому, знакомым говорите, что Матушка распускает сестер. Да это и правда, что она распускает и детей тоже. Тане не говори. Пусть никто не знает. Помолись за меня. Видение это было очень страшное и загадочное. Я все тебе расскажу, когда приеду.

Через несколько дней выезжаю. Можешь поговорить с Дурылиным обо мне, но я без него все знаю. Я была в таком отчаянии когда узнала, что хотела покончить с собой, и думала, думала много о тебе.

Надеюсь устроиться, употреблю все усилия, в Москве, у Анюты с Татьяной. Чудный человек, и она меня очень любит. Я думаю и Лида могла бы там устроиться.

Но это рок и кара.

Прости. Не откажите мне от крова хотя я и недостойна. Мне некуда пока деваться.

Потом я постараюсь устроиться. Я получу порядочное жалование и привезу вам.

Поцелуй маму.

Надя... прости меня. Я виновата опять страшно перед тобой.

Матушка благословила нас съездить к о. Алексею.

Господи, помоги нам.

Вера».

В письме от 8 апреля 1919 года Вера писала Наде: «Надя, странно, как меня поместили на место учительницы, пошла смута, и я не нахожу себе место. Все время дрожись перед властью, так неопытен, требования к учительницам такие большие. Скоро экзамены начнутся. Меня очень подвел учитель школы, сказав, что не надо писать отчета. Я и не писала, а теперь говорят нужен. Мать Александра мною очень недовольна, не разговаривает. Я боюсь, что если я не смогу вести это дело, то очутюсь между небом и землею: ни в монастырь в сестры, ни в учительницы.

Надя, мне так тяжело. Я заметила, что как только меня взяли от маленьких детей и поместили в школу на службу, у меня началось какое-то ужасное нервное состояние. И я не могу от него избавиться. Оно помимо моей воли. И по службе одни неприятности за другими. Тоскливое чувство и без того, а еще неприятности все еще более усиливают. Помолись за меня. Здесь мне не с кем говорить. Душа, мозг, без всякого обмена, как цветок увядает. Надя, ты была так близка ко мне. А когда я была у вас, я чувствовала, что вы все уходите от меня и я остаюсь совсем одна. Ушла Лида (подруга Веры.— М. П.), ушел папа, Вася. Все исчезают. И я вижу перед собой Пустоту, страшную пустоту.

О, как трудно монашество. У меня нет сна. Мятется моя душа. Правду предсказала монахиня Нина (папина знакомая игум(еня), куда хотели меня поместить), что я такой человек, что нигде не найду покоя. Я за последнее время почувствовала ясно, что хочу смерти. А раньше я так любила жизнь.

Надя, все это не то. Сейчас мелькнул образ Маруси. Такой далекий и близкий. Вы все ушли от меня.

Я вижу пространство снега. И кружится снег. И вспоминаю последнюю пьесу Пшибышевского „Снег“, которую видела в последний раз с Марусей, тоскливую жалобу создания, застывшую от холода жизни. „Идет, идет снег“. И сейчас кружится снег. Все просто. Оборвалась последняя нить между мною и миром. Господи, дай мне силы в последний раз перешагнуть через черту, соединяющую меня с миром.

Конец.

Целую. Вера.

Где Лида? Мне надо ей ответить. В Москве, или в имении? Передай низкий поклон о. Павлу» (РО ИРЛИ. Поступления 1970 года. № 58).

³² Дурылин Сергей Иванович (1877—1954) — литературовед, театровед, друг Роза-

нова и Нестерова. Рассказ «Странница», вероятно, не был опубликован.

³³ На этом текст воспоминаний Т. В. Розановой не прерывается, далее она подробно рассказывает о сложных судьбах детей Розанова, в том числе о своей. Большое внимание она уделяет людям, поддерживавшим ее на протяжении жизни: Ю. А. и С. В. Олсуфьевым, П. А. Флоренскому, Н. Д. Шаховской, С. А. Толстой, Н. Г. Чулковой и др.; тем, в чьем сознании В. В. Розанов продолжал жить.

³⁴ У Троицы в Академии. 1814—1914. Юбилейный сборник исторических материалов. Изд. бывших воспитанников МДА. М., 1914.

³⁵ Розанов закончил университет в 1882 году.

³⁶ Отзывы были опубликованы в журнале «Вестник Европы» (1886. № 10; за подписью Л. С. (лонимский)) и в журнале «Русская мысль» (1886. № 8; Б. п.).

³⁷ В письме к Волжскому Розанов высказывал свое отношение к А. П. Сусловой:

«С Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы А. М. Шегловой (мне 17 лет, Шегловой 20—23, Сусловой — 37): вся в черном, без воротничков и рукавчиков (траур по брату) со „следами былой“ замечательной красоты — она была русская „легитимистка“, ждавшая торжества Бурбонов во Франции (там она оставила лучших своих друзей — в России у нее никого не было), а в России любила только аристократическое, традиции. . . Взглядом „опытной кокетки“ она поняла, что „ушибла“ меня — говорила холодно, спокойно. И, словом, вся — „Екатерина Медичи“. На Катьку Медичи она в самом деле была похожа. Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы — слишком равнодушно; „стреляла бы в гугенотов из окна“ в Варфоломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди (один друг ее, Анна Осиповна Г., лет на 16 старше ее) были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видел. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы „поморского согласия“, или, еще лучше — „хлыстовская богородица“» (Гроссман Л. Путь Достоевского // Гроссман Л. Собр. соч. Т. 2. М., 1928. С. 136).

В деловой справке для канцелярии Синода по личному семейному вопросу Розанов сообщает о своей первой жене (говоря о себе в третьем лице):

«Аполлиналия — урожденная Суслова, в замужестве Розанова, уехала от В. В. Розанова в 1886 году, имея поводом к сему то, что ее муж, вопреки обещанию, виделся с неким молодым евреем Гольдовским, заведывавшим раздачею его книг по магазинам; она же, по всем данным, влюбясь в этого Гольдовского и не найдя в нем сочувствия себе, неслыханно его преследовала, и путем невыразимых ссор заставила и мужа разорвать с ним всякое знакомство. Гольдовский этот, из прекрасной еврейской семьи и прекрасный молодой человек, был самою Сусловой приглашен к Розановым гостить на лето. Вообще, это была одна из чудо-

вишных по нелепости выходок Сусловой. . . Ранее того, перейдя служить из Брянска в Елец, Розанов звал к себе жену жить, надеясь, что на новом месте, среди новых людей и обстановки, жизнь пойдет ровнее, но в грубых и жестоких словах она отказала ему в этом: „тысяча мужей находится в вашем положении (т. е. оставлены женами) и не воют — люди не собаки“, — ответила она» (Гроссман Л. Указ. соч. С. 134—135).

³⁸ Розанов преподавал в Елецкой гимназии географию и историю с 1885 по 1891 год. Пришвин поступил учиться в 10-летнем возрасте. Под влиянием рассказов учителя о «забытых странах» мальчик с друзьями отправился на лодке по реке путешествовать в «Азию»; беглецов задержали. От исключения из гимназии Пришвина спас Розанов. Впоследствии Пришвин считал этот свой поступок самым важным событием детства, предопределившим смысл его жизни и творчества как «путь в небывалое». В последующих классах Пришвин занимался плохо; в 1887 году, после 3-его класса, был оставлен на второй год с двойкой по географии. В 1889 году по настоянию Розанова он был исключен из 4-го класса гимназии за оскорбление, нанесенное им Розанову. Однако сам Пришвин придавал этому событию важное значение, позднее он оценивал свое исключение как первое «столкновение свободы и необходимости» в его сознании, с которого и началась для него «сознательная жизнь».

³⁹ В тексте допущены две неточности: 1) Пришвин не бывал в Америке; 2) «За волшебным колобком» — это его вторая книга.

⁴⁰ Розанов выведен в романе «Кашеева цепь» под прозвищем «Козел». В книге А. Ремизова «Кухня. Розановы письма» есть упоминание о том, что так на самом деле звали Розанова елецкие гимназисты. В романе Пришвина дан утрированный портрет Розанова: «На другой день, как всегда очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгающие слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под кафедрой дрожит половица».

⁴¹ См.: Метафизика Аристотеля. Перевод с примечаниями в сотрудничестве с Первовым // ЖМНП. 1890. Январь.

⁴² В 1893 году Розанов поступил на службу в Государственный контроль, во главе которого стоял друг К. Леонтьева Тертий Иванович Филиппов. В молодости он состоял членом «молодой редакции» «Москвитянина».

⁴³ Вероятно, речь идет о книге «Сумерки просвещения» (СПб., 1899) и об одноименной статье (Русский вестник. 1893. Январь. Февраль. Март. Июнь).

⁴⁴ Первый назвал Розанова «Иудушкой» еще Вл. Соловьев в статье «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. № 1. С. 906—916) — отклике на статью Розанова «Свобода и вера» (Русский вестник. 1894. Январь).

⁴⁵ Имеется в виду В. А. Тернавцев. После встречи с Суловой в Севастополе в 1902 году, не добившись от нее разрешения на развод для Розанова, Тернавцев назвал ее «железная. Аполлинария Панкратьевна».

⁴⁶ См. публикации В. Г. Сукача в журнале «Литературная учеба» (1989. № 2) «Василий Розанов. „Сахарна“ (Часть третья. «После Сахарны»)».

⁴⁷ В письме к А. А. Измайлову летом 1918 года Розанов жаловался: «А от меня, кроме одного Флоренского и С. И. Дурылина, отвернулись, т. е. перестали вовсе здороваться, все „маленькие славянофилы“ из-за „Апокалипсиса“» (ИРЛИ. Ф. 115. № 270. Л. 62).

Несмотря на печальную судьбу последней книги, Розанов мечтал об издании собрания

своих книг, о чем писал Измайлову в декабре 1918 года, т. е. за месяц до смерти: «Конечно, конечно милый и дорогой — ведите переговоры, смело, свободно, от себя и как бы имея мою полную (формальную) доверенность. Сытин, Цетлин, Брокгауз. И мечта издать „Полное собрание сочинений Р-ва“ (кто же от этого откажется??!!) была бы чудесна и извабила бы, выкупила и искупила, в этот ужасный год!!! За ценою понятно особенно не гонитесь. Ведь у меня „орегат оппиа“ не менее 50 огромных томов. Из них „Опав(ших) листьев“ новых не менее как томов на 8-10, оконченный уже „Апокалипсис“, выпусков 50, и из „Восточн(ых) мотивов“ — тоже уже окончено в тексте. Любящ(ий) В. Розанов» (ИРЛИ. Ф. 115. Ед. хр. 270. Л. 75).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ М. А. БУЛГАКОВА С Е. И. ЗАМЯТИНЫМ И Л. Н. ЗАМЯТИНОЙ (1928—1936)

(ПУБЛИКАЦИЯ В. В. БУЗНИК)

Переписка М. А. Булгакова (1891—1940) с Е. И. Замятиным (1884—1937) представляет немалый научный интерес как неподдельный документ, характеризующий не только взаимоотношения двух выдающихся русских прозаиков XX века, но и некоторые общие для них жизненные, творческие проблемы, а также сходную по своему драматизму, хотя во многом и разную литературную судьбу. В переписке этой точно запечатлелись личности обоих писателей, их человеческие характеры, пристрастия, вкусы, круг интересов и знакомств. Содержатся в ней и отдельные новые или уточняющие сведения биографического свойства.

Замятин был одним из первых, кто еще в начале 20-х годов одобрительно отозвался в печати о только что вступавшем в литературу Булгакове. В своей статье «О сегодняшнем и о современном» (Русский современник. 1924. № 2) он выделил булгаковскую сатирическую повесть «Дьяволиада» как «единственное современное» произведение из всех, опубликованных в четвертом номере альманаха «Недра» за 1924 год. И хотя «абсолютная ценность этой вещи» показалась ему «невелика», он с удовлетворением отметил некоторые особенности ее стиля как отвечающие духу времени и, вместе, перспективные. «У автора, — говорилось в статье, — несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех (немногих) формальных рамок, в какие можно уложить наше вчера — 19-й, 20-й год» (С. 266). Вполне оптимистическим был и общий вывод Замятина о том, что в дальнейшем от Булгакова, «по-видимому, можно ждать хороших работ» (Там же).

Завязавшееся таким образом знакомство

вскоре стало очным. Точная дата и место первой встречи писателей пока не установлены. Однако имеются сведения о том, что уже летом 1925 года Булгаков приезжал в Ленинград в связи с публикацией его рассказов и очерков на страницах журнала «Красная панорама» и «Вечерней Красной газеты» (См.: Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983. С. 145; Балонов Ф. Влекущая тайна творчества // Вечерний Ленинград. 1987. 11 авг. С. 3). Известно и то, что примерно тогда же Замятин побывал в Москве, где присутствовал на премьере своей пьесы «Блоха» во 2-м МХАТе (см.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова // Москва. 1987. № 8. С. 29). Вполне вероятно поэтому, что во время одной из этих поездок и состоялось личное знакомство Булгакова с Замятиным. Так или иначе, но к маю 1926 года они уже несомненно знали друг друга и оба принимали участие в большом литературно-художественном вечере Всесоюзного союза писателей, проходившем в Ленинграде.

С тех пор между Булгаковым и Замятиным установились прочные дружеские отношения, которые не оборвались и после того, как осенью 1931 года Замятину пришлось навсегда покинуть СССР, эмигрировать во Францию. Писатели постоянно встречались и у Замятина в Ленинграде, и у Булгакова в Москве, куда выезжали по своим литературно-театральным делам. Для Булгакова отношения эти были особенно важны и дороги. Как замечено, «это была та литературная дружба, которой не хватало Булгакову в Москве, где близкие ему люди относились главным образом к ученому миру и миру актеров» (Чудакова М. Указ. соч. С. 79).

На протяжении всего знакомства между Булгаковым и Замятиным велась непрерывная

переписка, в которой принимала живейшее участие и Л. Н. Замятина (1887?—1965), жена писателя, испытывавшая к Булгакову большое душевное расположение и хорошо осведомленная о многих его как семейно-бытовых, так и творческих обстоятельствах.

Ниже публикуется часть этой переписки (автографы и машинописные копии), хранящаяся в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР (Ф. 369. Ед. хр. 321, 322, 391, 392). Ее составляют три письма Булгакова к Замятину, одно — к Л. Н. Замятиной, одно — к ним обоим; одиннадцать писем Замятина к Булгакову и столько же — Л. Н. Замятиной к нему.

Другая часть настоящей переписки, состоящая из шести писем Булгакова к Замятину (1928—1931) и находящаяся в Отделе рукописей ИМЛИ им. А. М. Горького, опубликована Е. Ю. Литвин в журнале «Памир» (1987. № 8. С. 94—99).

1. Замятин — Булгакову

⟨январь—март 1928 г. Ленинград.⟩¹

... дня... 192... г.

Уважаемый Михаил Афанасьевич,

Вы любезно обещали написать для театрально-литературного сборника Драматического союза статью на тему «Драматург и критика».²

Ввиду того, что сборник должен выйти в мае месяце в ознаменование 25-летнего существования Драматического союза, мы убедительно просим Вас подтвердить свое согласие на представление Вашей статьи к сроку и подписать прилагаемое при сем соглашение, необходимое по формальным основаниям.

Просим принять уверение в нашем уважении.

Редакторы: А. Кугель,
Е. Замятин.

¹ Датируется ориентировочно по содержанию письма, а также приложенному к нему «Соглашению», где сказано, что срок представления рукописи — 5 апреля 1928 года.

Письмо отпечатано на официальном бланке следующего вида:

Состоящее в ведении
Главнауки Наркомпроса
РСФСР

Ленинградское общество
Драматических и Музыкальных
писателей
(Драматическое)

Уст. утв. Совнаркомом
РСФСР 20 ноября 1923 г.

Правление:

Ленинград, ул. Марата,
д. 20, кв. 22

телефон № 157-19

Агентурный отдел:

Москва, IX, Гнезниковский, 10
телефон № 431-33

² По-видимому, эта статья будет упоминаться в дальнейшей переписке Булгакова и Замятина под названием — «Премьера» (см. п. 7 и 8).

2. Л. Н. Замятина — Булгакову

17 марта ⟨1928. Ленинград.⟩

Дорогой Михаил Афанасьевич, Вы забыли нас. И забыли туманный, фантастический Петербург, Вас не тянет туда больше. Или Вы перебрались на какой-нибудь необитаемый небагровый остров¹ и не хотите ни с кем иметь дела?

Но мы, я — хотим иметь с Вами дело, хотим попрежнему видеть Вас у себя...

Написали бы хотя несколько строк о себе, не грех было бы это сделать.

Привет!

Л. З⟨амятина.⟩

¹ На протяжении 1927—1928 годов Камерный театр готовил к постановке комедию Булгакова «Багровый остров», написанную на основе его одноименной повести. Премьера состоялась 11 декабря 1928 года.

3. Л. Н. Замятина — Булгакову

1 апреля ⟨1928. Ленинград.⟩

Посылаю Вам порошки, Михаил Афанасьевич. Должны излечиться моментально от своей головной боли.

Вечером надеюсь видеть Вас у себя — Моховая, 36, кв. 8.

Л. Замятина.

4. Л. Н. Замятина — Булгакову

15 мая ⟨1928. Ленинград.⟩

Дорогой Михаил Афанасьевич.

Простите меня — дуру петербургскую, что пишу Вам. Но обстоятельства необычайной важности заставляют это делать.

Ваш наместник в ПБ — Николай Эрн⟨стович⟩¹ забыл правила Вашей игры,² вводит при поддержке Е⟨вгения⟩ И⟨вановича⟩ свои, с чем я никак не могу согласиться и подчиниться. Они, напр⟨имер⟩, отрицают право начинающего игроу выкладывать слова до хода. Не пора ли Вам приехать в ПБ и навести порядок?

Ждем.

Л. З⟨амятина.⟩

Р. С. Посылаю письмо с сестрою. Для верности.

¹ Радлов Н. Э. (1889—1942) — художник, общий знакомый Замятиных и Булгакова.

² Речь идет, вероятно, о некогда популярной игре буриме.

5. Л. Н. Замятина — Булгакову

25 июля (1928. Ленинград.)

Дорогой метр!

В воскресенье — 28.VII, — в 6.45 м. вечера мы будем на Курском вокзале. Едем с поездом № 11 (скорым на Феодосию—Севастополь), отходящим из ПБ в 8.25 утра. Из Москвы уходит в 7.25 веч(ера). Сами понимаете, что мы никуда тронуться из вагона не можем на долгое время, раз у нас всего имеется 40 мин(ут). Но если бы Вы смогли и захотели приехать повидаться — было бы чудесно, а мы были бы Вам благодарны.

Итак, м(ожет) б(ыть), до свидания?

Привет Люб(ови) Евг(еньевне).¹ Ее беспокоить мы не смеем.

Л. З(амятина.)

Е(вгений) И(ванович) в Новгороде с Зощенкой² до пятницы.

¹ Белозерская Любовь Евгеньевна (1895?—1987) — вторая жена писателя, брак с которой был заключен 30 апреля 1925 года.

² Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958) — один из немногих ленинградских литераторов, не отвернувшихся от Замятина даже в самые тяжелые годы критических гонений, когда из автора романа «Мы» старались сделать «какого-то мракобеса» и любые дела, отношения с ним становились политически опасными. С горечью констатировал Замятин: «Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры» (Письмо Замятина Сталину // Книжное обозрение. 1988. 8 апр. С. 6).

6. Л. Н. Замятина — Булгакову

1 августа (1928. Ленинград.)

Милый Михаил Афанасьевич, посылаю один порошок с кофейном (прилагаю рецепт) и 2 облатки пирамидона. Желая немедленно избавиться от головной боли.

Ждем! Захватите «Бег».¹

Л. Замятина

¹ В течение лета 1928 года Булгакову пришлось с переменным успехом бороться за восстановление своей пьесы «Бег» в репертуаре Художественного театра, откуда она была исключена резолюцией Главреперткома (см.: Гудкова В. В. Судьба пьесы «Бег» // Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова: Сб. научных трудов. Л., 1987. С. 41).

7. Замятин — Булгакову

8 августа 1928. (Ленинград.)

Дорогой Михаил Афанасьевич, честь имею уведомить Вас, что мы гнием на корню от ежедневных дождей. А затем — следуют пункты:

1. Приветствую Любовь Евгеньевну и Вас;
2. Напоминаю Вам, что Вы обещали написать для альманаха Драматического союза статью «Премьера»;¹ размером не стесняйтесь; статью заранее приветствую (альманах будет издан в «Academia»);
3. Примите к сведению, что мой петербургский телефон теперь 2-40-72;
4. Кончайте скорее свою зубоврачебную карьеру² и приезжайте в Питер;
5. Начиайте на все.³

Ваш Евг. З(амятин.)

¹ См. п. 1, прим. 2.

² Имеется в виду, наверное, то обстоятельство, что Булгаков не забывал своей профессии врача, о чем, например, свидетельствуют воспоминания С. Ермолинского: «Как и прежде, когда я заболел, он спешил ко мне: любил лечить. Болезни у меня по тем молодым годам были несложные — простуда, бронхит. Тем не менее у него был вид строгий, озабоченный, в руках чехмоданчик, из которого он извлекал спиртовку, градусник, банки» (Ермолинский С. Из записей разных лет // Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 468).

³ Подразумевается, по-видимому, тяжело травмировавшая Булгакова обстановка неопределенности, образовавшаяся к этому времени вокруг его пьес: «Настроение, владевшее им в эти дни, легко реконструировать — „Бег“ все еще не был разрешен, „Дни Турбиных“ обречены (их должна была сменить готовящаяся к постановке пьеса Вс. Иванова), в прочность будущей постановки „Багрового острова“, при сложившемся отношении Реперткома к его пьесам, Булгаков вряд ли верил...» (Чудакова М. Указ. соч. С. 79).

8. Замятин — Булгакову¹

13 сентября 1928. (Ленинград.)

С «Багряным² островом» Вас!

Дорогой старичок,

позвольте Вам напомнить о Вашем обещании дать для альманаха Драматического союза «Премьеру».³ Когда прикажете этого ждать? Пора уж.⁴

Пожалуйста, не подражайте нашему общему другу Булгакову — не кладите писем под сукно, но вместо того честно ответьте.

Привет Любви Евгеньевне.

Ваш Евг. Замятин.

¹ В сокращенном виде настоящее письмо, а также ответ на него Булгакова, датированный 27 сентября 1928 года, впервые опубликованы: Чудакова М. Указ. соч. С. 78—80.

² Так у Замятина: «багряный» вместо «багровый».

³ См. п. 1, прим. 2.

⁴ В ответном письме Булгакова говорится: «К тем семи страницам „Премьеры“, что лежали без движения в первом ящике, я за две недели приписал еще 13. И все 20 убористых»

страниц, выправив предварительно на них ошибки, вчера спалил в той печке, возле которой вы не раз сидели у меня.

И хорошо, что вовремя опомнился.

При живых людях, окружающих меня, о направлении в печать этого опуса речи быть не может.

Хорошо, что не послал. Вы меня извините за то, что я не выполнил обещания, я в этом уверен, если я скажу, что все равно не напечатали бы ни в коем случае.

Не будет „Премьеры“!

Вообще упражнения в области изящной словесности, по-видимому, закончились» (Цит. по: Памир. 1987. № 8. С. 96).

9. Л. Н. Замятина — Булгакову

25 февраля <1929. Москва.>

Дорогие Булгаковы!

Я возмущена — Е<вгений> Ив<анович> скрыл от меня, что у Вас появился сын.¹ Ну, поздравляю, поздравляю. Какой красавец он у Вас!

Приехала я сегодня — у меня опасно болен племянник, лежит в клинике МГУ. Поехала к нему, оказалось — приемные часы поздние, решила повидать вас — тоже неудачно. Позвоню вечером, чтобы условиться насчет свидания.

Приняты были (я была с сестрой) Марусей² по-московски — очень приветливо и гостеприимно.

Привет.

Л. Замятина.

Я живу в бестелефонном месте.

¹ Речь идет, по-видимому, о Сереже, младшем сыне Е. С. Шиловой (1893—1970) от первого брака. В 1932 году она вышла замуж за Булгакова. Судя по настоящему письму, мальчик был принят в доме писателя как свой задолго до 1934 года, когда вместе с Михаилом Афанасьевичем и матерью поселился в их первой квартире по ул. Фурманова, д. 3 (Нашокинский пер.).

² Маруся — домработница Булгаковых, за свою домовитость пользовавшаяся большим расположением хозяев.

10. Л. Н. Замятина — Булгакову

9 марта <1929. Москва.>

Михаил Афан<асьевич>, дорогой, я должна получить какую-нибудь <удь> книгу Ваших произведений.¹ Если не дадите, буду считать Вас Пильняком. До такого позора, надеюсь, не доживем.

Готовьте Е<вгению> И<вановичу> письмо, я уеду, вероятно, в середине этой недели. И книгу мне, книгу.

Привет.

Л. З<амятина.>

Мой племянник выразил желание иметь след<ующие> книги:

Булгакова
Вольтера
Толстого Льва!!!

¹ К этому времени было издано несколько сборников рассказов Булгакова: Дьяволиада. М., 1925; Роковые яйца. Рига, 1925; Трактат о жилище. М.; Л., 1926.

11. Замятин — Булгакову

15 июля 1929. <Ленинград.>

Дорогой товарищ инструктор,¹ я хорошо понимаю, что всякое напоминание о городе, где Вам пришлось 10 (десять) раз пролезать под бильярдом, — Вам не очень приятно. Поверьте, что причинить Вам эту неприятность меня вынуждает только крайняя необходимость.

Как Вам известно — пьес я больше не пишу.² Но вот одну хорошую американскую пьесу московским театрам хочу предложить — в срочном порядке. Для этого мне нужно знать, кто из театральных людей сейчас в Москве.

Благоволите снять с телефона свой халат, позвонить и затем сообщить мне: 1) имеется ли налицо П. А. Марков;³ 2) Таиров;⁴ 3) кто остался в живых из МХАТа 2-го;⁵ и 4) из вахтанговцев.⁶

Пожалуйста, не будьте <нрзб.>, разузнайте это и поскорее напишите мне.

Привет Любови Евгеньевне и лучшему из старичков, какого я знаю, — Маричке.⁷ Ах, если бы мне дожить до такой старости!

Ваш Евг. Замятин
(он же Фона).

Вот уже неделя, как Людмила Николаевна перестала смеяться. А когда я не вижу, — может быть, даже рыдает, как дитя.⁸

¹ В таком обращении содержится, возможно, шутливый намек на то, что Булгаков незадолго до поступления в МХАТ стал консультантом в Московском театре рабочей молодежи (ТРАМ), где служил до 1931 года. «ТРАМ — не Художественный театр, куда жаждал попасть Михаил Афанасьевич, — вспоминала в этой связи Л. Е. Белозерская, — но капризничать не приходилось» (Белозерская Л. Е. Страницы жизни // Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 226).

² Позже, характеризуя невыносимую обстановку идеологического остракизма, исключавшую всякую возможность творчества, в том числе и писания пьес, Замятин сообщил в известном своем обращении к И. В. Сталину: «Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы» (Письмо Замятина Сталину. С. 6).

³ Марков Павел Александрович (1897—1980) — режиссер, заведующий литературной частью МХАТа в 1929—1949 годах.

⁴ Таиров Александр Яковлевич (1885—1950) — режиссер, художественный руководитель Камерного театра.

⁵ В 1924 году Первая студия Художественного театра стала МХАТом Вторым.

⁶ Тогда же Третья студия оформилась как Театр им. Е. Б. Вахтангова.

⁷ Подразумевается М. А. Чимишкян, близкая знакомая Л. Е. Белозерской и Булгакова (см.: *Чудакова М.* Указ. соч. С. 76, 79—80).

⁸ В ответном письме (19 июля 1929 года) Булгаков писал:

«Дорогой Евгений Иванович! Насчет лаянья под бильярд: существует знаменитая формула: „Сегодня я, а завтра, наоборот, Ваша компания!“

П. А. Маркова в Москве нет. Где он и когда вернется, сразу узнать не удалось. Таиров (Александр Яковлевич) за границей и будет там до половины августа. По телефону узнал, что в 2-м МХАТе обязанности директора сейчас исполняет Резголь Антон Александрович. Вахтанговцы сейчас все в Москве и до 28-го июля будут играть в Парке культуры, а что дальше с ними будет — неизвестно. Желаю успеха, рад служить. И Любви Евгеньевне, и Мушке привет Ваш передал. Что касается старости, то если мы будем вести себя так, как ведем, то наша старость не будет блестящей. Передайте мой лучший привет Людмиле Николаевне, а также миллионщикам.

Ваш до гроба (который не за горами) М. Булгаков.

Р. С. Как изволите видеть, письмо касается лишь Вашего уважаемого поручения. Относительно же Вашей пьесы я Вам, как обещал, напишу. Ждите. Говорил я кое с кем, и во мраке маленький луч. Но если этот луч врет?! О, Террога, о, Mores!

В Москве краткие грозы, прохладно, пасмурно, скучно. На душе и зуйно и фонно.

М. Б.»
(цит. по: Памир. 1987. № 8. С. 97—98).

12. Замятин — Булгакову

23 октября 1930. (Ленинград.)

Дорогой Михаил Афанасьевич,
уважаемый режиссер!¹

К Вам — как к режиссеру и магистру драматургии — направляю молодую драматургу Наталью Александровну Эльяшеву. Она написала пьесу, очень современную по тематике («молодежную» и «новобитную») и любопытную по конструкции: посмотрите, не пригодится ли эта пьеса для ТРАМа² или для Малой сцены МХАТа.

Искренне Ваш

Евг. Замятин
(бывший писатель, а ныне доцент ленинградского Кораблестроительного института).³

Привет от Людм(илы) Ник(олаевны) — Вам и Любви Евгеньевне.

¹ В мае 1930 года, после беседы с И. В. Сталиным, Булгаков был принят в МХАТ на должность режиссера-ассистента (Михаил Булгаков. Из литературного наследия // Октябрь. 1987. № 6. С. 188—189). В этой связи К. С. Станиславский писал ему: «Дорогой и милый Михаил Афанасьевич! Вы не представляете себе, до какой степени я рад Вашему вступлению в наш театр! Мне пришлось поработать с Вами лишь на нескольких репетициях „Турбинных“, и я тогда почувствовал в Вас — режиссера (а может быть, и артиста?) Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой! От всей души приветствую Вас, искренно верю в успех и очень бы хотел поскорее поработать вместе с Вами» (Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1961. Т. 8. С. 270).

² См. п. 11, прим. 1.

³ См. п. 11, прим. 2.

13. Замятин — Булгакову

Москва, Б. Пироговская,
35А, кв. 6.

Драматургу Михаилу Афанасьевичу Булгакову.

28 октября 1931. (Ленинград.)

Дорогой Афанасьич,

итак — ура трем М: Михаилу, Максиму и Мольеру!¹ Прекрасная комбинация из трех М для Вас обернется очень червонно: радуюсь за Вас. Стало быть, Вы поступаете в драматурги, а я — в агасферы.²

Дальний мой путь начнется, вероятно, 14 ноября. В Москве буду, д(олжно) б(ыть), числа 4—5. Это зависит от известий о получении визы (которой все еще нет — черт бы побрал их). А 15 ноября МХАТ 2-й выпускает освеженную «Блоху»³ — посмотреть едва ли успею. Жаль. Увидимся во всяком случае.

Знатная путешественница убежала из дому, поручила нежно приветствовать Вас и Любовь Евгеньевну.

Е. Зам(ятин.)

¹ В октябре 1931 года была принята к постановке в МХАТе пьеса Булгакова «Мольер» («Кабала святош»), ранее запрещенная Главреперткомом и увидевшая свет рампы только после обращения автора с письмом в Правительство СССР 28 марта 1930 года (Михаил Булгаков. Из литературного наследия. С. 176—180). Упоминанная имя «Максим», Замятин намекает на Горького, принимавшего в 1928—1931 годах деятельное участие в устройстве театральных дел Булгакова, в защите его пьес от несправедливых нападок Главреперткома (Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. С. 41—45).

В ответном письме Замятину (31 октября 1931 года) Булгаков писал:

«Дорогой Агасфер!

Когда приедете в Москву, дайте мне знать о своем появлении и местопребывании, каким Вам понравится способом — хотя бы, скажем, запиской в МХТ, ибо телефон мой — сволочь — не подает никаких признаков жизни.

Из трех эм'ов в Москве остались, увы, только два — Михаил и Мольер.

Что касается Людмилы Николаевны, то я поздравляю ее с интересной партией. Она может петь куплет:

Вот удачная афера,
Вышла я за Агасфера.

Итак, семейству Агасферовых привет!

Ваш М. Булгаков»

(цит. по: Памир. 1987. № 8. С. 98—99).

² Непрерывавшаяся травля со стороны рапповских ортодоксов (см. п. 11, прим. 1) вынудила Замятина избрать горькую судьбу «вечного странника» Агасфера. В середине ноября 1931 года он эмигрировал из Советской страны, и «на перроне Белорусского вокзала его навсегда провожал друживший с ним Михаил Булгаков» (Лакшин В. «Антиутопия» Евгения Замятина // Знамя. 1988. № 4. С. 129).

³ «Блоха» — «народное шуточное представление», написанное Замятиным на тему рассказа Н. С. Лескова «Левша». Первую постановку осуществил МХАТ 2-й в 1925 году.

14. Замятин — Булгакову

15 мая 1932 (Монако).

Дорогой Мольер, мы сидим в кафе в Монако и вспоминаем Вас. Какие лица! Какой материал для Вашего пера! Радуюсь, что оно не работает вхолостую (читал о возобновлении «Турбинных»).¹ Я после моих странствований — отдыхаю в Côte-d'Azur'ных краях уже с месяц. Скоро опять еду в Париж — пока на месяц. Потом, вероятно, опять вернусь сюда. А отсюда, — может быть, в Америку. Буду рад получить от Вас несколько строк. Привет Любови Евгеньевне.

Л(юдмила) Н(иколаевна) очень загорелая и гордая — сама не может писать — шлет привет.

Адрес: Villa «Borisella», Cagnes-sur-mer (А. М.)

Евг. Замятин.

¹ В январе 1932 года последовало правительственное распоряжение о возобновлении на сцене МХАТа пьесы Булгакова «Дни Турбинных», исключенной из его репертуара после известного выступления И. В. Сталина «Ответ Билья-Белоцерковскому» (2 февраля 1929 года). Премьера пьесы состоялась 18 февраля 1932 года.

15. Л. Н. Замятина — Булгакову

31 мая (1932. Ницца.)¹

Не верю, не хочу верить, что Вы постарели. Устали — да. Но летом отдохнете все же и станете прежним — блистательным, остроумнейшим, очаровательно-веселым — каким Вы бывали иногда в Ленинграде, и когда я так много смеялась всегда.

Да, mon cher ami, пути судьбы неисповедимы — и я уже скоро три месяца наслаждаюсь на Côte d'Azur'e. Здесь природа благословенна, щедра, мягка. Люди — любезны и веселы. Вдали — Альпы с снежными вершинами, прямо — море, изумительное по краскам (конечно, уже давно купаюсь). А у себя — в саду — розы, вербены, цветущий уже fleur d'orange. А еще в саду — моя нежная, пылкая любовь, носящая опьяняющее имя Whisky, — чудесная обезьянка с Канарских островов. Такой забавницы и проказницы трудно найти. А любопытна до чего! Разрешите послать Вам ее фотографию. И мы, между прочим, посылаемся и 1/2 пижамы очаровательной женщины.²

Mon ami умчался снова в Париж. Там сейчас разгар весеннего сезона. Ваше письмо — переслано уже. Париж — сплошная фантастика. Это не Берлин — скучный, чистый, прямой, и не Прага. Изумительный, прекрасный город! С удовольствием думаю, что вернусь еще туда и буду жить там. О получении этого письма непременно напишите сюда же. Я не говорю Вам «adieu», нет — au revoir, au revoir, где хотите — в Москве ли, в Ленинграде ли. Бывали Вы в нем без нас? Ревную жестоко... К кому — сами знаете. Моск(овские) газеты читаем с интересом. Привет Л(юбови) Евг(еньевне). Целуем Вас, мой милый Маб!³

Л. Замятина.

¹ В Рукописном отделе ИРЛИ это письмо ошибочно датировано 1929 годом. Между тем оно отправлено из Франции и вложено в конверт, помеченный 31 мая 1932 года, Ницца (Ф. 369. Ед. хр. 392. Л. 18).

² К письму приложена фотография Л. Н. Замятиной и Е. И. Замятина (Ф. 369. Ед. хр. 392. Л. 11).

³ «Маб» — одно из ласковых прозвищ Булгакова, принятых в среде его друзей, близких. Более часто писателя называли «Мак», «Мака». Л. Е. Белозерская так рассказывает о происхождении этого уменьшительного имени: «Я уже говорила, что мы любили прозвища. Как-то Михаил Афанасьевич вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой, злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил: Мака — это я. Удивительнее всего, что это прозвище — с его же легкой руки — очень быстро привилось. Уже никто из друзей не называл его иначе, а самый близкий его друг Коля Лямин говорил ласково „Макин“. Сам Михаил Афанасьевич часто подписывался Мак или Мака» (Белозерская Л. Е. Указ. соч. С. 197).

16. Замятин — Булгакову

5 октября 1932 (Париж).

Автору «Мольера»¹ и «Мертвых душ»² привет от странника, который — к слову сказать — оскандалился и на юге получил грипп, только 3—4 дня как опять гуляю.

Напишите, как живете и работаете.

Адрес: 21 В^d Вгuon, Paris. Mr Savitch — роиг

Е. Зап.

¹ См. п. 13, прим. 1.

² Осенью 1932 года в МХАТе готовился спектакль (режиссер К. С. Станиславский) по написанной Булгаковым инсценировке поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Вскоре состоялась премьера, «спектакли пошли один за другим — и шли с неизменным, невероятным успехом почти полвека, прежде чем постановка, в которой сменилось несколько поколений актеров, начала угасать...» (Яновская Л. Указ. соч. С. 211).

17. Булгаков — Замятину

«Астория».
Ленинград.
25 октября 1932.

Дорогой странник!

Что же, милый Евгений Иванович, Вы так скупы на слова? Хотел ответить Вам тем же — написать кратко...¹

¹ Отрывок черновика.

18. Булгаков — Замятину

28 октября 1932.
Москва.

Зачем же, о Странник, такая скупость на слова?

Хотел отомстить Вам тем же, но желание говорить о драматургии берет верх.

Как я работаю? Прежде всего, как Вы работаете? Пишете ли? Что? Почему? Как? Скучаете ли? Слышал, что Вы вскоре возвращаетесь на родину. Когда?..¹

¹ Отрывок черновика, представляющего новый вариант письма, начатого Булгаковым в Ленинграде 25 октября 1932 года (см. п. 17).

19. Булгаков — Замятину

7 декабря 1932. (Москва.)

Дорогой Евгений Иванович, дайте о себе весть — где Вы?

Ваш М. Булгаков.

Б. Пироговская, 35 А, кв. 6.

20. Л. Н. Замятина — Булгакову

Сочельник — 24 декабря (1932),
а по-ихнему Réveillon
(Париж.)

Хорошо Réveillon, когда +15, когда сияет солнце, продают розы, когда люди ходят в одних пиджаках и по-весеннему улыбаются! Нет, я предпочитаю в сочельник мороз, снег, яркие звезды, а Новый год встречать не в ресторане на Монмартре, а в Москве или в Ленинграде и — с Вами, дорогой Михаил Афанасьевич. Такое пожелание я делаю себе на 1933 год.

Поздравляю Вас с успехом «Мертвых душ».¹ Московские газеты иногда нам попадают. Очень приятно за Вас. Надеюсь, что Ваша апатия прошла и Вы чувствуете себя хорошо. Над чем работаете сейчас? Как обстоят дела с «Мольером»?² Вообще, как идет Ваша жизнь? Все это очень меня интересует, и Вы напишите мне обо всем этом.

Мы безбодно застряли на Ривьере, только с месяц, как вернулись в Париж. Е(вгений) И(ванович) делал в Ницце один сценарий,³ потом писал роман, а я купалась, купалась и, кажется, перекупалась — чувствую себя в Париже не очень хорошо. А Париж — такой красивый, стремительный, фантастический, каждый день открываю в нем всегда новое. Пока остаемся здесь и адрес наш такой: 22, rue Lamblardie, Paris, 12.

Были ли в Ленинграде? Как живут Коля с Диной?⁴ Оставляю место Е(вгению) Ив(ановичу).

Жду письма.

Л. Замятина.

¹ См. п. 16, прим. 2.

² См. п. 13, прим. 1.

³ Речь идет, по-видимому, о сценарии по роману Л. Толстого «Анна Каренина», написанном Замятиным для французского кино.

⁴ Подразумеваются Николай Эрнестович и Надежда Константиновна Радловы.

21. Замятин — Булгакову¹

25 декабря 1932. (Париж.)

Дорогой Мака,² сегодня ихний, французский праздник. Это я ощущаю всем своим существом и особенно — ушами: у соседей слева — радио, справа — радио и напротив могучий электрофон. Слева — оперетка, справа — канканик, в середине — рождественский гимн: прелестная французская симфония! Я наслаждаюсь ею уже два дня — два дня сижу дома и отдыхаю после предрождественской беготни по магазинам и редакциям. Крепкий народец французы: как Вам известно, даже американцам не удалось выжать из них долгов. Я оказался счастливей американцев: большую часть долгов мне заплатили, живем! В одной из редакций («Revue de France» — ихний «толстый» журнал) произошел случай, можно ска-

зять, спиритический: предо мной предстал Марсель Прево,³ которого я считал покойником, а он жив и даже, оказывается, в числе бессмертных. Знакомство состоялось по поводу «Наводнения»,⁴ которое было у них напечатано и проняло старичка. Ну, это — *demi-vege*. А вот как-то сидел у Моруа⁵ — и вспомнил Вас: с этим бы Вы поговорили с удовольствием, приятные мозги у человека.

Я по Вас и супруге Вашей, ей-богу, соскучился, но раньше весны едва ли увидимся: кой-какие дела тут начаты и еще не кончены, паспорта продлены пока еще на полгода. Видел на днях Вашего москвича — Бабеля.⁶ Н-да, жизнь у вас там — кипит... Вас — с Новым годом и с «Мертвыми душами»⁷ — от души.

Е. З(амятин.)

¹ Написано в продолжение письма Л. Н. Замятиной к Булгакову от 24 декабря 1932 года (см. п. 20).

² См. п. 15, прим. 3.

³ Прево Эжен Марсель (1862—1941) — французский писатель, член Французской академии, автор любовно-психологических романов, склонных к морализаторству.

⁴ Новелла Замятина, впервые опубликованная в 1930 году (Ленинград).

⁵ Моруа Андре (1885—1967) — классик французской литературы XX века, писатель-гуманист. Завоевал всемирную известность не только своими реалистическими романами из жизни буржуазного общества, но и художественно-биографическими произведениями, посвященными выдающимся личностям мировой культуры («Шелли», «Байрон», «Тургенев»). Его творческая манера отличается соединением психологизма с иронией. Большой знаток и ценитель русской литературы (статьи о Л. Толстом, А. Чехове).

⁶ И. Э. Бабель (1894—1941) в конце 20-х — начале 30-х годов неоднократно бывал в Париже по литературным делам.

⁷ См. п. 16, прим. 2.

22. Л. Н. Замятина — Булгакову

12 февраля 1933.
(Париж.)

Дорогой Михаил Афанасьевич.

В конце декабря писала Вам. Ответа не получила. Огорчена. Делаю следующие предположения:

1) Вы изменили мне.

2) Вы изменились сами.

3) Изменили своему адресу — переехали на другую квартиру, и письмо мое не дошло до Вас.

Если и теперь ничего не получу от Вас — буду делать выводы из 2-х первых пунктов. 3-й отпадает — театр куда не переехал, и Вы по-прежнему работаете там.¹

Искала в новомодном № «Лит(ературной) газ(еты)» Вашего портрета и Ваших пожела-

ний. Не нашла и моего первого мужа. А так хотелось бы на вас обоих посмотреть.

Париж нравится все больше и больше. Город исключительный.

Е(вгений) И(ванович) шлет приветы. Очень занят. Делает с одним режиссером фильм из «Анны Карениной» (*parlant*).²

Ну, а Вы не собираетесь на Запад?³ Когда? Весной? Летом?

Au revoir, mon cher ami, не хочу думать, что Вы мне уже сказали «adieu»... Адрес: 22, rue Lamblardie, Paris, 12.

Л. Замятина.

Р. С. Вашим успехам очень радуемся. Московские газеты читаем. Когда пойдет «Мольер»?⁴

Привет Ольге Леонардовне⁵ большущий передайте от нас.

¹ На конверте обозначен театральный адрес Булгакова:

URSS. М. А. Булгакову, Моск(овский) Худ(ожественный) театр имени М. Горького, Проезд Художественного театра, Москва (Ф. 369. Ед. хр. 392. Л. 15).

² См. п. 20, прим. 3.

³ Булгаков долгое время думал о поездке за границу и начиная с 1929-го по 1934 год неоднократно обращался к Правительству СССР, непосредственно к И. Сталину за соответствующим разрешением. Мотивируя свою просьбу, он писал, например, секретарю ЦИК Союза ССР А. С. Енукидзе:

«Ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общест-венности очевидна,

ввиду того, что совершившееся полное запрещение моих произведений в СССР обрекает меня на гибель,

ввиду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собой материальный катастрофу (отсутствие у меня сбережений, невозможность платить налог и невозможность жить, начиная со следующего месяца, могут быть документально доказаны).

При безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток обращаюсь в верховный орган Союза — Центр(альный) Исполнительный Комитет СССР и прошу

разрешить мне вместе с женою моей Любовию Евгениевной Булгаковой выехать за границу на тот срок, который Правительство Союза найдет нужным назначить мне.

Михаил Афанасьевич Булгаков
(автор пьес «Дни Турбиных», «Бег» и других).

З.ИХ. 1929 г.

Москва»

(цит. по: Михаил Булгаков. Из литературного наследия. С. 175).

Все попытки Булгакова побывать за рубежом оказались, однако, тщетными. В 1934 году ему окончательно отказали в выезде. (Подробно

об этом см.: Михаил Булгаков. Из литературного наследия. С. 175—191).

⁴ См. п. 13, прим. 1.

⁵ Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959) — одна из старейших актрис Художественного театра, активно поддерживавшая интересы молодежной части его труппы (см.: Марков П. А. Книга воспоминаний. М., 1983. С. 291—292).

23. Булгаков — Замятиным ¹

10 апреля 1933.
Москва.

Дорогие Людмила Николаевна и Женя!

С октября месяца прошлого года сочиняю Вам это письмо. Начал его еще в Вашей благословенной ленинградской Астории. Нет, нет, милая Людмила Николаевна: я жутко изменился, но я ничуть не изменился в отношении Вас!

Итак, я развелся с Любовью Евгеньевной и женат на Елене Сергеевне Шиловой.² Прошу ее любить и жаловать, как люблю и жалею я. На Пироговской живем втроем — она, я и ее шестилетний сын Сергей. Зиму провели у печки в интереснейших рассказах про Северный полюс и про охоты на слонов, стреляли из игрушечного пистолета и непрерывно болели гриппом. За это же время я написал биографию Вашего парижанина Жана-Батиста Мольера, для серии «Жизнь замечательных людей».³ Теперь этой биографией любуются Тихонов.⁴

А Вы, стало быть, обвенчались с Анной Карениной?⁵ Бог мой! Слово — Толстой — приводит меня в ужас! Я написал инсценировку «Войны и мира».⁶ Без содержания не могу проходить теперь мимо полки, где стоит Толстой. Будь прокляты инсценировки отныне и вовеки!

Вы спрашиваете, когда я собираюсь на Запад?⁷ Представьте, в последние три месяца этот вопрос мне задают многие. . .

¹ Печатается по машинописному черновику, не имеющему окончания.

² Брак оформлен в октябре 1932 года. См. п. 9, прим. 1.

³ Повесть «Жизнь господина де Мольера» была написана в 1932—1933 годах, но увидела свет только в 60-е годы.

⁴ Тихонов Александр Николаевич (1880—1956) — русский советский писатель, литературный деятель, один из издателей серии «Жизнь замечательных людей». В 1930—1936 годах возглавлял издательство «Academia».

⁵ См. п. 20, прим. 3.

⁶ В августе 1931 года Булгаковым был заключен с Ленинградским драматическим театром (ГБДТ) договор на инсценировку романа Л. Толстого «Война и мир».

⁷ См. п. 22, прим. 3.

24. Замятин — Булгакову

3 ноября 1933.
Париж.

Дорогой Мольер Афанасьевич,

я задержался с ответом на Ваше милое письмо для того, чтобы иметь возможность поздравить Вас одновременно с Октябрьской годовщиной — и с новым семейным очагом. Ах, молодежь, молодежь! Ах, ветрогоны!

Когда-то я был вроде Вас, а теперь вот наказан за грехи: два месяца пролежал в постели с жестоким ишиасом в левой ноге. И такая обида: это случилось чуть ли не накануне поездки в Италию, на Комо — уж виза была в кармане — и, вместо Комо, в кровать. . . Впрочем, теперь уже встаю, выхожу, еду на репетиции.

На какие репетиции? Как, разве я ничего Вам не сказал? Ну, конечно, — «Блоха»,¹ а вернее — «La Puce», ибо нашлись искусники, которые умудрились перевести это на французский, и смельчаки, которые это ставят. Я говорю — смельчаки, потому что «Блоха» выпрыгивает из здешнего нерушимого адюльтерного канона. Пойдет «Блоха» в конце ноября — для открытия спектаклей нового «авангардного» «Théâtre des Artisans» в декорациях Юрия Анненкова.²

À me slave здесь вообще в моде. Один из лучших парижских драматургов — Деваль³ — написал пьесу «Tovarisch» из парижско-русского быта с участием большевика. . . Что за клюква! И ничего — французы глотают и похваляют. А вот когда им показали «Бронепоезд»⁴ прошлой зимой, они фыркали в самых драматических местах, вообще — не поняли, и пьесу быстро сняли (правда, актеры, особенно «les moujiks russes», были ужасны).

Летом видел здесь «Турбинных» одного из неизвестных Вам мольтеров, в исполнении так называемой «пражской группы». За исключением превосходного Мышлаевского — все остальные. . . — Вы бы не досидели до конца. Зато, надеюсь, Вы вполне удовлетворены тем, как идет работа по постановке «Бега» и «Мольера».⁵ Желаю Вам успеха.

Как видите, мои блошинные дела, а также кое-какие перспективы относительно другой пьесы и фильма, к сожалению, еще задерживают меня здесь, так что наше свидание все откладывается. Ну, что делать, что делать! Не забывайте, пиштите,

Ваш Евг. З(амятин.)

¹ См. п. 13, прим. 3.

² Анненков Юрий Павлович (1889—1974) — русский театральный художник, живописец, график. С 1924 года жил во Франции.

³ Деваль Жак (1890—?) — автор мелодрам, пользовавшихся успехом у буржуазно-мещанской публики. В пьесе «Товарищ» карикатурно изобразил посланца Страны Советов и в скорбных тонах рассказал о печальной участи потомков русской императорской фамилии.

⁴ Инсценировка повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69».

⁵ Запрещенный в 1929 году «Бег» был впервые инсценирован лишь после смерти писателя — в 1957 году (Волгоградский драматический театр). Репетиции пьесы «Мольер» начались в МХАТе весной 1932 года.

25. Л. Н. Замятина — Булгакову ¹

3 ноября 1933. Париж.

Далекий Михаил Афанасьевич,

не из-за мстительности я не отвечала на Ваше письмо. Оно пришло, когда мы были в Бретани, у океана. Вернувшись в августе — тогда получили. А тут начались хлопоты об итальянской визе, частые поездки на авто по окрестностям Парижа (они очаровательные!). А в сентябре — топ шер паги заболел, такие переносил мучения, что трудно описать. Все мое внимание фиксировалось на него, на что-либо другое не хватало времени. Теперь самое неприятное уже позади. Е(вгений) И(ванович) двигается, улыбается. А улыбка в жизни ведь так много значит, правда?

Я не представляю Вас в новой обстановке, в новом окружении. Мне жаль Любовь Евг(еньевну)... Устроена ли ее личная жизнь? Ах, Маша, Маша... Вы должны, конечно, измениться теперь, и изменитесь наверное. Вот почему Вы не поняли, что Вам надо было ответить скорее на мое последнее письмо, послать хоть два слова, надо было это сделать. Можете порадоваться — благодаря Вам я стала более равнодушна к родине, меньше стала думать и мечтать о ней...

Живем мы около Булонского леса — 14, rue Raffet, Paris, 16^e. Весной и летом много гуляли по нему, теперь ездим туда на авто — есть у нас приятели французы, имеющие автомобили, вот и заезжают за бедным больным, чтобы дать ему возможность дышать свежим воздухом.

Я за болезнь Е(вгения) И(вановича) оч(ень) устала — и физически, и морально. Поэтому Париж воспринимаю плохо пока, но его люблю очень и привыкла уже к нему.

Если напишете — буду очень рада, но уже никаких условий не ставлю больше.

Пусть Елена Сергеевна сдержит слово и провезет Вас по Европе.² Тогда я познакомлюсь с ней, а пока передайте мой привет.

Вам — всяческих успехов.

Л. Замятина.

¹ Написано в продолжение письма Замятина к Булгакову от 3 ноября 1933 года (см. п. 24).

² См. п. 22, прим. 3.

26. Булгаков — Л. Н. Замятиной ¹

31 декабря 1933.
Москва.

Милая Людмила Николаевна!

Еще несколько часов и пробьет «12». Говорят, что все это условности. Возможно. Но все-таки, всякий раз, как ждешь боя часов, внушаешь себе, что, вот, явится Фортуна, обольстительно улыбнется. Она, конечно, не явится, все это чепуха, но ждать никому не запрещается.

Итак, поздравляю Вас с Новым годом. Так как мне точно известно, что нужно для счастья человека, то этого и желаю Вам: 1) здоровье, 2) собственная вилла, 3) автомобиль, 4) деньги.

Все прочее приложится.

Себе желаю только одного: как можно скорее переехать в Нашокинский переулок.² Больше мне ничего не нужно.

Есть затрепанная, тусклая, заношенная надежда, что это случится в январе. Но если не случится, то гражданин, которому наша Пировская квартира уже сдана, отравит мне окончательно жизнь.

Но недаром я жду полночи — улыбнется богиня — авось, переедем.

Ваше письмо от 3.XI.33 получено...

¹ Черновой автограф незавершенного письма.

² В Нашокинском переулке (Фурманова, 3) находился кооперативный писательский дом, куда Булгаков переехал в начале 1934 года (последняя квартира писателя).

27. Л. Н. Замятина — Булгакову

14, rue Raffet,
Paris, 16^e. 1 июня 1936. (Париж.)

Дорогой Михаил Афанасьевич!

Около двух лет прошло (подумайте — 2 года!), как я получила Ваше последнее письмо. В нем Вы писали, что Елена Серг(еевна) собирается «возить Вас по Европам», «Мольер» поставлен, «Мертвые души» и «Дни Турбинных» не сходят со сцены МХТ, а Елена Серг(еевна) до сих пор не исполнила своего намерения, и Вы все не едете. Не раз мечтали о достойной встрече Вас. Под гитару, как Николка в «Дн(ях) Турб(инных)», была бы исполнена в Вашу честь кантата (как замечат(ельно) поэт Ваш Николка!), выпили бы ароматного густого бургундского etc, etc.

Читали рецензии о «Мертвых душах»,¹ о «Мольере»,² т. к. имеем почти все моск(овские) газеты и журналы.

Посмотреть бы на Вас — каким Вы стали теперь? Солидным? Уравновешенным? Этим интересуюсь не я одна.

Живем — неплохо. Париж с каждой весной люблю все больше и больше. И когда Е(вгений)

И(ванович) поднимает вопрос о возможном переезде в Лондон — я протестую. Расстаться с этим изумительным городом, с «прекрасной Францией» — не хочется. Но Е(вгению) И(вановичу) уже давно Париж поднадоел.

Если напишете — буду рада, если не захотите — не пишите, буду огорчена, но в обиду теперь не буду.

Привет от Е(вгения) И(вановича).

Л. Замятина.

¹ См. п. 16, прим. 2.

² См. п. 13, прим. 1.

И. А. Доронченков

ОБ ИСТОЧНИКАХ РОМАНА Е. ЗАМЯТИНА «МЫ»

Роман Е. Замятина «Мы», написанный в 1920 году и впервые опубликованный в Советском Союзе в 1988-м (Знамя, № 4, 5), органично вошел в духовную жизнь наших дней. Естественно, что отечественные литературоведы обратились к изучению его многообразных источников. В ряду этих работ обращает на себя внимание статья Л. К. Долгополова, который исходит из убеждения, что роман явился «реакцией на вполне определенную систему взглядов»,¹ таившую немалые опасности для будущего. По справедливому суждению исследователя, книгу Замятина нужно рассматривать как факт участия в литературной борьбе, которая «была делом политическим» (С. 185). Одним из основных объектов полемики Замятина традиционно считались уравнилельные идеи Пролеткульта. Однако Долгополов, сопоставляя антиутопию «Мы» с одним из наиболее ярких произведений послереволюционного русского футуризма — поэмой «150 000 000» (1919—1920), — поставил вопрос несколько иначе: «... не является ли... роман *также и* (курсив мой. — И. Д.) полемикой с Маяковским?.. Совпадение некоторых важных деталей говорит о том, что связь и последовательность здесь вполне допустимы» (С. 183).² И хотя исследова-

тель предупреждает, что «вопрос о соотношении идей Е. Замятина с литературными тенденциями начала 20-х годов рассматривается только в одном, частном аспекте» (С. 182), главный вывод его статьи носит отнюдь не частный характер: «... литературный противник Замятина *теперь* нам известен: это *прежде всего* российский футуризм с его пренебрежительным отношением к личности, *затем* Маяковский с его поэмой „150 000 000“» (курсив мой. — И. Д.; С. 185). Таким образом, на Маяковского возлагается ответственность за пропаганду уравнилельных идей. Цитирую Долгополова: «Маяковский... громко и неоднократно заявлял о своей приверженности идеалам, которые несут с собой... некие „мы“, вряд ли подозревая... во что могла вылиться реализация его идеалов в действительной жизни» (С. 185).

Могла ли поэма Маяковского стать объектом полемики Замятина? Обратимся к духовной среде писателя периода его работы над романом. Известно, что Замятин был одним из наиболее авторитетных деятелей Петроградского Дома искусств, объединявшего в 1919—1921 годах литераторов и художников — М. Горького, А. Блока, Н. Гумилева, В. Ходасевича, К. Чуковского, А. Бенуа, «Серапионовых братьев» и др. Их идейно-эстетические взгляды были различны, но соединяющим началом была убежденность в том, что личность, талант и самостоятельность творческого мышления самоценны. Роман «Мы» в значительной мере воплотил их сомнения и тревоги.³ С наибольшей определенностью общественная и художественная пози-

¹ Долгополов Л. К. Е. Замятин и В. Маяковский: (К истории создания романа «Мы») // Русская литература. 1988. № 4. С. 182. Далее ссылки на эту статью даются в тексте.

² Поэма Маяковского эпизодически уже соотносилась с творчеством Замятина. Л. Шеффлер утверждала, что «футуристы и приверженцы Пролеткульта пропагандировали... коллективизм и новый культ машины. Так, Маяковский, до сих пор стремившийся к оригинальности, следуя моде, озаглавливает свою поэму „150 000 000“...» (Scheffler L. Evgenij Zamjatin: Sein Weltbild und seine literarische Thematik. Köln; Wien, 1984. S. 186). Шеффлер лишь дословно повторяет оценку общей позиции футуристов, данную Замятиным по другому поводу в 1918 году в статье «Презентисты»:

«Футуристы создавали моду; презентисты следуют моде... Футуристы бежали толпы; зачем же презентисты бегут за толпой?» (Дело народа. 1918. 31 марта. № 9. С. 4. Подписано: «Мих. Платонов»).

³ См., например: Белый А. Дневник писателя: Почему я не могу культурно работать // Записки мечтателей. 1921. № 2/3. С. 114, 127—128 и др.

ция членов Дома нашла выражение в журнале «Дом искусств», в редакционную коллегию которого входил Замятин.⁴

Материалы журнала позволяют утверждать, что у его участников сложилось вполне определенное отношение к футуризму и Маяковскому. Футуризм им уже был хорошо знаком, приговор этому явлению вынесен еще до революции и подтвержден после Октября. Футуризму было отказано не только в притязаниях на создание «пролетарского искусства», но и в эстетической полноценности (см. статьи Н. Э. Радлова об изобразительном искусстве).⁵ Стремление футуристов, «говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти» (Луначарский) также воспринималось в кругу Дома искусств как курьез. «...Сочетание красного санкилотского колпака с желтой кофтой. . . — язвил Замятин, — слишком кощунственно резало глаз даже неприхотливый: футуристам любезно показали на двери те, чьими самозванными герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул».⁶ В памфлете «Я боюсь» Замятин определил футуристов по разряду «юрких» литераторов, что равнялось отлучению их от искусства.

Однако для Маяковского критика «Дома искусств» делала исключение. «...По-прежнему среди плоско-жестяного футуристического моря один маяк — Маяковский, — писал Замятин. — Потому что он — не из юрких: он пел революцию еще тогда, когда другие, сидя в Петербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин. Но и этот великолепный маяк пока светит старым запасом своего „Я“ и „Простого, как мычание“».⁷ Несколько позже Замятин, рассуждая о новых тенденциях в искусстве, также не связывал развитие Маяковского с футуризмом: «В бою... между символизмом и неореа-

лизмом... разведчиками оказались все многочисленные кланы футуристов. Гинденбург искусства дал им задание бесчеловечное, в котором они должны были погибнуть все до одного: это задание — *reductio ad absurdum*.⁸ Они выполнили это лихо, героически, честно: отечество их не забудет... Те из них, у кого инстинкт жизни оказался сильнее... вернулись из разведки обратно... чтобы вновь идти в бой уже в сомкнутом строю — под знаменем синтетизма, неореализма. Так случилось с Пикассо: его последние работы... — поворот к Энгру. Тем же путем явно пойдет Маяковский — если только окажется, что рост его выше „РОСТА“».⁹ «Прекраснейшие произведения Маяковского», единственные среди созданий авангарда, положительно оценивались и Радловым.¹⁰ Эта оценка согласуется с позицией Блока, выраженной в статье «Без божества, без вдохновенья» (1921). Опубликованная лишь в 1925 году, статья эта, однако, была известна членам редколлегии журнала в рукописи.¹¹ Как самостоятельное явление, вне связи с футуризмом, рассматривал поэта К. Чуковский. Ряд положений его статьи «Ахматова и Маяковский» явно перекликается с оценками Замятина. Критик отмечал гиперболичность образов Маяковского, обилие «буйных призывов», обращенность к «толпе», рассматривая эти особенности его поэтики прежде всего как выражение своеобразного мышления эпохи: «...Маяковский — поэт-гигантст. . . Все доведено у него до последней чрезмерности, и слова „тысяча“, „миллион“, „миллиард“ у него самые обыкновенные слова... Наша эпоха революций и войн приучила нас к таким огромным цифрам, что было бы странно, если бы поэты, отражающие нашу эпоху, не восприняли и не ввели в обиход тех тысяч, миллионов, миллиардов, которыми ныне явственно орудует жизнь... Не потому ли Маяковский поэт грандиозностей, что он так органически чует мировую толпу, чует эти тысячи

⁴ Редакционную коллегию первого номера составляли М. Горький, М. Добужинский, Е. Замятин, Н. Радлов, К. Чуковский. Во втором номере Горького сменил В. Щербачев. Среди опубликованных журналом произведений нужно отметить: «О человеке, звездах и о свинье» А. Ремизова, «Я боюсь» Замятина, «Пушкинскому Дому» и «„Король Лир“ Шекспира» Блока, «Заблудившийся трамвай» Гумилева, стихотворения А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. Ходасевича, М. Кузмина, прозаические произведения Замятина, Б. Пильняка, Н. Никитина, статьи К. Чуковского, Н. Радлова, Ю. Анненкова, И. Глебова (Б. Асафьева) и др. В первом номере за 1921 год в разделе «Ненапечатанное» отмечено, что Замятиным «закончена большая фантастическая повесть» — имелся в виду несомненно роман «Мы» (Дом искусств. 1921. № 1. С. 75).

⁵ Радлов Н. 1) Новое искусство и его теории // Дом искусств. 1921. № 1; 2) О беспредельном творчестве // Там же. № 2.

⁶ Дом искусств. 1921. № 1. С. 43.

⁷ Там же.

⁸ Доведение до нелепости (лат.).

⁹ Анненков Юрий. Портреты: Текст Евгения Замятина, Миханла Кузмина, Михаила Бабенчикова. [Пб.], 1922. С. 23. Замятин имел в виду так называемые «неоклассические» произведения П. Пикассо рубежа 1910—1920-х годов. В 1921 году в преодолевшей международную изоляцию России они приобрели сенсационную известность, поскольку были восприняты как знамение конца авангардистских течений. Ср. также оценку футуризма и Маяковского, данную Замятиным в цикле лекций, читавшихся в литературной студии Дома искусств в 1919—1922 годах. См.: Лит. учеба. 1988. № 5. С. 136; № 6. С. 100—101.

¹⁰ Дом искусств. 1921. № 1. С. 49.

¹¹ Статью «„Без божества, без вдохновенья“ (Сех акмеистов)» предполагалось напечатать в несостоявшемся издании Петроградского союза писателей — «Литературной газете». В ее редакцию входили Е. Замятин и К. Чуковский. См.: Дом искусств. 1921. № 2. С. 122.

народов, закопавшиеся на нашей планете?...».¹² Характерно, что в «150 000 000» Чуковский, игнорируя разрушительный пафос, видит закономерное звено литературного развития поэта: «Его поэма... хотя тоже вся с начала до конца зиждется на гиперболах и сногшибательных образах, но и по основному тону, и по структуре стиха является попыткой уйти от... опостылевших форм... В поэме сказалось то, что является скрытой, но неизменной основой всех самых буйных трагедий Маяковского: смех».¹³

Выясняя содержание понятия «мы» в поэме Маяковского, Долгополов приходит к выводу, что оно совпадает с замятинским «мы». Отправной точкой для него служит тезис из беседы поэта с сотрудником одесской газеты в феврале 1924 года. «„Стоять на глыбе слова «мы“ — вот что тут главное, — считает исследователь. — Маяковский мыслит пока еще вселенскими масштабами, человека как личности нет в поле его зрения. Он появится потом (главным образом как лирический герой)...» (С. 182). Фрагмент беседы, цитируемый Долгополовым, дословно воспроизводит ряд положений программного манифеста «В кого вгрызается Леф?», открывавшего первый, мартовский номер журнала «Леф» (1923). Между тем манифест, который видится Долгополову декларацией самодовлеющего, внеличностного коллективизма, был написан поэтом в феврале 1923 года,¹⁴ т. е. практически одновременно с пронзительно личной поэмой «Про это», которая также была впервые опубликована в первом номере «Лефа» за 1923 год.¹⁵ Эти, казалось бы, несовместимые произведения объединены, однако, общей проблематикой. Приведенные же Долгополовым слова — «растворить маленькое „мы“ искусства в огромном „мы“ коммунизма» (С. 182) — имеют вполне конкретный смысл и относятся к пропагандировавшемуся левовцами непосредственно включенному в коммунистическое строительство производственному искусству.

Очевидно, что содержание понятия «мы»

¹² Дом искусств. 1921. № 1. С. 30—32.

¹³ Там же. С. 39.

¹⁴ См.: Вопросы литературы. 1983. № 7. С. 200.

¹⁵ Этот журнал не прошел мимо внимания Замятина. Характерно, что и в данном случае писатель провел грань между иронически воспринятыми им левовскими декларациями и поэзией Маяковского: «Три динамитнейших манифеста; автосалют: „Мы знаем: мы лучшие работники искусства современности“; действительно — мастерские стихи Асеева, Маяковского...» (Русское искусство. 1923. № 2—3. С. 58). В оригинале манифеста «Кого предостерегает Леф?» цитируемые Замятиним слова звучат так: «Мы знаем: мы, левые мастера, мы — лучшие работники искусства современности» (Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 48).

у Маяковского требует уточнения. Насколько оно неоднозначно и динамично, позволяют понять именно выступления поэта начала 20-х годов. Первая часть приведенного Долгополовым высказывания — «стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования» — дословно повторяет тезис манифеста «Пошечина общественному вкусу», подписанного Маяковским в 1912 году. Слова «Стоим на глыбе слова „мы“», по свидетельству А. Кручных, при составлении манифеста были предложены В. Хлебниковым.¹⁶ В 1923 и 1924 годах в устах Маяковского этот тезис, в частности, был призван подчеркнуть существенную для левовцев в контексте полемики середины 20-х годов преемственность «будетляниста» и Лефа. «Мы» «Пошечины...» — это не только лозунг согласно мыслящей и творящей группы художников, но в значительной мере знамя немногих гонимых, вынужденных сплотиться для самозащиты перед лицом огульного, агрессивного неприятия. Если уж искать аналогию такому «мы» в послеоктябрьской поэзии, то она, как мне кажется, не в «150 000 000» и не в выступлении 1924 года, а в стихах 1919 года: «Дралось // некогда // греков триста // сразу с войском персидским всем. // Так и мы. // Но нас, // футуристов, // нас всего — быть может — семь».¹⁷ В связи с манифестом 1912 года уместно вспомнить слова В. Воррингера о немецких экспрессионистах: «Безнадежно одинокие захотели притвориться сообществом».¹⁸ Конечно, «нестерпимая тоска разъединенья» в футуризме не была выражена с остротой, равной экспрессионизму. Но достаточно вспомнить «Облако в штанах» или «Флейту-позвоночник», чтобы ощутить, насколько глубоко переживалась Маяковским трагедия человеческого одиночества и всеобщего отчуждения. Средством ее преодоления стало предельное слияние, отождествление себя с массой в «150 000 000», но все же не растворение в ней, как растворены замятинские «нумера». Иван — не человек массы, а, пользуясь образом Э. Толлера, «человек-масса». В окончательной редакции поэмы Маяковский отказался от следующих строк: «Новое имя // Вырвись // лети // в пространство мирового жилья // Тысячелетнее низкое небо // сгинь синезадо // Это Я // я, я // я // я // я // земли вдохновенный ассенизатор».¹⁹ В этом фрагменте, считал В. Тренин, «на место коллективного Ивана неожиданно выдвигается лирическое „я“ поэта — основной образ предшествующих поэм „Война и мир“ и „Человек“». Маяковский решил устранить это слишком подчеркнутое

¹⁶ См.: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. 5-е изд., доп. М., 1985. С. 62.

¹⁷ Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. 1956. Т. 2. С. 28.

¹⁸ Цит. по: Маркин Ю. П. Эрнст Барлах: Пластические произведения. М., 1976. С. 11.

¹⁹ Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. С. 460.

вторжение авторской личности в строй эпико-сатирической поэмы.²⁰ Эти строки закономерно не вошли в «150 000 000». Но не менее важно, что столь мощно утверждаемое «я» возникло в поэме, причем именно во второй главе, т. е. там, где, если исходить из логики Долгополова, не должно быть и следа единичной личности. Это не случайно — «мы» Маяковского в сущности другая ипостась романтического «я» поэта.

Характерно, что приход поэта к коллективизму его современники рассматривали не как «резкий скачок», породивший несовершенное и этически уязвимое произведение, а как естественную попытку преодолеть безысходную боль одиночества. «Он чувствовал себя носителем и как бы средоточием всех увечий, страданий и ран, причиненных человечеству войною. . . — писал Чуковский. — Ища утешения этой всечеловеческой боли, впервые ухватился за „социалистов великую ересь“, которой и *заштопал* свою душу. С этих пор и начались его утопии, его веселые картины грядущего всечеловеческого счастья. . .»²¹

Примечательно, что и после «150 000 000» в сознании современников Маяковский остался поэтом «Я». Не случайно в 1922 году в поэме «Пятый Интернационал» он подчеркнул свое отличие от пролеткультовцев именно на примере столь значимых в контексте спора слов «мы» и «я»: «Простите, товарищ Маяковский. Вот вы все время орете — „социалистическое искусство. . .“ А в стихах — „я“, „я“ и „я“ . . . В чем дело?.. Пролеткультцы не говорят // ни про „я“, // ни про личность. // „Я“ // для пролеткультца // все равно что неприличность. // И чтоб психология // была // „коллективней“, чем у футуриста, // вместо „я-с-то“ // говорят „мы-с-то“. // А по-моему, // если говорить мелкие вещи, // сколько ни заменяй „Я“ — „Мы“, // не вылезешь из лирической ямы. // . . . Если мир // подо мной // муравейника менее, // то куда ж тут, товарищи, различать местоимения?!»²²

Поэма неоднократно читалась Маяковским в столице в 1920 году. В октябре того же года она была частично опубликована в первой книге «Художественного слова».²³ Но в этой

публикации отсутствуют две первые части поэмы, содержащие строки, которые, по мнению Долгополова, наиболее близко соотносятся с образами романа. Явного знания этих фрагментов не обнаруживает ни один из писавших о Маяковском в первом номере «Дома искусств» (многие материалы журнала датированы 1920 годом, вышел он в начале 1921 года). Наиболее вероятно, что с полным текстом поэмы Замятин познакомился лишь 4 декабря 1920 года, когда Маяковский с большим успехом прочел «150 000 000» в Петроградском Доме искусств.²⁴ Отдельным изданием поэма вышла в 1921 году. Ее появление отмечено в хронике второго номера «Дома искусств»: «. . . в Москве. . . все лежит в портфелях издательств и авторов. В сравнительно лучшем положении — авторы агитационных, упрощенного типа, и — как правило — малой художественной ценности пьес, а также пролетарские поэты. . . *Вне этих категорий* — в области *художественного слова* книг вышло очень мало: . . . „150 000 000“, довольно обширная поэма в стихах Вл. Маяковского, отмеченная *обычными* достоинствами и недостатками этого поэта, местами сбивающаяся на литературу типа „РОСТА“ (курсив мой. — И. Д.)»²⁵

Таким образом, критика «Дома искусств», в том числе Замятина, последовательно противопоставляла Маяковского футуристам как подлинного поэта громадной стихийной энергии юрким «литературным кентаврам», не имеющим права называться художниками. Поэзия его рассматривалась как созвучное эпохе, органически развивающееся явление. Материалы журнала также позволяют предположить, что в 1920 году, когда создавался роман «Мы», первая и вторая части поэмы оставались неизвестными Замятину и критикам «Дома искусств»²⁶ и не могли стать объектом литературной полемики. Если даже допустить, что эти части «150 000 000» были известны кругу Замятина, то само молчание об этих фрагментах знаменательно: они виделись закономерным развитием уже знакомых мотивов поэзии Маяковского и, естественно, не вызвали острой реакции.²⁷

²⁰ Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 152.

²¹ Дом искусств. 1921. № 1. С. 40—41. В качестве примера такой утопии Чуковский приводит не картины будущего в «150 000 000», а фрагменты поэмы «Война и мир» (1915—1916).

²² Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. 1957. Т. 4. С. 122—123.

²³ Художественное слово: 'Временник НКП. М., 1920. Кн. 1. С. 13—16. (Без указания автора). В публикацию вошли первые семь строк поэмы и глава, начинающаяся словами: «Теперь // повернем вдохновенья колесо. // Новое ритма мерка. // Этой части главное действующее лицо // Вильсон. // Место действия — Америка». См. также: Катанян В. Указ. соч. С. 184, 186—187.

²⁴ Это событие отмечено хроникой журнала: Дом искусств. 1921. № 1. С. 70. О присутствии Замятина на чтении поэмы свидетельствует Чуковский. См.: Катанян В. Указ. соч. С. 191.

²⁵ Дом искусств. 1921. № 2. С. 124.

²⁶ Так, например, Чуковский акцентирует в поэме не наиболее впечатляющие моменты — грозное шестие обездоленных «мы», а прежде всего смех, звучащий наиболее сильно в опубликованных осенью 1920 года «американских» эпизодах.

²⁷ Об откликах современников на поэму, в частности о рецензии М. Кузмина, опубликованной в сборнике «Завтра» (Берлин, 1923. № 1), в редактировании которого участвовал Замятин, см.: Харджиев Н., Тренин В. Указ. соч. С. 156—164.

Главный импульс фантазии Замятина, конечно, дала сама действительность «военного коммунизма», превращавшая человека в средство достижения умозрительной цели. «Война империалистическая и война гражданская обратили человека в материал для войны, в номер, цифру. Человек забыт — ради субботы: мы хотим напомнить другое — суббота для человека», — писал Замятин.²⁸ Но полагаю, что образы и мотивы романа, которые Долгополов возводит к поэме Маяковского, возникли прежде всего в полемике с пролеткультовской моделью эгалитарного общества, которая, принципиально исключая самоценную личность и свободное индивидуальное творчество, в свою очередь была порождением эпохи революционного максимализма. В литературной продукции Пролеткульта, в ее прямолинейности, усредненности, грубой утилитарности, в ориентации на шаблонные поэтические формы Замятин с тревогой увидел признаки реального осуществления этой модели.²⁹

Пролеткульт возник незадолго до Октября 1917 года. Естественно, что он привлек внимание творческой интеллигенции не только как новое явление (футуристы этим преимуществом уже не обладали), но и как «законное» детище пролетарской революции. Пролеткультовцы властно утверждали себя в качестве единственных стронтелей будущего: «Все — мы, во всем — мы, мы — пламень и свет побеждающий, // Сами себе Божество, и Судья, и Закон» (В. Кириллов. «Мы». 1917). А. Горнфельд так прокомментировал на страницах «Дома искусств» присущее пролеткультовцам сознание собственной исключительности: «Ничего не имел бы и против Пролеткульта, лишь бы названию этому соответствовала истинная пролетарская культура; но, увы, я вынужден дешифровать иначе: вижу, что значит оно не пролетарская культура, но культ пролетария, а это вещи разные и иногда, несмотря на единый корень, прямо противоположные».³⁰

Если футуристов было относительно немного, а влияние их ограничивалось, как правило, лишь художественной средой, то организации пролетарской культуры стали действительно массовыми. Возможности их росли стремительно. К началу 1920 года, по данным В. В. Горбунова, в стране было около 300 Пролеткультов, в работе которых участвовали десятки тысяч человек.³¹ Пролеткультам принадлежали

многочисленные журналы, на страницах которых разрабатывалась концепция «пролетарской культуры». В статьях А. Богданова, П. Лебедева-Полянского, П. Керженцева, Ф. Калинина и других широко пропагандировались ее основополагающие идеи. Постепенно Пролеткульт приобрел значение и размах реальной политической силы, явно выходящей из-под партийного контроля. После Письма ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» от 1 декабря 1920 года, неоднократных выступлений В. И. Ленина организации пролетарской культуры были подчинены Наркомпросу. Однако конец массового пролеткультовского движения был предreshen объективным ходом событий. Пролеткульт, детище первых лет Октября, эпохи «военного коммунизма», мог функционировать лишь в условиях постоянных революционных боев и внешней изоляции. Нормализация общественного развития России в начале 20-х годов выявила утопический, экстремистский характер пролеткультовской теории. Но, схлынув с поверхности художественной жизни, пролеткультовщина на десятилетия сохранилась как способ мышления.

Неоднократно отмечалось, что ставшее названием книги Замятина местоимение «мы» было основополагающим в лексиконе поэтов Пролеткульта. «Мы» пролеткультовцев — это символ массы вчерашних угнетенных, воодушевленной сознанием своей преобразовательной миссии и всемирного классового единства, в то же время не отягощенной привязанностью к прошлому и сплоченной в порыве к будущему. Здесь «нет места личному „я“, духу индивидуализма... Здесь только одно многоголикое, безмерно большое, не поддающееся учету „мы“»³² — слова эти принадлежат не Строителю Интеграла. Они сказаны пролеткультовским критиком Ф. Калининым о стихах А. Гастева в сентябре 1918 года.

Пролеткультовское «мы» было включено в жесткий производственный процесс, интегрировано с машиной, а потому воспринималось как механизм, элементы которого, не обладая личностным началом и самостоятельной ценностью, свободно взаимозаменялись: «Значит, по-вашему, между гением и простым рабочим нет никакой разницы? Да, скажем мы, по существу никакой, разница только в интенсивности и в большей или меньшей чувствительности мозгового аппарата».³³ Эта декларация, прозвучавшая со страниц теоретического органа Пролеткульта, очевидно перекликается с многозначительным разговором персонажей романа Замятина: «Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего.

²⁸ Замятин Е. «Завтра» // Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 407—408.

²⁹ Полемика Замятина с Пролеткультом посвящена, в частности, статья: Lewis K., Weber H. Zamyatin's «We», the proletarian poets, and Bogdanov's «Red Star» // Russian Literature Triquarterly. 1975. № 12.

³⁰ Дом искусств. 1921. № 2. С. 83.

³¹ Горбунов В. В. В. И. Ленин и Пролеткульт. М., 1974. С. 123—125. Фактические данные о пролеткультовском движении см.: Пинегина Л. А. Советский рабочий класс и худо-

жественная культура: 1917—1932. М., 1984. С. 72—118.

³² Цит. по: Мазаев А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов: Историко-критический очерк. М., 1975. С. 56.

³³ Пролетарская культура. 1918. № 1. С. 10.

И вдруг — на тебе: „Я, говорит, — гений, гений — выше закона“. И такое наляпал. . .»³⁴

Столь же прямолинейно выражены пролеткультовцами и другие нормы, которые определяли жизнь Единого Государства Замятина: метафизичность мышления, рационализм и искусственная устранимость творческой стихии, стремление к полному единообразию, нивелированию членов общества, грубо утилитарное отношение к искусству. Даже детали быта «номеров», воссозданные в романе, восходят к общим местам пролеткультовской поэзии. Не исключено, что прообразами «голубоватых юниф» были постоянно упоминавшиеся В. Кирилловым, М. Герасимовым и другими синие блузы фабричных рабочих. Сопровождавший жизнь «номеров» Музыкальный Завод родился, конечно, не из абстрактного «триллиона труб» Маяковского (С. 183), а из многократно воспетой рабочими поэтами симфонии заводских гудков.³⁵ Замятин словно предугадал один из экспериментов, предложенных пролеткультовской прессой как пример для подражания, — организованную 7 ноября 1922 года в Баку «симфонию гудков» заводов и кораблей.³⁶ К. Левис и Г. Уэбер ошибочно относят это событие к майским праздникам 1922 года. Но заслуживает внимания их замечание о том, что День Единогласия в романе «может быть сатирой на... грандиозные празднования 1 Мая».³⁷ Театрализованные шествия по украшенным художниками улицам были лейтмотивом праздников Октябрьской эпохи. Полагаю, однако, что в данном случае следует говорить не о революционных празднествах как таковых, а о вполне конкретном, уникальном даже для дерзкого искусства революционной поры явлении, свидетелем которого мог быть Замятин. С мая по ноябрь 1920 года, в пору создания романа «Мы», на площадях Петрограда — перед Биржей, Зимним дворцом, на Каменном острове — состоялось четыре грандиозных представления, повествовавших о борьбе угнетенных, — «Освобожденный труд», «К мировой Коммуне» и др.³⁸ Общая концепция их принадлежала профессиональным литераторам, режиссерам и художникам — П. Арскому, М. Добужинскому, С. Радлову, А. Пиотровскому, К. Марджанову и др. Одним из постановщиков празднеств был Ю. Анненков, к творчеству которого Замятин прояв-

лял живой интерес. Разыгрывали эти представления перед десятками тысяч зрителей тысячи статистов — члены рабочих клубов, красноармейцы, комсомольцы. Теоретики революционных праздников Октябрьской эпохи рассчитывали на инициативу масс, однако Луначарский не случайно подчеркнул, что организация подобных представлений предполагает наличие «целого штата помощников, способных внедриться в массы и руководить ими, причем руководить... так, чтобы естественный порыв масс, с одной стороны, и полный энтузиазма, насквозь искренний замысел руководителя — с другой, сливались между собой».³⁹ Современные советские искусствоведы, высоко оценивая празднества 1920 года, указывают, однако, что воплощение грандиозного замысла требовало «строгой дисциплины, организованности и подчинения всех исполнителей воле постановщика» (И. М. Бибикова).⁴⁰ Думаю, что на сцены романа «Мы», связанные с восторженным изъяснением единодушия, могли повлиять не только впечатления писателя от праздничных инсценировок 1920 года. Замятин, скорее всего, ощутил противоречивость отношения к такого рода событиям, с одной стороны, широких масс, вдохновенно и искренне воспринимавших их как свой праздник, с другой стороны, администрации, видевшей в представлениях прежде всего средство политической агитации. Эта сложность уловлена и выражена А. Стригалевым: «...каждое из зрелищ, по желанию публики и участников, намечалось повторить (и тем улучшить, усовершенствовать), но ни одно повторение не состоялось. Организации, выступавшие „заказчиками“ зрелищ, ценили только их злободневность и теряли к ним интерес сразу после миновавшего праздника».⁴¹

Замятинская антиутопия родилась в годы, когда складывались различные футуристические модели будущего. В 1918—1920 годах футуристическая утопия постепенно приобретала очертания в публикациях «Искусства коммуны», творениях Хлебникова, проектах Татлина, Родченко, Лисицкого и др. Но параллельно, а подчас и опережая ее, складывалась и другая утопия — пролеткультовская.

Пролеткультовцы много и любовно рассуждали о будущем, чаще всего выражая свои представления о нем в клишированных образах. Не был чужд им и жанр литературной утопии. Рассказ Кириллова, созданный в 1923 году без влияния четвертого сна героини Чернышевского, содержит устойчивые мотивы утопии: пробуждающийся через десятилетия герой, панорамы светлого, просторного города — Москвы 1999 года, описание нового образа жизни и грандиозных технических достижений. В то же время «Первомайский сон» Кириллова воплотил и специфические черты образного мышления

³⁴ Знамя. 1988. № 4. С. 147

³⁵ О мотивах пролеткультовской поэзии, предвосхитивших Музыкальный завод, см.: Lewis K., Weber H. Op. cit. P. 262—263.

³⁶ См.: Горн. 1923. № 9. С. 109—116.

³⁷ Lewis K., Weber H. Op. cit. P. 278.

³⁸ Одно из них, «К мировой Коммуне», запечатлено в известной картине Б. Кустодиева «Ночной праздник над Невой» (1923, Москва, Центральный музей Революции СССР). Подготовительные эскизы представлений, фотографии см.: Агитационно-массовое искусство: Оформление празднеств: 1917—1932. М., 1984. Табл. 188—200.

³⁹ Цит. по: Агитационно-массовое искусство. . . С. 106.

⁴⁰ Там же. С. 27.

⁴¹ Творчество. 1987. № 11. С. 5—6.

пролеткультовской литературы. Герой созерцает «движение тысяч радостных и гордых, как боги, людей», чувствует «биение единого сердца торжествующей массы». ⁴² Симптоматичен диалог героя и его спутницы из будущего, завершающий рассказ: «— Мери, — произнес я с дрожью в голосе, — если бы жившие в мое время видели хоть частицу этой прекрасной и счастливой жизни, они бы удесятирили свою энергию в борьбе за будущее. Мери, мы слишком мало работали».

Две карих звезды снова вспыхнули восторженно.

— Неправда, вы титаны, вы сказочные герои, любуйтесь, это взошли ваши семена. — И взяв меня под руку, тихо и ласково сказала: „А теперь пойдёмте, торжественное заседание уже началось“». ⁴³ Утилитарные формы общественной жизни — митинги, собрания — начинали приобретать в 20-е годы самоценно-ритуальный характер. Рассказ-утопия Кириллова проецирует в будущее характерную особенность политического быта эпохи. В романе Замятина этот мотив преломился в системе ритуалов Единого

Государства (церемония казни, День Единогласия и др.).

Один из проектов будущего мироустройства вызвал в среде пролеткультовцев острые разногласия и, возможно, не прошел мимо внимания Замятина. Летом 1919 года поэт А. Гастев опубликовал в журнале «Пролетарская культура» трактат, в котором наметил перспективу формирования общества на основах «механизированного коллективизма». С конца 1920-х годов это сочинение Гастева, насколько мне известно, в нашей стране не переиздавалось. ⁴⁴ Поэтому приведу обширные выдержки, позволяющие провести буквальные аналогии между утопией Гастева и Единым Государством Замятина, между коллективизированным по пролеткультовским рецептам обществом и системой жизни «номеров»: «Постепенно, шаг за шагом, вместо рассыпанных местных обычаев конструируется... экстерриториальный план рабочих часов, рабочих отпусков, рабочих перерывов и проч... Постепенно расширяясь, нормировочные тенденции внедряются в боевые формы рабочего движения: стачки, саботаж, — социальное творчество, питание, квартиры и, наконец, даже в интимную жизнь вплоть до эстетических, умственных и сексуальных запросов пролетариата... Машинизирование не только жестов, но только рабоче-производственных методов, но машинизирование обыденно-бытового мышления, соединенное с крайним объективизмом, паразитично нормализует психологию пролетариата... Пусть нет еще международного языка, но есть международные жесты, есть международные психологические формулы, которыми обладают миллионы. Вот эта-то черта и сообщает пролетарской психологии паразитичную анонимность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, Б, С или как 325, 075 и 0 и т. п. ... В дальнейшем эта тенденция незаметно создаст невозможность индивидуального мышления, претворяясь в объективную психологию целого класса с системами психологических включений, выключений, замыканий... Проявления этого механизированного коллективизма настолько чужды персональности, настолько анонимны, что движение этих коллективов-комплексов приближается к движению вещей, в которых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть ровные, нормализованные шаги, есть лица без экспрессий, душа, лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а манометром и таксометром... Мы идем к невиданно-объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического». ⁴⁵

⁴² Литературный еженедельник. 1923. 28 апр. № 17. С. 3. Ср.: «Творческой мукой горит коллективная грудь» (В. Кириллов. «Мы»). Именно этот журнал, пропагандировавший творчество пролетарских писателей, «космистов», и резко нападавший на Маяковского, поместил статью, которая надолго запомнилась Замятину. В 1931 году, обращаясь к Сталину, он писал: «В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его — меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале „Летопись“ — еще в 1916 году, — некий критик умудрился найти... „издевательство над революцией в связи с переходом к нэпу“...» (Замятин Е. Сочинения. С. 490). Писатель имел в виду выделявшийся даже среди продукции такого рода доносительским задором репортаж о выступлении «Серапионовых братьев», Ахматовой и Замятина в клубе Зиновьевского университета: *Левин Ф.* Ушей не спрятать... // Литературный еженедельник. 1923. 26 мая. № 20/21. «Его сказочки — сплошное издевательство над революцией... — писал Левин. — Вот первая сказочка. Жили тараканы у почтальона. Считали его богом. Однажды, в пьяном виде будучи, уронил почтальон таракана со стены в свою „скробыхалу“. Думал таракан, что погиб. Ан нет, нашел его пьяный бог и снова на стену посадил. А таракан и рад. Как велик бог, как милосерд! Это вам говорит Замятин, вам всем, кто предан революции. Смахнула вас революция в „скробыхалу“, а потом нэп — снова на стену посадила. Что имели, то и теперь имеете» (С. 11—12).

⁴³ Там же. 28 апр. № 17. С. 6. Ср.: «Мы сотни раз явимся на торжественное собрание и прождемся сомнением» (А. Гастев. «Встреча»).

⁴⁴ Фрагмент см.: Литературные манифесты: (От символизма к Октябрю): Сб. материалов. М., 1929. С. 131—136.

⁴⁵ Пролетарская культура. 1919. № 9/10. С. 43—45.

К. Левис и Г. Уэбер, сопоставившие этот текст и роман Замятина, прошли мимо знаменательной дискуссии, вызванной статьей «О тенденциях пролетарской культуры». Утопия Гастева встретила резкое неприятие главного теоретика Пролеткульта А. А. Богданова, назвавшего ее «чудовищной аракчеевщиной».⁴⁶ Богданов точно заметил, что в схеме Гастева «есть еще одна сторона, скрытая, но страшно важная. За его коллективом... невидимо чувствуются руководящие авторитеты». Он полагал, что таким авторитетом является «социальная группа необезличенного... ученого инженерства, которое будет... вести общее руководство над анонимно-стихийным коллективом».⁴⁷ В Едином Государстве Замятина этой группе соответствует институт Хранителей с Благодетелем на вершине. Замятин в данном случае лишь довел схему до логического итога, следуя давней истине: «Все утопии имеют две общие черты: диктатора и папу, которые чаще всего соединены в одном лице» (Э. Кине. «Революция»)⁴⁸.

В нарисованном Замятиным обществе принято видеть прообраз диктатур XX столетия, своего рода модель тоталитарного режима. Думается, что не только тоталитарное как таковая определяет своеобразие Единого Государства. В данном случае она — следствие эгалитарности, порождение эпохи «подавления личности во имя масс».⁴⁹ Замятин наглядно показал, что общество, в котором идея равенства стала самодовлеющей и приобрела абстрактный характер, порождает систему, насильственно поддерживающую эгалитарность. Эта система, корпорация (в романе «Мы» — Хранители) заинтересована в поддержании уравнительности как основы собственной власти, принципа, блестяще выраженного лозунгом Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие».

В основу картины будущего, нарисованной в романе «Мы», лег, очевидно, и проект Гастева, концентрированно выразивший и доведший до абсурда пролеткультовские идеи, — Гастев практически выполнил задачу, которую Замятин сформулировал устами одного из своих героев. «... Чтобы определить материал идеи, нужно... капнуть на него сильнодействующей кислотой, — рассуждал Д-503. — Одну из таких кислот знали и древние: *reductio ad finem*».⁵⁰ Замя-

тин как бы привел в движение схематичную конструкцию пролеткультовца и, поверив живым человеческим чувствам, продемонстрировал ее нравственную порочность.

Существует и более конкретное доказательство того, что антиутопия «Мы» ориентирована в значительной мере на пролеткультовскую доктрину. В начале 1922 года вышел второй номер журнала «Дом искусств». В нем Замятин поместил своего рода продолжение памфлета «Я боюсь» — небольшую статью «Рай», подписанную псевдонимом «Мих. Платонов»,⁵¹ — см. Приложение. В памфлете писатель лишь предупредил о грозящем русской культуре «новом католицизме». Он достаточно снисходительно писал: «Пролеткультовское искусство — пока шаг назад, к шестидесятым годам».⁵² В статье «Рай», опираясь на материалы литературно-художественных журналов 1920 года, Замятин воссоздал более острую ситуацию, когда «неюркие молчат», а на «гранитном фундаменте монофонии создается новая русская литература...».⁵³ В 1921 году у писателя вызывают тревогу прежде всего связанные с Пролеткультом поэзия и проза, все более определенно задающие тон остальной литературе (ср. оценку книгоиздательской политики в цитированном мною отклике «Дома искусств» на выход «150 000 000»). В нарисованном Замятиным образе современной литературной школы явственно обозначились черты будущего мироустройства, воссозданного в романе «Мы».

Формулировки Замятина-критика буквально перекликаются с фрагментами романа. Один из сквозных мотивов антиутопии — «рай». Единоеобразное и, на первый взгляд, окончательно приведенное в равновесие общество видится персонажам романа воплощением «древней легенды о рае». В статье Замятина мотив «райского», «ангельского» единогласия, определяющего облик литературы, в которой все громче звучал голос Пролеткульта, становится главным:

⁵¹ К. Левис и Г. Уэбер показали, что «многие фрагменты романа интонационно идентичны строкам, цитированным в статье Замятина как образцы дурного вкуса и неадекватных гиперболических поэтов» (Lewis K., Weber H. Op. cit. P. 254. Ср.: P. 257—258). На принципиальное значение этой статьи указывает Э. Баррэт: Barrat A. The first entry of «We»: An explication // The Structural analysis of russian narrative fiction. [Keel, 1982]. P. 105.

⁵² Дом искусств. 1921. № 1. С. 44.

⁵³ Там же. № 2. С. 91.

⁴⁶ Там же. С. 50.

⁴⁷ Там же. С. 52.

⁴⁸ Цит. по: История Французской революции / Сочинения Минье. СПб., 1901. С. 432.

⁴⁹ Замятин Е. «Завтра» // Замятин Е. Сочинения. С. 407.

⁵⁰ Доведение до предела (лат.); Знамя. 1988. № 5. С. 105.

«МЫ» (1920)

«... Древняя легенда о рае... Это ведь о нас... Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья... Они, олухи, выбрали свободу... Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола... И готово: опять рай... Никакой этой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто»; «люди жили еще в свободном, т. е. ... диком состоянии».⁵⁴

«РАЙ» (1921)

«... Если бы Он (Творец. — И. Д.) сразу избавил человека от дикого состояния свободы! В полифонии всегда есть опасность какофонии. Ведь знал же Он это, учреждая рай: там — только монофония, только ликование... Мы, несомненно, живем в эпоху космическую — создания нового неба и новой земли. И, разумеется, ошибки Иалдабаофа мы не повторим; полифонии, диссонансов — уже не будет: одно величественное, монументальное, всеобъемлющее единогласие. Иначе — какое же воплощение древней... мечты о рае?».⁵⁵

Немаловажно, что мотив «рая» в романе и статье мог ассоциироваться в сознании современников с романом Достоевского «Бесы»: «— Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может, — властно заключил Шигалев».⁵⁶ Эта связь тем более рази-

⁵⁴ Знамя. 1988. № 4. С. 155—156, 135.

⁵⁵ Дом искусств. 1921. № 2. С. 91. Ср.: «... теория привела их (русских революционеров. — И. Д.) к идее „диктатуры классово-сознательного пролетариата“, а далее подразумевалось — теперь мы видим, до какой степени туманно, — что возникнет новое небо и новая земля... Но мы убедились, что небо в России все то же, и земля все та же...» (Уэллс Г. Россия во мгле. М., 1970. С. 50). Замятин, знаток творчества Уэллса, непосредственно общался с ним, когда английский писатель посетил Петроград в октябре 1920 года (см.: Дом искусств. 1921. № 1. С. 76; Замятин Е. Уэллс // Вестник литературы. 1920. № 11. С. 16). Чуковский отметил в дневнике, что «Замятин беседовал с Уэллсом о социализме» (цит. по: Наше наследие. 1988. № 2. С. 95). Вероятно, некоторые оценки, высказанные в этой беседе, отразились в книге Уэллса. В то же время цитируемые фрагменты восходят к общему источнику — Апокалипсису: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» (Откр. 21, 1).

⁵⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 312. «Бесы», впрочем, содержит не единственный в русской литературе прошлого века прообраз Единого Государства. Несомненно превосходит его и угрюм-бурчевский город Непреклонск: «Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и все идут, все идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль... Что же это, однако, за даль? ... — Ка-за-р-мы! — совершенно определенно подсказывало возбужденное до героизма воображение» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1969. Т. 8. С. 406—407). Не случайно в 1927 году Замятин обратился

к тому же моменту, когда поэт R-13 рассуждает о преимуществах «счастья без свободы», его речь напоминает развязный говорок Петра Верховенского.⁵⁷ Пролеткультовская литература вступала в связь с образами «Бесов» и помимо романа Замятина. Так, например, в 1922 году М. Герасимов воспел преобразующую деятельность пролетария, приводящего планету в порядок с помощью токарного станка:

... Срезал Ривьеру, Романтику;
Из Великого в Атлантику
Пробороздил второй Панамский канал;
Везувий дрогнул, упал...
Просто — еще усилие,
И мы отшлифуем тебя, земля.
Вырвем везувийные гнойники,
Прищи старого и наросты.
По невиданному плану
Я срезал целые горы,
Белые Монбланы
Стекали от упорного суппорта.⁵⁸

Стихи Герасимова с пугающей буквальностью реализовали метафору восхищенного шигалевской проповедью Петра Верховенского: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкальвают глаза, Шекспир побивается камнями — вот шигалевщина!... — Слушайте, Ставрогин: горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева!».⁵⁹

непосредственно к книге Щедрина, создав предназначенную для театра инсценировку «История города Глупова» (см.: Scheffler L. Op. cit. S. 259).

⁵⁷ «Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно; словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?» (Знамя. 1988. № 4. С. 156). Ср.: «Знаете ли, я думал отдам мир папе... А старикашка согласится игом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово, ха-ха-ха, глупо? Говорите, глупо или нет?» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. С. 323 и др.).

⁵⁸ Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л., 1959. С. 211—212.

⁵⁹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. С. 322—323.

В текстуально совпадающих выражениях характеризует Замятин основы жизни Единого Государства, способ мышления его подданных и ситуацию, складывавшуюся в русской сло-

весности в 1920 году не в последнюю очередь благодаря литераторам пролеткультовского толка:

«Мы» (1920)

«...Неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков...»

«Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера, — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых унифах...»; «— Ясно, — перебила 1, — быть оригинальным — это значит как-то выделяться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство... И то, что на иднотском языке древних называлось „быть банальным“, у нас значит: только исполнять свой долг».

«...У нас приурочена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность. Наши знаменитые „Математические Нонны“... А „Ежедневные оды Благодетелю“?.. А жуткие красные „Цветы судебных приговоров“?..»⁶⁰

Перед художественной интеллигенцией круга «Дома искусств» встал не только вопрос, за какой гранью человек перестает быть личностью, но и вопрос, где предел, за которым искусство, утрачивая самоценность, перестает быть собой. «Но что нам делать с розовой зарей // Над холодеющими небесами, // Где тишина и неземной покой, // Что делать нам с бессмертными стихами? // Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...» — эти строки одного из вершинных произведений Гумилева («Шестое чувство», 1921) обретают особый смысл в контексте напряженных споров 1910—1920-х годов о природе и назначении искусства. С внутренней логикой этой полемики связаны перепубликация раннего (1906) диалога А. Блока «О любви, поэзии и государственной службе» левозерской газетой «Знамя труда» (1918. 28 апр.) и его отдельное издание берлинским издательством «Скифы» (1920). Некоторые его мотивы, начиная с названия, перекликаются с приведенным фрагментом романа «Мы». «Поэт... Литература должна быть общественной!.. Литература должна быть насущным хлебом! Шут... Литература развивает фантазию, фантазия — мать бездны».⁶¹ Повествование Замятина о хирургическом удалении фантазии для обузда-

«РАЙ» (1921)

«...В монофонической вселенной вообще нет места вопросам. В самом этом изогнутом теле вопроса — ? — разве не чувствуется Великий Змий, сомнениями искушающий блаженных обитателей древнего рая?»

«Все они (прозаики «новой вселенной». — И. Д.) сливаются в одно монофонически-серое, как величественные роты, шеренги, батальоны одетых в униформу. Впрочем, как же иначе: ведь не быть банальным — это значит выделиться из стройных рядов, это значит — нарушить закон всеобщего равенства. Оригинальность — несомненно преступна».

«Душеполезные беседы — большая часть беллетристики новой вселенной... И поучение на тему: „Да здравствует единая трудовая школа!“ И поучение на тему: „Сильнее любви, сильнее смерти долг революционера“. И поучение на тему: „Нет старого бога, которому служат представители тьмы, невежества, суеверия...»⁶¹

ния мятежных порывов «номеров» перекликается не только с этим фрагментом диалога. В характере взаимоотношений Благодетеля и Строителя Интеграла, в метаниях Д-503, в отчаянии готового расстаться с «фантазией», т. е. отказаться от остатков свободы, осязными реминисценции разговора блоковских персонажей: «Придворный... Но наградой за некоторую утрату личности служит зато сознание свято исполненного долга... Поэт. Последние ваши слова очень важны для меня. Меня привело к вам именно желание пожертвовать своей фантазией общественному благу».⁶²

Анализируя в статье «Рай» конкретное литературное явление, Замятин-критик постоянно находился в кругу образов романа. Так, выражая надежду на превращение некоторых пролетарских писателей «в настоящих поэтов... знающих наши, человеческие, метания и боли»,⁶⁴ он прочерчивает путь, которым провел, хотя и не до конца, своего Д-503. В числе писателей, из произведений которых Замятин черпал материал для обобщений в статье «Рай», большинство составляли близкие к Пролеткульту литераторы — В. Кириллов, С. Обродович, В. Александровский, И. Садофьев и др. В ряду с ними стоят В. Брюсов, С. Городецкий, Дир Туманный — но не Маяковский! А между тем некоторые образчики «райской» единоклассной литературы заимствованы из того же выпуска «Художественного слова», где впервые появились фрагменты «150 000 000», а ко вре-

⁶⁰ Знамя. 1988. № 5. С. 106; № 4. С. 132, 142, 158.

⁶¹ Дом искусств. 1921. № 2. С. 91—93.

⁶² Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 65.

⁶³ Там же. С. 69.

⁶⁴ Дом искусств. 1921. № 2. С. 92.

мени публикации статьи писатель безусловно знал полный текст поэмы. Однако беспокойство вызывают у него не буйные призывы: «Пули, погуше! // По оробелым! // В гушу бегущим // грянь, парабеллум!» или: «Стар — убивать! // На пепельнице черепа!», а, казалось бы, близкие по тону, но вялые и претенциозные строки А. Дорогойченко, напоминающие эпизод испытаний двигателей Интеграла, испепеливших «десяток заевавшихся нумеров», чье исчезновение ни на секунду не прервало работу: «Мы в кипящем Гольфштреме крови. То и дело плывут костяки. Пустяки! Доплывем. . .».⁶⁵ Напротив, Маяковский, наряду с Андреем Белым, Есениным, Клюевым и Пильняком, недвусмысленно противопоставлен как «земной» поэт литераторам «райской» монофонии.⁶⁶ Как видно из выступлений Замятина этого периода, для него «Маяковский — большой поэт. . .».⁶⁷ Путь же «художников очень больших», — писал Замятин в статье «Грядущая Россия», — это всегда путь Агасфера, это всегда — хождение по мукам, всегда измена синице в руках ради журавля в небе».⁶⁸ В этих словах — критерий отношения создателя романа «Мы» к поэту и поэзии и, в частности, к Маяковскому начала 20-х годов.

Очевидно, что Пролеткульт, наиболее одиозно выразивший эгалитарные тенденции революционной эпохи, был одним из центральных, хотя и далеко не единственным объектом полемики Замятина в пору создания романа «Мы». Значит ли это, что футуризм и Маяковский совсем не отразились в замятинской антиутопии?

Прикладная сторона творчества Маяковского, особенно полно осуществившаяся в идеях Лефа и стихотворной публицистике, на рубеже 1910—1920-х годов становилась все более явной и вполне могла преломиться в романе «Мы». В «Стансах о половой гигиене» или в «бессмертной трагедии „Опоздавший на работу“» без труда узнаются агитки, подобные «Рассказу о том, как кума о Врангеле толковала без всякого ума».⁶⁹ Возможны и другие футури-

стические реминисценции в книге Замятина. Но ассоциации с футуризмом возникают в романе постольку, поскольку идеи и пафос «будетлян» и пролеткультовцев сближаются, выражая общие для авангардизма рубежа 1910—1920-х годов закономерности.⁷⁰ Стихийно развивавшаяся и внутренне противоречившая любой доктрине поэзия Маяковского — какие бы формы она в ту пору ни принимала — вряд ли могла служить для Замятина воплощением действительно уравнительных идей.

Послереволюционное творчество поэта Замятин оценивал неоднозначно: «. . . В стихах о бабе у Врангеля — уже не прежний Маяковский — Эдиссон, пионер, каждый шаг которого — просека в дебрях: из дебрей он вышел на ископченный большак, он занялся усовершенствованием казенных сюжетов и ритмов. Впрочем, что же: Эдиссон тоже усовершенствовал изобретения Грэхэма Белля».⁷¹ В ру-

дения утилитаризма в искусстве отнюдь не с творчеством Маяковского, а с деятельностью Л. Авербаха: «Снижение цен, санитарное благополучие города, тракторизация деревни — очень хорошо. . . Я представляю себе отличный газетный фельетон на эти темы (который завтра будет забыт). . . Что значит для художественной литературы „организовывать жизнь“? Авербах понимает это так: „Молочная кооперация будет темой художественного произведения новых писателей, потому что она является делом социальной практики новой эпохи“. Это звучит как злой анекдот, но этот злой анекдот на память потомству Авербах сочинил сам о себе» (Замятин Е. Цель // Замятин Е. Сочинения. С. 454—455).

⁷⁰ В этом отношении характерен следующий факт. В 1918 году вышла книга одного из ведущих теоретиков левого искусства, художественного критика Н. Пунина, написанная в соавторстве с Е. Полетаевым. Трактат Пунина и Полетаева, рисовавший будущее мироустройство как «культурное общество», которое «не знает свободы и знает скорее добровольное рабство, организованное на творчестве в интересах Целого», вызвал у наркома просвещения сочувственные ассоциации с сочинениями Гастева (см.: Полетаев Е., Пунин Н. Против цивилизации. Пб., 1918. С. 42. Замечание Луначарского см.: Там же. С. V). Не случайна поэтому и аберрация венгерской исследовательницы, поставившей эту книгу в связь с проблематикой романа «Мы» — в ее статье Пунин и Полетаев ошибочно причислены к пролеткультовцам. См.: Каман Э. О коллективизме: Из истории старых литературных споров революционных лет // Slavica. 1981. XVII. Debrecen. S. 159.

⁷¹ Дом искусств. 1921. № 1. С. 44. Ср.: «В голой сатире, как и в голой оде, исчезает острота. . . Маяковского. В сатире открыт путь к Демьяну Бедному — для Маяковского во всяком случае бедный, голая же ода очень быстро когда-то выродилась в „шинельные стихи“, — писал Ю. Тынянов в статье «Промежуток»

⁶⁵ Там же. С. 91. Пренебрежение жизнью «единиц» характерно для оперировавших многомиллионными массами пролеткультовских поэтов. Ср.: «Снарядополет — десять миллиметров от лбов. Тридцать лбов слизано — люди в брак» (А. Гастев «Пачка ордеров». 1921). Цит. по: Гастев А. Поэзия рабочего удара. М., 1971. С. 216.

⁶⁶ Из статьи «Рай»: «Новорожденные москвичи из „Горна“ и „Кузницы“ идут опасным путем тех ангелов, которые любили прекрасных земных дочерей Сифа: они любят Белого, Маяковского, Есенина» (Дом искусств. 1921. № 2. С. 92). О Клюеве и Пильняке см.: Там же. С. 92, 93.

⁶⁷ Лит. учеба. 1988. № 6. С. 101.

⁶⁸ Дом искусств. 1921. № 2. С. 95.

⁶⁹ Надо отметить, однако, что в середине 20-х годов Замятин связывал процесс насаж-

кописи статьи «Я боюсь» оценка была еще более острой. Как указал А. Ю. Галушкин, в текст не вошла фраза: «...его ростопчинские вирши, печатавшиеся в „Искусстве коммуны“ и ныне печатающиеся в „Окнах московского РОСТА“, — это уже не прежняя его ревущая медь, это — дребезжание скворца».⁷² В рукописи остались также и другие резкие слова о Маяковском, относящиеся к 1920 году: «Отчего же вы, вы — писатели... прорубившие в умах просеки для революции, — отчего вы теперь не поете ей гимнов?.. Именно потому, что революция победила... Написать одобряемую... Мистерию-буфф“ — гарантировано сотни тысяч! Написать книжку сказок в стиле Д. Бедного — вернейшее средство стать бога-

тым! И потом — почет, и потом — популярность, и потом — автомобиль... Не смешно ли... не нажить теперь законных (sic!) плодов?».⁷³

Эти высказывания касаются, однако, проблем коллективистской этики. Спор Замятина с Маяковским лежал в иной плоскости. В центре его — одна из главных проблем художественных дискуссий 20-х годов, преломившаяся и в романе «Мы» (характерен в этом отношении, например, образ R-13 — «государственного поэта», не случайно оказавшегося в числе зачинщиков восстания),⁷⁴ — литература и революция, взаимосвязь художника и общества. Спор этот был неизбежен — Маяковский, вчерашний лидер футуристов, все более явно становился одной из центральных фигур литературного процесса.⁷⁵

(1924), опубликованной в издававшемся «при ближайшем участии» Замятина журнале «Русский современник». Цит. по: *Тынянов Ю. Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 176.*

⁷² Лит. обозрение. 1988. № 2. С. 101. Примечательно, что, исключая эти строки, Замятин смягчал, а не ужесточал оценку Маяковского.

⁷³ Цит. по: *Scheffler L. Op. cit. S. 40.*

⁷⁴ См. об этом: *Russel R. Literature and Revolution in Zamyatin's «Мы» // The Slavonic and East European Review. Vol. LI. № 122. January. 1973.*

⁷⁵ Вопрос о литературных отношениях Замятина и Маяковского в период, последовавший за созданием романа «Мы», нуждается в самостоятельном исследовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(*Е. И. Замятин*)

РАЙ *

О том, что вселенная — творение старого Иалдабаофа — далека от совершенства — об этом говорилось многое и многими. Но, кажется, никому не приходило в голову, что стержневое безвкусице вселенной — в поразительном отсутствии монизма: вода и огонь, горы и пропасти, праведники и грешники. Какая точная простота, какое было бы не омраченное ни единой мыслью счастье, если бы Он сразу создал единую огневую, если бы Он сразу избавил человека от дикого состояния свободы! В полифонии всегда есть опасность какофонии. Ведь знал же Он это, учреждая рай: там — только монофония, только ликование, только свет, только единогласие Те Деум.

Мы, несомненно, живем в эпоху космическую — создания нового неба и новой земли. И, разумеется, ошибки Иалдабаофа мы не повторим; полифонии, диссонансов — уже не будет: одно величественное, монументальное, всеобъемлющее единогласие. Иначе — какое же воплощение древней прекрасной мечты о рае?

* Статья «Рай» печатается по тексту журнала «Дом искусств» (1921. № 2. С. 91—94). В примечаниях отмечены наиболее существенные разночтения с источниками, а также явные неточности.

Какой же в самом деле рай, если Престолы и Власть гремят Те Деум, а Начала и Силы — Miseriege?

И вот, явно, на этом гранитном фундаменте монофонии создается новая русская литература, новая поэзия. Лукавый творец диссонанса, учитель сомнений Сатана — навеки изгнан из светлых чертогов, и голоса — только ангельские, и ликуют литавры, колокола, исполаэти, слава, осанна.

«В небо плечами-небоскребами упрись.
Крича Осанну ртом бетонным!»

(«Кузн.», 1920. V—VI, *Обрадович*.)

«Отныне на суше, в морях и пустынях
Слава!»

«О, каким же безбрежно-великим
Оказался рабочий мозг!
Слава ему!»

(«Кузн.», 1920, V—VI, *Дорогойченко*).¹

«О, Москва! Слава, слава, слава!»

(«Кузн.», 1920, V—VI, *Обрадович*).²

«Слава тебе, огнеликий!
Слава рабоче-крестьянской стране!»

(«Пламя», 1920, XI, *К. Барышевский*).³

«Оркестры, громче ураганте!
Гремите трубы громогласней!»
(«Пламя», 1920, XI, *Смиренские*).⁴

«Ныне восславим Молот
И Совнарком Мировой».
(«Радуга», 1920, I, *Кириллов*).

«Слава грядущим зодчим!»
(«Худож. Слово», 1920, I, *О. Леонидов*).

«Не дружно ли общею грудью
Мы новые гимны поем?»
(«Худ. Слово», 1920, II, *В. Брюсов*).

«Гимн» Арского, «Гимн» Васильева, «Гимн» Вадимова, «Кантата» Барышевского. . . Гимн — естественная, логическая, основная форма райской поэзии.

Правда, не весь хор звучит равным пафосом: иные — от чистого сердца, а иные — только *ex officio angelorum*. Но это легко объясняется тем, что иные из многоочитых и шестикрылых переселились в новую, монофоническую, вселенную из старой, полифонической. Все же и они диссонансов остерегаются, и потому вопрос В. Брюсова: «Не дружно ли общею грудью» — явно излишен.

А впрочем — в монофонической вселенной вообще нет места вопросам. В самом этом изогнутом теле вопроса — ? — разве не чувствуется Великий Змий, сомнениями искушающий блаженных обитателей древнего рая?

Для граждан древнего рая — никакого вопроса, никакого диссонанса не было даже в божественном институте ада. Напротив: св. Бернард Клервоский учил, что муки грешников делают блаженство праведников и ангелов еще более ослепительным, совершенным. И потому так логично звучат строки: «Мы в кипящем Гольфштреме крови. То и дело плывут костяки. Пустяки! Доплывем. . .» («Кузница», V—VI, 1920, *Дорогойченко*).⁵ И так логично с «Те Деум» сплетаются мотивы чрезвычайно крупповские:

«Влюбитесь в картечь и в жгучую
тысячелетнюю мечь!
Да здравствует орудийный смех!»
(«Кузн.», 1920, V—VI, *Дорогойченко*).

«Служат мне в восторгах мшенья
Молния и гром».
(«Пламя», 1920, VII, *Студенцов*).

«Местн напиток кровавый
Пролился багровой дугой».
(«Грядущее», 1920, XII—XIII,
Александровский).

«Не по одной и не по две —
Ядовитую сволочь к стенке!»
(«Кузн.», 1920, V—VI,
Дорогойченко).

И сладостные «пулеметные трели», «рев глоток пушечных», куски свинца, окровавленные клочья, пробитые черепа. В древнем раю истребление аггелов Сатаны совершалось эстетичней: единственным оружием был изящный пламенный меч Михаила. Но что делать: жизнь становится все сложнее, и сложнее — оружие — задача монофонии. Чтобы одолеть эту задачу, чтобы срифмовать с легкостью ангельской: «костяки — пустяки» — для этого нужны качества сверхъестественные. И оттого мы, конечно: «Красные Орлы», «Гиганты», «Титаны», «Исполнины», «Бессменные мощные Исполнины». И тот же самый эпитет, какой был установлен по отношению к Иалдабаофу и земным Высоким Особам: Мы, Наше, Всеблаженный, Всемиловитый. Но теперь уже не только «Мы», «Я», теперь: Труд, Жизнь, Сила, Воля, Сось, Лень, Веселье, Любовь, Гордый Разум, Достиженье, Зло, Кровь, Радость, Юность, Знание, Гниль, Грядущее в Огненной Зыбке, Будни, Вчера, Завтра, Девятый Вал. . . Автоблагодарение доходит теперь до того, что все, относящееся к Себе — Мы Пишем С Заглавных Букв: даже Сось и Лень. . .

Сравнивать Титанов с Пушкиными и Блоками — разумеется, не следует: те — из старой, лилипутской, вселенной. Титанов можно сравнивать только между собой. Петербургское «Грядущее» и «Пламя», псковские «Северные Зори» — в хоре Титанов играют роль (сравнение, может быть, слишком земное) левого клироса, где, по обычаю, поет козлобородый дьячок с сыновьями, поет кое-как, по старинке. Из публики подтягивают любители — московское «Творчество» и полтавская «Радуга». И, наконец, на правом клиросе — настоящее, «партесное», пение: «Кузница», «Горн», «Художественное Слово».

Из всего левого клироса выделяется только один голос: Ивана Ерошина. У него хороший учитель: Клюев, и не Клюев «Медного Кита», а Клюев «Избяных песен». Остальное — дьячки.

Любители. . . От них искусства — как требовать? Было бы только усердие, была бы набожность.

А кто же скажет, что это не набожно:
Лилии —

«Красными стали, как алая кровь,
Чувствуя вместе восторг и любовь,
На героизм пролетария глядя».

(*Д. Туманный*, «Творчество»).

Или:

«О, рыцарь доблестный без страха и упрека!
О, сердцем чистый ратоборец бедняков!»

(*М. Зорев*, «Творчество»).

И кто же скажет, что нет усердия, когда рапсод прославляет взятие Казани Раскольниковым:

«Застонали берега,
Как на пушках у врага,

Подойдя с ночной реки,
Снял Раскольников замки»...

Это — С. Городецкий, скромно смешавшийся с толпою любителей в «Северных Зорях».

Новорожденные москвичи из «Горна» и «Кузницы» идут опасным путем тех ангелов, которые любили прекрасных земных дочерей Сифа: они любят Белого, Маяковского, Есенина. Им уже приходится оправдываться: «Ведь вполне естественно, что у буржуазной литературы с ее многолетним опытом и мировым масштабом — оружие самой новейшей конструкции» («Кузница», 1920, IV, статья В. Александровского). Им уже приходится слышать призывы к «лирическому реализму гражданских мотивов» («Худож. Слово», 1920, II. Аксенов). Но любовь к прекрасному — неизлечима, и есть риск, что некоторые из москвичей (Александровский, Герасимов, Казин, Родов, Обрядович) забудут райскую грамматику, признающую только восклицательные знаки, и превратятся в настоящих поэтов, знающих нашу, земную, любовь, знающих наши, человеческие, метания и боли. Особенные опасения внушает Александровский (прекрасное стихотворение «Мать», «Горн», V).

Когда граждане рая из обителей неизреченной славы нисходят в нашу грешную юдоль и говорят языком прозаическим, они, как известно, держат в руках свитки закона и ведут беседы преимущественно душеполезные.

Душеполезные беседы — большая часть беллетристики новой вселенной, особенно — петербургской. Садофьев рассказывает о некоем Сене, который ради Студии Пролеткульта пренебрегал даже земной любовью, но его добродетель, конечно, была вознаграждена: «Милый, родной... Я была два раза на ваших концертах... и поняла... ты прав, прости, — кричала пламенные строки письма» («Нашел», «Грядущее», 1920, XII—XIII). М. Белинский¹⁰ исторгает у читателя слезы рассказом об умирающем Владимире — «яркоглазом скелете»: «Красные взяли Одессу! Я здоров! — вскричал Владимир... И слезы брызнули из его глаз и смешались со счастливыми слезами подбежавшей жены» («Белый ужас», «Пламя», 1920).

И поучение на тему: «Да здравствует единая трудовая школа!» И поучение на тему: «Сильнее любви, сильнее смерти долг революционера». И поучение на тему: «Нет старого бога, которому служат представители тьмы, невежества, суеверия». И поучение в день Пятидесятницы. И поучение в Великий Пяток... И поучение...

Даже рискуя погибнуть от общения с аггелами Сатаны, поэты новой вселенной (москвичи) — все же учатся действовать «оружием самой новейшей конструкции». Прозакки — твердо помнят мудрый завет Ф. Калинина: «И в самых ничтожных дозах буржуазное искусство крайне разлагающе и ядовито действует» («Грядущее», 1920, IV). И они остерега-

ются этого смертельного яда, и трактору — предпочитают матушку-соху, автомобилю — добрый, скрипящий рыдан 60-х годов, вплоть до истинно-народного ропета в языке: «фортупьяны», «киянтер», «хотца мне на эсту самую слободу поглядеть». Все они сливаются в одно монофонически-серое, как величественные роты, шеренги, батальоны одетых в униформу. Впрочем, как же иначе: ведь не быть банальным — это значит выделиться из стройных рядов, это значит — нарушить закон всеобщего равенства. Оригинальность — несомненно преступна.

Но несколько преступников все же есть. И первый от них — Кий¹¹; его прочтешь — не забудешь, как прочих. Какой в его прозе ритм; что Андрей Белый! Какой стиль: что граф Растопчин!

...«Зарубежны бедняки выступали и свергали древни троны и короны, окрыляя на борьбу, но призывные слова к мировому единению заглушили голоса мягкостельные вождей, социал-лжецов и трусов»... И: «Стали видны острова, золотые берега, где всем солнышко светило, братством, равенством манило»... И: «Зелень кругом расстилалась ковром и ярко пестрела душистыми цветочками, бархатистыми мотыльчками»... («Грядущее», 1920, III, «Были и небылицы»).

Таланту Кия подвластны не одни мотыльчки: он умеет дать и глубокий психологический анализ:

«Зорев от всей души ненавидел оборончество и горел интернационализмом, поэтому плехановщина была для него своего рода гангреной на теле социал-демократизма» («Грядущее», 1920, IV, «Преданность и предательство», рассказ).

Нужны ли еще цитаты? И нужно ли удивляться, что Кий одновременно — и *arbitrer elegantiarum*, Кий одновременно — и компетентнейший петербургский критик в области художественного слова («Грядущее», «Правда»).

Второй преступник против банальности — Михаил Волков. Его рассказы — «Петушок» (в «Кузнице»), «Маринка-искусница», (в «Северных Зорях»), «На Волге», (в «Грядущем») — тоже вылезают из серой шеренги. У него — много свежих, неожиданных образов; хорошо стилизованный деревенский язык, лишь кое-где испорченный ропетом «канадсей» и «инда». Но за спиною у себя он всякую минуту чувствует свое ангельство и помнит, что он должен — он должен! — он должен! — говорить душеполезно. И еще не ясно, чем он кончит: душеполезностью и шеренгой — или диавольским, непокорным, искусством.

Третий и самый тяжкий преступник Пильняк. Это — человек, потомок изгнанного из рая Адама, незаконно и коварно прокравшийся в рай. Это — человек, который задохнется в дистиллированнейшем райском воздухе: ему нужен земной грешный, полный дыма, тумана, запаха женских волос, душевного дыхания майской черемухи, крепких весенних курений земли. И пусть в эпиграфе к своему рассказу «При дворях» («Худож. Слово», 1920, I) он пишет: «Этот

рассказ — звено из рассказов о Прекрасном Лице Революции»¹² — все равно, ясно увидишь: это не богами, а художник, и это — не пресветлые, по райскому уставу Лики, а человеческие лица, и звериные морды. Но это — плоть и кровь, и весенний разливный бунт, это — Россия, это — мать, и какая она ни на есть — он любит ее.

Человек — в раю! Без крыльев, и без венчика, и без «Те Деум» — это, конечно, непозволительно. И, конечно, в № 2 «Художественного Слова» спохватились — и о Пильняке написали: «Слабую сторону молодого беллетриста составляет отсутствие определенного миросозерцания. . . Пильняк должен или открыто порвать с Россией, или сознательно стать в ряды революционных борцов. . .» (Гармодий).¹³ И сколько мы знаем, зазевавшемуся апостолу с ключами от райских врат Валерию Брюсову — огорчений от блюдущих чистоту рая было немало. Человек — так вот, прямо — в сапогах, и в рай: мыслимо ли?¹⁴

Но это, конечно, только — несчастный случай. А так — все совершенно в раю, ангелы, ангелы, крылья, лики, мотыльчки, «Те Деум». . .

И архангел Михаил уже замахнулся на Сатану мечом, но Бог останавливает ретивого архангела:

— «А что же мы будем делать без Сатаны?»

И учитель вечных исканий, вечного бунта Сатана:

— «Да, без меня — пространство и время замерзли бы в некое хрустальное совершенство. Это я — волну воды. Это я — волну все. Я — дух жизни. Без меня человек был бы никчемным садовником и попусту ухаживал бы за райским садом — который все равно иначе, как правильно, не может расти. Только представьте себе: совершенные цветы! совершенные фрукты! совершенные звери! Боже мой! До чего бы все это надоело человеку! До чего надоело бы!»¹⁵

Это, в сущности, к делу совершенно не относящееся: это — диалог между Богом и Сатаной из последнего романа Уэллса «The Undying Fire».

Мих. Платонов

¹ В журнальном тексте: «Оказался мятежный Рабочий Мозг!». См.: *Дорогойченко А. Герострат // Кузница. 1920. № 5/6. С. 39.*

² В тексте после восклицания «О, Москва!» следуют строки: «Вам, расплескавшим огненный мед, // Слава! // Слава! // Слава!». *Александровский В. Москва.* (Отрывки из поэмы) // *Кузница. 1920. № 5/6. С. 14—15.* Стихотворение ошибочно приписано С. Обрадовичу.

³ Замятин ошибочно указал номер журнала. «Кантата» К. Барышевского опубликована: *Пламя. 1920. № 17/18. С. 2.*

⁴ Этих строк в стихотворении Бориса и Владимира Смиренских «Годовщина революции» (*Пламя. 1920. № 17/18. С. 15*) нет. В данном случае Замятин неточно цитирует стихотворение И. Садофьева «На перевале (К третьей годовщине Октября)» — Там же. С. 29.

⁵ У Дорогойченко: «Мы — в кипящем Гольфштреме крови. // То и дело плывут костяки. // Пустяки — // Настоящее будет Грядущим распылено» (*Дорогойченко А. Указ. соч. С. 45*).

⁶ Произвольно объединены строки «Герострата» Дорогойченко (*Дорогойченко А. Указ. соч. С. 33, 37*).

⁷ В журнальном тексте: «Но мести напиток в раздолье // Пролился багровой дугой. . .» (*Александровский В. «Медные когти зарев. . .» // Грядущее. 1920. № 12—13. С. 2*).

⁸ *Туманный Д. [Панов Н. Н.]. Красные лилии // Творчество. 1919. № 4—5. С. 1.*

⁹ *Зорев М. На смерть бойца // Творчество. 1919. № 1—3. С. 10.*

¹⁰ М. Белинский — псевдоним И. И. Ясинского.

¹¹ Кий — псевдоним П. В. Пятницкого.

¹² У Б. Пильняка: «Этот рассказ — звено из цепи рассказов о Прекрасном Лице Революции» (*Художественное слово. 1920. Кн. 1. С. 21*).

¹³ Гармодий — псевдоним В. Я. Брюсова, редактировавшего журнал «Художественное слово».

¹⁴ См., например: «Каждое литературное течение, конечно, имеет право высказываться и выявлять свое лицо, но поощрять такие „высказывания“ не дело пролетарского государства, об этом считаем нелишним напомнить сейчас, когда Б. Пильняк и другие упадочные писатели печатаются в „Художественном слове“ — органе Литературного Отдела Наркомпроса» (*Ангарский Н. Литература упадка // Творчество. 1920. № 5/6. С. 32*).

¹⁵ Строки из романа Г. Уэллса «Неугасимый огонь» (1918) в переводе Замятина. См. также с небольшими изменениями: *Замятин Е. Сочинения. С. 380—381.* К моменту публикации статьи «Рай» роман не был известен русскому читателю. Издательство «Всемирная литература» выпустило его в 1922 году в серии «Новости иностранной литературы». Ср.: *Уэллс Г. Неугасимый огонь / Пер. З. Венгеровой. Под ред. и с предисл. Е. И. Замятина. Пб., 1922. С. 16—17.*

В. К. Лебедев

«ЗАПРЕТИТЬ КАК ИДЕАЛИСТИЧЕСКУЮ»

В жизни видного деятеля Коммунистической партии Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой партийная работа тесно переплеталась с педагогической и литературной деятельностью. А. И. Ульянова готовила к печати книги В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» (1898—1899) и «Материализм и эмпириокритицизм» (1908—1909), являлась членом редакции большевистского издательства «Вперед» (1906—1907), секретарем, а затем редактором журнала «Просвещение» (1913—1914), редактором журнала «Работница» (1914), секретарем редакции «Правды» (1917), редактором журнала «Ткач» (1917—1918), одним из создателей журнала «Пролетарская революция» (1921), редактором серии «Воспоминания старого большевика» (1924—1935) и ряда книг, посвященных семье Ульяновых. В 1895 году перевела пьесу Г. Гауптмана «Ткачи». Этот перевод после правки В. И. Ленина был размножен на гектографе и распространен среди рабочих.¹ Тогда же популярно изложила книгу санитарного врача и статистика Е. М. Дементьева «Фабрика. Что она дает населению и что у него берет». Переводила произведения В. Либкнехта, К. Каутского, О. Бауэра и др.

Педагогические и литературные взгляды А. И. Ульяновой формировались под влиянием отца — выдающегося русского педагога И. Н. Ульянова. Под его руководством она работала помощницей учителя в мужском приходском училище г. Симбирска (1881—1883), по его совету в 1883 году поступила учиться на Бестужевские Высшие женские курсы. В Петербурге сразу же включилась в общественную и литературную жизнь. Вместе со студентами других высших учебных заведений 8 ноября 1886 года была у М. Е. Салтыкова-Щедрина, чтобы выразить больному, тяжело переживающему закрытие «Отчественных записок» писателю чувства признательности и глубокого уважения учащейся молодежи. В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) сохранилось письмо, направленное ею З. А. Венгеровой: «Старались, чтобы час собрания был назначен позже, но исходатайствовала многое: нас просят явиться не позже 10 час. — боятся, не истребовало бы долгих прений составление адреса и поздравления. Итак, жду Вас перед 10-ю часами. Адрес мой: П-тская, Съезжинская, д. № 12, кв. № 12. Садитесь на Михайловской в конку, что идет в Зоны, и доезжайте до конца, тут уж близко. Не опоздайте же!»²

Еще будучи гимназисткой, А. И. Ульянова начала писать стихи, переводила произведения Генриха Гейне, с огромным интересом участвовала в подготовке еженедельного журнала «Субботник», выпускавшегося в семье Ульяновых. В годы учебы на Бестужевских курсах укрепилось ее желание стать детской писательницей. Судьба распорядилась иначе. А. И. Ульянова стала профессиональной революционеркой. Но при всей загруженности революционной деятельностью она сумела написать и перевести десятки книг и статей. Биографам А. И. Ульяновой предстоит еще большая работа по выявлению всего того, что написала она вообще и в частности для детей. Дело это нелегкое, так как только в словаре И. Ф. Масанова зарегистрировано одиннадцать ее псевдонимов,³ некоторые произведения и переводы А. И. Ульяновой были напечатаны без подписи, кроме того, многие данные убеждают в том, что были у нее и другие псевдонимы, не указанные в словаре И. Ф. Масанова.

Первые шаги Анны Ильиничны как детской писательницы относятся к 1896 году, когда она начала сотрудничать в журнале «Родник»,⁴ одном из популярных детских журналов того времени. В этом журнале принимали участие В. Гаршин, Д. Мамин-Сибиряк, К. Станюкович, А. Куприн и многие другие большие русские писатели. Редакция журнала отличалась хорошим литературным вкусом и требовательностью к авторам. Опубликование произведения в «Роднике» означало признание писателя. Такое признание пришло к Анне Ильиничне с рассказом «Карузо».⁵ Вероятно, она поспешила поделиться радостью с братом. Не случайно же в библиотеке В. И. Ленина в Кремле хранится оттиск именно этого рассказа Анны Ильиничны.⁶

С 1898 года А. И. Ульянова сотрудничает в издательстве «Посредник», созданном по инициативе и при самом энергичном участии Л. Н. Толстого. Это издательство выпускало большими тиражами и по доступной цене книги для народа и, по словам Н. К. Крупской, бросало «широкими пригоршнями семена знания в рабочие и крестьянские массы».

³ Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов. М., 1960. Т. 4. С. 178.

⁴ Писатели и художники, работавшие в «Роднике» за 25 лет его существования // Родник. 1906. Декабрь. Юбилейная книжка. № 23—24. С. 171.

⁵ Ульянова А. И. Карузо // Родник. 1896. № 6.

⁶ Библиотека В. И. Ленина в Кремле: Каталог. М., 1961. С. 506.

⁷ Сорок лет служения людям: Сборник статей, посвященных И. И. Горбунову-Посадову. М., 1925. С. 115.

¹ Бонч-Бруевич В. В. И. Ленин в Петрограде и в Москве. М., 1962. С. 36.

² ИР.ЛН. Ф. 39. Ед. кр. 693. Архив Венгеровой З. А. и Минского Н. М.

В 1898 году при «Посреднике» создается серия «Библиотека для детей и юношества», в ней-то и принимает активное участие Анна Ильинична. Одной из первых книг, вышедших в этой серии, была переведенная ею книга известного итальянского писателя Эдмондо де Амичиса (1846—1908) «Школьные товарищи». Перевод был выполнен с того итальянского издания. В предисловии к нему руководитель «Посредника» И. И. Горбунов-Посадов писал, что издательство «привлекла главная идея книги: глубокое уважение к человеческой личности вообще, на каких бы ступенях она ни стояла, в каком бы положении перед обществом она ни находилась».⁸ Переводы этой книги, уже имевшиеся в России, не удовлетворяли издательство. «Поэтому, — писал Горбунов-Посадов, — мы решили предпринять новый перевод этой книги, исполненный госпожою Ульяновой по нашим указаниям с некоторыми выпусками и дополнениями». Из книги Амичиса было выпущено 13 глав, 3 главы заменены новыми, в некоторые главы внесены мелкие изменения. Рассказ А. И. Ульяновой «Карузо» был одним из рассказов, помещенных в книгу вместо выпущенных глав. Можно спорить о правомерности такого вторжения в авторский текст, но следует отметить, что издание книги Э. Амичиса в переводе А. И. Ульяновой было тепло встречено русскими писателями и педагогами. Книга выдержала не менее пяти изданий, кроме переиздания ее полностью, некоторые главы печатались отдельно. В критико-библиографическом указателе «О детских книгах», составленном под редакцией таких известных деятелей народного образования, как А. Анненская и В. Герд, говорилось, что перевод в издании Горбунова-Посадова «очень хороший и некоторые изменения, которые в него внесены, заслуживают одобрения, так как патристический пафос по адресу короля Гумберта или Кавура для русских детей среднего возраста, для которых книга предназначается, будет малопонятен, и нельзя не пожелать скорейшего выхода новым изданием этой книги».⁹ (К этому времени три издания уже разошлись полностью).

С 1900 по 1902 год А. И. Ульянова жила за границей, участвовала в группе «Искры» в Париже и Берлине, затем возвратилась в Россию, ездила в различные сибирские города, чтобы завязать там связи с искровцами, позднее переехала в Самару, из нее в Киев.

⁸ Школьные товарищи: Из дневника ученика городской школы: Сочинение Эдмондо де Амичиса / Пер. с итальянского А. Ульяновой; Под ред. и с предисл. И. Горбунова-Посадова. М., 1898.

⁹ О детских книгах: Критико-библиогр. указ. книг, вышедших до 1 янв. 1907 г., рекомендуемых для чтения детям от 7 до 16 лет / Сост. кружком преподавателей и писателей под ред. А. Анненской, В. Герда, Лихаревой, С. Порецкого, Е. Репиной, О. Соломина, О. Флоровской. М., 1908. С. 79.

В 1904 году она поселяется в Петербурге и тогда же сообщает в редакцию «Посредника»: «Выйдя, наконец, из тех условий, в которых я не вполне могла располагать собою, я пишу Вам, чтобы сообщить свой адрес и запросить, получите ли Вами два первых выпуска рассказов Лонга, посланных мне для перевода в декабре минувшего года с письмом, ответить на которое я не успела».¹⁰

Уже из этого письма видно, что все годы, пока Анны Ильиничны не было в Москве и Петербурге, ее связи с «Посредником» не прекращались. В 1901 году издательством была опубликована ее книга «Дружба в мире животных», уведомляя о выходе которой И. И. Горбунов-Посадов сообщал автору, что с изданием поспешили, так как «решили для борьбы со скверными детскими фирмами действовать энергичнее».¹¹ В 1902 году вышла из печати книга «Моя новая мама и другие рассказы». В рецензии на нее, помещенной в детском журнале «Всходы», говорилось, что «книга может дать интересное и полезное чтение для детей младшего возраста», и отмечалось, что «рассказы в ней читаются с большим удовольствием, так как написаны очень хорошо».¹² О положительной оценке этой книги свидетельствует и то, что через несколько лет (в 1908 году) она была переведена на армянский язык.¹³

В последующие годы в издательстве «Посредник», журнале «Маяк» и других изданиях неоднократно публиковались оригинальные произведения А. И. Ульяновой и выполненные ею переводы произведений Э. Амичиса, В. Лонга, Э. Сетон-Томпсона, М. Серао, Дж. Верга, А. Негри. При помощи этих произведений А. И. Ульянова старалась сформировать нравственные позиции юных читателей, научить их дружбе, взаимоуважению, привить интерес и любовь к труду и природе, развить чувство сострадания, привить наблюдательность.

После Великой Октябрьской социалистической революции А. И. Ульянова заведовала отделом охраны детства в Наркомсобесе, затем работала в Наркомпросе. Подготовила два декрета Совнаркома о мерах по охране здоровья детей и юношества от заболеваний, связанных с недоеданием. Вместе с А. В. Луначарским и Ф. Э. Дзержинским была инициатором создания Совета защиты детей (1919). Выступала с теоретическим обоснованием основ коммунистического воспитания. В статье «Наши задачи в области воспитания» (1918) и брошюре «Основы социального воспитания с точки зрения коммунизма» (1920) подчеркивала необходимость воспитания коллективизма, формирования трудовых навыков и введения детского самоуправления. Написала ряд рецензий на дет-

¹⁰ ЦГАЛИ. Ф. 122. Оп. 1. Ед. хр. 561. Л. 4.

¹¹ Там же. Ед. хр. 182. Л. 8.

¹² Всходы. 1903. № 19 (на обложке).

¹³ Ульянова А. И. Подарок детям. Новая моя мать / Пер. с русского на армянский Марианн. Тифлис, 1908. 40 с.

ские книги и работы по вопросам народного образования. В 1925—1927 годах были изданы ее книги «Детские и школьные годы Ильича», «Воспоминания об Ильиче», «Александр Ульянов и дело 1 марта 1887 г.». Не порывались и связи с «Посредником». В 1927 году издательством была опубликована книга «Юные герои», в которую вошли произведения, ранее написанные или переведенные А. И. Ульяновой. Книга вышла без каких-либо приключений. Но уже в 1928 году при переиздании наметились серьезные трудности. В быстро и резко меняющихся условиях жизни книга, в которой пропагандировалась любовь детей к своим родителям, оказалась не ко двору. Отзыв политического редактора К. Хохлова был следующим: «Рассказы с сентиментальным содержанием. Установка идеалистическая. Идеализируется любовь детей к своим родителям, во имя которой дети совершают героические поступки (мальчик с опасностями и лишениями разыскивает свою мать в Америке или мальчик, ухаживающий

за своим отцом). Это установка на отвлечение, на отвод внимания ребенка от общественных задач к узко индивидуальным, лежащим в обратном нашей линии направлении. Художественно книга очень посредственная. Представления о чужих странах почти не дает, а если дает, то не такое, какое должно быть дано.

Заключение политредактора о напечатании: запретить как идеалистическую».¹⁴

Вопреки заключению политического редактора, в 1928 и в 1929 годах книга была издана. После «года великого перелома», когда в жизнь и литературу стали активно внедряться Павлики Морозовы, «идеалистические» рассказы и переводы А. И. Ульяновой, в которых говорилось о любви детей к родителям, долго не публиковались. Сборник «Юные герои» был переиздан только через 38 лет. В 1967 году он был напечатан издательством «Московский рабочий».

¹⁴ ЦГАЛИ. Ф. 122. Оп. 2. Ед. хр. 35. Л. 39.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. А. Николаева

О НОВОМ ИЗДАНИИ «СОЧИНЕНИЙ» А. И. ПОЛЕЖАЕВА *

За последние пять-шесть лет заметно вырос выпуск книг, посвященных отечественной литературе дореволюционного прошлого. Сразу оговорюсь: благоприятное изменение картины следует отнести прежде всего за счет тех изданий, которые непосредственно поступают в продажу. Это в основном однотомники (иногда двух- и трехтомные издания), небольшие по объему книги избранных произведений, нередко выходящие в серийном оформлении. Заметный прирост книжной продукции такого рода составляют также новые по материалу или обновленные антологии, коллективные сборники, издания малоизвестных писателей, впервые воскрешаемых из мрака забвения. Вечно желанный императив «больше книг хороших и разных» применительно к литературному наследию минувших времен ныне как будто обретает силу закономерности. Правда, для того чтобы убедиться в реальности его воплощения, необходимо удостовериться, действительно ли многие «разные» книги рождаются на свет со знаком качества, т. е. соответствуют ли они современным требованиям издательской и полиграфической культуры.

Ответить на этот вопрос далеко не просто. Рецензии на издания классиков и тех писателей, которые почему-либо заслужили право на наше внимание, как известно, большая редкость. Более того, наметились признаки вымирания этого жанра.

Достоверность текста выходящих книг, обоснованность выбора произведений, система подачи материала, точность и эффективность справочного аппарата, современная интерпретация творчества издаваемых писателей (если в ней возникает нужда) — это и многое другое познается в процессе весьма длительного, а зачастую кропотливого изучения рецензируемого издания, вплоть до сплошной сверки его текста и всей сосредоточенной в нем фактической информации. Неблагодарный характер такого труда, предполагающего, кстади, умение говорить нелицеприятную истину, — причина того, что вопрос о культуре современного книгоиздательского дела остается угрожающе открытым. В результате и полезный и отрицательный опыт, отложившийся в нем, остается едва замеченным и во многом теряет свой поучительный смысл.

* Полежаев А. И. Сочинения / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. Н. Абримовой. М.: Худож. лит., 1988. 510 с.

Предметом настоящей рецензии выбрана книга, материал и характер которой позволяют поднять ряд вопросов, актуальных в сегодняшней издательской практике — преимущественно в той ее сфере, которая составляет исключительную компетенцию специалистов-литературоведов, т. е. составителей, комментаторов, авторов вступительных статей.

Случилось так, что в 1987 году в Большой серии «Библиотеки поэта» появился однотомник «Стихотворений и поэм» А. И. Полежаева,¹ в который за отдельными исключениями вошло почти все стихотворное наследие поэта. По отзыву одного из критиков, это издание было квалифицировано как итоговое.² Не прошло и года, как из печати вышел другой однотомник А. И. Полежаева, подготовленный В. Н. Абримовой.

Издательство «Художественная литература» уже не один десяток лет выпускает однотомные и неподписные двух- и трехтомные издания классиков отечественной литературы. Нельзя сказать, чтобы «Художественная литература» не учитывала опыта «Библиотеки поэта» и не поддерживала свой собственный профиль в изданиях такого рода. Можно отметить, например, что в сборники, посвященные поэтам, как правило, включается и проза — мемуарные очерки, статьи, письма. Показательны в этом смысле издания Д. В. Веневитинова, К. Ф. Рылева, К. Н. Батюшкова, двухтомники П. А. Вяземского и Я. П. Полонского и др. Забота о соблюдении своего стиля сказалась как будто и в новом издании Полежаева. Правда, у Полежаева нет прозы. Известны всего два письма, адресованные Л. А. Якубовичу, которые и составляют прозаический раздел книги. В «Сочинения» включено практически все поэтическое наследие Полежаева, т. е. книгу резонно было бы озаглавить «Полное собрание сочинений» — более полное вообще не существует. Следовало бы приветствовать такой замысел, если бы книга создавалась в параметрах научного академического издания, где каждая строка, вышедшая из-под пера поэта, имела бы значение исследовательского материала независимо от ее эстети-

¹ Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания В. С. Киселева-Сергенина.

² Илюшин А. К спорам о Полежаеве // Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 235.

ческой ценности. Разумеется, такое издание потребовало бы и научного аппарата с исчерпывающей фактической информацией. От подобных задач редакция «Художественной литературы», естественно, далека. Ее издания — это книги, обращенные к широкой читательской аудитории, выходящие массовыми тиражами. Среди них и книга Полежаева, выпущенная стотысячным тиражом. Совершенно непонятна в таком случае погоня за исчерпывающей полнотой. Добавленные тексты (сверх тех, что помещены в книге «Библиотеки поэта») не только не обогащают представление о поэте пушкинской эпохи, но скорее способны засорить его. Вряд ли оправданно предлагать вниманию широкого читателя такие, попросту говоря, скороспелые поделки, как «Новодевичий монастырь» (целиком в печати не воспроизводимый), или приписываемый Полежаеву «Васильевский бульвар», текст которого уже был однажды напечатан по не совсем исправному списку, а здесь повторен. Весьма сомнительна и необходимость полного раздела переводов. Однако наибольшее возмущение вызывает раздел приписываемых Полежаеву произведений, в который вошло рекордное количество стихотворений — 20! Публикация таких разделов, в общем-то чуждых традициям «Художественной литературы», могла бы иметь место лишь по причинам достаточно весомым. В данном случае причины эти, на которых мы остановимся дальше, весомыми признать нельзя.

О неудаче, постигшей составителя этого раздела, свидетельствует хотя бы тот факт, что сюда попали два стихотворения поэта-петрашевца А. Пальма³ — «А. Ф. Д-ву» и «Из Шенье», оба напечатаны с полной подписью А. Пальма в журнале «Библиотека для чтения» (1844. № 4. С. 76). Под большим сомнением стихотворение «Глаголом совести нещадной...», напечатанное в альманахе «Северная лютия» (М., 1833; цензурное разрешение 4 июня 1830 года) за подписью А. П. То же самое стихотворение мы находим в альманахе «Весенние цветы, или Собрание романсов, баллад и песен» (М., 1835), но на этот раз под ним стоит подпись «У». В том же альманахе (кстати сказать, имеющем дату цензурного разрешения 26 марта 1830 года) есть два стихотворения за подписью «Уланский». Что касается стихотворения «Добрый витязь, скинь шелом...» (из альманаха «Эвтерпа» — М., 1831, подпись: А. П.), то, как отметил еще Е. А. Бобров в статье «О стихотворениях, приписываемых А. И. Полежаеву»,⁴ его текст удивительно напоминает стихотворение П. А. Вяземского «Витязь», напечатанное в «Новостях литературы» (1823. Ч. 3. № 6. С. 94) и в Полном

собрании сочинений Вяземского (СПб., 1880. Т. 3. С. 310). Бобров высказал догадку, что в основе этих текстов — общий иностранный оригинал. Совершенно очевидно, что публикация в одностомнике «Сочинений» Полежаева стихотворения без учета затрудняющих его атрибуцию данных и на основе одного только криптонима «А. П.», мягко говоря, непродуманна.

Еще одно стихотворение — перевод шотландской народной баллады «Вороны», как явствует из примечания к нему (С. 499), включено в книгу по атрибуции А. А. Илюшина, причем в качестве аргументации сообщается, что этот перевод был помещен в журнале «Галатея» за 1830 год (вместо подписи: ***), где Полежаев «регулярно... печатался, в том числе и под этим псевдонимом». Если учесть, что под таким «псевдонимом» выступали десятки поэтов, современников Полежаева, то сомнительность этой аргументации становится очевидной.

Как удалось установить, перевод стихотворения «Вороны» принадлежит не Полежаеву, а Д. П. Ознобишину, члену кружка С. Ранча, в журнале которого «Галатея» он нередко печатался. Автограф перевода, имеющий, кстати, помету «Галатея», сохранился в одной из тетрадей Ознобишина, содержащей исключительно собственные тексты его стихотворений с указанием места их публикации.⁵

При всех обстоятельствах формирование раздела приписываемых Полежаеву стихотворений должно было быть подвергнуто тщательной экспертизе. В. Н. Абросимова же доверилась публикаторам-предшественникам, оперировавшим весьма шатким доводом: подпись «А. П.» в альманахах, журналах, в рукописных сборниках, происхождение которых неизвестно, а обозначения авторов часто недостоверны. Даже подпись «Ъ... Ъ...» под стихотворением «Молчаливая» в «Дамском журнале» (1828. Ч. 21. № 5. С. 261), где Полежаев никогда не печатался, была принята за основу атрибуции. В. Н. Абросимова заимствовала этот текст из статьи В. И. Безъязычного «Неизменный друг свободы» (Огонек. 1979. № 13. С. 26).

Итак, из двадцати стихотворений, приписанных Полежаеву, серьезного рассмотрения заслуживают лишь шесть. Это «Васильевский бульвар», «Impromptu», «Когда душа перекалится в камень...», «К сивухе» и два перевода из Гете («Тишина на море» и «Счастлиное плавание»). Между прочим, самый существенный довод в пользу принадлежности Полежаеву этих переводов (наличие их текстов в тетради стихотворений, содержащих только стихотворения поэта) Абросимовой не приведен.

Нельзя в этой связи не отметить одного обстоятельства, которое должно было быть хорошо известно исследователям Полежаева. Дело в том, что целый ряд стихотворений, приписанных ими Полежаеву, был опубликован

³ См.: Поэты-петрашевцы. Л., 1957. С. 108, 109. В изданиях Полежаева 1933, 1939 и 1988 годов они приведены без названий («Не вверяйся, друг мой, счастью...», «Приди к ней поутру, когда пробуждена...»).

⁴ Известия ОРЯС. 1907. Т. 12. Кн. 2.

⁵ Ознобишин Д. П. Альбом стихотворений 1830—32 гг. // ИРЛИ. Ф. 213. № 29.

до выхода в свет его первого сборника 1832 года, куда вошло все напечатанное поэтом, за исключением отрывков из «А. П. Лозовскому» (или «Арестанта»), явно «не проходимых» по причине тюремной автобиографической тематики (отрывки в «Галатее» были напечатаны порознь и без имени автора). Учитывая намерение Полежаева издать максимально полное собрание своих стихов в 1832 году, можно ли допустить, что он забыл включить туда стихотворения вроде «Молчаливой» или «Желания»? Отмеченное обстоятельство практически исключает возможность обнаружения в периодике или альманахах 1825—1831 годов неизвестных произведений поэта.

Трудно отрешиться от мысли, что необоснованное наращивание текстов в новом издании Полежаева вызвано стремлением таким способом придать ему оригинальный отпечаток. Это предположение подтверждается и одним структурным новшеством рецензируемого издания. Если в сборнике «Библиотеки поэта» был раздел «Поэмы и повести в стихах», то в издании «Художественной литературы» он разделен на два: «Поэмы» и «Повести в стихах». Раздел «Поэм» открывается почему-то «Сашкой», а «Рассказ Кузьмы», о котором сама же В. Н. Абросимова пишет, что «по тематике, структуре и образному строю эта повесть в стихах примыкает к поэме „Сашка“ и может рассматриваться как одна из ее вариаций» (С. 490), оказался в другом разделе. Удивляет и то, что «Царь охоты» помещен в разделе «Поэмы», хотя это бытописательная вещь с антиромантическим пафосом, как и «Рассказ Кузьмы» или «День в Москве». Весьма спорно отнесение к повестям «Русского неполного перевода китайской рукописи», представляющего собой сатирический монолог, лишенный фабульно-эпических ходов. Таким образом, нетрудно удостовериться, что «подготовка текста» в сущности ограничилась материалом раздела приписываемых поэту произведений, перепечаткой двух его писем и десятка стихотворений, не вошедших в издание «Библиотеки поэта». Весь корпус книги заимствован из этого издания, включая расстановку угловых скобок, ударений, знаков препинания, расположение строк. В датировке произведений В. Н. Абросимова также следует за предыдущим изданием. Впрочем, она не скрывает того, что «большинство текстов» печатается по изданию «Библиотеки поэта», за вычетом особо оговоренных случаев (С. 467).

Возникает в связи с этим вопрос: можно ли считать «подготовкой текста» то, что более чем на 90 процентов заимствовано из другого издания? Конечно, самостоятельность текстологической работы филолога не всегда можно измерить в цифровых показателях. В принципе допустимо положение, когда исследователь в процессе скрупулезного изучения всех источников текста приходит к результатам, незначительно отличающимся от результатов предшественника. Однако следы проделанной работы не могут не ощущаться в подготовленном им корпусе. В новом же издании «Сочинений» По-

лежаева их почти нет. Тем не менее во вступлении к примечаниям можно прочесть: «Тексты тщательно проверены по всем достоверным источникам. В результате этого устранены некоторые смысловые погрешности» (С. 467). Хочется сразу же спросить: что имеется в виду под «всеми достоверными источниками» и какие смысловые погрешности устранены?

Судя по примечаниям к отдельным стихотворениям («Вечерняя заря», «Цепи», «Имениннику», «Рок»), можно подумать, что их текст установлен независимо от издания «Библиотеки поэта», ибо комментатор указывает не только первые публикации (как всюду), но и другие источники, позволяющие напечатать эти стихотворения с уточненным и полным текстом. На самом деле тот же текст по тем же источникам приведен и в сборнике «Библиотеки поэта»!

В корпусе новейшего издания «Сочинений» Полежаева есть, правда, единичные, хотя и весьма существенные отклонения от текстологических решений, принятых в вышедшей годом ранее книге «Библиотеки поэта». Рассмотрим прежде всего самое значительное из этих отклонений.

В комментариях к подготовленному им изданию (С. 560—561) В. С. Киселев-Сергенин привел убедительные доказательства того, что текст оды «Гений» нельзя печатать по ранней (неполной) редакции, как это было сделано в предшествующем издании Полежаева в той же «Библиотеке поэта» (1957). Преимущество ранней редакции перед пространной, дважды напечатанной при жизни поэта (и включенной в сборник «Стихотворения» 1832 года), лишь в том, что в нее не вошли 20 заключительных стихов с официальными похвалами в адрес Николая I. Комментатор оды справедливо напоминает, что в то время, когда Полежаев писал стихотворение для прочтения его на праздник дня основания Московского университета (3 июля 1826 года), Николай I в глазах русского общества еще не был убийцей декабристов. Еще была жива надежда, что новый император не ознаменует казнями свое вступление на престол. В этой ситуации панегирик «монарху любви и правоты» не мог уронить репутации молодого поэта (у В. С. Киселева-Сергенина есть и другие веские доводы). Не принимая во внимание это обстоятельство, составитель издания 1988 года вместо 264 строк окончательного текста «Гения» печатает, вопреки ясно выраженной воле автора, 100 строк ранней неотделанной редакции, частью даже не подающей прочтению. Выпали интереснейшие места этой хотя и «казальной», но несомненно талантливо исполненной вещи.

Еще один пример текстологической новации. Из примечания к поэме «Царь охоты» мы узнаем, что текст ее напечатан с «уточнениями А. Илюшина» (С. 490). Эти «уточнения» свелись к добавке четырех строк, замыкающих предшествующую редакцию поэмы. Четверостишие называется «Совет пернатым». Во второй редак-

ции, хотя и содержащей автоцензурные варианты, восстанавливаемые по первой редакции, Полежаев провел значительную работу по художественному усовершенствованию произведения. Между прочим, исключение «Совета пернатых» из последней редакции вполне объяснимо: юмор этого четверостишия небезупречен, к тому же оно ослабляло значение замыкающего стиха поэмы, написанного по-французски и выполняющего функцию эпиграмматического пуанта: «Il fut roi, mais de la chasse!» (т. е. «Он был царем, но царем охоты»). В примечаниях оговорены поправки, внесенные тем же А. Илюшиным в текст еще шести произведений Полежаева.

А. А. Илюшин — автор статей о Полежаеве, в которых поднимается вопрос о темных и спорных местах в полежаевских текстах. Не все текстологические изыскания Илюшина равноценны. Представляется удачей исследователя расшифровка загадочного стиха в знаменитой песне Полежаева «Ай, ахти! ох, ура!..», написанной от лица солдат, проклинающих обманувшего их своими посулами царя. Предлагаемое прочтение этой строки: «Так у(мней мы, чем встарь)» (в автографе: «Так у...») безупречно вписывается в контекст и поддерживается рифмовкой соседних строк. Как известно, к шифровке и купированию рукописных текстов Полежаев прибегал во избежание возможных обвинений в политической неблагонадежности и безнравственности. Однако конъектура Илюшина с этим не согласуется: в стихе, им вставленном, нет ничего, что заставило бы поэта утаить его от глаз непосвященного читателя. В то же время далеко не бесспорна предпринятая Илюшиным попытка восстановить текст 29-й строфы первой части «Сашки» по списку поэмы из «Сборника прозаических и поэтических произведений разных авторов», хранящегося в архиве Пушкинского Дома. Список этот поздний, с множеством искажений и вариантов переписчиков. Стих 11-й этой строфы «Вкушает нектар сладострастных» не подтверждается ни основным источником текста «Сашки» (в собрании И. Е. Забелина, из архива Гос. Исторического музея), ни публикацией поэмы в «Русской потаенной литературе», где эта строка читается: «И изнывает сладострастно». Неточно воспроизводится Илюшиным и стих 3-й той же строфы, который одинаково зафиксирован и в списке из собрания Забелина и в публикации «Русской потаенной литературы».

Что касается восполнения трех пропущенных (или мною пропущенных!) стихов («Отрывке из письма к А. П. Лозовскому» (1837), то такую реконструкцию нельзя даже назвать гипотезой. Это уже что-то вроде соавторства. Да и нет никакой уверенности в том, что три строки точек в начале этого стихотворения, ставшего известным лишь в посмертной публикации 1857 года, — обозначение пропущенных стихов, а не пропуска прозаического текста, непосредственно предшествовавшего стихам. В любом случае помещать возможно написанные поэтом строки в начале его стихотворения — прием недопустимый в текстологии. Но это упрек

не столько Илюшину, сколько В. Н. Абросимовой, в компетенции которой было принять или принять ту или иную конъектуру. Сам Илюшин благообразно оговаривается, что не уверен «в непогрешимости собственных конъектур». ⁶ Одно дело предлагать конъектуры, другое — вводить их непосредственно в текст.

Можно понять сомнения А. Илюшина по поводу расшифровки В. В. Барановым таинственного стиха в стихотворении «А. П. Лозовскому» («Арестант»), обозначенного буквами: «У... Б... и Н...». В реконструкции Баранова (см. издание Полежаева 1957 года в «Библиотеке поэта») эта строка выглядит так: «У(дав) Б(разильский) и Н(емврод)». Илюшин выдвигает свой вариант расшифровки, порождающий еще больший скепсис: «У(пырь) б(езддушный) и Н(емврод)». Эпитет «безддушный» применительно к упырю и в контексте ближайших стихов, клеймящих зверскую жестокость царя, — совсем «не работающее» определение. К тому же упырь прежде всего кровопийца, а не душитель: «Его враждой своей почтил И, лобызая, удушил». Слово «лобызая», конечно же, сопрягается с упомянутым выше Иудой, чей поцелуй — синоним предательства. Однако и здесь В. Н. Абросимова спешит присоединиться к гипотезе Илюшина.

Культура изданий классиков во многом определяется обоснованной типологией комментария, его структурой, адресатом, удобством пользования. В нашу задачу не входит анализ тех разновидностей комментария, которыми сопровождаются издания «Художественной литературы», — это предмет особого разговора, надо сказать, давно назревшего. Будем исходить сейчас из программы, намеченной комментатором «Сочинений» Полежаева. Как сказано на с. 467, «комментарии ограничены краткими текстологическими сведениями, а также историко-литературными фактами, необходимыми для понимания произведения».

К разряду «текстологических сведений» относится, очевидно, ссылки на первые публикации произведений. Данные о них полны, систематичны, чего в общем добиться было нетрудно при наличии детально разработанной библиографии сочинений поэта. Сведения о первых публикациях дополняются в целом ряде случаев данными о простых перепечатках стихотворений в альманахах, журналах, не имеющими никакого текстологического интереса. Таким же балластом выглядят и ссылки на издания Гюго и Байрона, в которые были включены переводы поэта. Продолжением этой бесполезной информации служат и ссылки на списки произведений Полежаева, обнаруженные В. Н. Абросимовой в альбомах и тетрадях разных любителей поэзии XIX века. Нередко это рукописные копии уже печатавшихся стихотворений, не содержащие никаких данных для установления текста, датировки, истории написания и т. п. ⁷ Ссылки на эти

⁶ Илюшин А. Указ. соч. С. 234.

⁷ Соображение о том, что рукописные копии важны для изучения читательского интереса

архивные материалы приводятся с указанием шифров, как принято в научных изданиях. И это при том, что рукописные материалы, исходящие от самого поэта, упоминаются от случая к случаю и, разумеется, без шифров. Загромождают примечания и педантичные ссылки на издание «Русская поэзия в русской музыке», которое вполне достаточно было обозначить единожды.

Намерение во что бы то ни стало продемонстрировать оригинальность комментария приводит зачастую к нагнетанию совершенно незначительной информации, справедливо отмечавшейся предыдущими комментаторами. В качестве примера того, как не следует комментировать, можно указать на обширное примечание к маленькому стихотворению «Валтасар», занимающее страницу с четвертью печатного текста — столько же места занимают примечания к трем крупнейшим поэмам Полежаева («Сашке», «Эрпели» и «Чир-Юрту»)! Зачем-то в этом примечании обсуждается давным-давно решенный вопрос о том, является ли стихотворение переводом из Байрона или только подражанием соответствующему тексту ветхозаветной легенды (в Книге пророка Даниила). В. Н. Абросимова как будто высказывается за то, что это не перевод, и почему-то ссылается на список «Валтасара» в доносе Шервуда, который в любом случае не может привлекаться к решению такого вопроса. Далее читателю сообщается, что Полежаев якобы отклоняется от библейской легенды и приближается к тексту Байрона: «В Ветхом завете, в 5-й главе Книги пророка Даниила, смысл непонятных слов, начертанных невидимой рукой на стене пиршественного зала, разгадывает не молодой пленник-иудей, а почтенный муж, пророк Даниил» (С. 472). В стихотворении Байрона действительно говорится о юном пленнике-чужеземце («A captive in the land, A stranger and a youth»), но ни Байрон, ни Полежаев от библейского текста не отступают. В той же главе Книги Даниила (ст. 13) пророк назван «одним из пленных сынов иудейских» (У Полежаева: «И еврей молодой Валтасару предстал»). А в главе 13-й Даниил именуется «молодым юношей», и это вполне согласуется с его миссией судьи и пророка. Последующая информация еще более запутывает дело. Незнастно для чего сообщается, что «Белинский без колебаний отнес произведение Полежаева к переводам» и что «точка зрения Белинского получила подтверждение» в изданиях поэта 1933, 1939 и 1955 годов. Каким образом она «получила подтверждение»,

к поэзии Полежаева, могло бы иметь некоторый вес при условии *систематического* обследования таких копий во всех *основных* архивах страны, включая, конечно, ленинградские. Из множества списков произведений Полежаева, которыми особенно изобилуют рукописные сборники XIX века, В. Н. Абросимова фиксирует самое незначительное количество, используя кое-какие указания описей только двух московских архивов.

если никто из комментаторов этих изданий не занимался сопоставлением полежаевского стихотворения с текстом байроновского «Видения Валтасара», если все они доверились мнению Белинского, который английского языка не знал, стало быть, и сличения текстов не делал. В. В. Баранов, составитель издания 1933 года, позднее в подготовленном им издании 1957 года отнес «Валтасара» уже к числу оригинальных стихотворений Полежаева. И наконец, к чему ссылка на то, что полежаевское стихотворение помещено в последнем издании Байрона (1981 года) как перевод? Чтобы оставить читателя в полном недоумении, автор примечания ссылается на два любительских рукописных сборника (с указанием их архивных шифров!), в которых помещены копии стихотворения Полежаева, абсолютно ничего не способные сказать о степени его оригинальности. Это один из тех случаев, когда ссылки на архивные материалы призваны создать впечатление исследовательской новизны. Заканчивается рассматриваемое примечание полемикой с В. В. Барановым, считавшим, что обращение Полежаева к легенде о гибели вавилонского царя продиктовано торжествами по случаю коронации Николая I в Успенском соборе Кремля (22 августа 1826 года). В гипотезе Баранова можно усомниться, но опровергать ее, оперируя датами прибытия царя в Москву (22 июля) и учиненного им допроса Полежаеву (28 июля), более чем странно. Разве поэт, который был определен в Бутырский пехотный полк 3 сентября и до того находился в Москве, не мог написать свое стихотворение тотчас после коронации или спустя два-три месяца, наконец, полгода или год? Кстати, сама же Абросимова датирует «Валтасара» (вслед за изданием «Библиотеки поэта») между 1826-м и 1828 годами. Иное дело — смысловые основания для уподобления коронации Валтасарову пиру. Тут есть о чем поспорить.

Из примечания к стихотворению «Тарки» можно узнать, что полный его текст был опубликован в издании «Библиотеки поэта» «с не вполне точной ссылкой» (С. 479). Что за этим кроется? В. С. Киселев-Сергенин в своем примечании к «Таркам» отметил, что публикует текст по рукописному сборнику «Прозачических и поэтических произведений разных авторов», составленному М. И. Семейским. В. Н. Абросимова же сообщает, что этот сборник, сохранившийся в архиве Семейского, составлен Михайловановым, очевидно не подозревая, что Михайлованов и Семейский — одно и то же лицо (Михайлованов — псевдоним историка Михаила Ивановича Семейского).

Отметим еще несколько ошибок в комментариях. Пожалуй, наиболее досадная из них касается знаменитой песни «Ай, ахти! ох, ура...». В примечании к строкам «Не сдержал, не свершил // Императорских слов!..» напрасно цитируется манифест, в котором Николай I объявил свое прощение всем солдатам — участникам восстания на Сенатской площади. «Не смотря на это высочайшее заявление, — пишет

В. Н. Абросимова, — многие солдаты полков, причастны к восстанию, в наказание были направлены в действующую армию на Кавказ» (С. 475). Все это так, но ведь в стихотворении Полежаева речь идет о других солдатах — тех, которые остались верными Николаю I в роковой для него день 14 декабря и которые дали ему возможность «по братним телам» взойти на престол.

Вопреки утверждению Абросимовой, в статье В. В. Баранова «Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова „Смерть поэта“» нельзя прочесть об истории создания полежаевского «Венка на гроб Пушкина» (С. 486). Первая глава поэмы «Кориолан» была напечатана не Гречем и Булгаринным, а Н. А. Полевым, ставшим в то время неофициальным редактором «Сына отечества»: (Н. Полевой был автором одобрительных рецензий на «Стихотворения» Полежаева 1832 года и его кавказские поэмы). Ошибочно указание, будто заглавие «Еще нечто» в тетради стихов поэта, посвященной А. П. Лозовскому, является «заглавием цикла из пяти стихотворений» (С. 473).

Справедливости ради следует отметить, что кое-где В. Н. Абросимова все же сумела добавить фактические данные, ранее не сообщавшиеся в изданиях Полежаева. Это, например, сведения об актерах Дюровой и Антонино (С. 487—488), указание на то, что песня «Разлюбил меня, покинь меня...» упоминается в рассказе А. И. Левитова «Сладкое житье» в качестве «цыганской песни» (С. 485), и некоторые другие.

Количество нового материала — отнюдь не решающий критерий для оценки комментария. Тут не меньшее, а иногда большее значение приобретает хорошо продуманная и четкая подача уже известных сведений, их разумный отбор и корректировка. Видя, что богатая историко-литературная и иная информация сосредоточена в изданиях 1939 и 1987 годов, причем значительная ее часть — результат индивидуальных разысканий исследователей, В. Н. Абросимова, должно быть, решила, что пользоваться материалами предшественников стоит лишь в самой умеренной дозе. Но в таких случаях материалы предшественников обычно используются с соответствующей ссылкой на них, что вполне оправдано самим «жанром» комментария и его назначением. Ошибочные установки в этом вопросе привели к тому, что примечания в новейшем издании Полежаева потеряли системность (последовательно указываются только первые публикации и названия иностранных оригиналов на языке этих оригиналов, что едва ли вообще целесообразно в массовых изданиях) и приобрели прихотливо-субъективный, выборочный характер, т. е. какие-то существенные сведения опускаются, другие, того же порядка, сохраняются.

В примечаниях к поэме «День в Москве» (вслед за изданием 1987 года) сказано, что в ней заметны следы воздействия сатиры В. Л. Пушкина «Вечер» и прозаического «Чувствительного путешествия по Невскому проспекту»

П. Л. Яковлева. А где же «Опасный сосед» того же В. Л. Пушкина, который повлиял на фабульную организацию «Дня в Москве» едва ли не больше двух указанных произведений? А пушкинский «Граф Нулин», разве он не отождествлялся в поэме Полежаева?

Достоин удивления, что «Сравнительные жизнеописания» Плутарха упоминаются в примечании к поэме «Видение Брута» как ее источник, а в примечании к поэме «Кориолан», где такое же указание не менее (если не более) важно, оно отсутствует. В примечании к «Бонапарте» (из Ламартина) отмечено отсутствие в переводе десятой строфы, тогда как в примечании к переводу «Восторг — дух божий» (из того же Ламартина) игнорируется факт не менее существенный: Полежаев добавил в свой перевод восемь строк, не имеющих аналогии во французском оригинале.

В примечании к «Иману-козлу» даже не сказано, что это замаскированная под «восточную» легенду антипоповская сатира. В том же произведении встречается строка «Так обезьяна у Крылова» и реминисценция стихотворения Державина «Вельможа», о которых комментатор не дает никаких сведений. Быть может, такого рода справки он считает излишними? Но тогда почему в примечании к «Ночи на Кубани» зафиксировано заимствование из оды Мерзлякова? Отмечаются заимствования и в послании «К друзьям». А вот стихотворениям «Ночь», «Другу моему А. П. Лозовскому», «Восторг — дух божий» не повезло: цитаты из «Кавказского пленника», переключки с Рылевым (с его думой «Мстислав Удалий») не отмечены. Точно так же не указаны прямые отголоски стихов Державина и Пушкина в «Эрпели» и «Чир-Юрте».

В. Н. Абросимова иногда вводит в примечания собственные, не слишком убедительные историко-литературные параллели. Так, в примечании к «Эндимиону» она сообщает: «Возможно, стихотворение было навеяно сочинением (?) И. В. Гете „К луне“ (1769)». Увы! Вероятность этого допущения близка к нулю. Кроме упоминания Эндимиона в последней строке стихотворения Гете, оно не имеет ничего общего с полежаевским ни по сюжету, ни по методу изображения, ни по фактуре стиха. Искать параллели стихам Полежаева в немецкой поэзии — занятие, вообще говоря, бесплодное.

Еще пример. В примечании к «Песни пленного ирокезца» отмечено в качестве общепризнанного ее источника драматическое произведение А. П. Бенитцкого «Грангул». В. Н. Абросимова добавляет к нему еще один источник — «Плач пленных иудеев» Ф. Н. Глинки, воздействие которого на полежаевскую «Песнь» ничем не подтверждается, ибо эти стихотворения и по материалу, и текстуально, по ритмическому рисунку и авторской концепции разительно отличаются друг от друга.

Так обстоит дело с историко-литературным комментарием. Не менее странная картина выясняется с реально-историческим и словарным

комментарием. По существу не прокомментированы поэмы «День в Москве», «Эрпели», «Чир-Юрт», «Кориолан», «Царь охоты». Особенно неоправданно отсутствие такого комментария для кавказских поэм. Что это за воспеваемые Полежаевым генералы Розен и Вельяминов, почему столько сатирического гнева обрушено на фигуру Кази-Муллы, кто такие упоминаемые здесь Греков, Мирза Шамхалов, Бей-Булат, «певец Гюльнарны» и т. д. и т. п.? А обильная кавказская топонимика, ныне в значительной мере исчезнувшая или изменившая свое звучание в русском языке? Кто такой Долгос (под этим именем поэт изобразил самого себя) в поэме «Царь охоты»? Что за таинственный юноша, упоминаемый в стихотворении «Людювик XVII» (из Гюго), чей «труп... в крови»? И кто имеется в виду под именем Людювика XVII? А Карломан в «Воспоминаниях детства» (из Гюго)? Лафатер, Галль в «Рассказе Кузьмы»? Такими вопросами можно заполнить не одну страницу рецензии.

В цитированной выше программе комментария как будто не предусмотрены ни реально-исторические, ни словарные пояснения. Быть может, В. Н. Абросимова сочла их излишними? Нет, кое-где такого рода сведения все же даются. Так, в примечании к стихотворению «Иван Великий» сообщается, что речь здесь идет о колокольне московского Кремля, воздвигнутой в 1505—1508 годах, — пояснение, может быть, не слишком обязательное. А вот упоминаемые в том же стихотворении Реншильд, Шлиппенбах, Жозефина, «герои Альпов и Тавриды» — о них ни слова. В «Отрывке из послания к Лозовскому» (1833) подробно объясняется, кто такие молокане и откуда происходит название этой секты. А упоминаемые в стихотворении Кази-Муллы, Бей-Булат, Лукулл не заслужили внимания комментатора. Создается впечатление об отсутствии всякого принципа, всякой упорядоченности в подаче справок. Впрочем, тут нужна оговорка. После комментария помещен «Словарь мифологических имен и названий». По-видимому, он достаточно полон, пожалуй даже сверх меры, ибо среди мифологических имен мы встречаем, к своему удивлению, Аргос, Геллеспонт, Иордан, Иудею, Симонс, Тарпейскую скалу, халдеев, Этно и тому подобные топонимы и этнонимы.

Очевидно, издательские лимиты существенно ограничили информационную насыщенность комментариев. Но и в пределах небольшого объема, который отпущен для них, отбор справочного материала мог бы быть куда более целенаправленным и упорядоченным.

Что же касается вступительной статьи, то большая ее часть представляет собой сжатую сводку биографических фактов, щедро оснащенную цитатами из мемуарной литературы и собственными пассажами автора в манере художественно-биографического эссе. Конечно, знаменитая история «свидания» Полежаева с Николаем I не может не привлекать внимание каждого, кто впервые знакомится с творчеством и личностью поэта. Этой истории, многократно

описанной в научной и популярно-биографической литературе и в общем широкоизвестной, в статье, насчитывающей 25 страниц текста, посвящено около десяти. Столько же места уделено всем последующим периодам жизни и литературной деятельности Полежаева, продолжавшейся еще двенадцать лет и насыщенной событиями и фактами чрезвычайной важности. Чем же вызвана такая диспропорция? Не чем иным, как стремлением занять внимание читателя фабульно-организованным материалом в ущерб другим эпизодам биографии и литературного пути поэта. Своеобразие же автора в передаче «полежаевской истории» заключается лишь в привлечении пространственных характеристик ее участников: министра народного просвещения А. С. Шишкова, попечителя Московского университета А. А. Писарева, ректора университета А. А. Прокоповича-Антонского, самого Николая I, а также генерала И. И. Дибича.

В подборе характеристик этих лиц из мемуарной литературы, не всегда, кстати, объективной, дает себя знать известная предвзятость. Так, генерал А. А. Писарев обрисован явно в карикатурном свете. Разумеется, Писарев — фигура не из числа светлых, но это был все же достаточно образованный человек, не чуждый просветительских задач в своей литературной деятельности. Негативные штрихи к его портрету, данному Я. Костенецким, взяты из вторых или даже третьих рук и в значительной мере обязаны своим происхождением анекдотам.

Специальной главке (с. 17—18), посвященной И. И. Дибичу, также не хватает корректности в изложении известных фактов. «Этому чудовищу, — подхватывает В. Н. Абросимова процитированную характеристику Е. Епанчина, — передоверил Николай I решить участь Полежаева и не ошибся. Не Кавказ, где можно было встретить родственные души среди разжалованных декабристов, а Бутырский пехотный полк готовился принять на выучку слухом смелого выпускника ненавистного царю университета...» (С. 18). Вот как! Дибич, направив поэта в Бутырский полк, дислоцированный в Москве, а не на Кавказе, выбрал, оказывается, для Полежаева самый тяжкий жребий! К чему такая натяжка? Да еще и двойная: не Дибич определил судьбу Полежаева — она была решена самим императором. Поэт был направлен в Бутырский полк по личному повелению царя, как об этом сказано в официальном документе на имя генерал-адъютанта Нейдгарта.

Время от времени автор статьи приводит, по ее мнению, выразительные подробности, якобы характеризующие нравы эпохи. Так, сообщается, будто начальники Полежаева, посылая рапорты «о его поведении, «торопились выслужиться», «суетились» и «почтительно спрашивали дозволения донести на бывшего студента» (С. 20). К чему эти фантазии? Унтер-офицер из бывших студентов был слишком незначительной фигурой, чтобы кто-то мог высидеть за его счет. Начальники Полежаева

раз в месяц, как было приказано, отправляли рапорты о его дисциплине и прилежании. Гупость и сервильизм здесь не при чем. Для писания доносов, вообще говоря, не требовалось ни тогда, ни позже чьего-либо разрешения. Один шпион по призванию И. В. Шервуд действительно настроил донос по поводу стихов Полежаева, но он не знал их автора, он не был даже толком знаком с «полежаевской историей», что с полной непреложностью вытекает из его «докладной записки».

Была и другая сторона в трагедии Полежаева, о которой следовало бы сказать так, как она того заслуживает. Речь идет о подверженности поэта приступам депрессии, психической неуравновешенности и неуправляемости, что не раз ставило его под удар. Мы ничего не знаем о фельдфебеле, который пожаловался на Полежаева. Был ли он, как уверяет В. Н. Абросимова, «прямо-таки созданным для должности, которую занимал», действительно ли «с выражением победоносной наглости на сытом, сыромятном лице... прицепился к солдату за позднее возвращение в казарму» (С. 21). Такое домысливание, может быть и уместное в «романэссе» А. Борщаговского «Восстань из тьмы...», странно выглядит там, где требуется точная и правдивая передача фактов.

И при этом статья снабжена обильными ссылками на научную литературу о Полежаеве. Эти ссылки (они занимают около четырех страниц текста!) по крайней мере наполовину можно было бы убрать без всякого нарушения научной этики, за исключением ссылок на иностранные источники, в которых содержатся малоизвестные упоминания о Полежаеве.

Читая предисловие, ловишь себя на мысли, что автор его смутно представляет, о каком человеке пишет, в какой обстановке тот жил, — недостаток, к сожалению, весьма распространенный в жанрах вводной статьи и биографического романа-эссе. Нельзя, например, не опростовывать такую характеристику студента Полежаева: «Он был инфантильнее многих своих современников (может быть, все-таки выдающихся современников? — Л. Н.) и всерьез ни о чем не задумывался» (С. 7). Выходя за рамки биографического эссе, В. Н. Абросимова в ряде случаев пытается как-то обозначить особенности творческой манеры Полежаева, определить его вклад в поэзию. Перечислив лучшие стихотворения Полежаева, «которые навсегда останутся в русской литературе» («Песнь пленного ирокэца», «Ожесточенный», «Песнь погибающего пловца» и другие), В. Н. Абросимова заключает: «Образы, в которые Полежаев замыкает характеристику своего героя, заимствованы из романтической поэзии Байрона и Жуковского. В конце 20-х годов XIX века они могли бы прозвучать как штамп, если бы за ними не стояла жестокая реальность, конкретная индивидуальность полежаевской судьбы, а в более широком плане — трагической судьбы целой социальной группы одинокого погибающих революционеров» (С. 22). Думается, что даже в самом беглом разговоре об этих стихотворе-

ниях нельзя не сказать о подлинно новаторской, индивидуально-полежаевской трактовке традиционных образов, вследствие чего они и обрели под пером поэта свое бессмертие. Иначе выходит, что перечисленные стихи Полежаева подражательны, более того, чуть ли не шаблонны и лишь благодаря соотнесенности их с трагической участью автора и собратьев по судьбе (а не благодаря необычайно выразительному воплощению этой судьбы!) названные стихи каким-то чудом уцелели в русской литературе до наших дней!

А заявление о том, будто только после встречи с Е. И. Бибиковой (т. е. до 1834 г.!) «в его (Полежаева) творчестве эротические сцены в духе Баркова уступили место любовной лирике» (С. 26), вряд ли сможет разубедить читателя в том, что к любовной лирике в самом высоком значении слова Полежаев был причастен с начала своего творческого пути. Неужели такие стихотворения, как «Ночь» (1826), «Букет» (конец 20-х годов), «Ожидание» (ок. 1831), «Ахалук», «Романсы», «Призвание» (1833), «Кольцо» (конец 1820-х), не считая переводов, это не любовная лирика и притом весьма чистой пробы? Даже такие вещи, как «Ренегат», «Казачья колыбельная», что общего у них с «эротическими сценами в духе Баркова», которого, кстати, В. Н. Абросимова неправомерно числит в живописцах порнографии (см. с. 7, сноски)? Неверно и то, что в 1825—1826 годах Полежаев был автором «многочисленных безделок в честь Вакха и Афродиты» (С. 7—8). Таковых безделок известно всего три (за 12 лет литературной деятельности!), из них одна — «Дженни», вторая — «Калипсо» — вариант нескромной строфы «Сашки». Третья безделка — «Тарки» (это уже 30-е годы). Вряд ли можно считать безделкой многословную и действительно полупорнографическую повесть в стихах «Новодевичий монастырь» (1825 или 1826).

Итак, выводы напрашиваются сами собой. Вступительная статья весьма относительно ориентирует читателя в художественном мире поэзии Полежаева. Корпус книги скорее предназначен для литературоведов, чем для широкого читателя. Отдельные изменения в текстах — якобы смысловые уточнения — призваны создать видимость самостоятельной текстологической работы. Примечания построены без учета адресата: определенная часть фактических данных могла бы удовлетворить читателя с филологических интересами, если бы эти данные были полнее в три—четыре раза; в то же время сведения, рассчитанные на широкую читательскую аудиторию, представлены в таком урезанном виде и так непоследовательно, что осветить стихи поэта, а иной раз просто понять то, о чем и о ком он пишет, невозможно. При сильно суженной информационной базе ошибок, натяжек и упущений все-таки немало.

Очевидно, несправедливо было бы большую часть критических замечаний и недоумений адресовать только В. Н. Абросимовой. Видимо, однотомика «Библиотеки поэта», появившийся

в разгар работы издательства «Художественная литература» над собственным изданием, в известной степени осложнил ситуацию — осложнил в том смысле, что возникла проблема ухода от дублирования однотомника «Библиотеки поэта». Думается, надлежащего решения эта проблема так и не получила. Возможно, лучшим выходом из положения был бы выпуск «малого» Полежаева в серии «Русская муза», где библиографического и текстологического комментария вовсе не требуется. Но книги этой серии, предназначенной для самых разнообразных слоев читающей публики, почему-то лишены каких бы то ни было примечаний, с чем трудно примириться.

Вопросы, поставленные в данной рецензии, имеют отношение не только к «Сочинениям» Полежаева. Культура изданий подобного рода,

как и изданий облегченного типа, заметно упала. Конечно, речь идет не только о книгах, выпускаемых «Художественной литературой», в активе которой ряд ценных и интересных изданий. Сказывается пренебрежение к аппарату изданий, который долгое время рассматривался Госкомиздатом как досадное осложнение в работе издательств. Между тем наши литературные журналы почти не занимаются серьезным обсуждением переизданий классической литературы. Потерян не только вкус к эдичионной культуре, но, похоже, утрачены и критерии для ее оценки. Настоящая рецензия — посильная попытка привлечь внимание специалистов к необходимости тщательного изучения всего комплекса проблем, связанных с разными типами изданий русской классики.

Алена Балажова
(ЧССР)

Н. В. ГОГОЛЬ В РАБОТАХ ЧЕШСКИХ РУСИСТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ (1970—1988)

Творчество Н. В. Гоголя всегда привлекало внимание чешских литературоведов. В исследованиях последних лет можно отметить две особенности: с одной стороны, опора на работы чешских русистов, преодолевших вульгарно-социологические тенденции исследований 40—50-х годов (большая заслуга в этом принадлежит Й. Ф. Франеку, Й. Доланскому и Й. Таборской);¹ с другой стороны, влияние новейших работ советских литературоведов (Ю. Манна, С. Бочарова, А. Елистратовой и др.).

На смену работам популяризаторского характера, наиболее типичным для 40—50-х годов, пришло углубленное изучение общих проблем и частных вопросов творчества Гоголя. Поэтика его произведений, художественный метод и стиль, сатира, гротеск и их роль в создании гоголевских типов, философские размышления писателя — все это в центре внимания исследователей. Широко изучается в советском и зарубежном литературоведении, особенно в последние годы, место Гоголя в русской и мировой литературе. Вносят свой вклад в это направление и чешские русисты, которые в основном занимаются определением типологических сходств между творчеством Гоголя и возникшими под его влиянием произведениями чешской литературы.

Перечисленные и многие другие аспекты изучения наследия Гоголя находят свое отражение в различного рода работах чешских русистов: в послесловиях к изданиям гоголевских произведений, в рецензиях на эти издания или на литературоведческие работы, в главах учебных пособий, в дипломных работах студентов, в газетных и журнальных заметках и, самое главное, в литературоведческих статьях.

Следует напомнить, что все произведения Гоголя были вскоре после их выхода в свет переведены на чешский язык. За полтора столетия они переводились и издавались несколько раз и всегда привлекали внимание чешских читателей. О постоянном интересе к ним свидетельствует, например, тот факт, что в 70—80-е годы нашего века только «Мертвые души» переиздавались четыре раза.

Издания отдельных произведений или избранных сочинений обычно сопровождаются послесловиями чешских литературоведов, рассчитанными на сегодняшнего читателя. Но чем же он отличается от читателя, скажем, довоенного периода? В первую очередь знаниями о Гоголе и русской литературе в целом. Это связано, в частности, с введением курса русской литературы в программы средних учебных заведений после 1945 года, с многочисленными изданиями произведений Гоголя, постановкой его пьес на сценах чешских театров и показом их по телевидению. Сегодняшний читатель, таким образом, имеет представление о личности и творчестве Гоголя, о гоголевском периоде развития литературы и не нуждается в приведении основных биографических данных и в простом перечислении произведений Гоголя. Современный читатель находится на определенном уровне, из которого надо исходить, но который следует несколько опережать, способствуя его дальнейшему развитию.

В качестве примера серьезного научного подхода можно привести послесловия Л. Задражилы² и В. Новотны.³ Л. Задражил является автором послесловия и комментария к собственному переводу избранных сочинений Гоголя, вышедшему в свет в 1973 году под названием

«Загадочный Гоголь». В послесловии, озаглавленном «Лицо человека и создателя», излагается взгляд на Гоголя как на представителя переходного периода от романтизма к реализму. Меняется целостный взгляд на мир, меняются и художественные средства. В произведениях Гоголя наблюдается переход от фантастики романтической, фольклорной к фантастике реалистической при использовании символики натуралистической детали, взаимопроникновение стилистически разнородных элементов и создание пограничных жанров. На службу передовой мысли приходит гоголевская сатира, отражающая моральную и духовную жизнь общества.

Послесловие Л. Задражила к «Мертвым душам» Гоголя стало, по сути дела, размышлением об особенностях жанра этого своеобразного произведения. Л. Задражил исходит из того, что «Мертвые души» чешского читателя несколько озадачивают: они и похожи на роман (т. е. на произведения, в чешской литературе обозначаемые как «роман»), и в то же время очень отличаются от всех известных ему романов. Ключ к пониманию «Мертвых душ» — в определении, данном своему произведению автором: «Поэма». Главное в произведении — это лирические отступления, предоставляющие автору возможность поэтического видения всей Руси, ее прошлого, настоящего и будущего.

Автор другого послесловия к «Мертвым душам», В. Новотны, занимается вопросами композиции «Мертвых душ». Свои рассуждения Новотны основывает на намерении Гоголя создать трехтомное произведение, для двух последних томов которого Гоголь не нашел материала в тогдашней русской действительности. Следовательно, по мнению В. Новотны, реалистическую сатиру «Мертвых душ» надо понимать в перспективе задуманных томов, в которых сатира отрицающая должна была превратиться в сатиру утверждающую.

Вскоре после выхода в свет книги «Загадочный Гоголь» стали появляться в печати первые отзывы чешских русистов, о которых можно сказать, что рецензия, то другая точка зрения. Так, например, М. Заградка⁴ критически отнесся к лаконичности истолкования гоголевского творчества в послесловии книги и отметил, что Гоголь для нас не перестает быть загадочным; Я. Ланг,⁵ наоборот, утверждал, что в Гоголе ничего загадочного и не было. И. Поспишил,⁶ защищая загадочность гоголевских произведений, сослался на высказывание Пропера Мериме о «Мертвых душах» и на работы советских литературоведов, в частности Ю. Манна. В рецензии на монографию И. Золотуцкого о Гоголе (М., 1979) И. Поспишил,⁷ соглашаясь со взглядом на Гоголя как на писателя философского склада, возвращается к вопросу о загадке Гоголя, решение которого, по его мнению, может дать только полное представление о закономерностях русского литературного процесса XIX века.

В 70-е годы издаются два учебника русской литературы: «Обзор русской литературы с древ-

них времен до наших дней»,⁸ в котором содержится небольшая обзорная статья о Гоголе, и «Русская классическая литература», частью которой является глава «Ревизор русской действительности» И. Гонзика.⁹ В работе И. Гонзика дается анализ отдельных произведений Гоголя, причем особо отмечается значение «лучшей русской комедии» «Ревизор» и «первого русского общественно-критического романа» «Мертвые души». В статье хорошо показана эволюция Гоголя, переход от романтизма к художественному методу критического реализма. Творчество Гоголя не стоит отдельно, а занимает свое место в развитии русской классической литературы и мирового литературного процесса. Однако определенная прямолинейность суждений свидетельствует о том, что для автора Гоголь большой «загадки» не представляет. Это, пожалуй, в какой-то степени оправдано целью учебного пособия, которое должно служить основным источником сведений о Гоголе и в котором полнота, ясность и логичность изложения находятся на первом месте.

В последние два десятилетия в чешских газетах и журналах было опубликовано почти полсотни заметок об изданиях переводов гоголевских произведений, о постановке «Мертвых душ», «Ревизора» и других произведений Гоголя на сцене, статей, посвященных годовщинам Гоголя.¹⁰ Они, являясь всего лишь небольшими откликами на творчество Гоголя с задачами критико-популярно-анализаторскими, не ставят перед собой научных целей и все же имеют большое значение для расширения кругозора чешского читателя (тем более что их авторами обычно являются известные чешские литературоведы — И. Поспишил, М. Заградка и др.).

Как в послесловиях, так и в рецензиях, учебных пособиях, дипломных работах, в газетных заметках находят в большей или меньшей степени свое отражение актуальные вопросы гоголевского творчества. Но наибольшую ценность для дальнейшего исследования Гоголя, конечно, представляют научные статьи видных чешских русистов, публикуемые в университетских сборниках, бюллетенях и литературоведческих журналах. Здесь работа ведется в основном по трем направлениям: во-первых, исследователи занимаются изучением стиля Гоголя, его художественного метода; во-вторых, анализируются переводы произведений Гоголя на чешский язык, их соответствие русскому оригиналу; в-третьих, литературоведы интересуются вопросами влияния Гоголя на формирование чешского критического реализма и на творчество отдельных чешских писателей.

Особенно интенсивно исследованием отдельных аспектов гоголевского творчества занимаются в 70—80-е годы Р. Гребеничкова,¹¹ М. Егличка,¹² Б. Нойманн,¹³ Б. Брабец,¹⁴ Э. Шехтерова,¹⁵ Ф. Вшетичка¹⁶ и др.

Р. Гребеничкова заканчивает свой цикл статей о Гоголе, опубликованных в периодической печати в 60-е годы, исследованием фантастики «Петербургских повестей». На основе

сравнения категорий романтического и реалистического, трагического и комического, фантастического и обыденного она приходит к выводу о переходе одной категории в другую, о трансформации предметов эмпирических в трансцендентальные категории. Для подтверждения общего вывода дается конкретный анализ значения шинели в одноименной повести Гоголя. По мнению исследовательницы, в структуре повести шинель обретает двойной смысл: речь идет одновременно об изделии и о мышлении, о материальном и духовном. В плане абстракций вещь — шинель — вырастает в величину невероятную и сверхъестественную, в категорию человеческого существования. В статье уделяется также внимание особенностям комизма «Петербургских повестей».

М. Егличка излагает свое понимание жанра «Мертвых душ» Гоголя в двух статьях. В первую очередь здесь подчеркивается их жанровое своеобразие, с трудом позволяющее включить их в традицию развития русского и европейского романа. Чешских русистов и раньше привлекало жанровое своеобразие «Мертвых душ», хотя называли их романом по аналогии с похожими по композиции произведениями чешской литературы. М. Егличка отмечает, что в «Мертвых душах» можно найти определенные связи с традицией европейского приключенческого романа, однако не надо забывать и об особенностях развития России, общественной обстановке 30-х годов прошлого века. Современная писателю литературная критика сопоставляла поэму «Мертвые души» с эпосом Гомера и с «Божественной комедией» Данте и в толковании рассчитывала на продолжение первого тома. Во втором томе «Мертвых душ», однако, тема, персонажи, жизненный материал, взятые из первого тома, под влиянием новой теоретической концепции разрушаются. М. Егличка приходит к выводу, что изучение жанрового своеобразия «Мертвых душ» может относиться только к первому тому поэмы.

Во второй статье М. Егличка рассматривает взгляды советских литературоведов на творчество Гоголя. В его обзор включены работы В. Кожина, Е. Н. Куприяновой, М. А. Гуляева, И. В. Карташовой и А. А. Елистратовой. Вопрос жанра гоголевских произведений органически связан с проблемой художественного метода. М. Егличка отмечает, что и поныне не решен давний спор: Гоголь — романтик или реалист? По мнению автора, некоторые западные критики провозглашают Гоголя романтиком, опираясь на интерпретацию русских символистов; большинство же советских литературоведов, следуя традиции Белинского, обосновывает реализм Гоголя. В последнее время в литературоведении все чаще говорят о переходе романтизма в реализм по закону преемственности литературного развития. Эту точку зрения разделяет и М. Егличка.

К фантастике Гоголя обращается, вслед за Р. Гребеницкой, Б. Брабец. За основу он берет интерес Гоголя к устному народному творчеству. По его мнению, рассказы и повести Гоголя —

трагедии: человек находится во власти стихийных таинственных сил, которые торжествуют над ним; он страдает от общественной несправедливости и человеческой глупости. Б. Брабец считает Гоголя «черным юмористом» и гениальным гиперболизатором, в произведениях которого народная фантастика переходит в карикатуру. Этот принцип, по мнению Б. Брабеца, находит свое продолжение и более полное выражение в произведениях Ф. М. Достоевского и А. Белого.

Э. Шехтерова пишет в своей статье о пародии на романтизм в повестях Гоголя, причем исходит из сосуществования в них трагических и комических элементов. В этой связи приводятся ссылки на работы Ю. Манна и В. В. Виноградова. Противоречие между потенциальным и реализованным является, по мнению исследовательницы, источником развития действия, однако у Гоголя это романтическое противоречие ведет к ситуациям, соединяющим в себе трагическое и комическое, так как неосуществленные возможности приобретают трагический оттенок, а реальность — комический, даже сатирический. В связи с пародийностью Э. Шехтерова отмечает сложную композицию всех «Петербургских повестей», более подробно останавливаясь на композиции повести «Нос», которая, по ее мнению, состоит из трех частей, посвященных трем отдельным героям — пародиям на романтических героев: Ивану Яковлевичу, майору Ковалеву и Носу. В повести переплетаются два плана: реальный план дисгармонического существования становится пародией на романтический идеал человеческого бытия. По тому же принципу в повести «Невский проспект» Пирогов представляет собой пародию на романтического героя Пискарева.

Композиция «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» привлекла внимание Ф. Вшетички. Основопологающим здесь автор считает момент контраста, проявляющийся уже в изображении героев и проходящий через всю повесть.

К значению Гоголя в настоящее время обращается в своей обзорной статье И. Поспишил.¹⁷ Кроме того, автор сопоставляет истолкование гоголевских произведений раньше и теперь. Он справедливо отмечает у прежних исследователей некоторую прямолинейность в определении значения гоголевского творчества в целом и в его частных аспектах. Было время, отмечает И. Поспишил, когда «Мертвые души» считали однозначно сатирическим произведением. Только в последнее время советское литературоведение открывает новые достоинства этого произведения, например в изображении перспективы общественного развития. Что же касается художественного метода «Мертвых душ», то, по мнению И. Поспишила, реалистическую направленность поэмы нельзя смешивать со зрелым реализмом произведений Бальзака, Достоевского или Толстого. Здесь кроме реализма наблюдаются элементы романтизма (в лирических отступлениях) и классицизма (статичность персонажей). Что же касается жанра «Мертвых

душ», то Поспишил определяет его как гибридную форму, в которой еще можно различить отдельные составные части. «Мертвые души», считает автор статьи, — это ранняя фаза русского реализма. В заключение И. Поспишил подчеркивает необходимость более глубокого изучения произведений Гоголя в свете их поэтики.

Вторым направлением изучения творчества Гоголя чешской культурной средой, как указывалось выше, является историко-переводческое. Вкладом в развитие этого направления стала статья Л. Задражила об интерпретации произведений Гоголя в переводах К. Гавличека.¹⁸ Для Гавличека, как отмечает Л. Задражил, были приемлемы гоголевская романтическая ирония, гиперболизация, доходящая до гротеска, патетическая декламация и абстрактная сатиричность. Однако Гавличек более других чешских переводчиков приблизился к «паноптичным» и «карнавальным» приемам гоголевского письма.

Недостаточно разработанным в чешском литературоведении пока остается вопрос о влиянии Гоголя на творчество отдельных чешских писателей. В определенной степени это связано с проблемой литературных влияний вообще, которые иногда определялись только на основе наличия внешнего сходства, часто случайного или вовсе мнимого, в отрыве от исторического контекста, мировоззрения и стиля писателя. Влияние Гоголя на формирование чешского реализма неоспоримо. Этой темой занимаются, например, З. Урбан¹⁹ и Я. Яначкова.²⁰

З. Урбан пишет в статье «Малоизвестные стороны жизни и творчества Б. Немцовой» скорее об интересе чешской писательницы к Гоголю и его произведениям, чем о типологическом сходстве творчества обоих писателей. По сведениям З. Урбана, Божена Немцова была знакома с переводами Гоголя, даже сама собиралась переводить «Ревизора», но потом от этого замысла отказалась. Я. Яначкова занимается исследованием влияния Гоголя на Якуба Арбеса. Уже раньше отмечалась параллель между «Мертвыми душами» Гоголя и «Мессией» Арбеса. Я. Яначкова находит сходство «Шинели» Гоголя с «романетто» (характерным жанром Арбеса) «Радугокрылая Психея».

В 80-е годы центром изучения русской литературы, прежде всего в отношении восприятия ее в Чехии, стал философский факультет Университета им. Палацкого в г. Оломоуц. Коллектив авторов, возглавляемый профессором М. Заградкой, ведет исследования в области русско-чешских литературных отношений, первым результатом которых стал «Краткий словарь русско-чешских литературных отношений», изданный в 1986 году.²¹ В статье о Гоголе (автор З. Досталова) после краткого изложения начального этапа восприятия Гоголя чешской средой дается перечень изданий переводов его произведений, постановок на сценах чешских театров и неполный обзор исследований и журнальных статей, посвященных изучению Гоголя в Чехии. Названный словарь, как отмечается в работах М. Заградки,²² стал итогом первого

этапа работы в области исследований чешско-русских и русско-чешских, как и чехословацко-советских и советско-чехословацких литературных отношений.

После завершения работы над первым словарем в сборнике педагогического и философского факультетов Университета им. Палацкого стали регулярно появляться материалы по восприятию чешских писателей в русской среде. Так, З. Досталова в статье «Павел Йозеф Шафарик»²³ подходит к теме «Гоголь и Шафарик». Таким образом, отношения чешской и русской литератур начинают рассматриваться на более широком фоне, что создает возможность их комплексного изучения.

Можно с уверенностью сказать, что интерес к Гоголю в Чехии постоянен. Подтверждением этому служит конференция «Гоголь и наше время», организованная в апреле 1984 года философским факультетом Университета им. Палацкого.²⁴ Многие выступавшие говорили о значении и актуальности творчества Гоголя в развитии русской и мировой литературы. В докладе В. Костржицы²⁵ давался обзор различных интерпретаций произведений Гоголя и указывалось, что на отдельных этапах развития науки одни стороны гоголевского творчества переоценивались, другие недооценивались, что во многих случаях явилось причиной упрощенного взгляда на Гоголя. В докладе В. Сватоня Гоголь характеризовался как поэт города и определялось функционирование урбанистических мотивов в его произведениях как символов и модели человеческого существования. Б. Нойманн выступил против одностороннего понимания романтического и реалистического как однозначно субъективного и объективного. О. Рихтерек обратился к теме отношений Гоголя и Чехова и тем самым к традиции изображения «маленького человека», к роли детали и юмора в развитии русской литературы. Вопросам влияния Гоголя на А. Вознесенского было посвящено выступление Я. Вавры. Интерес к изучению восприятия творчества Гоголя подчеркивался в докладе Д. Кшицовой, представившем собой попытку сравнительно-типологического исследования: на примере творчества К. Гавличека, Я. Неруды и Б. Грабала были показаны связи чешского юмора с традицией гоголевской сатиры. Повести Гоголя «Тарас Бульба» были посвящены два доклада: Ц. Кучера раскрыл в своем выступлении картину чешской рецепции повести Гоголя, а Э. Фойтикова обратилась к древнерусским мотивам, отраженным в гоголевской повести. Часть выступлений касалась отдельных аспектов поэтики Гоголя. Свои взгляды на концепцию человека в «Петербургских повестях» изложил М. Антош в докладе о социальной направленности гоголевского творчества. И. Поспишил обратился к повести «Старосветские помещики» как к «открытому» (многозначному) тексту, как к «двуплановой» структуре: «Человек стремится к „остановлению“ потока времени, к бессмертию, но одновременно любит движение и изменение; он восторгается идиллией, но хочет стать и преобразователем

действительности».²⁶ Й. Догнал посвятил свое выступление анализу композиции повести «Портрет». Принцип идейной и стилистической антитезы воплощается, кроме «Портрета», и в других повестях петербургского цикла. На конференции, где помимо чешских литературоведов выступили словацкие и польские русисты, обсуждались также вопросы рецепции творчества Гоголя в Словакии и Польше.

Как справедливо отметил в своем выступлении В. Костржица, «неоспорим постоянный, причем возрастающий интерес к Гоголю, свидетельствующий об актуальности его гуманистического творчества, о насыщенности современного литературного процесса гоголевскими импульсами. Не исключено, что творчество Гоголя неизменно привлекает внимание благодаря своей многозначности (вследствие чего не поддается простому и однозначному истолкованию), даже некоторой загадочности, которую иногда считали доминантой личности Гоголя. . . До сих пор наблюдаются различные интерпретации гоголевского творчества, вытекающие часто из противоположных идейно-эстетических позиций исследователей. . . Современный анализ творчества Гоголя должен стать одновременно критическим анализом всех методологических подходов; современное истолкование Гоголя должно отражать весь сегодняшний мир и наш эстетический опыт».²⁷

Материалы Оломоуцкой конференции, как и статьи, опубликованные в последние два де-

сятилетия, подтверждают необходимость объединить линии изучения Гоголя, существовавшие до сих пор отдельно, — историческую, литературоведческую (и сравнительно-литературоведческую), лингвистическую, переводческую и другие — в целый комплекс исследований. Необходимо рассматривать гоголевское творчество как целостную систему, элементы которой взаимосвязаны и подвергаются законам эволюции художественного творчества в рамках развития мировой литературы. Многоплановость творчества Гоголя служила поводом для различных толкований, многозначность и богатство гоголевских произведений дают также возможность их исследования с различных сторон единого, комплексного подхода.

Вопросы поэтики Гоголя, его место в развитии русской и мировой литературы, аспекты отношения его к своим современникам и влияния на последующие поколения русских и зарубежных писателей следует, таким образом, рассматривать с учетом их обратной связи и на фоне мирового исторического процесса. Справедливость такого подхода подтверждают как исследования советских литературоведов (см., например: Гоголь и современность. М., 1985), так и большинство работ чешских русистов, опубликованных в 70—80-е годы. Ныне, во время обостренного интереса к творчеству Гоголя, надо приветствовать все попытки взглянуть по-новому на наследие великого русского реалиста.

¹ *Franěk J. F. Úvod k: N. V. Gogol: Výbor z díla. Praha, 1952; Dolanský J. Cím je nám Gogol? // Mistři ruského realismu u nás. Praha, 1960. S. 70—98; Táborská J. Gogol v české literatuře 40. a 50. let // Čtvero setkání s ruským realismem. Praha, 1958. S. 79—177.*

² *Zadrazil L. 1) Tvář člověka a tvůrce // Záhadný Gogol. Praha, 1973. S. 475—484; 2) Cestami Mrtvých duší // Gogol N. V. Mrtvé duše. Praha, 1975. S. 327—335.*

³ *Novotný V. Živé obrazy Mrtvých duší // Gogol N. V. Mrtvé duše. Praha, 1979. S. 327—332.*

⁴ *Zahrádka M. Záhadný Gogol // Ostravský večerník. 1974. 3.5. S. 5.*

⁵ *Lang J. Gogol nezáhadný — produkt a svědek doby // Literární měsíčník. 1974. N 5. S. 111—112.*

⁶ *Pospíšil I. Záhadný Gogol // Rovnost. 1974. 7. 2. S. 5.*

⁷ *Pospíšil I. Mučivý labyrint umělcovy duše // Světová literatura. 1981. N 1. S. 232—233.*

⁸ *Sato V., Fojtíková E., Neumann B., Lazarov V. Přehled ruské literatury od nejstarších dob po dnešek. Praha, 1973.*

⁹ *Honzík J. Revizor ruské skutečnosti // Pa-rolek R., Honzík J. Ruská klasická literatura. Praha, 1977. S. 151—174.*

¹⁰ *Kotýk V. Klasické dílo ruské literatury // Lidová demokracie. 1980. 16. 5. S. 5; Pospíšil I. Výročí N. V. Gogola // Rovnost. 1979. 31. 3. Př. S. 2; Tůma M. Problematický přepis Mrtvých duší // Tvorba. 1976. N 34. S. 15—16.*

¹¹ *Grebeničková R. «Fantastika» Petrohradských povídek // Československá rusistika. 1970. № 1. S. 1—16.*

¹² *Jehlička M. K žánru Gogolových Mrtvých duší // Bulletin ÚRJL. 1974. S. 63—78; 1975. S. 65—78.*

¹³ *Neumann B. K jubileu N. V. Gogola // Ruština v teorii a praxi. 1977. N 1. S. 9—11.*

¹⁴ *Brabec B. N. V. Gogol — kontinuita fantastična // Československá rusistika. 1977. N 2. S. 64—69.*

¹⁵ *Schachterová E. Parodie romantiky v povídkové tvorbě N. V. Gogola // Ruský jazyk. 1978. N 5. S. 193—201.*

¹⁶ *Všetička F. Kompozice Gogolovy povídky // Ruský jazyk. 1981—1982. N 4. S. 145—151.*

¹⁷ *Pospíšil I. Výročí N. V. Gogola // Rovnost. 1979. 31. 3. Př. S. 2.*

¹⁸ *Zadrazil L. Interpretační složka Havličkových překladů N. V. Gogola // Československá rusistika. 1985. N 2. S. 61—65.*

¹⁹ Urban Z. Pozapomenutá tvář Boženy Němcové. Praha, 1970.

²⁰ Janáčková J. Ruská inspirace Arbesova romaneta // Československo-sovětské vztahy. III. Praha, 1974.

²¹ Zahrádka M. a kol. Malý slovník ruských českých literárních vztahů. Praha, 1986.

²² Zahrádka M. 1) O nových českých pracích z dějin ruské a sovětské literatury // Rossica olomucensia. XVII. Olomouc, 1979; 2) O našich literárních vztahových slovnících // Rossica olomucensia. XXI. Olomouc, 1983; 3) K výzkumu česko-

ruských a československo-sovětských literárních vztahů // Rossica olomucensia. XXIII. Olomouc, 1985.

²³ Dostálová Z. Pavel Josef Šafařík // Rossica olomucensia. XXII. Olomouc, 1984. S. 139—142.

²⁴ Gogol a naše doba. Olomouc, 1984.

²⁵ Kostřica V. Olomoucká konference o Gogolovi // Československá rusistika. 1984. N 5. S. 221—232.

²⁶ Gogol a naše doba. S. 99.

²⁷ Ibid. S. 12.

С. Н. Носов

ПОЛЬСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЕННИЧЕСТВА В РОССИИ *

Книга польского исследователя А. Лазари «Почвенничество» посвящена теме, актуальность которой несомненна. И не только потому, что ныне возродилось, скажем, публицистическое значение (или «подзаключение») проблем национального своеобразия и национального эгоизма, их истоков, совместимости и допустимости — проблем, к которым почвенничество, его историческая роль и судьбы имеют прямое отношение. Почвенничество в России как целостное и преемственное по отношению к славянофильству общественно-литературное явление практически почти не изучалось. Можно перечислить, конечно, немало работ, в которых рассматриваются общественно-литературные взгляды Достоевского и Ап. Григорьева. Однако и мирозерцание Достоевского, и воззрения Григорьева оцениваются в большинстве из них изолированно, вне почвенничества как доктрины, создателями которой они, как известно, являлись.¹

Подобного нельзя сказать, например, об изучении славянофильства: взгляды отдельных «лидеров» славянофильства (Хомякова, И. Киреевского, К. Аксакова, Самарина) все же неизменно «складываются» исследователями в некую идеологическую «сумму» — в шестиславя-

нофильские воззрения. Это уже научная традиция, которой по отношению к почвенничеству не сложилось. Вместе с тем почвенничество — феномен достаточно исторически и литературно значимый, заслуживающий специального рассмотрения. Рецензируемая монография А. Лазари убедительно доказывает это.

Вслед за известным польским ученым А. Валицким, автором объемного и широко известного труда о славянофильстве,² А. Лазари рассматривает почвенничество как разновидность «консервативной утопии» (С. 180). Это общее определение — и итоговое, и исходное в книге А. Лазари — сразу вносит критический акцент в его работу, оттеняя обращение почвеннических исканий к прошлому, к потерянному в предшествующих исторических эпохах идеалам и ценностям. Можно заметить в этой связи, что почвенничество, как и, допустим, «прогрессивная» историческая утопия, не сводится к ностальгии по утраченному, используя идеалы прошлого для созидания идеалов будущего. Но вместе с тем явно доминирующая в исследовании А. Лазари критическая «нота» объективно только заостряет аналитический разбор польским ученым феномена почвенничества, не позволяя необходимому научному беспристрастию обратиться в бесстрашие.

Монография А. Лазари делится на пять глав. Глава первая посвящена обзору и разбору научной литературы по тематике и выявлению места почвенничества среди других общественно-литературных течений в России. В главе найдла отражение отмеченная выше увязка почвенничества с консервативным утопизмом.

Глава вторая освещает проблему народности в почвенническом мировоззрении, связанную с точки зрения А. Лазари, с почвенническими исканиями национально-самобытного пути об-

* *Lazari Andrzej*. «Poczwinnictwo»: Z badań nad historią idei w Rosji. Łódź, 1988. 208 s.

¹ Среди отечественных исследований, в которых проблема почвенничества рассматривалась или так или иначе затрагивалась, необходимо отметить следующие: Журавлева А. «Органическая критика» Ап. Григорьева // Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 7—47; Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статья 2 // Учен. зап. Тартуск. ун-та. 1961. Вып. 104. С. 48—60; Туниманов В. А. Творчество Достоевского: 1854—1862. Л., 1980; Основат А. Л. К изучению почвенничества: (Достоевский и Ап. Григорьев) // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3. С. 144—150.

² *Walicki A.* W kręgu konserwatywnej utopii: Struktura i przewiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa, 1964.

щественного развития России и не являющуюся проблемой чисто литературной. В этой главе обращает на себя внимание некоторая озадаченность автора, характерная для зарубежных исследователей, самой центральностью проблемы народности в русской критике середины XIX века. В предьявлении к национальной литературе «дополнительного» требования — быть еще и народной (а не только национальной!) — польскому исследователю видится чисто идеологический подтекст.

Глава третья рассматривает вопросы соотношения идеи народности и почвеннической идеи следования «православным началом» жизни. А. Лазари проследовывается, таким образом, и религиозная подоснова почвеннического понимания народности искусства, его зависимость от православной идеи «соборности».

В главе четвертой изучается связь почвеннических этических идей с эстетикой, с знаменитым почвенническим тезисом: красота спасет мир.

Наконец, глава пятая, подводя итоги исследования, строится вокруг проблемы последующих, весьма идейно неоднозначных, метаморфоз почвенничества в России, рассматривает идейную траекторию, протянувшуюся от Достоевского и Ап. Григорьева через впитавшее и их идеи, и «азы» позитивизма мирозерцание Страхова к уже чисто позитивистским, с элементами воинствующего биологизма, взглядам на человека и общество. Затронут по сути дела острейший вопрос о возможности метаморфозы национального и пронизанного этическим пафосом учения о народной «почве» как первооснове развития нации в социал-дарвинистский культ нации как этно-биологической общности (культ, черты которого зрими в «наследующей» многие почвеннические постулаты книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»).

Литературно-общественные взгляды почвенников А. Лазари суммирует, пожалуй, несколько схематически, сводя их в некую цепь пунктово-тезисов. Впрочем, подобная схематизация имеет и преимущества: исключает расплывчатость и двусмысленность формулировок, позволяет увидеть авторское понимание почвенничества в предельно ясной форме.

Основные постулаты почвенничества в сфере этики и эстетики А. Лазари формулирует следующим образом: «а) отождествление красоты с добродетелью и правдой; б) возвышение искусства над рядом других сторон человеческой деятельности; с) наделение художника (пророка) особой способностью познания; д) „национализация“ эстетики и этики» (С. 181). Такая тезисная кристаллизация идей Достоевского и Ап. Григорьева (в сущности, речь идет именно об их воззрениях, в своем взаимодействии сложившихся в почвенническую доктрину) предельно и, можно сказать, иссушающе схематична, но одновременно и достаточно точна. Обращает на себя внимание первый из приведенных тезисов — отождествление в почвенничестве красоты с добродетелью и правдой. Ведущая роль идеи красоты, ее господство в мировоззрении Достоевского и, в воззрениях Ап. Гри-

горьева конца 1850—начала 1860-х годов в общем-то общепризнана. Но стиль исследования А. Лазари, его подчеркнутая логицистская сущность позволяет как бы сжать в строгие научные формулы скорее ориентированное на эмоциональное, чем на «понятийное» восприятие содержание почвеннической идеи красоты. Как пишет польский исследователь, в почвеннической интерпретации красота не является «красотой самой формы, кроме формы она также включает в себя идею, душу, которая имеет большее значение, чем сама форма». Из такого понимания красоты естественно вытекает, по мнению А. Лазари, борьба Достоевского и Ап. Григорьева с «теорией „чистого искусства“, провозглашающей красоту одной формы, т. е., по мнению Достоевского и Григорьева, „фальшивую красоту“» (С. 135). Своеобразное «заточение» почвенниками нравственного начала в оболочку идеи красоты — момент принципиальный. Очень четко фиксируя его, А. Лазари оправданно заостряет на нем внимание. Можно было бы лишь добавить, что, скажем, Ап. Григорьев, утверждая в статье «Искусство и нравственность», что «с одной условно нравственностью — жизнь давно бы закисла, давно бы инквизиционными мерами была приведена к католическому или хотя к маратовскому, что ли — (ведь в сущности это все равно) — уровню и однообразию»,³ фактически оспаривал самоочность нравственных начал жизни как таковых. Свободное, жизнелюбящее искусство, по Григорьеву, не руководствуется «готовой» общественной нравственностью, а созидает свою нравственность, воплощенную в красоте и ей тождественную. Это уже, на наш взгляд, не только «заточение» нравственности в оболочку идеи красоты, не только их слитное восприятие, но и отрицание нравственности как системы заданных этических норм, граничащее с проповедью этического произвола, освобождения художника-творца от всех общественных «обязательств» в области этики.

Впрочем, оценивая религиозный мессианизм почвенничества, А. Лазари показывает, что всеобъемлющая идея красоты в известной мере и подменяет нравственность. Утверждение идеи красоты как «верховного» принципа построения жизни вело, как подчеркивает польский исследователь, к своеобразной идеологизации красоты — красотой ценен для идеологов почвенничества и образ Христа, и православие, и сама Россия, призванная нести красоту в мир, социально и политически материализовать ее. Красота оказывается в почвеннической интерпретации активной и даже агрессивной силой, таинмой в недрах «русских начал» и призванной спасти мир, покоров его. В литературно-общественных взглядах Достоевского, в частности, А. Лазари настойчиво подчеркивает эту мессианскую агрессивность, мечты о «крестовом походе» красоты, убежденность в том, что красота есть не «форма», а сила или «образ силы».

³ Григорьев А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 265.

На наш взгляд, несколько недооценена А. Лазари почвенническая апология не только «органического», естественного, но и спонтанного, стихийного развития как искусства, так и общества. В почвеннической доктрине общественное развитие есть в идеале творчество «самой жизни», сливающееся с вольным творчеством истинного искусства. Если почвенническую защиту принципа нескованного саморазвития искусства и жизни А. Лазари признает и даже подчеркивает, то определяя различия между почвенничеством и славянофильством, польский исследователь доказывает, что славянофильству идея нескованного «органического» развития не была свойственна и славянофильская нелюбовь к нормативности не простиралась далее противопоставления и предпочтения свободной «веры» искусственной и рассудочной «теории» (С. 182). Вместе с тем и в славянофильстве — идейно-литературной «предтече» почвенничества — содержались предпосылки апологии раскованной стихии жизни. А. С. Хомяков, например, в статье «О возможности русской художественной школы» писал: «Полнота и целостность разума во всех его отправлениях требуют полноты в жизни».⁴

⁴ Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 136.

Апофеоз «полноты жизни», ее эмоционально-чувственной насыщенности, обретаемой за счет этического и эстетического раскрепощения от рассудочности и нормативности в любых их проявлениях и метаморфозах, содержался и в славянофильстве. Это очень важно: свидетельствует о глубине идеи стихийности, саморазвития жизни и искусства, лишь наследованной почвенниками, но принадлежащей к тем «подводным течениям» русской мысли и литературы, влияние которых огромно, неотменяемо «перетасовкой» частных идеологических или эстетических установок.

Монография А. Лазари — многостороннее исследование. Не только литературные, но и историософские, общественно-политические позиции почвенничества получают в нем широкое освещение. Для нынешней гуманитарной науки с ее «цеховой» замкнутостью это необычно. Масштабная, дающая целостную характеристику почвенничества как литературного и общественного явления, книга А. Лазари есть значимое, яркое явление современного литературоведения и культурологии.

Б. Н. Мионов

АМЕРИКАНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *

Коммерческая народная литература XIX — начала XX века: фольклорная, детективная, рыцарская, женская и т. п. — презрительно называлась образованными современниками «литературными отбросами», «печатным хламом», «циничной», «бульварной», «лакейской», «низкой», «мещанской» за примитивность, отсутствие вкуса, приземленность и прочие грехи.¹ Многие дореволюционные исследователи считали популярность произведений этого жанра среди народа случайностью, как бы недоразумением, поскольку «лубочная литература, во-первых, не имеет ни малейшей связи с народной жизнью и ее запросами и, во-вторых, по своему характеру и направлению совершенно чужда народу и не приноровлена к его вкусам».²

* Brooks Jeffrey. When Russia learned to read: Literacy and popular literature: 1861—1917. Princeton: Princeton University Press, 1985. XXII. 450 p.

¹ Пругавин А. С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания. СПб., 1895. С. 270—421.

² Раппопорт С. А. [Ан-ский]. Очерки народной литературы. СПб., 1894. С. 41.

Изредка, правда, раздавались трезвые голоса, что «авторы (лубочных книг. — Б. М.) сумели верно и глубоко постигнуть дух народа, их книги сделались классическими среди крестьян, выдержали по несколько десятков изданий и в продолжение целого века, переходя из поколения в поколение, интересуют деревенских грамотников». Стойкий интерес народа может объясняться только тем, что в лубочной литературе воплотились «идеалы народной жизни».³

Однако подобные голоса тонули в потоке осуждения коммерческой литературы. Русские интеллигенты, разумеется, из самых лучших побуждений стремились ее дискредитировать и заменить «хорошими книжками».⁴ Их мечта сбылась в 1918 году, когда выпуск лубочной литературы был «сверху» запрещен.

³ Ивин И. С. О народно-лубочной литературе: К вопросу о том, что читает народ: (Из наблюдений крестьянина над чтением в деревне) // Русское обозрение. 1893. № 9. С. 248—249, 256.

⁴ Некрасова Е. Народные книги для чтения в 25-летней борьбе с лубочными изданиями. Вятка, 1902. С. 32—38.

В 1920—1930-е годы среди литературоведов продолжало доминировать презрительное отношение к лубочной литературе. Эмоции были дополнены классовым анализом, который позволил особенно бдительным увидеть в коммерческой литературе проводника официальной идеологии.⁵ Однако и противоборствующая тенденция в оценке лубка напрочь не исчезла. Например, В. Б. Шкловский посвятил известному создателю лубочной литературы Матвею Комарову серьезную книгу и призвал поставить ему памятник.⁶ П. Н. Берков считал, что неправильно выделять литературу для высших и низших слоев общества, что «массовую литературу» необходимо внимательно изучать, поскольку она является частью единого литературного процесса.⁷

В 1960-е годы этот взгляд возобладал, благодаря чему появился ряд интересных работ.⁸ Однако многие проблемы до сих пор не получили еще полного своего разрешения. Среди них проблема мировоззренческого содержания лубочной литературы. Книга профессора Чикагского университета Джеффри Брукса «Когда Россия научилась читать: грамотность и народная литература» заполняет этот пробел. Американский исследователь с блеском показал, что культурологический подход к коммерческой литературе превращает ее в важный, а в некоторых отношениях и уникальный источник по истории массовой культуры, сознания, социальной психологии.

Книга состоит из введения, девяти глав, заключения и библиографическо-источниковедческого очерка. Структура книги хорошо продумана, последовательность глав представляется логичной. Во введении автор обсуждает методологические проблемы изучения народной литературы и излагает принципы, которым он следует. В следующих двух главах исследуется развитие массовой грамотности: как и для чего

грамотность приобреталась, как практически использовалась. Главы 3—4 посвящены вопросам создания, публикации и распространения дешевой коммерческой литературы среди простого народа. В главах 5—8 в сравнительно-историческом плане анализируются ведущие темы народной литературы с акцентом на эволюцию в их трактовке в течение второй половины XIX — начала XX века. В последней главе рассматривается отношение и ответная реакция церкви, государства (в лице Синода, Министерства народного просвещения и разных Комиссий), образованной части общества, разных политических направлений на лубочную литературу. В заключении, как обычно, подводятся итоги исследования.

С нашей точки зрения, наиболее оригинальной частью исследования является анализ содержания народной беллетристики. Этому разделу в основном и посвящена данная рецензия.

Среди множества проблем, затронутых в лубочной литературе, проф. Брукс избирает для анализа следующие: свобода и порядок; национальная идентификация и определение «русскости»; наука и суеверие; успех и социальная мобильность. По его мнению, это самые важные и актуальные проблемы, они позволяют проследить изменения в народном сознании и провести сравнительно-исторический анализ русской и западноевропейской коммерческой народной литературы.

При анализе лубочной литературы автор придерживался следующих принципов. Изменения во внутреннем мире человека отражаются в литературе, которую он *покупает и читает*, при условии если читатель имел выбор, что читать. Коммерческие дешевые популярные издания лучше и точнее всех других, в особенности «идеологических изданий», выражают истинные взгляды и мышление простого, «среднего» человека: при потрясающей бедности русского народа он мог позволить себе раскодовать деньги только на такую литературу, которая ему действительно нравилась, идеи которой соответствовали его сокровенным чувствам и мыслям (С. XIV—XV).

Проф. Брукс подвергает анализу собственно лубочную литературу, находившую спрос, по свидетельству современников, главным образом у крестьянства; бульварную беллетристику, которая печаталась в дешевых газетах и пользовалась большим спросом у городских низов; детективные романы и рассказы, имевшие успех у молодежи и рабочих; «женскую» беллетристику, т. е. романы о женщинах, находившую «громадную и разнообразную» читательскую аудиторию во всех слоях общества (С. 101, 109, 128; 158, 167).

Изучив трактовку проблемы «свобода и порядок» в народной литературе, автор пришел к чрезвычайно важным выводам. Долгое время, вплоть до конца XIX века, свобода и порядок в народной литературе рассматривались как *альтернативные* категории: либо свобода, либо порядок. Этот конфликт традиционный персонафицировался в разбойнике, который восстает

⁵ Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов. М.; Л., 1925. Т. 1. Стлб. 474—485; *Кожин Н. А., Абрамов И. С.* Народный лубок: второй половины XIX в. и современность. Л., 1929. С. 1—38; *Сакулин П. Н.* Русская литература: Социолого-синтетический обзор литературных стилей. М., 1929. Ч. 2. С. 163—187; и др.

⁶ *Шкловский В. Б.* Матвей Комаров, житель города Москвы. Л., 1929. С. 291—292.

⁷ *Берков П. Н.* К вопросу об изучении массовой литературы XVIII века // Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук. 1936. № 3. С. 471.

⁸ *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси: Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964; *Лотман Ю. М.* Художественная природа русских народных картинок // Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв. М., 1976. С. 247—267; *Пушкарёв Л. Н.* Повесть о Ерусилане Лазаревиче в русской анонимной лубочной книжке XIX—начала XX в. // «Слово о полку Игореве»: Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 258—282; и др.

против власти. Путем бунта разбойник добивается свободы, но одновременно нарушает законный порядок. Поднимая бунт, разбойник противопоставляет себя государству, церкви и оказывается вне общества. Вследствие чего конфликт «свобода—порядок» перерастает в конфликт «общество—индивид». Бунт всегда незаконен, свобода всегда нарушает порядок. Только бунт дает свободу, но такая свобода — тяжелое бремя, вынести его может не каждый. Если разбойник не раскаивается и не просит прощения — всегда перед царем или его слугами, т. е. перед государством, — его ждет гибель. Но для искупления недостаточно раскаяться — необходимо совершить также военные или религиозные подвиги *во имя царя, государства, церкви*. В западной народной литературе, напротив, арбитром, судьей разбойника выступает либо он сам, либо граждане, община, откуда он родом; основание прощения — *добрые частные дела*. Если по русской традиции государство-общество всегда право и всегда сильнее разбойника-индивида, то в западной традиции подобный фатализм отсутствует (С. 171, 174, 189—191, 195—200).

После 1905 года под влиянием войны и революции, считает проф. Брукс, противопоставление свободы порядку исчезает. Особенно наглядно это проявилось в новой детективной литературе, где старая дилемма преодолевается: новый герой — частный детектив — свободен, как разбойник, но он герой порядка; правда, защищает он не государство, а *общественный порядок и справедливость*. Детектив свободен, но он не стоит вне общества, как разбойник, он не страдает комплексами одиночества и вины, он живет полнокровной жизнью и пользуется уважением общества (С. 207—210).

Хотя герои-детективы, олицетворяющие новые идеи, пришли в русский лубок из западной литературы, они выражали органическую потребность русского общества в новой ментальности. Автор отмечает, что новое мироощущение завладело умами прежде всего молодежи и не стало еще господствующим, оно сосуществовало с традиционным пониманием свободы и порядка, общества и личности. Однако возникновение новой ментальности — симптом моральной амортизации старого порядка (С. 211—213).

Не менее интересна обнаруженная проф. Бруксом трансформация идеи о русской национальной принадлежности, о «русскости», происшедшая в русской народной литературе. По его наблюдениям, до конца XIX — начала XX века русскость отождествлялась с православием и царем. Быть истинно русским — значит быть верным царю и православной церкви, стать русским — значит обратиться в православие и принять подданство русскому царю (С. 214, 216). Однако на рубеже веков национальность стала ассоциироваться со страной как *географической и социальной общностью*; Россию перестали идентифицировать со столицами, обнаружился интерес ко всей стране и всем народам, в ней обитающим. Проф. Брукс

называет это рождением новой народной версии Российской империи. В новой трактовке верность царю и православию в качестве признака национальности сохранилась, но, как ему представляется, этот признак перестал быть главным (С. 241, 244).

Автор обнаружил еще одну новую тенденцию в народной литературе — *космополитическую*. Негативное отношение к иностранцам постепенно исчезало, уступая место уважительному отношению не только к иностранцам (С. 233—236), но и к российским инородцам (С. 226—232). В некоторых произведениях, по мнению проф. Брукса, великорусс выступал даже как защитник национальных меньшинств, как помощник в преодолении отсталости национальных окраин (С. 244—245). Новая народная версия национальности, а также космополитизм не успели стать господствующими при старом режиме, но превратились в сильные и влиятельные тенденции (С. 217).

Сравнивая понимание национальности в русской и западноевропейской народной литературе, автор обнаружил, что русские народные писатели в отличие от западных уделяли мало внимания своеобразию русской системы ценностей и национальным гражданским добродетелям. По его мнению, народная концепция национальности включала лишь «рудиментарные понятия гражданства с вытекающими из него правами и обязанностями» (С. 216).

Анализ народной литературы под углом зрения трактовки в ней проблем науки и суеверия привел проф. Брукса к выводу, что народные писатели в течение всего пореформенного времени боролись с предрассудками и разоблачали суеверие (С. 250—253, 258), а с конца XIX века стали проводить идею о науке как надежном средстве улучшения жизни и достижения целей (С. 259—264). Автор считает, что в народной литературе на рубеже XIX—XX веков утвердился *рациональный активный герой*, полагающийся в жизненной борьбе на свои силы и ум, а не на магию и вмешательство потусторонних сил (С. 254—258). Появление такого героя наносило сильнейший удар по суеверию и предрассудкам, по престижу человека с магическим сознанием (С. 268).

В русской народной литературе, в отличие от западноевропейской, не существовало научно-популярного жанра — произведений об ученых и изобретателях, а переведенная литература на эти сюжеты не пользовалась спросом у низших слоев. Объяснение этому автор видит в том, что в рассматриваемое время социальные, нравственные, культурные проблемы были больше и злободневнее остальных, значение научно-технического прогресса еще не осознавалось широкими слоями общества (С. 265).

Интересные и глубокие наблюдения сделал проф. Брукс при анализе проблемы жизненного успеха. Судя по лубочной литературе, успех связывался простым народом прежде всего с *богатством и комфортабельной жизнью в городе* (С. 271). Контент-анализ «моделей успеха» привел автора к выводу, что тяжелый крестья-

янский труд и неквалифицированная фабричная работа, по народным представлениям, давали мало шансов на жизненный успех (С. 369):

Модели успеха	Число случаев
Усыновление богатым покровителем	9
Городские промыслы или торговля	8
Удачная женитьба	7
Владение торговым заведением или промышленным предприятием	6
Обладание деньгами в деревне	4
Получение дворянского статуса	3
Слава артиста	3
Сельские промыслы или торговля	3
Обладание деньгами в городе	1
Крестьянское земледелие	1
Итого	45

Анализ народной литературы показал, что достижение успеха обеспечивают (С. 369):

	Число случаев
Образование и чтение	15
Труд и (или) смелость	7
Ум и хитрость	4
Страдание и терпение	4
Судьба и (или) честность	3
Талант (способности)	1
Итого	34

Герои лубочной литературы добиваются жизненного успеха благодаря *индивидуальным* усилиям, воле, энергии, способностям, социальной мобильности, но также удаче или судьбе. Причем достижение успеха сопровождается соперничеством, ревностью, напряжением в межличностных отношениях (С. 290). Кроме этого, успех сопряжен с *отречением от традиционных ценностей* — общины и семьи, а также с отказом от наиболее честного способа добывания средств к жизни — земледелия, поскольку достичь успеха возможно, как правило, в городе. И это порождает чувство вины у счастливого героя, что отравляет радость успеха.

Чтобы сгладить амбивалентность чувств у победителя, народные писатели делают своих героев сиротами (не надо порывать с семьей и общиной), успех рассматривают как возвращение потерянного или как награду за долгое терпение и страдания (С. 286, 288, 289). Однако для полноты счастья этого оказывается недостаточно, поскольку *крестьяне вообще по-дозрительно относятся к успеху* даже товарища по той причине, что счастье одного, считают они, всегда достигается за счет другого (С. 285—286). Чувство вины, с одной стороны, и господство уравнивательной психологии среди

трудящихся — с другой, вынуждают удачливых героев делиться богатством с односельчанами, делать большие жертвы на церковь, благотворительность (С. 289).

У героев западной народной литературы, особенно у американцев, в отличие от русских успех человека не порождает в нем амбивалентных чувств, он не считает себя чем-либо обязанным обществу вообще и общине в частности. Не испытывая угрызений совести, западный человек чувствует себя вполне комфортно и спокойно наслаждается достигнутым успехом. И это при том, что в западной народной литературе была популярна идея о том, что богатство одного достигается за счет другого (С. 292, 293). Второе отличие русского народного стандарта успеха состоит в том, что успех сопровождается достижением *умеренного богатства*, в то время как западный герой купается в роскоши (С. 293). Наконец, утверждая, что личная инициатива и энергия — главные слагаемые успеха, русские народные писатели в отличие от западных воздерживаются от утверждений, что бедность — следствие лени и пассивности (С. 294).

Таким образом, успех в русской лубочной литературе второй половины XIX — начала XX века ассоциируется с материальными ценностями, он достигается в городе, в сфере *товарно-денежных отношений, требует личных усилий и инициативы*. Именно в этом состоит новизна трактовки жизненного успеха в пореформенной литературе сравнительно с дореформенным лубком (С. 295).

Подводя общий итог своему исследованию, проф. Брукс констатирует, что пореформенная русская народная коммерческая литература в принципе утверждала ценности, *общие для всех европейских индустриально развивающихся стран*, и считает это закономерным следствием развития России по капиталистическому пути. Новые буржуазные ценности, правда, еще не завоевали русское общество, они только пробивали себе дорогу в борьбе со старыми, веками утверждавшимися ценностями, но за ними будущее. Автор считает, что, судя по народной литературе, с одной стороны, и интеллигентской литературе — с другой, *низшие социальные слои* были даже *более склонны к поддержке и приятию буржуазных ценностей*, свойственных обществу с рыночной экономикой, *чем высшие социальные слои и интеллигенция*, включая учителей, инженеров, врачей, служащих и т. п. Ценности капиталистического общества интеллигенции казались недостаточно возвышенными, разрушающими единство нации и ту культуру, которую защищали разные направления антибуржуазной русской общественной мысли. Именно поэтому коммерческая литература рассматривалась интеллигенцией как вредная и развращающая народ. Правительство и церковь также подозрительно относились к коммерческой народной литературе, но по другой причине: литература утверждала ценности, во многом противоположные ценностям официальным (С. 355—356).

Как можно оценить выводы проф. Брукса и насколько они заслуживают доверия? По нашему мнению, выводы оригинальны, интересны, где-то даже эпатируют читателя и в целом правдоподобны, поскольку сопрягаются с социально-экономическим развитием страны в пореформенное время и основываются на анализе народной литературы. Но нам представляется, что эти выводы пока имеют статус *научной гипотезы*. Почему?

Автор отчасти постулирует наличие тесной связи между содержанием народной литературы и содержанием народного сознания, отчасти дедуктивным путем выводит эту связь из некоторых общих соображений. Этого явно недостаточно. Необходимо привлечь иные источники о народном сознании и эмпирически доказать существование соответствия между ним и литературой.

Хорошо известно, что весьма часто литература проповедует новые идеи, опережая массовое общественное сознание, забегая вперед. От проповеди новых идей до их интеграции в массовое сознание проходит значительное время. Между тем идейные сдвиги в народной литературе стали наблюдаться только с конца XIX века. Поэтому, может быть, основываясь лишь на литературе, правильнее говорить не о перевороте в массовом сознании, а о его начале?

Если допустить, что литература адекватно выражала сдвиги в сознании, то неясно, представления всего населения или только его грамотной части отражала литература: ведь грамотных в России в возрасте старше 9 лет в 1897 году насчитывалось всего 30 %, в 1917 году — 43 %.⁹ Определение социально-культурных

страт, где циркулировали те или иные виды коммерческой литературы, также нуждается в уточнении, поскольку основано на немногочисленных замечаниях современников.

Анализ лубочной литературы проведен выборочно: как признается сам автор, «он читал то, что мог найти» (С. 363). Поскольку выборка произведений не случайна и малочисленна, достоверность выводов в статистическом смысле не может быть высока, хотя они и могут быть верны.

Наконец, существенный недостаток методики проф. Брукса состоит в том, что настоящий качественно-количественный анализ, что называется, контент-анализ содержания народной литературы автор произвел только при оценке модели жизненного успеха и средств его достижения (о чем шла речь выше). Все остальные выводы об изменениях в трактовке ключевых проблем литературы сделаны, если можно так выразиться, импрессионистически, иллюстративным способом, т. е. автору *так показалось* при чтении попавшихся ему образцов лубочной литературы. Может быть, автору и читателям повезло, если эти произведения были типичными. А если нет? Чтобы гипотезы приобрели статус научных выводов, требуется *контент-анализ научно обоснованной выборки произведений народной литературы по отдельным отрезкам времени пореформенного периода*.

Сделанные замечания, однако, не умаляют заслуги проф. Брукса, впервые обратившегося к серьезному научному анализу коммерческой народной литературы с целью выявить изменения в массовом народном сознании. Следует иметь в виду, что реализация полной программы, которая намечена нами выше, просто не под силу одному человеку, она выполнима усилиями коллектива единомышленников. Читатели должны быть благодарны проф. Бруксу за его новаторскую книгу, написание которой потребовало от него массу физических и интеллектуальных усилий, более десяти лет жизни.

⁹ Миронов Б. Н. Грамотность в России 1797—1917 годов: Получение новой исторической информации с помощью методов ретроспективного прогнозирования // История СССР. 1985. № 4. С. 149.

ХРОНИКА

XXX ПУШКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

6—7 июня 1989 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) состоялась XXX Пушкинская конференция, посвященная 190-летию со дня рождения поэта. Ее тема — «Театр Пушкина». В конференции приняли участие литературоведы, драматурги, режиссеры, так или иначе причастные к судьбе драматургического наследия поэта.

Открыл конференцию директор Института русской литературы (Пушкинский Дом) доктор филол. наук Н. Н. Скотов.

Первый доклад — доктора филол. наук С. А. Фомичева — был посвящен анализу сценических аспектов трагедии «Борис Годунов».

По единодушному мнению специалистов, проблема театра Пушкина до сих пор остается нерешенной, отметил докладчик. «Успех или неудача моей трагедии будут иметь влияние на преобразование драматической нашей системы», — писал Пушкин в наброске предисловия к «Борису Годунову». Наша задача — решить вопрос, на чем зиждилась его уверенность в сценичности своей пьесы и сомнения в готовности театра ее понять.

Новая драматургия, разрушавшая классицистические каноны, предполагала поворот от традиционного актерского театра к режиссерскому. Драматург-новатор, выступающий с общественно значимой пьесой, вынужден был думать о новых приемах ее сценического воплощения, принимая на себя, по сути дела, обязанности режиссера. Как известно, Пушкин отказался от предисловия к «Борису Годунову», и, возможно, это было вызвано нежеланием объяснять то, что имелось в самом тексте трагедии. Среди «режиссерских» указаний, сказал далее С. А. Фомичев, принципиально важным мне представляется первоначальное название: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве...». В этом названии (опущенном в 1831 году, когда Пушкин уже понимал, что трагедия не будет допущена на сцену), во-первых, намечался подлинный масштаб всего действия, и, во-вторых, акцентировалось смеховое начало произведения. Развивая театральные принципы, Пушкин, вслед за Шекспиром и Гете, настойчиво заменял рассказ действием, но именно это и послужило препятствием к сценическому воплощению пьесы. В. Э. Мейерхольд, работая над постановкой в 1936 году, говорил: «В этой пьесе важно исполнение каждой роли. Здесь нет маленьких ролей». Конечно, угадывая скрытые ремарки у Пушкина, Мейерхольд творил свой спектакль, однако

в самой пьесе уже присутствует режиссерское начало. Оно воплощено даже в строе стиха (пятистопный ямб с цезурой после второй стопы): заданный ритм, при органичном овладении культурой драматического стиха, становится не тормозом, а опорой в создании образа. Другим «режиссерским» указанием С. А. Фомичев предložил считать введение в стихотворный текст прозаических сцен. Сниженные, опрошенные, «выпадающие» из торжественной тональности стиха, они предполагают наличие комического начала. Однако, признав это закономерным для всех прозаических сцен, мы должны будем представить в том же ключе и заключительную сцену. На первый взгляд это кажется невероятным. Между тем для общей концепции спектакля имеет принципиальное значение: на какой ноте обрывается пьеса? что стоит за ремаркой «народ безмолвствует»? Именно здесь мы приближаемся к вопросу, без которого пьеса не может быть понята по-пушкински: вопросу о главном персонаже трагедии — народе — наиболее трудном в сценическом воплощении. Своеобразие «инструментовки» массовых сцен заключается не в комизме как таковом, а в точном воспроизведении Пушкиным смехового мира средневековья, в его особенности переходить в трагическое, ужасное. История постановок не имеет ни одного классического решения в смысле художественной целостности спектакля; камнем преткновения всегда была именно трактовка народной массы. Какой видел Пушкин роль этого центрального собирательного образа? Народ одновременно почитает как святого невинно убиенного Дмитрия и верит в право Самозванца на московский престол. Очевидно, именно здесь ключ к истолкованию роли Григория-Дмитрия, так как за ним стоит смыкающийся со смеховым, колеблющийся на грани комического и трагического народный мир. Аргументом в пользу такого толкования героя и являются фатальные неудачи при попытках реалистически полнокровно воплотить образ Самозванца: не потому ли, что режиссер вступает в этом случае в противоборство с пушкинской пьесой? Народ, противостоящий царю-преступнику, верит чуду, святое же оборачивается крошечным. Подобная трактовка пьесы не умаляет ее политического и философского смысла. Подлинный антагонист Бориса, народ, несет огромную и трагическую вину, порожденную смутой, распадом связи исторических времен. Вину неверного выбора, когда ясно, кто неправ, и потому правым кажется всту-

пивший в оппозицию неправому. Появившаяся в окончательной редакции ремарка «народ безмолвствует» в соответствии со всем смыслом пьесы означает не только осуждение неправедной власти, это и немота собственной вины. Политическая трагедия Пушкина актуальна и сегодня, в наше время исторического выбора и ответственности за него всего народа.

С. А. Фомичев закончил свое выступление напоминанием о двух несостоявшихся постановках 1937 года, во МХАТе и в Театре Мейерхольда. Долг театроведов, сказал он, восстановить по архивным материалам сценическую историю спектакля, предопределившего гибель великого режиссера. Можно предполагать, что Мейерхольд собирался поставить спектакль о проблеме власти и народа, полностью доверившись режиссерскому наитию Пушкина; спектакль, конгенитальный пушкинской трагедии.

Доклад писателя Л. Г. Зорина был посвящен общим проблемам освоения пушкинского наследия и отражал его опыт драматурга. Говоря о сценической участи пушкинских пьес, докладчик заметил, что во многом она является закономерной. Идеальная насыщенность и структурная утонченность этих произведений приходят в противоречие с природной склонностью театра к адаптивности, «примитиву». Это обстоятельство подтверждается наблюдением об успехе Пушкина в опере. Либретто так или иначе сводит многосложность к сюжету, а философию к четкому выводу; для Пушкина же, с его культом мысли, невозможно было удовлетвориться событием как сценой действия.

Писатель высказал мысль о том, что расхождение Пушкина со зрителем имело два направления: с одной стороны, было обусловлено его следованием традиции, а с другой — его новаторством. Преемственность Пушкина по отношению к драме классицизма выразилась в его стойкой приверженности монологу. Монолог был способен придать произведению истинную глубину и масштабность, в нем полностью реализовывалась мысль. Однако, сокращая условность сцены, монолог противоречит правилам театральной игры, литература как бы штурмует театральную крепость. Театр пушкинской эпохи тяготел к бытовому лакизму. Менялась театральная практика, зритель в репертуар. Воварилось время жанровой неопределенности, сценой все более завладала мелодрама. Однако, если театр и его аудитория не были в состоянии принять Пушкина-традиционалиста, тем более не по плечу оказывалась современникам новаторская сущность пушкинской драматургии, его эстетические прозрения. Это опережение, оказавшееся столь значительным, что и сегодня мы не в полной мере осознаем его масштаб, касается как концептуальных основ произведений, так и их поэтики, продолжал Л. Г. Зорин.

Значение отдельной личности Пушкин поставил в зависимость от значения социума. Смысл знаменитой формулы «судьба челове-

ческая — судьба народная» в том, что человек есть мера массы, и человеческая судьба не в меньшей степени определяет судьбу народа. Нравственность общества определяется отношением к каждому его члену. Это пушкинское восприятие жизнепорядка, получившее свое классическое выражение в «Медном всаднике», отчетливо звучит и в «Сценах из рыцарских времен». В них раскрыт не только гуманизм главной пушкинской идеи, но и новая драматургическая эстетика: смешение трагического и комического. Изысканно звучат протонародные выражения. Опережение в поэтике драматического произведения наиболее явно выразилось в диалоге. Его непринужденность и естественность удивительны, особенно при сравнении с тяжеловесностью лексического состава реплики у драматургов-современников. Пушкинский тезис: «Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного» — это прямой завет Чехова, блистательно воплощенный им на сцене. Юмор озаряет каждую реплику, сколь бы грозным ни было ее содержание; ирония не только мужественна, но полна участия к братьям человеческим. Как эстетическое прозрение мы можем расширять сегодня пушкинское отношение к смерти, столь явно выражено в нем смешение родов комического и трагического. Это смешение явилось предвестием трагикомедии, главного жанра второй половины XX века, когда ирония утвердилась в качестве единственной защиты от трагического.

Пушкин не только определил, но и сегодня определяет движение и литературного, и театрального процесса, сказал в заключение Л. Г. Зорин. Задача театра, олуганного внутренне присущими ему несвободами, хотя бы отчасти приблизиться к свободе Пушкина.

Выступление режиссера В. Э. Рецетпера содержало рассказ о его работе над постановкой спектакля «Каменный гость» и анализ драматического конфликта трагедии. Он предложил свой вариант режиссерского прочтения, постановочную концепцию пьесы. Сопоставляя ее с «Пиром во время чумы», В. Э. Рецетпер говорил о тематической близости двух произведений, которые можно определить как трагические опыты о святых таинствах брака, супружеской верности оставшегося в живых умершему. Накануне женитьбы Пушкиным создаются два болдинских «прогноза-предположения», предполагаемые ситуации смерти мужа и смерти жены. Вдова и вдовец — две фигуры, с трагической симметричностью возникающие в воображении поэта, трагедии написаны почти одновременно. Потому, возможно, и не был напечатан при жизни Пушкина «Каменный гость», что содержал столько сокровенно личного.

Предлагаемые рассуждения о пушкинской пьесе, сказал В. Э. Рецетпер, вызваны размышлениями над статьей А. А. Ахматовой «„Каменный гость“ Пушкина». Полемически по отношению к статье звучит вывод относительно значения третьей сцены, эпизода разговора Дон Гуана со статуей. Именно здесь, замечает

режиссер, поворот трагического сюжета, ключ к пониманию характера героя. Из всех трагедий, с которыми мне приходилось сталкиваться, сказал докладчик, только «Каменного гостя» я мог бы сравнить с шекспировским «Гамлетом» по глубине и многозначности.

В. Э. Рецетер с сожалением говорил о неосвоенности пушкинской драматургии, назвав среди причин этого явления разобщенность пушкинстов с деятелями театра, а также то, что театром не изучается пушкинская система.

Н. В. Беляк, художественный руководитель Ленинградского государственного Интерьерного театра, рассказал в своем докладе об опыте режиссера-практика, работающего с пушкинским материалом. Сама постановка проблемы сценичности или несценичности драматургии Пушкина представляется некорректной, заявил докладчик. Драматические произведения Пушкина являются тем магнитом, который постоянно притягивает к себе деятелей театра, и уже одно это свидетельствует о заложенном в них сценическом потенциале. Необходимо переформулировать исходную проблему, поставив вопрос не о недостатке сценичности произведений Пушкина, предназначенных для театра, а о недостатках той конкретной исторической театральной практики, которая с этими произведениями не справилась. Русский театр (как и вся русская культура) пошел не пушкинским путем. Развивая эту мысль, докладчик остановился на примере МХТа, девизом которого, как известно, была избрана пушкинская формула: «Истина страстей и правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах». Но в практике этого театра, высшие достижения которого были связаны с драматургией Чехова и Горького (бытовой драматургией), произошла принципиальная подмена: истина страстей постепенно подменялась истиной чувствований, а уделом страстей стало лишь правдоподобие. Театр, исповедовавший правду переживания, не заметил этой подмены, в результате чего страстное начало перестало быть главным источником сценического творческого акта.

Еще одним шагом, уводящим театр от способности к воплощению пушкинских трагедий, стало тиражирование дурно понятой системы Станиславского. Метод «простых физических действий», явнившийся итогом его творческого пути, был отвлечен от всей системы и превращен в универсальный рецепт актерского воспитания и режиссуры без учета того, что сам Станиславский использовал этот метод в работе с артистами, уже прошедшими через опыт глубочайшего интеллектуального и эстетического постижения материала роли, уже сформировавшимися как полноценные художественные личности. Результатом этих тенденций явилось то, что современный актер воспринимается по преимуществу на системе восприятия и выражения простых ощущенческих импульсов. Накладываясь на общую картину вырождения словесного начала и размывания смыслообразующих центров, это превращает

актера едва ли не в противоположность тому типу творческой личности, которая была бы способна воплотить пушкинского трагического героя, обладающего чрезвычайной развитостью индивидуального сознания, личностным масштабом и мощью мировоззренческого осмысления себя и своего места в мире.

Самым же важным и в то же время наиболее трудным для современного театра является, по мнению докладчика, освоение той технологической культуры, которая обеспечивает гармоническое воплощение трех уровней пушкинского текста: интеллектуального, эмоционального и эстетического. Если хотя бы один из них отсутствует или начинает доминировать над другими, происходит удивительный эффект: работа, удавшаяся на девяносто процентов, воспринимается как полная неудача, пушкинское произведение продолжает пребывать на недостижимой высоте, а театр в очередной раз демонстрирует свою несостоятельность. Н. В. Беляк подчеркнул, что такой эффект возникает только при постановках пушкинских драм: Шекспир или Чехов, удавшиеся даже на семьдесят процентов, остаются в истории театра серьезными и значительными событиями. Докладчик объяснил это тем, что мера и гармония — главные качества пушкинской поэтической одаренности — принципиально воплотимы лишь стопроцентно, ибо в любом другом случае они превращаются в собственную противоположность. Между тем именно эти качества, воспитанные определенным типом культуры, менее всего присущи современности.

Далее докладчик обратил внимание на то, что описанные им процессы вырождения страстного начала, подстановка на его место либо чувствований, либо инстинктов, подменивших страсть в ее культурно-родовом смысле, девальвация слова и смысла, утрата опыта уравновешивания и единства интеллектуального, эмоционального и эстетического начал — все это в равной степени коснулось не только театра, но и культуры в целом, а значит и тех зрителей, которые сегодня приходят в театр в тщетной надежде здесь, сейчас, сию минуту вместе с актерами пережить глубину, полноту и стройность пушкинских произведений. Неспособность к этому как тех, так и других указывает на наличие состояния нашей культуры. Здесь-то и заключен ответ на вопрос, почему у нас нет театра Пушкина.

Но придя к подобному итогу, Н. В. Беляк заявил, что смириться с таким положением дел невозможно. Отсутствие в нашей культуре такого института, как трагический театр, означает отсутствие в ней важнейшего культурного механизма, предназначенного выполнять функцию, жизненно необходимую как для личности, так и для общества: функцию очищения. Если бы трагедии Пушкина не были созданы, можно было бы предположить, что в русской культуре в принципе нет потенциалов к созданию подобного института. Но они созданы, и наличие драматического наследия Пушкина, равно как и постоянная тяга театра к его

воплощению суть безусловный залог возможности восстановления утраченных культурой качеств и ценностей: гармонии, меры, нормы, способности к преодолению трагического конфликта, к очищению самой страсти. Пренебрегать таким залогом нельзя. Однако для того, чтобы возможность превратилась в действительность, необходимо возрождение культуры театральной технологии, специальное воспитание актеров, способных повести за собою зрителя пушкинским путем, необходимо объединение на этом поприще большого круга специалистов (режиссеров, педагогов, филологов, культурологов, психологов), а главное — полное доверие драматическим произведениям и тем театральным критериям, которые в них заложены.

Второй день работы конференции был посвящен обсуждению докладов и свободной дискуссии на тему «Проблема сценичности пушкинских пьес».

Первое слово было предоставлено канд. филол. наук М. Н. Виролайнен (ИРЛИ). Она начала свое выступление с проблемы, обозначенной в докладе Л. Г. Зорина как «конфликт Пушкина с Мельпоменой», конфликт присущей Пушкину духовной изысканности с той грубоватой простотой, которая, по мнению современного драматурга, всегда была присуща театру. М. Н. Виролайнен несколько переинтерпретировала высказывание Л. Г. Зорина, подчеркнув, что, в сущности, он говорил не о чем ином как о качествах, различающих между собой сферу действия и сферу духовную (сферу мысли и слова). Но возведение этого различия в ранг конфликта могло осуществиться лишь в рамках культурного сознания XX века, когда окончательно произошел разрыв между мыслью, словом и действием — тремя началами человеческого бытия, о необходимости единства которых говорят все мировые религии. Этот разрыв произошел не случайно. Для поддержания единства слова, мысли и действия культура нуждается в специальном институте. Таким институтом всегда являлся обряд (как фольклорный, так и церковный). Людям XX столетия пришлось в полной мере пожинать плоды того, что началось в период секуляризации культуры, с которым, кстати, связано и окончательное выделение литературы, словесности в автономную область, непосредственно не пересекающуюся с действием. Единственным родом литературы, так никогда и не порвавшим с действием, осталась драма, так как ее литературный текст взывает к воплощению на театре, к воплощению в действии. Таким образом, именно в драме, а точнее — в театре, мы имеем культурный залог восстановления единства слова, мысли и действия. С этой же проблемой связана и борьба Пушкина против классицизма в театре. По этому поводу в течение многих лет повторялось одно и то же: Пушкин стремился избавиться от стеснительной регламентации классицизма. В докладе С. А. Фомичева был указан другой аспект театральной реформы: эпоха разрушения традиционных

канонов драматургии внесла принципиально новое требование — требование возникновения режиссуры, привносящей в спектакль формообразующее начало. М. Н. Виролайнен рассмотрела еще один аспект. Театр классицизма, во-первых, стремился передоверить всю полноту действия слову, таким образом, что даже актерская пластика превращалась, если прибегнуть к метафоре, в роскошно, гипертрофированно оформленный процесс артикуляции. Во-вторых, в эпоху классицизма произошло окончательное перемещение театрального действия в условное пространство сцены-коробки, в рамках которого разыгрывались своеобразные живые картины, предназначенные для созерцания и исключавшие принцип зрительского соучастия в действии. Возможно, что, борясь с классицизмом, Пушкин боролся с театром слова и созерцания, стремясь восстановить действительную природу драмы и театра.

Рассуждая о неизвестном нам полностью пушкинском плане реформы театра, М. Н. Виролайнен указала на то, что по статье о «Марфе Посаднице» мы можем проследить ход его мысли, которая движется через сопоставление двух типов театра: театра «чертогов», в «здании, разделенном на две части», — и театра «площади». Постановка пушкинских пьес в театре «чертогов» до сих пор так и не доказала состоятельности его театра. Освоение пушкинских драм театром «площади» при жизни поэта было немислимо в силу разрыва между верхней и нижней культурой.

Сейчас, полтора века спустя, общество демократизировалось, и появилась новая, не ориентированная на социальную дифференциацию, форма площадного театра — так называемый западный «театр среды». Но одна особенность этого театра делает проблематичной адекватную постановку в нем пушкинских драм: «театр среды» тяготеет к непосредственному соприкосновению с архаическими истоками, в то время как в одну из главнейших задач Пушкина входило неперемное культурное опосредование этих истоков. Получается, что оба указанные Пушкиным типа театра несостоятельны по отношению к его драматургии. Существуют ли еще какие-нибудь другие принципиальные возможности?

В этой связи М. Н. Виролайнен рассказала о двух пушкинских спектаклях Ленинградского государственного «Интерьерного театра» (художественный руководитель — Н. В. Беляк), осуществленных в архитектурно оформленных интерьерах: о «Сцене из Фауста», поставленной в Дубовом зале особняка Половцевых (Дом Архитектора), и о «Пире во время чумы» в развалинах обреченной на разрушение Воскресенской церкви на Смоленском кладбище. Архитектурное пространство служило в этих спектаклях не разделенным на две части, единым для актеров и зрителей художественным пространством действия. Погруженные в художественный мир, зрители не созерцали его извне, а становились непосредственными свидетелями и соучастниками драматического акта.

Можно сказать, что Интерьерный театр использовал «чертоги» как «площадь», превратив культурную насыщенность, полноту культурных опосредований, содержащуюся в архитектурно оформленном пространстве, в исходное условие совместно, сообщая проживаемого (и в этом смысле «площадного») театрального действия. Опыт этих спектаклей подтверждает (не теоретически, а практически) мысль, высказанную вначале: именно в театре, и прежде всего — в пушкинском театре — содержится сейчас залог восстановления и поддержания единства мысли, слова и действия. По мнению М. Н. Виролайн, осуществление практики такого театра тем более нужно, что необратимо секуляризованная культура едва ли в обозримом будущем вернется к своим обрядовым истокам. А утратив сакральные мистерии, мы могли бы восполнить эту утрату через театр — через новую, уже не сакральную, но культурную мистирию.

С иной точкой зрения на взаимоотношения пушкинской драматургии с театром выступил канд. филол. наук В. Э. Вацура (ИРЛИ). Он изменил постановку вопроса: правомерно ли решать проблему, исходя из того, что театральное искусство движется, или должно двигаться, поднимаясь на пушкинские высоты? Правильно ли, продолжал В. Э. Вацура, что проблемам, поставленным Пушкиным, присуща вечная актуальность? Это не так, и в силу ряда причин актуализация Пушкина практически невозможна, в отличие от Шекспира, Плавта или Аристофана. Актуализация является основным законом любого театра, ибо он должен интерпретировать текст, а не воспроизводить. Проблемы Пушкина подменяются другими, но поскольку пушкинский текст отличается особенностью чрезвычайно точного соотношения частей, любая другая проблема деформирует его. Пушкин неестественно быть самим собой. Поставить его как Пушкина, не переписав, невозможно. Его драматургия относится к тому единственному времени в русской литературе, когда начал происходить театральное слово. В значительной степени она классична. Зрителю предлагается театр идей, на котором стоит классическая драматургия. Пушкин написал одну классическую драму, представляющую сейчас для нас наименьший интерес. Это самое непопулярное его произведение, оно же самое драматическое и сценическое, «Анджелио». Прелесть и потенциал классической трагедии, которые Пушкин сумел воплотить именно в «Анджелио», в том, что в ней присутствует движение проблемы, внутреннее сценическое движение. Решение первой из поставленных проблем оказывается ложным, поскольку продуцирует новую проблему, которая с фатальной неизбежностью зачеркивает старую, и т. д. Пушкин говорил: «... думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал». Именно в таком качестве возник цикл «Маленьких трагедий». Это не трагедии характеров, но трагедии идей. Существует ли трагедия идей в современном театре? Мы знаем интеллектуальный театр Питера

Вайса. Однако идеи, волновавшие Пушкина, деформированы в современном сознании, мы нуждаемся в других идеях. Самая проблема классического характера, как ставил ее Пушкин, в силу своей связи с традицией и в силу неустойчивого равновесия между новым и старым в театре — единственный в своем роде исторический случай. Он принципиально неактуален для нас и мы вынуждены таким образом подменять одну проблему другой, пытаемся сохранить контуры и соотношения текста. Разрушив единство действия, Пушкин нарушил некий закон сцены, который сцена не может преодолеть до сих пор. Пушкин едва не проиграл «Бориса Годунова» в жанровом отношении. Для трагедии необходимо иное представление о человеческом характере, которого мы не можем воспроизвести сегодня. Его уже не мог воспроизвести Пушкин, ибо в его представлении вторглась психология, то есть иные причинно-следственные связи. Сцена у фонтана показывает, как он начинает ревизовать ту трагедию идей, которую будет затем воспроизводить. Любовь для человека классической трагедии есть мировоззрение. Она соотносена с категорией долга, государственной необходимости, не являясь частным делом героя. Пушкин же исключает любовную тему, показывая, что всеми участниками действия она ставится на низшую ступень иерархии ценностей. С появлением психологии исчезает трагедия. Ситуация, которая рождала пушкинское представление о характере и о конфликте, мы пытаемся перенести в наши дни. Однако эпоха изменилась, и стала невозможной конвергенция, резонанс, отсутствовавший уже с середины XIX века.

С репликой в дискуссии выступил канд. филол. наук И. В. Немировский (ИРЛИ). Он напомнил один эпизод, описанный в воспоминаниях М. П. Погодина о вечере в доме Веневитиновых в Москве в 1826 году. Мемуарист свидетельствует о невероятном успехе первого прочтения «Бориса Годунова» автором. Можно предположить, сказал И. В. Немировский, что, создавая «Бориса Годунова», Пушкин представлял себе не столько интерпретацию его театром, сколь рассчитывал на прочтение близким людям, сопричастным его идеям, понимающим контекст, знакомым с кругом источников. Очевидно, подсказка для современного режиссера заключена в успехе этого первого чтения: постановка драмы, несмотря на ее монументальность и отсутствие единого места действия, должна быть камерной и рассчитанной на подготовленного зрителя. В этой связи представляется корректным избранный Интерьерным театром подход к интерпретации пушкинских драм.

Канд. филол. наук С. А. Кибальник (ИРЛИ) высказал свое несогласие с точкой зрения В. Э. Вацуре относительно проблемы актуализации пушкинских драм. Хотя современный театр действительно по большей части построен на актуализации, сказал С. А. Кибальник, этот способ не является единственно верным.

Пушкинская драматургия элитарна в той степени, в какой элитарно любое подлинное искусство. Это означает, что ее проблемы носят универсальный характер, и всегда существует публика, способная воспринять не только актуальную, но и универсальную проблематику. Главное же сценическое препятствие связано с тем, что мы имеем дело с драматической поэзией, а не с поэтическим театром. Разыгрываемый спектакль не успевает за стремительным движением идей (почему так удачен прием повторения, проигрывания текста, найденный Интерьерным театром). В связи с этими особенностями пушкинских драм наиболее удачными из имеющихся на сегодня постановок оказываются телевизионные, именно в силу их динамических возможностей, позволяющих, например, смену мизансцен на протяжении одного монолога.

Доцент Тартуского гос. университета, художественный руководитель студенческого театра ТГУ, канд. филол. наук Л. И. Вольперт говорила о проблеме сценичности пушкинских пьес с позиций новейшего театра. Принципиально иной подход к возможностям постановок, сказала она, отменяет сам предмет для спора. Модернистский театр перевернул прежние представления, в нем по-иному решаются проблемы сценичности. Для определенной части зрителей самым сильным на сцене оказывается именно обаяние мысли. Л. И. Вольперт рассказала о постановке «Бориса Годунова» Псковским театром, в подготовке которой она принимала участие вместе с Ю. М. Лотманом. Вспомогательные моменты театрального языка, как оказалось,

дают возможность поставить пьесу в современном ключе. Спектакль имел огромный успех.

Доктор филол. наук, зам. директора Гос. Музея А. С. Пушкина Н. И. Михайлова (Москва) рассказала о своем авторском опыте при осуществлении постановки «Маленьких трагедий» на Малой сцене академического Театра им. Моссовета в 1986 году. Зав. музеем ИРЛИ, канд. искусствоведения А. Ф. Некрылова, специалист по народному театру, выразила свою озабоченность низким художественным уровнем театральной кукольной пушкинианы, с которой начинается знакомство юного зрителя с миром театра. Педагог Л. А. Щербина (Одесса) рассказала о проходившей в мае нынешнего года конференции в ОГУ, также посвященной теме театра Пушкина, говорила о педагогическом аспекте пушкиноведческих проблем и необходимости более широкого освещения подобных конференций.

Последний день конференции завершился в ЛО СТД просмотром спектакля «Граф Нулин», осуществленного как самостоятельная работа ленинградских актеров под руководством режиссера Д. А. Рутгайзера. После спектакля состоялась обсуждение.

В Институте русской литературы работала выставка книжной Пушкинианы за 1987—1989 годы, подготовленная зав. Пушкинским кабинетом Л. А. Тимофеевой. На экспозиции, подготовленной хранителем Пушкинского фонда рукописного отдела А. В. Дубровским, были представлены последние (1989 года) поступления в фонд — письма Пушкина из коллекции С. М. Лифаря и автографы предыдущего поступления (1976—1977 годов).

Н. М. Сперанская

ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. СУДЬБА ЦИВИЛИЗАЦИИ В XX ВЕКЕ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ»

15—16 мая в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась научная конференция с участием советских и зарубежных ученых, приуроченная к 90-летию выдающегося писателя современности, классика русской литературы Леонида Максимовича Леонова.

Открывая конференцию, директор ИРЛИ доктор филол. наук Н. Н. Скатов сказал, что место Леонида Леонова в нашей литературе поистине уникальное. Живой классик, он, может быть, как никто другой из современников, своим творчеством выразил тревогу за судьбы человечества. В наш век яростного наступления массовой культуры, когда национальный язык находится в состоянии критическом, писатель был и остается поборником высокого, чистого,

выверенного русского Слова, которое сейчас обретает актуальность все более очевидную.

Были заслушаны шесть докладов, после чего состоялась широкая их дискуссия.

В «Слове о Леониде Леонове» засл. деятель науки РСФСР доктор филол. наук В. А. Ковалев (Ленинград) заметил, что сейчас стало модным воздерживаться от сопоставительных оценок методов искусства, принципиально уравнивать силу и потенциал реализма и разновидности авангардизма, абстракционизма и т. д. Леонову же изначально был чужд подобный безоглядный плюрализм в художественном творчестве. Его судьба, линия творческого поведения прочно связана с реализмом, специфику которого предстоит еще выяснить с учетом многогранности этого реализма, одинаково неповторимого

римого и оригинального и в психологизме, и в области сюжета, и в композиции, и в стиле, и в средствах языка. Остановившись на публицистике писателя и его последнем незавершенном романе — романе-прогнозе, романе-завете, докладчик указал на то, что космический фон и космическая аргументация у Леонова становятся еще одним могучим стимулом в борьбе землян за выживание, за то, чтобы не был прерван и задушен ядерным и экологическим параличом градиозный «эксперимент» Вселенной. Люди должны «постичь вселенскую архитектуру с целью уточнить свой адрес во времени и пространстве» и жить и действовать в соответствии с этим мудрым знанием, проникнутым высокой поэзией.

Доктор филол. наук Н. А. Грознова (Ленинград) в докладе «Леонид Леонов. Художник и его эпоха» коснулась вопроса о своеобразии творческого пути писателя, прошедшего вместе со своим народом трудный перелом истории, уточнила некоторые стороны его общественного поведения в середине — конце 30-х годов, представляющие собой сегодня если не тайну, то истину не до конца проясненную. «Ко всему, что литература делала в эти годы, — с горечью замечает Леонов, — надо прикладывать определенный коэффициент. Нам было трудно. Надеюсь, что литературоведы будут оглядываться на прошлое с чувством сострадания и отчаяния...» Но вопреки всему русская литература, понесшая после 1917 года огромные потери, никогда не сдавала ни своих духовных, ни своих идейных позиций. Взгляд Леонова на историю и цивилизацию весьма далек от насаждаемых до сих пор представлений о ней как о всеобщем благоденствии. Н. А. Грознова, используя многочисленные записи личных бесед с писателем, материалы переписки, обратила особое внимание на потаенные пласты подтекста, философско-публицистические формулы-предостережения в его произведениях. Если раньше, до появления «Мироздания по Дымкову», «Спирали», «Последней прогулки», первые рассказы Леонова («Уход Хама», «Халиль») казались нам наиболее изысканной, цветистой тканью орнаментальной прозы, «забавой щедрых красок», то теперь, с временной дистанции, видно, что под покровом библейских легенд уже в начале 20-х годов в них были обозначены идеи писателя о началах и концах земной жизни, которые в последнем романе оформляются в целостное космогоническое учение. Наиболее действенной силой художественного провидения обладает «Легенда о Калафате». Она хотя и сыграла свою роль в сюжете романа «Барсуки», однако ее самостоятельное идеологическое значение продолжает возрастать. В легенде «Про ненстового Калафата» Леонов сумел прозреть те мертвящие опасности общественного развития, которые в полной мере раскрываются лишь сегодня.

Доцент М. Каназирска (Болгария) в докладе на тему «Идея искусства в эстетике Л. Леонова» показала, что свои эстетические воззрения на искусство писатель строит на прочном философ-

ском фундаменте современной науки. Он изначально разделял такой взгляд на мир, при котором отстранение от эмпирической реальности дает простор разуму, воображению, интуиции, позволяет охватить явления в их причинной связи, в измерениях пространственного континуума. Истоки подобных воззрений восходят к античности, к Платону («Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза начинают терять свою зрелость»). Платоновский миф о путях познания мира лег в основу эйнштейновского «бегства от очевидности» и вообще в основу современной науки, которая старый вопрос о «настоящей действительности» решила в пользу древнего мыслителя. На этом фундаменте строится один из эстетических парадоксов Леонова, сформулированный в 30-е годы («Невелика в литературе роль очевидца»). Наука и литература в XX веке вошли в новый тип взаимоотношений, и в творчестве Леонова можно легко уловить этот рефлекс. Открытый стихией абстракций (теория относительности, теория трансмутаций и т. д.), человеческий разум совершал гипотетические открытия, которые затем подтверждались опытом, закреплялись в знаковой системе. Для Леонова важной является «потенциальная возможность подыскать точное слово, достаточно вместительный иероглиф для любой возникшей в сознании идеи». В понимании Леонова идея в искусстве означает максимальность, обобщенность как результат синтезирующей мысли художника, который не должен бояться отвлеченного и найти емкую формулу для выражения идеи.

Доктор филол. наук В. П. Крылов (Петрозаводск) в докладе «Драма идейно-художественных исканий Л. Леонова на рубеже 20—30-х годов» подчеркнул, что на шкале нравственных ценностей уже в первых произведениях писателя (его путь можно представить как развитие и углубление изначальной гуманистической программы в художественном постижении пореволюционной России) стояли такие альтернативные категории мирового искусства, как добро и зло в их извечной напряженности противостояния, любовь и красота и их антиподы — богатство, сила, слава, власть... В процессе реализации творческой программы у Леонова были яркие взлеты философско-эстетической мысли, приливы и отливы, были периоды вынужденного торможения и сужения проблематики. Пережитая им на рубеже десятилетий драма, ставшая спутником всей его писательской судьбы, была предопределена трагическими коллизиями общественной жизни эпохи, а также глубиной его философско-художественных интересов и яростным сопротивлением им со стороны хулителей и недоброжелателей леоновского таланта. Нет счастья в том, отметил выступающий, если жизнь писателя протекает в условиях драмы отношений со своим временем. Но и на идеальные условия литература рассчитывать не может и должна вырабатывать средства и формы не приспособляемости, а выживания (у Леонова это эзопов язык), сохраняя в себе «высокое и прекрасное».

Канд. филол. наук Т. М. Вахитова (Ленинград) выступила с докладом «Философская реальность в романистике Л. Леонова». Она отметила, что в философском мире писателя осуществлена титаническая работа по сопряжению кондов и начал исторической жизни, показано связанным и взаимопроникающим, зависимым то, что казалось обыденному сознанию несовместимым и разнонаправленным, и, несмотря на страшный опыт современности, воссоздан целостный образ мира и национальной культуры, в котором каждому человеку найдется своя мера отношения, утешения, защиты и сострадания. Философская реальность Леонова находится в оппозиции к реальности социальной. Если в обществе утверждаются принципы новой эры, культуры, нового человека, то в прозе Леонова господствуют критерии старой классической культуры и гуманизма, по которой эти новации оценивались. Если утверждалась власть человека над природой, то в творчестве писателя уравнивались в правах социальная и биологическая, природная жизнь, имеющая право бунтовать и уничтожать ненужные ей «пачпорта». Если обществу навязывался принцип усредненности и обезличивания, то у Леонова торжествует идея генетической иерархии, наделяющая человека разной мерой ума, таланта, красоты и сострадания.

Философская реальность определяет уникальную духовную целостность леоновского художественного мира. Эта реальность отличается тем, что она не имеет пространственно-временных характеристик и порождена той оригинальной системой леоновских идей, которая насыщает повествование обобщенным философским смыслом. Философская реальность, разумеется, не имеет своих собственных границ. Она легко и свободно перетекает в конкретность, исчезает и проявляется в любое время, ничуть не нарушая онтологическую однородность изображаемого мира, которая подчеркивает относительность и бедность человеческих знаний о нем.

В докладе канд. филол. наук А. Г. Лысова (Вильнюс) «„Потаенная коллизия“. Л. Леонов и „моральная вселенная“ в литературе XIX века» шла речь об известной противоречивости творчества писателя, драматической сложности конструкции его романов. Автор предложил «выводить» формулу леоновской романистики не только из коллизий пореволюционного времени, но и из более «широкой современности», связанной с духовным кризисом в России во второй половине XIX века. Классическое миростроение основывалось на оценке «пути человеческого, проходящего между стабильными абсолютными Добра и Зла, дорогами «жизни» и «смерти», Божественного и Дьявольского. В начале творческого пути Леонов стоял над «вывернутым библейским деревом» и был вынужден «покинуть» надежно обжитую вселенную прежнего романа. Внешний пласт леоновского романа — движущееся бытие, основанное на самоопределении человека, народа, человечества в истории, коль скоро XX веком была отвергнута идея божественного промысла, рока,

фатума. В леоновской романистике испытывается в новом «переплаве» идей весь каскад концепций русского и западноевропейского философского цикла, связанного с выходом из духовного кризиса: «ставки» на «разум» (Гегель, Чернышевский); на «нравственный закон» (Кант, Достоевский); «добрую природу», «жизненность жизни» (просветители, Толстой, Ницше); «красоту, которой мир спасется» (Шиллер, Достоевский). Однако утверждая культуру, наследование как сферу идеала, Леонов не утрачивает сокровенной связи с абсолютными критериями русской классики. В его романистике («романе-наследии») существуют многие формы обнаружения «моральной вселенной» XIX века, что прослеживается на примере развития «потаенной коллизии», на развертке мифа о «Размолвке Начал». Этот миф — апокрифическое «издание» учения Библии о миротворении, начале и конце всех путей, концепция, близкая философии абсолютного дуализма. Земля находится во власти «злого божества», доказывающего Вседержителю противоречивость и «недостойность» человека в противовес «ангельскому чину» (согласно апокрифу, Бог-творец хотел поставить человека «над ангелами»). История, по этой версии, и есть «священная война», бытийственная борьба и высокий духовный статус рода «Человек». Миф о «Размолвке», открытый еще в «Уходе Хама», проходит через обе редакции «Вора» и в наиболее полном выражении развивается в антитепах нового леоновского романа. Коллизия «Размолвки» «подсвечивает» все трагические «трещины» XX века, становится дополнительным запросом к идеалу всечеловеческого единства. Развитие этой коллизии обнаруживает и глубинную связь с «божеским и человеческим» русской классики и придает особое динамическое единство концепции творчества Леонова в целом от первой «пробы пера» до сегодняшних трагических раздумий писателя о судьбах человечества в мироздании.

На втором заседании состоялась дискуссия. В ряде выступлений ее участников была не только поставлена задача с высоты трагических маршрутов истории заново прочитать и осмыслить творческое наследие Л. Леонова, уяснить его жизненный путь, но и намечены перспективы такого переосмысления.

Открыл дискуссии доктор филол. наук В. М. Акимов (Ленинград), который сказал, что в годы смуты и распада, свидетелем которых оказалась русская литература, леоновское слово стало убежищем и хранителем духовного потенциала нации. Писатель всегда мужественно сопротивлялся истреблению русской культуры. Ученый напомнил слова Непряхина из «Золотой кареты»: «Народ уничтожался со святынь». Уничтожение началось задолго до 1917 года. Мысль Леонова о предотвращении истощения национальной почвы пронзительно звучит в «Русском лесе». Тема защиты национальной культуры в творчестве писателя — центральная.

Сегодня, в пору происходящей на волнах перестройки решительной переоценки историко-

литературных фактов и явлений, когда иные авторы размашисто перекраивают ныне всю историю отечественной литературы, отметил в своем выступлении канд. филол. наук В. В. Базанов (Ленинград), для нас особый интерес представляют произведения Леонова 30-х годов, которые, при их внимательном прочтении, способны многое открыть современному читателю. Анализируя, например, написанные в ту пору роман «Дорога на Океан» или известные пьесы писателя «Половчанские сады», «Волк (Бегство Сундукова)» и «Метель», легко убедиться в том, что многое и многое в них не только продолжает жить, донося до нас живое дыхание возраставшей их эпохи, но и подчас совершенно неожиданно обретает ныне особую актуальность. В подтверждение этого тезиса выступающий привел ряд примеров из романа «Дорога на Океан».

Доктор филол. наук Л. И. Зверева (Черновцы) призвала по-новому оценить особенности гуманизма Леонова. В те годы, когда было принято мыслить альтернативами, вроде «кто не с нами, тот против нас», «если враг не сдастся, его уничтожают» и т. п., Леонов защищал общечеловеческие принципы гуманизма, отстаивая ценность человеческой личности, волновался и предостерегал человечество об угрозе глобальных бедствий — экологических, социальных, моральных. . . Сейчас, когда человечество осознало, что оно находится «в одной лодке», концепция произведений Леонова воспринимается особо актуально и остро.

Непрочитанной страницей в творчестве Леонова назвала его драматургию доктор филол. наук Г. Н. Шеглова (Ташкент). Она говорила о постоянстве писателя в разоблачении зла, представляющего угрозу нравственности, разрушающего душу и психику человека. В сюжетах леоновских пьес раскрыты ступени нравственного падения личности, неизбежно ведущие к предательству. Особо важное значение в театре Леонова сегодня обретает тема мещанства.

Канд. филол. наук Г. Г. Исаев (Душанбе) охарактеризовал творческий путь Леонова как достаточно противоречивый и сложный. Истолкование произведений писателя не приемлет однозначных подходов. Выступающий отметил, что 20—30-е годы наложили особый отпечаток на творчество всех писателей, в том числе и на Леонова. Он поддавался настроениям той поры, верил и искренне служил складывающейся тоталитарной системе. Если до 1918 года писатель развивался в русле старой русской культуры, являлся создателем мифа о вчерашнем дне России, то в дальнейшем линия его творческого поведения резко меняется. Со второй половины 30-х годов интерес Леонова устремлен к современности. Склонность к мифотворчеству в какой-то мере толкала его к этому. Приверженность к тоталитарной системе у Леонова продолжала сохраняться до рубежа 50—60-х годов. В период войны он испытал творческий кризис. Между тем, подчеркнул Г. Г. Исаев, создавая мифы, Леонов

не ограничивался изображением современности, шел далеко вперед.

Сопоставляя линии творческой судьбы Л. Леонова и А. Платонова, канд. филол. наук Н. П. Малахов (Ташкент) обратил внимание на то, что эти художники начинали по-разному. Если Л. Леонов уже в первых своих произведениях вышел к проблемам библейским, а в «Барсуках» смело поставил вопрос об абсолютной значимости мужаика, то А. Платонов был весьма далек от такой проблематики, более того, в 20-е годы он мужаика не понимал и не принимал, находился во власти пролеткультовских догм. Однако в 30-е годы происходит перефокусировка в творчестве обоих художников. Платонов, по мысли Н. П. Малахова, делает шаг вперед, создавая «Чевенгур»; Леонов шаг назад, создавая «Скутаревское», роман, который никак нельзя назвать произведением гуманистическим, поскольку в нем писатель явно поддался настроениям времени. В полной мере, считает исследователь, это относится и к некоторым публицистическим произведениям периода Великой Отечественной войны.

Выступления Г. Г. Исаева и Н. П. Малахова вызвали острую полемику. Канд. филол. наук Р. Н. Порман (Уфа) решительно не согласился с суждениями обоих ученых о том, что Леонов, поддаваясь настроениям времени, будто бы искренне служил тоталитарной системе. Он привел ряд примеров подлинного мужества писателя, пытавшегося противостоять этой системе (история появления «Метели», пьеса «Нашествие», где Федор Таланов — жертва репрессий 1937 года, и др.).

О запальчивости и неаргументированности суждений Г. Г. Исаева и Н. П. Малахова относительно литературной позиции Леонова в 30-е годы говорила канд. филол. наук Б. И. Симонова-Гулиева (Баку). Она подчеркнула в этой связи, что необходимо ставить вопрос об исторической трагедии народа и ее истоках и через это постигать трагедийность судьбы Леонова-писателя.

Доктор филол. наук В. В. Бузник (Ленинград) подчеркнула особую важность сохранять в современных условиях предельную научную объективность суждений и выводов. Серьезное литературоведение обязано ограждать национальные художественные ценности от любых попыток «сбрасывания» классиков с «корабля современности». Тем более что сегодня в этом отношении наблюдаются крайности конъюнктурного свойства, коснувшись, к сожалению, и творчества Л. Леонова.

Доктор филол. наук Л. П. Егорова (Ставрополь) выступила против тех критиков, которые зачисляют Леонова во «врню литературы», и поставила вопрос о современном, научном прочтении произведений писателя. Прежде всего важно осознать трагедийность творческой личности и судьбы Леонова, связь его со своей эпохой. Чувствуя себя «следователем по особо важным делам человечества», он в силу объективных причин и обстоятельств не мог в полной мере открыто говорить о том, что его волновало. От-

сюда и горечь неудовлетворенности сделанным в 20—40-е годы. «Почему не предупредил, почему не говорил о том, что видел, не мог не видеть?» Но и тогда его творчество обозначило духовное противостояние догматам тоталитарного режима. Борьба «совести» и «страха» в душе человека — лейтмотив большинства леоновских произведений, в том числе и «Метели». Если писатель иногда и шел на компромисс в частностях сюжета (например, причина ареста Ф. Таланова в «Нашествии» изменена), то лишь с целью своевременного донесения до читателя своего произведения в целом. Философизм и символика творчества писателя во многом способствовали выражению его «потенциальных» мыслей.

Одним из важных в дискуссии был вопрос о связях Л. Леонова с русской классической традицией, литературной, философской, историко-культурной, об усвоении и оригинальном преобразении писателем гуманистических ценностей прошлого.

Канд. филол. наук Е. В. Тюхова (Орел) обратила внимание леоноведов на один интересный аспект в разработке названной проблемы — наследование и совершенствование Л. Леоновым эстетических открытий своих предшественников. Гениальные открытия Достоевского несомненно являются не только эстетическим эквивалентом социально-этического сознания эпохи, но и реализующихся через него общих тенденций духовного развития человечества. Вот почему они не могут оставаться нейтральными для творчества современников писателя, а также для всего последующего развития литературы и общественного сознания позднейших эпох (от Достоевского к Леонову, а затем к Бондареву, В. Астафьеву, В. Распутину, В. Шукшину и др.). Леонов унаследовал и преобразовал еще один оригинальный принцип поэтики, когда изображаемое явление рисуется не только в его сегодняшнем состоянии, но и в его истоках. Но если Достоевского в настоящем волнуют прежде всего линии будущего развития, то у Леонова в большей степени акцентируется многослойное содержание истоков — «мышление „блоком культур“ духовного наследия прошлого» (А. Лысов). Так строятся у Достоевского и Леонова и отдельные образы-символы, несущие значительную смысловую нагрузку в идейно-художественной структуре произведения. Один из них — образ солнца и мертвой природы из «Последней прогулки». Не приходится сомневаться в близости леоновского образа-символа образу солнца-мертвеца из повести «Кроткая». Образ солнца-мертвеца у Достоевского связан с целыми «системами мировой культуры» (Апокалипсис, литература и фольклор Древней Руси, культура Ренессанса, творчество Гете). Леоновский образ солнца сохраняет эти смысловые пласты. Как и у Достоевского, он становится символом смерти.

Канд. филол. наук А. М. Минакова (Москва) в своем выступлении наметила возможные аспекты изучения культуры в художественной

системе Леонова — в соотношении с цивилизацией и стихией, их роли в истории человеческого рода, особенно потому, что культура составляет предмет неустанного постижения и глубинной озобоченности писателя-философа. Для Леонова, как и Достоевского или Блока, культура рождается как заполнение взрыва между космосом и социумом. Эта трагическая антиномия соотносена с высшим смыслом бытия человека, с его предназначением на этапах развития человечества. В художественной и философской системах Леонова культура понимается как живая, творческая сила, а цивилизация как застывшая, лишенная движения, а потому обреченная гибели и возвращению в стихию, хаос. Стихия же предстает как разрушительная и созидательная, творческая. Потому и художественным воплощением философской и культурологической проблематики у Леонова предстает система художественных мифологем, символов и пр., например мифологема метели, сада-леса и т. д.

О необходимости уточнения понятия народ у Леонова говорила канд. филол. наук А. А. Газизова (Москва), отметив, что писателя в нем интересует прежде всего народное сознание. Причем не то, как народное сознание проявляется в эпически развернутой жизни, а то, как оно выдерживает испытание на прочность в условиях XX века, когда рухнула система классического гуманизма и мироздание, на его основе созданное. Народ у Леонова представлен разными типами людей мыслящих, совершающих титаническую работу сознания, и когда мы говорим о леоновском народном характере, мы должны видеть в нем «исследователя истины».

Воспроизводя современность в свете большой исторической перспективы, отмечала канд. филол. наук Г. И. Платошкина (Калуга), Л. Леонов показывает движение поистине пророчески. Дар предвидения Леонова особенно ошутим теперь, когда мы более глубоко и неоднозначно рассматриваем и оцениваем события 20-х, 30-х, 40-х годов и других десятилетий. Так, например, в романе «Барсуки» писатель не только раскрывает трагедию непонимания вынужденно задумавшегося мужика, но и поднимает такие вопросы о путях развития деревни и судьбы крестьянства, которые идут далеко в будущее. Его пьеса «Метель» содержит мучительные раздумья о судьбе народа, по жизни которого прошел страшный «ветроваль» 30-х годов. В «Дороге на Океан» Л. Леонов воспроизвел не существовавшее еще содружество социалистических государств, представил новые виды грозного вооружения последней мировой войны; почти за три десятилетия до полета Гагарина живописал подвиг покорителей космоса.

Канд. филол. наук Е. А. Костин (Вильнюс) в начале своего выступления полемизировал с Г. Г. Исаевым и Н. П. Малаховым, назвав отдельные положения в их сообщениях крайне запальчивыми. Затем коснулся проблемы национального своеобразия творчества Л. Лео-

нова. Е. А. Костин отнес Леонова к особой ветви в развитии русской литературы — ветви философского космизма. Можно говорить об уровне высокой рациональной линии в русской национальной культуре, которую и развивает плодотворно Леонов.

Гуманизм Л. Леонова и новое мышление — эта проблема была заявлена в выступлении канд. филол. наук В. И. Хрулева (Уфа). Рассматривая вклад писателя в формирование современных представлений о жизни и ее ценностей, значение Леонова В. И. Хрулев видит в том, что писатель на протяжении 70 лет утверждает идею целостности и взаимосвязи человека, природы и Вселенной, необходимости выработки мудрого поведения на планете. Значителен вклад писателя в формирование философии культуры, в осознание ее как духовной памяти человечества, защищающей от повторения ошибок прошлого. В этическом плане Леонов утверждает реальный стоицизм, обязанность человека взять на себя ответственность за перспективу будущего. Философско-этические позиции Леонова служат поддержкой трезвому и бесстрашному взгляду на жизнь.

Канд. филол. наук В. В. Перхин (Куйбышев) говорил о критике русского зарубежья, которая в 20—30-е годы, опираясь на своих теоретиков, наиболее активно осмысляла национальное своеобразие творчества Л. Леонова. Этим она существенно дополняет достижения советской критики и восполняет ее упущения. Делала она это с пониманием диалектики интернационального и национального в искусстве (Л. Карсавин, М. Осоргин). Статьи о Л. Леонове и других советских авторах вместе с публикацией их произведений оказали существенное влияние на духовную жизнь русского зарубежья, на сближение его устремлений с жизнью Советской России.

Проблема «Горький и Леонов» получила освещение в выступлении доктора филол. наук Н. И. Желтовой (Волгоград). Она говорила о дальнейшем исследовании этой важной проблемы в таком аспекте, как высказывания Л. Леонова о Горьком. Леоновские определения, адресованные Горькому, — яркое дополнение публикаций и дневниковых записей Роллана о Горьком 1935 года, а также публикаций «Несвоевременных мыслей». В истории советской литературы тема «Горький и Леонов» — одна из важнейших.

Ряд выступлений был посвящен проблемам поэтики леоновских произведений. Канд. филол. наук Н. И. Зайцев (Донецк) отметил, что масштаб художественных открытий Л. Леонова дает основания для постановки такой фундаментальной научной проблемы, как методология анализа социальных явлений. Леонов исследует не отвлеченные предметы, а весь мир в деталях — через набор самых современных «линз». Произведения художника представляют собой сплав субъективированного философско-публицистического эпоса, где нелинейные спектры ассоциативных связей, богатство образных галактик, своих

собственных магеллановых облаков поэтического мира замыкаются с помощью точной — с попаданием в «яблочко» — метафоры. Так формируется сложный образ-концепция с его эстетической сверхпроводимостью, позволяющей одновременно видеть предмет в разных сочетаниях психологической голографии. Одно из значительных художественных открытий Леонова, обогативших поэтику новыми формами, является метафора «спирали», вбирающая в себя гуманистическую историю человечества и подвергающая философскому анализу основополагающие идеи всемирного гуманизма.

О диалогичности как важнейшем структурном принципе художественной системы романов Л. Леонова говорила в своем выступлении канд. филол. наук В. В. Химич (Свердловск). Диалогичность предстает как диалектическое совмещение противоположностей. Она проявляется на всех уровнях художественной системы — от специфики организации действия до характера повествовательного и оценочного слова писателя.

Канд. филол. наук В. Е. Кайгородова (Пермь) отметила, что общечеловеческая суть романов Л. Леонова реализована, в частности, растворением и осмыслением в них вечных тем: «жили-были два брата родные...» («Барсуки»), история блудного сына («Вор») и Фауста («Скутаревский»). Глобальный и в то же время национально-своеобразный, связанный с мировой традицией и с литературой периода Великой Отечественной войны сюжет змеборства организует в единое целое многообразие философской, нравственной, исторической проблематики «Русского леса». В кульминациях-поединках исторически конкретных героев, развитии и разрешении их судеб просвещает, особенно ближе к финалу, «прасюжет», делающий философский роман Леонова сохраняющим непреходящую актуальность.

В выступлении доктора филол. наук А. М. Старцевой (Ташкент) «сборная», величественная и трагическая тема цивилизации рассматривается как неотъемлемая часть поэтики Л. Леонова, всей его концепции мира и человека. Необходимая антитеза — отдаленное человечество в просторе времени и судьба личности — важна обращением к философской проблеме времени и глубоким нравственным выводам. Художнику не случайно необходимы модели безвозвратности, необратимости, забвения и разрыва по отношению к образам внешнего, физического мира («материя забывчива» по словам Вихрова) и неизбывной, спасительной, одухотворяющей памяти в судьбе личности (проблема поступка). Отсюда особая значительность, аргументированность творческой полемики Леонова с идеями «культурного нигилизма», несущего проповедь беспомощности, разрыва, обесценивания высших ценностей. Не случайно образы памяти «первого» ряда наделены особой эмоциональной плотностью, императивностью — зов, погоня, преследование, наваждение, допрос, взрыв памяти и т.д.

Но главный урок Леонова — в чистоте и гуманности всех ассоциативных рядов. Уважение к прошлому лишено у Леонова какого-либо налета рационализма. При всем величии и глубине русской темы в книгах писателя важен мир «общей памяти», «общего прошлого», рожденных из «безвестных трудовней».

В некоторых выступлениях затрагивались вопросы читательского восприятия леоновского творчества в братских республиках и за рубежом.

Проблеме рецепции Леонова за пределами русской национальной стихии — в Латвии — было посвящено выступление канд. филол. наук С. Е. Ивановой (Рига). К сожалению, заметила она, мы должны говорить о сложном процессе рецепции Леонова в республике. В настоящее время на первый план в латышском романе выходит отнюдь не философская проблематика.

Проф. М. Заградка (Чехословакия) затронул проблему восприятия леоновских произведений чешской критикой 20—30-х годов. Критика в те годы не знала деталей репрессий и деформаций, однако она обратила внимание на неодноплановый, философский, воинственно гуманистический и трагедийный характер переведенных тогда в стране произведений писателя («Конец мелкого человека», «Барсуки», «Вор», «Соть», «Скутаревский» и др.). Они оказали влияние на чешских писателей. В чешской прозе Леонову очень близок Иржи Вайл, побывавший в 30-е годы в Москве и соз-

давший в своих романах «Москва-граница» и «Деревянная ложка» (не издан) образ деформированных отношений между советскими людьми во время чисток и репрессий. И. Вайл создал романы-предостережения в канун сталинского террора. Несомненны его заслуги в области художественного перевода, литературной критики. И. Вайла необходимо реабилитировать.

Стажер Волгоградского университета Ся Чжунсянь (КНР) познакомил леоноведов с историей восприятия творчества писателя в Китае. Почти все главные произведения Л. Леонова переведены на китайский язык. Читатели находят у Леонова ответы на волнующие их вопросы (например, как в условиях социализма «укладывается» жизнь крестьянства и интеллигенции). Однако Л. Леонов, несмотря на возросший в последнее время интерес к его творчеству, остается все же малоизученным писателем в Китае. Главная встреча с художественным миром Л. Леонова впереди.

В заключение были подведены итоги конференции. Ее участники высоко оценили вклад Л. М. Леонова в формирование современных представлений о жизни и цивилизации, общечеловеческих ценностей. Писатель обновил возможности реализма, способность его быть духовной разведкой будущего.

В. Н. Запелов

МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Традиционные Малышевские чтения, организованные Отделом древнерусской литературы и Древлехранилищем Пушкинского Дома, состоялись 26 апреля 1989 года в Большом конференц-зале ИРЛИ. Их открыл чл.-корр. АН СССР Л. А. Дмитриев, отметивший большое научное значение и плодотворность ежегодных Чтений. Он прочитал собравшимся приветственную телеграмму акад. Д. С. Лихачева, из-за болезни не смогшего участвовать в заседании.

С отчетом об археографической работе Древлехранилища им. В. И. Малышева выступил науч. сотр. В. П. Бударагин (Ленинград). Минувший год, сказал он, был годом празднования тысячелетия крещения Руси и ознаменован хоть и немногочисленными, но достаточно интересными находками. Уже в январе состоялась разведывательная совместная экспедиция ИРЛИ и ЛГУ в Ленинградскую область, подтвердившая необходимость более последовательной археографической работы в этих местах. Экспедиционные маршруты 1988 года пролегли также по Северной Двине (под руководством науч. сотр. ИРЛИ А. Г. Боброва), откуда в Древлехранилище были привезены такие рукописи, как, например, Миняя служебная начала XVII века, «Просветитель» Иосифа Во-

лоцкого 20—30-х годов XVII века и др. В целом Северодвинское собрание пополнилось в 1988 году 81 ед. хр. XVII—XX веков. Еще одна совместная экспедиция ИРЛИ и ЛГУ (под руководством аспирантки Н. В. Шухтиной) была направлена также в Архангельскую область на берега р. Пинеги; ее участники привезли 25 рукописей XVIII—XX веков, пополнивших Пинежское собрание ИРЛИ. Среди находок минувшего года — Псалтырь с воследованием конца XVIII века из собрания семьи Телицких. Любопытна записная книжка участника первой мировой войны солдата Прокопия Никифорова за 1910—1914 годы, крестьянский архив семьи Земцовских (18 документов 1854—1916 годов). В результате поездки науч. сотр. Г. В. Маркелова в Латвийскую ССР и г. Каунас Латгальское собрание ИРЛИ пополнилось 11 рукописями XVII—XX веков. Развился в 1988 году, сказал В. П. Бударагин, и жанр эпистолярной археографии. Помимо поисковой работы, Древлехранилище Пушкинского Дома явилось организатором и участником нескольких выставок древнерусской книги. На выставке археографических находок 1976—1985 годов в БАН было представлено 86 рукописей. 177 рукописей XIV—XX веков экспонировалось на выставке «Руко-

писная книга. Десять веков. Из фондов ленинградских книгохранилищ» в Елагинском дворце. Идея этой выставки, отметил докладчик, зародилась в Древлехранилище им. В. И. Малышева. Но вряд ли бы выставка состоялась, если бы не изначальная поддержка подобной идеи Д. С. Лихачевым и Л. А. Дмитриевым, не благородное мужество хранителя рукописных древностей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина В. М. Загребина, не помощь многих коллег-медиевистов, а подчас и безымянных энтузиастов.

Чтения продолжились докладом канд. филол. наук Н. С. Демковой (Ленинград), посвященным анализу старейшего списка «Книги Толкований» протопопа Аввакума, найденного В. И. Малышевым на Печоре. Был затронут вопрос об источниках и параллелях «Книги Толкований» и о характере их использования автором. По наблюдениям Н. С. Демковой, в обращениях к источникам «Книга Толкований» совпадает с «Книгой обличений» и «Посланием трем неизвестным» Аввакума. Старейший список «Книги Толкований» датируется 80-ми годами XVII века. В нем упомянуты несколько имен исторических лиц, которые отсутствуют в других списках. Это не авторский текст, но прижитая рукопись, подвергшаяся очень небольшой правке. Полностью текст сочинения по данному списку подготовлен к изданию автором доклада совместно с И. В. Сесейкиной. Н. С. Демкова отметила, что «Книга Толкований», создававшаяся не сразу, а отдельными частями, до сих пор не изучена в качестве определенного этапа творчества Аввакума. Она представляет собой вольные комментарии на темы библейских текстов; при этом важное звучание получает тема пророка и царя-грешника, связанная с сочинениями апостола Павла, Иоанна Златоуста, с пророком Исайей. В докладе было показано, как в сочинении Аввакума возникает своеобразный «диалог» книг, «диалог» источников.

Аспирантка Е. М. Юхименко (Москва) рассказала о новых материалах из фонда Новгородского приказа (ЦГАДА), а именно о «Деле об олонечниках раскольниках» 1699—1700 годов. Эти материалы не только являются ценным историческим источником вообще, но также позволяют дать более полную характеристику той части литературного наследия выговских писателей, в которой нашла отражение их собственная история. Новые документы, в основном челобитные крестьян соседних деревень, содержат интересные сведения по вопросам, которых касались и выговские источники (складывание беспоповского вероучения, выговский Устав, организация хозяйства), а также по вопросам социального характера, которые не находили отражения в известных до сих пор источниках. В этом, отметила докладчица, ценность новонайденных материалов.

В докладе канд. филол. наук А. М. Грачевой (Ленинград) «Из истории контактов А. М. Ремизова с медиевистами начала XX в.» было обращено внимание на знакомство и

дружбу писателя с известным ученым-славистом И. А. Шляпкиным, которые возникли на почве их увлечения славяно-русской палеографией. Однако И. А. Шляпкин, сказала А. М. Грачева, интересовал Ремизова и как литературный тип, как живой пример «чудака», «оригинала», который является во многих произведениях писателя. Об этом говорят материалы дневниковых записей Е. П. Казанович, хранящиеся в РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина. Именно И. А. Шляпкин послужил прототипом главного героя рассказа А. М. Ремизова «Глаголица» (1911), причем, как заметила А. М. Грачева, пометы автора на печатном тексте рассказа (РО ИРЛИ) свидетельствуют, что этот рассказ вовсе не был воспринят ученым как пасквиль (последнее неоднократно утверждалось современниками писателя). «Дальнейшая трансформация литературного персонажа Корнетова, ставшего впоследствии главным героем книги А. М. Ремизова „Учитель музыки“, заключалась в стирании черт, восходящих к Шляпкину, и усилении автобиографического начала». И научный, и интуитивно-художественный пути познания истины были, по мнению докладчицы, равноценными для А. М. Ремизова, Она пришла к выводу, что литературные переработки А. М. Ремизовым древнерусских источников «явились выражением той же истинной истории» произведений, что и история этих текстов, воссоздаваемая учеными в результате научного исследования.

С докладом «„Что, Вася, репка?“ Из истории русских профессиональных языков» выступил доктор филол. наук А. М. Панченко (Ленинград). Он прокомментировал одно из соборных пушкинских эпохи, получившее определенный общественный резонанс и имеющее культурологическое значение. Фраза, вынесенная в название доклада, была произнесена лейб-гусаром П. П. Кавериним 12 ноября 1817 года и обращена к штаб-ротмистру Василию Шереметеву, смертельно раненому во время «четвертной» дуэли, состоявшейся из-за 18-летней балерины А. Истоминой (воспетой в первой главе «Евгения Онегина»). Кроме Шереметева в дуэли участвовали камер-юнкер граф А. П. Заводовский, квартировавший тогда с А. С. Грибоедовым, лейб-улан А. И. Якубович, доктор прав Б. И. Ион, наставник А. С. Грибоедова. Рассказ Б. Иона о дуэли с упоминанием слов Каверина был записан в 1842 году, рассказчик увидел в этих словах оттенок насмешки, из чего А. М. Панченко заключил, что Б. Ион не уловил точного смысла шутки Каверина. В чем же этот смысл? Как известно, сказал докладчик, Каверин имел репутацию «доброго малого» (см. Послание Пушкина к нему 1817 года). Но он являлся, кроме того, членом Союза Благоденствия. А. М. Панченко обратил внимание на то, что почти все участники упомянутой дуэли были кавалерийскими офицерами, и вопрос, заданный Кавериним умирающему Шереметеву, близкому товарищу, не мог быть насмешкой в столь трагическую минуту, он, очевидно, входил в их своеобразный жаргон. Доказательства своему

предположению докладчик обнаружил в «ноスタльгических» сочинениях русских эмигрантов пореволюционной поры; авторы их были питомцами Николаевского кавалерийского училища, до 1859 года называвшегося Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Ее, как известно, окончил лейб-гусар. М. Ю. Лермонтов. Комментируемая А. М. Панченко фраза Каверина связана, как он обнаружил, с определенным обрядом «первого выезда в манеже и падения с лошади». Докладчик раскрыл символику этого обряда и роли репы / редьки в нем. По мнению А. М. Панченко, Каверин обратился к Шереметеву на корпоративном языке кавалеристов, вовсе не издеваясь, а, наоборот, сочувствуя ему. «Человек, даже книголюб и писатель, — сказал в заключение А. М. Панченко, — живет в сфере устной культуры... Каждое поколение многослойно... У всех слоев были слова-символы и фразы-символы, которые не нуждались в пояснениях. Потом их смысл утрачивался. Когда нам удается его восстановить, мы, хотя бы в малой мере, восполняем эти утраты».

Вопросы изучения крестьянских библиотек были рассмотрены в докладе аспирантки Н. В. Шухтиной (Ленинград) «Библиотека пинежского крестьянина», где рассказывалось о книжном собрании крестьян Поповых из дер. Церковь Гора на Пинеге. Это один из немногих примеров вестарообрядческой библиотеки, сложившейся в начале XVII века. В Пинежском собрании Древлехрамнища ИРЛИ хранятся 50 рукописей XIV—XIX веков и 49 документов семейного архива Поповых. По ним докладчицей была прослежена судьба одного из членов этой семьи, ставшего иеромонахом, строителем Веркольского монастыря. — Анкушки Ануфриева. Подчеркивая необходимость изучения крестьянских библиотек для воссоздания истории народной духовной культуры, Н. В. Шухтина обратила внимание на неразработанность этой темы, недостаточность свидетельств о ранних крестьянских книжных собраниях. Было также отмечено различие в подходе к изучению структуры и состава монастырских, с одной стороны, и крестьянских родовых библиотек, с другой.

Близок по теме к предыдущему был доклад науч. сотр. Г. В. Маркелова (Ленинград) «Об одном завещании В. И. Малышева». Владимир Иванович, сказал Г. В. Маркелов, всегда придавал большое значение в археографических поисках не только древним, но и новым рукописным материалам, связанным с историей села, края. В Древлехрамнище его имени накопилось за долгие годы археографической работы большое количество деловых бумаг из крестьянских архивов. Это подборки писем, акты правового содержания, документы по сельской общине, домашние архивы крестьян. Зачастую, сказал Г. В. Маркелов, они охватывают несколько

поколений одного крестьянского рода за период с XVII по середину XX века. В таком объеме материалов подобного характера нет ни в одном другом храмнище рукописей. Более подробно Г. В. Маркелов остановился на архиве Чеусовых-Белоусовых (дер. Веркола), складывавшемся с XVII века, где имеются сведения, например, о строительстве храма в дер. Кеврола. Рассмотрены были также письма крестьян Истоминых из дер. Борок на Северной Двине, охватывающие время с 1899-го по 1917 год. В них отражены события 1905 года, забастовка в Соломбале (Архангельск), годы первой мировой войны, февральские революционные события, гражданская война в Архангельской губернии. Особый интерес, сказал докладчик, вызывает архив крестьян Задориных, в котором содержатся письма из Онеголага НКВД репрессированных в 1938 году колхозников. Среди крестьянских дневников, автобиографических записок, воспоминаний обращает на себя внимание дневник пинежанина Афанасия Лобанова, участника Цусимского боя. Интересны воспоминания красноборского крестьянина И. С. Карпова, охватывающие период с конца XIX века до времени организации колхозов на Северной Двине, раскулачивания, жизни автора в сталинских лагерях. Г. В. Маркелов, указав на многочисленные истории о местных примечательных событиях, людях, на легенды, заметил, что подобного рода записки, обнаруживающиеся в крестьянских дневниках и воспоминаниях, в жанровом отношении занимают пограничное положение между деловой письменностью и местной литературой. В. И. Малышев, напомнил в заключение докладчик, называл Древлехрамнище Пушкинского Дома огромной крестьянской библиотекой. С тем же основанием можно назвать его еще и огромным крестьянским архивом.

Журналист В. Ф. Толкачев (Нарьян-Мар) напомнил собравшимся о том, что в 1999 году г. Пустозерску исполнится 500 лет. Он рассказал о приготовлениях к этой дате, к которым приступили местные краеведы и патриоты города, а также городские власти. Планируется создание заповедной зоны на городище Пустозерска, установлен памятный знак на месте казни Аввакума. В. Ф. Толкачев пригласил всех участников Малышевских чтений на празднование 500-летнего юбилея города Пустозерска.

Закрывая заседание, Л. А. Дмитриев поблагодарил всех докладчиков и слушателей за участие в Чтениях. В Древлехрамнище Пушкинского Дома была открыта выставка поступлений 1988 года, а в Отделе рукописей БАН демонстрировались книги из коллекций недавно скончавшегося собирателя рукописей М. И. Чуванова, хорошо знавшего и ценившего Владимира Ивановича Малышева. Так завершились Малышевские чтения 1989 года.

М. В. Рождественская

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 26—27 июня 1989 года состоялась научная конференция «Русская литература и Великая французская революция», посвященная 200-летию Великой французской революции. Сотрудниками Института было прочитано двенадцать докладов, в которых была сделана попытка более полно и разносторонне, чем это было сделано ранее в исследованиях советских ученых, охарактеризовать ряд основных этапов восприятия и осмысления русской литературой, критикой и публицистикой XVIII—XIX веков событий Великой французской революции.

Наряду с анализом (во многом пересматривающим устоявшиеся точки зрения) суждений о Великой французской революции наиболее видных, передовых деятелей русской литературы и критики, в докладах были предприняты попытки опереться на новые разыскания, материалы, пополняющие сложившееся представление о борьбе в России конца XVIII—XIX веков вокруг идей французской революции, внести в них ряд корректив, рассмотреть их в более широком контексте. Открывая конференцию заместитель директора Института канд. филол. наук А. Ф. Лапченко сказал, что хотя события Великой французской революции не нашли, за небольшим, может быть, исключением, прямого отражения в русской литературе — в России не создано сколько-нибудь значительных произведений на эту тему — их влияние на русскую общественную и художественную мысль продолжалось на протяжении всего XIX века. Среди прочих в первую очередь должны быть названы Герцен и Достоевский, глубже других и на протяжении всей жизни задумывавшиеся о гуманитарных проблемах, связанных с социальным переустройством на принципах свободы, равенства, братства.

О влиянии идей Французской революции на русскую культуру существует большая литература, однако в осмыслении проблемы сохраняется еще немало, как принято теперь говорить, «белых пятен». Еще в 30-е годы у нас сложилась концепция Великой французской революции, оправдывавшая террор и безоговорочно прославлявшая деятелей якобинской диктатуры. Эта концепция продолжала существовать до самого последнего времени, что не способствовало пониманию и самой проблемы, которой посвящена нынешняя конференция, и вообще пониманию литературы в ее нравственно-философском, общечеловеческом содержании. Этим во многом и объясняется тот факт, что так поздно стал доступным общественному сознанию Достоевский и что до сих пор у нас как следует не понят и по достоинству не оценен Герцен. Сейчас, заключил Лапченко, о влиянии французской революции на русскую литературу можно сказать много нового и по-новому.

Первое заседание было посвящено в основном широкому кругу проблем восприятия событий и тем Французской революции в России конца XVIII века. В докладе канд. филол. наук Н. Д. Кочетковой «Образ Мирабо в русской литературе конца XVIII—начала XIX века» проанализированы в их совокупности и сопнесенности многочисленные отзывы в русской литературе того времени о виднейшем деятеле Французской революции. В русской официальной прессе найдла отражение отрицательная оценка личности Мирабо, которого Екатерина II считала опасным политическим противником. Благодаря ее известному отзыву о книге А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» в сознании многих современников закрепилась параллель «Радищев — русский Мирабо» (анонимная эпиграмма «Езда твоя в Москву со истинною сходна...»). С именем Мирабо связывается представление о политической крамоле. Однако, как показывает докладчица, некоторые русские литераторы прибегают к своеобразному дипломатическому приему: порция французского трибуна, они одновременно достаточно смело говорили о социально-политических проблемах, имевших актуальный смысл для русской общественной жизни (Г. Р. Державин). Особенно интересно в этой связи последовательное противопоставление Мирабо и Радищева в письмах А. М. Кутузова. Называя французского «возмутителя» «чудовищем» и поддерживая в этом официальную точку зрения, Кутузов с неизменной теплотой и уважением продолжал говорить «о своем несчастном друге» Радищеве и следовал «сантиментам чести», несмотря на грозившую ему опасность. Официальная трактовка личности Мирабо получила поддержку в ряде переводных сочинений, представлявших этого деятеля революции «извергом человечества». На фоне подобных оценок особый смысл приобретают и достаточно нейтральные отзывы о Мирабо и высокая оценка его ораторских способностей (Н. М. Карамзин). В заключение докладчица показывает, что Пушкин, воскресивший давнюю аналогию «Радищев — русский Мирабо» подвел итог попыткам воздать должное таланту французского трибуна, которое предпринимали лучшие писатели XVIII века, вопреки официальной точке зрения.

В докладе доктора филол. наук Ю. В. Стенника «Тема Великой французской революции в сатире и публицистике 1790-х годов» содержался анализ оценок, которые давались революционным событиям и политической борьбе во Франции революционной эпохи в русской публицистике тех лет. Докладчик отметил осторожность и выжидательность, отличавшую позицию большинства русских писателей, аллегоричность методов в освещении ими связанных с революцией вопросов. Особое место Ю. В. Стенник отвел характеристике позиции Екатерины II

в ее отношении к революционным событиям во Франции и анализу анонимного политического памфлета, созданного, вероятно, в эмигрантских кругах, «Тень Екатерины, в Елисейских полях». Переведенный на русский язык, памфлет распространялся в рукописных списках. Докладчик выделил два аспекта в содержании памфлета, представлявших наибольшую актуальность для русских читателей конца XVIII века. Это, во-первых, проблема ограниченной преемственности политики монархов как гарантии избежания непредвиденных потрясений и, во-вторых, проблема судьбы дворянского сословия как единственной реальной опоры монархической власти. Обе эти проблемы в свете событий, приведших к падению во Франции монархии, сохраняли в русских условиях свою злободневность. Конкретные наблюдения докладчик использует для теоретических выводов общего характера. Так, стабильно негативная оценка революционных событий во Франции в русской дворянской литературе и публицистике конца XVIII века позволяет ему сделать общий вывод о стабильности русской монархии этого периода.

В докладе доктора филол. наук П. Р. Заборова «Русская тема во французской драматургии революционной эпохи» был рассмотрен вопрос о восприятии России и ее истории в революционной Франции и конкретно продемонстрировано как русская история XVIII века фактически оказывалась близкой сторонникам французской революции. Докладчик имел в виду комическую оперу «Петр Великий» (текст Ж.-Н. Буйи, музыка А.-Э.-М. Гретри), поставленную 13 января 1790 года на сцене парижского Итальянского театра. В этом произведении, созданном накануне Великой французской революции, но доработанном уже после того, как она совершилась, нашли отражение столь типичные для века Просвещения мечты об идеальном государстве и мудром правлении, о единении монарха и нации, о преодолении сословных предрассудков. В обстановке первых месяцев революции пьеса Буйи-Гретри оказалась весьма злободневной, что и объясняет ее шумный и сравнительно долгий успех у парижского зрителя. Пьеса имела и некоторый международный резонанс: ее переводили на немецкий и голландский языки, ее подробно характеризовал в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин; известно также русское подражание пьесе, по-видимому, принадлежавшее перу М. Н. Макарова и опубликованное в журнале «Московский курьер». В докладе Заборова вскрываются глубинные процессы пересечения французской и русской истории в их отраженном через посредство текущей литературы эпохи состоянии.

В докладе канд. филол. наук К. Ю. Лаппо-Данилевского «К вопросу о восприятии русскими писателями событий Великой французской революции в 1790-е годы» анализировалась реакция наиболее просвещенной части русского общества на события во Франции, в первую очередь литераторов. Наибольшее внимание

в связи с поставленными проблемами было уделено творческому наследию писателей первого ряда — А. Н. Радищева, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, а также фигур меньшего масштаба — Н. А. Львову, В. В. Капнисту, А. М. Бакунину и др. Докладчик считает, что происходившее во Франции подверглось критике А. Н. Радищева не с точки зрения сторонника менее стремительных изменений, а с позиций человека, не видящего на раннем этапе революции осуществления наиболее важных, с его точки зрения, преобразований. Публикация статьи «Письмо в „Зритель“ о русской литературе» (1797) в журнале эмигрантов не может быть признано знаком симпатии Н. М. Карамзина к развитию революционных событий, оно свидетельствует лишь об осознании epochального значения 1790-х годов в мировой истории. Отношение Г. Р. Державина к революционным преобразованиям не было столь однозначно, как порой утверждалось советскими учеными. В данном случае можно говорить лишь о непримиримом противоречии во взгляде художника такого титанического масштаба, как Державин, и Державина-сановника, руководствующегося принципами общегосударственной целесообразности. В заключение доклада подчеркивалось, что нет никаких оснований для утверждений о существовании в Петербурге в 1790-е годы тайной организации, включавшей в свой состав В. В. Капниста, В. И. Баженова, И. К. Шнора, братьев Разновотских.

Сообщение канд. филол. наук И. С. Шарковой носило информационный характер и было посвящено иностранной периодике, которую Екатерина II выпускала через Кенигсбергский и Мемельский почтамты «себе в комнату» в годы Великой французской революции (1789—1796). Документы об этом сохранились в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде в делах Кабинета.

Репертуар иностранной прессы, которая служила Екатерине II дополнительным источником информации о событиях во Франции, велик и разнообразен. Полный список насчитывал 24 названия газет и журналов на сумму 2856 руб. 50 коп. В нем преобладали французские, немецкие, голландские и австрийские газеты («*Courier du Bas-Rhin*», «*Gazette de Cologne*», «*Gazette de Hamburg*», «*Gazette d'Amsterdam*», «*Gazette de Vienne*» и т. д.), а также немецкие издания Гамбурга, Алтоны, Берлина и др. Следует отметить постоянную подписку русской императрицы на две английские газеты «*St. James's Chronicle*» и «*The London Chronicle*» (первая из этих газет давала информацию о парламентских дебатах, в том числе и ту, где затрагивались вопросы об отношении к Французской революции).

Из французских периодических изданий в подписке Екатерины II присутствовали всего 4 названия, из которых необходимо подчеркнуть, во-первых, «Энциклопедический журнал» («*Journal Encyclopédique*»), близкий к «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, а во-вторых, ее подписку в 1790 году на газету «Француз-

ский патриот» («Patriote français»), издававшуюся видным французским журналистом, членом Якобинского клуба, жирондистом Ж.-П. Бриссо де Варвилем. Именно в этот год эта четырехстраничная ежедневная газета, дававшая вначале лишь отчеты о заседаниях Национального собрания, увеличила свой объем, начав печатать статьи, очерки, заметки, письма, авторами которых были известнейшие политические деятели Кондорсе, Грегуар, Лантен, Петийон и др.

Трудно сказать, чем привлекло русскую императрицу это издание, но, по-видимому, это был жгучий интерес к европейским событиям, проявившийся в своеобразном взрыве интереса к иностранной периодике, что выразилось и в увеличении подписки: 21 издание в 1790 году против 16 — в 1789-м и 17 — в 1791 году.

Иностранная пресса, которую Екатерина II внимательно читала (и в сообщении приведены примеры этого), давала императрице дополнительную информацию о Французской революции, появлявшуюся в изобилии во всех перечисленных изданиях (о взятии Бастилии, день за днем о дальнейших событиях, распространении революции на соседние страны, о заседаниях Национального собрания, его решениях, официальных документах, видных деятелях революции и т. д.). Она давала возможность ей определить также отношение к французским событиям западноевропейского общественного мнения.

Перечень иностранной периодики, выписываемой Екатериной II в 1789—1796 годах, дает более четкое представление о газетах и журналах, поступавших в Россию в годы Французской революции, путей их выписки и ценах на них, а также дает возможность определить степень информированности русского общества об одном из величайших событий в истории человечества.

Если в XVIII веке решалась задача уяснения и оценки отдельных событий и деятелей Великой французской революции, то в XIX веке на смену характеристике отдельных лиц и событий революции пришел анализ хода ее во всей исторической сложности и многоаспектности.

«Вольность и Закон» — так озаглавил доктор филол. наук Г. М. Фридлендер доклад о Пушкине и его оценке событий Великой французской революции. Проанализировав историю восприятия Французской революции Пушкиным от его первых откликов на нее в одах «Вольность» (1817) и «Наполеон» (1821) до его последних замечаний о ней в дневнике и публицистике 30-х годов, докладчик решительно отверг традиционное представление о решающем влиянии на оценку Пушкиным Французской революции идей Ж. де Сталь. Для м-м де Сталь и Б. Констан в их критической оценке Французской революции решающее значение имела защита ими права собственности. Пушкин же смотрел на революцию глазами великого поэта-гуманиста. Именно поэтому, признавая закономерность и всемирно-историческое значение революции как эпохи пробуждения мира от «рабства», он (так же как Радищев, Карамзин

и декабристы) отвергал революционный террор якобинцев. Уже в «Вольности», а позднее в «Кинжале» и элегии «Андрей Шенье» Пушкин показал, что «вольность», не опирающаяся на политический и нравственный закон, может переродиться в свою противоположность, стать источником анархии и деспотизма. С этой точки зрения центральным среди произведений Пушкина о Великой французской революции докладчик считает элегию «Андрей Шенье» (1825). Ее герой — пламенный защитник свободы — становится жертвой революционного фанатизма Робеспьера. И в то же время, погибая на эшафоте, он остается верен идеалу свободы, не сомневается в его конечной победе над миром деспотизма и насилия. В заметках и выписках Пушкина для задуманного им в 1831 году очерка истории Французской революции Пушкин защищает идею целостности французской нации, утверждая, что во Франции XVIII, как и в России XIX века, истинное освобождение народа могло быть реально осуществлено при условии сохранения союза между силами революции и независимой, передовой частью дворянства, способного возглавить народ в борьбе с деспотизмом, отменить крепостное право и стать оплотом народного благоденствия, основанного на единстве «Вольности» и «Закона» как в личной, так и в общественной жизни.

Доклады кандидатов филол. наук О. С. Муравьевой и И. В. Немировского были посвящены теме «Пушкин и Наполеон». О. С. Муравьевой была предложена интерпретация стихотворения Пушкина «Герой», демонстрирующая, как историческая и философская проблематика преломляется в художественном мире стихотворения.

Поскольку личность Наполеона и, конкретнее, случай в чумном госпитале в Яффе является сюжетной основой стихотворения, в докладе подробно рассматривается этот эпизод из жизни Наполеона и позиция Бурнина, на мемуары которого ссылается Пушкин. Выясняется, что случай в Яффе был известен в разных, противоречащих друг другу версиях и мемуары Бурнина представляли собой еще одну версию, но не содержали каких бы то ни было неопровержимых фактов. Таким образом, в споре «Поэта» и «Друга» противопоставляются не «мечты» и факты, а различные версии. Исходя из этого, нельзя утверждать, что в монологе «Да будет проклят правды свет», красивая легенда предпочитается объективным историческим фактам. Речь идет о том, что образ исторического персонажа (в данном случае Наполеона) строится на основе противоречивых суждений, непроверенных фактов, различных версий и пр., вопрос в том, какую версию принять, чему поверить. Противопоставляется не знание иллюзии, а скептицизм и позитивизм вере, утверждению в жизни неявленных однозначно высоких потенций. В этом контексте Пушкиным по-своему решается традиционная для наполеоновской литературы проблема: «герой или тиран?». По Пушкину, все перечисленные в стихотворении деяния Наполеона мог совершить

и герой, и тиран. Ответ кроется не во внешней стороне деяний, а в потенциях личности. Если в ней есть способность к состраданию и самоотверженности, то это герой и тогда смысл поступков и содержание его судьбы освещается особым светом. В стихотворении «Герой» Пушкин раскрывает свойственный ему вообще метод рассуждения, экстраполирующий значение одного конкретного поступка на личность человека в целом.

И. В. Немировский показал, что стихотворение Пушкина «Наполеон», написанное как непосредственный отклик поэта на смерть поверженного императора, является началом поэтического переосмысления этого образа в русской литературе. Прежние оценки Наполеона как «ужас мира, стыд природы... упрек Богу на Земле» сменяются более взвешенными эпитетами. В то же время сравнение пушкинского отношения к Наполеону с тем, как оценивали его писатели, близкие к Пушкину по художественной и общественной ориентации (П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов, братья Тургеневы, Н. М. Карамзин), вскрывают существенные расхождения, что, однако, не означает того, что пушкинское отношение было принципиально иным. Новому осмыслению образа Наполеона препятствовала инерция художественной традиции (высокой оды), сложившаяся в начале 10-х годов в пору Отечественной войны 1812 года, Пушкин подвергает эту традицию существенным изменениям в соответствии с принципом, который можно определить как «сочетание несочетаемого», когда в рамках одного поэтического эпитета соединяются полярные оценки. Отсюда обилие в стихотворении оксюморонов типа «погибельное счастье», «разочарованная краса», «блистательный позор», «величие постыдное», «великодушный пожар», что свидетельствует о том, что отношение Пушкина к Наполеону и его политическому наследию находилось еще в стадии формирования.

Доктор филол. наук А. Н. Иезуитов прочел доклад «В. Г. Белинский и Великая французская революция». По мнению докладчика, именно с Белинского начинается новый этап в ее восприятии и истолковании русской общественной мыслью. Как предшественник русской социал-демократии критик раскрыл всеобъемлющее и непреходящее значение Французской революции для судеб человеческой культуры — мировой и отечественной. А. Н. Иезуитов подчеркнул, что в отношении Белинского к революции проявились также его духовно-психологические особенности как личности (бескомпромиссность, склонность к крайностям, повышенная эмоциональность и т. д.).

Прямое, концентрированное и принципиально значимое упоминание Белинским имен и явлений, непосредственно связанных с Французской революцией, относится к определенным этапам жизни и деятельности критика. 1836 год — время напряженных духовных исканий Белинского. 1841 год — период его «премирения» с действительностью. В обоих случаях выходом из мировоззренческого кризиса, счи-

тает докладчик, было обращение Белинского к опыту Великой французской революции, ее углубленное философское осмысление и принципиальная нравственная оценка. В докладе прослежена своеобразная «дискретная» эволюция Белинского в его отношении к событиям и героям Французской революции от безоговорочного эмоционального одобрения к резкому эстетическому неприятию, затем к признанию исторической ценности ее опыта и наконец к вдумчивому анализу ее закономерностей в сопряжении с процессом общественного развития России и Франции. В заключение А. Н. Иезуитов отметил, что комплексное понимание Белинским исторической роли и влияния Великой французской революции, в котором органически соединились идейно-политический, философско-эстетический, нравственно-этический и литературно-критический аспекты, имеют самое актуальное теоретическое и методологическое значение.

Сложность и неоднозначность восприятия идей революции 1789—1794 годов стремились показать авторы докладов, рассматривающих отношение к ней Герцена, Достоевского, Льва Толстого. Доклад доктора филол. наук В. А. Туниманова «Лестница 90-х годов» был посвящен взглядам на Великую французскую революцию А. И. Герцена, их драматической эволюции. Как показал докладчик, еще в отрочестве Великая французская революция стала религией Герцена. К людям и событиям «исполинской революции» Герцен-художник обратился в первой своей повести. Воспоминаниями о героях «колоссальной эпопеи», их апофеозом стала и последняя повесть Герцена. Неоднократно возвращаясь к героическому прошлому Европы в «Былом и думах», «Письмах из Франции и Италии», «Концах и Началах», знаменитой «логической исповеди», «С того берега». Герцену принадлежит одна из самых глубоких оценок Французской революции в статье-рецензии «Шарлотта Корде». Но Герцен не ограничился апофеозом революции. Великий мыслитель и политический публицист, обеспокоенный негативными тенденциями в русском и европейском демократическом движении, он много раз возвращался к урокам старой, первой, и Великой революции, особенно «мрачному терроризму» якобинцев. Навысшей точки эти раздумья достигли в политическом завещании Герцена — цикле философских писем «К старому товарищу» и последних дневниковых записях. В докладе с непреодолимой естественностью прослеживается связь времен. Русская революционность рассматривается как явление, психологически и этически связанное с предшествующим европейским опытом. Туниманов считает, что мысли Герцена и сегодня поразительно злободневны. Их отличает точность и афористичность формулировок, та пронзительность выводов и прогнозов, которая сродни пророчествам.

В докладе канд. филол. наук В. Е. Ветловской речь шла о Великой французской революции в восприятии Ф. М. Достоевского. По мне-

нию автора доклада, представление о Великой французской революции у Достоевского было достаточно широким и складывалось из нескольких моментов. Оно учитывало задачи этой революции, сформулированные в Декларации прав человека и гражданина и кратко выраженные в знаменитых лозунгах; затем — ход революции и ее практические результаты; затем — общие усилия европейской мысли, направленные на осмысление революционных событий и на решение не решенных революцией проблем. В. Е. Ветловская остановилась на полемике русского писателя с некоторыми положениями Декларации прав, которые основывались на понятии о естественных чувствах и потребностях и восходили к соображениям Ж.-Ж. Руссо о «естественном человеке» («человеке природы и истины»). По мнению В. Е. Ветловской, такая полемика была начата утопическими социалистами. Но Достоевский предложил свое решение проблемы естественных чувств, потребностей и прав так, что его идеи оказались полемически направленными не только против авторов знаменитой Декларации, но и их ближайших критиков — утопических социалистов.

В докладе филол. наук Г. Я. Галаган «Идея обновления мира (Л. Толстой и Великая французская революция)» речь идет о роли Французской революции в нравственной истории человечества. Как показала Г. Я. Галаган, внимание Толстого к Французской революции, устойчивое на протяжении всей жизни, с особой силой проявилось в период работы над «Войной и миром», трактатом «Царство божие внутри вас» и во время русской революции 1905 года. Характер этого внимания всегда определялся стержневой идеей наследия писателя — идеей человеческого единения, исключавшей насилие в любой его форме. Ключевое русло полемики Толстого с рядом историкографов Французской революции — в постоянном обращении писателя к проблеме расхождения между великими идеалами (Свобода, Равенство и Братство) и практической этикой (трибуналы, гильотины).

«Внутренний конфликт» хода революции был осмыслен Толстым как деформация однородных влечений ее участников, объяснявшаяся уровнем нравов, позволяющих оправдывать отступления от великих идеалов. Качественное изменение нравов (их возрождение) писатель связывает, как показала Г. Я. Галаган, с обособлением приоритетного значения «обязанностей человека» и утверждением недопустимости разделения политики и нравственности. В этом свете в докладе анализируется проблема общественного мнения (понимаемого и Толстым, и Робеспьером как совокупность однородных представлений о благе общем и путях его достижения). В общественном мнении, как показано Г. Я. Галаган, и Толстой, и Робеспьер видели решающую силу воздействия на ход истории. Но путь возрождения общественного мнения и стабилизации его созидательных сил мыслились ими по-разному. Решение этой проблемы Толстым связывалось с «законом любви». Робеспьером — с «законом насилия» (замена «ба-

стилий и эшафотов» для добродетели «трибуналами и гильотинами» для порядка). Проследившая эволюцию качественного изменения общественного мнения в период Французской революции, Г. Я. Галаган показывает, как попытка возведения Робеспьером «закона насилия» в ранг общечеловеческих ценностей потерпела крушение. Утверждение Толстым «закона любви» рассматривается в докладе как сражение писателя за становление нового типа мышления, опирающегося на гуманистические идеи христианства.

Второй доклад доктора филол. наук Г. М. Фридлендера был посвящен роману «Русский якобинец» М. А. Загуляева (1834—1890). Роман этот в настоящее время почти совершенно забыт. Но в свое время он не только дважды был издан в России (1883, 1884), но и во французском переводе опубликован в 1886 году в парижской газете «Le Voltaire». Автор его, знакомец Тургенева и Достоевского, плодовитый переводчик и журналист, много печатался в русских и французских периодических изданиях, был знаком с Гюго, Флобером, Золя, Ренаном, Клодом Бернаром. Роман его высоко ценил М. Горький.

«Русский якобинец» — роман-исповедь родовитого русского дворянина Евгения Михайловича Стародубского, который провел свою молодость во Франции, в годы революции. В его романе действует множество исторических лиц — Робеспьер, Сен-Жюст, создатель революционного календаря и воспитатель молодого графа П. А. Строганова Ж. Ромм, Дантон, молодой Наполеон, Жозефина Богарне и т. д. Основную сюжетную линию романа составляют сложные и драматические отношения между Стародубским и Робеспьером. Робеспьер вызывает у Стародубского чувство глубокого расположения, под его влиянием он становится якобинцем и испытывает глубокую симпатию к демократическим идеалам революции. Но начинается эпоха террора, и жертвой его становится возлюбленная Стародубского Сесиль Рено. В смятении чувств Стародубский 9 термидора стреляет в Робеспьера и ранит его. За это он позднее испытывает чувство глубокой личной вины, считая, что своим поступком он способствовал победе контрреволюции, но и расчистил путь к власти Наполеону. Роман насыщен деталями революционной эпохи и живо передает ее нравы и духовную атмосферу. Все это делает роман Загуляева ценным историческим документом и интересным памятником, отразившим идейные настроения и искания либеральной части русского общества 1870—1880-х годов.

В докладе доктора филол. наук Л. М. Лотман «Проблема Великой французской революции в литературной полемике конца XIX—начала XX века» была дана характеристика попыток осмыслить общемировое значение русской революции 1905 года ее современниками. Сравнение задачи русской революции и психологии ее деятелей с историческим опытом Великой французской революции составило один из распрост-

раненных мотивов непосредственных откликов на «русские события» начала XX века. К такому сравнению побуждало сходство исторической ситуации: Великая французская революция замкнула XVIII столетие и открыла дверь в XIX век, русская революция 1905 года преломила историческое время и, «поставив» точку на истории XIX века, явилась прологом XX столетия.

Наиболее популярными русскими писателями, охарактеризовавшими психологию «нигилистов» — носителей критического, революционного начала русского общества, — были в Европе, и особенно во Франции начала XX века, Тургенев и Достоевский. Пристальное внимание привлекал к себе Достоевский. Инсценировки его романов «Братья Карамазовы» и «Бесы» («Николай Ставрогин») вызвали обширную полемику, в которой активное участие принял М. Горький. Важным аспектом этой полемики были споры вокруг психологии героев Достоевского и возможного влияния произведений писателя на общество, тяжело переживавшее реакцию, наступившую после подавления революционных выступлений. Л. М. Лотман устанавливает возможность влияния духовного облика героев Достоевского на черты центральных персонажей романов А. Франса «Боги жаждут» и «Восстание ангелов», первый из которых посвящен Великой французской революции. В 1913 году А. Франс, работавший в это время над окончательным вариантом романа «Восстание ангелов» и закончивший недавно роман «Боги

жаждут» (1912), посетит Петербург и Москву. Автор доклада путем сравнительного анализа этих романов А. Франса и романов Достоевского «Бесы» и «Преступление и наказание» доказывает сближение французского писателя с Достоевским, общность поставленных ими нравственных и исторических вопросов. Проблемы, которые освещал Достоевский, вскрывая опасные проявления нигилизма в революционном движении эпохи народничества, неизжитые к началу XX века, открыли перед А. Франсом некоторые общие закономерности революционного движения двух стран и способствовали углублению его взглядов на Великую французскую революцию.

Во всех прочитанных на конференции докладах охвачен большой и зачастую впервые привлекаемый материал — от реакции на Великую французскую революцию ее русских современников до отражения ее у писателей нашего столетия. Оценка опыта революции для русских писателей и мыслителей принадлежит нашему дню, сегодняшнему историческому опыту. Все это позволяет утверждать большую общественную значимость прошедшей конференции. Обмен мнениями по широкому кругу вопросов о взаимосвязях русской и французской культур был с интересом воспринят присутствовавшими, что позволяет рассматривать проведенную конференцию как дальнейший шаг в развитии дружеских и культурных связей между СССР и Францией.

И. Д. Якубович

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В 1989 ГОДУ**

Статьи	№	Стр.
Батюто А. И. Вокруг эпопеи (И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой в 1860—1870-е годы)	4	28
Билинкис Я. С. Идеи В. И. Ленина и процесс художественного развития	2	95
Ветловская В. Е. Опыт Великой французской революции в понимании молодого Достоевского	3	32
Власова З. И. Скоморохи и волочечничество	2	22
Гайнцева Э. Г. В. Г. Авсеенко и «Русский вестник» 1870-х годов	2	70
Исламова А. К. Лев Толстой и Эмерсон: о связи эстетических систем	1	44
Киселева А. А. Народная причеть как поэтический жанр	2	3
Котельников В. А. Оптина пустынь и русская литература	1	61
	3	3
	4	3
Купченко В. П. М. Волошин о Великой французской революции	3	57
Лаппо-Данилевский К. Ю. К вопросу о рецепции событий Великой французской революции в России 1790-х годов (В. В. Капнист и его ближайшее окружение)	3	49
Лурье Я. С. Об исторической концепции Льва Толстого	1	26
Лысов А. Г. Апокриф XX века. Миф о «размолвке начал» в концепции творчества Л. Леонова (из бесед с писателем)	4	53
Николаев А. А. О музыкальном воплощении пушкинских сюжетов (заметки композитора)	2	53
Петровский М. С. Михаил Булгаков: киевские театральные впечатления	1	3
Фридлиндер Г. М. Русская и французская литературы XIX века (типологическая общность, взаимосвязи, контакты)	1	87
Холшевников В. Е. Из истории русской рифмы (от Ломоносова до Лермонтова)	2	41
Черемин Г. С. Из истории изучения творчества Маяковского (Маяковский и культ личности Сталина)	2	85

К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. АХМАТОВОЙ

Кралин М. М. Хоровое начало в книге Ахматовой «Белая стая»	3	97
Латманизов М. В. Разговоры с Ахматовой (предисловие, публикация и примечания А. Г. Терехова)	3	67

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Вейдле В. В. Поэзия Ходасевича (вступительная статья и примечания А. В. Лаврова)	2	144
Кюхельбекер В. К. Любовь до гроба, или Гренадские мавры (вступительная статья и публикация М. Г. Мазья)	4	69
Набоков В. В. Полюс	1	136
Пигин А. В. Повесть А. М. Ремизова «Соломония» и ее древнерусский источник	2	114
Ремизов А. М. Соломония	2	119
Сологуб Федор. Стихи последних лет (публикация М. М. Павловой)	2	172
Степун Ф. А. Литературно-критические статьи (По поводу «Митиной любви»; Вячеслав Иванов; Памяти Андрея Белого) (вступительная статья Г. М. Фридлиндера)	3	109

	№	Стр.
Толстая Н. И. «Полюс» Набокова и «Последняя экспедиция Скотта»	1	133
Туроверов Н. Стихотворения (составление и вступительная заметка А. Д. Алексеева)	4	88
Флоренский П. А. Троице-Сергиева лавра и Россия (вступительная статья и примечания В. А. Котельникова)	2	131
Ходасевич В. Ф. Литературно-критические статьи («Слово о полку Игореве»; Дмитриев; «Щастливый Вяземский»; О символизме; Аблеуховы — Летаевы — Коробкины; Из воспоминаний; Андрей Белый) (вступительная статья и примечания А. В. Лаврова)	1	100
Ходасевич Владислав. Стихотворения (публикация Н. А. Богомолова)	2	164

ЛЮТЕМИКА

Фомичев С. А. О стихотворении Пушкина «Во глубине сибирских руд. . .»	2	183
---	---	-----

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Краснобородько Т. И. «Нетворческие» тексты А. С. Пушкина: проблемы издания (по материалам архива редакции академического издания собрания сочинений А. С. Пушкина)	1	145
--	---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Азадовский К. М. Переписка В. Я. Брюсова с Н. А. Клюевым (1911—1914)	3	180
Аксененко Е. М. Эпизод из деятельности «саратовского кружка»	1	174
Из переписки М. А. Булгакова с Е. И. Замятиным и Л. Н. Замятиной (1928—1936) (публикация В. В. Бузник)	4	178
Бычков С. С. Радищев и цензура 1860-х годов	2	197
Вагеманс Эммануэль (Бельгия). К истории русской политической мысли: М. М. Щербатов и его «Путешествие в землю Офирскую»	4	107
Виленчик Б. Я. Лермонтов в Аничковом	3	155
Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье (вступительная статья, публикация и примечания Л. А. Ильиной и М. М. Павловой)	3	209
Глоцер В. И. Хармс собирает книгу	1	206
Гумилев Л. Н. Авары и обры? (опыт расшифровки семантики этнонима)	2	187
Доронченков И. А. Об источниках романа Е. Замятина «Мы»	4	188
Заборова Р. Б. Об адресатах трех стихотворений Н. А. Некрасова	4	126
Заборова Р. Б. Л. Н. Толстой в воспоминаниях В. В. Сулова	2	208
Б. К. Зайцев о русских и советских писателях (публикация Л. Н. Назаровой)	1	193
Замятин Е. И. Рай	4	199
Иезуитова Л. А. Л. Н. Андреев-публицист в канун революции	3	199
Карушева М. Ю. К идее рока в драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»	3	161
Лебедев В. К. «Запретить как идеалистическую»	4	203
Маймин Е. А. А. А. Фет и Л. Н. Толстой	4	131
Малыгина Н. М. «Прогресс человечности» (забытые рецензии Платонова в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение»)	1	184
Меламед Е. И. Из комментария к «Истории моего современника» В. Г. Короленко (новые материалы)	4	149
Мельгунов Б. В. Некрасов и военные корреспонденты «Современника»	1	166
Никитина Н. С. Первый роман Тургенева	4	119
Николаев С. И. Кто утешал Феофана Прокоповича в 1730 году? (об авторстве «Эпода утешительного»)	2	191
Новонайденное либретто А. А. Фета «Днепровские русалки» (публикация М. Д. Эльзона)	1	163
Письма Бориса Пильняка В. С. Мирлобову и Д. А. Лутохину (публикация Н. Ю. Грякаловой)	2	213
Письма П. Ф. Якубовича к Н. К. Михайловскому (публикация И. Д. Якубович)	3	167
Пономарева М. А., Цыбулькин В. В. «Березовые книги» дохристианской Руси: миф или реальность?	4	103
Сапрыгина Е. В. За завесой времени (к биографии А. И. Одоевского)	2	193
Софронова Л. А. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир»	3	148
Супрунюк О. К. Из комментариев к письмам Н. В. Гоголя.	1	156

	№	Стр.
Л. Н. Толстой глазами новозеландского журналиста (публикация Айрин Зохраб (Новая Зеландия))	4	154
Фомичев С. А. Белинский и Гоголь в 1839 году	1	153
Черемисинова Л. И. А. А. Фет: земледельческая утопия и реальность	4	142
Чуднова Л. Г. Отредактированный Лесков (история публикации одного письма)	1	179
Ямпольский И. Г. «Люцерн» Л. Толстого в оценке современника	1	172
Ярославцев Я. А. А. И. Герцен в легальной русской печати периода первой революционной ситуации	2	200

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Балажова Алена (ЧССР). Н. В. Гоголь в работах чешских русистов последних лет (1970—1988)	4	214
Баскаков В. Н. Литературное источниковедение и литературная библиография Сибири	1	213
	2	238
Виролайнен М. Н., Мостовская Н. Н. Новая книга о Гоголе (Смирнова Е. А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л.: Наука, 1987. 199 с.)	3	245
Виттакер Р. (США). Рукописи Л. Н. Толстого и материалы о нем в архивах Нью-Йорка	2	235
Гродецкая А. Г. Новая книга о Толстом (G u s t a f s o n R. F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger: A Study in Fiction and Theology. Princeton, New Jersey, 1986)	2	248
Демидова О. Р. Теккереи в России (Нуралова С. Э. Теккереи в России: Учебное пособие для студентов филол. факультетов. Ереван, 1988. 101 с.)	1	225
Лавров В. А. «Приобрести сознание своей личности» (над страницами истории советской литературы)	3	233
Миронов Б. Н. Американское исследование русской народной литературы (B r o o k s J e f f r e y. When Russia learned to read: Literacy and popular literature, 1861—1917. Princeton University Press. 1985. XXII. 450 p.)	4	221
Николаева Л. А. О новом издании «Сочинений» А. И. Полежаева (П о л е ж а е в А. И. Сочинения / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. Н. Абросимовой. М.: Худож. лит., 1988. 510 с.)	4	206
Носов С. Н. Польское исследование почвенничества в России (L a z a g i A n d r z e j. «Poczwiennictwo» Z badañ nad historià idej w Rosji. Łódź, 1988. 208 s.)	4	219
Опульская Л. Д. Горизонты русской литературы (Р е х о К. Русская классика и японская литература. М.: Худож. лит., 1987. 352 с.)	1	227
Павловский А. И. Книги о Валентине Распутине (Т е н д и т н и к Н. С. Валентин Распутин: Очерк жизни и творчества. Изд. Иркутск. ун-та. 1987. 226 с.; С е м е н о в а С в е т л а н а. Валентин Распутин. М.: Сов. Россия. 1987. 175 с.; К о т е н к о Н. Н. Валентин Распутин: Очерк творчества. М.: Современник, 1988. 188 с.)	1	230

ХРОНИКА

Грачева А. М. Научная конференция «Русский рассказ и литературный процесс начала XX века»	3	249
Грачева А. М., Якунина-Семячко С. А. Вторая научная конференция молодых специалистов «Литература и общество»	1	236
Запезалов В. Н. Всесоюзная научная конференция «Леонид Леонов. Судьба цивилизации в XX веке и гуманистические ценности»	4	231
Иванов Л. Н. Вторые научные чтения Рукописного отдела Пушкинского Дома	2	263
Коренева М. Ю. Четвертые Алексеевские чтения	1	234
Кручинина А. С. Вечер, посвященный памяти В. А. Мануйлова	3	253
Новичкова Т. А. Всесоюзная конференция по проблемам изучения былин	2	\ 257
Рождественская М. В. Малышевские чтения	4	237
Собенников А. С. Четвертые Алексеевские чтения	2	260
Сперанская Н. М. XXX Пушкинская конференция	4	226
Тюхова Е. В. Конференция, посвященная 170-летию со дня рождения И. С. Тургенева	2	253
Якубович И. Д. Конференция, посвященная 200-летию Великой французской революции	4	240
Сахаров В. И. Необходимые уточнения	2	266

- Лейдерман И. Л.** Та горсть земли... Лит.-критич. статьи. Свердловск, Средне-Уральское книжн. изд-во, 1988. 238 [2] с.
- Литвинов В. М.** Плата за талант. Идущим в лит. посвящается. М., «Сов. писатель», 1988. 365 [2] с.
- Литературный процесс в его жанровом и стиле-вом своеобразии.** Сб. науч. тр. Ташкент, ТГПИ, 1987. 100 с.
- Лихоносов В. И.** Волшебные дни. [Сборник]. Краснодар, Книжное изд-во, 1988. 222 [2] с.
- Любарева Е. П.** Алмаз горит издалека... Блоковские традиции в сов. поэзии. М., «Сов. писатель», 1987. 237 [2] с.
- Македонов А. В.** Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы. Л., «Сов. писатель», 1987. 365 [2] с.
- Машовец Н. П.** Такая судьба у России. Очерк творчества Г. Коновалова. Саратов, Приволжское книжное изд-во, 1988. 229 [2] с.
- Межлитературные связи и проблема реализма.** Межвуз. сб. [Редколлегия: И. В. Киреева (отв. ред.) и др.]. Горький, ГГУ, 1988. 92 [3] с.
- Место и роль художественной литературы в формировании социально активной личности в свете решений XXVII съезда КПСС. Тезисы докладов респ. науч.-практ. конференции, 20—22 окт. 1988 г.** [Редколлегия: Е. К. Озмитель (отв. ред.) и др.]. Фрунзе, ФПИРЯЛ, 1988. 114 [1] с. (Мин-во нар. образования КиргССР, Фрунзен. пед. ин-т рус. яз. и лит-ры).
- Методология анализа литературного произведения.** [Сб. ст. Отв. ред. Ю. Б. Боров]. М., «Наука», 1988. 347 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Михайлов А. А.** Маяковский. М., «Молодая гвардия», 1988. 557 [2] с. (Жизнь замеч. людей. Серия биогр. Осн. в 1933 г. М. Горьким. Вып. 4 (700)).
- Михайлов А. А.** Право на исповедь. Молодой герой в соврем. прозе. Лит.-критич. статьи. М., «Молодая гвардия», 1987. 205 [2] с.
- Михайлов О. Н.** Мироздание по Леониду Леонову. Личность и творчество. Очерк. М., «Сов. писатель», 1987. 270 [2] с.
- Морозова Э. Ф.** Ленинская тема в современной советской прозе: Исследование. Киев, «Дніпро», 1988. 269 [2] с.
- Москвина Р. Р., Мокроносов Г. В.** Человек как объект философии и литературы. Иркутск, Изд. Иркутск. ун-та, 1987. 199 [1] с.
- Нагибин Ю. М.** Время жить. [Сб. ст. о лит-ре и искусстве]. М., «Современник», 1987. 510 [1] с.
- Начало пути. Из советской лит. критики 20-х гг.** [Сб. Сост., послесл., примеч. О. В. Филимонова]. М., «Сов. Россия», 1987. 350 [2] с.
- Неуймина Н. К.** Николай Сладков. Писатель и человек. Л., «Сов. писатель», 1988. 285 [2] с.
- Николаев П. А.** Советское литературоведение и современный литературный процесс. М., «Худож. лит-ра», 1987. 332 [2] с.
- Огнев В. Ф.** Глазами памяти. Встречи и раздумья. М., «Правда», 1988. 62 [2] с.
- О жанре и стиле советской литературы. Межвуз. темат. сб. науч. тр.** [Редколлегия: А. В. Огнев (отв. ред.) и др.]. Калинин, КГУ, 1988. 154 [1] с.
- Одоевцева И. В.** На берегах Невы. [Воспоминания. Вступ. ст. К. Кедрова. Послесл. А. Сабова]. М., «Худож. лит-ра», 1988. 333 [1] с.
- Островская В. Е.** Перестройка и современный литературный процесс. (К проблеме нравственности в современной сов. прозе). Ташкент, О-во «Знание» УзССР, 1988. 28 с.
- Панков А. В.** Время и книги. М., «Современник», 1988. 317 [2] с.
- Пархоменко М. Н.** Роман семидесятых. М., «Худож. лит-ра», 1987. 332 [2] с.
- Поликарпов С. И.** Атакующая защита. Эссе. Статьи. Заметки. М., «Современник», 1987. 255 [1] с.
- Положительный герой в современной советской литературе.** [Н. М. Федь, С. А. Коваленко, В. В. Новиков и др. Отв. ред. В. И. Борщуков, Л. В. Иванова]. М., «Наука», 1988. 274 [3] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Поэтика перевода. Сб. ст.** [Сост. С. Гончаренко; Предисл. Е. Николовой]. М., «Радуга», 1988. 235 [3] с.
- Проблемы перевода.** [Лит.-критич. статьи. Кн. 1. Сост. и вступ. ст. Р. Сыдыковой]. Фрунзе, «Кыргызстан», 1988. 198 [1] с.
- Проблемы развития советской литературы. Жанр и худож. процесс. Межвуз. науч. сб.** [Редколлегия: Я. И. Явчуновский (пред.) и др.]. Саратов, Изд. Саратовск. гос. ун-та, 1988. 129 [1] с.
- Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова.** Сб. науч. тр. Ленинградск. гос. ин-та театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. [Редколлегия: А. А. Нинов (отв. ред.) и др.]. Л., ЛГИТМИК, 1987. 147 с.
- Расули М. М.** Постижение Востока: (Наблюдения над яз. и стилем соврем. русской ориентал. прозы). Ташкент, Изд-во лит-ры и искусства, 1988. 212 [2] с.
- Ружина В. А.** «Золоторожденной комедий...». [О В. В. Маяковском. Отв. ред.

- В. И. Воробченко]. Кишинев, «Штиинца», 1988. 152 [2] с.
- Русская классическая и советская литература за рубежом. (Изуч., преподавание, оценка).** [Сб. ст. Редколлегия: Е. З. Цыбенко (отв. ред.) и др.]. М., Изд-во МГУ, 1988. 171 [2] с.
- Русские советские писатели о Кабардино-Балкарии.** [Сборник. Сост., коммент. и предисл. А. С. Кишева, Т. Б. Нагаевой]. Нальчик, «Эльбрус», 1988. 292 [1] с.
- Рябинин Б. С. К. Рождественская — писатель и редактор.** Пермь, Книжн. изд-во, 1988. 164 [2] с.
- Саватеев В. Я. По законам времени.** [Заметки о современ. лит-ре]. М., «Современник», 1988. 143 [1] с.
- Селезнев Ю. И. Память созидаящая.** Лит-критич. статьи. Краснодар, Книжн. изд-во, 1987. 334 с.
- Семин В. Н. Что истинно в литературе.** Лит. критика. Письма. Рабочие заметки. [Вступ. ст. И. Дедкова]. М., «Сов. писатель», 1987. 394 [1] с.
- Серебряков К. Б. Приближение прошлого.** Очерки. Встречи. Воспоминания. М., «Сов. писатель», 1988. 396 [2] с.
- Системность литературного процесса.** Сб. науч. тр. [Редколлегия: Н. Н. Булгаков (отв. ред.) и др.]. Днепрпетровск, ДГУ, 1987. 176 с.
- Смирнов И. А. Дорогие имена.** [Очерки о русской и сов. поэзии Ярославского края]. Ярославль, Верхне-Волжское книжн. изд-во, 1988. 317 [1] с.
- Совершенствование национальных отношений, перестройка и задачи советской литературы.** Материалы пленума правления Союза писателей СССР, 1—2 марта 1988 г. М., Б. и., 1988. 91 [1] с.
- Советская журналистика на путях перестройки.** [А. З. Москаленко, В. Г. Иваненко, М. П. Паринов и др.]. Киев, «Вища школа», 1988. 190 [2] с.
- Советская литература и воспитание общественно активной личности.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: В. А. Лазарев (отв. ред.) и др.]. М., МГПИ, 1988. 178 [1] с.
- Современные проблемы литературной библиографии и подготовки библиографических пособий по художественной литературе и литературоведению.** Сб. науч. тр. [Сост. И. В. Алексахина]. Л., ГПБ, 1988. 108 с.
- Солдат и певец революции. Ф. А. Бerezовский, 1877—1952. Жизнь в письмах, дневниках, воспоминаниях, документах.** [Предисл. Г. Орлова]. Омск, Книжн. изд-во, 1987. 141 [2] с.
- Стилистические исследования художественного текста.** [Межвуз. сб. науч. тр. Редколлегия: А. Ф. Никонова (отв. ред.) и др.]. Якутск, ЯГУ, 1988. 166 с.
- Строилов Л. Ф. Творчество Чингиза Айтматова в западноевропейской критике.** Фрунзе, «Кыргызстан», 1988. 126 [3] с.
- Творческое наследие А. С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров. Тезисы докладов и выступлений на Всесоюз. науч.-практ. конференцию, посвященной 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко.** [Сост. Л. Л. Безобразова и др.]. Полтава, Б. и., 1988. 367 с. (М-во просвещения УССР, Полтавский гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко).
- Творчество С. А. Есенина и современное есениноведение.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: В. В. Шахов, Г. М. Сердобинцева (отв. редакторы) и др.]. Рязань, РГПИ, 1987. 137 [1] с.
- Театральная критика 1917—1927 годов. Проблемы развития.** Сб. науч. тр. [Редколлегия: А. Я. Алтшуллер (отв. ред.) и др.]. Л., ЛГИТМИК, 1987. 170 [2] с.
- Теория и практика литературоведческих и лингвистических исследований.** [Сб. ст. под ред. В. В. Кускова, Л. В. Златоустовой]. М., Изд-во МГУ, 1988. 112 с.
- Теракопьян Л. А. Человек и политика.** Лит-ра в конфликтном мире. М., «Сов. писатель», 1988. 398 [2] с.
- Типологическое изучение литературного процесса. (На материале сов. лит-ры).** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: С. Я. Фрадкина (гл. ред.) и др.]. Пермь, ПГУ, 1987. 178 [1] с.
- Тихонов Н. С. Дело жизни.** [Ст., выступления, письма. Сост., вступ. ст. А. И. Чагина]. М., «Сов. Россия», 1988. 157 [3] с. (Писатели о творчестве).
- Ткачева И. В. Государственный музей К. А. Федина. (Путеводитель).** Саратов, Приволжское книжн. изд-во, 1987. 85 [2] с.
- Трава после нас. Книга-интервью журналиста Ф. Медведева с деятелями сов. лит-ры и искусства.** М., Изд-во Агентства печати «Новости», 1988. 253 [1] с.
- Традиции и современность в фольклоре.** [Сб. ст. Отв. ред. и автор предисл. В. К. Соколова]. М., «Наука», 1988. 211 [2] с. (АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая).
- Факт, домysel, вымысел в литературе.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: Л. А. Розанова (отв. ред.) и др.]. Иваново, ИвГУ, 1987. 173 [2] с.
- Финк Л. А. Необходимость Дон Кихота.** Кн. о Д. Гранине. М., «Сов. писатель», 1988. 317 [2] с.
- Фольклор народов РСФСР. Межэтнические фольклорные связи.** Межвуз. науч. сб. [Отв. ред. Т. М. Акимова, Л. Г. Барак]. Уфа, БГУ, 1987. 159 с.
- Харчев В. В. Воспитание совести. Пробл., конфликты, жанры в творчестве писателей-горьковчан 80-х гг.** Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. 175 с.
- Художественная речь; общее и индивидуальное.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: О. И. Александрова (отв. ред.) и др.]. Куйбышев, КГПИ, 1988. 132 [1] с.
- Художественное осмысление и действительность.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: В. Н. Богословский (отв. ред.) и др.]. М., МОПИ, 1988, 126 [2] с.
- Художественный опыт советской литературы: творческие связи, жанрово-стилевое своеобразие.** Сб. науч. тр. [Редколлегия: А. С. Субботин (отв. ред.) и др.]. Свердловск, УрГУ, 1988. 138 [2] с.
- Чирков А. С. Эпическая драма. (Проблемы теории и поэтики).** Киев, «Вища школа», 1988. 159 [1] с.

- Чудакова М. О.** Жизнеописание Михаила Булгакова. М., «Книга», 1988. 492 [3] с.
- Шагалов А. А.** Силой долга и совести. Страницы современной прозы о Великой Отеч. войне. М., Изд. ДОСААФ СССР, 1988. 302 [2] с.
- Шеншин В. К.** Традиции Ф. М. Достоевского и советский роман 1920-х годов: К. Федин, Ю. Олеша, Л. Леонов. Красноярск, Изд. Красноярск. ун-та, 1988. 159 [1] с.
- Шукуров И. Ш.** Невзирая на лица... Конфликт в сатирической публицистике. М., «Мысль», 1988. 206 [2] с.
- Щеглов М. А.** Любите людей. Статьи, дневники, письма. М., «Сов. писатель», 1987. 511 с.
- Эпос войны народной.** Диалог о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». [В. М. Кулиша, В. Д. Оскоцкого]. М., «Знание», 1988. 63 [1] с.
- Я, конечно, вернусь... Стихи и песни В. Высоцкого.** Воспоминания. [Сост. Н. А. Крымова]. М., «Книга», 1988. 463 с.
- Язык и стиль произведений В. П. Катаева, К. Г. Паустовского и Л. И. Славина.** Сб. науч. трудов. [Отв. ред. В. Ф. Шишов]. Одесса, ОГУ, 1987. 151 [1] с.
- Я лучшей доли не искал... Судьба А. Блока в письмах, дневниках, воспоминаниях.** [Сост., очерки и коммент. В. П. Енишерлова]. М., «Правда», 1988. 556 [1] с.
- Автографы современников Пушкина на книгах из собрания Гос. музея А. С. Пушкина.** Аннот. кат. [Сост. О. В. Аснина и др.]. М., «Книга», 1988. 269 [2] с.
- Калининские писатели.** Биобиблиогр. указатель. [Сост. И. М. Лукьянова, Н. И. Мазурин]. Калинин, «Московский рабочий», 1988. 160 [2] с.
- Каталог советской литературы на книжной выставке X Междунар. съезда славистов (София, сент. 1988 г.).** [Сост. А. И. Слива]. М., ИНИОН, 1988. 167 с.
- Лауреаты России.** Автобиографии рос. писателей. [Сборник. Кн. 5. Сост. Н. В. Попов]. М., «Современник», 1987. 397 [2] с.
- Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях.** Сводный каталог. [В 2 ч. Ч. 1. Описание анонимного памятника печатных изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Сост. И. Я. Лосиевский]. Харьков, ХГНБ, 1987. 54 с.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси.** [В 3-х вып. Вып. 2. Отв. ред. Д. С. Лихачев]. Л., «Наука», 1988. 515 [1] с.
- Энциклопедический словарь юного литературоведа.** [Сост. В. И. Новиков. Для сред. и ст. шк. возраста]. М., «Педагогика», 1988. 415 с.

Технический редактор Г. А. Смирнова

Корректоры Н. Г. Каценко, Г. Н. Мартынова и С. И. Семиглазова

Сдано в набор 28.08.89. Подписано к печати 10.11.89. М-18739. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага
типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20.80. Усл.-кр. отг. 21.11.
Уч.-изд. л. 29.86. Тираж 12 844. Тип. зак. 1833. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

**Ленинградское отделение
издательства «НАУКА»
готовит к выпуску книги:**

Салтыков-Щедрин и русская литература

План 1990 г. (I полугодие), 30 л., 2 р. 30 к.

В сборнике статей, который подготовлен Пушкинским Домом совместно с Саратовским университетом, публикуются исследования, посвященные связям Салтыкова-Щедрина с писателями-современниками и периодическими изданиями его времени, а также работы источниковедческого и библиографического характера, касающиеся изучения наследия Салтыкова-Щедрина в современном литературоведении.

Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 2

План 1990 г. (I полугодие), 35 л., 2 р. 30 к.

Словарь содержит свод биографий писателей, которые активно участвовали в литературном движении 1700—1800 гг. и внесли заметный вклад в искусство слова. Словарные статьи содержат основные сведения о жизненном и творческом пути писателей. Многие сведения впервые вводятся в научный оборот. Каждая статья снабжена избранной библиографией.

Великая Французская революция и русская литература

План 1990 г. (I полугодие), 25 л., 2 р.

Сборник посвящен 200-летию Великой Французской революции. В нем раскрывается тема восприятия французской революции и ее итогов русской литературой и общественной мыслью XVIII—XX вв. Рассматривается также русская тема во французской литературе эпохи революции, публикуется ряд архивных материалов о восприятии французской революции ее русскими современниками. В сборнике приняли участие ученые Ленинграда, Тарту, Томска.

На рубеже веков: Из истории международных связей русской литературы

План 1990 г. (I полугодие), 20 л., 2 р. 40 к.

Сборник завершает неперIODическую серию «Из истории международных связей русской литературы». Исследуется творческое восприятие в русской литературе конца XIX—начала XX в. важных явлений западноевропейской культуры: творчества Оскара Уайльда, философской концепции Фридриха Ницше, поэзии французского символизма, стихотворений Сафо и др. В числе русских писателей, чье отношение к западным литературам особо рассматривается здесь, — К. Бальмонт и Д. Мережковский. Особая статья посвящена творчеству выдающегося русского переводчика того времени Н. А. Холодковского.

В. Э. Вацуро

Лирика пушкинской поры: («Элегическая школа»)

План 1990 г. (I полугодие), 20 л., 1 р. 70 к.

Книга содержит исследование истории, поэтики, художественного метода русской лирической поэзии 1800—1820-х гг. Рассматривается возникновение нового типа элегии в творчестве Жуковского и Батюшкова, эволюция лирического героя, жанровых форм, языка и поэтики «элегической школы». Анализируются ее художественные открытия, к середине 1820-х гг. канонизировавшиеся и ставшие достоянием эпигонов, а также история отношений к «элегической школе» Пушкина и поэтов его круга (Баратынский, Дельвиг).